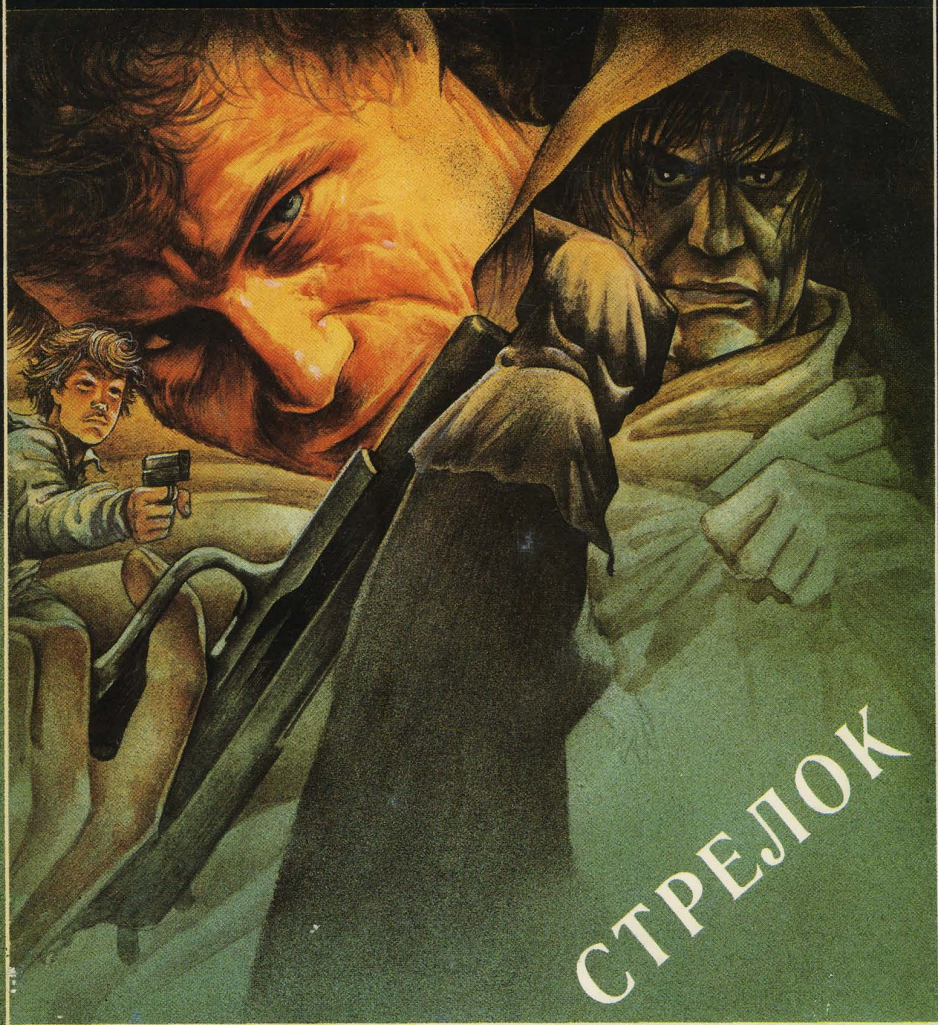


СТИВЕН КИНГ

МАСТЕРА ОСТРОСЮЖЕТНОЙ МИСТИКИ



СТРЕЛОК

МАСТЕРА
ОСТРОСЮЖЕТНОЙ
МИСТИКИ

МАСТЕРА ОСТРОСЮЖЕТНОЙ МИСТИКИ

Стивен Кинг
СТРЕЛОК



Львов
СИГМА
1995

Мастера остросюжетной мистики

Выпуск 39

Stephen King

THE GUNSLINGER

THE DRAWING
OF THE THREE

Стивен Кинг
СТРЕЛОК : романы

Copyright © by Stephen King

ISBN 0-7515-0030-4

Темная Башня I

СТРЕЛОК

*Посвящается Эду Ферману,
который рискнул прочесть
эти истории одну за другой.*

*...Чайльд-Роланд к башне темной
Пришел...*

(Роберт Браунинг)

СТРЕЛОК

Человек в черном спасался бегством через пустыню, а стрелок преследовал его. Пустыня была апофеозом всех пустынь: бескрайняя, она тянулась во все стороны, должно быть, на целые парсеки, смыкаясь с небом. Слепящая безводная белизна, ровная, если не считать гор, которые туманной дымкой вырисовывались на горизонте, да бес-травы, приносящей сладостные грезы, кошмары, смерть. Дорогу указывали редкие надгробия дорожных знаков — некогда этот прорезающий толстую корку солончака тракт был большаком, по которому следовали дилижансы. Но мир сдвинулся с места и обезлюдел.

Стрелок флегматично шагал по пустыне, не торопясь, но и не теряя времени попусту. Талию охватывал похожий на копченую колбасу кожаный бурдюк с водой. Бурдюк был почти полон. Стрелок, много лет совершенствовавшийся в искусстве *кеф*, достиг пятого уровня. На седьмом или восьмом он не чувствовал бы жажды; он мог бы с бесстрастным невозмутимым вниманием следить за обезвоживанием собственного тела, заполняя темные внутренние пустоты и щели своей брэнной оболочки лишь тогда, когда логика подскажет, что это необходимо. Но он не был ни на седьмом, ни на восьмом уровне. Он был на пятом. А значит, хотел пить. Однако жажда не особенно мучила стрелка — все это доставляло ему смутную радость, ибо было романтично.

Под бурдюком находились отлично пригнанные по руке пистолеты. Два ремня крест-накрест охватывали бедра. Промаслившиеся глубже, чем нужно, кобуры не трескались даже под здешним враждебным солнцем. Рукояти пистолетов были сделаны из желтого, мелкозернистого сандала. При ходьбе подвешенные на сыромятном шнуре кобуры раскачивались, тяжело задевая бедра. В петлях ремней крошечными гелиографами вспыхивали и подмаргивали латунные гильзы. Кожа едва слышно поскрипывала. Сами пистолеты хранили молчание. Кровь уже пролилась. Поднимать шум в бесплодной пустыне не было нужды.

Одежда стрелка была бесцветной, как дождь или пыль. Ворота рубахи был распахнут. Из пробитых вручную петель свисал сыromятный ремешок. Штаны из грубой бумажной ткани трещали по швам.

Он взобрался на отлогую дюну (песка тут, однако, не было; земля пустыни была твердой, зачерствевшей, и даже пронсящий над ней после захода солнца резкий ветер подымал лишь колючую, надоедливую, неприятную пыль, схожую с порошком для выделки шкур) и с подветренного бока, с той стороны, откуда солнце уходило раньше всего, увидел крохотное затоптанное кострище. Такие небольшие знаки, подтверждавшие человеческую сущность того, кто носил черные одежды, неизменно наполняли стрелка удовлетворением. Губы на изъязвленных, шелушащихся останках лица растянулись. Он присел на корточки.

Человек в черном, разумеется, жег бес-траву. Единственное, что здесь было горючего. Она сгорала медленно, коптящим ровным пламенем. От приграничных жителей стрелок узнал, что бесы обитают даже в огне. Сами поселенцы траву жгли, но в пламя не смотрели — поговаривали, будто того, кто посмотрит в огонь, бесы замораживают, поманят и рано или поздно утянут к себе. Следующий, у кого достанет глупости поглядеть на языки пламени, сможет увидеть там тебя.

Там, где жгли траву, виделось перекрестье уже знакомого стрелку значка идеограммы. От легкого тычка пальцев он рассыпался в серую бессмыслицу. В кострище нашелся только обгорелый кусок сала, который стрелок задумчиво съел. Так случилось всякий раз. Вот уже два месяца он шел за человеком в черном по бесконечному чистилищу пронзительно-однообразной бесплодной земли и ни разу не встретил ничего, кроме гигиенически-стерильных идеограмм на биваках. Ни единой жестянки, бутылки или бурдюка (сам он оставил уже четыре мешка, похожих на сброшенную змеей кожу).

Возможно, бивачные костры — выписанная буква за буквой послание: «возьми порох». Или: «конец уж близок». Или, может быть, даже «ешьте у Джо». Это не имело значения. Стрелок совершенно не понимал идеограмм, если это были идеограммы. Кострище было таким же холодным, как все прочие. Он знал, что продвинулся к своей цели, однако с чего это взял, не понимал. Но и это было неважно. Он поднялся, отряхивая руки.

Никаких других следов не было. Острый как бритва ветер, разумеется, уже загубил даже те скудные следы, какие хранил спекшийся песок. Стрелку так и не удалось обнаружить даже испражнений своей будущей жертвы. Ничего. Только остывшие кострища вдоль древнего большака да неустанно работающий в голове дальномер.

Опустившись на землю, стрелок позволил себе ненадолго приложиться к бурдюку. Внимательно обшарив взглядом пустыню, он посмотрел на солнце, скользящее к закату в дальнем секторе небосклона, поднялся, вытащил из-за ремня перчатки и принялся

рвать бес-траву для своего костра, который разложил на оставленном человеком в черном пепелище. Иронию подобной ситуации, наравне с романтикой жажды, стрелок находил горько привлекательной.

За кремь и кресало он взялся не раньше, чем день догорел, оставив после себя лишь бежавший в укрытие толщи земли зной да утрюмо-насмешливую оранжевую полосу на одноцветном горизонте. Он терпеливо наблюдал за южным направлением, где высились горы, не ожидая и не надеясь увидеть тонкую струйку дыма над новым костром — просто слежка входила в правила игры. На юге ничего не было. Близость жертвы была относительной. Недостаточной для того, чтобы разглядеть в сумерках дымок.

Стрелок высек над сухой травой искру и улегся с наветренной стороны, чтобы дурманный дым уносило в пустыню. Ветер дул ровно, не стихая, лишь изредка рождая пыльные смерчи.

Над головой, не мигая, горели звезды, такие же неизменные и вечные, как ветер. Миры и солнца миллионами. Рождавшие головок окружение созвездия, холодное пламя всех цветов радуги. За то время, что стрелок потратил на наблюдение, лиловый оттенок с неба смысла волна густой черноты. Прочертив короткую, эффектную дугу, моргнул и исчез метеорит. Пламя отбрасывало странные тени, бес-трава выгорала медленно, образуя новые знаки — не идеограммы, а прямые, пугающие своей трезвой уверенностью кресты. Растопка сложилась в рисунок, который не был ни сложным, ни хитрым — попросту полезным. Узор этот говорил о черном и белом, о человеке, который в комнатах чужой гостиницы мог исправить скверное положение дел. Языки пламени неспешно лизали траву, а в раскаленной сердцевине костра плясали призраки. Стрелок этого не видел. Он спал. Замысловатый рисунок сплавился с полезным. Стонал ветер. Обратная тяга, вея над самой землей, то и дело заставляла дым закручиваться воронкой и маленьким смерчем подплывать к спящему. Порой струйки дыма касались его. И, как малая песчинка рождает в раковине устрицы жемчужину, рождали сны. Изредка стрелок постанывал, вторя ветру. Звезды оставались к этому так же равнодушны, как и к войнам, распятиям, воскресениям. Это тоже порадовало бы стрелка.

2

Ведя в поводу осла с выпученными, помертвевшими от жары глазами, он спустился с холма, которым заканчивалось предгорье. Последний поселок стрелок миновал три недели тому назад и с тех пор видел лишь заброшенный пустынный тракт и редкие скопления землянок приграничных жителей. Группки лачуг выродились в единичные хибарки, где жили в основном безумцы и прокаженные. Стрелок предпочитал общество сумасшедших. Один из них вручил ему компас из нержавеющей стали с наказом передать Иисусу.

Стрелок серьезно принял поручение и выполнил бы его, случись ему встретиться с Ним. Однако встречи не ждал.

Последняя лачуга попалась ему пять дней назад, и стрелок заподозрил было, что больше не встретит ни единого жилища, но, взобравшись на вершину последнего изъеденного ветрами холма, увидел привычную скошенную назад и выложенную дерном крышу.

Поселенец, на удивление молодой, с буйной копной красно-то-рыжих волос, доходивших почти до пояса, рьяно пропалывал жалкую кукурузную делянку. Мул шумно всхрапнул, и поселенец поднял голову. Перед стрелком, как яблочко мишени, мигом появились сердито сверкающие синие глаза. Вскинув обе руки в отрывистом, грубоватом приветствии, поселенец вновь согнул спину, наклонясь к кукурузе и сторбившись над ближайшим к землянке рядком. Через плечо полетела бес-трава и изредка попадавшиеся жухлые побеги кукурузы. Волосы поселенца развевались и летели по ветру, который, больше не встречая препятствий, дул прямо из пустыни.

Стрелок неторопливо спустился с холма, ведя за собой осла, навьюченного бурдюками, в которых плескалась влага. На краю казавшегося безжизненным кукурузного поля он остановился, глотнул воды, чтобы пошла слюна, и сплюнул на иссушенную землю.

— Пусть живет твой урожай.

— И вам того же, — отозвался поселенец, разгибаясь. В спине у него явственно хрустнуло. Он окинул стрелка взглядом, в котором не было страха. Гниение не коснулось той малой части его лица, что виднелась между бородой и волосами, а в глазах, хоть и диковатых, не было безумия.

— У меня только кукуруза и бобы, — сказал он. — Кукуруза дармовая, а за бобы с тебя причитается. Их время от времени носит сюда один человек. Но он надолго не задерживается. — Поселенец коротко хохотнул. — Боится духов.

— Небось, думает, что ты и сам дух.

— Небось.

С минуту они молча смотрели друг на друга.

Поселенец протянул руку.

— Меня звать Браун.

Когда стрелок пожимал протянутую ладонь, на низком гребне земляной крыши каркнул тощий голенастый ворон. Поселенец коротко указал на него:

— Это Золтан.

При звуке своего имени ворон снова каркнул и полетел к Брауну. Он приземлился на голову поселенца и устроился на этом насесте, крепко влетая когти в густые нечесанные волосы.

— Чтоб ты сдох, — весело прокаркал Золтан. — Чтоб ты сдох вместе с лошадьё, на которой приехал.

Стрелок добродушно кивнул.

— Боб — музыкальная еда, — вдохновенно продекламировал ворон. — Чем больше ешь, тем громче бзда.

— Ты учишь?

— По-моему, только этому он и хочет учиться, — откликнулся Браун. — Пробовал я выучить его «Отче наш». — На мгновение он перевел взгляд за землянку, к безликой спекшейся песчаной равнине. — Только сдастся мне, «Отче наш» не для этих краев. Ты стрелок. Верно?

— Да. — Стрелок присел на корточки и вытащил табак и бумагу. Золтан отпустил голову Брауна и, хлопая крыльями, сел стрелку на плечо.

— Небось, тебе нужен тот, другой.

— Да. — На языке завертелся неизбежный вопрос: — Давно он прошел?

Браун пожал плечами.

— Не знаю. Тутешнее время — занятная штука. Больше двух недель назад. Меньше двух месяцев. С тех пор человек с бобами приходил дважды. Верно, недель шесть прошло. Вероятно, я ошибаюсь.

— Чем больше ешь, тем громче бзда, — сообщил Золтан.

— Он останавливался? — спросил стрелок.

Браун кивнул.

— Остался поужинать, как, наверное, останешься ты сам. Так, скоротали время.

Стрелок поднялся, и птица, громко жалуясь, снова перелетела на крышу. Он ощутил странную дрожь нетерпения.

— О чем вы говорили?

Браун вскинул бровь.

— Не так чтоб много. Бывает ли дождь, да когда я здесь появился, да не скоронил ли жену. Говорил в основном я, а это со мной не каждый день бывает. — Браун умолк. Тишину нарушал лишь сильный ветер. — Он колдун, верно?

— Да.

Браун медленно кивнул.

— Я так и думал. А ты?

— Просто человек.

— Ты никогда его не догонишь.

— Догоню.

Их взгляды встретились. Оба внезапно ощутили связавшее их глубокое волнение: поселенец — на своей иссохшей, курящейся пыльной земле, стрелок — на спекшемся в монолит песке, отлого спускавшемся в пустыню. Стрелок потянулся за кремнем.

— Вот. — Браун достал спичку с серной головкой и чиркнул ею о ноготь, под который прочно въелась грязь. Стрелок ткнул своей самокруткой в огонь и затянулся.

— Спасибо.

— Ты захочешь наполнить бурдюки, — сказал поселенец, отворачиваясь. — Ручей за домом, под карнизом. Я примусь за обед.

Стрелок осторожно перешагнул делянку кукурузы и направился за дом. Ручей находился на дне выкопанного вручную колодца, стенки которого были выложены камнями, чтобы сухая рассыпчатая земля не обваливалась внутрь. Спускаясь по шаткой лесенке, стрелок подумал, что эти камни бесспорно должны воплощать пару лет трудов: принести, подтащить, уложить... Вода оказалась чистой, но текла медленно, а заполнять бурдюки было делом долгим. Когда стрелок закрывал второй бурдюк, на крышу колодца уселся Золтан.

— Чтоб ты сдох вместе с лошадьё, на которой приехал, — посоветовал он.

Вздрогнув от неожиданности, стрелок поглядел вверх. Колодец был около пятнадцати футов глубиной. Брауну не составило бы особого труда сбросить вниз камень, размозжить ему голову и ободрать до нитки. Ни полоумный, ни гниляк так не поступили бы; Браун не был ни тем, ни другим. И все же Браун нравился стрелку. Выбросив из головы неприятную мысль, он заполнил остальные бурдюки. Будь что будет.

Когда он переступил порог землянки и спустился по ступеням вниз (само убогое жилище располагалось ниже уровня земли и было устроено так, чтобы улавливать и удерживать ночную прохладу), Браун лопаткой из твердого дерева заталкивал початки в угли крохотного костерка. На серовато-коричневом одеяле друг против друга стояли две тарелки с оббитыми краями. В подвешенном над огнем горшке начинала булькать вода для бобов.

— За воду я тоже заплачу.

Браун не поднял головы.

— Вода — дар Божий. Бобы приносит Папа Док.

Вскрапнув от смеха, стрелок уселся, привалившись спиной к грубой стене, скрестил на груди руки и закрыл глаза. Браун высыпал в горшок кулек сушеных бобов; они дробно постукивали, как мелкая галька. Сверху изредка доносилось *так-так-так* — по крыше неутомимо расхаживал Золтан. Стрелок устал: от страшного происшествия в последнем поселке, Талле, эту землянку отделяли дни, когда ему приходилось идти по шестнадцать, а иногда и по восемнадцать часов кряду. К тому же двенадцать последних дней он провел на ногах, да и выносливость мула была на пределе.

Так-так-так.

Две недели, сказал Браун, или, может статься, целых шесть. Все равно. В Талле были календари, и там человека в черном помнили из-за старика, которого тот исцелил мимоходом. Из-за обычного старика, умиравшего от травы. Старика тридцати пяти лет. И, если Браун не ошибся, с того времени человек в черном сдал позиции. Но на очереди была пустыня. То есть ад.

Так-так-так.

— Одолжи мне крылья, птаха. Расправлю их да полечу к горячим источникам.

Он уснул.

3

Браун разбудил его через пять часов. Уже стемнело. Единственным освещением было тусклое вишневое сияние кучки углей.

— Твой мул околел, — сказал Браун. — Обед готовился.

— Как?

Браун пожал плечами.

— Испекся и сварился, как же еще? Ты что, очень разборчив?

— Нет, я про мула.

— Просто лег, и все. Похоже, лет ему было немало. — И с извиняющейся ноткой: — Золтан выклевал ему глаза.

— Ага. — Этого следовало ожидать. — Ладно, ничего.

Браун вновь удивил его, когда они уселись подле накрытого вместо стола одеяла, попросив краткого благословения: дождя, здоровья и стойкости духа.

— Ты что же, веришь в загробную жизнь? — спросил стрелок у Брауна, когда тот бросил ему на тарелку три горячих кукурузных початка.

Браун кивнул.

— По-моему, это она и есть.

4

Бобы походили на пули, кукуруза была жесткой. Снаружи, вокруг расположенных вровень с землей карнизов, гнусавил и тонко подвывал торжествующий ветер. Стрелок ел быстро, жадно и выпил четыре чашки воды. Не успел он съесть и половины, как у дверей раздалась автоматная очередь быстрых постукиваний. Браун встал и выпустил Золтана. Птица перелетела через комнату и угрюмо нахохлилась в углу.

— Музыкальная еда, — пробормотала она.

После обеда стрелок предложил хозяину табак.

«Сейчас. Сейчас он спросит».

Но Браун не задавал вопросов. Он курил, глядя на угасающие угли костра. В землянке уже стало заметно прохладнее.

— И не введи нас во искушение, — внезапно апокалиптически промолвил Золтан.

Стрелок вскинулся, как от выстрела. Он вдруг уверился, что все это — от начала до конца иллюзия (не сон, нет; наведенная чарами греза) и этими символами, такими дурацкими, что зло берет, человек в черном пытается что-то ему сообщить.

— Ты бывал в Талле? — неожиданно спросил он.

Браун кивнул.

— Когда шел сюда, и еще раз, когда продавал кукурузу. В тот год пошел дождь. Шел он, должно быть, минут пятнадцать. Земля будто раскрылась и впитала капли — через час было так же бело и сухо, как всегда. Но кукуруза... Она росла прямо на глазах. Это бы еще ничего. Но ее было слышно, словно дождь дал ей голос. Только радости в этих звуках не было. Она словно вздыхала да стонала, выбираясь из-под земли. — Браун замолчал. — Вышло у меня этой кукурузы лишку, я взял ее да продал. Папа Док говорил, дескать, сам продаст, но он бы меня надул. Вот я и пошел.

— Поселок тебе не понравился?

— Нет.

— Меня там чуть не убили, — отрывисто сообщил стрелок.

— Вон как?

— Я убил человека, которого коснулась рука Господня, — сказал стрелок. — Только Господь не был Господом. Это был человек в черном.

— Он устроил тебе ловушку.

— Да.

Они переглянулись в полумраке — в эту минуту обоим послышался отголосок неотвратимости: уже ничего нельзя было изменить.

«Вот сейчас прозвучит вопрос».

Однако Брауну было нечего сказать. Его самокрутка превратилась в дымящийся окурок, но когда стрелок хлопнул по кисету, Браун помотал головой.

Золтан беспокойно закопошился, словно собираясь что-то сказать, и затих.

— Можно, я расскажу тебе, как было дело? — спросил стрелок.

— Конечно.

Стрелок поискал слова, чтобы начать, и не нашел.

— Надо отлить, — сказал он.

Браун кивнул:

— Это все вода. В кукурузу?

— Само собой.

Он поднялся по ступенькам и вышел в темноту. Над головой сверкала буйная россыпь звезд. Ветер не прекращался, он то стихал, то поднимался вновь. Над рассыпчатой землей кукурузного поля выгнулась подрагивающая струя мочи. Стрелок попал сюда по воле человека в черном. Могло даже оказаться, что Браун и есть человек в черном. Как знать...

Оборвав эту мысль, он прогнал ее от себя. Единственным непредвиденным обстоятельством, с каким он еще не свыкся, была возможность самому сойти с ума. Стрелок вернулся в землянку.

— Ты уже решил, видение я или нет? — от души забавляясь, спросил Браун.

Изумленный стрелок остановился на крошечной площадке лестницы. Потом медленно сошел вниз и сел.

— Я начал рассказывать тебе про Талл.

— Он разрастается?

— Он мертв, — ответил стрелок. Фраза зависла в воздухе.

Браун кивнул.

— Пустыня. Думается, со временем она способна задушить все, что хочешь. А знаешь, было время, когда через эту пустыню шла проезжая дорога.

Стрелок прикрыл глаза. В голове царила бешеная круговерть.

— Ты подмешал мне дурь, — хрипло выговорил он.

— Нет. Я ничего не делал.

Стрелок устало поднял веки.

— Тебе будет не по себе, покуда я не попрошу тебя рассказать, — продолжал Браун. — Вот я и прошу. Расскажешь мне про Талл?

Стрелок нерешительно раскрыл рот и с удивлением обнаружил, что на сей раз слова искать не придется. Поначалу бессвязные, невразумительные, сбивчивые фразы мало-помалу развернулись в плавное, немного невыразительное повествование. Ощущение одурманенности прошло, и стрелок обнаружил, что охвачен непонятным возбуждением. Он проговорил до поздней ночи. Браун ни разу не перебил его. Птица тоже.

5

Мула стрелок купил в Прайстауне, и когда добрался до Талла, животное еще было полно сил. Солнце уже час как село, однако стрелок продолжал идти, ориентируясь сперва на зарево огней в небе над поселком, а после — на разухабистые аккорды пианино, игравшего «Эй, Джуд» так чисто, что жуть брала. Дорога расширялась, вбирая в себя притоки.

Леса давно сменились унылым, однообразным сельским пейзажем: бесконечные покинутые поля, заросшие тимофеевкой и низким кустарником; лачуги; жуткие заброшенные поместья, где несли стражу мрачные, погруженные в тень особняки — в них, несомненно, бродили демоны; покосившиеся пустые хибарки, обитатели которых то ли сами двинулись дальше, то ли были вынуждены сняться с места; редкие землянки поселенцев — ночью такую землянку выдавала мигающая во тьме огненная точка, а днем — угрюмая, замкнутая, вырождающаяся семья, молча трудившаяся на своем поле. Главные урожаи давала кукуруза, но встречались и бобы, и горох. Изредка стрелок ловил на себе долгий тупой взгляд какой-нибудь тощей коровы, глядевшей в промежуток между ольховыми жердями в клочьях отслаивающейся коры. Четыре раза он разминулсЯ с дилижансами: два ехали ему навстречу, два обогнали его. Обогнавшие были почти пусты; в тех, что держали путь в

противоположную сторону, к северным лесам, пассажиров было больше.

Это был уродливый край. С тех пор, как стрелок покинул Прай-стаун, дважды, оба раза неохотно, принимался дождь. Даже тимофеева трава казалась желтой и унылой. Безобразный пейзаж. Никаких признаков человека в черном стрелок не замечал. Возможно, тот подсел в дилижанс.

Дорога повернула. За поворотом стрелок щелкнул языком, оставив мула, и посмотрел вниз, на Талл. Талл располагался на дне круглой впадины, формой напоминавшей миску — поддельный самоцвет в дешевой оправе. Горели немногочисленные огни, лепившиеся по большей части там, откуда доносилась музыка. Улиц на глазок было четыре: три, и под прямым углом к ним — широкая дорога, служившая главной улицей поселка. Может быть, там отыскалась бы харчевня. Стрелок сомневался в этом, но вдруг... Он снова щелкнул языком.

Вдоль дороги опять начали попадаться отдельные дома, за редкими исключениями по-прежнему заброшенные. Стрелок миновал крохотный погост с покосившимися, заплесневелыми деревянными плитами, заросшими и заглушенными буйной порослью бес-травы. Через каких-нибудь пятьсот футов он прошел мимо изжеванного щита с надписью «ТАЛЛ».

Краска так облупилась, что разобрать надпись было почти невозможно. Поодаль виднелся другой указатель, но что было написано там, стрелок и вовсе не сумел прочесть.

Когда он вошел в черту собственно города, шутовской хор полупьяных голосов поднялся в последнем протяжном лирическом куплете «Эй, Джуд»: «Наа-наа-наа... на-на-на-на... Эй, Джуд...» Звук был мертвым, как гудение ветра в дупле гнилого дерева, и лишь прозаическое бречание кабацкого пианино уберегло стрелка от серьезных раздумий о том, не вызвал ли человек в черном призраков заселить необитаемый поселок. От этой мысли его губы тронула едва заметная улыбка.

На улицах попадались прохожие — немного, но попадались. Навстречу стрелку по противоположному тротуару, с нескрываемым любопытством отводя глаза, прошли три дамы в черных просторных брюках и одинаковых просторных блузах. Казалось, их лица плывут над едва заметными телами, словно огромные, глазастые, мертвенно-бледные бейсбольные мячи. Со ступеней заколоченной досками бакалейной лавки за ним следил хмурый старик в соломенной шляпе, решительно нахлобученной на макушку. Когда стрелок проходил мимо сухопарого портного, занимавшегося с поздним клиентом, тот прервался, проводил его глазами и поднял лампу за своим окном повыше, чтобы лучше видеть. Стрелок кивнул. Ни портной, ни его клиент не ответили. Их взгляды ощутимой тяжестью легли на прижимавшиеся к бедрам низко подвешенные кобуры. Кварталом

дальше какой-то паренек лет тринадцати, загребая ногами, переходил вместе со своей девчонкой дорогу. От каждого шага в воздух поднималось и зависало облачко пыли. По одной стороне улицы тянулась цепочка фонарей, но почти все они были разбиты, а у тех немногих, что горели, стеклянные бока были мутными от загустевшего керосина. Была и платная конюшня — ее шансы на выживание, вероятно, зависели от рейсовых дилижансов. Сбоку от зияющей утробы конюшни, над прочерченным в пыли кругом для игры в шарики, дымя самокрутками из кукурузных султанов, молча сидели трое мальчишек. Их длинные тени падали во двор.

Стрелок провел мула мимо них и заглянул в сумрачные глубины сарая. Там, в будто бы пробивавшемся сквозь толщу воды свете одной-единственной лампы, подпрыгивала и трепетала тень долгового старика в фартуке — побряхтывая, он подхватывал вилами рыхлое сено, тимофеевку, и размахисто переносил на сеновал.

— Эй! — позвал стрелок.

Вилы дрогнули, и конюх раздраженно обернулся.

— Себе поэйкай!

— Я тут с мулом.

— С чем вас и поздравляем.

Стрелок бросил в полутьму увесистую, неровно обточенную золотую монету. Звякнув о старые, засыпанные сенной трухой доски, она ярко блеснула.

Конюх подошел, нагнулся, подобрал золотой и прищурился, глядя на стрелка. Ему на глаза попались портупей, и он кисло кивнул.

— Ты хочешь, чтоб я приютил его. Надолго?

— На ночь. Может быть, на две. Может, больше.

— Сдачи с золотого у меня нету.

— Я и не прошу.

— Тридцать сребреников, — пробурчал конюх.

— Что?

— Ничего. — Конюх подцепил уздечку и повел мула в сарай.

— Почисти его! — крикнул стрелок. Старик не обернулся.

Стрелок вышел к мальчишкам, сидевшим на корточках вокруг кольца для игры в шарики. Весь процесс мены они пронаблюдали свысока, с презрительным интересом.

— Как играется? — общительно спросил стрелок.

Никто не ответил.

— Вы здешние, городские?

Ответа не было.

Один из мальчишек вынул изо рта загнутую под безумным углом самокрутку, свернутую из кукурузного султана, крепко зажал в руке зеленый шарик с черными прожилками — «кошачий глаз» — и пустил его в очерченный на земле круг. Шарик ударил по «ворчуну» и выбил его за черту. Подобрав «кошачий глаз», мальчишка приготовился бить снова.

— Есть в этом поселке харчевня? — поинтересовался стрелок.

Один из ребят, самый младший, поднял голову и посмотрел на него. В углу рта у мальчугана красовалась огромная лихорадка, а глаза еще не утратили простодушия. Их до краев заполняло потаенное, смешанное с интересом удивление — это было трогательно и пугало.

— У Шеба можно съесть кусок мяса.

— В вашем трактире?

Мальчонка кивнул, но ничего не сказал. Глаза его товарищей сделались недобрыми, враждебными.

Стрелок коснулся полей шляпы.

— Весьма признателен. Приятно знать, что в этом поселке у кого-то еще хватает мозгов, чтоб говорить.

Он прошел мимо них, взобрался на тротуар и двинулся в сторону центра, к заведению Шеба. За спиной раздавался чистый презрительный голос другого мальчишки — еще совсем детский дискант: «Травоед! Давно трахаешь свою сестру, Чарли? Травоед!»

Перед заведением Шеба подмаргивали три яркие лампы — одна была прибита над перекошенными двустворчатыми дверями, две других располагались по обе стороны от них. Припев «Джуда» мало-помалу затих, на пианино забренчали другую старинную балладу. Голоса шелестели невнятно, как рвущиеся нити. Стрелок на миг задержался у дверей, заглядывая внутрь. Посыпанный опилками пол, возле столов на шатких ножках — плевательницы. Дощатая стойка на козлах для пилки дров. Захвачанное липкое зеркало за стойкой отражало тапера — вертящаяся табуретка придавала его спине неподражаемую сутулость. Переднюю панель пианино убрали, так что можно было смотреть, как во время игры на этом новейшем техническом достижении вверх и вниз ходят соединенные с деревянными клавишами молоточки. За стойкой стояла трактирщица, светловолосая женщина в грязном синем платье. Одна бретелька была заколота английской булавкой. В глубине помещения вяло выпивали и играли в «Глянь-ка» человек шесть городских. Еще с полдюжины местных неплотной кучкой сгрудились у пианино. Четверо или пятеро — у стойки. И рухнувший лицом на стол у двери старик с буйной седой шевелюрой. Стрелок вошел.

Головы повернулись. Стрелка и его оружие осмотрели. На мгновение воцарилась почти полная тишина — лишь равнодушный ко всему тапер, не обращая внимания на вновь прибывшего, легко касался клавиш. Потом женщина вытерла стойку, и все вернулось на круги своя.

— Глянь-ка, — сказал в углу один из картежников, подкладывая в пару к червонной тройке четверку пик. Больше карт у него на руках не было. Тот, кто положил червонную тройку, выругался и передал ему свою ставку, после чего настала очередь следующего игрока.

Стрелок приблизился к стойке.

— Тут можно разжиться мясом? — спросил он.

— А как же. — Женщина взглянула ему в глаза. Должно быть, когда-то она была хороша, но теперь лицо стало бугристым, а по лбу змеился сине-багровый шрам. Она густо запудривала его, но это скорее привлекало к шраму внимание, нежели маскировало его. — Правда, задорого.

— Представляю. Дай-ка три порции да пива.

Снова неуловимая перемена в общей атмосфере. Три порции мяса. Рты наполнились слюной, языки заворочались, медленно и сладострастно подбирая ее. Три порции.

— Это обойдется тебе в пять зелененьких. Вместе с пивом.

Стрелок выложил на стойку золотой.

Все взгляды обратились к монете. За стойкой, слева от зеркала, стояла жаровня с медленно тлеющими углями. Женщина скрылась в небольшой комнатушке позади нее и вернулась с листом бумаги, на котором лежало мясо. Не слишком щедрой рукой она отрезала три ломтя и бросила на огонь. От жаровни поднялся умопомрачительный запах. Стрелок стоял, сохраняя бесстрастное равнодушие и лишь краешком сознания отмечая, что пианино запинается, картежники сбавили темп, а завсегдатаи заведения бросают на него косые взгляды.

Заходящего со спины мужчину стрелок заметил на полпути, в зеркале. Тот был почти абсолютно лыс и сжимал рукоять громадного охотничьего ножа, на манер кобуры прикрепленного петлей к поясу.

— Иди сядь, — спокойно сказал стрелок.

Мужчина остановился. Верхняя губа непроизвольно вздернулась, как у пса, и на миг стало тихо. Потом он двинулся обратно к своему столику. Восстановилась прежняя атмосфера.

Пиво подали в высоком стеклянном бокале с трещиной.

— Сдачи нету, — задиристо объявила женщина.

— Я и не жду.

Она сердито кивнула, словно такая, пусть даже выгодная ей, демонстрация толстого кошелька разгневала ее. Однако золотой взяла, и минутой позже на мутной, плохо вымытой тарелке появились еще сырые по краям ломти мяса.

— Соль у вас водится?

Пошарив под стойкой, женщина выдала ему соль.

— Хлеб?

— Нету.

Стрелок знал, что это неправда, но не стал развивать тему. Лысый пялил на него синюшные глаза. Лежавшие на треснувшей, выщербленной столешнице руки сжимались и разжимались. Ноздри мерно раздувались.

Стрелок степенно, почти ласково принялся за еду. Он кромсал мясо, отправляя куски в рот, и старался не думать о том, что говядину удобнее резать, добавив к вилке кое-что еще.

Он почти все съел и уже созрел для того, чтобы взять еще пива и свернуть папиросу, когда на плечо ему легла рука.

Стрелок вдруг осознал, что в комнате снова стало тихо, и различил вкус стущавшегося в воздухе напряжения. Обернувшись, он уперся взглядом в лицо того человека, который спал у двери, когда он заходил. Лицо это было ужасно. От него исходили отвратительные прогорклые миазмы — запах бес-травы. Глаза были глазами проклятого — остекленелые, неподвижные и сверкающие глаза человека, который смотрит и не видит; глаза, вечно обращенные внутрь, в бесплодный ад неуправляемых грез, грез, спущенных с привязи, поднимающихся из зловонных трясин подсознания.

Женщина за стойкой издала негромкий стон.

Потрескавшиеся губы покривились, раздвинулись, обнажили позеленевшие замшелые зубы, и стрелок подумал: «Да он не курит. Он ее жует. Ей-богу, жует». И тут же, следом: «Это мертвец. Он, должно быть, мертв уже год». И сразу: «Человек в черном».

Они не сводили друг с друга глаз — стрелок и человек, шагнувший за грань безумия.

Старик заговорил, и ошарашенный стрелок услышал, что к нему обращаются Высоким Слогом:

— Сделай милость, дай золотой. Один-единственный. Потешиться.

Высокий Слог. На миг рассудок стрелка отказался постичь услышанное. Прошло столько лет — века, Боже правый, тысячелетия! Никакого Высокого Слога больше не было, он остался один — последний стрелок. Остальные...

Он потрясенно полез в нагрудный карман и извлек золотую монету. Растрескавшаяся исцарапанная рука потянулась за ней, обласкала, подняла кверху, чтобы в золоте отразилось яркое коптящее пламя керосиновых ламп. Посланица цивилизации, монета, гордо заблестела — золотисто-красноватый, кровавый отблеск.

— Ахххххх... — Невнятный удовлетворенный звук. Покачиваясь, старик развернулся и двинулся назад к своему столику, держа монету на уровне глаз, поворачивая то так, то эдак, пуская зайчики.

Заведение быстро пустело. Створки дверей бешено ходили туда-сюда. Тапер громко захлопнул крышку инструмента и, словно персонаж комической оперы, широченным шагом вышел следом за остальными.

— Шеб! — пронзительно крикнула ему вслед женщина. В ее тоне смешались страх и сварливость. — Шеб, вернись! Да будь оно все проклято!

Тем временем старик вернулся за свой столик и волчком закрутил монету на выщербленных досках, не спуская с нее бессмысленного замороженного взгляда безжизненных глаз. Он запустил ее второй раз, третий, и его веки отяжелели. Четвертый — и голова старика пристроилась на стол раньше, чем монета остановилась.

— Вот так вот, — тихо и яростно проговорила женщина. — Ты выжил мне всех клиентов. Доволен?

— Они вернутся, — сказал стрелок.
— Нет, нынче вечером их уж не жди.
— Кто он?.. — Стрелок указал на травоеда.
— Поди и... — Она завершила команду описанием невероятного способа мастурбации.

— Я должен знать, — терпеливо проговорил стрелок. — Он...

— Занятно он с тобой толковал, — перебила она. — Норт отродясь так не говорил.

— Я ишу одного человека. Ты должна бы его знать.

Женщина уставилась на него. Гнев утихал, уступая место сперва догадкам, потом — сильному влажному блеску, который стрелок уже видел. Шаткое строение задумчиво потрескивало. Вдалеке истошно залаяла собака. Женщина поняла, что он знает, и блеск сменился безнадежностью, тупым, безгласным желанием.

— Мою цену ты знаешь, — сказала она.

Стрелок не сводил с нее глаз. Темнота скрыла бы шрам. Женщина была довольно худа, и сделать дряблым все ее тело не сумела ни пустыня, ни песок, ни тяжелая однообразная работа. А когда-то она была хорошенькой, может быть, даже красивой. Не то, чтобы это было важно. Все равно, пусть даже в сухой черноте утробы этой женщины устроили бы гнездо жуки-могильщики. Все было предназначено.

Женщина вскинула руки к лицу, и оказалось, что в ней еще довольно жизненных соков — на слезы хватило.

— Да не лялься ты на меня! Нечего так подло смотреть!

— Прости, — сказал стрелок. — Я не нарочно.

— Все вы не нарочно! — крикнула женщина ему в лицо.

— Погаси лампы.

Она всхлипнула, пряча лицо в ладонях. Не из-за шрама — из-за того, что это возвращало ей если не девственность, то пору девичества. Булавка, удерживавшая бретельку, поблескивала в свете коптящих ламп.

— Погаси лампы и запри дверь. Он ничего не украдет?

— Нет, — едва слышно выговорила она.

— Тогда гаси свет.

Женщина не отнимала рук от лица, покуда не оказалась у стрелка за спиной. Она гасила лампы одну за другой, прикручивая фитили и вслед за этим дыханием задувая пламя. Потом в темноте она взяла его за руку, и рука эта оказалась теплой. Женщина отвела его вверх. Там не было света, чтобы укрывать от него соитие.

6

Стрелок свернул в темноте две папиросы, раскурил и одну передал женщине. Комната хранила аромат хозяйки — трогательный свежий аромат сирени. Запах пустыни забивал его, уродовал, калечил. Он

был словно запах моря. Стрелок понял, что боится пустыни, которая ждала его впереди.

— Его звать Норт, — сказала женщина. Ее голос не утратил ни капли прежней резкости. — Просто Норт. Он умер.

Стрелок ждал.

— Его коснулась рука Господа.

Стрелок сказал:

— Я еще ни разу Его не видел.

— Сколько себя помню, все он здесь обретался... Норт, я хочу сказать, а не Господь. — Она пьяно расхохоталась в темноте. — Одно время был тутощим золотарем. Стал пить. Траву нюхать. Потом курить ее. Ребятня начала таскаться за ним повсюду, науськивать собак. И ходил он в старых зеленых штанах, от которых воняло. Понимаешь?

— Да.

— Он начал жевать траву. Под конец уж просто сидел тут у нас и ничего не ел. В мыслях-то он, может, королем себя видел. Может, мальчишки были его шутами, а их собаки — принцессами.

— Да.

— Он помер прямо перед нашим заведением, — продолжала она. — Явился, топоча по тротуару как слон — ходил-то он в саперных башмаках, таким сносу нет, — а за ним хвостом ребятня да собаки. И похож он был на клубок проволочных одежных вешалок, коли их перекрутить да завернуть все вместе. В глазах адские огни горели, а он знай себе скалился — точь-в-точь такие ухмылки детишки вырезают тыквам в канун Дня всех святых. Разило от Норта грязью, гнилью и травой: она стекала из углов рта, как зеленая кровь. Я думаю, он хотел зайти послушать, как Шеб играет на пианино. Прямо перед дверью Норт остановился и вскинул голову. Мне было его видно, и я подумала, что он услышал дилижанс, хоть никакого дилижанса мы не ждали. Тут его вывернуло таким черным, там было полно крови, и все это лезло прямо сквозь его ухмылку, точно сточные воды сквозь решетку. Воняло так, что рехнуться можно было. Норт поднял руки и просто повалился. И все. Умер с этой своей ухмылкой на губах, в собственной блевотине.

Женщина подле него дрожала. Снаружи без умолку тонко скулил ветер и где-то вдалеке хлопала дверь — звук был таким, будто его слышишь во сне. За стенами бегали мыши. В дальнем уголке сознания стрелка промелькнула мысль, что это, вероятно, единственное заведение в городе, процветающее настолько, чтобы прокормить мышей. Он положил руку женщине на живот. Она сильно вздрогнула, потом расслабилась.

— Человек в черном, — напомнил он.

— Обязательно надо все выспросить, да?

— Да.

— Ладно. Расскажу. — Она обеими руками вцепилась ему в руку и рассказала.

Он появился на склоне того дня, когда умер Норт. Буянил ветер: сдувая верхний рыхлый слой почвы, он гнал по улицам завесу песка и крутящиеся ветряками кукурузные стебли. Кеннерли повесил на двери конюшни замок, прочие же немногочисленные лавочники закрыли витрины ставнями и заперли ставни доской. Небо было желтым, как лежалый сыр, и тучи летели по нему столь стремительно, будто в бесплодных просторах пустыни, где побывали так недавно, увидели нечто ужасающее.

Он приехал на шаткой повозке, обвязанной мелко рябившей под ветром парусиной. За его появлением следили, и старик Кеннерли, лежавший у окна с бутылкой в одной руке и горячей, рыхлой грудью своей второй по старшинству дочке в другой, решил: если этот человек постучится, его нет дома.

Но человек в черном проехал мимо, не крикнув тянувшему повозку гнедому «Тпруу!». Колеса крутились, взбивая пыль, и ветер с готовностью подхватывал ее цепкими пальцами. Возможно, человек этот был монахом или священником: он был в припорошенной светлой пылью черной рясе, а голову покрывал просторный, затенявший лицо капюшон, который рябил и хлопал на ветру. Из-под облачения выглядывали тяжелые башмаки с пряжками и квадратными носами.

Остановившись перед заведением Шеба, человек в черном привязал лошадь. Гнедой опустил голову к земле и шумно фыркнул. Человек в черном обошел повозку, отвязал сзади один клапан, нашел выцветшую под солнцем и ветрами седельную сумку, забросил за плечо и вошел в трактир.

Алиса с любопытством следила за ним, но больше его прибытия никто не заметил. Все прочие были пьяны как сапожники. Шеб играл на манер рэгтайма методистские гимны, а седые бездельники, явившиеся рано, чтобы укрыться от бури и попасть на поминки по Нарту, уже успели допеться до хрипоты. Пальцы упившегося почти до бесчувствия Шеба, который испытывал сладострастное упоение от того, что его существование еще длится, порхали над клавишами с горячечной быстротой перелетающего от игрока к игроку волана, сновали, точно челнок ткацкого станка.

Хриплые, визгливые голоса и зычные вопли не могли заглушить ветра, хоть иной раз как будто были готовы потягаться с ним. В углу Захария, забросив юбки Эйми Фелдон ей на голову, малевал на коленках девицы знаки зодиака. По комнате крутилось еще несколько женщин. Их щеки горели жарким румянцем. Сочившееся в двери заведения предгрозовое зарево словно бы передразнивало их.

Норта положили на два стола в центре комнаты. Его башмаки сложились в мистическое V. Ослабшая челюсть отвисла в ухмылке, однако глаза ему кто-то закрыл, положив на веки по пуле. Руки Норта

с веточкой бес-травы были сложены на груди. От него шла несусветная вонь.

Человек в черном откинул капюшон и подошел к стойке. Алиса глядела на него, ощущая трепет, смешанный с таившимся у нее внутри знакомым желанием. Никаких религиозных символов на человеке не было, хотя само по себе это ничего не значило.

— Виски, — сказал он. Голос был негромким и приятным. — Хорошего виски.

Она полезла под стойку и выставила бутылку «Звезды». Алиса могла бы всучить ему местную самогонку, как лучшее, что у нее есть, но не сделала этого. Она наливала, а человек в черном наблюдал за ней. У него были большие, светлые, блестящие глаза, но слишком густой полумрак не позволял точно определить, какого они цвета. Желание Алисы усилилось. Крики и гиканье позади не утихали. Шеб, никудышный мерин, заиграл «Рождественских солдат», и кто-то уговорил тетюшку Миль спеть. Ее искаженный до неузнаваемости голос прорезал стоявший в комнате гомон, точно тупой топор — мозг теленка.

— Эй, Элли!

Обиженная молчанием незнакомца, возмущенная бесцветностью его глаз и ненасытностью своего лона, она отошла, чтобы отпустить пива. Алиса страшилась своих желаний. Они были непостоянны, переменчивы и неуправляемы. Что, если они означали климакс, который, в свою очередь, предвещал подступающую старость — в Талле, как правило, недолгую и горькую, точно зимний закат.

Алиса цедила пиво, покуда бочонок не опустел, и сама почала другой, хорошо зная, что звать Шеба бессмысленно. Он прибежал бы весьма охотно, как пес — да он и был псом, — и если бы не отрубил себе пальцы, то залил бы пеной все вокруг. Пока она двигалась подле бочонка, незнакомец неотступно наблюдал за ней — Алиса чувствовала на себе его взгляд.

— Оживленно у вас, — сказал он, когда она вернулась. К виски он еще не притронулся и просто перекачивал стакан в ладонях, чтобы согреть.

— Поминки, — откликнулась Алиса.

— Я заметил покойного.

— Все они бездельники и любители пожить на чужой счет, — с неожиданной ненавистью сказала она. — Все любят дармовщинку.

— Их это возбуждает. Он мертв. Они — нет.

— Когда он был жив, над ним насмехались все, кому не лень. Несправедливо, если и сейчас он будет посмешищем. Это... — Она осеклась, не в состоянии выразить, каково это или насколько оно непристойно.

— Травоед?

— Да! Что ему оставалось?

Тон был обвиняющим, но незнакомец не опустил глаз, и она ощутила, как кровь бросилась ей в лицо.

— Прошу прощения. Вы священник? Должно быть, вас от такого с души воротит.

— Я не священник, и с души меня не воротит. — Он аккуратно опрокинул виски в рот, даже не поморщившись. — Будьте любезны, еще.

— Извиняюсь, сперва надо поглядеть, какого цвета ваша монета.

— Что же извиняться?

Он положил на стойку грубо сделанную серебряную монету, толстую с одного края и тонкую — с другого, и Алиса сказала, как потом скажет снова:

— Сдачи у меня нету.

Он отмахнулся, покачав головой, и рассеянно посмотрел, как она наливает ему вторую порцию спиртного.

— Вы только проездом? — спросила она.

Человек в черном долгое время не отвечал, и Алиса уже собралась повторить свой вопрос, но он нетерпеливо тряхнул головой.

— Не говорите банальностей. У вас тут смерть.

Обиженная и изумленная, Алиса отшатнулась, и ее первой мыслью было, что этот человек солгал относительно своей праведности, дабы испугать ее.

— Он был вам небезразличен, — решительно сказал ее собеседник. — Разве я грешу против истины?

— Кто? Норт? — Она рассмеялась, скрывая замешательство за напускной досадой. — Думаю, вам лучше...

— Вы мягкосердечны и немного напуганы, — продолжал незнакомец, — он же, пристрастившись к траве, выглядывал из пекла с черного хода. Теперь он там, и за ним тут же захлопнули дверь, и вы не думаете, что ее откроют раньше, чем придет время и вам переступить этот порог. Правильно?

— Никак, вам в голову ударило?

— Мистер Нортон помер, — с угрюмой насмешкой передразнил человек в черном. — Мертвый он, как каждый-всякий. Как вы или любой другой.

— Катись из моего заведения. — Женщина почувствовала внутри дрожь пробудившегося отвращения, но ее лоно все еще лучилось теплом.

— Ничего, — тихо сказал он. — Ничего. Погодите. Только погодите.

Глаза были голубыми. Она вдруг ощутила пустоту в мыслях, словно приняла наркотик.

— Видите? — спросил он ее. — Видите, да?

Она тупо кивнула, и он рассмеялся — то был красивый, звучный смех неиспорченного человека, на который все повернули головы. Круто обернувшись, пришелец смело встретил взгляды, словно ка-

ким-то непонятным чудом сделался центром всеобщего внимания. Голос тетушки Миль дрогнул и замер, в воздухе повисла высокая, надтреснутая, невыразимо тоскливая нота. Шеб сфальшивил и оборвал мелодию. Они с беспокойством смотрели на чужака. По стенам дома дробно постукивали песчинки.

Молчание длилось, тишина разматывала свои нити. У Алисы в горле застряло загустевшее дыхание, она опустила глаза и увидела, что обе ее ладони прижались под стойкой к животу. Все смотрели на человека в черном, а он смотрел на них. Потом снова разразился смехом — сочным, громким, явственным. Однако никто не спешил подхватить.

— Я явлю вам чудо! — выкрикнул человек в черном. Но они только молчали и смотрели, словно послушные дети, которых взяли поглядеть на волшебника, а они уже слишком выросли, чтобы верить в него.

Человек в черном бросился вперед, и тетушка Миль отпрянула. Он с неприятной улыбкой похлопал ее по обширному животу. У тетушки Миль невольно вырвалось короткое клохтанье, и человек в черном откинул голову:

— Так лучше, не правда ли?

Тетушка Миль снова закудаhtала, неожиданно разразилась всхлипами и, как слепая, выбежала за дверь. Остальные молча смотрели, как она исчезает за порогом. Начиналась буря: по белой круговой панораме неба, вздымаясь и опадая, чередой пробегали тени. У пианино какой-то мужчина с позабытой кружкой пива в руке издал тяжелый вздох, в котором слышалась усмешка.

Человек в черном встал над Нормом. Он глядел вниз, на покойного, и ухмылялся. Ветер выл, визжал, гудел гитарной струной. В стену трактира ударило и отлетело что-то большое. Один из стоявших у стойки оторвался от нее и нелепо-широкими шагами, выписывая вензеля, ушел. Внезапно грянули сухие раскаты грома.

— Хорошо, — усмехнулся человек в черном. — Ладно. Давайте приступим к делу.

Тщательно целясь, он принялся плевать Норму в лицо. Плевки поблескивали на лбу покойника, жемчугами скатывались с заострившегося по-птичьи носа.

Руки Алисы под стойкой заработали быстрее.

Шеб загоготал — ни дать, ни взять неотесанный деревенский парень — и согнулся, отхаркивая гигантские густые комки мокроты. Рта он не прикрывал. Человек в черном одобрительно взревел и хлопнул тапера по спине. Шеб осклабился, сверкнул золотой зуб.

Кое-кто сбежал. Другие широким кольцом окружили Норта. На его лице, на морщинистой шее, где кожа обвисла складками, как у быка, блестела влага — влага, столь драгоценная в этом краю засух. Вдруг, словно по сигналу, плевки прекратились. Слышалось неровное тяжелое дыхание.

Человек в черном стремительно прынул вперед, пронырнул над трупом и переломился в поясе, описав ровную дугу. Вышло красиво, будто плеснула вода. Он приземлился на руки, прыжком с поворотом очутился на ногах, ухмыльнулся и снова перемахнул через стол. Один из зрителей забылся, заплодировал и вдруг попятился прочь с помутневшими от ужаса глазами. Он с влажным шлепком зажал рот ладонью и кинулся к дверям.

Когда человек в черном в третий раз пролетал над Нортон, тот дернулся.

Среди зевак возник ропот — сдавленное оханье — и стало тихо. Человек в черном запрокинул голову и завыл. Он втягивал воздух, и его грудь ритмично вздымалась и опускалась в такт неглубокому частому дыханию. С удесятенной скоростью он заструился над телом Норта, словно вода, которую переливают из стакана в стакан. В трактире слышалось только его яростное резкое дыхание да усиливающиеся порывы штормового ветра.

Норт сделал глубокий жадный вдох и с грохотом заколотил руками по столу, бесцельно осыпая столешницу тяжелыми ударами. Шеб хрипло взвизгнул и исчез за дверью, следом за ним — одна из женщин.

Человек в черном вновь мелькнул над Нортон — раз, другой, третий. Теперь все тело Норта трепетало, тряслось, подергивалось, билось. От него удушливыми волнами поднимался запах гниения, испражнений и тлена. Норт открыл глаза.

Алиса почувствовала, что ноги несут ее вспять. Она задела зеркало, задрожавшее от удара, и, поддавшись слепой панике, метнулась прочь, как молодой кастрированный бычок.

— Я сделал тебе подарок, — тяжело отдуваясь, прокричал ей вслед человек в черном. — Теперь можешь спать спокойно. Однако и *это* обратимо. Зато... так... *занятно*, черт возьми! — И он снова захохотал. Алиса кинулась вверх по лестнице, и смех зазвучал тише, но оборвался он лишь тогда, когда дверь, ведущая в три комнаты над трактиром, оказалась на засове.

Тогда, присев под дверью на корточки и покачиваясь, она захихикала, и эти звуки переросли в пронзительные причитания, слившиеся с воем ветра.

Внизу Норт рассеянно убред в бурю, надергать травы. Человек в черном — единственный клиент, оставшийся в трактире, — продолжая ухмыляться, смотрел ему вслед.

Когда в тот вечер она заставила себя с лампой в одной руке и тяжелым поленом в другой снова сойти вниз, человек в черном уже исчез вместе с повозкой и всем прочим. Но Норт был там, он сидел за столом у входа, словно никуда и не уходил. От него пахло травой, но не так сильно, как можно было бы ожидать.

Он поднял голову, посмотрел на женщину и робко улыбнулся.

— Привет, Элли.

— Привет, Норт. — Она положила полено и принялась зажигать лампы, не поворачиваясь к Норту спиной.

— Меня коснулась рука Господа, — вскоре сказал он. — Я больше не умру. Так он сказал. Он обещал мне.

— Повезло тебе, Норт. — Дрожащие пальцы упустили лучину, и Алиса подняла ее.

— Хотелось бы мне бросить жевать траву, — проговорил он. — Нет больше для меня в этом радости. Негоже человеку, которого коснулась рука Господа, жевать траву.

— Что ж ты не бросишь?

Собственное озлобление удивило и напугало Алису, заставив вновь увидеть в Норте не столько дьявольское чудо, сколько человека. Экземпляр, представший ее глазам, являл собой довольно грустное зрелище: он был одурманен лишь наполовину и выглядел виноватым и пристыженным. Бояться его она больше не могла.

— Меня трясет, — сказал он. — Тянет к траве. Я не могу бросить. Элли, ты всегда была так добра ко мне... — Он заплакал. — Я мочить штаны и то не могу бросить.

Алиса подошла к столу и помедлила в нерешительности.

— Он мог бы сделать так, что меня бы на нее не тянуло, — выговорил Норт сквозь слезы. — Мог бы, раз уж сумел меня оживить. Я не жалуюсь... не хочу жаловаться... — Он затравленно огляделся и прошептал: — Коли я буду жаловаться, оц может поразить меня насмерть.

— Может, это шутка. У него, похоже, то еще чувство юмора.

Норт достал висевший у него под рубахой кисет и вытащил горсть травы. Алиса бездумно смела ее прочь и, ужаснувшись, убрала руку.

— Ничего не могу поделать, Элли, ничего... — И его рука снова неловко нырнула в мешочек. Алиса могла бы остановить его, но даже не попыталась. Она снова взялась зажигать лампы, чувствуя усталость, хоть вечер едва начался. Но той ночью в трактир заглянул только все прозевавший старик Кеннерли. Увидев Норта, конюх как будто бы не особенно удивился. Он заказал пива, поинтересовался, где Шеб, и облапал Алису. На следующий день все почти вошло в норму, хотя ни один мальчишка за Нортом не таскался. Еще через день возобновились свистки. Жизнь пошла своим приятным чередом. Дети собрали вырванную ветром кукурузу в кучу, а через неделю после воскресения Норта подожгли ее посреди улицы. Через несколько минут вспыхнуло яркое, сильное пламя, и почти все завсегдатаи заведения — кто ровным шагом, кто пошатываясь, — вышли посмотреть. Выглядели они примитивно. Их лица словно бы парили между огнем и небесами, слепившими блеском ледяных осколков. Глядя на них, Элли ощутила укол мимолетного отчаяния от того, какие грустные времена настали. Все расплзлось. В середке вещей больше не было клея. Она никогда не видела океана — и уже никогда не увидит.

— Ах, кабы мне хватило духу, — пробормотала она. — Кабы хватило мне духу, духу, духу...

При звуке Алисиного голоса Норт поднял голову и бессмысленно улыбнулся ей из пекла. Духу ей не хватало. Шрам да кабак — вот все, что у нее было.

Костер быстро прогорел, и клиенты вернулись в заведение. Алиса принялась накачивать виски, «Звездой», и к полуночи была пьяна по-черному.

8

Женщина оборвала повествование и, не получив немедленного отклика, первым делом подумала, что рассказ усыпил стрелка. Она и сама начала уплывать в дрему, но тут он спросил:

— Это все?

— Да.

— Угм. — Стрелок сворачивал очередную папиросу.

— Табачища-то в постель не натряси, — велела она резче, чем собиралась.

— Не натрясу.

Снова воцарилось молчание. Огонек папиросы подмигивал, то разгораясь, то потухая.

— Утром ты уйдешь, — невыразительно сказала она.

— Да надо бы. Думаю, он расставил мне здесь ловушку.

— Не уходи, — сказала она.

— Посмотрим.

Стрелок повернулся на бок, отстранившись от нее, но Алиса успокоилась. Он оставался. Она задремала.

Уже засыпая, она опять подумала о том, с какими странными словами обратился к нему Норт. Ни до, ни после того она не замечала, чтобы стрелок выражал какие-нибудь чувства. Даже любовью он занимался молча, и лишь под конец его дыхание становилось неровным, а потом на миг замирало. Он словно явился из волшебной сказки или легенды — последний из своего племени в мире, пишущем последнюю страницу своей книги. Но это было неважно. Он собирался ненадолго задержаться. Завтра или послезавтра времени на раздумья будет довольно. Она уснула.

9

Утром Алиса сварила кашу из грубо смолотой овсяной крупы, и стрелок съел ее, не проронив ни слова. Он уплетал овсянку, не думая о женщине и едва ли замечая ее. Он знал, что должен идти. С каждой проведенной им за столом минутой человек в черном оказывался все дальше — вероятно, сейчас он был уже в пустыне. Его стезя неуклонно вела на юг.

— У тебя есть карта? — вдруг спросил стрелок, поднимая на Алису глаза.

— Чего, поселка? — рассмеялась она. — Маловаты мы для карты.

— Нет. Того, что за поселком, на юге.

Улыбка Алисы поблекла.

— Там пустыня. Просто пустыня. Я думала, ты немного побудешь в Талле.

— А на юге пустыни что?

— Почему я знаю? Через нее никто не ходит. С тех пор, как я здесь, никто даже и не пытался. — Она вытерла руки о передник, взяла прихватки и опрокинула лохань, в которой грела воду, в раковину. Вода заплескалась, от нее пошел пар.

Стрелок встал.

— Ты куда? — В своем голосе Алиса расслышала визгливую ноту страха и возненавидела себя за это.

— На конюшню. Если кто и знает, так это конюх. — Он положил руки ей на плечи. Ладони были теплыми. — Заодно договорюсь насчет мула. Раз я собираюсь задержаться здесь, нужно, чтоб за ним был уход. До моего отбытия.

Еще не сейчас. Алиса поглядела на него снизу вверх.

— Поосторожней с Кеннерли. Даже если он ничего не знает, так тут же сочинит.

Когда стрелок ушел, она повернулась к раковине, чувствуя, как медленно текут горячие, страстные слезы благодарности.

10

Кеннерли был беззуб, неприятен и страдал от засилья дочерей. Пара девчонок-подростков поглядывала на стрелка из пыльного сумрака сарая. В грязи радостно пускал слюни младенец женского пола. Взрослая дочь — светловолосая, чувственная замарашка — с задумчивым любопытством наблюдала за ними, набирая воду из стонущей колонки подле строения.

Конюх встретил стрелка на полпути от улицы ко входу в свое заведение. В его манере держаться ощущались колебания между враждебностью и неким малодушным раболепием, какое встречается у дворняг, живущих при конюшне и слишком часто получающих пинки.

— Заботимся, заботимся о нем, — сообщил он, и не успел стрелок ответить, как Кеннерли накинулся на дочь: — Пошла, Суби! А ну давай прямым ходом в сараюшку, леший тебя возьми!

Суби хмуро поволокла ведро к пристроенной сбоку сарая убогой хибарке.

— Ты говорил о моем муле, — сказал стрелок.

— Да, сэр. Давненько я не видал мулов. Было времечко, их не хватало, и дикими же они росли... но мир сдвинулся с места. Ничего

я не видамши, окромя нескольких коровенок, да лошадей, что возят дилижансы, да... Суби, Бог свидетель, выпорю!

— Я не кусаюсь, — любезно сообщил стрелок.

Кеннерли едва заметно раболепно съежился.

— Не в вас дело. Нет, сэр, не в вас. — Он широко ухмыльнулся. — Просто она с придурью, такая уж уродилась. Бес в ней сидит. Никакого сладу с девкой. — Глаза старика потемнели. — Конец света подходит, мистер. Знаете, как в Писании: «Чада не станут повиноваться родителям своим, и на толпы найдет чума».

Стрелок кивнул и показал на юг:

— Что там?

Кеннерли ухмыльнулся, показав десны и редкие, расположенные попарно зубы.

— Поселенцы. Трава. Пустыня. Что ж еще? — Он мерзко хихикнул и смерил стрелка холодным взглядом.

— Пустыня большая?

— Большая. — Кеннерли старался выглядеть серьезным. — Может, три сотни миль. Может, тысяча. Это я вам, мистер, не скажу. Ничего там нету, кроме бес-травы да еще, может, демонов. Туда ушел тот другой мужик. Который поставил Норти на ноги, когда он занемог.

— Занемог? Я слышал, он умер.

Ухмылка не сходила с губ Кеннерли.

— Ну, ну. Может, и так. Но мы же взрослые люди, верно?

— Однако в демонов ты веришь.

Кеннерли казался оскорбленным.

— Это ж совсем другое дело.

Стрелок снял шляпу и утер лоб. Воздух пронизывали жаркие лучи солнца, подобного мерно бьющемуся раскаленному сердцу. Кеннерли этого словно бы не замечал. Малышка в жидкой тени конюшни с серьезным видом размазывала грязь по лицу.

— А что за пустыней, не знаешь?

Кеннерли пожал плечами.

— Кто-нибудь, может, и знает. Пятьдесят лет назад, говаривал мой старик, там ходили дилижансы. Его послушать, там горы. Другие толкуют, океан... зеленый океан со всякими чудищами. А кой-кто болтает, что край света. Будто ничего там нету, окромя огней да еще лика Божьего, и рот у него открыт, чтобы поглотить их.

— Бред, — коротко объявил стрелок.

— Ясное дело! — радостно выкрикнул Кеннерли и вновь раболепно съежился, переполняемый ненавистью, страхом и желанием угодить.

— Смотри, чтоб о моем муле не забывали. — Стрелок кинул Кеннерли еще одну монету, и Кеннерли поймал ее на лету.

— Уж будьте уверены. Решили подзадержаться?

— Думаю, можно.

— Элли-то куда как мила, коли хочет, верно?

— Ты что-то сказал? — отстраненно спросил стрелок.

В глазах Кеннерли двумя встающими из-за горизонта лунами внезапно забрезжил ужас.

— Нет, сэр, ни словечка. А коли сказал, так прошенья просим. — Конюх заметил высовывшуюся из окна Суби, проворно развернулся и накиннулся на нее: — Вот уж я тебя вздую, неряха! Богом клянусь! Вот я...

Стрелок зашагал прочь, сознавая, что Кеннерли повернулся и смотрит ему вслед, отдавая себе отчет, что, резко обернувшись, может застать проступившее в лице конюха выражение его подлинных чувств безо всяких примесей. Он махнул на это рукой. Было жарко. Пустыня? Сомнений не вызывали лишь ее размеры. Да и сцена в поселке еще не была сыграна до конца. Еще нет.

11

Когда Шеб пинком распахнул дверь и с ножом в руке переступил порог, они были в постели.

Четыре дня, проведенные стрелком в городе, пролетели в мерцающей дымке. Он ел. Он отсыпался. Он спал с Элли. Он обнаружил, что она играет на скрипке, и заставлял ее играть для себя. Сидя у окна в молочном свете раннего утра — просто профиль, ничего больше — Алиса, сбиваясь, наигрывала что-то, что могло бы быть недурно, если бы ее учили. Стрелок ощущал растущую (но странно рассеянную) привязанность к женщине и думал, что, возможно, это и есть ловушка, расставленная ему человеком в черном. Он читал старые журналы — сухие, истрепанные, с выцветшими картинками. И очень мало задумывался о чем бы то ни было.

Как маленький тапер поднялся по лестнице, стрелок не услышал — его рефлексy ослабли. Но и это не казалось важным, хотя в другое время и в другом месте испугало бы не на шутку.

Элли лежала в чем мать родила, простыня сползла под грудь — они готовились заняться любовью.

— Пожалуйста, — говорила она. — Я хочу, как раньше, хочу...

Дверь с треском распахнулась, и тапер, смешно выворачивая колени внутрь, ринулся к своей цели. Элли не закричала, хотя Шеб держал в руке восьмидюймовый мясницкий нож. Пианист издавал какие-то невнятные булькающие звуки, точно человек, который тонет в ведре с жидкой грязью. Летела слюна. Он обеими руками опустил нож; перехватив запястья тапера, стрелок выкрутил их. Нож отлетел. Шеб издал высокий скрипучий звук сродни визгу ржавых дверных петель. Руки затрепыхались, как у марионетки — оба запястья были сломаны. Ветер бросал в окна песком. Висевшее на стене немного неровное, мутноватое зеркало Элли отражало комнату.

— Она была моя! — Шеб зарыдал. — Сперва она была моя! Моя!

Элли посмотрела на него и вылезла из кровати. Она завернулась в халат, и стрелок ощутил укол сочувствия к человеку, который, должно быть, видел себя выходящим с дальнего конца своих бывших владений. Шеб был попросту маленьким человечком, вдобавок лишенным мужских достоинств.

— Ради тебя, — всхлипывал Шеб. — Только ради тебя, Элли. Вначале была ты, и все это было для тебя. Я... ах, Господи, Боже милостивый... — Слова растворились в пароксизме невнятицы, завершившемся слезами. Тапер раскачивался, держа сломанные запястья у живота.

— Ш-ш-ш. Ш-ш-ш. Дай-ка посмотрю. — Алиса опустилась рядом с ним на колени. — Сломаны. Шеб, осел ты, осел. Неужто ты не знаешь, что никогда не был сильным? — Она помогла пианисту подняться. Тот попытался закрыть лицо руками, но они не повиновались ему, и Шеб, не таясь, заплакал. — Пойдем к столу, погляжу, что можно сделать.

Она отвела его к столу, достала из деревянного ларя дощечки для растопки и приспособила Шебу к запястьям. Шеб против собственной воли слабо всхлипывал и ушел, не оглянувшись.

Элли вернулась в постель.

— На чем мы остановились?

— Нет, — сказал стрелок.

Она терпеливо проговорила:

— Ты же знал это. Тут ничего не поделаешь. Что еще здесь есть? — Она коснулась его плеча. — Но я рада, что ты такой сильный.

— Не сейчас, — сипло сказал он.

— Я могу сделать тебя еще сильнее...

— Нет, — оборвал он ее. — Этого ты не можешь.

12

Вечером следующего дня трактир был закрыт. Настало то, что в Талле считалось днем отдыха. Стрелок отправился в крохотную покосившуюся церковь у погоста, а Элли тем временем мыла сильным дезинфицирующим средством столы и полоскала трубки керосиновых ламп в мыльной воде.

Спустились странные лиловые сумерки. Освещенная изнутри церковь от дороги казалась очень похожей на топку.

— Я не пойду, — коротко сказала Элли. — Та женщина проповедует пагубную веру. Пусть туда ходят уважаемые люди.

Стрелок стоял на паперти, укрывшись в тени, и заглядывал внутрь. Скамей не было, и паства стояла (он увидел Кеннерли с выводком; владельца местной убогой галантерейной лавки Каснера и его жену с костлявыми боками; нескольких «городских» женщин, которых он прежде ни разу не встречал и, к своему удивлению, Шеба). Собрание отрывисто, а капелла, исполняло гимн. Он окинул любопытным

взглядом громадную женщину на кафедре. Элли сказала ему: «Она живет одна и мало с кем видится. Выходит только по воскресеньям, чтоб раздуть адское пламя. Звать ее Сильвия Питтстон. Она полоумная, однако порчу на них навела, сумела. А им это по вкусу. Им того и надо!»

Женщина была такой, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Грудь напоминали земляные укрепления. На гигантской колонне шея возвышалась одутловатая, бледная луна лица, с которой мерцали глаза — такие большие и темные, что казались бездонными горными озерами. Красивые темно-каштановые волосы были всклокочены и торчали во все стороны, как у безумной. Удерживавшая их шпилька могла бы без труда заменить шампур. Платье, казалось, сшито из мешковины. Руки, державшие сборник церковных гимнов, больше походили на два горбыля. Кожа у женщины была чудесной — сливочно-белой, без отметин. Стрелок подумал, что весу в проповеднице, должно быть, больше трехсот фунтов. И ощутил внезапное накаленное докрасна вожделение, от которого ему стало дурно. Он отвернулся и отвел глаза.

*Соберемся мы у реки,
У прекрасной, прекрасной рееееки,
Соберемся мы у реки,
Что течет близ Царствия Божия.*

Замерла последняя нота последнего припева, и на миг воцарилась тишина, которую нарушало лишь покашливание и шарканье ног.

Женщина ждала. Когда все успокоились, она простерла руки, словно благословляя собрание. Жест-напоминание.

— Возлюбленные братцы и сестрицы во Христе!

Неотвязный рефрен. Стрелок на мгновение ощутил смесь ностальгии и страха, прошитых жутким ощущением *дежа вю*, уже виденного раньше. Он подумал: «Я видел это во сне. Когда?», но отогнал эту мысль. Слушатели — в общей сложности, возможно, человек двадцать пять — погрузились в мертвое молчание.

— Сегодня тема наших размышлений — Лукавый. — У нее был приятный, мелодичный голос — выразительное, хорошо поставленное сопрано.

По собранию прошелестел шепоток.

— Мне кажется, — задумчиво промолвила Сильвия Питтстон, — мне кажется, что каждого в Писании я знаю лично. За последние пять лет я зачитала до дыр пять Библий, и несчетное число — до того. Я люблю это повествование, люблю всех действующих в нем лиц. Рука об руку с Даниилом я входила в ров со львами. Я стояла подле Давида, когда его искушала купающаяся в водоеме Вирсавия. Я была с Седрахом, Мисахом и Авденаго в печи, раскаленной огнем. Вместе с Самсоном я истребила две тысячи филистимлян и вместе со святым

Павлом была ослеплена на дороге в Дамаск. Вместе с Марией я плакала на Голгофе.

Паства тихо зашушукалась.

— Я узнала и полюбила их. Лишь одного... *одного*... — она подняла палец, — лишь *одного* участника величайшей из всех драм я не знаю. Лишь *один* стоит в стороне, и тень на лице его. Лишь *один* ввергает тело мое в дрожь, а дух — в трепет. Я боюсь его. Я не знаю, что у него на уме, и я боюсь его. Я боюсь Лукавого.

Новый вздох. Одна из женщин зажала рот ладонью, словно желая сдержать какой-то звук, и раскачивалась, раскачивалась без остановки.

— Лукавого, который явился Еве в обличье Змия, пресмыкаясь на брюхе, извиваясь и ухмыляясь. Лукавого, который ходил среди детей Израилевых, пока Моисей был на горе, того, кто нащептал им сделать золотого идола, золотого тельца, и поклоняться ему в блуде и скверне.

Стоны, кивки.

— Лукавого! Он стоял на балконе с Иезавелью и смотрел, как царь Ахав с криком падает навстречу гибели, и вместе усмехались они, когда псы сбежались лизать от крови жизни его. Братцы и сестрицы, будьте же начеку, остерегайтесь Лукавого!

— Да. О, Иисус... — Мужчина, которого стрелок в первый раз заметил, входя в город — тот, в соломенной шляпе.

— Братья и сестры, он был здесь всегда. Но я не знаю, что у него на уме. Не знаете и вы. Кому дано постичь кружащуюся там водоворотом ужасную тьму? столпы гордыни? не знающее меры богохульство? нечестивое ликование? Безмерное, бессмысленно бормочущее безумие, что входит, вползает, втирается в самые страшные желания и страсти человеческие?

— О, Спаситель Иисус...

— Это *он* возвел Господа нашего на гору...

— Да...

— Это *он* искушал его, суля весь мир и все радости земные...

— Даааа...

— Это *он* вернется, когда настанут Последние Времена... а они грядут, братья и сестры, разве вы не чувствуете этого?

— Дааа...

Раскачивающееся, всхлипывающее молитвенное собрание превратилось в море; казалось, женщина указывает на всех — и ни на кого.

— Это *он* в обличье Антихриста придет увести людей в пылающие недра вечных мук и гибели, к кровавому концу греховности, когда Звезда Полынь воссияет в небе, когда желчь разест утробы детей, когда женское чрево породит чудовищ и в кровь обратятся деяния человеческие...

— Аххххх...

— Ах, Господи...

— Гррррррр...

Какая-то женщина повалилась на пол, с грохотом колотя ногами по доскам. Один башмак у нее слетел.

— Это он стоит за всяким плотским наслаждением... он! Лукавый!

— Да, Господи!

Какой-то мужчина, насадно крича, упал на колени, обхватив руками голову.

— Когда вы пьете, кто держит бутылку?

— Лукавый!

— Когда садитесь играть в «фараона» или «глянь-ка», кто открывает карты?

— Лукавый!

— Когда буйствуете во плоти другого тела, когда оскверняете себя, кому продаете душу свою?

— Лу...

— Лука...

— ...кавому...

— Ууу... ууу... ууу...

— Но кто же он? — пронзительно выкрикнула проповедница (сохраняя, однако, хладнокровие — стрелок чувствовал этот внутренний бесстрастный холод: женщина мастерски владела собой и аудиоторией, господствуя над ней). Внезапно он с ужасом и непоколебимой уверенностью подумал: она зачала от человека в черном демона. Она одержима злым духом. И сквозь страх вновь ощутил жаркую дрожь желания.

Державшийся за голову мужчина, спотыкаясь, вывалился вперед.

— Я в пекле! — запрокинув к проповеднице голову, завопил он. Его лицо дергалось и кривилось, словно под кожей шевелились змеи. — Я согрешил блудом! Я согрешил игрой! Я согрешил травой! Я *грешил*! Я... — Но его голос вознесся к небесам в страшном истерическом вое, поглотившем слова. Он держался за голову, словно та в любую минуту могла лопнуть, как перезревшая дыня.

Молящиеся как по команде замерли в полуэротических позах экстаза.

Сильвия Питтстон потянулась рукой вниз и ухватила мужчину за голову. Сильные и белые, безупречные и нежные пальцы пробрались в волосы, и плач оборвался. Мужчина немо смотрел на нее снизу вверх.

— Кто был с тобой во грехе? — спросила она. Ее глаза — достаточно глубокие, достаточно спокойные и достаточно холодные, чтобы в них утонуть, заглянули в глаза мужчины.

— Лу... Лукавый.

— Как имя ему?

Грубый замирающий шепот:

— Имя ему Сатана.

— Отречешься ли ты от него?

Нетерпеливое, страстное:

— Да, да! О Иисус, мой Спаситель!

Женщина запрокинула ему голову. Мужчина уставился на нее пустыми сияющими глазами фанатика.

— Если он войдет в эту дверь... — проповедница с силой ткнула пальцем в сумрак паперти, где стоял стрелок, — ...отречешься ли ты от него перед лицом его?

— Клянусь именем матери!

— Веришь ли ты в вечную любовь Иисуса?

Мужчина зарыдал.

— Верю, б.... буду, верю...

— Он прощает тебе, Джонсон.

— Хвала Господу, — сквозь рыдания выговорил Джонсон.

— Я знаю, что Он прощает тебя — так же, как знаю, что Он изгонит нераскаившихся из чертогов своих и ввергнет во тьму горящую.

— *Хвала Господу*, — торжественно и утробно прожурчало собрание.

— Так же, как знаю, что этот Лукавый, этот Сатана, этот Повелитель Мух и Змей будет низринут и сокрушен... сокрушишь ли ты его, увидев, Джонсон?

— Да, хвала Господу! — всхлипнул Джонсон.

— Сокрушите ли и вы его, увидев, братья и сестры?

— Дааа... — Хор голосов звучал пресыщенно.

— Если завтра вы увидите, как он лентой вьется по Главной улице?

— Хвала Господу...

Расстроенный и смущенный стрелок тем временем исчез за дверью и направился в поселок. В воздухе отчетливо пахло пустыней. Время двигаться дальше почти настало. Почти.

13

Снова в постели.

— Она не примет тебя, — сказала Элли. Голос у нее был испуганный. — Она ни с кем не видится. Выходит только по воскресеньям — напугать всех до смерти.

— Давно она здесь?

— Лет двенадцать. Давай не будем о ней говорить.

— Откуда она пришла? С какой стороны?

— Не знаю. — Явная ложь.

— Элли?

— *Я не знаю.*

— Элли?

— Ладно! Хорошо! Она явилась от поселенцев! Из пустыни!

— Я так и думал. — Он немного расслабился. — Где она живет?

Голос Элли едва заметно сел.

— Если скажу, приласкаешь меня?

— Ты знаешь ответ.

Она вздохнула. Звук напоминал шелест старых, пожелтевших страниц.

— Ее дом на пригорке за церковью. Маленькая лачуга. Там жил настоящий священник... пока не съехал. Хватит с тебя? Доволен?

— Нет. Еще нет. — Он повернулся и навалился на нее.

14

День был последним, и стрелок знал это.

Небо, уродливо-лиловое, точно кровоподтек, сверху горело под перстами ранней утренней зари. Элли привидением бродила по дому, зажигая лампы и приглаживая за шипевшими на сковороде кукурузными оладьями. После того, как она рассказала стрелку то, что ему необходимо было узнать, он страстно набросился на нее, и, угадав надвигающуюся развязку, Элли отдавалась ему так щедро, как никогда в жизни — она отдавалась, отчаянно не желая наступления рассвета, отдавалась без усталости, с энергией шестнадцатилетней. Однако утром вновь была бледна, на грани менопаузы.

Она без единого слова подала ему завтрак. Стрелок ел быстро — жевал, глотал, запивал каждый кусок горячим кофе. Элли ушла к дверям и стояла, оцепенело глядя в утро, на молчаливые батальоны медленно движущихся облаков.

— Сегодня будет пыльная буря.

— Ничего удивительного.

— А вообще ты когда-нибудь удивляешься? — иронически спросила она и, обернувшись, увидела, что он взялся за шляпу. Нахлобучив ее, стрелок протиснулся мимо Алисы.

— Иногда, — сообщил он. Живой он увидел Алису еще только один раз.

15

К тому времени, как он добрался до лачуги Сильвии Питтстон, ветер полностью стих и весь мир словно погрузился в ожидание. Стрелок пробыл в краю пустынь достаточно долго, чтобы знать: чем дольше затишье, тем яростнее задует ветер, когда наконец решится подняться. Воздух был напоен странным матовым светом.

К двери устало покосившегося жилища был прибит большой деревянный крест. Стрелок постучался и подождал. Ответа не было. Он снова постучал. Никакого отклика. Стрелок отступил на шаг, и его правый башмак с силой ударил по двери. Небольшой внутренний засов треснул и отскочил. Дверь грохнула о стену, вкривь и вкось обшитую досками, и спугнула крыс, которые со всех лап кинулись наутек. Сильвия Питтстон сидела в холле, в гигантском кресле-качалке из черного дерева, и спокойно рассматривала стрелка большими

темными глазами. Предгрозовый свет падал ей на щеки жуткими серыми тенями. На Сильвии была шаль. Качалка едва слышно поскрипывала.

Они обменялись долгим взглядом вне времени.

— Ты никогда его не догонишь, — сказала Сильвия. — Ты идешь стезей зла.

— Он приходил к тебе, — сказал стрелок.

— И в мою постель. Он говорил со мной на Языке. Он...

— Он трахал тебя.

Женщина не дрогнула.

— Ты идешь стезей зла, стрелок. Ты держишься в тени. Вчера вечером ты держался в полумраке святого места. Неужто ты думал, будто я тебя не разгляжу?

— Зачем он исцелил травоеда?

— Он ангел Божий. Так он сказал.

— Надеюсь, это было сказано с улыбкой.

Она приподняла губу, безотчетно, как дикий зверь, показав зубы.

— Он говорил мне, что ты прийдешь следом. И объяснил, что делать.

Он сказал, что ты — Антихрист.

Стрелок покачал головой.

— Этого он не говорил.

Глядя на него снизу вверх, женщина лениво улыбнулась.

— Он сказал, что ты захочешь возлечь со мной. Хочешь?

— Да.

— Цена — твоя жизнь, стрелок. Я зачала от него дитя... дитя ангела. Если ты войдешь в меня... — Позволив закончить свою мысль ленивой усмешке, Сильвия повела могучими бедрами, натянувшими платье, будто безупречные мраморные глыбы. Эффект был головокружительным.

Стрелок опустил руки к рукояткам пистолетов.

— В тебе демон, женщина. Я могу убрать его.

Его слова мигом возымели действие. Сильвия отпрянула, вжалась в спинку кресла, а на лице вспыхнуло хитрое и хищное выражение.

— Не прикасайся ко мне! Не подходи! Ты не смеешь тронуть Невесту Господа!

— Хочешь, поспорим? — сказал стрелок, усмехаясь. Он сделал шаг в ее сторону.

Плоть, облекавшая огромный остов, пискнула. Лицо женщины превратилось в карикатуру на безумный ужас, и она ткнула в стрелка выставленными вилкой пальцами, творя знак Ока.

— Пустыня, — сказал стрелок. — Что за пустыней?

— Ты никогда его не догонишь! Никогда! Ты сгоришь! Так он мне сказал!

— Я поймаю его, — сказал стрелок. — Мы оба это знаем. Что за пустыней?

— Нет!

— Отвечай!

— Нет!

Он незаметно прокрался вперед, упал на колени и вцепился ей в бедра. Ноги женщины сомкнулись намертво, как тиски. Она издавала похожие на причитания странные, сладострастные звуки

— Значит, демон, — сказал он.

— Нет...

Он грубым рывком разнял ее стиснутые колени и вытащил из кобуры револьвер.

— Нет! Нет! Нет! — Короткие, свирепые, утробные выдохи.

— Отвечай.

Сильвия качнулась в кресле, и пол задрожал. С ее губ слетали мольбы и бессвязные обрывки какой-то тарабарщины.

Стрелок пропихнул ствол пистолета вверх и скорее почувствовал, чем услышал, как легкие женщины шумно засасывают воздух в полном ужаса вздохе. Она осыпала ударами его голову, барабанила по полу ногами. В то же время огромное тело пыталось захватить вторгшийся в него предмет, заключить его в свою утробу. Снаружи за ними следило одно только фиолетовое небо.

Она что-то провизжала — пронзительно, тонко, нечленораздельно.

— Что?

— Горы!

— И что же горы?

— Он делает привал... по другую сторону... Боже милостивый... набирается сил. Медитирует, понятно? О... я... я...

Внезапно вся эта огромная гора мяса напряглась, устремилась вперед и вверх, и все же стрелок был осторожен и не позволил укромной плоти женщины коснуться себя.

Тогда Сильвия словно бы лишилась сил, поникла, съежилась и, уронив руки в колени, разрыдалась.

— Итак, — сказал стрелок, поднимаясь, — демона мы обслужили, а?

— Убирайся. Ты убил дитя. Убирайся. Убирайся вон.

У двери он остановился и оглянулся.

— Нет ребенка, — коротко бормотал он. — Ни ангела, ни демона.

— Оставь меня.

Он подчинился.

16

К тому времени, как стрелок прибыл к конюшне Кеннерли, на северном горизонте сгустилась странная мгла, и он понял, что это пыль. Воздух над Таллом был по-прежнему совершенно тих.

Кеннерли поджидал его на засыпанных сеном трухой подмостках, которыми служил пол сарая.

— Отбываете? — он униженно усмехнулся.

— Да.
— Но не перед бурей же?
— Впереди нее.
— Ветер летит быстрее, чем мул везет человека. И на открытом месте может убить.
— Мул мне будет нужен прямо сейчас, — просто сказал стрелок.
— Само собой. — Но Кеннерли не уходил: раздвинув губы в подобострастной, полной ненависти улыбке, он не двигался с места, будто соображал, что бы еще сказать, а его взгляд метнулся куда-то вверх, за плечо стрелка.

Стрелок отступил в сторону, одновременно обернувшись, и тяжелое полено, которое держала девушка по имени Суби, просвистело в воздухе, задев только локоть. Размахнулась Суби так сильно, что не удержала деревяшку, и та загремела на пол. С опасной высоты сеновала легкими тенями сорвались ласточки.

Девушка тупо, по-коровьи смотрела на него. Из-под застиранной рубахи выпирало перезревшее великолепие груди. Большой палец медленно, будто во сне, искал прибежища во рту.

Стрелок снова повернулся к Кеннерли. Кеннерли стоял — рот до ушей. Кожа приобрела восковую желтизну. Глаза бегали.

— Я... — начал он шепотом, с трудом ворочая языком в заполнившей рот густой слюне, и не сумел продолжить.

— Мул, — негромко напомнил стрелок.

— Конечно, конечно, само собой, — зашептал Кеннерли. Теперь в его ухмылке сквозил оттенок недоверия. Шаркая ногами, он отправился за мулом.

Стрелок отошел туда, откуда можно было следить за Кеннерли. Конюх вернулся с мулом и подал стрелку поводья.

— Иди, займись сестрой, — сказал он Суби.

Суби вскинула голову и не двинулась с места.

Стрелок ушел, а они стояли и пристально смотрели друг на друга: Кеннерли — с болезненной усмешкой, Суби — с немым бессловесным вызовом. Зной за стенами сарая по-прежнему напоминал кузнечный молот.

17

Стрелок вел мула по середине улицы, вздымая башмаками фонтанчики пыли. Бурдюки с водой были прикреплены ремнями к спине животного.

У заведения Шеба он остановился, но Элли там не оказалось. В задранный от надвигающейся бури трактире было пустынно, но все еще грязно — с предыдущего вечера. Алиса еще не бралась за уборку, и дом вонял, точно мокрый пес.

Он заполнил дорожный мешок припасами — кукурузная мука, сушеные и печеные початки, половинка куска сырого мяса, отыскавшаяся в леднике, — и оставил на дощатом прилавке четыре сложен-

ных столбиком золотых монеты. Элли не спускалась. Пианино Шеба молча попрощалось с ним, показав желтые зубы. Он снова вышел на улицу и подпругой прикрепил дорожный мешок к спине мула. Горло сжималось. Ловушки еще можно было избежать, однако шансы были невелики. В конце концов, он же был Лукавым.

Стрелок прошел мимо погруженных в ожидание, закрытых ставнями строений, ощущая на себе проникающие в щели и трещины взгляды. Человек в черном сыграл в Талле Господа. Что им двигало? Ощущение комичности всего сущего или же отчаяние? Вопрос этот был не совсем праздным.

Позади вдруг раздался пронзительный надсадный вопль, и двери распахнулись настежь. Вперед устремились какие-то фигуры. Итак, ловушка захлопнулась. Мужчины в грязных рабочих штанах. Женщины в брюках, в линялых платьях. Даже дети не отставали от родителей ни на шаг. Каждая рука сжимала палку или нож.

Стрелок отреагировал мгновенно, не задумываясь — это было у него в крови. Он крутанулся на каблуках, а руки уже выхватили револьверы, и их рукоятки тяжело и уверенно легли в ладони. На него с искаженным лицом надвигалась Элли (конечно, это и должна была быть Элли); шрам в меркнувшем свете казался отвратительно лиловым. Он увидел, что ее держали заложницей: из-за плеча Алисы, будто неразлучный со своей хозяйкой прислужник ведьмы, выглядывала перекошенная, гримасничающая физиономия Шеба. Женщина была его щитом, приносимой им жертвой. В неподвижном свете мертвого штиля они не отбрасывали теней. Стрелок отчетливо увидел их и услышал ее голос:

— Он схватил меня О Иисусе не стреляй не надо не надо *не надо*...

Но руки прошли хорошую школу. Высокий Слог был знаком не только языку стрелка — последнего из своего племени. В воздухе прогрехотали тяжкие, немзыкальные револьверные аккорды. Алиса зашлепала губами, обмякла, и он снова спустил курки. Шеб вдруг резко запрокинул голову и вместе с Алисой повалился в пыль.

На стрелка дождем посыпались полетевшие в воздух палки. Он зашатался, отбил их. Деревяшка с кое-как вбитым гвоздем до крови распоролла ему руку. Какой-то давно небритый мужик с пятнами пота подмышками с разбегу прыгнул на него, сжимая в лапище тупой кухонный нож. Стрелок уложил его замертво, и мужик тяжело рухнул на дорогу, ударившись подбородком. Громко лязгнули зубы.

— САТАНА! — визжал кто-то. — ПРОКЛЯТЫЙ! СБИВАЙ ЕГО!

— ЛУКАВЫЙ! — выкрикивал другой голос. На стрелка дождем сыпались палки. От сапога отскочил чей-то нож. — ЛУКАВЫЙ! АНТИХРИСТ!

Стрелок выстрелами проложил себе дорогу в самой гуще толпы. Он бежал среди падающих тел, а руки с жуткой точностью выбирали мишени. На землю осели двое мужчин и женщина, и стрелок проскочил в оставленную ими брешь.

Во главе взбудораженной, охваченной лихорадочным волнением процессии он перебежал через улицу к выходившему на заведение Шеба шаткому строению, где помещались универсальный магазин и мужская парикмахерская. Взобравшись на дощатый настил тротуара, стрелок вновь обернулся и расстрелял в толпу нападавших оставшиеся заряды. Позади, распятые в пыли, лежали Шеб, Элли и остальные.

Каждый сделанный стрелком выстрел попадал в жизненно важную точку, а револьвера эти люди, вероятно, не видели никогда — разве что на картинках в старых журналах, — но толпа не дрогнула, не замешкалась ни на секунду.

Он отступал, движениями танцовщика уворачиваясь от летящих снарядов, перезаряжая на ходу револьверы. Пальцы деловито сновали между патронташами и барабанами револьверов с быстротой, которая была результатом долгой выучки. Толпа поднялась на тротуар. Стрелок шагнул в магазин и захлопнул дверь. Выходившая на улицу большая витрина справа от него разлетелась, внутрь посыпалось стекло, и в магазин протиснулись трое мужчин с пустыми, бессмысленными лицами фанатиков. Их глаза горели безжизненным огнем. Он уложил и этих, и тех двоих, что появились следом. Оба повалились на витрину и повисли на торчащих осколках стекла, закупорив отверстие.

Дверь затрещала и содрогнулась под тяжестью тел, и стрелок расслышал ее голос: «УБИЙЦА! ВАШИ ДУШИ! САТАНА! НЕЧЕСТИВЫЙ!»

Сорвавшаяся с петель дверь упала внутрь. Раздался вялый хлопок. На стрелка набросились мужчины, женщины, дети. Полетели плевки и поленья. Он расстрелял все патроны, и револьверы кувырнулись вниз, как кегли. Повалив бочку с мукой, он покатиł ее на нападающих, отступая в парикмахерскую, и следом швырнул кастрюлю с кипятком, в которой лежали две зазубренные бритвы. Толпа наступала, неистово выкрикивая что-то бессвязное. Их откуда-то подстрекала Сильвия Питтстон; ее голос то взлетал, то падал, выводя истопленные рулады. Пахло бритьем, стрижкой и его собственным телом. Стрелок заталкивал пули в горячие патронники, и на кончиках пальцев у него ныли мозоли.

Черным ходом он вышел на крыльцо. Теперь за спиной была ровная, заросшая кустарником земля; она решительно отрекалась от поселка, припавшего перед прыжком на огромные задние лапы. Из-за угла, толкаясь и суетясь, показались трое мужчин, на лицах играли широкие предательские ухмылки. Они увидели стрелка, увидели, что он их видит, и усмешки застыли, примороженные ужасом, а через секунду пули скосили всю троицу. Следом появилась подвывающая женщина — крупная толстуха, известная среди постоянных клиентов Шеба как тетушка Миль. Выстрел отшвырнул ее назад, и она приземлилась в пыль, раскорячившись, как гуляющая девка; задравшаяся до бедер юбка запуталась между ног.

Спиной вперед спустившись по ступенькам, он стал пятиться в пустыню: десять шагов, двадцать... Дверь черного хода парикмахерской распахнулась настежь, и оттуда выплеснулась бурлящая людская волна. Стрелок мельком увидел Сильвию Питтстон и открыл огонь. Люди оседали на корточки, опрокидывались назад, переваливались через перила и падали в пыль. В негасимом лиловом свете дня они не отбрасывали теней. Стрелок понял, что кричит. Все это время он кричал. Ему казалось, что вместо глаз у него треснутые подшипники. Яйца поджались к животу. Ноги одеревенели. Уши налились чугуном.

Барабаны револьверов опустели. Клубящаяся толпа ринулась на него, таинственным образом превращаясь в Глаз и Руку, стрелок же, не двигаясь с места, не умолкая, перезаряжал оружие; его мысли рассеянно блуждали где-то далеко, а пальцы ловко, сноровисто заполняли барабаны. Можно ли было вскинуть руку; объяснить, что этому — и другим — приемам он обучался четверть века; рассказать о револьверах и освятившей их крови? Словами — нет. Но руки стрелка могли поведать собственную историю.

Когда стрелок закончил перезаряжать револьверы, толпа была уже на расстоянии броска — палка ударила его по лбу, содрав кожу. На ссадине выступили капельки крови. Через пару секунд расстояние позволило бы преследователям схватить стрелка. В первых рядах он увидел Кеннерли с младшей дочкой лет, наверное, одиннадцати; Суби; завсегдатаев питейного заведения Шеба — двоих мужчин и особу женского пола по имени Эйми Фелдон. Все они получили свое, и те, кто был позади них — тоже. Тела валились на землю с мягким глухим стуком, как воронья пугала. В воздухе, точно ленточки серпантина, разматывались струйки крови и мозга.

На мгновение они испуганно остановились, лицо толпы задрожало и распалось на отдельные непонимающие лица. Какой-то мужчина с воплем бросился бежать, выписывая широкий круг. Какая-то женщина с волдырями на руках обратила лицо к небу и горячечно, гаденько захихикала. Старик, которого стрелок впервые увидел мрачно сидящим на ступенях коммерческой лавки, вдруг на удивление громко наложил в штаны.

У стрелка было время перезарядить один револьвер.

Потом появилась Сильвия Питтстон; она бежала прямо на него, размахивая руками — в каждой было зажато по деревянному распятию.

— ДЬЯВОЛ! ДЬЯВОЛ! ДЬЯВОЛ! ДЕТОУБИЙЦА! ЧУДОВИЩЕ! УНИЧТОЖЬТЕ ЕГО, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! УНИЧТОЖЬТЕ ЛУКАВОГО, УБИВАЮЩЕГО ДЕТЕЙ!

Он прострелил обе поперечины, разнеся распятия в щепки, и еще четыре пули вогнал женщине в голову. Сильвия словно бы сложилась гармошкой и заколыхалась, как накаленный жарой дрожащий воздух.

Последовала немая сцена; толпа на миг воззрилась на убитую, а пальцы стрелка тем временем сноровисто перезаряжали барабан.

Кончики пальцев зудели и горели. На каждом отпечатался аккуратный кружок.

Ряды нападавших заметно поредели: стрелок прошелся по толпе, как коса косаря. Он думал, что со смертью этой женщины они сломаются, но кто-то бросил нож. Рукоятка ударила стрелка точно между глаз и сбила с ног. Они побежали к нему — стремящийся дотянуться до него злобный комок. Лежа на собственных стреляных гильзах, он вновь истратил все патроны. Голова болела, перед глазами плавали большие коричневые круги. Один раз стрелок промахнулся. Число нападающих сократилось до одиннадцати.

Но те, что остались, уже были рядом. Он выпустил те четыре пули, что успел вложить в барабан револьвера, а потом на него обрушились кулаки, палки и ножи. Стрелок левой рукой отшвырнул двоих нападавших и откатился в сторону. Его ткнули ножом в плечо. В спину. Ударили по ребрам. Лезвие вонзилось ему в зад. По-пластунски подполз маленький мальчик; он один-единственный раз глубоко полоснул по выпуклости икры. Стрелок выстрелом снес ему голову.

Нападавшие кинулись врассыпную, и он снова задал им жару. Уцелевшие начали отступать к неотличимым по цвету от песка щербатым строениям, но, несмотря на это, руки повторяли свой трюк, подобно вошедшим в раж псам, которым хочется демонстрировать свой фокус с переворотом не раз и не два, а вечер напролет, и, когда горстка людей побежала, принялись срезать одного за другим. Последнему удалось добраться до самого крыльца парикмахерской — тут-то пуля стрелка и впилась ему в затылок.

Заполняя рваные пустоты, вернулась тишина.

У стрелка кровоточили десятка два разнообразных ран — все, за исключением пореза на икре, были неглубоки. Оторвав от рубахи полоску, он туго перетянул порез, выпрямился и внимательно осмотрел уничтоженного противника.

Петляющая зигзагами дорожка, образованная телами, тянулась от черного хода парикмахерской до того места, где он стоял. Люди лежали в самых разных позах. Ни один не казался спящим.

Стрелок двинулся вдоль этой дорожки из тел обратно, считая на ходу. Внутри универсального магазина, любовно обнимая треснувшую банку с леденцами, которую он стащил за собой, лежал еще один мужчина.

В конце концов стрелок оказался там, откуда начал: посреди пустынной главной улицы. Он убил тридцать девять мужчин, четырнадцать женщин и пятерых детей. Перестрелял всех до единого в Талле.

Первый энергичный порыв сухого ветра принес тошнотворно-сладкий запах. Стрелок пошел на этот запах, поднял голову и кивнул. На дощатой крыше кабака Шеба было распластано распятое деревянными колышками разлагающееся тело Норта. Рот и глаза были открыты. В чумазый лоб впечатали большое, лиловое раздвоенное копыто.

Он вышел за черту поселка. Мул стоял примерно сорока ярдами дальше, на бывшем большаке, в островке бес-травы. Стрелок отвел его обратно в конюшню Кеннерли. Ветер снаружи исполнял пьяную плясовую. Обеспечив мулу кров, стрелок снова отправился к заведению Шеба. В сарае на задворках он отыскал лестницу, поднялся на крышу и, сломав колья, освободил Норта. Тело оказалось легче вязанки хвороста. Скинув его вниз, в компанию обычных людей, стрелок зашел в дом, наелся мяса и выпил три кружки пива. Тем временем дневной свет померк, и песок начал свой полет. Эту ночь стрелок проспал в той постели, что служила ложем им с Элли. Снов он не видел. На следующее утро ветра как не бывало, а солнце вновь стало прежним, ярким и беззаботным. Трупы ветер угнал на юг, словно перекаати-поле. В середине утра, закончив перевязывать раны, стрелок тоже двинулся в путь.

18

Он подумал, что Браун заснул. Костер прогорел, превратившись в искру, а птица, Золтан, спрятала голову под крыло.

Когда он уже собирался встать и расстелить в углу соломенный тюфяк, Браун сказал:

— Вот. Ты рассказал. Тебе лучше?

Стрелок вскинулся:

— А почему это мне должно быть плохо?

— Ты сказал, что ты человек. Не демон. Или ты солгал?

— Нет. — Стрелок неохотно признался себе: Браун ему нравится. Он не кривил душой. И ни в чем не солгал поселенцу. — Кто ты, Браун? Я хочу сказать, на самом деле?

— Я — это просто я, — невозмутимо ответил тот. — С чего ты взял, будто сам ты — такая уж загадка?

Не отвечая, стрелок закурил.

— Сдается мне, до твоего человека в черном рукой подать, — сказал Браун. — Что, он уже готов на все?

— Не знаю.

— А ты?

— Еще нет, — сказал стрелок и посмотрел на Брауна с некоторым вызовом. — Я делаю то, что приходится.

— Тогда хорошо, — отозвался Браун, перевернулся на другой бок и уснул.

19

Утром Браун накормил его и отправил в дорогу. При свете дня поселенец оказался поразительной личностью: костлявая сожженная солнцем грудь, тонкие как карандаши ключицы и копна выющихся рыжих волос. Птица примостилась у него на плече.

- А мул? — спросил стрелок.
- Я его съем, — сказал Браун.
- Ладно.

Браун протянул ему руку, и стрелок пожал ее. Поселенец мотнул головой в южном направлении:

- Иди спокойно. Не торопись.
- Ты же знаешь.

Они кивнули друг другу, и стрелок, украшенный гирляндой бурдюков с водой и револьверами, зашагал прочь. Один раз он оглянулся. Браун истоиво ковырялся на своей скромной грядке. На низкой крыше землянки химерой восседала ворона.

20

Костер догорел, звезды начали блекнуть. Над пустыней гулял неугомонный ветер. Спящий стрелок сильно вздрогнул и снова замер. Во сне его томила жажда. Очертания гор во мраке были невидимы. Постепенно мысли о своей вине перестали мучить стрелка — пустыня выжгла их начисто, — и он обнаружил, что вместо этого его все больше и больше занимает Корт, тот, кто учил его стрелять. Корт умел отличать черное от белого.

Он снова пошевелился и проснулся. Глядя на потухший костер, очертания которого наложились на другие, более правильные, стрелок замигал. Он знал, что он романтик, и ревностно оберегал свое знание.

Это, разумеется, опять заставило его подумать про Корта. Он не знал, где Корт. Мир сдвинулся с места.

Вскинув дорожный мешок на плечо, стрелок двинулся дальше.

ПОСТОЯЛЫЙ ДВОР

Весь день у него в голове крутилась колыбельная — раздражающая припевка из тех, что никак не желают отвязаться и глумливо стоят за апсидами сознательного мышления, корча рожи разумному существу внутри.

*Дождь в Испании пойдет, поле ровное польет.
В жизни радость есть и грусть,
Боль, веселье — ну и пусть:
Из испанских туч всегда на равнину льет вода.
Мир — пригожий и дурной, и нормальный, и чудной.
Все меняется на свете: горы, доли, города,
Замки, дамы, мамы, дети — только это не беда,
Ведь окажется потом: все остались при своем,
И в Испании всегда на равнины льет вода.
Кто — безумец, кто — мудрец,
Тут и песенке конец —
Ведь в Равнинии всегда с поля в тучи льет вода.*

Стрелок знал, почему вспомнил эту колыбельную. Он снова и снова видел один и тот же сон: свою комнату в замке и мать — она пела ему эту песенку, а он, не улыбаясь, торжественный и серьезный, лежал в крохотной кроватке под многоцветным окном. Перед сном мать не пела ему — ведь все маленькие мальчики, рожденные для Высокого Слога, должны были встречаться с тьмой один на один, — зато пела, укладывая вздремнуть днем, и он помнил пасмурный серый свет дождливого дня, который красочными пятнами дробился на стеганом покрывале. Стрелок мог нащарить в памяти и прохладу комнаты, и сонное тепло одеял, и любовь к матери, и ее алые губы, и голос, и неотвязную мелодию короткой глупенькой песенки.

Теперь колыбельная вернулась. Доводя до бешенства, как потница, она вертелась в голове у шагающего стрелка, гоняясь за собствен-

ным хвостом. Вода кончилась, и стрелок понял: весьма вероятно, что он покойник. Ему никогда не приходило в голову, что дойдет до такого, и он испытывал сожаление. С полудня стрелок следил не столько за дорогой впереди, сколько за своими ногами. Здесь, в пустыне, даже бес-трава была чахлой, невысокой и желтой. Спекшаяся черствая земля местами разрушилась, превратившись попросту в твердые комья. С тех пор, как он покинул стоявшую на краю пустыни убогую землянку последнего поселенца, «и нормального, и чудного» молодого человека, прошло шестнадцать дней, и все же незаметно было, чтобы горы стали видны яснее. Стрелок помнил, что у парня был ворон, но вспомнить имя птицы не мог.

Он следил, как поднимаются и опускаются его ноги, слушая чепуховую песенку, которая звенела в голове, перевираясь и превращаясь в жалкую путаницу, и недоумевал, когда же упадет в первый раз. Падать не хотелось, пусть даже здесь никто не мог его увидеть. Это было вопросом гордости. Стрелок знает, что такое гордость, эта невидимая косточка, не дающая гнуть шею.

Неожиданно стрелок остановился и посмотрел вверх. От этого в голове у него загудело, а все тело на миг точно поплыло. На далеком горизонте дремали горы. Однако впереди было и нечто другое, куда более близкое. Возможно, в каких-нибудь пяти милях от него. Стрелок прищурился, вглядываясь, но глаза ему запорошило песком, а от яркого блеска они ослепли. Примерно часом позже он упал, ободрав ладони, и недоверчиво взглянул на крохотные бисеринки крови среди ключев кожи. Кровь казалась ничуть не жиже, чем всегда, и как будто бы молчаливо заявляла о своей способности выжить и существовать независимо от него. Выглядела она почти такой же самодовольной, как и пустыня. Стрелок смахнул алые капли, испытывая к ним слепую ненависть. Самодовольной? Почему бы и нет? Кровь не испытывала жажды. Она всегда получала свое. Крови приносились жертвы. Кровавые жертвы. Все, что от нее требовалось, это течь... течь... течь.

Он взглянул на капли, приземлившиеся на спекшийся песок — они расплылись большими неровными пятнами и с жутковатой, неестественной стремительностью у него на глазах впитались в твердую землю. Как тебе это нравится, кровь? Что, забирает?

О Боже, да ты на последнем издыхании.

Стрелок поднялся, прижимая руки к груди, и у него вырвалось удивленное восклицание, заглушенный пылью хриплый вороний крик: то, что он недавно заметил, виднелось почти прямо перед ним. Это было какое-то строение. Нет, два. Их окружал поваленный штакетник. Дерево казалось старым, хрупким до бесплотности, как крылышки эльфа — древесина, взмахом волшебной палочки превращенная в песок. Одна из построек когда-то служила конюшней (отчетливые очертания не оставляли места сомнениям), вторая — жилым домом или же гостиницей. Постоялый двор на трассе

рейсовых дилижансов. Грозивший рухнуть песчаный домик (ветер покрывал доски коркой песчинок до тех пор, пока дом не начал походить на замок из песка, который бьют о него в час отлива солнце закалило так, что он мог бы служить временным жилищем) отбрасывал скудную полоску тени, а в этой тени, привалившись к стене, кто-то сидел, и казалось, деревянный дом кренится под бременем его веса.

Стало быть, он. Наконец. Человек в черном.

Прижимая руки к груди, стрелок стоял, не отдавая себе отчета в напыщенности своей позы, и глядел во все глаза. Однако, вопреки его ожиданиям, вместо громадного, окрыляющего волнения (а может быть, страха, а может, благоговейного ужаса) не было ничего, кроме неясного, далекого чувства вины за ту неожиданную яростную ненависть, что несколькими секундами раньше всколыхнулась у него в крови, да нескончаемого хоровода песенки из детства:

...дождь в Испании пойдет...

Стрелок двинулся вперед, вытаскивая револьвер.

...поле ровное полет.

Последние четверть мили он проделал бегом, не пытаясь спрятаться — укрыться было негде. С ним наперегонки мчалась короткая тень. Стрелок не сознавал, что его лицо превратилось в серую, ухмыляющуюся смертную маску изнеможения; он видел только фигуру в тени. Лишь позже ему пришлось в голову, что сидящий мог оказаться и мертвым.

Пинком проложив себе дорогу в покосившейся изгороди (та беззвучно, почти виновато, распалась надвое), стрелок с поднятым револьвером проскочил через погруженный в молчание, залитый ослепительным солнцем двор конюшни.

— Ты у меня на мушке! На мушке! На муш...

Фигура беспокойно пошевелилась и встала. Стрелок подумал: «Боже мой, да он сошел на нет, что с ним случилось?» Ведь человек в черном усах на добрых два фута, а волосы у него побелели.

Он остановился, лишившись дара речи; в голове немелодично звенело. Сердце колотилось с сумасшедшей быстротой, и он подумал: «Вот она, смерть моя, тут...»

Втянув в легкие раскаленный добела воздух, стрелок на мгновение поник головой. Когда он снова поднял ее, то увидел, что перед ним стоит не человек в черном, а какой-то мальчуган с добела выгоревшими на солнце волосами. Мальчик внимательно рассматривал стрелка, но в его взгляде, похоже, не было и намека на интерес. Стрелок тупо уставился на него, потом отрицательно покачал головой. Но мальчик пережил его отказ верить и оказался на прежнем месте — голубые джинсы с заплаткой на колене, простая коричневая рубашка из грубой ткани.

Стрелок снова помотал головой и, пригнув голову, не выпуская из руки револьвер, двинулся к конюшне. Думать он еще не мог. В голове

плясали пылинки и рождалась невероятная, точно в барабан бухающая боль.

Внутри распираемой зноем конюшни было темно и тихо. Стрелок огляделся, оцепенело всматриваясь в окружающее огромными, блуждающими незрячими глазами. Пошатываясь, он развернулся на сто восемьдесят градусов и увидел мальчика — тот стоял в разрушенном дверном проеме, не сводя с него глаз. В голову, рассекая ее от виска до виска, деля мозг, точно апельсин, сонно вошел исполинский ланцет боли. Стрелок убрал револьвер в кобуру, покачнулся, выставил руки, будто отгоняя призраков, и упал ничком.

Когда стрелок очнулся, он лежал на спине, а под головой у него была охапка легкого, лишенного запаха сена. Перетащить стрелка мальчику оказалось не под силу, но устроил он его довольно удобно. Кроме того, стрелок ощущал приятную прохладу. Он опустил глаза, оглядывая себя, и увидел, что рубашка темна от влаги. Облизнувшись, он почувствовал вкус воды. И заморгал.

Мальчик сидел подле него на корточках. Увидев, что глаза стрелка открыты, он сунул руку куда-то за спину и протянул стрелку наполненную водой мятую жестянку. Стрелок трясущимися руками ухватил ее и позволил себе немного отпить. Когда первые несколько глотков оказались в животе, он выпил еще немного — всего ничего. Потом выплеснул остаток себе в лицо, потрясенно отфыркиваясь. Красивые губы мальчика изогнулись в едва заметной серьезной улыбке.

— Хотите поесть?

— Пока нет, — сказал стрелок. В голове после солнечного удара еще гнездилась тупая ноющая боль, а вода в животе никак не могла успокоиться, будто не знала, куда двинуться дальше. — Кто ты?

— Меня зовут Джон Чэмберс. Можете звать меня Джейк.

Стрелок сел, и в тот же миг рождающая дурноту ноющая боль стала резкой и безжалостной. Он подался вперед и проиграл краткое сражение с желудком.

— Тут есть еще, — сказал Джейк. Он взял жестянку и отправился в глубь конюшни. Остановившись, он обернулся и неуверенно улыбнулся стрелку. Тот кивнул, опустил голову и подпер ее руками. Мальчик был хорошо сложенным, пригожим, лет, наверное, девяти. На его лице лежала тень, но нынче тень была на всех лицах.

В глубине конюшни что-то странно, глухо загудело и заклокотало, и стрелок тревожно поднял голову, сделав движение к рукояткам револьверов. Звуки продолжались около пятнадцати секунд, потом прекратились. Вернулся мальчик с жестянкой — теперь уже полной.

Стрелок опять напился скупыми глотками, и на этот раз ему стало немного лучше. Головная боль утихала.

— Когда вы упали, я не знал, что с вами делать, — сказал Джейк. — Пару секунд мне думалось, что вы меня застрелите.

— Я принял тебя за другого.

— За священника?

Стрелок резко поднял голову.

— За какого священника?

Мальчик, легонько хмурясь, посмотрел на него.

— Тут был священник. Он ночевал во дворе. Я был там, в доме. Мне он не понравился, и я не стал выходить. Он пришел вечером и ушел на следующий день. Я бы и от вас спрятался, только я спал, когда вы пришли. — Он угрюмо посмотрел поверх головы стрелка. — Не люблю я людей. Вечно наебывают.

— Как выглядел этот священник?

Мальчик пожал плечами.

— Священник как священник. В черных шмотках.

— Вроде рясы и капюшона?

— Ряса — это что?

— Такой балахон.

Мальчик кивнул.

— В балахоне и в капюшоне.

Стрелок склонился вперед, и что-то в его лице заставило мальчугана едва заметно отшатнуться.

— Давно это было?

— Я... Я...

Стрелок терпеливо сказал:

— Я не обижу тебя.

— Я не знаю. Я не умею запоминать время. Все дни одинаковые.

Стрелок в первый раз сознательно задумался о том, как мальчик попал сюда, в это место, окруженное со всех сторон целыми лигами сухой, губительной для человека пустыни. Впрочем, делать это своей заботой он не собирался — по крайней мере, пока что.

— Попробуй предположить. Давно?

— Нет. Недавно. Я и сам здесь недавно.

Нутро стрелка опять запылало. Он почти совсем твердой рукой схватил жестянку и напился. В голове снова зазвучал обрывок колыбельной, но на сей раз вместо лица матери он увидел обезображенное шрамом лицо Алисы, которая была его женщиной в ныне несуществующем поселке Талл.

— Недавно — это когда? Неделью назад? Две?

Мальчик рассеянно смотрел на него.

— Да.

— Что — да?

— Неделью назад. Или две. Я не выходил. Он даже не напился. Я подумал, может, это призрак священника. Я боялся. Я почти все время боюсь. — Лицо мальчугана задрожало, как хрусталь у грани последней, разрушительно-высокой ноты. — Он даже костер не раскладывал. Просто сидел здесь, и все. Я даже не знаю, ложился ли он спать.

Совсем рядом! Так близко к человеку в черном стрелок еще не бывал. Несмотря на крайнюю обезвоженность, ладони показались ему чуть влажными и скользкими.

— Есть сушеное мясо, — сказал мальчик.

— Хорошо. — Стрелок кивнул. — Годится.

Мальчик поднялся, чтобы сходить за мясом, коленки слабо хрустнули. Великолепная прямая фигурка. Пустыня еще не иссушила его, не вытянула жизненные соки. Руки мальчугана были тонкими, но кожа, хоть и загорелая, не пересохла и не потрескалась. Крепкий парнишка, подумал стрелок. Он снова отпил из жестянки. Крепкий, и родом не из этих мест.

Джейк вернулся с чем-то похожим на отдраенную солнцем доску для нарезки хлеба, где горкой лежало вяленое мясо. Оно оказалось жестким, жилистым и достаточно соленным, чтобы изъеденный изнутри язвами рот стрелка заныл. Стрелок ел и пил, покуда не почувствовал, что осоловел, и тогда опять улегся. Мальчик съел совсем немного.

Стрелок не переставал разглядывать парнишку, и мальчик тоже посмотрел на него.

— Откуда ты, Джейк? — наконец спросил он.

— Не знаю. — Мальчик насупился. — Раньше знал. Когда попал сюда, знал, а теперь все стало таким неясным... как плохой сон, когда проснешься. Я видел уйму плохих снов.

— Тебя кто-нибудь привел?

— Нет, — сказал мальчик. — Просто я оказался здесь.

— В твоих словах нет никакого смысла, — решительно объявил стрелок.

Совершенно неожиданно ему показалось, что мальчик готов вот-вот расплакаться.

— Ничего не поделаешь. Я оказался здесь, и все. А теперь вы уйдете, а я умру с голоду, потому что вы съели почти всю мою еду. Я сюда не просился. Мне тут не нравится. Тут страшно.

— Не надо так себя жалеть. Обойдись без этого.

— Я сюда не просился, — повторил мальчуган растерянно, но дерзко.

Стрелок съел еще один кусок мяса, выжевывая из него соль и только потом глотая. Мальчик стал частью происходящего, и стрелок был убежден, что он сказал правду — он об этом не просил. Очень жаль. Сам стрелок... *сам-то* он просил. Вот только не просил, чтобы игра становилась *настолько* грязной. Он не просил позволения обратить свои револьверы против безоружного населения Талла; не напрашивался убивать Элли, чье лицо было отмечено странным сияющим шрамом; не просил, чтобы его ставили перед выбором между преступной безнравственностью и одержимостью своим долгом и странствием-поиском. Если за то, что дело приняло именно такой оборот, действительно отвечал человек в черном, значит, в своем

отчаянии он принялся нажимать на тайные пружины не из лучших. Было нечестно вводить в игру наивных сторонних наблюдателей, заставляя их произносить с незнакомых подмостков непонятные им реплики. Элли, подумал он, Элли по крайней мере попала в этот мир дорогой собственных иллюзий. Но этот *мальчишка*... этот окаянный *мальчишка*...

— Расскажи мне то, что можешь вспомнить, — велел он Джейку.

— Совсем немножко. И, по-моему, оно больше не имеет смысла.

— Расскажи. Быть может, я сумею ухватить смысл.

— Был один дом... до этого дома. Дом с высокими потолками. Там было полно комнат, и пианино, и патио, откуда можно было глядеть на высоченные здания и на воду. В воде стояла статуя.

— Статуя в воде?

— Да. Дама в короне и с факелом.

— Ты что, сочиняешь?

— Наверное, — безнадежно откликнулся мальчик. — Там были такие штуки, чтоб ездить по улицам. Большие и маленькие. И желтые. Много желтых. Я в школу ходил, пешком. Вдоль улиц были бетонные дорожки. Витрины, чтобы в них смотреть, и еще статуи, одетые. Эти статуи продавали одежду. Я знаю, что это звучит безумно, но эти статуи продавали одежду.

Стрелок покачал головой и взглянул мальчику в лицо — не врет ли он. Мальчик не врал.

— Я ходил в школу, — твердо повторил мальчик. — И у меня была... эта... — Глаза у него закатились, а губы зашевелились, нащупывая слово. — ...Такая коричневая... для книжек... сумка. Я брал с собой завтрак. И носил... — он опять зашевелил губами, мучительно подыскивая слово, — ...галстук.

— Что?

— Не знаю. — Пальцы мальчика медленно, безотчетно шевелились у горла, будто зажимая что-то — у стрелка этот жест связывался с повешением. — Не знаю. Все это просто пропало. — И Джейк отвел глаза.

— Можно, я уложу тебя спать?

— Я не хочу спать.

— Я могу сделать так, что ты захочешь спать, и могу заставить тебя вспомнить.

Джейк с сомнением в голосе спросил:

— Как это?

— А вот.

Стрелок извлек из патронташа патрон и повертел в пальцах. Движение было ловким, проворным, мягким и текучим, как масло. Патрон играючи кувыркался с большого пальца на указательный, с указательного на средний, со среднего на безымянный, с безымянного на мизинец. Вдруг он исчез из вида, появился вновь, ненадолго застыл, как поплавок на воде, перевернулся. Патрон гулял по пальцам

стрелка. Сами пальцы двигались, как занавеска из бусин на ветру. Мальчик внимательно смотрел; первоначальное недоверие сменилось явной радостью, затем — восхищением, упоением, и вот в лице мальчугана забрезжила немая пустота. Веки скользнули книзу, сомкнулись. Патрон плясал по руке. Джейк снова открыл глаза, еще на мгновение уловил на пальцах стрелка непрекращающийся танец, подобный танцу прозрачной воды в лесном ручье, и веки мальчика опять опустились. Стрелок продолжал играть патроном, но Джейк больше не открывал глаз. Мальчик дышал спокойно, с тупой размеренностью. Неужели и это входило в игру? Здесь была определенная прелесть, такая логика, вроде кружевных фестонов, что окаймляют твердые синие пузыри со льдом. Ему послышался перезвон ветряных курантов, и стрелок, уже не в первый раз, различил пресный брезентовый вкус душевной болезни. Патрон, которым его пальцы манипулировали с таким неслыханным изяществом, внезапно обернулся нежитью, внушающим ужас следом чудовища. Уронив его в ладонь, стрелок сильно, до боли сжал кулак. В мире существовали такие вещи, как насилие. Насилие, убийство и отвратительные порядки, и все это творилось во благо, во благо, будь оно проклято, ради мифа, грааля, Башни. Ах, Башня — она стояла где-то, вознося к небесам свою грузную черную громаду, и в продраенных пустыней ушах стрелка зазвучал слабый, приятный перезвон ветряных курантов.

— Где ты? — спросил он.

Джейк Чэмберс спускается по лестнице со школьной сумкой. Там — «Природоведение», «Экономическая география», там блокнот, карандаш, завтрак, который кухарка матери, миссис Грета Шоу, приготовила ему в кухне из хрома и пластика, где вечно жужжит вентилятор, засасывая непривычные и потому неприятные запахи. В мешочке с завтраком — сэндвичи (один с арахисовым маслом и желе, другой — с болонской колбасой, салатом и луком) и четыре печенья. Нельзя сказать, что родители ненавидят Джейка, однако они как будто бы давно не замечают его. Сложив с себя полномочия, они перепоручили сына заботам миссис Греты Шоу, няnek, летом — гувернера, а в остальное время — Школы (Частной, Приличной и главное — Для Белых). Никто из этих людей никогда не претендовал на то, чтобы стать для Джейка чем-то большим, нежели просто лучший в своей области специалист. Никто не прижимал его к очень теплой груди, как обычно случается в исторических романах, которые читает мать и куда в поисках «горячих мест» совался и сам Джейк. «Истерические» романы, иногда называет их отец, а иногда — «лифтораздирающие». Кто бы говорил, отзывается с равнодушной насмешкой мать за какой-то закрытой дверью, у которой подслушивает Джейк. Отец работает в Сети, и Джейк мог бы по голосу отличить его от всей тамошней рабочей группы. Наверное.

Джейк не знает, что ненавидит всех профессионалов, но на самом деле это так. Люди всегда повергали его в недоумение. Он любит лестницы и ни за что не станет пользоваться лифтом в своем доме. Мать Джейка, в худобе которой есть что-то манящее, часто ложится в постель с кем-нибудь из пресыщенных приятелей.

Теперь он на улице, Джейк Чэмберс на улице, «гранит мостовую». Он чистенький, хорошо воспитанный, миловидный, восприимчивый. У него нет друзей — только знакомые. Он никогда не давал себе труда задуматься над этим, но ему обидно. Он не знает или не понимает, что от долгого общения с профессионалами перенял множество их характерных черт. Миссис Грета Шоу весьма профессионально делает сэндвичи. Она делит их на четыре части и срезает с хлеба корку, так что когда Джейк ест на четвертом уроке в спортзале, вид у него такой, словно он должен бы быть на коктейле и держать в другой руке не спортивную повестку из школьной библиотеки, а бокал. Отец Джейка зарабатывает очень много денег, ведь он — мастер по «рубке», то есть умеет пустить по своей Сети более ударное шоу, чем показывает Сеть конкурентов. Отец выкуривает четыре пачки сигарет в день. Отец не кашляет, но у него жесткая усмешка, напоминающая нож для резки мяса, какие продают в супермаркетах.

Вниз по улице. Мать оставляет ему деньги на такси, но всякий раз, как нет дождя, Джейк идет пешком, размахивая сумкой — парнишка, который из-за светлых волос и голубых глаз выглядит очень американским. Девочки уже начали его замечать (с одобрения своих матерей), а он не робеет и не шарахается от них с пугливым высокомерием маленького мальчика. Он беседует с ними с безотчетным профессионализмом, озадачивая и отталкивая. Ему нравится география и послеполуденная игра в шары. Его отец — держатель акций компании, которая выпускает автоматы для расстановки кеглей, но кегельбан, который постоянно посещает Джейк, не пользуется продукцией фирмы его отца. Джейку кажется, что он не задумывался об этом, но он задумывался.

Шагая по улице, он минует магазин Брендайо, где стоят манекены в шубах, в эдвардианских шестипуговичных костюмах, а некоторые — ни в чем; есть и в «безбелье». Эти модели — эти манекены — безукоризненно профессиональны, а он терпеть не может профессионализм во всех его видах. Он еще слишком юн, чтобы научиться ненавидеть себя, но семя уже заронено; посажено в горькую расселину его сердца.

Он доходит до угла и стоит, сумка с книгами на боку. Мимо с ревом несется поток машин — рычащие автобусы, такси, фольксвагены, большой грузовик. Джейк — просто мальчик, но не среднестатистический, и он уголком глаза замечает мужчину, который убивает его. Это человек в черном; Джейк не видит его лица — только развевающийся балахон, простертые руки. Раскинув руки,

не выпуская сумки, где лежит завтрак, в высшей степени профессионально приготовленный миссис Гретой Шоу, мальчик летит на мостовую. Короткий взгляд сквозь поляризованное стекло: полное ужаса лицо какого-то бизнесмена в темно-синей шляпе с заливчатским перышком на тулье. У кромки противоположного тротуара издает пронзительный крик старуха — на ней черная шляпка с вуалью. В этой черной вуали нет ничего лишнего; она похожа на траурную. Джейк не чувствует ничего, кроме удивления и обычной безудержной, бурной растерянности — что, вот так все и кончается? Он с маху приземляется на мостовую и смотрит на залитую асфальтом трещину примерно в двух дюймах от своих глаз. Сумка с книгами от удара вырывается у него из руки. Джейк задумывается, ободрал ли колени, и тут по нему проезжает машина бизнесмена в синей шляпе с веселым ярким перышком. Это большой синий кадиллак семьдесят шестого года с шестнадцатидюймовыми колесами. Он почти одного цвета со шляпой бизнесмена. Кадиллак ломает Джейку спину, превращает в кашу живот, а изо рта мальчика, словно под высоким давлением, ударяет струя крови. Джейк поворачивает голову и видит мигающие габаритные огни кадиллака и дым, струйками рвущийся из-под затормозивших задних колес. Сумку с книгами машина тоже переехала, оставив на ней широкий черный след. Он поворачивает голову в другую сторону и видит большой желтый фورد, который с визгом останавливается в нескольких дюймах от его тела. К нему торопливо приближается черный парень — тот, что торгует с тележки претцелями и содовой. Из носа, глаз, ушей, прямой кишки Джейка течет кровь. Гениталии расплющены. Он раздраженно думает: интересно, сильно я содрал колени? Теперь к нему, выкрикивая что-то бессвязное, бежит водитель кадиллака. Где-то страшный, полный ледяного спокойствия голос — голос рока, смерти, судьбы — говорит: «Я священник. Позвольте пройти. Отпущение грехов...»

Джейк видит черный балахон и познает внезапный ужас. Это он, человек в черном. Мальчик из последних сил отворачивает лицо. Где-то радио играет мелодию рок-группы «Кисс». Он видит свою руку, волочащуюся по мостовой: маленькую, белую, красивой формы. Он никогда не грыз ногти.

Глядя на свою руку, Джейк умирает.

Стрелок сидел и хмуро размышлял. Он устал, все тело ныло и болело, а мысли приходили с досадной медлительностью. Напротив, сложив руки на коленях и все еще спокойно дыша, спал удивительный мальчишка. Свою историю он изложил не особенно эмоционально, хотя ближе к концу, когда дошло до «священника» и «отпущения грехов», его голос задрожал. Он, разумеется, не рассказывал стрелку о семье и своем ощущении растерянной раздвоенности, но это все равно просочилось настолько, что стали различимы очертания. Хотя

в рассказе сильнее всего смущало не то, что большой город, описанный мальчиком, никогда не существовал (или, если уж на то пошло, существовал лишь в легенде о доисторических временах), это все-таки тревожило. Да и вся история рождала беспокойство. Стрелка пугал ее скрытый смысл.

— Джейк?

— Ммм-м?

— Ты хочешь помнить это, когда проснешься, или нет?

— Нет, — сразу же ответил мальчик. — Я истекал кровью.

— Хорошо. Сейчас ты заснешь, понятно? Давай-ка, откинься.

Джейк улегся — он казался маленьким, мирным и безобидным. В безобидность стрелок не верил. В мальчишке было что-то ужасное, от него так и разило предопределенностью. Это ощущение было не по душе стрелку, но мальчик ему нравился. Очень нравился.

— Джейк?

— Шшшшш. Я хочу спать.

— Да. А когда проснешься, ничего не будешь помнить.

— Ладно.

Стрелок ненадолго засмотрелся на него, вспоминая пору своего детства: обычно ему казалось, что все это происходило не с ним, а с кем-то другим, кто проскочил через некую полупроницаемую линзу и стал иным человеком, — но сейчас прошлое словно бы придвинулось мучительно близко. В конюшне постоянного двора было очень жарко, и стрелок бережно отпил еще немного воды. Он поднялся и пошел в глубину строения, задержавшись, чтобы заглянуть в стойло. В углу лежала небольшая охалка выгоревшего добела сена и аккуратно сложенный чепрак, но лошадьми не пахло. В конюшне вообще ничем не пахло. Солнце вытянуло все запахи без остатка. Воздух был безупречно нейтральным.

В глубине конюшни помещалась темная комнатуха, посреди которой стоял не тронутый ни ржавчиной, ни гнилью агрегат из нержавеющей стали, похожий на маслобойку. Слева из него выступала хромированная трубка, оканчивавшаяся над сделанным в полу стоком. Стрелку уже случалось видеть похожие насосы в других засушливых местах, но такой большой попался ему впервые. Он и представить себе не мог, какую толщу земли пришлось пробурить, чтобы наткнуться на вечно черную, таящуюся под поверхностью пустыни воду.

Почему, покидая постоянный двор, они не забрали насос?

Возможно, демоны.

Он внезапно вздрогнул, резко передернув спиной. На коже проступила и стала исчезать потница. Он подошел к выключателю и нажал на кнопку «ВКЛ». Агрегат загудел. Через каких-нибудь полминуты труба выплюнула струю чистой, прохладной воды, стекавшей в слив для повторной циркуляции. Прежде чем насос в последний раз щелкнул и прекратил работу, из трубы вытекло, наверное, галлона

три. Это была вещь, чуждая этим краям, как верная любовь, и все-таки реальная, как Страшный Суд — молчаливое напоминание о тех временах, когда мир еще не успел сдвинуться с места. Вероятно, насос работал на атомном блоке — электричества здесь не было на тысячи миль окрест, и даже сухие батареи давно разрядились. Стрелку это не понравилось.

Он вернулся обратно и опустился на пол конюшни рядом с подложившим под щеку ладонь мальчиком. Миловидный мальчонка. Стрелок опять попил воды и скрестил ноги, усевшись на индейский манер. Мальчик, как и тот парень-колонист, поселившийся на краю пустыни (у него еще была птица; Золтан, вдруг вспомнил он, птицу звали Золтан), потерял чувство времени, но то, что стрелок настигал человека в черном, сомнений не вызывало. Он в который раз задумался: уж не нарочно ли человек в черном позволяет ему догонять себя, нет ли у него на то своих причин? Возможно, стрелок играл ему на руку. Он попытался представить себе, каково будет оказаться лицом к лицу с человеком в черном, и не смог.

Ему было очень жарко, но тошнота прошла. В голове опять зазвучала колыбельная, но теперь он подумал не о матери, а о Корте — о Корте, чье лицо украшала мережка шрамов, оставленных кирпичами, пулями и всевозможными тупыми орудиями. Боевых шрамов. Интересно, подумал стрелок, была ли у Корта когда-нибудь любовь подстать этим монументальным шрамам? Сомнительно. Он подумал об Эйлин и о Мартене, чародее-недоучке.

Стрелок был не из тех, кто живет прошлым: от превращения в лишенное воображения создание, в тупого олуха, его спасало лишь туманное понимание будущего да эмоциональная натура. Потому-то его так изумило теперешнее течение своих мыслей. Каждое имя вызывало из памяти другие — Катберт, Пол, старина Джонас и Сьюзан, прелестная девушка у окна.

Тапер из Талла (тоже мертвый; в Талле все мертвы, погибли от его руки) любил старые песни. Стрелок немелодично замурлыкал себе под нос:

*Любовь, любовь беспечная,
Смотри, что ты наделала.*

И смущенно рассмеялся. *Я последний из зеленого, окрашенного в теплые тона мира.* Но, несмотря на ностальгию, жалости к себе он не испытывал. Мир безжалостно сдвинулся с места, но ноги стрелка пока что были крепкими и сильными, а человек в черном оказывался все ближе. Стрелок начал клевать носом и уснул.

Когда он проснулся, было почти темно, а мальчик исчез.

Поднявшись (он услышал, как хрустнули суставы), стрелок пошел к дверям конюшни. В темноте на крыльце гостиницы плясал огонек.

Он направился туда. В охристом свете заката по земле за ним тянулась длинная черная тень.

Джейк сидел возле керосиновой лампы.

— В бочке был керосин, — сказал он, — но я побоялся зажигать лампу в доме. Все такое сухое...

— Ты поступил совершенно правильно. — Стрелок опустился рядом с ним, бездумно глядя на облако копившейся годами пыли, поднятой его сидалищем. Пламя керосиновой лампы отбрасывало на лицо мальчика нежные тени. Стрелок вытащил кисет и свернул самокрутку.

— Надо поговорить, — сказал он.

Джейк кивнул.

— Наверное, ты понимаешь, что я гонюсь за тем человеком, которого ты видел.

— Ты собираешься убить его?

— Не знаю. Я должен заставить его кое-что мне рассказать. Может быть, придется заставить его кой-куда меня отвести.

— Куда?

— Отыскать башню, — сказал стрелок. Он придерживал самокрутку над трубкой лампы и затаился; поднявшийся ночной ветерок подхватил и унес дым. Джейк наблюдал. Лицо его не выражало ни страха, ни любопытства, ни, разумеется, энтузиазма.

— Поэтому завтра я двинусь дальше, — сказал стрелок. — Тебе придется пойти со мной. Сколько мяса осталось?

— Только горсть.

— Кукуруза?

— Немножко.

Стрелок кивнул.

— Здесь есть погреб?

— Да. — Джейк посмотрел на него. Расширившиеся зрачки мальчугана стали огромными, хрупкими. — Потяните за кольцо в полу, только я вниз не ходил. Боялся, что стремянка сломается и я не сумею выбраться обратно. И потом, там плохо пахнет. Здесь это вообще единственное место, где хоть чем-то пахнет.

— Мы встанем пораньше и посмотрим, нет ли там внизу чего-нибудь, что стоило бы прихватить. А потом по-быстрому смоемся.

— Ладно. — Мальчик помолчал и потом сказал: — Я рад, что не убил вас, пока вы спали. У меня были вилы, и я подумал, не отправить ли вас на тот свет. Но не стал, а теперь мне не нужно будет бояться заснуть.

— А чего бы тебе бояться?

Мальчик зловеще посмотрел на него.

— Привидений. Или что он вернется.

— Человек в черном, — произнес стрелок. Это не был вопрос.

— Да. Он плохой человек?

— Это зависит от того, как смотреть на вещи, — рассеянно отозвался стрелок. Он поднялся и выкинул самокрутку на спекшийся песок. — Я буду спать.

Мальчик робко смотрел на него.

— Можно мне спать в конюшне вместе с вами?

— Конечно.

Стоя на ступеньках, стрелок закинул голову и поглядел на небо. Мальчик присоединился к нему. Вверху горел Марс, и Полярная звезда уже взошла. Стрелку почудилось, что если он закроет глаза, то сумеет услышать хриплое чирикание первых весенних пiskuнов, почувствовать запах молодой зелени — почти летний запах лужаек корта после первой стрижки (и, может быть, расслышать ленивые щелчки крокетных молотков: это благородные дамы из Восточного Крыла, облаченные в одни лишь сорочки — ведь сумерки, мерцающая, медленно сгущаются в ночную тьму, — вышли поиграть на Пойнтс), сможет почти наяву увидеть, как из проема в живой изгороди появляется Эйлин...

Столько думать о прошлом было на него не похоже.

Он обернулся и взял лампу.

— Айда спать, — сказал он.

И они вместе перешли через двор к конюшне.

На следующее утро стрелок обследовал погреб.

Джейк был прав: пахло там отвратительно. В погребе стоял сырой болотистый запах — после начисто лишенных всяких запахов пустыни и конюшни стрелка затошнило, слегка закружилась голова. Погреб пропах обреченными на вечное гниение капустой, репой и картошкой с длинными незрячими глазками. Впрочем, приставная лестница казалась вполне крепкой, и он осторожно спустился вниз, на земляной пол.

Потолочные балки едва не задевали за голову. Здесь, внизу, еще жили пауки с рябыми серыми брюшками, такие крупные, что делалось не по себе. Многие мутировали. У некоторых были глаза на стебельках, у некоторых — не меньше шестнадцати ног.

Стрелок огляделся и подождал, пока глаза привыкнут к темноте.

— Вы в порядке? — нервно крикнул вниз Джейк.

— Да. — Он сосредоточенно вгляделся в угол. — Тут какие-то консервы. Погоди-ка.

Он осторожно прошел в угол, пригибая голову. Там стояла старая коробка, один бок которой был отогнут книзу. Консервы оказались овощными — зеленые бобы, желтые бобы... и три жестянки солонины.

Стрелок нагреб полную охапку и вернулся к стремянке. Взобравшись до середины лестницы, он передал банки Джейку, опустившемуся на колени, чтобы принять груз, а сам вернулся за другими.

Стоны у основания стен он услышал во время третьей ходки.

Он обернулся, взглянул и его обдало неким призрачным ужасом. Чувство было томительным и в то же время отталкивающим, словно секс в воде — одно тонуло в другом.

Фундамент сложился из огромных блоков песчаника — когда постоянный двор только построили, они, вероятно, были уложены ровно, но теперь перекошились, выступая под самыми нелепыми и неожиданными углами, отчего стена выглядела так, будто была исчерчена странным иероглифическим орнаментом. Из места слияния двух таких скрытых трещин бежала тонкая струйка песка, словно что-то, пытая и хлюпая, с отчаянной энергией прокапывалось сквозь каменную кладку с той стороны.

Стоны звучали то громче, то тише, набирая силу, и вот уже весь погреб заполнился этими звуками — непонятным шумом раздражающей боли и страшных усилий.

— Вылезайте! — завопил Джейк. — Господи Иисусе, мистер, вылезайте!

— Уходи, — спокойно сказал стрелок.

— *Вылезайте!* — снова взвизгнул Джейк.

Стрелок не отвечал. Правой рукой он потянул из кобуры револьвер.

Теперь в стене было отверстие — дыра величиной с монету. Сквозь завесу собственного ужаса он расслышал топот ног Джейка, когда мальчик кинулся наутек. Потом песок перестал сыпаться. Стоны прекратились, но было слышно мерное, тяжелое, утомленное дыхание.

— Кто ты? — спросил стрелок.

И не получил ответа.

Наполнив свой голос давнишним громом приказа, Роланд Высоким Слогом спросил:

— Кто ты, Демон? Говори, коль должен говорить. Отпущенный мне срок краток и руки мои теряют терпение.

— Иди медленно, — проговорил из стены тягучий, густой голос. Призрачный ужас стрелка усилился и стал почти осязаем. Голос принадлежал Алисе, той женщине, у которой он жил в поселке Талл. Но Алиса была мертва — стрелок воочию видел, как она упала с пулевым отверстием между глаз. Ему померещилось, будто перед глазами, отмечая спуск на глубину, поплыли морские сажени. — Мимо Свалки иди медленно, стрелок. Пока ты путешествуешь с мальчишкой, человек в черном путешествует с твоей душой в кармане.

— О чем ты? Говори!

Но дыхание прекратилось.

На мгновение стрелок прирос к месту, но тут один из громадных пауков упал ему на руку и, лихорадочно перебирая лапами, побежал к плечу. Непроизвольно охнув, он смел тварь с рукава и стронулся с места — неохотно, но обычай был строгим, нерушимым. От мертвеца — мертвечина, как гласило старинное присловье; лишь остов

может говорить. Подойдя к отверстию, он сильно ударил по нему кулаком. Песчаник легко крошился по краям, и, попросту напрягив мускулы, стрелок проткнул стену.

И коснулся чего-то твердого, шишковатого, с бугорками и впадинами. Он вытащил это. У него в руке была стгнившая у дальнего сочленения челюсть. Косо, в разные стороны торчали зубы.

— Ладно, — негромко обронил он, грубо впихнул кость в задний карман и, неловко держа оставшиеся банки, стал подниматься по лестнице. Люк он оставил открытым. Солнце заберется туда и убьет пауков.

Съевшегося от страха Джейка он нашел на растрескавшейся и развалившейся комьями песчаной корке на полдороге к конюшне. Увидев стрелка, мальчик пронзительно закричал, сделал назад шаг, другой, и с плачем побежал к нему.

— Я думал, оно вас поймало, поймало, я думал...

— Не поймало. — Стрелок прижал мальчугана к себе, чувствуя на груди его горячую мордашку и сухие ладошки. Тут-то и возникла его глубокая привязанность к парнишке, которая, конечно же, с самого начала должна была входить в планы человека в черном — но это пришло стрелку в голову много позже.

— Это был демон, да? — Голос мальчика звучал заглушенно.

— Да. Говорящий демон. Нам больше не придется возвращаться туда. Пошли.

Они пошли в конюшню, и стрелок сделал из чепрака, под которым спал, грубый бугристый узел — чепрак был жарким и колючим, но ничего другого не было. Потом сходил к колонке и наполнил бурдюки водой.

— Понесешь бурдюк, — сказал стрелок. — Положишь его на плечи так, как факиры носят змей. Ясно?

— Да. — Мальчик посмотрел на него с обожанием и взвалил бурдюк на плечи.

— Не слишком тяжело?

— Нет. Нормально.

— Скажи честно, сейчас. Если получишь солнечный удар, нести тебя я не смогу.

— Не получу. Все будет нормально.

Стрелок кивнул.

— Мы идем в горы, да?

Стрелок кивнул.

— Да.

Они вышли из конюшни на неизменный гнетущий солнцепек. Джейк, доставший головой стрелку до локтя, шагал справа и чуть впереди; замотанные сыromятными шнурками концы бурдюка с водой свисали чуть ли не ниже колен. Два других бурдюка стрелок крест-накрест забросил за плечи, а подмышкой нес увязанную в попону провизию, придерживая сверток левой рукой.

Они вышли из дальних ворот постоялого двора и вновь отыскивали расплывшиеся, затертые колеи почтовой дороги. Спустя, возможно, четверть часа Джейк повернулся и помахал домам. На исполинских просторах пустыни оба строения словно бы съезжались.

— До свиданья! — крикнул Джейк. — До свиданья!

Они пустились в путь. Почтовый тракт поднялся на застывший продолговатый песчаный пригорок, и когда стрелок огляделся, то не увидел постоялого двора. Вокруг опять была пустыня, и только она.

С тех пор, как они покинули постоялый двор, прошло три дня, и очертания гор стали обманчиво четкими. Уже можно было разглядеть, как поднимается, превращаясь в предгорье, пустыня, и первые голые склоны, и прорывавшуюся в угрюмом торжестве эрозии сквозь верхний слой почвы каменистую коренную породу. Еще дальше вновь начинался короткий отлогий спуск, и стрелок впервые за много месяцев, а может быть, и лет увидел зелень — настоящую живую зелень. Трава, карликовые ели, возможно, даже ивы — все они питались сбегавшими с дальних склонов тальми водами. Далее во владение вновь вступали камни, во всем своем циклопическом великолепии рассыпью взбравшиеся к ослепительным снежным шапкам. Поодаль, слева, открывалась дорога к вздымавшимся на дальнем краю огромной расщелины изъеденным солнцем и ветрами меньшим утесам из песчаника, столовым горам и сопкам. Этот овраг почти непрерывно скрывала от глаз пелена дождей. По вечерам, перед тем как уснуть, Джейк непременно проводил пару минут, завороченно наблюдая, как в ясном, прозрачном вечернем воздухе фехтуют пугающие слепящие молнии, белые и лиловые.

Мальчик оказался хорошим ходоком. Он не только был выносливым и упорным, но, более того, словно бы сопротивлялся изнурению, обнаруживая запасы спокойной, натренированной воли, чему стрелок полностью отдавал должное. Он мало говорил и не задавал вопросов, даже о челюсти, которую стрелок без конца вертел в руках во время вечернего перекура. Стрелок уловил, что его общество чрезвычайно льстит мальчику, возможно, даже приводит парнишку в восторг, и встревожился. Мальчугана поставили у него на дороге (*пока ты путешествуешь с мальчиком, человек в черном путешествует с твоей душой в кармане*), и тот факт, что задерживаться из-за Джейка не приходилось, лишь обнаруживал новые зловещие возможности.

Через одинаковые промежутки им попадались оставленные человеком в черном кострища правильной формы, и стрелку казалось, что теперь они намного свежее. На третью ночь он уверился, что где-то на первом взбухшем склоне предгорья видит далекую искру очередного бивачного костра.

На четвертый день пути, около двух часов, Джейк зашатался и чуть не упал.

— Сядь, — сказал стрелок.

— Нет, я в порядке.

— Садись.

Мальчик послушно сел. Стрелок присел рядом, так, чтобы Джейк оказался в его тени.

— Пей.

— Я же не должен, пока...

— Пей.

Мальчик отпил — три глотка. Намочив хвостик чепрака, который был уже не таким тяжелым, стрелок приложил влажную ткань к горячечно-сухим запястьям и воспаленному лбу Джейка.

— Отныне мы каждый день в это время будем делать привал. На пятнадцать минут. Спать хочешь?

— Нет. — Мальчик пристыженно посмотрел на него. Стрелок ответил ласковым взглядом, рассеянно вытащил из патронташа пулю и принялся перекачивать ее между пальцами. Мальчик зачарованно следил за ней.

— Ловко, — сказал он.

Стрелок кивнул.

— Ну так. — Он замолчал. — Я рассказывал, что, когда мне было столько же, сколько тебе сейчас, я жил в большом городе, обнесенном стенами?

Мальчик сонно помотал головой.

— Ну да. И был там один злодей...

— Священник?

— Нет, — сказал стрелок, — но теперь я думаю, что между ними существует какая-то связь. Возможно даже, они сводные братья. Мартен был колдуном... как Мерлин. А что, Джейк, там, откуда ты попал сюда, рассказывают про Мерлина?

— Про Мерлина, и про Артура, и про рыцарей Круглого стола, — сонно проговорил Джейк.

Стрелка так и передернуло.

— Да, — сказал он. — Я был очень молод...

Но мальчик спал — сидя, аккуратно сложив руки на коленях.

— Когда я щелкну пальцами, ты проснешься. Ты почувствуешь себя отдохнувшим и посвежевшим. Понимаешь?

— Да.

— Ну, тогда ложись.

Вынув из кيسета табак и бумагу, стрелок свернул папиросу. Чего-то не хватало. С присущим ему усердием и тщательностью он стал искать и обнаружил пропажу. Не хватало раздражающего ощущения спешки, чувства, что в любой момент можешь отстать, что след затеряется и останется лишь обрывок шнура. Теперь все это прошло. Стрелок постепенно убеждался в том, что человек в черном хочет, чтобы его догнали.

Что же последует дальше?

Вопрос был слишком туманным, чтобы заинтересовать стрелка. Вот у Катберта он вызвал бы интерес, и весьма живой, но Катберт погиб, а сам стрелок мог идти вперед лишь известным ему путем.

Он курил, смотрел на мальчика и снова вернулся мыслями к Катберту, который вечно смеялся — он и на смерть пошел смеясь, — и к Карту, который не смеялся никогда, и к Мартену, который иногда улыбался — слабой, неприятной немой улыбкой, в которой крылось некое тревожащее мерцание... так глаз медленно раскрывается в темноте, обнаруживая под веками кровь. И, конечно же, был еще сокол. Сокола звали Давид — в честь легендарного юноши с пращой. Стрелок был совершенно уверен, что Давид не знал ничего, кроме жажды убивать, рвать, раздирать, жажды наводить ужас. Как и сам стрелок. Давид не был дилетантом — он играл центральным нападающим.

Впрочем, возможно, в некоем конечном счете сокол Давид был ближе к Мартену, чем к кому-либо другому... и, возможно, мать стрелка, Габриэль, это знала.

Стрелку показалось, будто желудок болезненно подкатывает к сердцу, однако его лицо не изменилось. Глядя, как дым от самокрутки поднимается в горячий воздух пустыни и исчезает, он мысленно возвращался в прошлое.

2

Небо было белым, совершенно белым, и в воздухе пахло дождем, а еще, сильно и приятно, — живой изгородью и растущей зеленью. Весна была в разгаре.

Давид сидел у Катберта на руке — маленькая машина разрушения с яркими золотистыми глазами, без причины сердито сверкавшими на окружающий мир. Прикрепленная к путам на его ножках сыромятная привязь была небрежной петлей накинута на руку Катберта.

В стороне от мальчиков стоял Корт — безмолвная фигура в заплатанных кожаных штанах и зеленой хлопковой рубашке, высоко подпоясанной старым, широким пехотным ремнем. Зелень рубашки сливалась с зеленью живой изгороди и неровным дерном Бэк-Кортс, где на Пойнтс еще не начинали играть дамы.

— Готовься, — прошептал Роланд Катберту.

— Мы готовы, — самоуверенно сказал Катберт. — Правда, Дэви?

Они изъяснялись низким слогом, на языке и судомоек, и сквайров; день, когда им разрешат говорить в присутствии остальных на своем языке, был еще далек.

— Отличный день для охоты. Чувствуешь, пахнет дождем? Это...

Корт вдруг обеими руками поднял клетку; боковая стенка упала и открылась. Голубка вылетела и взмыла вверх — стремясь в небо, она быстро, порывисто била крыльями. Катберт дернул за привязь, но опоздал; сокол уже поднялся в воздух, и взлетел он неуклюже.

Быстрым рывком крыльев птица выправилась и с быстротой пули взмыла вверх, обгоняя голубку по вертикали.

Корт небрежно подошел к тому месту, где стояли мальчики, размахнулся и огромным корявым кулаком ударил Катберта в ухо. Мальчик упал, не издав ни звука, хотя губы его искривились, обнажив десны. Из уха на сочную зеленую траву медленно потекла струйка крови.

— Ты запоздал, — сказал Корт.

Катберт с трудом поднимался на ноги.

— Прости, Корт. Я просто...

Корт снова размахнулся, и Катберт опять упал. На этот раз кровь потекла быстрее.

— Изъясняйся Высоким Слогом, — негромко велел учитель. В скучном голосе слышалась пьяная хрипотца. — Кайся на языке цивилизации, за которую отдали жизнь люди, с которыми тебе никогда не сравниться, червь.

Катберт снова поднимался на ноги. В глазах стояли блестящие слезы, но губы были крепко сжаты в яркую, полную ненависти линию и не дрожали.

— Я скорблю, — проговорил он, задыхаясь от сдерживаемых чувств. — Я позабыл лик своего отца, чьи револьверы питаю надежду когда-нибудь носить.

— То-то, отродье, — сказал Корт. — Подумай, что ты сделал не так, и подкрепи свои размышления голодом. Никакого ужина. Никакого завтрака.

— Смотрите! — выкрикнул Роланд. Он показал наверх.

Сокол, набрав высоту, очутился выше парящей голубки. На миг неподвижно распластав в тихом весеннем воздухе взъерошенные мускулистые крылья, он стал планировать. Потом, сложив крылья, камнем упал вниз. Птицы соединились, и Роланду на секунду представилось, будто он видит в воздухе кровь... но это, вероятно, были лишь его фантазии. Сокол издал короткий, пронзительный торжествующий крик. Трепеща крыльями, вздрагивая, голубка упала на землю, и Роланд побежал к добыче, бросив Корта и присмирившего Катберта.

Приземлившийся рядом со своей жертвой сокол удовлетворенно рвал ее пухлую белую грудку. Несколько перышек, качаясь,плыли по воздуху к земле.

— Давид! — завопил мальчик и кинул соколу лежавший у него в мешке кусок крольчатины. Поймав мясо на лету, сокол проглотил его, запрокинув голову — по горлу и спинке прошла судорога, — и Роланд попытался вновь взять птицу на привязь.

Круто и словно бы рассеянно обернувшись, сокол оставил на руке Роланда глубокую рваную рану. И вернулся к своей трапезе.

Охнув, Роланд опять сделал из привязи петлю, но теперь подставил под нырнувший книзу, чтобы полоснуть, клюв Давида кожаную

рукавицу. Он дал соколу еще один кусок мяса и надел на птицу клубочек. Давид послушно взобрался к мальчику на запястье.

Роланд с соколом на руке гордо выпрямился.

— А это еще что? — спросил Корт, указывая на глубоко рассеченную руку Роланда, с которой капала кровь. Затаив дыхание и сжав зубы, чтобы не вскрикнуть даже ненароком, мальчик встал, готовый поучить затрецину, однако Корт не ударил его.

— Он клюнул меня, — сказал Роланд.

— Ты его разозлил, — откликнулся Корт. — Сокол не боится тебя, мальчик, и никогда не будет бояться. Сокол — стрелок Господа.

Роланд лишь посмотрел на Корта. Мальчик не был одарен богатым воображением, и если в намерения Корта входило намекнуть на некую мораль, то для Роланда она пропала даром: мальчик был достаточно прагматичен для того, чтобы посчитать это заявление одной из немногих глупостей, слышанных им за свою жизнь от Корта.

Подошедший сзади Катберт показал Карту язык, держась в безопасности, со стороны незрячего глаза учителя. Роланд не улыбнулся, но кивнул.

— Теперь идите, — сказал Корт, забирая сокола. Он ткнул пальцем в Катберта: — А ты помни, что должен подумать, червь. И попоститься. Нынче вечером и завтра утром.

— Да, — проговорил Катберт, высокопарно и по всем правилам. — Благодарю за поучительный день.

— Уроки не проходят для тебя даром, — откликнулся Корт, — однако твой язык имеет скверную привычку высовываться из дурацкого рта, стоит учителю отвернуться. Быть может, настанет день, когда оба вы узнаете каждый свое место. — Он опять отвесил Катберту солидный тумак между глаз, довольно сильно, и Роланд услышал тупой, глухой звук: так стучает молоток, когда поваренок вставляет кран в пивной бочонок. Катберт отлетел назад и упал на лужайку. В первый момент его взгляд затуманился, стал незрячим, потом прояснился, и парнишка с нескрываемой ненавистью уставился на Корта, обжигая учителя глазами, из самой середины которых выглядывала яркая, как кровь голубки, досада.

Кивнув, Корт раздвинул губы в жестокой издевательской улыбке, какой Роланд никогда не видел.

— Тогда у тебя есть надежда, — сказал он. — Как почувствуешь себя в силах, приходи за мной, червь.

— Как ты узнал? — процедил Катберт сквозь зубы.

Корт обернулся к Роланду так быстро, что тот чуть было не отступил на шаг — а тогда на траве, расцвечивая молодую зелень своей кровью, оказались бы оба мальчика.

— Увидел отражение в глазах этого червяка, — сказал он. — Запомни это, Катберт. Последний на сегодня урок.

Катберт с прежней пугающей улыбкой кивнул.

— Я скорблю, — начал он. — Я позабыл лик...

— Кончай пороть чушь, — сказал Корт, теряя интерес. Он повернулся к Роланду. — А теперь марш. Оба. Если я еще немного погляжу на ваши тупые физиономии, червяки, то выблюю все свои кишки.

— Пошли, — сказал Роланд.

Катберт потряс головой, чтобы в ней прояснилось, и поднялся. Корт уже спускался с холма, широко шагая кривыми коренастыми ногами. Он казался могучим и, непонятно почему, доисторическим. На склоне горбушкой маячило выбритое поседевшее местечко у него на темени.

— Я убью этого сукина сына, — проговорил Катберт, продолжая улыбаться. На лбу у него таинственным образом вздувалось крупное гусиное яйцо, лиловое и шишковатое.

— Не ты и не я, — откликнулся Роланд, внезапно просияв ухмылкой. — Можешь поужинать со мной в западной кухне. Повар нам чего-нибудь даст.

— Он скажет Карту.

— Он с Кортом дружбу не водит, — возразил Роланд и пожал плечами. — Но даже если скажет, так что?

Катберт ухмыльнулся в ответ.

— Конечно. Верно. Мне всегда хотелось узнать, как выглядит мир, когда твоя голова стоит задом наперед и вверх тормашками.

Отбрасывая в ясном, белом весеннем свете тени, мальчики двинулись по зеленым лужайкам в обратный путь.

Повара из западного крыла звали Хэкс. В испещренном оставленными снедью пятнами белом облачении он выглядел огромным, а кожа этого человека цветом походила на сырую нефть — из предков Хэкса четверть были чернокожими, четверть — желтыми, четверть происходили с почти забытых ныне (мир сдвинулся с места) Южных островов, и четверть — Бог весть откуда. В огромных домашних туфлях с загнутыми носами он шаркал по трем заполненным горячим, влажным паром комнатам с высокими потолками, точно пущенный малой скоростью трактор. Хэкс относился к тем редким взрослым, кто прекрасно общается с маленькими детьми, беспристрастно оделяя любовью их всех — любовью не сахаринной, но деловой, которой иногда не обойтись без краткого объятия, как завершению крупной сделки — без рукопожатия. Он любил даже начавших Обучение мальчуганов, хоть эти ребята и отличались от прочих детей (не всегда заметно и в чем-то опасно; не так, как взрослые — скорее, так, как если бы они были обычными детьми, которых легко коснулось своим крылом безумие), и Катберт не был первым из учеников Корта, кого повар кормил тайком. В эту минуту Хэкс стоял перед одним из шести оставшихся от всего скарба электроприборов — огромной, неправильной формы печью. Кухня была его личным владением, он стоял и смотрел, как мальчишки, не жуя, заглатывают выданные им мясные обеды с подливкой. Впереди, сзади, со всех сторон в пенящемся

влажном воздухе, гремя кастрюлями, помешивая тушеное мясо, стремительно сновали кухонные мальчики, повара и прочая мелкая сошка, а в нижнем ярусе гнули спину над картошкой и овощами. В тускло освещенной нише кладовки поломойка с бледным, одутловатым, жалким лицом и подхваченными тряпицей волосами шлепала по полу мокрой шваброй.

В кухню в сопровождении человека из Стражи влетел поваренок.

— Хэкс, тут по твою душу.

— Ладно. — Хэкс кивнул Стражу, и тот кивнул в ответ. — Эй, ребята, — сказал повар, — подите к Мэгги, она вам даст пирога. А потом брысь.

Они кивнули и отправились к Мэгги, которая подала им на обеденных тарелках огромные клинья пирога... но опасно, словно мальчики были дикими псами и могли укусить.

— Айда на лестницу, съедим там, — предложил Катберт.

— Давай.

Усевшись за громадными колоннами из покрытого испариной камня, где их не было видно из кухни, они жадно, руками, сожрали пирог. Только через несколько секунд мальчики заметили тени, упавшие на закругление дальней стены широкой лестницы. Роланд схватил Катберта за руку.

— Пошли, — сказал он. — Кто-то идет.

Катберт поднял голову. Его лицо в пятнах ягодного сока было удивленным.

Но тени остановились, по-прежнему вне поля зрения. Это был Хэкс с человеком из Стражи. Мальчики остались сидеть, где сидели. Если бы теперь они тронулись с места, их могли бы услышать.

— ...добрый человек, — говорил Страж.

— В Фарсоне?

— За две недели, — отозвался Страж. — Может быть, за три. Тебе придется отправиться с нами. На товарной пристани грузят корабль... — Последние слова заглушил особенно громкий лязг горшков и кастрюль и град свистков в адрес уронившего их незадачливого кухонного мальчишки; потом ребята услышали, как Страж закончил: — ...отравленное мясо.

— Рискованно.

— Спрашивай не о том, что может сделать для тебя добрый человек... — начал Страж.

— ...но о том, что ты можешь сделать для него, — вздохнул Хэкс. — Солдат, не спрашивай.

— Ты знаешь, что это могло бы означать, — спокойно откликнулся Страж.

— Да. И знаю свой долг перед ним; нет нужды читать мне наставления. Я привязан к нему не меньше твоего.

— Хорошо. Мясо будет помечено для краткосрочного хранения у тебя на ледниках. Однако придется поспешить. Ты должен это понять.

— В Фарсоне есть дети? — печально спросил повар. Собственно, это не был вопрос.

— Везде дети, — мягко сказал Страж. — О детях-то мы — он — и печемся.

— Отравленное мясо. Экий странный способ заботиться о детях. — Хэкс испустил тяжелый свистящий вздох. — Они оцепенеют от ужаса, схватятся за животики, станут плакать и звать маму? Небошь, так и будет.

— Это будет все равно, что уснуть, — сказал Страж, но в его голосе было слишком много уверенной рассудительности.

— Конечно, — откликнулся Хэкс и захохотал.

— Ты сам сказал «солдат, не спрашивай». Тебе сильно по душе видеть детей под властью револьвера, в то время как они могли бы оказаться под защитой того, кто и льва заставляет лежать рядом с ягннком?

Хэкс не отвечал.

— Через двадцать минут я заступаю на дежурство, — продолжал Страж, и его голос снова звучал спокойно. — Дай-ка мне баранью лопатку, а я пощиплю одну из твоих девчонок, пусть себе хихикает. Когда я уйду...

— От моей баранинки колик в животе у тебя не будет, Робсон.

— Ты не... — Но тени скользнули прочь, и голоса стихли.

Я мог бы убить их, подумал оцепеневший, захваченный происходящим Роланд. Убить обоих, ножом, перерезать им глотки, словно боровам. Он поглядел на свои руки, украшенные теперь помимо оставленной дневными уроками грязи пятнами подливки и ягодного сока.

— Роланд.

Он посмотрел на Катберта. Мальчики обменялись в ароматной полутьме долгим взглядом, и к горлу Роланда подступил вкус теплого отчаяния. Чувство, которое он испытывал, можно было бы сравнить со своего рода смертью — это было нечто столь же жестокое и не оставляющее надежд, как гибель голубки в белом небе над игровым полем. «Хэкс, — недоуменно подумал мальчик. — Хэкс, который тогда прикладывал мне к ноге примочку? Хэкс?» Тут сознание Роланда словно защелкнулось, отсекая мысли на эту тему.

Даже в забавном, умном лице Катберта он не увидел ничего — совсем ничего. Глаза Катберта поскуцнели в предвидении судьбы Хэкса. В глазах Катберта все уже совершилось. Повар накормил их, они пошли на лестницу поесть, и тут Хэкс увел Стража по имени Робсон на изысканный *tete-a-tete* в неудачный уголок кухни. Вот и все. В глазах Катберта Роланд увидел, что за свою измену Хэкс умрет — так, как умирает гадюка во рву. И только. Больше ничего.

Это были глаза стрелка.

* * *

Отец Роланда только что вернулся с нагорья. Среди портьер и декоративного шифона главной залы для приемов, куда мальчугана стали допускать лишь с недавних пор в знак того, что он стал учеником, Роланд-старший выглядел неуместно. Черные штаны из грубой бумажной ткани, синяя рабочая рубашка, небрежно переброшенный через плечо пропыленный и прорванный в одном месте до подкладки плащ — фигура отца дисгармонировала с элегантностью покоев. Он был отчаянно худ, и, когда сверху вниз поглядел на сына, густые, похожие на велосипедный руль усы под носом словно бы потянули голову книзу. Перекрещенные на бедрах револьверы висели под идеальным для рук углом. Потертые рукояти из сандала в томном свете покоев казались вялыми и сонными.

— Главный повар, — тихо сказал отец. — Представь себе! Взорванные в горах у станции снабжения рельсы. Мертвый склад в Хендриксоне. И, возможно, даже... да ты представь! Представь!

Он повнимательнее присмотрелся к сыну.

— Это терзает тебя.

— Как сокол, — сказал Роланд. — Терзает. — И засмеялся — скорее, из-за поразительной уместности образа, нежели от того, что уловил в ситуации какой-то просвет.

Отец улыбнулся.

— Да, — сказал Роланд. — Наверное, это... это терзает меня.

— С тобой был Катберт, — сказал отец. — К этому времени он уже наверняка все рассказал отцу.

— Да.

— Он кормил вас обоих, когда Корт...

— Да.

— А Катберт? Как думаешь, его это мучает?

— Не знаю. — Такой путь сравнений очень мало его интересовал. Мальчика не заботило то, как его чувства сравнивают с чувствами других.

— Ты терзаешься оттого, что чувствуешь себя убийцей?

Роланд нехотя пожал плечами, сразу же ощутив недовольство от такого зондирования своих побуждений.

— И все-таки ты рассказал. Почему?

Глаза мальчика расширились.

— Как же я мог промолчать? Измена...

Отец коротко махнул рукой.

— Коль скоро ты сделал это ради какой-нибудь дешевки вроде идей из школьных книжек, ты поступил недостойно. Я предпочел бы увидеть отравленным весь Фарсон.

— Нет! — с силой вырвалось у мальчика. — Я хотел убить его... их обоих! Обманщики! Предатели! Они...

— Ну-ну, говори.

— Они обидели меня, — с вызовом закончил Роланд. — Что-то сделали со мной. Что-то изменили. Я хотел убить их за это.

Отец кивнул.

— Достойно. Не нравственно, но не тебе быть нравственным. По сути дела... — Он глянул на сына. — Морали всегда будут тебе не по зубам. Ты не такой смывленный, как Катберт или парнишка Уилера. Это сделает тебя грозным.

Мальчик, до этого пребывавший в нетерпении, и обрадовался, и встревожился.

— Его...

— Повесят.

Мальчик кивнул.

— Я хочу посмотреть на это.

Роланд-старший закинул голову и оглушительно захохотал.

— Не таким грозным, как я думал... а может, попросту глупцом. — Он вдруг закрыл рот. Вылетевшая вперед подобно стреле молнии рука больно ухватила мальчика повыше локтя. Парнишка скривился, но не дрогнул. Отец не сводил с него испытующего взгляда, и мальчик ответил на него, хотя это было труднее, чем надеть клобучок на сокола.

— Хорошо, — сказал отец и резко повернулся, чтобы уйти.

— Отец?

— Что?

— Ты знаешь, о ком они говорили? Знаешь, кто такой добрый человек?

Отец снова обернулся и задумчиво посмотрел на него.

— Да. Думаю, что знаю.

— Если бы ты поймал его, — проговорил Роланд в своей обычной манере — задумчиво, почти так, как если бы делал тяжелую работу, — кроме Повара, больше никого не пришлось бы... вздергивать...

Отец скупо улыбнулся.

— Какое-то время, возможно, нет. Но в итоге всегда приходится кого-нибудь «вздернуть», как ты оригинально выразился. Люди просто напрашиваются на это. Рано или поздно, если перебежчик не объявляется, люди его создают.

— Да, — отозвался Роланд, мгновенно схватывая мысль, которая уже не ускользала из его памяти никогда. — Но если тыймаешь его...

— Нет, — решительно сказал отец.

— Почему?

Мгновение казалось, что отец вот-вот объяснит, почему, но он сдержался и промолчал.

— Я думаю, на данный момент мы уже достаточно наговорились. Оставь меня.

Роланду хотелось сказать, чтобы отец не забыл о своем обещании, когда Хэксу придет время шагнуть в люк, но мальчик чувствовал его настроения. Он подумал, что отцу хочется предаться плотским утехам, и быстро закрыл дверь. Он знал, что отец занимается этим...

этим делом вместе с матерью, и был достаточно просвещен относительно того, в чем состояло действие, но картинка, неизменно возникавшая у Роланда в голове вместе с этими мыслями, заставляла мальчика испытывать чувство неловкости и в то же время — странной вины. Через несколько лет Сьюзан расскажет ему историю Эдипа, и он усвоит ее, погрузившись в спокойную задумчивость и размышляя о непонятном кровавом треугольнике, образованном его отцом, матерью и Мартеном... известным в некоторых краях как добрый человек. Или о прямоугольнике, буде желание прибавить и себя.

— Спокойной ночи, отец, — сказал Роланд.

— Спокойной ночи, сын, — рассеянно отозвался отец, принимаясь расстегивать рубашку. В его представлении мальчик уже ушел. Яблочко от яблоньки.

Виселичный Холм находился на Фарсонской дороге, что заключало в себе тонкую поэзию — Катберт бы оценил это, но Роланд нет. Зато он по достоинству оценил взбিরавшийся в ослепительно голубое небо величественно зловещий эшафот, черный угловатый силуэт, нависавший над проезжей дорогой.

Обоих мальчиков отпустили с Утренних Упражнений — шевеля губами и время от времени кивая, Корт медленно, с трудом прочел записки от их отцов. Когда с обеими записками было покончено, он поглядел на сине-лиловое рассветное небо и снова кивнул.

— Обождите здесь, — сказал он и пошел к покосившейся каменной хижине, служившей ему домом. Он вернулся с ломтем грубого, пресного хлеба, разломил его пополам и вручил каждому по половинке.

— Когда все кончится, каждый из вас положит это ему под башмаки. Помните: сделать как велено, не то узнаете, где раки зимуют.

Они не понимали, пока на спине принадлежавшего Катберту мерина не приехали на место казни. Мальчики явились первыми, за четыре часа до повешения, опередив всех прочих на добрых два часа, и на пустынном Виселичном Холме не было никого, кроме грачей да воронов. Птицы были повсюду и, разумеется, все — черные. Они шумно устраивались на якорь смерти — жесткой, выдававшейся над люком перекладине. Они расселись в ряд на краю помоста, толкались, стремясь занять место на ступенях.

— Их потом оставляют, — пробормотал Катберт. — Птицам.

— Айда наверх, — сказал Роланд.

Катберт взглянул на приятеля: во взгляде читалось что-то вроде ужаса.

— Ты что, думаешь...

Роланд оборвал его движением руки.

— Времени еще *завались*. Никто не приедет.

— Ну ладно.

Они медленно зашагали в сторону виселицы, и возмущенно совравшиеся с места птицы с карканьем закружили над землей, будто орава сердитых крестьян, согнанных с земли. На фоне чистого, зажженного зарей неба они казались плоскими и черными.

Роланд впервые почувствовал гнусность своей ответственности за происходящее; дерево виселицы не было благородным, оно не было частью внушающей благоговейный ужас Цивилизации — это была всего лишь покоробленная сосна, покрытая белыми кляксами птичьего помета. Им было забрызгано все: ступени, перила, помост... и он вонял.

С удивлением и ужасом в глазах мальчик обернулся к Катберту и увидел, что Катберт смотрит на него с таким же выражением.

— Не могу, — прошептал Катберт. — Не могу я на это смотреть.

Роланд медленно помотал головой. Он понял, что здесь заключен урок: не сияющая блестящая штука, нет — что-то старое, ржавое и изуродованное. Вот почему отцы позволили им пойти. И со своей обычной упрямой, молчаливой настырностью Роланд мысленно наложил руки на это что-то.

— Можешь, Берт.

— Я сегодня спать не буду.

— Значит, не будешь, — сказал Роланд, не понимая, что тут можно поделаться.

Внезапно схватив Роланда за руку, Катберт взглянул на товарища с такой немой мукой, что к тому вернулись собственные сомнения и болезненно захотелось, чтобы в тот вечер они вообще не переступали порога западной кухни. Отец был прав. Лучше всё до единого мужчины, женщины и дети в Фарсоне, чем это.

Впрочем, какой бы проржавевшей, наполовину преданной забвению штукой ни был сегодняшний урок, ни выпускать ее из рук, ни ослаблять хватку Роланд не собирался.

— Давай не пойдем наверх, — сказал Катберт. — Мы уже все видели.

И Роланд неохотно кивнул, чувствуя, как ослабевает захват, в котором находилась непонятная штуковина. Он знал, что Корт парой хороших ударов распластал бы их обоих на земле, а потом шаг за шагом заставил бы с проклятиями подняться на помост... на ходу хлюпая ногами, чтобы сдержать свежую кровь. Корт, вероятно, не поленился бы даже закрепить на перекладине новую пеньковую веревку, по очереди набросить петлю на шею каждому из них и заставить постоять на крышке люка, чтоб прочувствовали, каково это; а еще Корт с готовностью наградил бы еще одним тумаком того, кто всхлипнет или не совладает с мочевым пузырем. И, разумеется, был бы прав. Впервые в жизни Роланд обнаружил, что ненавидит собственное детство. Он мечтал о габаритах, мозолях и уверенности зрелых лет.

Прежде чем повернуть обратно, он нарочно отодрал от перил шепку и положил в нагрудный карман.

— Зачем ты это сделал? — спросил Катберт.

Роланд хотел сказать в ответ что-нибудь развязное, вроде: *О везенье — в пеньковой болтаться петле...* но лишь взглянул на Катберта и потряс головой.

— Просто так. Чтоб она всегда была со мной.

Они ушли от виселицы, сели и стали ждать. Примерно через час начали собираться первые зрители, преимущественно семьи. Они съезжались в разбитых фургонах и «фаэтонах»; в плетеных корзинах с крышками лежали завтраки — холодные блинчики с начинкой из земляничного варенья. В животе у Роланда ощутимо заурчало от голода, и мальчик еще раз с отчаянием подивился, в чем же тут благородство. Ему казалось, что в Хэксе, безостановочно кружившем в своем грязном белом халате по заполненной горячим влажным паром подземной кухне, благородства было больше. В болезненном замешательстве мальчик потрогал пальцем щепку от виселицы. Катберт лежал рядом, делая бесстрастное лицо.

В итоге все оказалось не так страшно, и Роланд был рад этому. Хэкса привезли на открытой повозке, но выдавала повара лишь необъятная талия — глаза Хэксу завязали широкой полосой черной ткани, которая скрывала нижнюю часть лица. В изменника полетело несколько камней, но большая часть толпы продолжала завтракать.

Незнакомый мальчику стрелок (Роланд обрадовался, что жребий вытащил не отец) осторожно провел толстяка-повара по ступенькам. По обе стороны люка стояли взошедшие на помост еще раньше двое Стражей из Дозора. Когда Хэкс со стрелком оказались наверху, стрелок перебросил через перекладину веревку с завязанной на ней петлей, накинул повару на шею и спустил узел так, что тот прильнул к шее прямо под левым ухом. Все птицы улетели, но Роланд знал, что они ждут.

— Желает ли ты сознаться? — спросил стрелок.

— Мне не в чем сознаваться, — ответил Хэкс. Слова отчетливо разнеслись над толпой и, несмотря на то что голос повара заглушала свисавшая на губы ткань, прозвучали со странным достоинством. Поднявшийся слабый, приятный ветерок поигрывал полотном. — Я не позабыл лик своего отца и пронес его через все.

Роланд остро глянул на толпу и встревожился оттого, что увидел — сочувствие? Может быть, восхищение? Он решил спросить отца. Когда предателей называют героями (или героев предателями, подумал он, по своему обыкновению насупившись), значит, настали черные дни. Он жалел, что плохо понимает происходящее. Мысли мальчика перескочили на Корта и на хлеб, который Корт им вручил. Роланд почувствовал презрение: приближался день, когда Корт должен был стать его слугой. С Катбертом, возможно, выйдет иначе; может стать, Катберт согнется под непрерывным огнем Корта и останется пажом или подручным конюха (или, что бесконечно хуже, надушен-

ным дипломатом, развлекающимся в приемных или глядящим в поддельные хрустальные шары вместе с выжившими из ума болтливыми королями и принцессами), но он — нет. Роланд это знал.

— Роланд?

— Я здесь. — Он взял Катберта за руку, и их пальцы сцепились намертво.

Крышка люка провалилась. Хэкс камнем упал в отверстие. В неожиданной наступившей полной тишине раздался такой звук, будто холодным зимним вечером в очаге выстрелила сосновая шишка.

Но это оказалось не слишком страшно. Ноги повара дернулись, разойдясь широким Y; в толпе возник удовлетворенный шелест; Стражи из Дозора бросили тянуться по-военному и беспечно взялись наводить порядок. Стрелок не спеша спустился с помоста, сел на лошадь и ускакал, грубо врезавшись в гомонящую толпу. Гуляющие так и прыснули с дороги.

После этого толпа быстро рассеялась, и через сорок минут мальчики остались на облюбованном ими небольшом пригорке одни. Возвращались птицы — исследовать новую долгожданную добычу. Одна опустилась Хэксу на плечо и как старая приятельница сидела там, быстро поклеывая яркое блестящее колечко, которое Хэкс всегда носил в правом ухе.

— Он совсем на себя не похож, — сказал Катберт.

— Ну нет, похож, — уверенно объявил Роланд, когда они шагали к виселице с хлебом в руках. Катберт, казалось, пришел в замешательство.

Под виселицей они остановились, глядя вверх, на тело. Болтаясь под переладиной, оно медленно поворачивалось. Катберт протянул руку и дерзко дотронулся до волосатой лодыжки. Тело качнулось и завертелось, описывая новую дугу.

Потом они быстро разломали хлеб и рассыпали крошки под болтающимися ступнями. На обратном пути Роланд оглянулся только один раз. У виселицы собрались тысячи птиц. Значит, хлеб (мальчик понял это лишь смутно) был не более чем символом.

— Было хорошо, — неожиданно сказал Катберт. — Это... мне... мне понравилось. Честно.

Но Роланд не был шокирован, хотя его самого зрелище не особенно заинтересовало. Он подумал, что, вероятно, способен понять Катберта.

Доброму человеку страна досталась только десять лет спустя. К тому времени Роланд уже был стрелком. Его отец лежал в земле, сам он стал убийцей родной матери — а мир сдвинулся с места.

3

— Смотрите, — сказал Джейк, тыча пальцем куда-то вверх.

Стрелок поднял голову и почувствовал, как в спине хрустнул невидимый позвонок. Они провели в предгорье уже два дня, и, хотя

бурдюки с водой снова почти опустели, теперь это не имело значения. Скоро воды у них будет сколько душе угодно.

Он проследил, куда направлен палец Джейка: мальчик показывал вверх, за зеленую равнину, поднимающуюся к голым сверкающим утесам и ущельям... и выше, прямо на заснеженные вершины.

Еле видимым, далеким, всего лишь крохотной точкой (если бы не ее постоянство, она могла бы быть одной из пылинок, беспрепятственно плывавших у него перед глазами) предстал стрелку человек в черном, неумолимо двигавшийся вверх по склонам — ничтожно малая муха на необъятной гранитной стене.

— Это он? — спросил Джейк.

Стрелок взглянул на занятую вдалеке акробатикой безликую пылинку — и не испытал ничего, кроме предчувствия беды.

— Он самый, Джейк.

— Вы думаете, мы его догоним?

— Не на этой стороне. На другой. Конечно, если не будем стоять здесь и рассуждать.

— Такие высокие горы, — сказал Джейк. — Что на другой стороне?

— Не знаю, — сказал стрелок. — И думаю, что никто не знает. Разве что когда-то давно... Идем, мальчик.

Они опять двинулись вверх по склону; ручейки мелких камешков и песка сбегали из-под ног в пустыню, которая струилась позади, превращаясь в плоский противень без конца и края. В вышине над ними все дальше, дальше, дальше продвигался человек в черном. Казалось, он перепрыгивает невероятные пропасти, взбирается на отвесные кручи. Раз или два он исчезал, но неизменно показывался снова, и лишь лиловый занавес сумерек отрезал его от путников. Когда они устраивались на вечерний привал, мальчик почти не разговаривал, и стрелок подивился, уж не понял ли парнишка то, что ему чутье подсказывало уже давно. В мыслях возникло лицо Катберта — разгоряченное, испуганное, возбужденное. Хлебные крошки. Птицы. Так оно и кончается, подумал он. Всякий раз вот так. И странствия с походами, и дороги, бесконечно уводящие вдаль — все обрывается на одном и том же месте: лобном.

Кроме, может быть, дороги к Башне.

Мальчик — жертва — уснул над своими бобами, и его лицо в отблесках крошечного костерка было невинным и очень юным. Стрелок укрыл его попоной и тоже лег спать, свернувшись клубком.

ОРАКУЛ И ГОРЫ

Мальчик встретил прорицательницу, и та чуть не погубила его.

Некое тонкое чутье подняло стрелка ото сна в бархатной тьме, внезапно окутавшей путников на склоне дня подобно пелене колодезной воды. Это случилось, когда они с Джейком достигли поросшего травой, почти ровного оазиса, расположенного над беспорядочно разбросанными холмами первой возвышенности предгорья. Даже внизу, на неудобье, по которому они тащились с трудом, отвоевывая у убийственного солнца каждый фут, было слышно, как в вечной зелени ивовых рощ соблазнительно потирают лапку о лапку сверчки. Стрелок сохранял невозмутимость в мыслях, а мальчик поддерживал по крайней мере притворную видимость спокойствия, и это наполняло стрелка гордостью, но скрыть иступление Джейку не удавалось — оно светилось в его глазах, белых и остановившихся, как у почуявшей воду лошади, которую от того, чтобы понести, удерживает лишь непрочная цепочка разума ее господина; у лошади, дошедшей до той кондиции, когда ее может сдержать исключительно понимание, не шпоры. До чего сильно Джейку хочется пить, стрелок мог определить по безумию, какое порождала песенка сверчков в его собственном теле. Руки так и искали камень — оцарапаться, а колени точно умоляли, чтобы их вспороли крохотные, но глубокие, сводящие с ума солоноватые порезы.

Солнце всю дорогу попирало их обжигающей стопой; даже на закате, налившись лихорадочной краснотой опухоли, оно упрямо светило в ножевую рану меж далеких холмов слева, ослепляя, превращая каждую слезинку пота в кристаллик боли.

Потом пошла трава: сначала просто желтая поросль, жавшаяся к голой земле там, куда с отвратительной живостью и энергией добирались последние ручейки талых вод. Подальше и повыше — ведьмина трава, редкая, потом зеленая и пышная... а еще дальше — первый сладкий запах настоящей травы: она росла вперемешку с тимофеевкой под сенью первых карликовых пихт. В этой сени

стрелок заметил местечко, где шевелилось что-то бурое. Он выхватил револьвер. Не успел Джейк изумленно вскрикнуть, как стрелок выстрелил и подшиб кролика. Мгновение спустя револьвер снова оказался в кобуре.

— Оп-ля, — сказал стрелок. Впереди трава углублялась в зеленые джунгли ивняка, потрясающие после выжженного бесплодия бесконечного спекшегося песка. Там, должно быть, тек ручей, возможно, даже несколько, и, наверное, было еще прохладнее, но стрелок предпочитал оставаться на открытом месте. Мальчик выложился до последнего шага, и кроме того, в более густом сумраке рощи могли водиться нетопыри-кровососы. Каким бы глубоким ни был сон мальчика, летучие мыши могли нарушить его, а окажись они вампирами, ни парнишка, ни стрелок не проснулись бы... по крайней мере, в этом мире.

Мальчик сказал:

— Я принесу каких-нибудь веток.

Стрелок улыбнулся.

— А вот и нет. Садись, Джейк, устраивайся. — Кто так говорил? Какая-то женщина.

Мальчик уселся. Когда стрелок вернулся, Джейк спал на траве. На пружинистом стебле чубчика умывался крупный богомол. Стрелок разложил костер и отправился за водой.

Заросли ивняка оказались гуще, чем он думал, и в меркнушем свете смущали. Однако стрелок отыскал ручей, который охраняло великое множество лягушек и пискунов, наполнил бурдюк... и замер. Звуки, которыми была полна ночь, пробуждали тревожную чувственность, какую не удавалось вызвать из глубин даже Элли, женщине, с которой он ложился в постель в Талле. В конце концов, родственная связь между чувственностью и занятиями любовью крайне тонка и незначительна. Он отнес свои ощущения на счет неожиданной, ошеломляющей перемены обстановки. Мягкость мрака казалась почти нездоровой.

Он вернулся в лагерь и, пока над огнем закипала вода, освежив кролика. Из смешанного с остатками консервов зверька получилось превосходное рагу. Разбудив Джейка, он некоторое время смотрел, как мальчик ест — из последних сил, но жадно, — а потом сказал:

— Завтра остаемся здесь.

— Но человек, за которым вы гонитесь... этот священник.

— Он не священник. И не беспокойся. Никуда он не денется.

— Откуда вы знаете?

Стрелок мог лишь покачать головой. Он твердо знал, что человек в черном никуда от них не денется... но радости в таком знании было мало.

После еды он сполоснул жестянки, из которых они ели (еще раз подивившись собственной расточительности в отношении воды), а

когда обернулся, Джейк уже снова уснул. Стрелок ощутил в груди теперь уже знакомые толчки, которые мог отождествить только с Катбертом. Катберт был ровесником Роланда, но казалось, что он настолько моложе...

Огонек поникшей самокрутки смотрел в траву. Стрелок швырнул ее в костер и пригляделся: ясное желтое пламя, такое чистое по сравнению с тем, как горела бес-трава, такое непохожее. Воздух был на удивление прохладным, и стрелок улегся спиной к огню. Из уходящей в горы глубокой расщелины доносилось хриплое, незатишающее ворчание грома. Он уснул. И увидел сон.

На глазах у стрелка умирала Сьюзан, его возлюбленная:

Он смотрел (за руки его держали селяне, по двое с каждой стороны, а шею охватывал громадный ржавый железный ошейник), а она умирала. Даже сквозь густой смрад, валивший от костра, Роланд чуял мрак темницы и видел цвет собственного безумия. Сьюзан, прелестная девушка у окна, дочь гуртовщика лошадей. Она обугливалась в огне, ее кожа с треском лопалась.

— Мальчик! — надрывалась она. — Роланд, мальчик!

Он круто повернулся, волоча за собой своих тюремщиков. Ошейник рвал шею; стрелок услышал прерывистые сдавленные звуки — они шли из его собственного горла. В воздухе стоял тошнотворно-сладкий запах жарящегося на углях мяса.

Мальчик смотрел на него сверху, из окна, расположенного высоко над внутренним двором, из того самого окна, у которого Сьюзан, научившая стрелка быть мужчиной, когда-то сидела и пела старинные песни — «Эй, Джуд», и «Вниз по дороге не гони», и «Сто лиг до Бэнберри-кросс». Он выглядывал из окна, будто гипсовая статуя святого в церкви. Глаза казались мраморными. Лоб Джейка был пронзен острым большим гвоздем.

Стрелок почувствовал, как из самого его нутра, знаменуя начало безумия, рвется удушающий, истошный, пронзительный вопль.

— Ннннннн...

Огонь опалил Роланда, и стрелок сдавленно вскрикнул. Он рывком сел во мраке. Ему все еще казалось, что он находится внутри своего сна, который душит его, точно ошейник, в котором он себе приснился. Крутясь и ворочаясь, Роланд угодил рукой в гаснущие угли костра. Теперь он приложил ладонь к лицу, чувствуя, как сон обращается в бегство, оставляя лишь застывший образ гипсово-белого Джейка, святого для бесов.

— Ннннннннн...

Он вытащил оба револьвера и, держа их наготове, сердито оглядел таинственную тьму ивовой рощи. Угасающее зарево костра превратило его глаза в красные бойницы.

— Ннннн-нннн...

Джейк.

Стрелок вскочил и побежал. На небе взошел горький круг луны, так что можно было идти по следу, оставленному мальчиком в росистой траве. Он нырнул под первые ивы, с плеском пересек ручей и, оскальзываясь из-за сырости, бегом вскарабкался на другой берег (даже сейчас тело стрелка было способно с наслаждением смаковать влагу). Гибкие ивовые прутья хлестали его по лицу. Здесь деревья росли гуще, загораживая луну. Древесные стволы вставали из качающихся теней. По ногам хлестала трава, доходившая тут до колен. К щиколоткам стрелка тянулись подгнившие мертвые ветви. Он на секунду остановился, вскинул голову и припнулся. Призрачный ветерок помог ему. Само собой, мальчик не благоухал — этим грешили они оба. Ноздри стрелка раздулись, как у крупной обезьяны. Запах пота был слабым, маслянистым, не похожим ни на что другое. С треском прохрустев по валежнику (ежевика, трава, сбитые ветром на землю ветки), стрелок опрометью бросился бежать по тоннелю, образованному нависающими ветвями лозняка и сумаха. За плечи, цепляясь к ним шелестящими серыми щупальцами, задевал мох.

Продравшись сквозь последний заслон ивняка, стрелок обнаружил поляну, обращенную к звездам и самому высокому пику горной цепи, мерцавшему в невероятной высоте белизной черепа.

Поляну кольцом обступили высокие черные камни, отчего в лунном свете она походила на некий сюрреалистический капкан. Посередине, на могучей базальтовой опоре из земли вздымалась каменная плита... алтарь. Очень древний.

Перед алтарем, дрожа и покачиваясь вперед-назад, стоял мальчик. Свешенные вдоль тела руки подрагивали, будто наэлектризованные. Стрелок резко окликнул мальчугана по имени, и Джейк ответил нечленораздельным звуком, означавшим отказ. В лице мальчугана — неясном светлом пятне, едва видимом из-за плеча, — читались одновременно и ужас, и восторг. Впрочем, и кое-что еще.

Стрелок ступил внутрь кольца. Джейк с пронзительным криком отпрянул и вскинул руки. Теперь можно было ясно разглядеть и распознать выражение лица мальчугана. Взору стрелка предстали испуг и ужас, боровшиеся с почти мучительной гримасой удовольствия.

Дух оракула, суккуб, коснулся и Роланда. Чресла вдруг заполнил розовый свет — мягкий, ласковый и в то же время суровый и холодный, — и стрелок почувствовал, что, сам того не желая, крутит головой, а язык утолщается и становится невыносимо чувствительным даже к обволакивающей его слюне.

Стрелок, не задумываясь, вытащил из кармана полусгнившую челюсть, которую носил там с тех самых пор, как нашел ее в логове Говорящего Демона на постоялом дворе. Однако то, что он действует без размышления, полагаясь лишь на чутье, не пугало его.

Держа челюсть застывшим доисторическим оскалом к себе, другую руку с торчащими указательным пальцем и мизинцем (этот древний рогатый талисман оберегал от дурного глаза) стрелок решительно выставил вперед.

Поток чувственности дуло, точно легкую кисею.

Джейк снова закричал.

Стрелок подошел и поднес челюсть к непримиримым глазам Джейка. Влажный звук страдания. Мальчик попробовал отвести неподвижный взгляд от кости, и не смог. Глаза вдруг закатились, показав белки. Джейк упал. Тело мальчика мягко ударилось о землю, одна рука едва не коснулась алтаря. Быстро опустившись на одно колено, стрелок подхватил его. Парнишка оказался поразительно легким: долгий путь через пустыню оставил в нем соков не больше, чем в ноябрьском листе.

Роланд чуял близкое присутствие обитательницы каменного кольца — лишенная желанной добычи, она звенела от ревнивой злобы. Стоило выйти за пределы круга, и ощущение разочарованной зависти истаяло. Он понес Джейка назад. К тому времени, как они добрались до своего лагеря, вздрагивающее забытье мальчика перешло в глубокий сон. Над серым пепелищем костра стрелок на миг остановился. В лунном свете лицо Джейка опять напомнило Роланду алебастровую, непознанную чистоту святого из церкви. Казалось, еще немного, и где-то высоко в горах, вдалеке, он явственно расслышит смехок человека в черном.

Джейк звал его; вот отчего он проснулся. Ночью стрелок крепко привязал мальчика к росшему неподалеку жесткому кусту, теперь же мальчик хотел есть и пребывал в расстроенных чувствах. Судя по солнцу, было около половины десятого.

— Зачем вы меня связали? — возмущенно спросил Джейк, когда стрелок ослабил крепкие узлы на чепраке. — Я не собирался удирать!

— Еще как удрал, — сказал стрелок, и выражение лица Джейка заставило его улыбнуться. — Пришлось за тобой сходить. Ты бродил во сне.

— Я? — Джейк с подозрением взглянул на него.

Стрелок кивнул и вдруг извлек из кармана челюсть. Он поднес ее Джейку к лицу, и мальчик шарахнулся, загорodившись рукой.

— Видишь?

Джейк растерянно кивнул.

— Теперь мне придется на некоторое время уйти. Может статься, меня не будет целый день. Так что послушай, мальчик. Это важно. Если к заходу солнца я не вернусь...

В лице Джейка промелькнул страх.

— Вы бросаете меня!

Стрелок попросту смотрел на него.

— Нет, — мгновением позже сказал Джейк. — Наверное, нет.

— Я хочу, чтобы, пока меня не будет, ты оставался здесь. И, если почувствуешь себя необычно... хоть в чем-то странно... возьми эту кость и держи в руках.

По лицу Джейка прошли ненависть и отвращение, смешанные с растерянностью.

— Я не могу. Я... я просто не могу.

— Можешь. Может случиться так, что тебе придется это сделать. Особенно на склоне дня. Это важно. Сечешь?

— Что это вам понадобилось уходить? — вспыхнул Джейк.

— Просто нужно.

Стрелок уловил еще один пленительный проблеск таившейся у мальчика под поверхностью стали, столь же загадочный, как и рассказанная им история о том, что он попал сюда из большого города, где дома в самом деле скребли небо, такими они были высокими.

— Ладно, — сказал Джейк.

Стрелок аккуратно положил кость на землю рядом с головешками, и она оскалилась из травы, точно какое-то источенное временем ископаемое, увидевшее дневной свет после ночи длинной в пять тысячелетий. Джейк нипочем не хотел смотреть на нее. Лицо мальчика было бледным и несчастным. Стрелок задумался, не лучше ли для них обоих будет усыпить и расспросить парнишку, и решил, что выигрыш невелик. Он достаточно хорошо знал, что обитающий в каменном кольце дух, несомненно, демон и при этом, весьма вероятно, прорицающий. Дьяволица, не имеющая воплощения — лишь некий бесформенный чувственный блеск да пророческое око. У него мелькнула сардоническая мысль: уж не может ли она оказаться душой Сильвии Питтстон, великанши, чья спекуляция на вере стала причиной разыгравшегося в Талле заключительного представления... впрочем, стрелок знал, что это не так. Камни кольца были древними, этот особый клочок земли демон застолбил намного раньше, чем промелькнула самая первая тень доисторических времен. Однако прекрасно разбиравшийся в тонах разговора Роланд не думал, что мальчику придется использовать челюсть. Голос и разум прорицательницы будут более чем заняты им самим. Ему требовалось кое-что узнать... несмотря на риск, и немалый. Но выхода не было: и ради Джейка, и ради себя нужно было *знать*.

Развязав кисет, стрелок запустил туда руку и разгребал сухие волокна табачного листа до тех пор, пока не нашел крохотный предмет, завернутый в клочок белой бумаги. Рассеянно глядя в небо, он приподнял сверточек на ладони. Потом развернул и взял в руку содержимое — крошечную белую таблетку с сильно стершимися за время путешествия краями.

Джейк с любопытством взглянул на нее.

— Что это?

Стрелок издал короткий смешок.

— Философский камень, — сказал он. — Корт, бывало, рассказывал нам, что Старые Боги помочились в пустыню и сотворили мескалин.

Джейк казался озадаченным — и только.

— Лекарство, — сказал стрелок. — Но не из тех, что усыпляют. Из тех, что всю дорогу держат на взводе, но недолго.

— Как ЛСД, — тут же согласился мальчик и опять принял озадаченный вид.

— Что это?

— Не знаю, — сказал Джейк. — Просто выскочило. Думаю, это взялось из... ну, понимаете, из прежнего.

Стрелок кивнул, испытывая, однако, сомнения. Он никогда не слышал, чтоб мескалин называли ЛСД, даже в старинных книгах Мартена.

— Больно будет? — спросил Джейк.

— Никогда не было, — сказал стрелок, сознавая, что уходит от ответа.

— Мне это не по душе.

— Ничего.

Присев на корточки перед бурдюком, стрелок набрал полный рот воды и проглотил таблетку. Как всегда, рот отреагировал мгновенно и ощутимо: он точно переполнился слюной. Стрелок уселся перед потухшим костром.

— Сейчас с тобой что-нибудь начнет происходить? — спросил Джейк.

— Какое-то время — ничего. Сиди тихо.

И Джейк сидел тихо, с нескрываемым подозрением наблюдая, как стрелок невозмутимо проделывает ритуал чистки револьверов.

Он спрятал их в кобуры и сказал:

— Рубашка, Джейк. Сними-ка и дай мне.

Джейк неохотно стянул через голову выгоревшую рубашку и отдал стрелку.

Из бокового шва штанов стрелок вынул вколотую туда иголку, а из пустующей петли патронташа — нитку и принялся зашивать длинную прорезу на рукаве рубашки мальчугана. Когда он закончил и протянул рубашку обратно, то почувствовал, что мескалин начинает завладевать им — желудок сжался, а все до единой мышцы словно бы напряжились чуть сильнее обычного.

— Надо идти, — сказал Роланд, поднимаясь.

На лицо мальчика легла тень тревоги; он привстал — и опустился на место.

— Будьте осторожны, — попросил он. — Пожалуйста.

— Помни про челюсть, — сказал стрелок. Проходя мимо Джейка, он положил руку мальчику на голову и взъерошил пшеничные волосы. Жест удивил его, заставив коротко рассмеяться. Джейк с

беспокойной улыбкой смотрел стрелку вслед, пока тот не исчез в зарослях ивняка.

Стрелок не спеша, осторожно пробирался к кольцу камней. Один раз он остановился напиться прохладной воды из ручья. Увидев в крошечном, окаймленном мхом и листьями кувшинок озерце свое отражение, он на миг засмотрелся на себя, очарованный, будто Нарцисс. Сознание начинало отзываться на действие мескалина: дополнительное значение каждой идеи, каждой крупницы поступавшей от органов чувств информации возросло, замедляя тем самым течение мыслей. Предметы стали обретать незаметные прежде вес и плотность. Поднимаясь, стрелок приостановился и всмотрелся в беспорядочную путаницу ивовой лозы. Сквозь сплетение ветвей золотыми пыльными полосами косо пробивалось солнце, и прежде чем двинуться дальше, он понаблюдал за взаимодействием пылинок с крохотными летучими созданиями.

Препарат нередко нарушал его душевное равновесие: будучи слишком сильным (или, возможно, попросту слишком незамысловатым), для того чтобы получать удовольствие от пребывания в тени, это стрелка сползало, точно шкурка, создавая мишень для более тонких чувств, шекотавших Роланда, как кошачьи усы. Но нынче стрелок чувствовал, что вполне спокоен. Это было хорошо.

Ступив на поляну, он прошел напрямик в кольцо и остановился, позволяя мыслям течь свободно. Да — прежние ощущения возвращались, но сильнее, быстрее; кричащая зелень травы била в глаза; казалось, если наклониться и вытереть об нее руки, выпрямившись с позеленевшими пальцами и ладонями. Стрелка так и подмывало провести эксперимент, но он поборол это проказливое желание.

Однако прорицательница не подавала голоса. Чувственный трепет не возникал.

Стрелок подошел к алтарю и немного постоял возле него. Теперь связно мыслить стало почти невозможно. Зубы казались чужими. Мир был чрезмерно напоен светом. Стрелок взобрался на алтарь и лег. Его сознание превратилось в джунгли, полные диковинных растений-мыслей, каких он никогда не видел и даже не подозревал об их существовании — в ивовые джунгли, растущие по берегам мескалинового ручья. Небо было водой; Роланд парил, зависнув над ней. Эта мысль вызвала головокружение, показавшееся далеким и незначительным.

В памяти воскресла строфа старинного стихотворения, но на сей раз не колыбельной, нет; мать Роланда страшилась наркотиков и настоящей потребности в них (так же, как боялась Корта и нужды в этом лупцевателе мальчишек); эти стихи пришли из расположенных на севере пустыни Пещер, где люди еще жили среди машин, которые, как правило, не работали... а если работали, то иногда пожирали людей. Строчки вертелись в голове, напомнив (ни с того, ни с сего — типично для стремительного тока мескалина)

снегопад внутри шара, что был у Роланда в детстве, таинственный и полупридуманый:

*Касанье странного крыла,
Дыханье пекла, капля зла...*

В нависших над алтарем деревьях были лица. Стрелок рассеянно, но увлеченно наблюдал за ними. Вот извивающийся зеленый дракон. Вот дриада, манящая к себе руками-ветками. Вот обросший слизью живой череп. Лица. Лица.

Травы на поляне вдруг всколыхнулись, всплеснули и поникли.

Иду.

Я иду.

Неясное волнение плоти. Как же далеко я ушел, подумал стрелок. От Сьюзан, с которой лежали в сладком сене, к такому.

Она прижалась к нему сверху — тело, сотканное из ветра, и грудь — неожиданное благоухание жасмина, розы, жимолости.

— Ну, пророчествуй, — сказал стрелок. Рот казался полным металла.

Вздых. Едва слышное рыдание. Стрелку чудилось, будто его гени- талии обнажились, затвердели. Над головой, за лицами в листве, виднелись горы — безжалостные, грубые, очень зубастые.

Тело двигалось подле Роланда, боролось с ним. Стрелок почувствовал, как руки сжимаются в кулаки. Она ниспослала ему видение Сьюзан. Это Сьюзан была над ним, прелестная Сьюзан у окна, та, что поджидала его, распустив волосы по плечам и спине. Роланд запрокинул голову, но призрачное лицо последовало за ним.

Жасмин, роза, жимолость, старое сено... запах любви. Люби меня.

— Пророчествуй, — проговорил он.

Прошу тебя, всхлипнула прорицательница. Не будь холодным. Здесь всегда так холодно...

Руки скользят по его телу, делают что-то, разжигают в нем огонь. Тянут. Утягивают. Черная расщелина. Распутница, каких не видел свет. Влага, тепло...

Нет. Сушь. Холод. Бесплодие.

Имей хоть каплю милосердия, стрелок. Ах, прошу тебя, умоляю, окажи мне любезность! Сжалься!

А ты сжалась бы над мальчиком?

Над каким мальчиком? Никакого мальчика я не знаю. Мне нужны не мальчики. О, прошу тебя.

Жасмин, роза, жимолость. Сухое сено с призрачным запахом летнего клевера. Масло, сцеженное из древних урн. Мята: плоти! плоти!

— После, — сказал он.

Сейчас. Прошу тебя. Сейчас.

Роланд позволил рассудку, этому антиподу чувств, оплести ее своими кольцами. Висевшее над ним тело неподвижно застыло и словно бы издало пронзительный крик. Между висками стрелка произошло короткое, злое перетягивание каната — веревкой, серой и волокнистой, был его рассудок. Долгие секунды тишину нарушал лишь тихий шорох его дыхания да слабый ветерок, от которого зеленые лица в кронах деревьев двигались, подмигивали, гримасничали. Птицы точно вымерли.

Хватка суккуба ослабла. Снова послышались всхлипы. Следовало поторапливаться, не то дьяволица покинула бы его. Остаться теперь означало истощить свои силы — для нее, возможно, это равнялось смерти. Стрелок уже чувствовал, как она отдаляется, стремясь покинуть каменное кольцо. Ветер гнал по траве рябь, складывавшуюся в измученные узоры.

— Пророчество, — выговорил он: бесцветное существительное.

Слезный, утомленный вздох. Стрелок даровал бы ей милость, о которой она просила... если бы не Джейк. Опоздай стрелок прошлой ночью хоть сколько-нибудь, он нашел бы Джейка мертвым или безумным.

Усни же.

Нет.

Так погрузись в полудрему.

Стрелок обратил взор вверх, к выглядывавшим из листвы лицам. Там, к его крайнему изумлению, разыгрывалось представление. Перед ним вздымались и гнили миры. У края сияющих песков, где вечно и тяжело трудились в малопонятном электронном неистовстве машины, воздвигались империи. Империи приходили в упадок и рушились. Вращавшиеся подобно бесшумной жидкости колеса замедляли движение, начинали скрипеть, визжать, останавливались. Под густо усеянными звездами темными небесами, похожими на пласт самоцветов, песок забивал нержавеющей сталь сточных канав концентрических улиц. И сквозь все это дул предсмертный ветер перемен, принося аромат корицы — запах позднего октября. Стрелок наблюдал за сдвинувшимся с места миром.

В полудреме.

Три. Число твоей судьбы.

Три?

Да, три, мистическое число, стоящее в сердце мантры.

Три?

Мы зрим не все, и сим помрачается зеркало прорицания...

Покажи, что можешь.

Первый молод, темноволос. Он — на грани грабежа и убийства. Им владеет демон. Имя же демону — ГЕРОИН.

Что это за демон? Я не знаю его даже по детским сказкам.

«Мы зрим не все, и сим помрачается зеркало прорицания». Существуют иные миры, стрелок, и иные демоны. Воды сии глубоки.

Второй?

Вторая прибудет на колеснице. Разум ее — сталь, но сердце и взор мягки. Более я ничего не вижу.

Третий?

В оковах.

Человек в черном? Где он?

Близко. Ты будешь говорить с ним.

О чем мы будем говорить?

О Башне.

Мальчик? Джейк?

...

Расскажи о мальчике.

Мальчик — твои врата к человеку в черном. Человек в черном — твои врата к троим. Трое — твой путь к Темной Башне.

Как? Как это может быть? Почему суждено, чтобы было так?

Мы зрим не все, и сим помрачается зеркало...

Будь ты проклята.

Ни один бог не проклинал меня.

Нечего смотреть на меня свысока, Тварь. Я сильнее тебя.

...

Тогда как тебя называть? Звездной Шлюхой? Блудницей Ветров?

Есть такие, кто питается любовью, посещающей древние жилища... даже в нынешние печальные и зловещие времена. Есть такие, стрелок, кто питается кровью. Даже, по моему разумению, кровью юных мальчиков.

Возможно ли уберечь его?

Да.

Как?

Брось все, стрелок. Снимитесь с лагеря и поверните на запад. На западе все еще есть нужда в людях, зарабатывающих на жизнь пуль.

Револьверы отца и предательство Мартена обрекли меня на этот путь.

Мартена больше нет. Человек в черном пожрал его душу. Ты знаешь это.

Клятва дана.

Тогда ты проклят.

Ну, бери свое, стерва.

Пыл желания.

Тень качалась над ним, обволакивала. Внезапный экстаз, нарушенный лишь плеядой боли, едва различимой, но яркой, точно побагровевшие от изнеможения древние звезды. В высочайший миг

соития перед стрелком, непрощенные, возникли лица: Сильвия Питтстон, Алиса — женщина из Талла, Съюзан, Эйлин, сотни других.

Наконец, спустя вечность, он оттолкнул ее от себя, вновь обретя здравый рассудок, утомленный до мозга костей и исполненный отвращения.

Нет! Этого недостаточно! Это...

— Отстань, — сказал стрелок, сел, но, не успев коснуться земли ногами, как едва не свалился с алтаря. Прорицательница испытующе дотронулась до него

(жимолюсть, жасмин, сладкое цветочное масло),
но стрелок яростно отпихнул ее, упав на колени.

Шатаясь, он поднялся, на заплетающихся ногах добрался до границы кольца и неверным шагом пересек ее. С плеч точно свалилась огромная тяжесть. С глубоким прерывистым вздохом, больше похожим на рыдание, Роланд двинулся прочь, чувствуя, что прорицательница, витая у прутьев своей тюрьмы, смотрит ему вслед. Задумавшись о том, скоро ли еще кто-нибудь пересечет пустыню и найдет ее, изголодавшуюся и одинокую, он на миг показался себе карликом перед возможностями времени.

— Вы заболели!

С трудом передвигая ноги, стрелок оставил позади последние деревья рощи и вошел в лагерь. Джейк быстро вскочил. Только что мальчик, держа полусгнившую челюсть на коленях, сидел, съживившись в комок, подле давно потухшего крохотного костра и с несчастным видом обгладывал кроличьи кости, и вот уже бежал навстречу стрелку с таким горестным лицом, что Роланд в полной мере ощутил отталкивающую тяжесть надвигающегося предательства, которое, как подсказывало ему чутье, могло оказаться лишь первым из многих.

— Нет, — сказал он. — Не заболел. Просто устал. Вымотался. — Он рассеянно указал на челюсть. — Можешь это выбросить.

Джейк быстро, с силой отшвырнул кость и тут же вытер руки о рубашку.

Стрелок опустился — можно сказать, упал — на землю во власти малоприятных ощущений, остающихся после мескалина: суставы ныли, а в мыслях царила мутная невнятица, точно его голову долго охаживали кулаками. В промежности тоже пульсировала тупая боль. Он аккуратно, с бездумной неторопливостью свернул «козью ножку». Джейк смотрел. Стрелку вдруг очень захотелось рассказать мальчику о том, что он узнал, но он с ужасом отбросил эту мысль. И задумался — не разрушается ли какая-то из частей его «я», душа или рассудок.

— Сегодня спим здесь, — проговорил он. — Завтра начнем подъем. Попозже я схожу посмотрю, нельзя ли подстрелить что-нибудь на ужин. А сейчас мне надо отоспаться. Лады?

— Ага.

Стрелок кивнул и откинулся на траву. Когда он проснулся, через маленькую полянку протянулись длинные тени.

— Разведи костер, — велел он Джейку и кинул мальчику камень и кресало. — Сможешь?

— Да, наверное.

Стрелок направился к зарослям ивняка, повернул там налево и двинулся вдоль края рощи. В том месте, где расстился щедро поросший травой склон, он опять отступил в тень и остановился. Было слышно слабое, но отчетливое *клик-клик-клик* — это Джейк высекал искры. Стрелок простоял без движения десять минут, пятнадцать, двадцать. Появились три кролика. Он выхватил револьвер и подшиб парочку пожирнее. Освежая и выпотрошив зверьков, он вернулся в лагерь. Джейк развел огонь, и от воды уже поднимался пар.

Стрелок кивнул мальчику.

— Недурно.

Довольный Джейк зарделся и молча протянул обратно камень и кресало.

Пока рагу готовилось, стрелок воспользовался последним светом дня и вернулся в ивовую рощу. Возле первого же озера он принялся подрубать жесткие виноградные лозы, росшие у болотистого края воды. Позже, когда костер прогорит до углей, а Джейк заснет, Роланд собирался сплести из них канаты, которые впоследствии могли бы оказаться бесполезными. Однако ему почему-то не казалось, что восхождение окажется особенно трудным. Им владело предчувствие ожидающей их участи, которое он больше уже не считал странным.

Стрелок нес лозы обратно в лагерь, где ждал Джейк, а они истекали зеленым соком, пачкая ему руки.

Поднявшись вместе с солнцем, путники в полчаса собрались. Стрелок надеялся подстрелить на лугу, где кормились кролики, еще одного зверька, но времени было в обрез, а кролики все не показывались. Узел с оставшейся снедью был теперь таким маленьким и легким, что его без труда нес Джейк. Он окреп, этот мальчик, и заметно. Стрелок нес свежую воду, набранную из ручья. Вокруг пояса он обвязал три сплетенных из виноградной лозы веревки.

Они обошли каменное кольцо, держась на почтительном расстоянии (стрелок опасался, как бы к мальчику не вернулся прежний страх, но, когда они проходили по каменистому склону над поляной, Джейк лишь мимоходом скользнул по ней взглядом и засмотрелся на птицу, парившую с подветренной стороны). Довольно скоро деревья начали утрачивать высоту и пышность. Стволы сделались искривленными, перекрученными, а корни будто боролись с землей в мучительной охоте за влагой.

— Все такое старое, — хмуро сказал Джейк, когда они остановились перевести дух. — Ничего молодого тут нету, что ли?

Стрелок улыбнулся и ткнул Джейка локтем в бок.

— Ты, — сказал он.

— Подниматься наверх будет трудно?

Стрелок с любопытством посмотрел на мальчика.

— Горы высоки. Разве, по-твоему, подъем не будет тяжелым?

В ответ Джейк повел на него помрачневшими озадаченными глазами.

— Нет.

Они пошли дальше.

Солнце взобралось в зенит и вскоре миновало его, вернув путникам тени — кажется, за все время их перехода через пустыню оно ни разу не покидало высшей точки своего дневного пути столь поспешно. Земля поднималась в гору, из нее подлокотниками утонувших в грунте исполнинских кресел выступали каменные карнизы. Трава теперь была желтой, увядшей. Наконец, прямо на дороге очутилась похожая на дымоход глубокая расселина, и чтобы обойти ее и оказаться выше, стрелок с мальчиком вскарабкались на невысокий пригорок из слоющегося камня. Образовавшиеся в древнем граните разломы походили на ступени, так что, как и подсказывало обоим чутье, преодолеть короткий склон оказалось нетрудно. На вершине, на клочке в четыре фута шириной, они остановились, глядя в ту сторону, откуда пришли — за уклон, в пустыню, которая огромной желтой лапой свернулась вокруг нагорья. Еще дальше песок, отражавший свет подобно слепящему белому экрану, отступал в тусклые волны поднимавшегося от земли горячего воздуха. С легким изумлением стрелок понял, что пустыня чуть не убила его. Из непривычной прохлады того места, где они с мальчиком стояли, она казалась безусловно грозной, но не гибельной.

Вернувшись к делу, они продолжили восхождение, то карабкаясь через беспорядочные нагромождения валунов, то чуть ли не ползком продвигаясь по плоским каменным скатам со сверкающими вкраплениями кварца и слюды. На ощупь камень был приятно теплым, определенно теплее, чем воздух. Под вечер стрелок расслышал слабый гром. Однако уходящая в небо горная цепь не давала увидеть идущий на той стороне дождь.

Когда тени начали наливать лиловой синевой, путники устроили привал под бровкой каменного уступа. Закрепив попону вверху и внизу, стрелок соорудил нечто вроде односкатной лачуги. Они уселись у входа и стали смотреть в небо, разостлавшее над землей свой плащ. Джейк свесил ноги с обрыва. Сворачивая вечернюю самокрутку, стрелок не без юмора поглядывал на мальчика.

— Не ворочайся во сне, — сказал он, — не то можешь проснуться в пекле.

— Не буду, — серьезно ответил Джейк. — Мама говорит... — Он осекся.

— Что же она говорит?

— Что я сплю как убитый, — закончил Джейк. Он посмотрел на стрелка, и тот увидел, что губы парнишки дрожат от усилий сдерживать слезы. *Просто мальчик*, подумал Роланд, и его точно ломиком пронзила боль — так, бывает, ломит лоб от излишка холодной воды. *Просто мальчик. За что? Почему?* Глупый вопрос. Когда уязвленный духовно или телесно мальчик выкрикивал эти слова Кортю, Корт — старая, покрытая шрамами боевая машина, чьей работой было обучать сыновей стрелков началам того, что им непременно следовало знать, — отвечал: *Потому что «потому» кончается на «у». «У» — буква кривая, ее не выпрямишь... неважно, почему, подымайся, обалдуй! Подымайся! День еще молод!*

— Почему я здесь? — спросил Джейк. — Почему я забыл все, что было раньше?

— Потому, что человек в черном притащил тебя сюда, — сказал стрелок. — А еще из-за Башни. Там, где стоит Башня, находится... что-то вроде силового нексуса. Во времени.

— Я этого не понимаю!

— Я тоже, — сказал стрелок. — Но ведь что-то происходило и раньше. Именно в мое время. «Мир сдвинулся с места», как говорится... говорилось. Но теперь он набрал скорость. Что-то случилось со временем.

Они сидели и молчали. Слабый, но резковатый ветерок покусывал их за ноги и где-то в расселине скалы глухо гудел: *вууууууу!*

— Вы откуда? — спросил Джейк.

— Из земли, которой больше нет. Тебе знакома Библия?

— Иисус и Моисей. Само собой.

Стрелок улыбнулся.

— Вот-вот. У моей родины было библейское имя — она звалась Новый Ханаан. Край молока и меда. Считалось, будто в библейском Ханаане рос такой крупный виноград, что одну кисть приходилось нести на шесте двоим. Такой мы, конечно, не выращивали, но земля наша была плодородной.

— Я знаю про Одиссея, — с заминкой сказал Джейк. — Он из Библии?

— Может быть, — ответил стрелок. — Нынче Писание утрачено — все, кроме тех отрывков, какие меня заставили заучить.

— Но другие...

— Нет других, — перебил стрелок. — Я последний.

Вставала тонкая ущербная луна. Прищурившись, она опустила пристальный взгляд к нагромождению скал, где сидели стрелок с мальчиком.

— Она была красивая? Ваша страна... ваша земля?

— Она была прекрасна, — рассеянно отозвался стрелок. — Поля, реки, утренние туманы. Впрочем, это всего-навсего внешние красоты.

Так, бывало, говорила моя матушка... настоящая красота, говорила она, — лишь порядок, любовь и свет.

Джейк уклончиво хмыкнул.

Стрелок курил и думал о том, как это было: вечера в огромном центральном зале, сотни богато одетых фигур, движущихся то медленно, мерным шагом вальса, то быстрее, легкой припрыжкой *поль-кама*; Эйлин на его руке, ее глаза — ярче драгоценнейших самоцветов; в свежих прическах куртизанок и их нагловатых дружков играет свет заключенных в хрусталь электрических ламп. Зал был огромен — остров света, возраст которого, как и возраст самого Центрального Дворца, слагавшегося почти из ста каменных замков, определить было невозможно. Стрелок не видел его двенадцать лет. Когда, покидая замок в последний раз, Роланд отвернулся от Дворца и начал первый бросок в поисках следа человека в черном, юношу мучила тупая ноющая боль. Уже тогда, двенадцать лет назад, стены обвалились, во внутренних дворах рос бурьян, среди массивных балок центральной залы устроили себе ночлег летучие мыши, а в галереях гуляло эхо стремительного ныряющего полета и тихого щебета ласточек. Поля, где Корт учил мальчиков стрелять из лука и револьверов и охотиться с ловчей птицей, заросли травами, тимофеевкой, диким виноградом. В огромной гулкой кухне, где некогда содержал свой чадный и благовонный двор Хэкс, устроила гнездо нелепая колония Мутантов-Недоумков — они поглядывали на стрелка из милосердной тьмы кладовок и из-за окутанных тенью колонн. Теплый пар, некогда пахнущий пряными ароматами жарящейся говядины и свинины, преобразился в липкую и холодную сырость мха, а в углах, где не осмеливались расположиться даже Мутики-Недоумки, взошли исполинские белые поганки. Дверь в огромную дубовую надстройку над погребом была распахнута, оттуда бил неприятный едкий запах, который был острее всех прочих; казалось, он решительно и бесповоротно знаменует неумолимые факты смерти и разложения — сильный, резкий запах прокисшего вина. Роланду не составило труда развернуться лицом к югу и оставить Дворец позади, однако это больно ранило его сердце.

— У вас там была война? — спросил Джейк.

— Подымай выше, — отозвался стрелок и выбросил дымящийся уголек, оставшийся от самокрутки. — Революция. Выиграв все сражения, мы проиграли войну. В ней не было победителей — вот разве что пожиратели падали. Небось, еще много лет у них была богатая пожва.

— Хотел бы я там пожить, — с тоской сказал Джейк.

— Это был другой мир, — сказал стрелок. — Пора на боковую.

Мальчик, казавшийся теперь неясной тенью, повернулся на бок под свободно наброшенным чепраком и подтянул колени к груди. Стрелок сидел над ним, точно страж, еще, наверное, около часа, погруженный в долгие трезвые мысли. Такие раздумья были для него

делом новым, неизвестным, приятным не без грусти и по-прежнему не имеющим решительно никакой практической ценности: у проблемы под названием Джейк не было иного решения, кроме предложенного Оракулом... то есть попросту невозможного. Не исключено, что в сложившейся ситуации присутствовала своя доля трагизма, но стрелок этого не замечал; он видел лишь предопределенность, которая была всегда. Наконец его более естественный характер вновь заявил о себе, и стрелок уснул глубоким сном без сновидений.

На следующий день восхождение перестало видаться путникам в радужном свете. Они продолжали идти в гору, к узкой развилке горного коридора. Стрелок продвигался медленно, по-прежнему не ощущая спешки. Мертвый камень у них под ногами не сохранил никаких следов человека в черном, но стрелок знал: тот прошел этой дорогой до них. Дело было не только в том, что они с Джейком еще из предгорья заметили, какой дорогой ползет вверх крохотная, похожая на жучка фигурка — в каждом прилетавшем сверху холодном дуновении был запечатлен ее запах. Маслянистый, злобно-насмешливый, такой же горький для носа стрелка, как дух бес-травы.

Волосы у Джейка сильно отросли и слегка завивались у основания загорелой шеи. Когда случалось преодолевать провалы или точно по каменной лестнице взбираться по уступам на отвесную кручу, мальчик карабкался упорно, уверенно, без видимого страха высоты. Уже дважды Джейк поднимался там, где стрелку было не пройти, и закреплял веревку, чтобы Роланд, перебирая руками, смог залезть наверх.

На другое утро путникам выпало пробираться сквозь сырой и холодный клочок тучи — вздыбленное угорье начинали заслонять облака. Появились островки жесткого крупитчатого снега, ютившиеся в каменных карманах, что поглубже. Снег блестел, точно кварц, и по фактуре был сухим, как песок. После полудня на одном из таких снежных островков они нашли отпечаток ступни. Джейк на миг впился в него зачарованным, полным ужаса взглядом и тут же боязливо поднял глаза, словно ожидал увидеть, что человек в черном материализуется в своем следе. Стрелок похлопал мальчугана по плечу и указал вперед.

— Пошли. Дело к вечеру.

Позже, в последнем свете дня они разбили лагерь на широком плоском уступе к северо-востоку от ущелья, наискось врезавшегося в самое сердце гор. Холодный воздух (они видели облачка собственного дыхания) пронизывали пурпурно-алые отсветы вечерней зари, и во влажных раскатах грома было что-то сюрреалистическое и отчасти безумное.

Стрелок подумал, что Джейк, возможно, примется задавать вопросы, но мальчик ни о чем не спросил. Он почти сразу провалился в сон. Стрелок последовал его примеру и опять увидел мрачное подзе-

мелье темницы и Джейка в обличье алебастрового святого с гвоздем во лбу. Судорожно охнув, Роланд проснулся и инстинктивно потянулся за челюстью, которой с ним больше не было, ожидая нащупать траву древней рощи. Вместо этого он почувствовал под рукой камень, а в легких — холодную разреженность высоты. Рядом с ним спал Джейк, но сон его был тревожным: парнишка ворочался и бормотал себе под нос невнятные слова в погоне за собственными призраками. Стрелок с тяжелым сердцем откинулся на землю и опять уснул.

Лишь через неделю подошла к концу завязка этой истории, для стрелка — запутанный пролог длиной в двенадцать лет, пролог, начинающийся окончательным крахом родного края Роланда и его встречей с тремя товарищами. Для Джейка воротами стала странная смерть в ином мире. Для стрелка — еще более диковинное умирание: бесконечно, не имея ни карты, ни воспоминаний-подсказок, рыскать по свету за человеком в черном. Катберта и прочих давно не стало — погибли все: Рэндолф, Джейми де Кэрри, Эйлин, Сьюзан, Мартен (да, чародея сволокли вниз и состоялся поединок на револьверах, но даже этот виноград оказался горек). В конце концов от старого мира осталась лишь троица, подобная страшным картам из всеяющей ужас колоды Таро: стрелок, человек в черном и Темная Башня.

Спустя неделю после того, как Джейк заметил след ноги, путники на краткий миг повстречались с человеком в черном лицом к лицу, и стрелку почудилось, будто он вот-вот сумеет постичь тайный смысл, которым чревата сама Башня, ибо мгновение это словно бы растянулось на целую вечность.

Продолжая идти на юго-запад, они достигли, быть может, середины пути через циклопический горный хребет. Однако, когда казалось, что теперь-то и начнутся первые настоящие трудности похода (нависшие над тропой обледевшие карнизы, словно бы готовые отделиться от скалы и обрушиться вниз, и сногшибательные стыки заставили стрелка испытать неприятное головокружение), путники вновь двинулись вниз по стенке узкого ущелья. Изломанный зигзаг тропинки вел на дно каньона, куда из царившего наверху безмолвия очертя голову низвергался бурлящий синевато-серый поток в ледяных берегах.

Под вечер мальчик остановился и оглянулся на стрелка, задержавшегося, чтобы омыть лицо в ручье.

— Пахнет. Это он, — сказал Джейк.

— Да.

Впереди горы возвели свое последнее укрепление — взбиравшуюся в облачную бесконечность громадную глыбу неприступного гранита. Стрелок ожидал, что ручей в любой момент повернет и выведет их к высокому водопаду и гладким непреодолимым скалам, в тупик. Однако здешний воздух обладал тем странным свойством увеличивать предметы, что присуще высотам, и прежде чем они достигли этой колоссальной гранитной кручи, прошел еще день.

Стрелок снова начал испытывать страшное напряжение сил, вызванное ожиданием; чувство, что наконец-то все у него в руках. Ближе к финалу ему пришлось побороть желание сорваться на рысь. — Подождите! — Мальчик вдруг остановился. Прямо перед ними ручей резко поворачивал и с кипучей энергией клочкотал и пенился у подножия источенного ската исполинской глыбы песчаника. Все утро они провели в тени гор — каньон сужался.

Джейка была сильная дрожь, краска сбежала с лица.

— В чем дело?

— Пойдемте обратно, — прошептал Джейк. — Пойдемте обратно, скорей.

Лицо стрелка казалось деревянным.

— Пожалуйста! — Черты мальчика были искажены, подбородок дрожал от сдерживаемой муки. Сквозь тяжелый каменный покров по-прежнему доносился гром, такой мерный и непрерывный, будто в земле работали машины. Над головой, встречаясь, вступали в противоборство холодные и теплые воздушные течения, отчего видный путникам ломтик неба был бурливым, недоброго серого цвета.

— Пожалуйста, *очень прошу!* — Мальчик вскинул кулак, словно собираясь ткнуть стрелка в грудь.

— Нет.

Лицо мальчика приняло недоуменное выражение.

— Вы собираетесь убить меня. Он убил меня в первый раз, а вы собираетесь убить меня теперь.

Ощувив на губах вкус лжи, стрелок облек ее в слова:

— С тобой все будет хорошо.

И покривил душой еще сильнее:

— Я позабочусь об этом.

Джейк посерел. Ничего больше не говоря, он нехотя протянул стрелку руку. Они вместе обошли колено ручья и очутились лицом к лицу с последней поднимающейся к небу стеной и с человеком в черном.

Он стоял не более чем в двадцати футах над ними, справа, у самого водопада, который с грохотом разбивался о камни, изливаясь из огромного рваного отверстия в скале. Невидимый ветер трепал и дергал свободное одеяние с капюшоном. В одной руке человек в черном держал посох, другую в глумливом приветствии вытянул им навстречу. Он казался пророком, а под стремительным небом, на уступе скалы — пророком гибели, и голос его был гласом Иеремии.

— Стрелок! Как хорошо ты исполняешь старинные пророчества! Добрый день, добрый день и еще раз — добрый день! — Он разразился смехом, эхо которого перекрыло даже рев падающей воды.

Точно автомат (кажется, даже реле в моторе не щелкнули), стрелок выхватил револьверы. Позади него, справа, маленькой тенью съезжился от страха мальчик.

Прежде чем Роланду удалось совладать с вероломными руками, грянули три выстрела — бронзовые ноты эха, заглушая шум воды и ветра, заметались по долине, отскакивая от высившихся окрест каменных стен.

Облачко гранитной пыли взметнулось над головой человека в черном, другое — слева от капюшона, третье — справа. Все три раза стрелок промазал вчистую.

Человек в черном захохотал; сочный искренний смех словно бы бросал вызов тающему эху выстрелов.

— Ты с такой же легкостью прикончил бы все ответы на свои вопросы, стрелок?

— Слезай, — сказал стрелок. — Ответы вокруг нас.

Опять оглушительный издевательский хохот.

— Я боюсь не твоих пуль, Роланд. Меня пугает твое представление об ответах.

— Слезай.

— Я думаю спуститься на ту сторону, — сообщил человек в черном. — Там и станем держать совет. Всем советам совет!

Его взгляд метнулся к Джейку, и он прибавил:

— Один на один. Только ты да я.

Джейк с тихим хныканьем отпрянул. Человек в черном повернулся — балахон клубился в сером воздухе, будто крыло нетопыря, — и исчез в расселине, откуда в полную силу извергалась вода. Усилием суровой, беспощадной воли Роланд сдержался и не послал ему вдогонку пулю: *ты с такой же легкостью прикончил бы все ответы на свои вопросы, стрелок?*

Тишину нарушали лишь шум ветра да рев воды — звуки, тысячи лет оглашавшие эти пустынные, безлюдные места. И все же человек в черном только что был здесь. Впервые за минувшие двенадцать лет Роланд увидел своего недруга вблизи, говорил с ним. Но тот посмеялся над Роландом.

На той стороне и будем держать совет. Всем советам совет!

Мальчик смотрел на стрелка снизу вверх тупыми, покорными овечьими глазами и дрожал всем телом. На миг Роланд увидел наложившееся на лицо Джейка лицо Алисы, девки из Талла, со шрамом, немым обвинением проступающим на лбу — и почувствовал жестокое отвращение к обоим (только много позже стрелка осенит, что и Алисин шрам, и гвоздь, который снился ему вбитым Джейку в лоб, находились на одном и том же месте). Тут, словно на Джейка повеяло этими мыслями, из горла мальчика исторгся стон, впрочем, короткий: скривив плотно сжатые губы, он оборвал его. У парнишки были отличные задатки — возможно, если бы дать ему время, он стал бы стрелком сам, без посторонней помощи.

Один на один. Только ты да я.

В некоем глубоком, неведомом провале своего тела стрелок ощутил неумную безбожную жажду, которую не умирить было никакому

вину. Дрожь сотрясала миры, они трепетали почти под самыми пальцами стрелка, и, инстинктивно стремясь не поддаться развращению, более холодной частью своего «я», рассудком, стрелок понимал, что боренья эти тщетны и будут тщетны всегда.

Был полдень. Роланд поднял голову, чтобы мутный, изменчивый свет дня мог в последний раз осиять чрезмерно уязвимое солнце его праведности. «На самом деле за это никогда не платят серебром, — подумал он. — Цена всякого зла — необходимого ли, нет ли — подлежит уплате плотью». И сказал:

— Иди со мной или оставайся.

Мальчик лишь немо смотрел на него. В этот последний, невероятно важный миг разъединения стрелка с законами нравственности, Джейк перестал быть для него Джейком и превратился просто в мальчика, безликую пешку, предназначенную для того, чтобы передвигать ее и использовать.

В ветреном безмолвии раздался пронзительный крик; они с мальчиком оба услышали его.

Стрелок начал подъем. Секундой позже Джейк двинулся следом. Вместе одолев обрушенную скалу у холодных как сталь водопадов, они остановились там, где до них стоял человек в черном. И вместе вошли в расселину, где он исчез. Их поглотила тьма.

МУТАНТЫ- НЕДОУМКИ

Стрелок медленно, то громче, то тише, точно во сне, говорил Джейку:

— Мы там были втроем, Катберт, Джейми и я. Быть там нам не полагалось, поскольку ни один еще не миновал пору детства. Если бы нас поймали, Корт спустил бы со всех троих шкуру. Но нас не поймали. Наверное, никого из наших предшественников тоже не ловили. Мальчишкам должно втихомолку натягивать отцовские штаны, важно прохаживаться в них перед зеркалом и украдкой вешать обратно на вешалку; то же самое и здесь. Отец притворяется, будто не замечает ни что штаны повешены по-новому, ни что под носом у сына еще виднеются следы гуталиновых усов. Понимаешь?

Мальчик не проронил ни слова. С тех пор как они покинули свет дня, он точно воды в рот набрал. Чтобы заполнить молчание, стрелок возбужденно, лихорадочно говорил. Уходя под горы, в бессветье, он не оглянулся — оглядывался мальчик, стрелок же читал угасание дня в мягком зеркале щеки Джейка: вот бледная роза, вот — молочное стекло, вот — блеклое серебро, вот — последние отблески ранней вечерней зари, а вот — ничего. Стрелок высек неверный огонек, и они пошли дальше.

Сейчас путники расположились на ночлег. Эхо человека в черном к ним не долетало. Возможно, он тоже сделал привал, или, не зажигая сигнальных огней, уплыл вперед по погруженным во мрак ночи подземным чертогам.

— Бывало это раз в год, в Большом Зале, — продолжал стрелок. — Мы называли его Залом Пращуров. Но это был просто Большой Зал.

Их ушей достиг звук капающей воды.

— Ритуал ухаживания, — стрелок неодобрительно расхохотался, и бесчувственные стены превратили смех в хриплый птичий клекот. — В старину, говорится в книжках, так приветствовали весну. Но, видишь ли, цивилизация...

Он умолк, не в состоянии рассказать о переменах, неотделимых от этого сущестительного, в котором слышался рев и грохот механизмов: о смерти романтики и возвращении ее бесплодного чувственного призрака, живущего лишь искусственным дыханием церемонной помпезности; о замене безумных неразборчивых писем любви, на существование которых Роланду лишь смутно намекало чутье, геометрически правильными па ухаживания во время танцев в Большом Зале пасхальной ночью; о показном величии на месте стремительных и жестоких страстей, некогда способных губить души.

— Его превратили во что-то нездоровое, упадочное, — проговорил стрелок. — В забаву. В игру. — В его голосе звучало все бессознательное отвращение аскета. Будь огонек ярче, освети он лицо стрелка, стала бы заметна произошедшая в нем перемена: жесткость, сожаление, печаль. Но сила, составлявшая сущность Роланда, не исчезла и не ослабла. Его черты по-прежнему говорили о поразительном недостатке воображения.

— Но Бал, — сказал стрелок. — Бал...

Мальчик промолчал.

— Пять хрустальных люстр — тяжелое стекло и электрические лампочки. Все было сплошной свет, настоящий остров света. Мы прокрались на один из старых балконов. Считалось, что там небезопасно, но мы-то еще не вышли из поры детства. И оказались на самом верху, откуда все было видно. Не помню, чтобы кто-нибудь из нас что-нибудь говорил. Мы только смотрели, зато смотрели часами.

За большим каменным столом, глядя на танцующих, сидели со своими женщинами стрелки. Сами они не танцевали — разве что считанные единицы, все молодые люди. Прочие же не покидали своих мест, и мне казалось, что они отчасти смущены таким обилием света, сиянием цивилизации. Их, стражей и хранителей, уважали и боялись, но в толпе кавалеров и нежных дам они казались конюхами...

Четыре загруженных едой круглых стола непрерывно вращались. С семи вечера до трех часов следующего утра кухонные мальчишки безостановочно сменяли друг друга. Столы исправно поворачивались, щекоча наши ноздри то запахами жареной свинины, то говядины, то омаров, то цыплят, то печеных яблок. Было и мороженое, и сласти, и огромные, раскаленные докрасна вертела с мясом.

А рядом с моими родителями сидел Мартен (я узнал их даже с такой высоты), и один раз мать протанцевала с Марتنеном, медленно кружась, а остальные расступились, дав им место, и заплодировали, когда танец окончился. Стрелки не хлопали. Отец неторопливо поднялся, протянул к матери руки, и она с улыбкой пошла к нему.

То был миг передачи, мальчик. Должно быть, из таких мгновений состоит время в самой Башне — одно сходит с другим, сцепляется, и в срок рождает могущество. Отец взял власть, получил признание, стал избранным. Признание исходило от Мартена, отец был движущей силой. А шла к отцу та, что связывала обоих — его супруга, моя мать. Изменница.

Отец был последним князем света.

Стрелок опустил глаза и стал разглядывать свои руки. Мальчик по-прежнему молчал. Его лицо было задумчивым, и только.

— Я помню, как они танцевали, — тихо проговорил стрелок. — Моя мать и Мартен-чародей. Я помню, как они танцевали, медленно кружась то вместе, то порознь, проделывая старинные па ухаживания.

Он с улыбкой взглянул на мальчика.

— Впрочем, знаешь ли, это ничего не значило. Ведь власть переходила из рук в руки путями, никому из них не ведомыми, но всем понятными, а мать была душой и телом прикована к тому, кто обладал этой властью. Разве не так? Разве не ушла она к отцу, когда танец закончился? Разве не взяли они за руки? Разве им не рукоплескали? Разве не звенел зал рукоплесканиями, когда все эти женоподобные юноши и их нежные подруги били в ладоши, вознося отцу хвалу? Разве не так?

Где-то далеко в темноте звонко капала вода. Мальчик не отзывался.

— Я помню, как они танцевали, — негромко сказал стрелок. — Я помню, как они танцевали... — Он поднял взгляд к невидимому каменному своду. Казалось, вот сейчас он сорвется на крик, разразится бранью, бросит немым тоннам бесчувственного гранита, несущим в своем каменном кишечнике их крошечные жизни, безрассудный вызов... но это длилось всего мгновение. — Чья рука могла держать нож, отнявший жизнь у моего отца?

— Я устал, — тоскливо сказал мальчик.

Стрелок погрузился в молчание, Джейк перевернулся и подложил руку под щеку. Перед ними подрагивал маленький язычок пламени. Стрелок свернул папиросу. Ему чудилось, будто в насмешливом и угрюмом чертоге своей памяти он все еще видит хрустальную люстру, все еще слышит крики, доносящиеся с акколады, обряда посвящения в рыцари, бессмысленного в разоренном краю, уже тогда безнадежно сопротивлявшемся серому океану времени. Остров света причинял острую боль. Лучше бы никогда не видеть ни его сияния, ни того, что отец рогат.

Глядя на мальчика, стрелок затянулся и выпустил дым из ноздрей. Так и кружим под землей одни-одинешеньки, подумал он. Скоро ли вновь наступит день?

Его объял сон.

Когда дыхание Роланда стало глубоким, ровным и мерным, мальчик открыл глаза и посмотрел на стрелка с выражением, которое очень

сильно походило на любовь. В зрачке мельком отразился и утонул последний свет костра. Мальчик уснул.

В пустыне, где ничто не менялось, стрелок почти полностью утратил чувство времени; остатки же растерял здесь, в темных ходах под горами. Ни у него, ни у мальчика не было средств определить время, поэтому минуты и часы перестали что-либо значить. В определенном смысле Роланд с Джейком находились вне времени. День мог оказаться неделей, неделя — днем. Ходьба, сон, скудная еда. Единственным их спутником был неумолчный рев стремнины, бурившей в камне свою штольню. Они шли вслед за потоком, пили из безвкусной минеральной глубины. Временами стрелку казалось, будто под поверхностью проплывают беглые ускользающие огни, похожие на корпусные, но он полагал, что это лишь картины, рожденные его мозгом, который еще помнил свет. Все же он предостерег мальчугана, чтобы тот не ступал в воду.

Дальномер в голове у Роланда неуклонно вел их вперед.

Прибрежная тропинка (да, это была ровная, слегка просевшая желобком тропинка) шла все время вверх, к истоку реки. Через одинаковые промежутки попадались закругленные каменные столбы с ввинченными в них обвисшими кольцами — возможно, когда-то здесь привязывали скот или перекладных. На каждом в плоской стальной фляге торчал электрический факел, но ни в одном не было ни света, ни жизни.

Во время третьего привала перед ночлегом Джейк убред чуть в сторону. К стрелку долетал негромкий разговор камешков, шуршавших под ногами осторожно ступающего мальчика.

— Аккуратней, — предостерег он. — Тут не видно, где идешь.

— Я ползу. Это... ну и ну!

— Что там? — Стрелок пригнулся, коснувшись рукоятки револьвера.

Недолгое молчание. Роланд тщетно напрягал глаза.

— По-моему, это железная дорога, — с сомнением произнес мальчик.

Стрелок выпрямился и медленно пошел на звук голоса Джейка, ощупывая ногой почву впереди — нет ли ям.

— Сюда. — Лица стрелка мягко коснулась протянутая рука. Джейк великолепно ориентировался в темноте, лучше чем сам стрелок. Зрачки мальчика расширились настолько, что радужка словно бы исчезла: стрелок увидел это, когда высек скудное пламя. В этой каменной утробе не было ничего, что могло бы гореть, а принесенное с собой быстро обращалось в золу. Иногда желание зажечь огонь бывало весьма близко к ненасытному.

Мальчик стоял у закругленной каменной стены, расчерченной уходившими во мрак параллельными металлическими опорами. Все они были усеяны черными выпуклостями, которые когда-то, возможно, служили проводниками электричества. А рядом с этими

опорами, внизу, всего в нескольких дюймах от каменного пола блестяли рельсы из светлого металла. Когда-то по ним проносились... что? Стрелок мог только воображать, как сквозь царящий здесь вечный мрак вслед за тревожными глазами прожекторов летят движимые электричеством черные пулевидные корпуса. Роланд никогда не слышал о таких вещах. Однако в мире существовали не только демоны, но и скелеты. Однажды ему повстречался отшельник, получивший полурелигиозную власть над жалкой толпой скотоводов оттого, что владел старой бензоколонкой. Распластавшись рядом с насосом и собственнически обхватив его рукой, этот «святой человек» взахлеб, иступленно читал мрачные, зловещие проповеди. Порой он помещал между ног соединенное с прогнившим резиновым шлангом, еще не успевшее потускнеть стальное сопло. Совершенно четкие (хоть и забитые ржавчиной) буквы на насосе складывались в полную неизвестного смысла надпись: АМО-КО. БЕСПЛАТНЫЙ СВИНЕЦ. Амоко превратился в тотем бога грома, и Ему поклонялись, совершая полубезумное заклинание овец.

Остовы, подумал стрелок. Бессмысленные остовы кораблей в песках, некогда бывших морями.

А теперь железная дорога.

— Пойдем по ней, — решил он.

Мальчик ничего не сказал.

Стрелок потушил огонь, и они уснули. Когда стрелок проснулся, вставший раньше него мальчик сидел на рельсе, незряче глядя из темноты.

Точно слепцы, они двинулись по полотну железной дороги — стрелок впереди, мальчик следом, опять-таки как слепые не отрывая ног от рельса. Их сопровождал слышный с правой стороны далекий ровный шум стремительно катившей свои воды реки. Путники шли молча. Так продолжалось в течение трех периодов бодрствования. Никакой потребности связно мыслить или строить планы стрелок не ощущал. Спал он без сновидений.

Во время четвертого периода бодрствования, шагая по полотну, они буквально споткнулись о дрезину.

Стрелок налетел на нее грудью, а мальчик, который шел с другой стороны, ударился лбом и с криком упал.

Стрелок немедленно высек огонек.

— С тобой все в порядке? — Слова прозвучали резко, почти зло, и Роланд поморщился.

— Да. — Неуверенно державшийся за голову мальчик встряхнул ею — убедиться, что не солгал. Они обернулись посмотреть, на что наткнулись.

На рельсах безмолвно стояла плоская металлическая площадка. Посреди площадки торчал рычаг. Смысл увиденного стрелок уловил не сразу, зато мальчик мигом понял, что к чему.

— Это дрезина.

— Что?

— Дрезина, — нетерпеливо повторил Джейк. — Как в старом кино. Смотрите.

Он подтянулся, влез на тележку и пошел к рукоятке. Ему удалось отжать рычаг книзу, но оказалось, что нужно налегать на него всей тяжестью. Джейк коротко охнул. Дрезина бесшумно, словно время не коснулось ее, продвинулась по рельсам на фут.

— Тяжеловато идет, — сказал мальчик таким тоном, словно извинялся.

Стрелок тоже забрался на платформу и толкнул рукоять вниз. Дрезина послушно двинулась вперед, потом остановилась. Под ногами ощутимо поворачивался приводной вал. Операция доставила Роланду удовольствие — после колонки с постоянного двора дрезина была первым виденным им за долгие годы дряхлым механизмом, который и по сию пору работал исправно, — но одновременно встревожила. Дрезина настолько быстрее доставила бы их к месту назначения... «Опять поцелуй-проклятье», — подумал стрелок и понял: то, что они найдут эту дрезину, тоже входило в намерения человека в черном.

— Ловко, а? — сказал мальчик полным отвращения голосом.

— Что такое кино? — снова спросил стрелок.

Джейк по-прежнему не отвечал. Они стояли в черной тишине, словно в склепе, которого бежала жизнь. Стрелок слышал только, как трудятся внутри его тела органы, да дыхание мальчика. Больше ничего.

— Вы станете с одной стороны. Я — с другой, — сказал Джейк. — Пока она не покатит как следует, вам придется качать самому. Потом я смогу помогать. Сперва качнете вы, потом я. Так и поедem. Понятно?

— Понятно, — ответил стрелок. Его руки были беспомощно сжаты в кулаки: отчаяние и безысходность.

— Но, пока она не покатит как следует, вам придется качать одному, — повторил мальчик, глядя на него снизу вверх.

Стрелку вдруг живо представился Большой Зал год спустя после Весеннего Бала, после мятежей, гражданской войны, вторжения — абрис горбатых развалин, громадные остовы разбитых и раздробленных стен, обломки. Следом пришло воспоминание об Элли из Талла: пули швыряли женщину со шрамом из стороны в сторону, разрывали тело, отнимая жизнь. Потом возникло посиневшее в смерти лицо Джейми, искаженное и залитое слезами лицо Сьюзан. Все мои старые друзья, подумал стрелок, и его губы тронула отталкивающая улыбка.

Набрав скорость — ведь больше не нужно было искать дорогу ошупью, — они катили сквозь тьму. Стоило только согнать с дрезины неповоротливость, обретенную за эпоху забвения, и те-

лежка пошла плавно, как по маслу. Мальчик силился внести свою лепту, и стрелок позволял ему ненадолго сменять себя, но главным образом качал сам, размашисто поднимая и опуская руки, так что тянуло грудные мышцы. Попутчицей им была река; шум воды, доносившийся справа, то приближался, то отдалялся. Один раз он превратился в оглушительный, громоподобный гул, точно поток пронес свои воды через притвор доисторического собора. Один раз почти полностью пропал.

Скорость и ветер в лицо, рожденный движением, словно заменили зрение и вновь поместили путников в рамки времени и предметных связей. По оценке стрелка дрезина делала примерно от десяти до пятнадцати миль в час, все время по полого, почти незаметно идущему в гору склону, который предательски измотал его. Когда они сделали остановку, Роланд уснул как убитый. Провизии опять почти не осталось, но ни стрелка, ни мальчика это не тревожило.

Напряженность надвигающейся кульминации была для стрелка такой же неощутимой, но такой же реальной и так же нарастающей, как усталость от того, что он гнал дрезину вперед. Близилось завершение начала. Роланд чувствовал себя актером, помещенным на главную сценическую площадку за считанные минуты до подъема занавеса: он занял свое место, держа в голове первую реплику, и слышал, как хрустит программками и устраивается в креслах невидимая аудитория. Он жил с тугим аккуратным мячиком жуткого ожидания в животе и приветствовал занятие, которое позволяло ему забыться сном.

Мальчик разговаривал все меньше и меньше, но на привале, за один период сна до нападения Мутантов-Недоумков, с изрядной долей робости спросил у стрелка, как тот стал взрослым.

Зажав в зубах самокрутку, сократившую и без того тающий запас табака, стрелок налегал на рычаг. Когда мальчик задал свой вопрос, Роланд вот-вот готов был соскользнуть за грань сна, как обычно, бездумного.

— Почему тебе хочется это знать? — спросил он.

Тон мальчика был странно упрямым, словно скрывал смущение.

— Просто так. — И, помолчав, Джейк добавил: — Мне всегда было интересно, как становишься взрослым. Почти все это враки.

— Не то чтобы я рос-рос и вырос, — сказал стрелок. — Я не вымахал во взрослого сразу, в один миг. Я выросел понемножку, нынче здесь, завтра там. Однажды я видел повешение. И в этот миг чуть-чуть повзрослел, хотя тогда не понял этого. Двенадцать лет назад в местечке под названием Кингстаун я бросил девушку. Вот тебе еще один такой миг. Но случалось это всегда без моего ведома — я понимал, что стал взрослее, только потом. — Он с некоторой тревогой понял, что уклоняется от ответа, и без особой охоты продолжил: — Полагаю, что посвящение в мужчины тоже было лишь одним из таких мгновений. Формальностью. Можно сказать, стилизацией, как та-

нец. — Роланд отталкивающе рассмеялся. — Как любовь. Вся моя жизнь была любовь и угасание.

Мальчик ничего не сказал.

— То, что ты мужчина, требовалось доказать в бою, — начал стрелок.

Лето и зной.

Август, явившийся в этот край любовником-вампиром, губил землю и урожай фермеров-арендаторов, обращая нивы города-замка в белые, бесплодные пространства. Несколькими милями дальше, на западе, близ границ, где кончался цивилизованный мир, уже начались бои. Все сводки были плохими, однако все они бледнели перед жарой, опустившейся на столицу. В загонах на скотных дворах лежали, лениво развываясь, коровы с бессмысленными глазами. Свиньи апатично похрюкивали, забыв о подступающей осени и уже наточенных ножах. Люди, как водится, сетовали на налоги и воинскую повинность, но под равнодушно-страстной игрой политиков таилась пустота. Центр износился будто тряпичный коврик, по которому ходили, который вытряхивали, стирали, развешивали и сушили. Шнуры и ячейки сети, удерживавшей на груди мира последний самоцвет, расплзались. Все разваливалось. Тем летом, летом грядущего затмения, земля затаила дыхание.

Мальчик лениво шел по верхнему коридору каменной резиденции — своего родного дома, — не понимая, но чувствуя, что происходит. Он тоже был опустошен и опасен.

С тех пор как повесили повара — того, что всегда умел найти для голодных ребятишек кусок-другой, — прошло три года, и мальчик вырос. Ему сравнялось четырнадцать. Сейчас, когда его тело прикрывали лишь выгоревшие штаны из грубого хлопка, было заметно: мальчик уже так широк в плечах и длинноног, что еще совсем немного, и он достигнет пропорций Роланда-взрослого, Роланда-мужчины. В постель с женщиной он еще не ложился, но две младшие замарашки купца из Вест-Тауна уже строили ему глазки. Не оставшись к этому равнодушным, мальчик еще сильнее ощутил в себе этот отклик теперь. Даже в прохладе коридора Роланд чувствовал, что весь в поту.

Впереди находились покои матери. Роланд равнодушно приблизился к ним, намереваясь попросту пройти мимо и подняться на крышу, где его ожидали слабый ветерок и наслаждение, сокрытое в собственной руке.

Он уже миновал дверь, когда чей-то голос окликнул:

— Эй, ты. Мальчик.

Мартен, чародей. Подозрительная небрежность, с которой он был одет, вывела мальчика из равновесия: черные штаны из плотной тяжелой ткани, тесные почти как лосины, расстегнутая до середины груди белая рубашка, взъерошенные волосы.

Мальчик молча поглядел на него.

— Заходи, заходи! Не стой в коридоре! Твоя матушка хочет говорить с тобой. — Губы Мартена улыбались, но в чертах лица сквозило более глубокое, более сардоническое веселье. Под ним же была лишь холодность.

Но мать как будто бы не хотела видеть мальчика. Она сидела в кресле с низкой спинкой у большого окна в центральной гостиной своих покоев, той, что выходила на накалиный пустой камень центрального внутреннего двора, и была в свободном домашнем платье. На сына она взглянула только раз — быстрая, мерцающая, печальная улыбка, подобная осеннему солнцу на воде ручья. Во время дальнейшего разговора она внимательно изучала свои руки.

Теперь Роланд редко виделся с ней, призрак колыбельных песенок почти изгладился из памяти. Мать была чужой — но возлюбленной чужой. Он испытал неопределенный страх, а следом родилась чистой воды ненависть к Мартену, правой руке отца (или наоборот?).

И, разумеется, уже пошли пересуды, пустая болтовня, к которой, как честно думал мальчик, он оставался глух.

— Как ты? Все в порядке? — тихо спросила мать, разглядывая свои руки. Мартен стоял рядом (тяжелая рука у соединения белоснежной шеи с белоснежным плечом вызывала чувство неловкости) и посмеивался над обоими. От этой улыбки его карие глаза потемнели до черноты.

— Да, — ответил мальчик.

— Учеба идет хорошо?

— Стараемся, — сказал он. И мать, и сын знали: он не блещет умом, как Катберт, и даже не так смышлен, как Джейми. Роланд соображал туго и брал не сметкой, а упорством.

— А Давид? — Она знала, как сын привязан к соколу.

Мальчик поднял глаза на Мартена, который по-прежнему наблюдал за происходящим с отеческой улыбкой.

— Он миновал пору расцвета.

Мать, кажется, поморщилась; лицо Мартена на мгновение словно бы омрачилось, пальцы крепче сжали ее плечо. Потом мать устремила взгляд в знойную белизну дня, и все стало как прежде.

Шарада, подумал мальчик. Игра. Кто играет с кем?

— У тебя на лбу шрам, — проговорил Мартен, продолжая улыбаться. — Собираешься стать бойцом, как отец, или попросту неповоротлив?

На сей раз мать действительно поморщилась.

— И то, и другое, — ответил мальчик. Он уверенно взглянул на Мартена, и на губах заиграла неприятная улыбка. Даже здесь, в покоех, было очень жарко.

Мартен вдруг перестал улыбаться.

— Теперь можешь идти на крышу, мальчик. Мне кажется, у тебя там дела.

Но Мартен неправильно понял, недооценил. До сих пор они говорили на низком наречии, пародии на непринужденность. Теперь же мальчик блеснул Высоким Слогом:

— Матушка еще не отослала меня, смерд!

Лицо Мартена перекосилось, словно от удара арапником. Мальчик услышал, как мать страшно, горестно ахнула.

— Роланд!

Но обидная улыбка удержалась. Он шагнул вперед.

— Выкажи мне свою верность, как подобает вассалу пред господином, смерд! Именем моего отца, коему ты служишь!

Мартен, не отрывая от Роланда взгляда, в котором читалось явное недоверие, ласково проговорил:

— Ступай. Ступай, дай волю руке.

Улыбаясь, мальчик вышел.

Затворив дверь и отправляясь обратно той же дорогой, что пришел, он услышал причитания матери. Словно рыдал баньши.

Потом послышался смех Мартена.

Шагая на испытание, Роланд продолжал улыбаться.

Вернувшийся от торговых Джейми, увидев пересекающего тренировочный плац мальчика, побежал пересказать ему самые последние сплетни о кровопролитии и беспорядках на западе, но отступил в сторону, так и не проронив ни слова. Джейми и Роланд знали друг друга с пеленок. Бывало всякое: и подначки «на слабо», и беззлобные потасовки, а уж исследовать стены, в которых родились, мальчишки пускались добрую тысячу раз.

Мальчик, неприятно усмехаясь, широким шагом прошел мимо. Незрячие глаза неподвижно смотрели в одну точку. Роланд направлялся к хижине Корта, где задернутые шторы отражали натиск свирепого послеполуденного зноя. После обеда Корт, старый кот, ложился вздремнуть, чтобы вечером можно было в полной мере насладиться набегом на лабиринт грязных борделей в той части города, где жил простой люд.

Внезапный сполох интуиции — и Джейми понял. Он понял, что должно произойти, и, объятый страхом и иступленным восторгом, разрывался, не зная, следовать ли за Роландом, или бежать за остальными.

Потом транс Джейми прервался, и мальчуган бегом кинулся к главному зданию, пронзительно крича: «Катберт! Аллен! Томас!» На жаре его крик казался жалким, тонким. Все они давным-давно знали (ничем, впрочем, своего знания не выдавая, как это умеют мальчишки), что первым рискнет Роланд. Но так скоро? Это было слишком.

Страшная ухмылка Роланда заводила Джейми гораздо сильнее любых вестей о войнах, мятежах и колдовстве. Это было больше, чем слова, вытолкнутые из беззубого рта над засиженными мухами кочешками салата.

Роланд прошел к хижине своего учителя и пинком распахнул дверь. Та со стуком отлетела, ударилась о простую грубую штукатурку стены и отскочила обратно.

Ему еще не доводилось бывать здесь. Вход открывался в аскетически простую кухню, прохладную, небеленую. Стол. Два стула с прямыми спинками. Два шкафа со множеством дверок и ящиков. На полу — выцветший линолеум; черные дорожки тянутся от вделанного в пол ледника к столу и к высокой разделочной стойке, где висят ножи.

Вот оно, уединенное прибежище государственного мужа. Последний оплот сгнувшейся трезвости не знающего удержу полночного гуляки — мальчишек трех поколений дарил он суровой, без сантиментов, любовью, а кое из кого даже сделал стрелков.

— Корт!

Роланд пнул стол. Пролетев через кухню, тот врезался в разделочную стойку. Висевшие на специальной доске ножи посыпались со стены и легли сверкающими бирюльками.

В другой комнате послышалось неясное шевеление, кто-то полусонно откашлялся. Мальчик не входил, зная, что это притворство, что Корт в соседней комнате проснулся сразу же и сейчас, блестя единственным глазом, стоит у двери, поджидая незваного гостя, чтобы сломать опрометчивому визитеру шею.

— Корт! Ты мне потребен, смерд!

Теперь мальчик говорил Высоким Слогом, и Корт широко распахнул дверь. Он был в одних трусах из тонкой ткани — приземистый мужик с ногами колесом, от тмени до пят изрытый шрамами, сплошь покрытый жгутами мышц. Выпирал круглый живот. Мальчик по собственному опыту знал, что это — упругая сталь. Под лысым, испещренным вмятинами, шишковатым черепом сердито сверкал единственный зрячий глаз.

Мальчик церемонно отсалютовал.

— Довольно ты учил меня, смерд. Сегодня я дам тебе урок.

— Ты поспешил, плаксивое отродье, — небрежно ответил Корт, однако тоже Высоким Слогом. — По моему суждению, на пять лет. Я спрошу лишь единожды. Отступишь?

Мальчик только улыбнулся все той же страшной, неприятной улыбкой. Для Корты, двенадцать раз выдавшего улыбки под алыми небесами залитых кровью полей чести и бесчестия, такого ответа было довольно — возможно, иному он бы не поверил.

— Увы, — рассеянно произнес учитель. — Ты был самым многообещающим моим учеником... что скрывать, лучшим за четверть века. Печально будет увидеть тебя сломленным, зашедшим в тупик. Впрочем, мир сдвинулся с места. Черные дни уже в седле.

Мальчик опять ничего не сказал (потребуйся сейчас сколько-нибудь вразумительное объяснение, он не сумел бы его дать), но жуткая улыбка впервые немного смягчилась.

— Но все ж, — угрюмо проговорил Корт, — кровное родство есть кровное родство, творятся на западе бунты и колдовство или нет. Я твой раб, отрок. Признаю тебя господином и всем сердцем покоряюсь, пусть даже в первый и последний раз.

И Корт, который потчевал Роланда тумачами, зуботычинами, пинками, избивал в кровь, бранил, осмеивал и обзывал «сущим сифилисом», опустился на одно колено и склонил голову.

Мальчик с удивлением коснулся загрубелой, уязвимой плоти его шеи.

— Поднимись, смерд. В любви.

Корт медленно встал — возможно, бесстрастная маска крупных черт скрывала обиду.

— Пустая трата сил. Отступись, отрок. Я нарушаю собственный зарок. Отступись и жди!

Мальчик ничего не сказал.

— Куда как славно. — Тон Корта стал сухим и деловитым. — Час срока. Оружие по твоему выбору.

— Ты принесешь свой посох?

— Как всегда.

— Многих ли посохов тебя уже лишили, Корт? — Это было равносильно тому, чтобы спросить, сколько мальчиков, вступив на квадратный двор за Большим Залом, вернулось новоиспеченными стрелками.

— Сегодня и одного не лишат, — медленно промолвил Корт. — Сожалею. Расплата для излишне нетерпеливого и для недостойного одна. Разве не можешь ты повременить?

Мальчик вспомнил, как стоял над ним Мартен, высокий, точно горы.

— Нет.

— Прекрасно. Какое оружие ты изберешь?

Мальчик ничего не сказал.

Улыбка Корта обнажила неровный ободок зубов.

— Довольно мудро для начала. Через час. Понимаешь ли ты, что, по всей вероятности, не увидишь более ни прочих, ни отца, ни сего замка?

— Мне ведомо, что значит изгнание, — тихо сказал мальчик.

— Ступай же.

Мальчик ушел, не оглядываясь.

В промозглом подвале под овином царила обманчивая прохлада и пахло паутиной и грунтовыми водами. Освещенный вездесущим солнцем, он не впитал ни капли дневной жары. Здесь мальчик держал своего сокола, и птице, кажется, было довольно удобно.

Давид состарился и больше уже не охотился в небе. За три года его оперение утратило сияющую звериную яркость, но глаза по-преж-

нему оставались такими же неподвижными и пронзительными, как всегда. Говорили, будто с соколом нельзя подружиться — разве что ты и сам сокол, временный гость на земле, одинокий, не имеющий друзей и не нуждающийся в них. Сокол не платит нравственности никакой монетой.

Теперь сокол Давид был стар. Мальчик надеялся (или для того, чтобы надеяться, ему не доставало воображения? Возможно, он просто знал?), что сам он — молодой сокол.

— Хэй, — негромко позвал он и протянул руку к насесту, от которого тянулась привязь.

Сокол ступил на руку мальчика и стал без движения. Он был без клобучка. Свободной рукой мальчик полез в карман и выудил кусочек сушеного мяса. Проворно выхватив угощение из пальцев мальчика, сокол заставил мясо исчезнуть.

Мальчик принялся осторожно гладить Давида. Если бы Корт увидел это, то скорее всего, не поверил бы... но Корт не верил и тому, что время мальчика пришло.

— Наверное, сегодня ты умрешь, — сказал Роланд, продолжая поглаживать птицу. — Ты, наверное, станешь жертвой, как все те птахи, на которых мы тебя натаскивали. Помнишь? Нет? Неважно. С завтрашнего дня сокол — я.

Давид стоял у него на руке — безмолвный, немигающий, равнодушный к своей жизни и смерти.

— Ты стар, — задумчиво проговорил мальчик. — И, возможно, не друг мне. Даже год назад ты предпочел бы этому кусочку мяса мои глаза, разве не так? Корт, небось, будет смеяться... Но если сойтись достаточно близко... ну, что, птица? Годы или дружба?

Давид не отвечал.

Мальчик надел на Давида клобучок, нашарил захлестнутые петлей за край насеста путы и с соколом на руке вышел из овина.

Двор за Большим Залом был, собственно, вовсе не двором, а лишь зеленым коридором, стены которого образовывали хитросплетения сильно разросшейся живой изгороди. Для обряда посвящения в мужчины он использовался с незапамятных времен, задолго до Корта и его предшественника, принявшего здесь смерть от колотой раны, нанесенной не в меру рьяной рукой. Многие мальчики покидали коридор мужами, через восточный выход, откуда всегда появлялся учитель. Этой своей оконечностью двор выходил прямо на Большой Зал, в мир света со всеми его интригами и достижениями цивилизации. Многие же — таких было гораздо больше — избитые и окровавленные, крадучись, убегали прочь через западный вход, откуда надлежало заходить юнцам. Им предстояло навеки остаться отроками. Западный выход смотрел на лачуги поселенцев и горы, за которыми лежали непроходимые варварские леса, а дальше — пустыня. Став-

ший мужчиной мальчик продвигался от тьмы и невежества к свету и грузу ответственности. Победенный же мог только во веки веков отступать. Коридор был ровным и зеленым, как игровое поле. Точно пятьдесят ярдов длиной.

Обычно оба входа бывали забиты взбудораженными зрителями и родственниками, поскольку посвящения вычислялись заранее, как правило, с большой точностью: чаще всего совершеннолетие приходилось на восемнадцать лет (тот, кто не прошел своего испытания к двадцати пяти годам, обычно соскальзывал в неизвестность и становился свободным землевладельцем, не в силах взглянуть в лицо жестокой — «все-или-ничего» — реальности поля и испытания). Но в тот день там были только Джейми, Катберт, Аллен и Томас. Не пряча испуга, они, разинув рты, сгрудились у входа для мальчиков.

— Оружие, балбес! — страдальчески прошипел Катберт. — Ты забыл оружие!

— Оно при мне, — отрешенно отозвался мальчик, смутно недоумевая, достигла ли уже новость центральных зданий, матери — и Мартена. Отец охотился и должен был вернуться лишь много недель спустя — к легкой досаде мальчика: Роланду казалось, что у отца он нашел бы если не одобрение, то понимание. — Корт уже пришел?

— Корт здесь, — донесся голос с дальнего конца коридора, и пред их очи ступил одетый в короткую фуфайку Корт. Лоб учителя охватывала тяжелая кожаная лента, чтобы пот не затекал в глаза, в руке был зажат посох из железного дерева, заостренный с одной стороны и расплющенный в лопатку с другой. Корт приступил к череде вопросов и ответов, с раннего детства знакомой всем им, избранным безрассудной и слепой кровью своих отцов; заученной к тому дню, когда они, быть может, станут мужчинами.

— С серьезными ли намерениями явился ты сюда, отрок?

— С серьезными, учитель.

— Ты явился изгнанником из отчего дома, отрок?

— Воистину так, учитель. — Роланду суждено было оставаться изгнанником до тех пор, пока он не одолеет Корта. Если бы верх взял Корт, мальчик остался бы парией навсегда.

— Ты явился с избранным тобою оружием?

— Воистину так, учитель.

— Что это за оружие? — Вопрос давал учителю преимущество, возможность изменить план боя соответственно праще, копьё или сети.

— Мое оружие — Давид, учитель.

Корт запнулся лишь на краткий миг.

— Итак, ты выступил против меня, отрок?

— Да.

— Тогда не медли.

И Корт двинулся по коридору, перебрасывая пику из руки в руку. Мальчишки испустили трепетный, точно птица, вздох: их товарищ шагнул учителю навстречу.

Мое оружие — Давид, учитель.

Запомнил ли Корт? До конца ли он понял? Если так, возможно, все пропало. Все зависело от внезапности нападения и того боевого задора, что еще сохранился у сокола. Что сделает птица? Останется безучастно сидеть на руке у мальчика, покуда Корт будет избивать того посохом из железного дерева до помрачения рассудка? Или устремится в высокое горячее небо?

Они сходились все ближе. Мальчик бессильными вялыми пальцами распустил соколу клубочек. Клубочек свалился в зеленую траву, и мальчик остановился как вкопанный, заметив, что взгляд Корта упал на птицу и глаза учителя расширились от удивления и медленно разгорающегося понимания.

Значит, сейчас.

— Бей! — выкрикнул мальчик, вскидывая руку.

И Давид полетел бесшумной бурой пулей. Качнув встопорщенными крыльями один, два, три раза, сокол врезался Карту в лицо, проникая в плоть клювом и когтями.

— Хэй! Роланд! — вне себя прокричал Катберт.

Корт потерял равновесие и, шатаясь, попятился. Посох из железного дерева поднялся и заколотил по воздуху над головой учителя, но впустую. Сокол колыхался перед ним неясным, смазанным комком перьев.

Мальчик стрелой метнулся вперед, выставив согнутую под прямым углом неподвижную руку.

И все же Корт чуть было не оказался слишком проворен. Птица заслоняла ему девяносто процентов видимости, но посох вновь поднялся сплюснутым концом кверху, и Корт хладнокровно проделал единственное, что могло в тот момент повернуть ход событий. Безжалостно напрягая бицепс, он трижды ударил себя по лицу.

Переломанный, искалеченный Давид упал, неистово хлопая крылом по земле. Холодные хищные глаза яростно впились в лицо учителя, по которому струилась кровь. Незрячий глаз Корта слепо выпирал из глазницы.

Мальчик нанес Карту нешуточный удар ногой в висок. На этом все и должно было бы завершиться; пусть от единственного нанесенного Кортом удара нога у Роланда онемела — пинок должен был бы положить конец поединку. Однако вышло иначе. На миг лицо Корта обмякло, а затем он нырнул вперед, чтобы ухватить мальчика за ступню.

Мальчик отскочил назад, запутался в собственных ногах и, раскинув руки, полетел наземь. Издалека донесся пронзительный крик Джейми.

Корт вскочил, готовый упасть на Роланда сверху и завершить схватку, ведь мальчик лишился своего преимущества. На миг взгляды противников встретились. У стоявшего над учеником учителя по левой щеке сползали кровавые сгустки, а незрячий глаз закрылся, превратившись в узкую белую щелку. На нынешний вечер бордели для Корта отменялись.

Что-то вспороло мальчику руку. Ее слепо рвал сокол, Давид. Оба крыла у него были сломаны. То, что птица еще жила, было невероятно.

Не обращая внимания на вонзающийся в руку клюв, который сдирал с его запястья ленточки мяса, мальчик сграбастал птицу, точно камень и, когда Корт, растопырив руки, ринулся на него, подбросил сокола вверх.

— Хэй! Давид! Бей!

Потом, загородив солнце, сверху на мальчика упал Корт.

Птицу расплющило между ними, смяло. Мальчик почувствовал, что ему в лицо, отыскивая глазницу, тычется мозолистый большой палец, и вывернул его, одновременно приподняв бедро, чтобы заблокировать колено Корта, стремившееся нанести ему удар между ног. Рука Роланда трижды безжалостно и сильно рубанула по древу шеи учителя. Это было все равно, что колотить по рифленому камню.

Корт хрипло крикнул, тело его содрогнулось. Мальчик смутно заметил руку, молотившую по земле в поисках оброненного посоха, и, молниеносно выбросив ногу вперед — так, как раскрывается пружинный нож, — пинком отправил палку за пределы досягаемости противника. Давид, вцепившись когтями Карту в ухо, второй лапой остервенело бил учителя по щеке, не оставляя живого места. Лицо мальчика обрызгала теплая, пахнущая медной стружкой кровь.

Кулак Корта одним ударом сломал птице спину. Еще удар — и хрустнула, сложившись под неестественным углом, шея. Однако когти не разжались. Уха больше уже не было — только сбоку в череп Корта тоннелем уходила красная дыра. Третий удар — и птица отлетела, перестав загораживать лицо Корта.

Ребро ладони Роланда опустилось Карту на переносицу, ломая тонкую кость. Брызнула кровь.

Рука Корта, незряче хватая воздух, метнулась к ягодицам мальчика. Тот вслепую откатился прочь, нашарил посох и стал на колени.

Корт, ослабившись, тоже поднялся на колени. Его лицо скрывала завеса запекшейся крови. Единственный зрячий глаз неистово вращался. Перебитый нос был свернут под странным, жутковатым углом. Щеки висели лохмотьями.

Мальчик держал посох точно бейсболист, ожидающий подачи.

Корт сделал два обманных движения и вышел прямо на него.

Проворства мальчику было не занимать. Твердый как железо посох качнулся в воздухе, описав решительную дугу, и с глухим неясным стуком ударил Корта по черепу. Корт повалился на бок. Он глядел на мальчика с ленивым выражением — и не видел его. Из рта вытекла тоненькая струйка слюны.

— Сдавайся или погибни, — проговорил мальчик. Его рот был полон сырой ваты.

И Корт улыбнулся. Сознание почти полностью покинуло его, и следующую неделю ему предстояло провести в своей хижине, под присмотром сиделок, спеленутым чернотой комы — но сейчас учитель еще держался со всей силой жизни, не ведавшей ни жалости, ни защиты.

— Я сдаюсь, стрелок. Сдаюсь с улыбкой.

Неповрежденный глаз Корта закрылся.

Стрелок осторожно, но настойчиво потряс учителя. Теперь Роланда обступили остальные. Руки у них дрожали от желания хлопнуть товарища по спине, поднять на плечи, но ребята опасливо сдерживались, почуяв только что разверзшуюся пропасть. И все же это было не так непривычно, как могло бы — ведь бездна отделяла этого мальчика от прочих всегда.

Веки Корта вновь слабо затрепетали, он приоткрыл глаза.

— Ключ, — сказал стрелок. — Право, данное мне по рождению, учитель. Мне нужен ключ.

Рождение Роланда давало ему право на револьверы — пусть не на тяжелые, весившие еще больше из-за сандалового дерева револьверы отца, но тем не менее на револьверы, запретные для всех кроме считанных единиц. На последнее, абсолютное оружие. Под тяжелыми сводами оружейных погребов казармы, где, вдали от материнской груди, по старинному закону надлежало теперь ждать Роланду, висело это вооружение новичка — увесистое, громоздкое, из никеля и стали. Пусть так, и все же оно неотлучно было при отце, покуда тот становился из новичка настоящим стрелком — а сейчас отец правил страной, по крайней мере, номинально.

— Что ж, значит, это так страшно? — пробормотал Корт будто во сне. — Так тягостно? Этого-то я и боялся. И все же ты победил.

— Ключ.

— Сокол... блестящая уловка. Превосходное оружие. Долго ли ты натаскивал своего ублюдка?

— Я не натаскивал его. Я подружился с ним. Ключ.

— У меня под ремнем, стрелок. — Глаз опять закрылся.

Стрелок просунул руку под ремень и оцупал мощный, тяжелый пресс, мускулатура которого сейчас была расслабленной и вялой. Вот и медное кольцо. Роланд крепко стиснул ключ в руке, обуздывая страстное, нестерпимое желание подкинуть его к небесам, приветствуя победу.

Он поднялся на ноги и наконец уже поворачивался к остальным, как вдруг рука Корта нащарила его ступню. На миг стрелок испугался

последней атаки, но Корт лишь взглянул на него и поманил корявым пальцем.

— Сейчас я усну, — бесстрастно прошептал Корт. — Может статья, навсегда, мне это неизвестно. Более я не учитель тебе, стрелок. Ты превзошел меня, к тому же двумя годами раньше своего отца — а ведь он был самым младшим. Позволь, однако, дать тебе совет.

— Что? — Нетерпеливо.

— Повремени.

— А? — От неожиданности и удивления стрелок не сдержался.

— Пусть весть и вымысел шагают впереди. Вот те, кому нести и то, и другое. — Взгляд Корта метнулся куда-то за плечо стрелка. — Быть может, дурни. Позволь вестям упредить себя. Дай своей тени вырасти. Пусть отрастит усы и бороду. Пусть почернеет. — Лицо Корта озарила нелепая улыбка. — Коль дать словам время, они зачаруют и чародея. Тебе понятно, что я говорю, стрелок?

— Да.

— Ты примешь мой последний совет?

Стрелок присел на корточки. Задумчивая поза возвещала грядущее рождение мужчины. Он посмотрел на небо. Оно темнело, наливалось пурпуром. Дневная жара спадала. Сгрудившиеся на западе грозовые облака с белой каймой предвещали дождь. Острия молний вонзались в безмятежную гряду холмов предгорья, вздымавшуюся за много миль отсюда. За ней лежали горы. Еще дальше вздымались фонтаны крови, царило безумие. Роланд устал. Устал до мозга костей и еще сильнее.

Он опять посмотрел на Корта.

— Вечером я похороню своего сокола, учитель. А после схожу в город к простолюдинам — просвещу тех в веселых домах, кому будет интересно, куда ты запропал.

Губы Корта раздвинула обиженная улыбка. Потом он забылся сном.

Стрелок поднялся и повернулся к остальным.

— Сделайте носилки и снесите его домой. Потом приведите сиделку. Нет, двух сиделок. Договорились?

Друзья по-прежнему вглядывались в него, попавшись в тенета захватывающего мгновения, которые пока нельзя было порвать. Они все еще высматривали огненный венец или вервольфово изменение черт.

— Двух сиделок, — повторил стрелок — и улыбнулся. Улыбнулись и они.

— Ты, гуртовщик проклятый! — вдруг с ухмылкой завопил Катберт. — Бросил нам голые кости, ни кусочка мяса!

— Завтра мир с места не сдвинется, — сказал стрелок, с улыбкой цитируя старое изречение. — Аллен, дубина стоеросовая, пошевеливайся.

Аллен взялся делать носилки; Томас с Джейми вместе отправились в главный зал и в лазарет.

Стрелок с Катбертом переглянулись. Мальчиков всегда связывала самая тесная дружба — вернее, они были дружны настолько, насколько позволяли особые черточки нрава каждого из них. В глазах Катберта открыто светился рискованный огонек, и стрелок лишь с великим трудом справился с побуждением втолковать товарищу, чтобы тот еще год или даже полтора не требовал испытания, не то погубит себя. Но юноши пережили вместе очень многое. К тому же стрелку казалось, что, рискуя дать подобный совет, нельзя избежать тона, который может быть принят за покровительственный. Он подумал: «Я уже становлюсь интриганом», — и слегка испугался. Потом Роланду представился Мартен, мать, и он улыбнулся другу улыбкой обманщика.

«Первым быть мне, — подумал он, впервые понимая это, хотя (с некоторым смущением) и раньше много раз предавался подобным размышлениям. — Первым быть мне». И сказал:

— Пошли.

— С радостью, стрелок.

Они вышли с восточного конца окаймленного живой изгородью коридора. Томас и Джейми уже возвращались с сиделками. В тяжелых белых халатах с красным крестом на груди те напоминали призраков.

— Помочь тебе с соколом? — спросил Катберт.

— Да, — сказал стрелок.

Позже, когда пришла тьма, а с ней — гроза с проливным дождем, когда по небу катались огромные прозрачные пустые бочки, когда кривые улочки той части города, где селился низкий по рождению люд, омыли голубоватым огнем молнии, а лошади с обвисшими хвостами, опустив головы, стояли у коновязей, стрелок заплатил одной из женщин и лег с ней.

Было быстро и хорошо. Когда все кончилось, и они молча лежали бок о бок, отрывисто, дробно и свирепо застучал град. Внизу, далеко-далеко, кто-то играл рэгтайм «Эй, Джуд». Сознание стрелка задумчиво обратилось внутрь. В этой-то заполненной бормотанием града тишине, долей секунды раньше, чем его сковал сон, он в первый раз подумал, что с равным успехом может оказаться и последним.

Разумеется, рассказывать мальчику все стрелок не стал, но, возможно, большая часть все равно просочилась. Он давно уже понял, что мальчуган крайне восприимчив и не так уж отличается от Катберта или даже Джейми.

— Спишь? — спросил стрелок.

— Нет.

— Ты понял, о чем я рассказывал?

— Понял? — с осторожной насмешкой спросил мальчик. — Понял или нет? Вы шутите?

— Нет. — Но стрелок чувствовал, что обороняется. Он еще никому, никогда не рассказывал, как происходило его посвящение в мужчины — это воспоминание рождало в нем противоречивые чувства. Конечно, сокол был вполне приемлемым оружием... но все-таки не обошлось и без обмана. И предательства. Первого из многих: *Что же я — готовлюсь бросить этого мальчика на человека в черном?*

— Я понял, — сказал мальчик. — Это была игра, правда? Взрослым мужчинам всегда приходится играть? Все должно оправдывать какую-то другую игру, да? А есть такие, кто вырастает, или все мужчины только проходят посвящение?

— Ты знаешь не все, — сказал стрелок, стараясь сдержать медленно закипающий гнев.

— Нет. Но я знаю, что я для вас такое.

— И что же? — натянуто спросил стрелок.

— Покерная фишка.

Стрелок ощутил сильнейшее желание найти камень и размозжить мальчишке голову. Вместо этого он придержал язык.

— Спи, — сказал он. — Мальчикам надо спать.

А в голове у него эхом прозвучали слова Мартена: *«Ступай, дай волю руке»*.

Оглушенный ужасом, Роланд деревянным истуканом сидел в темноте, страхась (впервые за все время своего существования он чего-то испугался) отворачивания к себе, которое могло прийти.

Во время следующего периода бодрствования железная дорога отклонилась в сторону реки, и путники наткнулись на Мутантов-Недлумков.

Увидев первого, Джейк громко и пронзительно закричал.

Стрелок, который, налегая на рычаг, смотрел только вперед, рывком повернул голову вправо. Чуть поодаль, внизу, слабо пульсировало нечто округлое и зеленое, точно гнилая хэллоуиновская тыква. Ноздрей в первый раз коснулся запах — еле заметный, неприятный, сырой.

Нечто зеленое оказалось лицом, и лицо это было ненормальным. Над сплюснутым носом выступали, точно у насекомого, глаза-наросты, смотревшие на пришельцев без выражения. Стрелок почувствовал, как в кишках и причинном месте закопошился первобытный страх, и немного ускорил ритм работы.

Тлеющее лицо померкло.

— Что это было? — спросил мальчик. По спине у него ползли мурашки. — Что... — Слова застряли у Джейка в горле — дрезина миновала группу из трех слабо фосфоресцировавших силуэтов, которые неподвижно стояли между рельсами и невидимой рекой, наблюдая за путниками.

— Это Мутанты-Недоумки, — сказал стрелок. — Вряд ли они нас потревожат. Вероятно, они так же напуганы нами, как...

Один из силуэтов стронулся с места, отделился от остальных и, неуклюже волоча ноги, направился к дрезине, испуская слабый свет и меняясь на ходу. Лицо было лицом умирающего от голода идиота. Хилое обнаженное тело трансформировалось в узловатое месиво похожих на щупальца конечностей с присосками.

Мальчик снова закричал. Он жался к ноге стрелка, как испуганная собака.

Одно из щупалец зашарило по плоской платформе дрезины. От него несло сыростью, тьмой и неизвестностью. Отпустив рукоять, стрелок выхватил револьвер и вогнал изголодавшемуся идиоту пулю в лоб. Физиономия скользнула вниз, прочь; бледное свечение болотных огней стало меркнуть — лунное затмение. На привыкшей к мраку сетчатке путников вспышка выстрела оставила ослепительно-яркое клеймо, исчезавшее весьма неохотно. Запах потраченного пороха казался в этом подземелье жарким, свирепым, враждебным.

Появились и другие, их было больше. Ни один не выступал против стрелка с мальчиком открыто, однако эта молчаливая, страшная компания зевак преследовала дрезину, все больше приближаясь.

— Может быть, тебе придется качать вместо меня, — сказал стрелок. — Сможешь?

— Да.

— Тогда готовься.

Джейк, балансируя всем телом, стал рядом с ним. Глаза мальчика не бегали по сторонам, они видели не больше, чем следовало, и Мутантов-Недоумков заметили только тогда, когда те обогнали дрезину. Мальчик принял на себя психическую атаку ужаса так, будто самый его вид изловчился вытечь сквозь поры и образовать телепатический щит.

Стрелок размеренно налегал на рукоять, но темпа не убыстрял. Мутанты-Недоумки могли учуять их страх, стрелок это знал. Сомнения вызывало другое: довольно ли с них будет внушенного прищельцам ужаса? В конце концов, и мальчик, и Роланд были созданиями света, к тому же пребывающими в добром здравии. «Как они должны нас ненавидеть», — мелькнуло в голове у стрелка, и ему стало интересно, возбудил ли у Мутантов такую же ненависть человек в черном. «Нет, — подумал стрелок, — может быть, он прошел среди них, через жалкую колонию-муравейник, без ведома обитателей, тенью темного крыла, не более».

Мальчик издал гортанный звук, и стрелок почти что небрежно повернул голову. Спотыкаясь, дрезину атаквали четверо мутантов — один как раз искал, за что бы уцепиться.

Стрелок выпустил рычаг и опять, тем же сонным, небрежным движением выхватил револьверы. Пуля вошла жожаку мутантов в

голову. Издав то ли вздох, то ли вскрип, тот расплылся в ухмылке. Руки у этого существа были вялыми, похожими на рыб, мертвыми; пальцы слиплись, словно пальцы перчатки, которую давно окунули в подсыхающую грязь. Одна из этих трупных рук нашла ногу мальчика и потащила на себя.

Каменную утробу огласил громкий, пронзительный визг Джейка.

Стрелок выстрелил мутанту в грудь. Не переставая ухмыляться, недоумок пустил слюни. Джейк падал за край платформы. Стрелок поймал мальчика за руку и от рывка сам чуть не потерял равновесие — тварь была на удивление сильной. Стрелок вогнал в голову мутанту вторую пулю. Один глаз погас, как свечка. Мутант все тащил. Началось молчаливое перетягивание каната, которым было извивающееся, дергающееся тело Джейка. Они рвали мальчика, будто куриновую дужку.

Дрезина сбавляла ход. Ее уже нагоняли другие — увечные, слепые, колченогие. Возможно, они всего-навсего искали некоего Иисуса, который исцелил бы их и, как Лазаря, поднял из тьмы.

«Мальцу крышка, — совершенно спокойно подумал стрелок. — Вот какой финал подразумевался. Разжать руки и налечь на рукоять — или держать и найти свою могилу. Мальчишке каюк».

Роланд с невероятной силой рванул мальчика за руку и выстрелил мутанту в живот. На одно застывшее мгновение хватка твари стала даже более крепкой, и Джейк снова начал соскальзывать с края платформы. Потом мертвые, точно облепленные тиной руки ослабли, выпустили его, и Мутик-Недоумок, все еще ухмыляясь, упал ничком между рельсов позади замедляющей ход дрезины.

— Я думал, вы меня бросите, — всхлипывал мальчик. — Я думал... я подумал...

— Держись за мой ремень, — сказал стрелок. — Крепко держись, что есть мочи.

Рука Джейка пробралась под ремень и накрепко ухватилась за него; мальчик дышал с трудом, судорожно, беззвучно хватая ртом воздух.

Стрелок вновь принялся размеренно налегать на рычаг, и дрезина пошла быстрее. Отступив на шаг, Мутанты-Недоумки следили, как она уезжает: вряд ли человеческие (или трогательно-человеческие) лица; лица, источавшие слабую фосфоресценцию, присущую тем странным рыбам, что обитают в глубинах моря под невероятным, зловещим давлением; лица, в бессмысленных шарах глаз которых не было ни гнева, ни ненависти, а лишь нечто, казавшееся полусознательным сожалением слабоумного.

— Их становится меньше, — сказал стрелок. Подобравшиеся мышцы низа живота самую капельку расслабились. — Они...

Мутанты-Недоумки перегородили железнодорожное полотно камнями. Путь был закрыт. Сделано это было наспех, убого — возможно, расчистка завала оказалась бы минутным делом, — однако дрезину

остановили. И кому-то нужно было спуститься, чтобы растащить камни. Мальчик со стоном содрогнулся и подвинулся ближе к стрелку. Стрелок выпустил рукоять. Дрезина бесшумно, по инерции покатила к камням, глухо ударилась в них и замерла.

Мутанты-Недоумки опять начали подтягиваться ближе, точно случайно, почти так, как если бы, заплутав во сне мрака, проходили мимо и обнаружили того, у кого можно спросить дорогу. Этакое уличное сборище проклятых под древней скалой.

— Они хотят схватить нас? — спокойно спросил мальчик.

— Нет. Помолчи секунду.

Роланд присмотрелся к камням. Конечно, чтобы преградить дрезине путь, хилые мутанты не смогли подтащить ни единого большого валуна. Только мелкие камни. Просто, чтобы остановить их, заставить кого-нибудь слезть с дрезины.

— Слезай, — сказал стрелок. — Разбирать это придется тебе. Я тебя прикрою.

— Нет, — прошептал мальчик. — Пожалуйста.

— Я не могу отдать тебе револьвер, но таскать камни и стрелять я тоже не могу. Тебе придется слезть.

Джейк жутко завращал глазами; тело мальчика в лад поворотам мысли сотрясла секундная дрожь. Затем он подполз к краю платформы, перелез через него и принялся бешено, не глядя, расшвыривать камни.

Стрелок вытащил револьверы и ждал.

К мальчику не то чтобы двинулись — скорее, шатаясь, потащились — двое мутантов. Их руки напоминали сырое тесто. Револьверы сделали свое дело, прошив тьму красно-белыми копьями света, вогнавшего в глаза стрелку иглы боли. Мальчик истощно закричал, но продолжал отшвыривать камни прочь. Колдовское зарево прыгало и плясало. Хуже всего было то, что стало трудно видеть. Все превратилось в тени.

Один из мутантов, почти совсем не светившийся, неожиданно потянулся к мальчику гуттаперчевыми лапами буки из детской сказки. Пожравшие половину головы мутика глаза влажно заворочались.

Джейк опять завизжал и обернулся, чтобы дать бой.

Не позволяя себе задуматься, Роланд выстрелил раньше, чем плававшие перед глазами пятна вызвали предательскую, страшную дрожь в руках: обе головы разделяло всего несколько дюймов. С чавкающим звуком упал мутик.

Джейк неистово расшвыривал камни. Толпа мутантов кружила у невидимой границы, вход за которую был воспрещен, время от времени подвигаясь чуть ближе — теперь до них было рукой подать. Число мутантов росло как на дрожжах: их догнали остальные.

— Ладно, — сказал стрелок. — Забирайся обратно. Быстро.

Когда мальчик сорвался с места, мутанты напали. Джейк перелез через край платформы и неуклюже пытался встать на ноги, стрелок

уже снова работал рычагом, полностью выкладываясь. Оба револьвера вернулись в кобуры. Надо было уносить ноги.

По металлическому плоскому полу дрезины зашлепали диковинные ладони. Мальчик обеими руками держался за ремень Роланда, крепко вжимаясь лицом ему в поясницу.

На рельсы высыпала кучка мутантов — их лица наполняло бессмысленное, равнодушное предвкушение. Стрелок был до отказа накачан адреналином; дрезина летела по рельсам в темноту. На полном ходу они ударили по четырем или пяти жалким, неуклюжим громадинам. Те разлетелись, будто сбитые со стебля гнилые бананы.

Вперед, вперед, в беззвучную, летящую, призрачную тьму.

Спустя вечность мальчик подставил лицо сотворенному движением ветру, страхась и все же испытывая острое желание знать. Сетчатка его глаз еще хранила призрачные следы вспышек выстрелов. Здесь нечего было видеть, кроме мрака, нечего слышать, кроме грохота реки.

— Их больше нет, — сказал мальчик, вдруг испугавшись, что железная дорога в темноте кончится, и они под треск и грохот раздираемого металла соскочат с рельсов и окажутся повергнуты в искореженные развалины. Джейку случалось ездить на машине; однажды отец, будучи в дурном расположении духа, гнал по автострате Нью-Джерси на скорости девяносто и был остановлен. Но так мальчик не ездил никогда — с ветерком, вслепую, с оставленными позади и поджидающими впереди ужасами, под шум реки, напоминающий посмеивающийся голос — голос человека в черном. Руки стрелка стали поршнями на безумной человеческой фабрике.

— Их больше нет, — робко повторил мальчик. Ветер рвал слова с губ. — Теперь можно помедленнее. Мы от них оторвались.

Но стрелок не услышал. Кренясь, они мчались вперед, в незнакомую, неизведанную тьму.

Три периода бодрствования и сна прошли без происшествий.

Во время четвертого периода бодрствования (на середине пути? в последней его четверти? путники не знали, знали только, что еще не настолько устали, чтобы остановиться) что-то резко толкнуло дрезину снизу, она качнулась, и под действием силы тяжести тела пассажиров немедленно накренились вправо, в то время как рельсы постепенно поворачивали влево.

Впереди брезжил какой-то свет, зарево, такое слабое и чужое, что сначала оно показалось совершенно новой стихией — ни землей, ни воздухом, ни водой, ни огнем. Оно было бесцветным, и различить его удавалось лишь благодаря тому факту, что стрелок с мальчиком вновь обрели руки и лица вне пределов, измеряемых прикосновением. Глаза путников уже успели сделаться столь чувствительными к свету, что

заметили зарево за пять с лишним миль до того, как дрезина приблизилась к нему.

— Вот и все, — напряженно проговорил мальчик. — Вот и все.

— Нет, — стрелок говорил со странной убежденностью — Нет.

И действительно. Они достигли света, но не дня.

Приближаясь к источнику свечения, они впервые увидели, что каменная стена слева от них отступила, и к их рельсам присоединились другие, пересекавшиеся сложной паутиной. Свет уложил их полированными векторами. Кое-где, словно застрявшие в подземном Саргассовом море призрачные галеоны, стояли товарные и пассажирские вагоны. К путям была приспособлена платформа. Это зрелище заставило стрелка занервничать.

Свет разгорался, причиняя глазам легкую боль, но достаточно медленно для того, чтобы позволить путникам приспособиться. Стрелок с мальчиком выбирались из тьмы на свет, как пловцы, медленно поднимающиеся из морской пучины.

На них надвигался огромный, простирающийся в темноту ангар, прорезанный, наверно, двумя дюжинами выстроившихся в ряд проемов, за которыми виднелись желтые квадраты света — по мере приближения дрезина эти проемы выросли от размера игрушечных окошек до высоты в двадцать футов. Через один из центральных въездов дрезина проследовала внутрь. Вверху — как полагал стрелок, на разных языках — непонятные значки складывались в какие-то письмена. Роланд с изумлением обнаружил, что последнюю надпись может прочесть — то был древний корсень Высокого Слога. Надпись гласила:

ДЕСЯТЫЙ ПУТЬ. К ПОВЕРХНОСТИ. ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.

Внутри свет был ярче; рельсы там сходились и сливались воедино благодаря рядам переключателей. Здесь еще работали немногочисленные семафоры, вспыхивали вечные красные, зеленые и янтарные огни.

Дрезина катила меж поднимающихся каменных простенков, которые тысячи проследовавших мимо вагонов покрыли черной запекшейся коркой, пока не оказалась на своего рода центральной сортировочной станции. Стрелок позволил тележке медленно прокатиться своим ходом до остановки, и они с мальчиком огляделись.

— Похоже на метро, — сказал мальчик.

— Метро?

— Неважно.

Мальчик вскарабкался наверх, на твердый бетон. Они оглядели немые заброшенные киоски, где некогда торговали книгами и газетами; древнюю обувную лавчонку, оружейный магазинчик (внезапно охваченный волнением стрелок увидел револьверы и винтовки; более близкий осмотр показал, что их стволы давно заряжены свинцом; он, однако, выбрал лук, который закинул за спину, и колчан с плохо

сбалансированными и практически бесполезными стрелами); магазин дамского платья. Где-то конвертер вновь и вновь перемешивал воздух, как делал тысячи лет — впрочем, возможно, осталось ему недолго. Где-то в середине цикла он издавал скрежет, служивший напоминанием о том, что вечное движение, даже в строго контролируемых условиях, все равно остается мечтой идиота. Воздух отдавал разогретым металлом. Шаги отзывались унылым эхом.

Мальчик вскрикнул:

— Эй! Эй...

Стрелок развернулся и пошел к нему. Джейк прирос к месту у книжного ларька. Внутри, в дальнем углу, распростерлась мумия. На мумии была синяя форма с золотым кантом — с виду форма проводника. На коленях лежала древняя, превосходно сохранившаяся газета, которая рассыпалась в пыль, когда Роланд попытался в нее заглянуть. Лицо мумии походило на старое сморщенное яблоко. Стрелок осторожно дотронулся до щеки. Поднялось маленькое облачко пыли, и вот уже они смотрели сквозь щеку мумии в рот. Там подмаргивал золотой зуб.

— Газ, — пробормотал стрелок. — Было дело, умели получать газ с таким вот действием.

— Чтоб воевать, — угрюмо сказал мальчик.

— Да.

Там были и другие мумии, не очень много, но были, все — в синей с золотом декоративной форме. Стрелку подумалось, что, когда применили газ, здесь не было ни прибывающего, ни убывающего транспорта. Возможно, в некие смутные дни станция была военным объектом, целью нападения какой-то давно канувшей в небытие армии.

Мысль подействовала на него угнетающе.

— Лучше двинем-ка дальше, — сказал он и опять пошел в сторону Десятого пути и дрезины. Но мальчик непокорно отстал.

— Нё пойду.

Стрелок удивленно обернулся.

Лицо мальчика было искажено и дрожало.

— Вам не получить то, чего вы хотите, пока я не умру. Я буду рисковать сам, один.

Стрелок уклончиво кивнул, испытывая ненависть к себе.

— Ладно. — Он развернулся, прошел через платформу к каменному простенку и легко прыгнул вниз, на дрезину.

— Вы сторговались! — пронзительно крикнул мальчик ему вслед. — Я знаю!

Не отвечая, стрелок осторожно пристроил лук перед поднимавшимся из пола дрезины Т-образным столбиком, от греха подальше.

Мальчик сжал кулаки. Черты его лица были искажены мукой.

«Как легко ты взял мальчика на испуг, — сухо сказал себе стрелок. — Чутье снова и снова выводило его к этой точке, а ты снова и

снова увлекал его дальше, будто на веревочке — в конце концов, у него нет друзей, кроме тебя».

В голову Роланду пришла неожиданная, простая мысль (почти видение): от него требуется только одно — бросить старое, все переиграть, взять мальчика с собой и сделать его центром новой силы. Не обязательно так унижительно рыть носом землю, чтобы добраться до Башни. Пусть это случится спустя годы, когда мальчик подрастет и оба они смогут отбросить человека в черном в сторону, будто дешевую заводную игрушку.

«А как же, — цинично подумал Роланд. — А как же».

Внезапно похолодев, он понял, что пойти на попятный означало для них обоих гибель — гибель или нечто худшее: погребение с живыми мертвецами за спиной. Медленную утрату всех способностей. При том, что отцовские револьверы, возможно, намного переживут их обоих, сохраняемые в отвратительном величии как тотемы, подобно памятной ему бензоколонке.

Ну, прояви же мужество, неискренне велел себе стрелок.

Он потянулся к рычагу и начал качать. Дрезина отъехала от каменного пирса.

Пронзительно закричав «*Подождите!*», мальчик кинулся наисок через пирс к тому месту, где дрезина должна была выехать навстречу лежащему впереди мраку. Стрелку внезапно захотелось прибавить ходу, бросить мальчишку — пусть одного, но хотя бы с неопределенностью в перспективе.

Вместо этого он подхватил мальчугана, когда тот прыгнул. Джейк прижался к стрелку, сердце под тонкой рубашкой трепетало, выбивая монотонную дробь. Словно билось сердце цыпленка.

Теперь финал был совсем близко.

Шум реки сделался очень громким, он заполнял своим мерным рокотом даже сны. Больше из каприза, чем по каким-либо иным причинам, стрелок разрешил мальчику стать к рукояти, а сам тем временем выпустил в темноту несколько стрел, привязанных длинными тонкими белыми нитями.

Лук оказался очень плох — несмотря на то, что он невероятным образом сохранился, и натяжение, и прицельность были ужасны, и стрелок понимал: тут мало что исправишь. Усталой древесине не помогла бы даже перетяжка тетивы. Стрелы не желали улетать далеко, однако последняя выпущенная им во тьму возвратилась мокрой и скользкой. Когда мальчик спросил, далеко ли она залетела, Роланд только пожал плечами, но про себя подумал, что пущенная из прогнувшегося лука стрела вряд ли могла преодолеть больше ста ярдов — да и то было бы большой удачей.

А шум реки становился все громче.

Во время третьего, с тех пор как путники покинули станцию, периода бодрствования призрачное сияние вновь стало разгораться.

Дрезина въехала в длинный тоннель из таинственно фосфоресцирующего камня; сырые стены поблескивали и мерцали, вспыхивая тысячами мельчайших звездочек. Стрелку и мальчику все виделось в такой зловещей сюрреалистичности комнаты ужасов.

Варварский грохот реки наплывал к путникам по коридорам в заточившей их скале. Увеличенный таким природным усилителем, звук этот все же оставался странно неизменным, даже когда дрезина приблизилась к железнодорожному разъезду — стрелок был уверен, что впереди разъезд, поскольку стены тоннеля расступались, а просвет расширился. Угол подъема стал более явным.

Рельсы в новообретенном свете стрелой летели вперед. Стрелку они казались привязанными на ниточки продолговатыми баллонами с болотным газом, какие иногда потехи ради продавали на ярмарке в Иосифов день, мальчику — бесконечным серпантинном неоновых трубок. Но в их отблесках и тот, и другой видели: скала, так долго обступавшая их со всех сторон, впереди заканчивается парой полуостровов с неровными краями. Выступы были нацелены вперед, в окутанную мраком бездну — пропасть, по дну которой бежала река.

Железнодорожный путь тянулся дальше, над непостижимым провалом, поддерживаемый древней как мир эстакадой. А там, в невероятном далеке, виднелась крохотная, с булавочный укол, светящаяся точка — не фосфоресценция, не флюоресценция, а жесткий, подлинный свет дня. Точка была крохотной, словно прокол, оставленный иглой в темной ткани, и все же отягощенной пугающим смыслом.

— Остановитесь, — сказал мальчик. — Остановитесь на минутку. Пожалуйста.

Не задавая вопросов, стрелок позволил дрезине прокатиться по инерции и остановиться. Шум реки, превратившийся в мерный гулкий рев, слышался впереди, внизу. Неестественное свечение мокрого камня внезапно сделалось отвратительным, ненавистным. Роланд в первый раз ощутил касание руки клаустрофобии и острое, почти непреодолимое желание выбраться отсюда, вырваться на свободу с этих похорон заживо.

— Мы же провалимся, — сказал мальчик. — Он этого хочет? Чтоб мы поехали на дрезине над... этим... и упали?

Стрелок знал, что это не так, но сказал:

— Я не знаю, чего он хочет.

— Теперь уже близко. Нельзя пойти пешком?

Они слезли с дрезины и осторожно приблизились к выступающему краю провала. Камень у них под ногами все поднимался и поднимался, а потом настил вдруг ушел из-под полотна, наклонно оборвался, и рельсы протянулись над темной пустотой.

Опустившись на колени, стрелок заглянул вниз. Ему удалось смутно разглядеть сложную, почти невероятную паутину стальных

перекладин, стоек и подпорок, которые уходили вниз, на рев реки, и там исчезали. Все это поддерживало изящную арку рельсов, которая пролегла через бездну.

Стрелок сумел вообразить, как поработали над сталью время и вода — губительный тандем. Сколько опорных стоек осталось? Немного? Раз-два, и обчелся? Ни одной? Он вдруг опять увидел лицо мумии и то, как с виду крепкая плоть без усилий раскрошилась, рассыпалась в прах от простого прикосновения пальца.

— Мы пойдем пешком, — сказал стрелок.

Его не слишком удивило бы, если бы мальчик сызнова заартачился, но тот, хладнокровно ступив на рельсы раньше стрелка, уверенно и спокойно зашагал по приваренным к ним стальным перекадинам. Стрелок шел следом, готовый подхватить Джейка, если тот оступится.

Бросив дрезину, они пустились в рискованный пеший переход над тьмой.

Стрелок почувствовал, что его кожа покрылась тонкой пленкой пота. Эстакада прогнила — прогнила очень сильно. Мелко дрожа, покачиваясь на невидимых тросах-оттяжках, она гитарной струной гудела под ногами в унисон стремительному движению реки далеко внизу. «Мы акробаты, — подумал он. — Смотри, мама, никакой сетки нет. Я лечу». Один раз Роланд опустил на колени и обследовал шпалы, по которым они шагали. Поперечины были изрыты ржавчиной, покрывавшей их твердой запекшейся коркой (причину он осязал: лица коснулся свежий воздух, друг порчи и разложения — теперь поверхность была очень близко). Сильный удар кулака заставил металл отозваться мелкой тошнотворной дрожью. Один раз стрелок расслышал под ногами предостерегающий стонущий скрип и почувствовал, как сталь проседает, готовая провалиться — но он уже прошел вперед.

Конечно, мальчик был легче на добрую сотню с лишком фунтов и в общем находился в безопасности... разве что состояние дороги постепенно начало бы ухудшаться.

Дрезина позади них растаяла, слившись с общим мраком. Каменный простенок слева от них выдавался за край обрыва футов, возможно, на двадцать. Дальше, чем правый, но и он остался позади, и путники остались над пропастью одни.

Поначалу казалось, что крошечная точка света остается издевательски неизменной (возможно, она отдалялась от них с той же скоростью, с какой они к ней приближались — это было бы поистине великолепным образчиком волшебства), однако мало-помалу стрелок понял, что она ширится, обозначаясь более четко. Они все еще находились ниже этой точки, но рельсы по-прежнему продолжали подъем.

Мальчик удивленно охнул и вдруг накренился; руки Джейка, точно крылья ветряка, медленно описывали широкие круги. Казалось,

прошло очень много времени, прежде чем он перестал балансировать на краю, угрожая падением, и снова шагнул вперед.

— Эта штука подо мной чуть не ухнула, — негромко, без эмоций проговорил он. — Перешагните.

Стрелок последовал его совету. Шпала, на которую наступил мальчик, почти совершенно провалилась и лениво свисала вниз, легко раскачиваясь на разъединяющейся заклепке, словно ставень на заколоченном окне.

Вверх, по-прежнему вверх. Переход был подлинным кошмаром, отчего казался куда более долгим, чем в действительности; самый воздух словно бы сгустился и стал похожим на тянучку. Стрелку чудилось, что он не идет, а скорее плывет. Его разум опять и опять пытался приняться за вдумчивое, находящееся за гранью здравого рассудка рассмотрение устрашающего пространства, разделявшего эстакаду и реку под ней. Мозг Роланда во всех захватывающих подробностях рисовал ему картины и самой пропасти и того, как это произойдет. Пронзительный визг перекручивающегося металла; наклон тела, соскользнувшего за край; пальцы, хватающие несуществующие поручни; быстрая дробь, которую выбьют на вероломной прогнувшейся стали каблуки — а потом вниз, кувырком; теплые брызги в промежности, когда расслабится мочевой пузырь; ветер, стремительно летящий в лицо, зачесывающий волосы дыбом в мультипликационном испуге, оттягивающий кверху веки; стремительно несущаяся навстречу темная вода — быстрее, быстрее, опережая даже его собственный вопль...

Металл под ногами стрелка пронзительно закрипел, и он, не спеша перешагнув опасное место, перенес тяжесть на другую ногу, не думая ни о провале, ни о том, как далеко они зашли, ни о том, сколько еще осталось. И не терзаясь мыслями о том, что мальчика не вернешь и что теперь продажа его чести наконец почти совершилась.

— Тут три шпалы вылетело, — холодно сообщил мальчик. — Я прыгаю. Ап! Вот так!

Стрелок увидел силуэт Джейка, на миг обрисовавшийся на фоне дневного света — неуклюжий, сгорбленный, с широко раскинутыми руками. Мальчик приземлился, и все сооружение пьяно зашаталось. Металл запротестовал, и далеко внизу что-то упало — сперва раздался грохот, потом, судя по звуку, это что-то нырнуло в глубокую воду.

— Перебрался? — спросил стрелок.

— Да, — отчужденно ответил мальчик, — но тут все жутко гнилое. Не думаю, что оно вас выдержит. Меня, но не вас. Вы теперь идите обратно. Идите обратно и оставьте меня в покое.

Тон Джейка был истеричным — холодным, но истеричным.

Стрелок перешагнул через брешь. Одного широкого шага оказалось довольно. Мальчик беспомощно вздрагивал.

— Уходите. Я не хочу, чтобы вы меня погубили.

— Ради Христа, иди, — сурово сказал стрелок. — Оно собирается обвалиться.

Мальчик двинулся дальше — теперь он шел неверным шагом, пошатываясь, вытянув перед собой трясущиеся руки с растопыренными пальцами.

Путники поднимались.

Да, теперь эстакада была гораздо более гнилой. Часто попадались бреша в одну, две, даже три шпалы шириной, и стрелок опять и опять думал, что они вот-вот наткнутся на длинный пустой промежуток, который или принудит их повернуть назад, или заставит пойти по самим рельсам, головокружительно балансируя над бездной.

Он не сводил глаз с дневного света.

Свечение обрело цвет — голубой. По мере приближения оно делалось мягче и, смешиваясь с сиянием фосфора, затмевало его. Пятьдесят ярдов? Сто? Роланд не мог сказать.

Шестивие продолжалось. Теперь, перебираясь со шпалы на шпалу, стрелок глядел под ноги. Когда он снова поднял голову, зарево выросло до размеров отверстия, и это был не фонарь, не светильник, а выход. Они почти пришли.

Да, тридцать ярдов. Девяносто коротких футов. Выполнимо. Возможно, они все-таки нагонят человека в черном. Быть может, при ярком свете солнца цветы зла в его мозгу засохнут, сморщатся, и станет возможным все, что угодно.

Что-то загородило солнечный свет.

Стрелок испуганно поднял глаза и увидел: световое пятно, быстро поглощая его и позволяя насмешнице-синеве проглянуть лишь в щелки вокруг абриса плеч да между широко расставленных ног, заполнял чей-то силуэт.

— Привет, мальчуганы!

К путникам, усиленный природной каменной глоткой, донесся голос человека в черном, которому вторило эхо; ноты сарказма обрели мощное звучание. Стрелок принялся слепо нашаривать найденную на постоялом дворе челюсть, но та, выполнив свое назначение, давно исчезла, где-то затерялась.

Человек в черном над ними захохотал, и раскаты его смеха загрохотали вокруг, будто прибой в заполняющейся водой пещере. Мальчик пронзительно вскрикнул и, вновь превратившись в ветряную мельницу, зашатался, описывая руками круги в затхлом воздухе.

Металл под ногами рвался, рушился, оползал; рельсы изогнулись в медленном сонном повороте. Мальчик сорвался: в темноте чайкой порхнула кверху рука — выше, выше — и Джейк повис над преисподней. Мальчик покачивался над пропастью; вверх на стрелка неотрывно глядели темные глаза, а в них — последнее слепое и напрасное знание.

— Помогите.

Зычное, гудящее:

— Ну иди же, стрелок. Или никогда меня не догонишь.

Все фишки на столе. Все карты, кроме одной, открыты. Мальчик показивался над пропастью — живая карта из колоды Таро, повешенный, погибший без вины финикийский моряк, едва видный над волной Стигийского моря.

Тогда погоди, погоди немного.

— Я ухожу? — Голос такой громкий, что становится трудно думать. Власть туманить разум людей...

Не дури, грустной песне подари все свое умение...

— Помогите мне.

Эстакада изогнулась еще пуще; с пронзительным скрипом отрываясь друг от друга, части сооружения обретали свободу, конструкция проседала...

— *Нет!*

Внезапным прыжком, перешедшим в стремительный бросок, в оскальзывающийся, ныряющий бег, ноги пронесли Роланда сквозь удерживавшую его энтропию над головой качавшегося над пропастью мальчика к явившемуся путникам свету; на сетчатке мысленного ока стрелка черным фризом застыла Башня... и вдруг тишина, силуэт исчез, даже сердце стрелка будто бы перестало биться, потому что эстакада просела еще сильнее и, разрываясь на части, распадаясь, начала последний медленный танец в пучину. Рука Роланда отыскала каменистый, залитый светом выступ вечных мук, а позади, внизу — слишком далеко внизу — в страшном безмолвии мальчик проговорил:

— Раз так, идите. Есть и другие миры, не только этот.

И стрелок полностью избавился от этого гнета; подтягиваясь на руках к свету, к легкому ветерку и реальности новой кармы (*все мы продолжаем сиять*) Роланд выкрутил голову назад, на миг сился стать в своей муке Янусом — но там не было ничего, кроме камнем летящей вниз тишины: мальчик не издал ни звука.

Потом Роланд очутился наверху; протаскив сквозь отверстие ноги, он выбрался на крутую каменистую насыпь, постепенно спускавшуюся вниз и своим подножием переходившую в поросшую травой равнину, где, широко расставив ноги и скрестив на груди руки, стоял человек в черном.

Бледный, точно призрак, стрелок встал. Его шатало. Исподлобья сквозь слезы смотрели огромные глаза, рубашка была вымазана белесой пылью после проделанного ползком финального марш-броска. Роланду пришло в голову, что ему суждено вечно бежать убийства. Пусть впереди дальнейшая деградация духа, перед которой теперешняя, возможно, покажется ничтожной — он по-прежнему будет спасаться бегством по коридорам, через города, от постели к постели, будет бежать лица мальчика, сясь предать его забвению, похоронить меж чресел непотребных девок, а то и в дальнейшем разрушении лишь для того, чтобы переступить порог некой последней комнаты и обнаружить, что оно глядит на него поверх пламени свечи. Роланд

стал Джейком, Джейк — Роландом. Стрелок был *вурдалаком*, оборотнем, сотворенным собственными же руками, и в глубоких снах ему предстояло превращаться в мальчика и говорить на диковинных, неведомых языках.

Это смерть. Неужели? Неужели?

Нетвердо держась на ногах, стрелок медленно зашагал с каменистого пригорка туда, где поджидал человек в черном. Здесь, под солнцем разума, рельсы изнашивались так, словно их и не бывало.

Смеясь, человек в черном тыльной стороной обеих кистей откинул капюшон.

— Так-так! — крикнул он. — Не развязка, но финал пролога, а? Ты делаешь успехи, стрелок! Делаешь успехи! О, как я тобой восхищаюсь!

Стрелок с ослепляющей быстротой выхватил револьверы и выпалил двенадцать раз. Вспышки выстрелов затмили само солнце, а эхо вернуло грохот взрывов, натолкнувшийся на каменные откосы насыпей за спиной стрелка и человека в черном.

— Ну-ну, — со смехом промолвила черная фигура. — Ну, будет. Ты да я — вместе мы с тобой чудо из чудес. Меня ты убиваешь не более, чем себя. — Он попятился, с ухмылкой глядя стрелку в лицо. — Идем. Идем. Идем.

Стрелок в разбитых сапогах последовал за ним туда, где им предстояло держать совет.

СТРЕЛОК И ЧЕЛОВЕК В ЧЕРНОМ

Для переговоров человек в черном отвел стрелка на древнее лобное место. Стрелок сразу же понял: голгофа, обитель черепов. Действительно, на них снизу вверх бессмысленно пилились побелевшие черепа — коровы, овцы, койоты, олени, кролики. Здесь — алебастровый ксилофон убитой во время кормежки фазаньей курочки, там — крохотные, нежные косточки крота, убитого диким псом, может статься, удовольствия ради.

Это место страданий являло собой вмятое в горный склон углубление в виде чаши; ниже, на не столь труднодоступных высотах, стрелок разглядел южки и поросль карликовых пихт. Синева неба над головой была мягче, нежели та, которую Роланд видел в течение двенадцати месяцев, и нечто неразличимое, присутствовавшее в ней, говорило о том, что до моря не слишком далеко.

«Я на Западе, Катберт», — удивленно подумал стрелок.

И конечно же, в каждом черепе, в каждом кругляше пустующей глазницы он видел лицо мальчика.

Человек в черном сидел на древнем кряже железного дерева. Его башмаки были припудрены белой пылью и повергшей стрелка в тревожное смущение костяной мукой, которой изобиловало это место. Он уже снова накинул капюшон, но стрелок отчетливо видел квадратные очертания подбородка и смутно, намеком — нижнюю часть лица.

Скрытые тенью губы дрогнули в улыбке.

— Собери дров, стрелок. Климат по эту сторону гор мягкий, но на такой высоте холод еще может пырнуть в живот. И потом это же обитель смерти, э?

— Я убью тебя, — сказал стрелок.

— Ничего подобного. Ты не можешь. Но можешь набрать дров, чтобы вспомнить вашего Исаака.

Эта ссылка была совершенно непонятна стрелку. Точно простой хухонный мальчишка, он, ни слова не говоря, пошел и набрал

растопки. Пожива оказалась невелика. Бес-травя по эту сторону гор не росла, а железное дерево гореть не хотело. Оно давно обратилось в камень. Наконец, запорошенный пылью от рассыпавшихся в прах костей так, словно его окунули в муку, Роланд вернулся с большой охапкой. Солнце, уже успевшее спуститься за самые высокие юкки, приобрело красноватый отблеск и с недобрым безразличием поглядывало на пришельцев сквозь черные, страдальчески изломанные ветви.

— Превосходно, — сказал человек в черном. — До чего же ты исключителен! Как методичен! Мой тебе салют! — Он хихикнул, и стрелок с грохотом уронил дрова к своим ногам, отчего вверх поднялось легкое облако костяной пыли.

Человек в черном не вздрогнул, не дернулся. Он попросту взялся раскладывать костер. Стрелок зачарованно следил, как обретает форму идеограмма (на сей раз свежая). В законченном виде она напоминала небольшую, замысловатую двойную трубу дымохода около двух футов высотой. Тряхнув объемистым рукавом, чтобы открылась красивая, продолговатая кисть, человек в черном воздел руку к небу и быстро опустил ее, выставив указательный палец и мизинец в традиционном рогатом знаке, ограждающем от дурного глаза. Полыхнуло синее пламя, и костер запылал.

— Спички у меня есть, — весело сказал человек в черном, — но я подумал, что волшебство может тебя порадовать. Для потехи, стрелок. Теперь приготовь нам обед.

Складки его балахона сотрясла мелкая дрожь, и на землю упала освежаванная и выпотрошенная тушка жирного кролика.

Стрелок без слов поплевал на кролика, насадил тушку на вертел и сунул в огонь. Солнце село, вверх поплыл вкусный запах. Над земляной чашей, где человек в черном решил наконец встретиться с Роландом лицом к лицу, хищно поплыли синевато-лиловые тени. Кролик подрумянился, и в животе у стрелка ощутимо, неумно заурчал голод. Однако, когда мясо было готово и соки оказались запечатаны внутри, Роланд молча подал вертел человеку в черном, порывшись в своем почти плоском мешке и вытащил последние остатки вяленого мяса. Обильно одобренное солью, оно причиняло боль рту и на вкус напоминало слезы.

— Никчемный жест, — сказал человек в черном, исхитрившись придать словам сразу и сердитое, и насмешливое звучание.

— И тем не менее, — отозвался стрелок. Во рту были крохотные болячки, результат авитаминоза, и вкус соли заставил Роланда желчно усмехнуться.

— Боишься зачарованного мяса?

— Да.

Человек в черном откинул капюшон.

Стрелок молча взглянул. В известной степени лицо человека в черном встревожило и разочаровало его. Пригожее, с правильными

чертами, оно было лишено тех отметин и характерных особенностей, что указывают на человека, пережившего ужасающие времена и причастного великим и неведомым тайнам. Длинные черные волосы свалились и свисали неровной бахромой. Высокий лоб, темные и блестящие глаза, неопределенного вида нос, полные чувственные губы. Бледностью он мог поспорить со стрелком.

Наконец Роланд сказал:

— Я ожидал увидеть человека более преклонных лет.

— Это не обязательно. Я почти бессмертен. Разумеется, я мог бы принять облик, более соответствующий твоим ожиданиям, однако предпочел показаться тебе... э... в обличье, данном мне от рождения. Смотри, стрелок, закат.

Солнце уже зашло. Небо на западе затопил угрюмый свет горнила.

— Ты вновь увидишь восход лишь по прошествии времени, которое может показаться тебе чрезвычайно долгим, — негромко произнес человек в черном.

Стрелок вспомнил пропасть под горами, а потом посмотрел на небо, где, точно пружина в часовом механизме, щедро раскинулись созвездия.

— Теперь, — тихо сказал он, — это не имеет значения.

Человек в черном тасовал карты так быстро, что они летели, сливаясь в сплошную полосу. Колода была огромной, рисунок карточной рубашки закручивался спиралью.

— Это карты Таро, — говорил человек в черном, — стандартная колода, смешанная с выборкой из созданного лично мной. Смотри внимательно, стрелок.

— Зачем?

— Сейчас я погадаю тебе, Роланд. Надо перевернуть семь карт по одной и поместить с остальными. Я не делал этого более трехсот лет. Да и, сдается мне, не читывал ничего, похожего на твою судьбу. — В голос, подобно кувиэнскому ночному воину с зажатым в руке боевым ножом, снова прокралась насмешливая нотка. — Ты последний искатель приключений в мире. Последний крестоносец. Как это должно радовать тебя, Роланд! И все же ты понятия не имеешь, до чего близко теперь стоишь к Башне — близко во времени. Над твоей головой вращаются миры.

— Тогда читай мою судьбу, — хрипло выговорил стрелок.

Открыли первую карту.

— Повешенный, — сказал человек в черном. Тьма вернула ему капюшон. — Однако здесь, от всего особняком, он означает силу, а не смерть. Повешенный — ты, стрелок; ты, кто вечно бредет вперед, к своей цели, через все пропасти Гадеса. Ты уже бросил одного спутника в бездну, разве не так?

Он перевернул вторую карту.

— Моряк. Обрати внимание на ясное чело, гладкие щеки, страдальческие глаза. Он тонет, стрелок, и никто не бросит ему веревку. Мальчик, Джейк.

Стрелок поморщился и ничего не сказал.

Перевернули третью карту. На плече у юноши, щерясь, стоял павиан. Лицо молодого человека было обращено кверху, черты застыли в гримасе традиционно изображенного ужаса. Вглядевшись пристальнее, стрелок увидел, что павиан держит хлыст.

— Невольник, — сказал человек в черном. Костер отбрасывал на лицо оседланного юноши тревожные быстрые тени, так что казалось, будто оно оживает, искажается немим ужасом. Стрелок поспешно отвел глаза.

— Отчасти выводит из равновесия, правда? — спросил человек в черном. Казалось, в его голосе вот-вот прорвется сдвленный смехок.

Он открыл четвертую карту. За прялкой, свивая нить, сидела женщина в накинута на голову шали. Изумленному стрелку привиделось, будто она коварно улыбается и плачет одновременно.

— Владычица Теней, — заметил человек в черном. — Не кажется ли она тебе двуликой, стрелок? Так и есть. Истинный Янус.

— Зачем ты мне все это показываешь?

— Не спрашивай! — резко сказал человек в черном, и все-таки он улыбнулся. — Не спрашивай. Просто смотри. Если тебе легче считать это всего-навсего бессмысленным ритуалом вроде церковных обрядов, если это возвращает тебе хладнокровие, пусть будет так.

Он хихикнул и перевернул пятую карту.

Ухмыляющаяся жница сжимала костлявыми пальцами косу.

— Смерть, — просто сказал человек в черном. — Но не твоя.

Шестая карта.

Стрелок посмотрел на нее и ощутил в животе странную щекотку нетерпения, смешанного с ужасом и радостью, дать же название чувству в целом было невозможно. К горлу подступала рвота, и в то же время хотелось пуститься в пляс.

— Башня, — негромко произнес человек в черном.

Карта стрелка занимала центр расклада; по углам, как спутники, окружающие звезду, располагались следующие четыре карты.

— Куда идет эта карта? — спросил стрелок.

Человек в черном положил Башню на Повешенного, полностью закрыв его.

— Что это значит? — спросил стрелок.

Человек в черном не ответил.

Роланд резко и хрипло переспросил:

— Что это значит?

Человек в черном не ответил.

— Будь ты проклят!

Никакого ответа.

— Тогда что за карта у нас седьмая?

Человек в черном перевернул седьмую карту. В сияюще-синем небе вставало солнце. Вокруг резвились купидоны и духи.

— Седьмая карта — Жизнь, — тихо сказал человек в черном. — Но тоже не твоя.

— Где ее место в раскладе?

— Не твоего ума дело. И не моего. — Человек в черном небрежно смахнул карту в угасающий костер. Она обуглилась, свилась в трубку, вспыхнула. Стрелку почудилось, что сердце в груди дрогнуло и обратилось в лед.

— Теперь спи, — беспечно велел человек в черном. — Уснуть, и видеть сны, и все такое.

— Удавлю, — процедил стрелок. С великолепной, свирепой внезапностью согнув ноги, он перемахнул через костер к своему собеседнику. Улыбающийся человек в черном увеличился в размерах, загордив собой все, а затем отступил в глубь длинного гулкого коридора, полного обсидиановых столбов. Мир заполнился звуками сардонического хохота; Роланд падал, умирал... уснул.

И видел сны.

Вселенная была пуста. Ничто не двигалось. Ничего не было.

Смущенный, ошеломленный стрелок медленно плыл.

— Да будет свет, — беспечно произнес голос человека в черном — и стал свет. Стрелок бесстрастно, словно со стороны, подумал, что свет — это хорошо.

— Теперь да будет наверху тьма, и в ней звезды, а внизу вода. — И явились твердь небесная с водою. Стрелка несло по волнам бескрайних морей. Над головой сверкали мерцающие, негасимые звезды.

— Суша, — тоном приглашения сказал человек в черном. И явилась суша: то поднимаясь, то опускаясь, она в нескончаемых судорогах вздымалась из воды — красная, безводная, растрескавшаяся и отполированная бесплодием. Вулканы, подобно исполинским прыщам на уродливой голове подростка, изрыгали бесконечную магму.

— Ладно, — говорил человек в черном. — Это начало. Да будут растения. Деревья. Травы и луга.

И стало так. Там и сям, пыхтя, ворча, поедая друг друга и застревая в клокочущих, зловонных смоляных ямах, бродили динозавры. Повсюду раскинулись огромные тропические девственные леса. Гигантские папоротники махали небу зубчатыми листьями. Кое-где по ним ползали двуглавые жуки. Стрелок увидел все это, но по-прежнему ощущал себя большим.

— Теперь человек, — негромко произнес человек в черном, но стрелок падал... падал снизу вверх. Линия горизонта у края этой безбрежной плодородной земли начала выгибаться. Да, все его учи-

теля говорили, что земля круглая, утверждали, будто это было доказано задолго до того, как мир сдвинулся с места. Но такое...

Дальше, дальше. Перед изумленным взором Роланда обретали форму континенты, их заслоняли похожие на часовые пружины спирали облаков. Атмосфера планеты удерживала ее в плацентарном мешке. А солнце, поднимаясь из-за плеча земли...

Он вскрикнул и вскинул руку к глазам.

— Да будет свет! — Голос, прокричавший это, больше не был голосом человека в черном. Это был гремящий, рождающий эхо голос великана. Он заполнял пространство и пространства между пространствами.

— Свет!

Роланд падал, падал...

Солнце съежилось. Мимо стрелка вихрем пронеслась вдоль и поперек изборожденная каналами красная планета. Вокруг нее яростно вращались две луны. Крутящийся пояс камней. Бурлящая газами гигантская планета — слишком громадная, чтобы выдержать себя, и, следовательно, сплюснутая. Окольцованный мир, блиставший внутри опояски из льдистых игольчатых кристаллов.

— Свет! Да будет...

Иные миры — один, другой, третий. Далеко за границами последнего, в мертвой темноте подле сверкавшего не ярче потускневшего гроша солнца вращался, один-одинешенек, шар изо льда и камня.

Тьма.

— Нет, — сказал стрелок. Прозвучавшие безжизненно слова бесследно канули во мрак, который был темней темного. Самая глухая ночь души человеческой в сравнении с ним была разгаром дня, тьма под горами — всего лишь грязным пятном на лице Света. — Прошу тебя, не надо больше. Не надо. Не надо.

— СВЕТ!

— Не надо больше. Прошу, не надо...

Сами звезды начали съеживаться. Все туманности стянулись воедино и стали бессмысленными мазками грязи. Казалось, вся вселенная стягивается к единому центру, и этим центром был стрелок.

— Иисусе хватит хватит хватит...

На ухо Роланду вкрадчиво зашептал голос человека в черном:

— Тогда отступись. Отбрось все помыслы о Башне. Ступай своей дорогой, стрелок, и спаси свою душу.

Роланд взял себя в руки. Потрясенный и одинокий, окутанный мраком, страхась стремительного натиска некоего абсолютного смысла, он взял себя в руки и коротко, зло, повелительно произнес свое последнее слово:

— НЕТ! НИКОГДА!

— ТОГДА — ДА БУДЕТ СВЕТ!

И стал свет, он обрушился на стрелка подобно молоту — великий, первобытный, изначальный свет. Сознание гибло в этом свете, но

стрелок успел понять нечто космической важности. С мучительным усилием вцепившись в него, он устремился к своему «я».

Спасшись бегством от безумия, заключенного в этом знании, Роланд очнулся.

Ночь еще длилась — та же самая или другая, узнать было невозможно. Вытолкнув себя из глубин, куда его занесло сверхэнергичным прыжком на человека в черном, стрелок взглянул на поваленный ствол железного дерева, где тот раньше сидел. Человека в черном там не было.

Роланда затопило чувство безбрежного отчаяния — Господи, опять все сначала, — а потом человек в черном сказал у него за спиной:

— Я здесь, стрелок. Мне не нравится, когда ты так близко. Ты во сне разговариваешь. — Он хихикнул.

Стрелок, пошатываясь, стал на колени и обернулся. Костер выгорел до красных угольев и серой золы, оставив знакомый распавшийся рисунок истраченного топлива. Человек в черном сидел рядом с ним, прижимая губами над жирными остатками кролика.

— А ты молодцом, — сказал человек в черном. — Никоим образом нельзя было бы насладиться таким видением на Мартена. Он вернулся бы пускающим слюни идиотом.

— Что это было? — спросил стрелок, выговаривая слова невнятно, дрожащим голосом. Он чувствовал, что, если попробует подняться, у него подкосятся ноги.

— Вселенная, — небрежно ответил человек в черном. Он рыгнул и выбросил кости в костер, где они замерцали нездоровой белизной. Над чашей голгофы с острой печалью свистел ветер.

— Вселенная, — отрешенно повторил стрелок.

— Тебе нужна Башня, — сказал человек в черном. Казалось, это вопрос.

— Да.

— Но тебе ее не видать, — продолжил человек в черном и весело, жестоко улыбнулся. — Представляю, как близко к краю подтолкнуло тебя последнее событие. Башня убьет тебя, даже если между вами будет полмира.

— Ты ничего обо мне не знаешь, — спокойно сказал стрелок, и улыбка его собеседника растаяла.

— Я создал твоего отца и сломил его, — беспощадно проговорил человек в черном. — Через Мартена пришел к твоей матери и взял ее. Так было предначертано, так и случилось. Я — ничтожнейший из тех, кто служит Башне. В мою власть была отдана Земля.

— Что я видел? — спросил стрелок. — Под конец? Что это было?

— А как тебе показалось?

Стрелок задумчиво молчал. Он пошарил в поисках табака и ничего не нашел. Человек в черном не предложил наполнить ему кисет — ни с помощью черной магии, ни с помощью белой.

— Был свет, — наконец сказал стрелок. — Великий белый свет. А потом... — Он осекся и уставился на человека в черном. Тот подался вперед, а в чертах лица запечатлелось чуждое чувство, выписанное слишком крупно, чтобы солгать или отречься. Удивление.

— Ты не знаешь, — сказал стрелок и заулыбался. — О великий чародей, возвращающий к жизни мертвецов, ты не знаешь.

— Знаю, — сказал человек в черном. — Но не знаю... что.

— Белый свет, — повторил стрелок. — А потом — стебелек травы. Один-единственный стебелек, заполнивший все. А я был крошечным. Бесконечно малым.

— Травинка. — Человек в черном прикрыл глаза. Его лицо казалось изможденным, искаженным гримасой. — Травинка. Ты уверен?

— Да. — Стрелок наморщил лоб. — Но она была лиловой.

И тогда человек в черном заговорил.

Вселенная (сказал он) предлагает ограниченному уму слишком большой парадокс, чтобы тот мог ухватить его смысл. Как живому мозгу не под силу постичь мозг неживой (пусть даже он думает, будто способен на это), так ограниченный ум не может понять бесконечность.

Прозаический факт самостоятельного существования вселенной в пух и прах разбивает прагматиков и циников. Было время — пусть за сто поколений до того, как мир сдвинулся с места, — когда человечество набралось довольно отваги, и научной, и технической, чтобы отбить от великого каменного столпа реальности осколок-другой. Но и тогда лживый свет науки (знания, если угодно) сиял лишь в нескольких развитых странах.

И все же, невзирая на чудовищное увеличение наличных фактов, проникать в суть вещей случалось редко. Стрелок, наши отцы победили «болезнь, заставляющую гнить», которую мы называем «рак», почти превозмогли старение, отправились на луну...

(— Не верю, — решительно объявил стрелок, на что человек в черном попросту улыбнулся и ответил: «И не нужно».)

...и создали или открыли сотню других чудесных безделок. Однако такое изобилие информации очень мало, если вообще позволяло проникать в природу вещей. Никто не слагал великих од чуду искусственного осеменения...

(«Чему?» — «Зачатию детей от замороженной спермы». — «Чушь собачья». — «Как угодно... хотя даже древние не были способны производить детей из такого материала».)

...или машине-которая-движется. Редкие единицы, если таковые вообще были, постигли Принцип Реальности; новое знание всегда ведет к тайнам, вселяющим еще больший ужас и благоговение. Растущее понимание психологии мозга ведет к уменьшению возможности существования души, однако природа изысканий увеличивает вероятность такового. Понимаешь? Конечно, нет. Ты окружен собственной романтической аурой, ты изо дня в день пребываешь бок о бок

с тайной. И все же сейчас ты приближаешься к границам... не веры, но понимания. Оказываешься лицом к лицу с обратной стороной душевной энтропии.

Но к более прозаическим вещам:

Величайшая тайна, какую предлагает нам вселенная, есть не жизнь, а Мера. Мера вбирает в себя жизнь, Башня — Меру. Дитя, которому более всех прочих привычно недоумение, говорит: папочка, что над небом? Отец же отвечает: тьма космоса. Дитя: что за космосом? Отец: галактика. Дитя: за галактикой? Отец: иная галактика. Дитя: а за другими галактиками? Отец: никто не знает.

Видишь? Мера наносит нам поражение. Для рыбы вселенная — озеро, в котором она живет. Что думает рыба, когда ее за губу выдергивают из серебристых пределов бытия в новую вселенную, где в воздухе тонешь, свет — синее безумие, и огромные двуногие без жабер втискивают ее в короб, где нечем дышать, и, прикрыв мокрой травой, обрекают на смерть?

Или можно взять острое карандаша и увеличивать его, покуда не настанет момент, когда тебя как громом поражает осознание ошеломляющего факта: острое карандаша не плотно, оно состоит из атомов, которые вертятся и крутятся, будто триллион чертовски энергичных планет. То, что нам кажется прочным, на деле лишь рыхлая сеть, расплзтись которой не дает гравитация. Расстояния между этими атомами, покамест ужатые до соответствующей величины, могут обернуться лигами, пропастями, вечностями. Сами атомы состоят из ядер и вращающихся протонов и электронов. Можно шагнуть дальше, к субатомным частицам. А куда потом? К тахионам? В ничто? Конечно, нет. Все во вселенной отрицает ничто; единственно невозможное — домысливать к фактам выводы.

Если тебя занесет к пределу вселенной, найдешь ли ты там дощатый забор и надписи, гласящие ТУПИК? Нет. Не исключено, что там обнаружится нечто жесткое, закругленное — так, должно быть, цыпленку видится изнутри яйцо. И, если ты проклюнешь эту скорлупу, какой великий, льющийся стремительным потоком свет воссияет в отверстице, проделанном тобой там, где кончается пространство? Возможно ли, что ты проглянешь сквозь него и обнаружишь, что вся наша вселенная — не что иное, как часть одного атома травинки? Возможно ли, чтобы тебя принудили думать, будто, спалив прутик, ты испепелишь вечность вечностей? Что бытие восходит не только к бесконечности, но к бесконечности бесконечностей?

Возможно, ты понял, что наша вселенная играет в порядке вещей такую же роль, как атом в былинке. Может ли быть, что все, что мы можем постичь, воспринять, различить — от бесконечно малого вируса до далекой туманности Лошадиная Голова — заключено в одной-единственной травинке... стебельке, который в чуждом временном потоке, возможно, просуществовал лишь день или два? Что, если этому стебельку предстоит быть срезанным косой? Когда он начнет

гнить, проникнет ли гниение в нашу вселенную и в наши жизни, делая все желтым, бурым и иссохшим? Возможно, это уже началось. Мы говорим, мир сдвинулся с места — может быть, на самом деле мы подразумеваем, что он уже начал иссыхать.

Подумай, какими ничтожными делает нас такая концепция мироустройства, стрелок! Коль скоро за всем этим приглядывает Господь Бог, действительно ли он отмеряет справедливость одному из бесконечного множества комариных племен? Видит ли Его око падение воробья, если воробей этот меньше крупинки водорода, вольно плавающей в глубинах космоса? А если видит... какова должна быть природа такого Бога? Где Он обитает? Как возможно жить за пределами бесконечности?

Вообрази песок Мохэйнской пустыни, которую ты пересекаешь, чтобы найти меня, и вообрази триллион вселенных — не миров, а вселенных — заключенных внутри каждой песчинки этой пустыни; внутри же каждой вселенной — бесконечное число иных. Мы возвышаемся над этими вселенными на своем жалком травяном наблюдательном пункте; одним взмахом сапога ты можешь отправить во тьму биллион биллионов миров, чреду, которую не завершить никогда.

Мера, стрелок... Соизмеримость...

И все же пойдем в своих предположениях дальше. Предположим, что все миры, все вселенные встречаются в одной точке, в одном нексусе, в одном столпе — в Башне. Быть может, на лестнице к самой Божественности. Посмел бы ты, стрелок? Не может ли быть, что где-то над всей бесконечностью реальности существует Чертог?..

Ты не посмеешь.

Не посмеешь.

— Кто-то ведь уже посмел, — сказал стрелок.

— Кто бы это?

— Господь, — негромко сказал стрелок. Глаза его заблестели. — Господь посмел... или чертог пуст, провидец?

— Не знаю. — По вкрадчивому лицу человека в черном прошел страх, мягкий и темный, как крыло канюка. — И более того, не спрашиваю. Это могло бы оказаться неразумно.

— Боишься, что тебя поразит насмерть? — сардонически спросил стрелок.

— Возможно, боюсь, что придется держать ответ, — ответил человек в черном, и на некоторое время воцарилось молчание. Ночь была очень длинной. Над ними простерся Млечный Путь — он восхищал своим великолепием и блеском и все-таки внушал ужас своей необитаемостью. Стрелку стало любопытно, что он почувствовал бы, если бы это чернильно-черное небо раскололось, впустив стремительный поток света.

— Костер, — сказал он. — Я замерз.

* * *

Стрелок дремал. Проснувшись, он увидел, что человек в черном с нездоровой жадностью всматривается в него.

— На что уставился?

— На тебя, разумеется.

— Ну так нечего. — Роланд поворошил костер, разрушив четкость идеограммы. — Мне это не нравится. — Он поглядел на восток, чтобы увидеть, не зародился ли там свет, но ночь все длилась и длилась.

— Ты так скоро ищешь света?

— Я был создан для света.

— Ах, вот оно что! Как бестактно с моей стороны запомнить! И все же нам с тобой еще многое нужно обсудить. Так было велено моим господином.

— Кем это?

Человек в черном улыбнулся.

— Что ж, не открыть ли нам обоим правду? Не довольно ли лжи? Не довольно ли волшбы?

— Волшбы? Что это значит?

Но человек в черном настойчиво продолжал:

— Ну будем же откровенны, как пристало мужчинам. Не друзьям, но врагам и равным. Тебе нечасто будут предлагать такое, Роланд. Лишь недруги говорят правду. Друзья и возлюбленные бесконечно лгут, пойманные в паутину долга.

— Тогда будем говорить правду. — За всю эту ночь стрелок не высказывался лаконичнее. — Для начала объясни-ка мне, что такое волшба.

— Волшба — это колдовство, стрелок. Магия. Чары моего господина продлили нынешнюю ночь и будут длить ее, покуда... покуда наше дело не будет сделано.

— Это долго?

— Долго. Большого сказать не могу. Не знаю сам. — Человек в черном стоял над костром, отблески тлеющих углей чертили на его лице узоры. — Спрашивай. Я расскажу тебе то, что знаю. Ты нагнал меня. Превосходно; я не думал, что тебе это удастся. И все же твое странствие только началось. Спрашивай. Это достаточно скоро приведет нас к делу.

— Кто твой господин?

— Я никогда не видел его, но тебе этого не избежать. Чтобы добраться до Башни, тебе сперва нужно добраться до него, Вечного Пришельца. — Человек в черном беззлобно улыбнулся. — Ты должен убить его, стрелок. И все же я думаю, что ты хотел спросить не об этом.

— Если ты никогда его не видел, откуда ты его знаешь?

— Однажды — я жил тогда в далеком краю — он явился мне во сне, явился совсем юным отроком. Тысячу лет назад, или пять, или десять. Он явился мне в те дни, когда прашурам еще предстояло пересечь море. В земле, что зовется Англией. С тех пор как он внушил

мне, что есть мой долг, время успело срезать целый сноп столетий, хотя между порою юности и днями, когда я достиг зенита славы, случались и поручения помельче. А слава моя — ты, стрелок. — Он хихикнул. — Видишь ли, кое-кто отнесся к тебе серьезно.

— У этого Пришельца нет имени?

— О, имя есть.

— Как же его величают?

— Мэйрлин, — негромко отозвался человек в черном, и, оборвав его слова, где-то в темноте на востоке, там, где пролегли горы, загрохотал камнепад и пронзительно, точно женщина, закричала пума. Стрелок затрепетал, человек в черном вздрогнул. — Но все же мне думается, ты хотел спросить и не об этом. Не в твоей природе задумываться о том, что будет так нескоро.

Стрелок знал вопрос — тот терзал его не только всю эту ночь, но, мнилось ему, многие годы. Слова дрожали на губах, но Роланд не спрашивал... до поры.

— Этот Пришелец, этот Мэйрлин, прислужник Башни? Как ты?

— Мне с ним не равняться. Ему дан дар жить во времени вспять. Он является и меркнет, точно неверный переменчивый свет. Он во всех временах. И все же есть некто более великий.

— Кто?

— Зверь, — со страхом прошептал человек в черном. — Хранитель Башни. Тот, кто порождает всю *волшбу*.

— Что он такое? Что этот Зверь...

— Не спрашивай более! — вскричал человек в черном, стремясь говорить с суровой непреклонностью. Однако усилия пропали втуне — в голосе прозвучала мольба. — Я не знаю! Не желаю знать. Говорить о Звере значит говорить о погибели своей души. Мэйрлин пред Ним то, что я пред Мэйрлином.

— А над Зверем — Башня и то, что в ней?

— Да, — едва слышно подтвердил человек в черном. — Но ты хотел спросить совсем о другом.

Правда.

— Ну хорошо, — сказал стрелок... и задал древнейший в мире вопрос: — Я знаю тебя? Я где-то видел тебя раньше?

— Да.

— Где? — Стрелок жадно подался вперед. Это был вопрос его судьбы.

Человек в черном поспешно зажал рот ладонями и захихикал, точно малое дитя.

— Я думаю, ты знаешь.

— Где?! — Роланд вскочил, уронив руки на потертые рукояти револьверов.

— Не годится, стрелок. Сии вещицы не отворяют дверей, лишь закрывают их навсегда.

— Где? — твердил стрелок.

— Следует ли намекнуть? — спросил человек в черном тьму. — По-моему, следует. — Он обратил на стрелка обжигающий взгляд. — Один человек когда-то дал тебе совет, — сказал он. — Твой учитель...

— Да, Корт, — нетерпеливо перебил стрелок.

— ...советовал повременить. Совет оказался плох — ведь то, что Мартен измыслил против твоего отца, развертывалось уже и тогда. Твой отец возвратился, и...

— Его убили, — опустошенно dokonчил стрелок.

— А когда ты обернулся и посмотрел, Мартен уже сгинул... сгинул навсегда. Однако в окружении Мартена был некий человек... человек, который предпочел одеяние инок и бритую голову кающегося грешника...

— Уолтер, — прошептал стрелок. — Ты... ты вовсе не Мартен. Ты Уолтер!

Человек в черном хихикнул.

— К вашим услугам.

— Теперь я должен тебя убить.

— Вряд ли это было бы честно. В конце концов, это я отдал Мартена в твои руки тремя годами позже, когда...

— Значит, ты управлял мной.

— В некоторых отношениях — да. Но довольно, стрелок. Подходит время посвятить тебя в тайну. Позже, поутру, я рунами наложу заклятье. К тебе придут сны. А затем должно начаться твое настоящее странствие.

— Уолтер, — повторил ошеломленный стрелок.

— Сядь, — предложил человек в черном. — Я поведаю тебе свою историю. Твоя, я думаю, окажется куда длиннее.

— Я не говорю о себе, — пробормотал стрелок.

— И все же нынче ночью ты должен. Так, чтобы мы могли понять.

— Понять что? Мою цель? Ты знаешь ее. Найти Башню — вот моя цель. Я поклялся.

— Дело не в твоей цели, стрелок. Дело в твоей голове. Туго соображающей, тупой, упорной голове. Такой еще не бывало за всю историю планеты. Возможно, за всю историю творения.

— Сейчас время говорить. Время рассказов.

— Тогда говори.

Человек в черном потряс объемистым рукавом своего просторного одеяния. Оттуда выпал обернутый фольгой пакет — во множестве блестящих складок отразились угасающие угли.

— Табак, стрелок. Покуришь?

Роланд сумел устоять перед кроликом, но перед куревом устоять не смог. Он нетерпеливыми пальцами раскрыл фольгу. Внутри оказалось тонкое крошево табака и зеленые, на удивление влажные листья для завертки. Такого табака стрелок не видел десять лет.

Свернув две папиросы, он прикусил кончик каждой, чтобы ощутить аромат, и одну предложил человеку в черном. Тот взял. Оба достали из костра по горящему прутику.

Стрелок прикурил, глубоко втянул в легкие ароматный дым, прикрыв глаза, чтобы сосредоточиться на ощущениях, и медленно, с удовольствием выдохнул.

— Хорош табачок? — поинтересовался человек в черном.

— Да. Очень.

— Наслаждайся. Быть может, тебе долгойно не придется курить. Стрелок воспринял известие бесстрастно.

— Отлично, — сказал человек в черном. — Тогда, чтобы начать: ты должен понимать, что Башня была всегда, и всегда были мальчишки, которые знали о ней и вожелели ее сильнее власти, богатства или женщин...

Тут состоялся разговор — разговор длиной в ночь, и одному Богу известно, сколько времени было потрачено сверх того, — однако после стрелок сумел припомнить из него очень немного... и очень немного показалось важным его странно практическому уму. Человек в черном объяснил: Роланд должен пойти к морю, раскинувшемуся не более чем двадцатью милями нетрудного пути западнее, и там будет наделен силой *излечения*.

— Это не вполне верно, — прибавил человек в черном, кидая папиросу в костер. — Никто не хочет наделять тебя той или иной силой, стрелок; она попросту присуща тебе, и я принужден пояснить это частично из-за принесенного в жертву мальчика, а частично оттого, что таков закон, естественный порядок вещей. Воде надлежит течь вниз с холма, тебе надлежит получить разъяснение. По моему разумению, ты извлечешь и перенесешь сюда троих... однако, честно говоря, мне все равно, и на самом деле я ничего не хочу знать.

— Троих, — пробормотал стрелок, думая об Оракуле.

— Тогда-то и начнется забава. Но к тому времени меня уже давно не будет. Прощай, стрелок. Теперь моя роль сыграна. Цепочка все еще в твоих руках. Остерегайся, чтобы она не обвилась вокруг твоей шеи.

Понуждаемый чем-то извне, Роланд сказал:

— Ты ведь должен сказать еще кое-что, правда?

— Да, — ответил человек в черном, улыбнулся стрелку глазами и простер к нему руку. — Да будет свет.

И стал свет.

Пробудившись подле прогоревшего костра, Роланд обнаружил, что постарел на десять лет. Черные волосы на висках поредели, в них пробралась седина, сизая, точно паутина поздней осенью. Морщины на лице стали глубже, кожа загрубела.

Остатки принесенного им хвороста превратились в железное дерево, а человек в черном был смеющимся скелетом в гниющем черном

балахоне: на погосте прибавилось костей, новый череп украсил место страданий.

Стрелок встал и огляделся. Он посмотрел на свет и увидел, что это хорошо.

Внезапным быстрым движением Роланд потянулся к останкам своего ночного собеседника... того, с кем говорил ночью, непонятным образом растянувшейся на годы. Выломав у Уолтера нижнюю челюсть, он небрежно втиснул ее в левый боковой карман штанов — вполне подходящая замена затерявшемуся под горами амулету.

Башня. Она ждала где-то впереди — нексус Времени, нексус Меры.

Роланд снова двинулся на запад, спиной к восходу, держа курс на океан. Он понимал: миновал большой отрезок жизни. «Я любил тебя, Джейк», — сказал он вслух.

Затекшее тело отошло, и стрелок зашагал быстрее. К вечеру он добрался до того места, где оканчивалась суша, и уселся на пустынном взморье, справа и слева терявшемся в бесконечности. Волны безостановочно бились в берег, вновь и вновь тяжело, с грохотом обрушиваясь на него. Закатное солнце нарисовало на воде широкую, сверкающую золотисто-рыжую полосу.

Стрелок сидел, подставив лицо меркнушему свету, и грезил о своем, глядя, как появляются звезды. Намерения его не поколебались, и сердце не дрогнуло. Ветер трепал поредевшую и поседевшую шевелюру, к бедрам тяжело льнули смертельно опасные, инкрустированные сандалом отцовские револьверы. Роланд был одинок, но вовсе не считал одиночество чем-то плохим или постыдным. На мир, продолжающий свое движение, спустилась тьма. Стрелок ждал часа излечения и видел долгие сны о Темной Башне, к которой придет однажды на склоне дня и, трубя в рог, подступит совсем близко, дабы начать некую невообразимую последнюю битву.

Темная Башня II

**ДВЕРИ МЕЖДУ
МИРАМИ**

Пролог: МОРЯК

Стрелок пробудился от сумбурного сна, состоявшего, казалось, из одного-единственного образа: образа Моряка в колоде Таро, из которой человек в черном сдал (или подразумевалось, что сдал) стрелку его плачевное будущее.

— Он тонет, стрелок, — говорил человек в черном, — и никто не бросает веревку. Мальчик, Джейк.

Но это был не кошмар. Это был хороший сон. Хороший потому, что тонул-то он сам, а это означало, что он вовсе не Роланд, а Джейк, и от этого стрелок чувствовал облегчение, потому что было бы гораздо лучше быть Джейком и утонуть, чем жить и быть самим собой — человеком, ради холодной грезы предавшим ребенка, который ему доверял.

«Хорошо, ладно, я утону, — думал он, слушая рев моря. — Пусть я утону». Но это не был шум открытого моря, это был скрежещущий звук воды, давящейся камнями. Да Моряк ли он? Если да, то почему суша так близко? И разве он на самом деле не *на* суше? Ощущение было такое, будто...

Ледяная вода плеснула ему на сапоги и взбежала по ногам до промежности. Тогда его глаза резко открылись, и сон слетел с него. Причиной тому были не заledenевшие яички, которые вдруг сжались, казалось, до размера орешков, и даже не кошмар справа от него, а мысль о револьверах... о револьверах и, что было даже важнее, о патронах. Промокшие револьверы можно быстро разобрать, вытереть насухо, смазать, еще раз вытереть насухо, еще раз смазать и снова собрать; промокшие патроны, как промокшие спички, то ли будут когда-нибудь снова гордиться, то ли нет.

Кошмаром была ползущая тварь, которую, должно быть, выбросило одной из предыдущих волн. Она с трудом волочила по песку свое мокрое, поблескивающее туловище. Она была около четырех футов длиной и находилась ярда на четыре правее. Она смотрела на Роланда холодными глазами на стебельках. Ее длинный зазубренный клюв раскрылся, и она начала издавать звуки, так напоминавшие человеческую речь, что становилось жутко: жалобные, даже отчаянные, настойчивые вопросы на незнакомом языке: «Дид-э-чик? Дум-э-чум? Дад-э-чам? Дэд-э-чек?»

Стрелку доводилось видеть омаров. *Это* был не омар, хотя омары были единственными существами, которых эта тварь хотя бы отдаленно напоминала. Казалось, она его нисколько не боится. Стрелок не знал, опасна она или нет. Его не волновала царившая у него в мозгу путаница, то, что он пока не может вспомнить, где он, как сюда попал и действительно ли поймал человека в черном или это ему только приснилось. Он сознавал лишь, что ему нужно уйти подальше от воды, пока она не залила патроны.

Он услышал нарастающий, скрежещущий рев воды и перевел взгляд с твари (она остановилась и подняла вверх клешни, при помощи которых ползла, отчего стала нелепо похожа на боксера в

исходной стойке, которая, как объяснял им Корт, называлась Стойкой Чести) на набегающий бурун, увенчанный пенным гребнем.

«Оно слышит волну, — подумал стрелок. — Что бы оно ни было такое, но уши у него есть». Он попытался встать, но онемевшие ноги подогнулись.

«Это все еще сон», — подумал он, но даже в своем теперешнем отуманенном состоянии понял, что эта мысль слишком соблазнительна, чтобы в нее можно было поверить. Он вновь попытался встать, и это ему удалось, но потом опять упал. Волна вот-вот должна была разбиться. Ему оставалось одно — передвигаться тем же манером, что тварь справа от него: он упирался обеими руками и подтягивал туловище вверх по гальке прибрежной полосы, подальше от волны.

Он уполз не так далеко, чтобы полностью уйти от волны, но все же на достаточное для своих целей расстояние. Волна накрыла только его сапоги. Она достала ему почти до колен — и отступила. «Быть может, первая добралась не так высоко, как мне показалось. Быть может...»

В небе висел месяц. Он был затянут пеленой дымки, но его света хватило, чтобы Роланд смог увидеть: кобуры чересчур темные. Революеры во всяком случае промокли. Насколько сильно — сказать было невозможно; нельзя было и сказать, промокли ли те патроны, что были в барабанах, и те, что лежали в перекрещенных револьверных ремнях. Прежде чем проверять, необходимо было уйти от воды. Необходимо...

— Дод-э-чок? — Это прозвучало уже гораздо ближе. Тревожась о воде, он забыл о принесенной водой на берег твари. Он оглянулся и увидел, что теперь она всего в четырех футах от него. Ее клешни зарылись в усыпанный галькой песок прибрежной полосы, подтягивая тело. Тварь приподняла свое мясистое, членистое туловище и на мгновение стала похожа на скорпиона, но Роланд не увидел жала на конце тела.

Опять скрежещущий рев, на этот раз гораздо громче. Тварь немедленно остановилась и вновь подняла клешни в своеобразном собственном варианте Стойки Чести.

Эта волна была больше. Роланд снова начал подтягиваться вверх по склону берега, и, когда он вытянул руки, клешнястая тварь метнулась со скоростью, которую ее предыдущие движения даже не позволяли заподозрить.

Стрелок ощутил в правой кисти слепящую вспышку боли, но думать об этом сейчас было некогда. Он отталкивался каблуками промоклых сапог, цеплялся руками, и ему удалось уйти от воды.

— Дид-э-чик? — спросило чудовище, жалобно, словно говоря: «Неужели ты мне не поможешь? Разве ты не видишь, что я в отчаянном положении?», и Роланд увидел, как в зазубренном клюве твари исчезают куски указательного и среднего пальцев его правой

руки. Тварь метнулась снова, и Роланд едва успел вскинуть руку, с которой капала кровь, чем спас остальные пальцы.

«Дум-э-чум? Дад-э-чам?»

Стрелок с трудом, шатаясь, поднялся на ноги. Тварь разорвала его мокрые джинсы, прорвала насквозь сапог, старая кожа которого была тонкой, но крепкой, как железо, и вырвала у него кусок мяса из нижней части икры.

Роланд правой рукой выхватил револьвер и осознал, что лишился двух пальцев из тех, что необходимы для выполнения этой старинной процедуры убийства, лишь тогда, когда револьвер с глухим стуком упал на песок.

Чудовище жадно метнулось к нему.

«Ну, нет, сволочь!» — взревел Роланд и ударил тварь ногой. Это было все равно, что пнуть каменную глыбу... да еще кусачую. Тварь оторвала у него носок правого сапога, оторвала большую часть большого пальца правой ноги, сорвала с ноги сапог.

Стрелок нагнулся, поднял револьвер, уронил его, выругался и в конце концов справился. Движение, которое некогда давалось так легко, что об этом даже не приходилось задумываться, теперь требовало таких усилий и ловкости, как если бы Роланду пришлось жонглировать.

Тварь скорчилась на сапоге стрелка и рвала его, продолжая задавать свои путанные вопросы. К берегу катилась волна, клок пены на ее гребне в кружевном свете месяца казался бледным и мертвым. Омароподобное чудовище перестало трудиться над сапогом и подняло клешни в позе боксера.

Роланд левой рукой вытащил револьвер и трижды нажал спуск. *Щелк, щелк, щелк.*

Теперь с патронами было все ясно, во всяком случае, с теми, что в барабанах.

Он убрал левый револьвер в кобуру. Чтобы убрать правый, ему пришлось левой рукой повернуть его стволом вниз и дать ему упасть на место. Потертые рукоятки из железного дерева были скользкими от крови; пятна крови покрыли кобуру и старые джинсы, к которым кобура была привязана узким ремешком. Кровь лилась из обрубков, которые совсем недавно были его пальцами.

В изуродованной правой ступне у него еще не прошло онемение, и поэтому она пока еще не начала болеть, но в правой кисти словно бушевал огонь. Призраки пальцев, таких талантливых и натренированных, сейчас уже разлагавшихся в пищеварительных соках кишок этой твари, вопили, что они еще здесь, что их сжигает пламя.

Стрелок отстраненно подумал: «Я предвижу серьезные проблемы».

Волна отступила. Чудовище опустило клешни, прорвало в сапоге стрелка еще одну дыру, после чего решило, что владелец этого куска кожи, который он каким-то образом сбросил, был куда вкуснее.

«Дум-э-чум?» — спросило оно и суетливо, с ужасающей скоростью направилось к стрелку. Он стал отступать на онемевших ногах; он понял, что у твари, должно быть, есть какой-то разум: она подкралась к нему по берегу осторожно, может быть, издалека, не уверенная в том, что он такое и на что может быть способен. Если бы его не разбудила окатившая его волна, эта тварь, пока он был глубоко погружен в свой сон, обвела бы ему лицо. Теперь она решила, что он не только вкусен, но и уязвим; легкая добыча.

Она была уже совсем рядом, тварь длиной в четыре фута, высотой в фут, тварь, весившая, пожалуй, фунтов семьдесят, и такая же маниакально плотоядная, как Давид, сокол, который был у него в детстве, — но без свойственных Давиду едва заметных проблесков верности.

Левый каблук стрелка задел камень, торчавший из песка; Роланд пошатнулся и чуть не упал.

«Дод-э-чок?» — спросила тварь, казалось, заботливо, и уставилась на стрелка покачивавшимися на стебельках глазами, а ее клешни потянулись к нему... но тут набежала волна, и клешни снова вскинулись в Стойке Чести. Однако на этот раз они самую чуточку дрогнули, и стрелок понял, что тварь реагирует на шум волны, а сейчас этот звук — по крайней мере для нее — стал чуть-чуть затихать.

Роланд, пятясь, переступил через камень, потом, когда волна со скрежещущим ревом разбилась о край берега, наклонился. Его голова оказалась в нескольких дюймах от насекомей хари чудовища, оно с легкостью могло бы вырвать у стрелка глаза, но дрожащие клешни твари, так напоминавшие сжатые кулаки, по-прежнему были воздеты по обе стороны клюва, похожего на клюв попугая.

Стрелок протянул руки к камню, о который только что споткнулся, и едва не упал. Камень был большой, он наполовину зарылся в песок, и искалеченная правая рука Роланда взвыла, когда в открытую кровоточащую плоть впилась песчинки и острые камешки, но он рывком выдернул камень и, оскалившись, поднял его.

«Дад-э..» — начало чудовище, опуская и раскрывая клешни, когда волна, разбившись, отхлынула и шум ее отступил, и стрелок с размаху, изо всех сил опустил на него камень.

Членистая спица твари с хрустом сломалась. Тварь отчаянно задергалась под камнем, ее задняя половина вскидывалась и с глухим стуком опускалась, вскидывалась и опускалась, ее вопросительное бормотание перешло в жужжащие вскрики боли. Клешни ее раскрылись и смыкались, хватая пустоту, клювовидная пасть со скрежетом захватывала песок с галькой.

И все же, когда разбилась еще одна волна, чудовище попыталось опять поднять клешни, и когда оно их подняло, стрелок оставшимся сапогом наступил ему на голову. Послышался такой звук, словно ломался мелкий хворост. Из-под каблука в двух направлениях уда-

рила струя густой, казавшейся черной, жидкости. Тварь выгибалась дугой и корчилась, как безумная. Стрелок сильнее нажал сапогом.

Набежала волна.

Клешни чудовища приподнялись на дюйм... на два дюйма... дрогнули и упали, судорожно смыкаясь и размыкаясь.

Стрелок убрал сапог. Зазубренный клюв твари, оторвавший от его живого тела два пальца на руке и один — на ноге, медленно открылся и закрылся. Один усик, сломанный, лежал на песке. Второй бессмысленно подрагивал.

Стрелок наступил еще раз. И еще раз.

Кряхтя от усилий, он ногой отшвырнул камень в сторону и пошел вдоль правого бока твари, методически наступая на нее левым сапогом, ломая панцирь, выдавливая бледные внутренности на темно-серый песок. Тварь была мертва, но он все равно был намерен расправиться с ней; за всю его долгую, странную жизнь еще никто не ранил его так основательно, и все это было так неожиданно.

Роланд продолжал топтать, пока в кислой каше из кишок твари не увидел кончик одного из своих пальцев, не увидел под ногтем белую пыль голгофы, где они с человеком в черном вели свою долгую беседу; и тогда он отвернулся, и его вырвало.

Стрелок пошел обратно к воде, как пьяный, прижимая раненую руку к рубашке, то и дело оглядываясь, чтобы убедиться, что тварь не ожила подобно упрямой осе, которую ты прихлопнул раз, и другой, и третий, а она все еще подергивается, оглушенная, но не мертвая; чтобы убедиться, что она не тащится вслед за ним, задавая свои нечеловеческие вопросы жутким, полным отчаяния голосом.

Спускаясь по гальке, он остановился на полдороге, шатаясь, глядя на то место, где он был перед всем этим, припоминая. Он, по-видимому, заснул вплотную у линии прилива, чуть ниже ее. Он торопливо схватил свой кошель и изодранный сапог.

В голом свете луны он увидел других таких же тварей, и в паузе между двумя волнами услышал их вопрошающие голоса.

Стрелок отступал медленно, шаг за шагом, пока не кончился галечник и не началась трава. Там он сел и сделал все, что мог и умел: присыпал все три культи последними остатками табака, чтобы остановить кровь, присыпал густо, не обращая внимания на новую боль (к хору присоединился оторванный большой палец ноги), а потом просто сидел, потел на холодном ветру, гадая, попала ли в раны инфекция; ломая голову, как он будет управляться в этом мире без двух пальцев на правой руке (что касается револьверов, то обе руки у него были равноценны, но во всем остальном главной была правая); размышляя, не был ли укус этой твари ядовитым, и не проникает ли уже в него этот яд; гадая, наступит ли когда-нибудь утро.

НЕВОЛЬНИК

Глава первая

ДВЕРЬ

1

Три. Это — число твоей судьбы.

Три?

Да, три — таинственное число, стоящее в сердце мантры.

Три?

Первый — темноволос. Он — на грани грабежа и убийства. Им владеет демон. Имя демону — ГЕРОИН.

Что это за демон? Я не знаю его, даже по детским сказкам.

Он силился заговорить, но у него пропал голос, голос прорицательницы, Звездной Шлюхи, Блудницы Ветров, оба пропали; он увидел, как из ниоткуда в никуда, подрагивая и кружась в ленивой тьме, падает карта. На ней из-за плеча юноши с темными волосами ухмылялся павиан; его пальцы, неприятно похожие на человеческие, так глубоко впились в шею юноши, что их кончиков не было видно. Присмотревшись повнимательнее, стрелок увидел, что в одной из своих цепких, душащих рук павиан держит хлыст. Лицо человека, оседланного павианом, казалось, передергивается в немом ужасе.

Невольник, дружеским тоном прошептал человек в черном (которому стрелок некогда доверял, человек по имени Уолтер). — *Отчасти выводит из равновесия, правда? Чуть-чуть страшновато, не правда ли? Чуть-чуть страшновато... чуть-чуть страшновато... чуть-чуть...*

2

Стрелок мгновенно проснулся, отмахиваясь от чего-то искалеченной рукой, уверенный, что через секунду одна из чудовищных, покрытых панцирем тварей из Западного моря набросится на него и сорвет ему лицо с костей черепа, отчаянно вопрошая о чем-то на чужом языке.

Вместо этого от него с испуганным писком отлетела морская птица, привлеченная блеском утреннего солнца на пуговицах его рубашки.

Роланд сел.

Руку отчаянно, непрерывно дергало. Правую ступню — тоже. Все три пальца продолжали настаивать, что они на своих местах. Нижней половины рубашки не было; то, что осталось, напоминало изодранную в клочья майку. Одним куском он ночью перевязал себе руку, другим — ступню.

«Пошли прочь, — сказал он отсутствующим частям своего тела. — Вы теперь призраки. Уходите».

Это немного помогло. Не очень, но все-таки. Они, конечно, были призраками, но бойкими призраками.

Стрелок поел вяленого мяса. Его рот не очень-то хотел этой еды, желудок — и того меньше, но он настоял. Когда мясо оказалось у Роланда внутри, он ощутил, что сил чуть прибавилось. Однако мяса осталось немного; дела обстояли очень и очень неважно.

Тем не менее ему было необходимо закончить кое-какие дела.

Он нетвердо поднялся на ноги и огляделся. Птицы носились в небе и ныряли, но мир, казалось, принадлежал лишь ему и им. Чудовища исчезли. Может быть, они вели ночной образ жизни; может быть, появлялись только во время прилива. В данный момент это было ему безразлично.

Море было бескрайним, оно сливалось с горизонтом в какой-то туманной синей точке, определить которую было невозможно. Созерцая его, стрелок на долгий миг забыл о мучительной боли. Он никогда не видел столько воды. Слышал о нем, конечно, в детских сказках; что оно существует, его уверяли даже его учителя — во всяком случае, некоторые из них... Но действительно увидеть его, это диво, эту громаду воды после стольких лет пустыни... это было трудно принять, трудно даже *видеть*.

Он долгое время зачарованно смотрел на море, заставляя себя видеть его, от изумления на время забыв о боли.

Но было утро, и оставались еще не сделанные дела.

Роланд стал нащупывать в заднем кармане челюсть, осторожно продвигая правую руку ладонью вперед, боясь, чтобы культи не наткнулись на кость, если она еще там, и не превратили бы непрерывные рыдания этой руки в пронзительные вопли.

Челюсть была на месте.

Порядок.

Дальше.

Он неуклюже растянул пряжки патронных лент и положил их на освещенный солнцем камень. Отстегнул револьверы, выдвинул барабаны, вынул бесполезные патроны и выбросил их. Птица, привлеченная ярким блеском одного из них, схватила патрон в клюв, потом бросила и улетела.

Надо было позаботиться и о самих револьверах, о них следовало позаботиться уже давно, но поскольку без боеприпасов любой револьвер в этом — как и во всяком другом — мире становится всего лишь

дубинкой, стрелок прежде всего положил себе на колени патронные ленты и левой рукой тщательно ощупал кожу по всей длине.

Обе ленты были сырые от застежек до того места, где они перекрещивали его бедра; начиная оттуда, ленты казались сухими. Стрелок осторожно вынул из сухих участков лент все патроны до единого. Его правая рука все время норовила заняться этим делом, упорно, несмотря на боль, забывала, что она не вся на месте, и он заметил, что снова и снова заставляет ее ложиться ему на колено, словно собаку, которая слишком глупа или упряма, чтобы слушаться команды «Рядом!» Плохо соображая от боли, он пару раз чуть не шлепнул ее.

«Я предвижу серьезные проблемы», — опять подумал он.

Можно было надеяться, что эти патроны еще годятся, и он сложил их в кучку, такую маленькую, что впору было прийти в отчаяние. Двадцать. И из них несколько почти наверняка дадут осечку. Он не мог положиться ни на один из них. Вынув остальные, он сложил их в другую кучку. Тридцать семь.

«Что ж, у тебя и вначале было не так уж много патронов», — подумал он. Но он сознавал разницу между пятьюдесятью семью годными патронами и — возможно — двадцатью. А может быть, и десятью. Или пятью. Или одним. Или ни одним.

Роланд сложил сомнительные патроны в еще одну кучку.

Кошелек у него все-таки остался. Это уже было кое-что. Он положил его к себе на колени, а потом медленно разобрал револьверы и совершил обряд чистки. К тому времени, как он управился, прошло еще два часа, и раны у него болели так сильно, что от боли кружилась голова; сознательно думать стало трудно. Хотелось спать. Никогда в жизни ему так не хотелось спать. Но когда выполняешь свой долг, приемлемых причин для отказа никогда не бывает.

— Корт, — сказал он голосом, который сам не мог узнать, и сухо засмеялся.

Медленно-медленно он собрал револьверы и зарядил их патронами, которые считал сухими. Когда это дело было сделано, он взял револьвер, предназначенный для левой руки, взвел курок... и вновь медленно опустил его. Да, он хочет знать. Хочет знать, услышит ли, нажав спуск, звук выстрела или только очередной бесполезный щелчок. Но щелчок ничего не будет значить, а выстрел только сведет двадцать к девятнадцати... или к девяти... или к трем... или к нулю.

Стрелок оторвал от рубашки еще кусок, положил на него другие патроны — те, что промокли, — и, орудуя левой рукой и зубами, завязал в узелок. Он положил их в кошелек.

Спать, — требовало его тело. Спать, ты должен поспать, сейчас, пока не стемнело, ничего не осталось, ты весь выложился...

Роланд с трудом встал и оглядел пустынный берег. Цветом он был похож на давно не стиранное белье. Он был усеян бесцветными ракушками. Там и сям из крупного песка торчали большие камни,

покрытые птичьим пометом; старые слои были желтыми, как зубы древнего черепа, а более свежие пятна — белыми.

Линия прилива была отмечена сохнувшими бурными водорослями. Он увидел, что возле этой линии лежат куски его сапога и его бурдюки. То, что такие высокие волны не смыли его бурдюки в море, показалось ему почти чудом. Медленной походкой, мучительно хромая, стрелок подошел к месту, где они лежали, поднял один из них, поднес к уху и потряс. Второй был пуст. А в этом еще оставалось немного воды. Большинство людей не смогли бы отличить один от другого, но стрелок различал свои бурдюки, как мать различает своих двойняшек. Ведь он странствовал со своими бурдюками уже столько времени. Внутри плескалась вода. Это было хорошо — словно подарок. И тварь, которая напала на него, и любая из остальных могла бы разорвать этот бурдюк или второй, одним небрежным щипком клешни, но не разорвала, и море пощадило его. Никаких следов самой твари не было видно, хотя оба они ночью оставались намного выше линии прилива. Быть может, ее утащили другие хищники; быть может, ее родня устроила ей похороны в море, подобно тому, как *элефанты*, гигантские звери, о которых он слышал в детстве в сказках, будто бы сами хоронят своих умерших.

Роланд левым локтем приподнял бурдюк, жадно, большими глотками, напился и почувствовал, что к нему возвращаются силы. Правый сапог, конечно, погиб... но потом он ощутил искру надежды. Головка и подметка остались целы — исцарапаны, но целы, и, может быть, удастся обрезать второе голенище под пару этому, смастерить что-нибудь, чего хватит хотя бы на время...

Его изподволя охватила слабость. Роланд попытался бороться с ней, но у него подогнулись колени, и он неловко, прикусив язык, сел.

«Ты не потеряешь сознания, — угрюмо сказал он себе. — Не здесь, куда этой ночью может вернуться еще одна такая же тварь и довершить дело».

Поэтому стрелок встал и обвязал пустой бурдюк себе вокруг пояса, но, пройдя всего двадцать ярдов назад, к тому месту, где оставил револьверы и кошель, он опять в полуобмороке упал на землю. Некоторое время он лежал, прижавшись щекой к песку; в подбородок ему почти до крови врезался острый край ракушки. Он сумел напиться из бурдюка, а потом пополз обратно, туда, где проснулся. В двадцати ярдах выше на склоне росла юкка; дерево было чахлое, но все же давало хоть какую-то тень.

Эти двадцать ярдов показались Роланду двадцатью милями.

Тем не менее, он с великим трудом втащил то, что осталось от его хозяйства, в эту маленькую лужицу тени. Он лежал, уронив голову на траву, мало-помалу уплывая то ли в сон, то ли в обморок, то ли в смерть. Он взглянул на небо и попытался сообразить, сколько времени. Не полдень, но размер лужицы тени, в которой он лежал, говорил, что полдень близок. Стрелок еще несколько секунд не

поддавался забвению, повернул правую руку и поднес ее поближе к глазам, ища красные полосы — признаки заражения, признаки того, что в него медленно проникает какой-то яд.

Ладонь была тускло-багрового цвета. Дурной признак.

«Спасибо, что хоть на спуск я могу нажимать левой рукой», — подумал Роланд.

Потом им завладела тьма, и следующие шестнадцать часов он проспал, и в его спящие уши непрерывно бил шум Западного моря.

3

Когда стрелок проснулся, море было темным, но небо на востоке слабо светилось. Он сел, и волна дурноты почти захлестнула его.

Он нагнул голову и стал ждать.

Когда дурнота прошла, он взглянул на свою руку. Точно, заражение началось — багровый отек поднялся по ладони выше и захватил запястье. Там он кончался, но уже были заметны новые багровые полосы, пусть пока еще бледные, чуть видные, которые постепенно дойдут ему до сердца и убьют его. Ему было жарко, его лихорадило.

«Мне нужно лекарство, — подумал он. — Но здесь нет лекарств».

Так что же, он дошел сюда только для того, чтобы умереть? Он не умрет. А если ему, несмотря на его решимость, и суждено умереть, то он умрет на пути к Башне.

«Какой ты необыкновенный, стрелок! — хихикал у него в голове человек в черном. — Как ты неукротим! Как романтичен в своей дурацкой одержимости!»

«Пошел ты на х**», — прохрипел Роланд и попил воды. Воды тоже оставалось не так уж много. Перед ним было целое море, да только что ему было толку от этого; вода, вода со всех сторон, ни капли для питья¹. Ну, ничего.

Он надел и пристегнул патронные ленты, завязал их — эта процедура отняла у него столько времени, что до того, как он управился, первый слабый проблеск рассвета успел превратиться в настоящий сияющий пролог дня — и попытался встать на ноги. Он не был уверен, что ему это удастся, пока не убедился, что стоит.

Держась левой рукой за юбку, он подцепил правым локтем тот бурдюк, что был не совсем пуст, и перекинул его через плечо. Потом кошель. Когда он выпрямился, на него вновь нахлынула дурнота, и он нагнул голову, ожидая, не сопротивляясь.

Дурнота прошла.

Нетвердой, заплетающейся походкой пьяного, который вот-вот свалится, стрелок спустился к прибрежной полосе песка. Он стоял, глядя на океан, темный, как тутовое вино, а потом достал из кошель остаток вяленого мяса. Половину он съел, и на этот раз и рот, и

¹ Цитата из поэмы С.Кольриджа «Старый Моряк».

желудок приняли его более охотно. Он повернулся и начал есть вторую половину, глядя, как солнце встает из-за гор, где погиб Джейк — сначала оно словно зацепилось за эти пики, не покрытые деревьями, похожие на зубы какой-то жестокой твари, а потом поднялось над ними.

Роланд подставил лицо солнцу, закрыл глаза и улынулся. Он доел мясо.

Он подумал: «Отлично. Теперь я — человек, у которого нет еды, у которого на руках на два пальца, а на ногах — на один палец меньше, чем было, когда он родился; я — стрелок с патронами, которые, возможно, дадут осечку; от укуса чудовища я заболелаю, а лекарства у меня нет; воды мне хватит в лучшем случае на один день; если я выложусь до последнего, я смогу пройти, быть может, с десятков миль. Короче говоря, я — человек, во всем дошедший до края».

В какую сторону ему идти? Он пришел с востока; чтобы идти на запад, ему нужно могущество святого или спасителя. Оставались север и юг.

На север.

Стрелок двинулся в путь.

4

Он шел три часа. Два раза он упал и во второй раз думал, что уже не сможет встать. Но тут к нему прихлынула волна, достаточно близко, чтобы заставить его вспомнить о револьверах, и он сам не понимая, как вскочил, и ноги у него дрожали, как ходули.

По его расчетам, за эти три часа он прошел около четырех миль. Теперь солнце грело все сильнее, но было не таким жарким, чтобы этим можно было объяснить стучавшую в висках боль или струившиеся по лицу пот; и ветер с моря был не настолько силен, чтобы этим можно было объяснить внезапные приступы озноба, охватывавшего его время от времени, так, что все его тело покрывалось гусиной кожей и зубы стучали.

«У тебя жар, стрелок, — хихикал человек в черном. — Что осталось у тебя внутри — все подожжено».

Багровые полосы заражения теперь были видны более отчетливо; они тянулись от правого запястья вверх, на половину расстояния до локтя.

Роланд прошел еще милю и осушил бурдюк до последней капли. Он обвязал его вокруг пояса вместе с первым. Ландшафт был однообразный и неприятный. Справа — море, слева — горы, под подошвами опорков его сапог — серый, усеянный ракушками песок. Волны набегали и уходили. Он поискал взглядом омароподобных чудовищ и не увидел ни одного. Он шел из ниоткуда в никуда, человек из иного времени, достигший, казалось, бессмысленного конечного пункта.

Перед самым полуднем он опять упал и понял, что не может встать. Значит, вот оно, это место. Здесь. Выходит, это все-таки конец.

Стоя на четвереньках, он поднял голову, как боксер в состоянии «гrogги»... и впереди, может, в миле, а может, и в трех (трудно было оценить расстояние вдоль этой однообразной прибрежной полосы, когда внутри у него бушевал жар, так что его глаза словно пульсировали, то вылезая из глазниц, то уходя обратно), он увидел что-то новое. Что-то, вертикально стоявшее на берегу.

Что это такое?

(три)

Неважно.

(три — число твоей судьбы)

Стрелку удалось встать. Он прохрипел что-то, какую-то мольбу, которую слышали только кружившие в небе морские птицы («и с каким удовольствием они бы выклевали мне глаза, — подумал он, — как бы они обрадовались такому лакомому кусочку!»), и пошел дальше; теперь его шатало гораздо сильнее, и за ним оставались следы в виде странных петель и зигзагов.

Он не сводил глаз с того, что стояло там, впереди, на берегу. Когда волосы падали ему на глаза, он с досадой отбрасывал их тылом руки. Казалось, оно не приближается. Солнце достигло верхней точки небосвода и, казалось, слишком задержалось там. Роланду мерещилось, что он опять в пустыне, где-то между хижинкой последнего поселенца

(музыкальная еда, чем больше ешь, тем громче бзда)

и постоянным двором, где мальчик

(твой Исаак)

ожидал его прихода.

Колени у стрелка подогнулись, выпрямились, опять подогнулись, опять выпрямились. Когда волосы снова упали ему на глаза, он не стал их отбрасывать; у него не было на это сил. Он смотрел на предмет, который теперь отбрасывал назад, в противоположную морю сторону, узкую тень, и шел, не останавливаясь.

Теперь он — жар или не жар — мог его разглядеть.

Это была дверь.

Когда до нее осталось меньше четверти мили, у Роланда снова подогнулись колени, и на этот раз он не смог их распрямить. Он упал, его правая рука проволочлась по колючему песку и ракушкам, содрав с ран свежие корки, и культи пальцев завизжали от боли и вновь начали кровоточить.

Тогда он пополз. Он полз, а в ушах его стоял ритмичный шум: Западное море набегало, с ревом разбивалось о берег, отступало. Он работал локтями и коленями, оставляя за собой борозды в песке, выше полосы грязно-зеленых водорослей, отмечавшей линию прилива.

Он думал, что ветер, наверное, все еще дует — должно быть, так, потому что его тело продолжал сотрясать озноб — но единственное,

что он слышал, был хриплый свист урагана, вырывавшегося из его собственных легких и входившего в них.

Дверь становилась все ближе.

Ближе.

Наконец, около трех часов этого долгого бредового дня, когда тень Роланда оказалась слева от него и стала удлиняться, он добрался до нее. Он сел на корточки и начал устало рассматривать ее.

Дверь была шести с половиной футов высотой и, казалось, сделана из цельного куска железного дерева, хотя ближайшее железное дерево, должно быть, росло отсюда милях в семистах, не меньше. Ручка двери, судя по ее виду, была золотая; ее украшал филигранный рисунок, который стрелок в конце концов разобрал: это была ухмыляющаяся морда павиана.

Замочной скважины не было ни в самой ручке, ни над ней, ни под ней.

Дверь держалась на петлях, но они не были ни к чему прикреплены — «или это так кажется, — подумал стрелок. — Это тайна, весьма дивная тайна, не имеющая себе равных, но так ли уж это важно? Ты умираешь. Приближается твоя собственная тайна — единственная тайна, в конечном счете имеющая значение для каждого человека».

Но несмотря ни на что, это казалось важным.

Эта дверь. Дверь там, где не должно быть никаких дверей. Она просто стояла на сером берегу, на двадцать футов выше линии прилива, с виду такая же вечная, как само море, и сейчас, когда солнце склонялось к западу, ее ребро отбрасывало косую тень к востоку.

На ней, в двух третях ее высоты от нижнего края, черными буквами, Высоким Слогом, было написано одно лишь слово:

НЕВОЛЬНИК

Им владеет демон. Имя демону — ГЕРОИН.

Стрелок услышал негромкий, ровный гул. Сначала он подумал, что это, наверное, ветер или гудение жара у него в голове, но постепенно все больше и больше убеждался, что этот гул — шум мотора... и что он доносится из-за двери.

«Так открой же ее. Она не заперта. Ты ведь знаешь, что она не заперта».

Вместо этого он с усилием, неуклюже поднялся на ноги, обошел дверь кругом и зашел с другой стороны.

Другой стороны *не было*.

Только темно-серый песок, уходивший назад, насколько хватало глаз. Только волны, ракушки, линия прилива, следы его собственного приближения — отпечатки сапог и ямки, выдавленные его локтями. Роланд взглянул еще раз, и его глаза раскрылись чуть шире. Двери не было, но тень была.

Он протянул было правую руку — ох, как же медленно она привыкала к своему месту в том, что осталось от его жизни, — уронил ее и поднял левую. И стал шарить, ожидая встретить твердую поверхность.

«Если я ее нащупаю, я постучу по пустоте, — подумал стрелок. — Интересно было бы перед смертью сделать такую штуку!»

В том месте, где должна была бы находиться дверь, хотя бы и невидимая, и далеко за ним стрелок нащупал только воздух.

Стучать было не по чему.

И звук моторов — если это в самом деле был звук моторов — прекратился. Теперь остался лишь ветер, волны и большое жужжание у него в голове.

Стрелок медленно зашел на другую сторону того, чего здесь не было, уже думая, что это с самого начала был бред, галлю...

Он остановился.

Только что он видел на западе сплошную линию катящихся серых волн, и вдруг этот пейзаж нарушило ребро двери. Ему была видна пластинка, тоже похожая на золотую, из которой, как кургузый металлический язык, торчала щеколда. Роланд повернул голову на дюйм к северу, и дверь исчезла. Повернул голову обратно — и дверь опять оказалась на месте. Она не *появилась*; она просто была там.

Он обошел дверь кругом и, шатаясь, стал к ней лицом.

Он мог бы опять зайти со стороны моря, но был уверен, что снова произойдет то же самое, только на этот раз он упадет.

«Интересно, мог бы я пройти *сквозь* нее с той стороны, с которой ее нет?»

О, думать и гадать можно было о множестве разных вещей, но истина была проста: вот на бесконечном морском берегу стоит дверь, и она годится только для одного из двух — ее можно либо открыть, либо оставить закрытой.

Стрелок со смутным юмором подумал, что умирает не так быстро, как он полагал. А если бы так, как полагал, — было бы ему *так* страшно?

Он протянул левую руку и ухватился за ручку двери. Его не удивили ни смертный холод металла, ни слабый жгучий жар выгравированных на нем рун.

Роланд повернул ручку. Когда он потянул дверь на себя, она открылась.

То, что он увидел, не совпадало ни с чем из всего того, что он ожидал увидеть.

Стрелок посмотрел, замер, испустил первый за свою взрослую жизнь вопль ужаса и захлопнул дверь. Хлопать ею было не обо что, но она, тем не менее, закрылась, хлопнув так громко, что морские птицы с пронзительными криками взлетели с камней, на которых расселись, чтобы наблюдать за ним.

Вот что он увидел: землю с какой-то немислимой высоты, с неба — ему показалось, что с высоты во много миль. Он видел тени облаков, лежащие на земле, проплывающие по ней, как сновидения. Он увидел то, что мог бы увидеть орел, сумеи он взлететь втрое выше доступного орлам расстояния.

Шагнуть за такую дверь означало бы с воплем падать, быть может, целые минуты, и, наконец, вонзиться глубоко в землю.

«Нет, ты видел не только это».

Роланд тупо сидел на песке перед закрытой дверью, держа раненую руку на коленях, и обдумывал. Выше локтя уже появились первые еле заметные полосы. Сомнения не было: скоро, скоро зараза дойдет до сердца.

В голове у стрелка звучал голос Корта:

«Слушайте меня, личинки. Слушайте, если вам дорога жизнь, потому что однажды она, возможно, будет зависеть от того, о чем я сейчас скажу. Человек никогда не замечает всего, что видит. Одна из вещей, ради которых вас посылают ко мне — показать вам, чего вы не замечаете в том, что вы видите — чего вы не замечаете, когда вы испуганы, или деретесь, или бежите, или трахаетесь. Никто не замечает всего, что видит, но прежде чем вы станете стрелками — то есть, те из вас, кто не отправится на запад, — вы одним-единственным быстрым взглядом будете замечать больше, чем некоторые успевают заметить за всю свою жизнь. И часть того, что вы не увидели этим взглядом, вы увидите позже, оком своей памяти — то есть, если вы проживете достаточно долго, чтобы вспомнить. Потому что разница между тем, что вы заметили, и тем, чего не заметили, может оказаться разницей между жизнью и смертью».

За дверью Роланд видел землю с огромной высоты (и почему-то голова кружилась и все искажалось от этого сильнее, чем от видения сотворения, посетившего его перед окончанием того периода, что он провел с человеком в черном, ибо то, что он видел за дверью, не было видением), и тот жалкий остаток внимания, на который он еще был способен, отметил тот факт, что земля, которую он видел, не была ни пустыней, ни морем, а была покрыта зеленью невероятной пышности, сквозь которую местами виднелась вода, и поэтому он подумал, что это — болото, но...

«Жалкий остаток твоего внимания, — свирепо передразнил Корт. — Ты видел не только это!»

Да.

Он видел белое.

Белые края.

«Браво, Роланд!» — воскликнул Корт у него в голове, и Роланду почудилось, будто он ощутил сильный шлепок этой жесткой, мозолистой руки.

Там, за дверью, он смотрел в окно.

Стрелок с усилием встал, протянул руку вперед, почувствовал на ладони холод и жгучие линии слабого жара. Он опять открыл дверь.

6

Картина, которую он ожидал увидеть — земля с какой-то ужасающей, невообразимой высоты, — исчезла. Теперь он смотрел на слова, которых не понимал. Он *почти* понимал их; Великие Буквы были словно перекручены...

Над словами находилось изображение какого-то не запряженного лошаадьми экипажа, автомобиля вроде тех, что, как предполагалось, заполняли мир до того, как он сдвинулся с места. Внезапно стрелку припомнился рассказ Джейка там, на постоялом дворе, когда он его загипнотизировал.

Этот экипаж без лошадей, рядом с которым, смеясь, стояла женщина в меховой пелерине, мог быть такой штукой, какая переехала Джейка в том странном другом мире.

«Это и есть тот самый другой мир», — подумал стрелок.

Вдруг картина у него перед глазами...

Она не изменилась; она *сдвинулась*. Стрелка зашатало, он ощутил головокружение и легкую тошноту. Слова и изображение опустились, и теперь он увидел проход, на дальней стороне которого был двойной ряд сидений. Некоторые были пусты, но большая часть была занята мужчинами, мужчинами в странной одежде. Стрелок предположил, что это, наверное, костюмы, но до сих пор он ничего подобного не видывал. Эти штуки у них на шеях тоже, возможно, были галстуками или шейными платками, но таких он тоже никогда не видал. И, насколько он мог судить, ни один из них не был вооружен — не было видно ни кинжалов, ни мечей, не говоря уже о револьверах. Что ж это за овцы доверчивые? Некоторые читали листы бумаги, покрытые крошечными словами — там и сям между словами виднелись картинки; другие писали на листах бумаги перьями, каких стрелок тоже никогда не видел. Но перья его не волновали. Вот *бумага*... Он жил в мире, где бумага и золото ценились примерно одинаково. Никогда в жизни он не видел столько бумаги. Вот один из мужчин оторвал от желтого блокнота, лежавшего у него на коленях, листок и скомкал его, хотя исписал только верхнюю половину одной стороны, а вторая была вообще чистая. Как ни худо было стрелку, но при виде такого расточительства он на миг ощутил вспышку ужаса и возмущения.

Позади мужчин была изогнутая белая стена и в ней — ряд окон. Несколько окон были закрыты чем-то вроде ставней, но за другими виднелось синее небо.

В этот момент к двери направилась женщина, одетая во что-то вроде военной формы, впрочем, совершенно не похожей на то, что

Роланду доводилось видеть. Форма была ярко-красная, и частью ее были *штаны*. Ему было видно место, где ноги женщины переходили в промежность. Он никогда не видел ничего подобного у женщин, если они не были раздеты.

Она подошла к двери так близко, что Роланд подумал, что она сейчас войдет в нее, и попятился, но, к счастью, не упал. Она взглянула на него с привычной заботливостью женщины, которая одновременно — и служанка, и сама себе (и только себе) хозяйка. Это стрелка не интересовало. А заинтересовало его то, что выражение лица у нее не изменилось. Не так полагалось бы женщине — да и вообще кому бы то ни было — смотреть на грязного, шатающегося, измученного человека с перекрещенными на бедрах револьверами, на человека, у которого правая рука замотана окровавленной тряпкой, а джинсы выглядят так, словно их затянуло в циркулярную пилу.

«Не хотите ли...» — спросила женщина в красном. Она сказала еще что-то, но стрелок не совсем понял, что это значит. Еда или питье, подумал он. Эта красная материя — она не из хлопка. Шелк? Немного похоже на шелк, но...

«Джин», — ответил ей чей-то голос, и стрелок понял это слово. Вдруг он понял гораздо больше.

Это — не дверь.

Это — *глаза*.

Каким бы безумием это ни казалось, он видит перед собой часть вагона, летящего по небу. Он видит ее чьими-то глазами.

Чьими?

Но он знал, чьими. Он смотрел глазами невольника.

Глава вторая

ЭДДИ ДИЙН

1

Словно чтобы подтвердить эту мысль, при всем ее безумии, то, на что стрелок смотрел через проем двери, вдруг поднялось и скользнуло в сторону. Картина *повернулась* (опять это ощущение головокружения, чувство, будто ты стоишь на блюде на колесиках, на блюде, которое невидимые руки катают то туда, то сюда), а потом проход вдруг словно потек мимо двери. Стрелок миновал место, где стояли несколько женщин, все — в красной форме. В этом месте было много каких-то стальных штук, и он, несмотря на боль или изнеможение, пожалел, что не умеет остановить движущуюся картину, чтобы разглядеть, что это за стальные штуки — какие-то машины. Одна немножко походила на печь. Военная женщина, которую он видел раньше, наливала джин, заказанный тем голосом. Бутылочка, из которой она наливала, была очень маленькая, стеклянная. Сосуд, в который женщина наливала джин, *с виду* казался стеклянным, но, по мнению стрелка, на самом деле это было не стекло.

Прежде чем стрелок успел разглядеть побольше, то, что было видно в дверь, продвинулось мимо. Еще один головокружительный поворот, и он увидел металлическую дверь. В маленьком прямоугольнике светилась надпись. Это слово стрелок сумел прочесть: СВОБОДНО.

Картина скользнула немного вниз. Справа от двери, *через* которую смотрел стрелок, показалась рука и взялась за ручку двери, на которую он смотрел. Роланд увидел манжет голубой рубашки, слегка подпернутый и открывавший крутые завитки черных волос. Длинные пальцы. На одном — кольцо с драгоценным камнем, возможно, рубином или огневином, а может и подделкой, хламом. Стрелок склонялся к последнему — для настоящего камень был слишком крупен и вульгарен.

Металлическая дверь распахнулась, и оказалось, что стрелок заглядывает в самый странный из виденных им нужников. Он был весь металлический.

Края металлической двери проплыли мимо краев двери, стоявшей на берегу моря. Стрелок услышал, как ее закрыли и заперли на

задвину. Очередного головокружительного поворота не произошло, поэтому Роланд предположил, что человек, чьими глазами он смотрит, заперся, протянув руку назад.

Потом вид все-таки повернулся — не кругом, а наполовину, — и оказалось, что стрелок смотрит в зеркало и видит лицо, которое однажды уже видел... на карте Таро. Те же темные глаза и спадающая на лоб прядь темных волос. Лицо было спокойно, но бледно, а в глазах — в глазах, которыми он смотрел и отражение которых сейчас смотрело на него, — Роланд увидел затаенные ужас и отвращение, переполнявшие подвластное павиану существо на карте Таро.

Этого человека трясло.

«Он тоже болен».

Потом Роланд вспомнил Норта, травоеда из Талла.

Вспомнил Прорицательницу.

Им владеет демон.

Стрелок вдруг подумал, что, быть может, он все-таки знает, что такое ГЕРОИН: что-то вроде бес-травы.

Отчасти выводит из равновесия, правда?

Бездумно, с простодушной решимостью, благодаря которой он стал последним из них всех, последним, кто все шел и шел, еще долго после того, как Катберт и остальные умерли или сдались, покончили с собой или предали, или просто отреклись от всей идеи Башни; с целеустремленной и безразличной ко всему остальному решимостью, заставившей его пройти пустыню и все годы перед пустыней, гнавшей его по следу человека в черном, стрелок шагнул в дверь.

2

Эдди заказал джин с тоником. Может, идея ввалиться на нью-йоркскую таможню пьяным была не так уж хороша, а он знал, что, начав, уже не остановится, но ему было необходимо *хоть что-то*.

Генри однажды сказал ему: «Когда тебе обязательно нужно спуститься вниз, а лифта ты найти не можешь, приходится управляться, как можешь, любым способом. Хоть и лопатой».

Потом, когда он уже сделал заказ и стюардесса ушла, у него появилось ощущение, что его, пожалуй, может вырвать. Не *точно* вырвет, а только *возможно*, но лучше было перестраховаться. Проходить таможенный досмотр с фунтом чистого кокаина под мышкой с каждой стороны, когда от тебя несет джином, было довольно рискованно; проходить досмотр, когда у тебя, кроме всего этого, на штанах полусохшие следы рвоты, было бы гибелью. Так что лучше уж перестраховаться.

Беда в том, что у него начинался подхояняк. *Подхояняк*, а не полная ломка. Это — опять же мудрые речи Генри Дийна, великого мудреца и выдающегося торчка.

Они тогда сидели на балконе пентхауса Ридженси-Тауэр, еще не совсем в отключке, но уже потихоньку двигаясь к ней, солнышко грело им лица, они были под таким славным кайфом... Тогда, в доброе старое время, когда Эдди только начинал нюхать, и даже самому Генри еще только предстояло ширнуться в первый раз.

«Вот все базарят про ломку, — сказал тогда Генри, — а ведь до этого еще приходится пройти через подхоянх».

И Эдди, заторчавший до полного обалдения, зашелся кудахчущим хохотом, потому что совершенно точно понимал, о чем говорит Генри. А Генри даже не улыбнулся.

«В некотором отношении подхоянх даже хуже ломки, — сказал Генри. — По крайней мере, когда дойдешь до ломки, то хоть ЗНА-ЕШЬ, что будешь блевать, ЗНАЕШЬ, что тебя будет трясти, ЗНА-ЕШЬ, что будешь потеть, пока не почудится, будто тонешь в поту. А подхоянх — это вроде как проклятие ожидания».

Эдди помнил, что спросил у Генри, как называется, когда ширяла (в те далекие, ушедшие в туман, умершие дни, должно быть, целых шестнадцать месяцев назад, они оба торжественно заверяли самих себя, что никогда не станут ширялами) схватит передозняк?

«А это называется «спекся», — не задумываясь ответил Генри, и у него сделался удивленный вид, как бывает, когда человек что-то скажет, а оно окажется гораздо смешнее, чем он думал, и они переглянулись — и начали завывать от смеха, цепляясь друг за друга. «Спекся», вот смешно-то было, а теперь уже далеко не так смешно.

Эдди прошел по проходу мимо кухни в носовой отсек самолета, проверил надпись — СВОБОДНО — и открыл дверь.

«Эй, Генри, о великий мудрец и выдающийся торчок, старший брат, уж раз мы заговорили о кулинарии, хочешь узнать МОЕ определение, что такое «спекся»? Это — когда таможенник в аэропорту Кеннеди решит, что у тебя вид малость странноватый или просто день такой выдастся, что они своих собак с докторскими степенями по чутью вместо административного корпуса пригнали сюда, и они все начинают лаять и ссать по всему полу, и аж задыхаются в своих строгих ошейниках — так рвутся к тебе, именно к тебе, и после того, как таможенники перероют весь твой багаж, они тебя приглашают в такую маленькую комнатку и спрашивают, мол, не против ли вы снять рубашку, а ты говоришь, дескать, очень даже против, я на Багамах малость простудился, а у вас здесь кондиционер уж очень сильно работает, и я боюсь, как бы воспаление легких не сделалось, а они говорят, ах, вот оно что, а вы всегда так потеете, мистер Дийн, когда кондиционер уж очень сильно работает, ах, всегда, ну, что ж, мы, конечно, дико извиняемся, но рубашечку все же придется снять, и ты ее снимаешь, а они говорят, и футболку, пожалуй, тоже надо бы снять, а то похоже, что ты чем-то болен, у тебя, кореш, под мышками вон какие желваки вздулись, может, это какая-нибудь опухоль лимфоузлов или еще что, а тебе больше даже

■ говорить ничего неохота, это как если по мячу ударили определенным способом, так центральной за ним уж и не бежит, не переутомляется, а просто поворачивается и провожает его глазами, потому как если уж мяч ушел — так ушел, так что снимаешь ты футболку, а они говорят, глянь-ка, это ж надо, ну и везучий же ты мальчишечка, это ж и не опухоль вовсе, разве что, можно сказать, опухоль на теле общества, гы-гы-гы, эти штучки больше смахивают на парочку пакетов, приклеенных скотчем, а кстати, сынок, ты насчет этого запаха не беспокойся, это просто ты спекся».

Он протянул руку себе за спину и заперся на задвижку. Огни в носовом отсеке вспыхнули ярче. Моторы тихо гудели. Эдди повернулся к зеркалу — хотел посмотреть, насколько скверный у него вид — и вдруг на него нахлынуло жуткое, пронизавшее все его существо ощущение: чувство, что за ним кто-то наблюдает.

«Эй, ты, брось, понял, — тревожно подумал он. — Тебя считают самым не-параноидным малым на свете. Потому тебя и послали. Потому...»

Но внезапно ему показалось, что в зеркале отражаются не его глаза, не светло-карие, почти зеленые глаза Эдди Дийна, от взгляда которых за последние семь лет из его двадцати одного года растаяло столько сердец, которые помогли ему раздвинуть столько пар хороших ножек, не его глаза, а чужие, незнакомые. Не карие, а голубые, цвета выгоревших «ливайсов». Холодные, с прицельным взглядом — неожиданное чудо калибровки. Глаза бомбардира.

Эдди увидел — ясно увидел, — что в них отражается чайка, спикировавшая на разбивающуюся волну и что-то выхватившая из нее.

Он успел беспомощно подумать: *Господи, да что же это за хреновина?* — и понял, что это не пройдет; что его все-таки вырвет.

За полсекунды до начала рвоты, за те полсекунды, что он продолжал смотреть в зеркало, он увидел, как голубые глаза исчезли... но перед этим у него вдруг появилось ощущение, что в нем — два разных человека, что он *одержим*, как та девочка в «Изгоняющем дьявола».

Он отчетливо почувствовал в своем сознании какое-то новое сознание и услышал мысль — не свою, а больше похожую на голос по радио: «Я прошел. Я в небесном вагоне».

Было и что-то еще, но этого Эдди уже не слышал. Он был слишком занят: старался блевать в раковину как можно тише.

Как только рвота кончилась — не успел он еще и рот вытереть — случилось такое, чего с ним до сих пор никогда не бывало. Не стало ничего — только пустота, провал в сознании, длившийся один страшный миг. Как будто в газетной колонке аккуратно и полностью замазали одну-единственную строчку.

«Что это? — беспомощно подумал Эдди. — Что это за фигня чертова?»

Потом его опять начало рвать, и, возможно, это было к лучшему: как ни ругай рвоту, а одно хорошее свойство у нее есть — пока тебя выворачивает, ты больше ни о чем не думаешь.

3

«Я прошел. Я в небесном вагоне», — подумал стрелок. И через секунду: «Он видит меня в зеркале!»

Роланд попятился — не ушел, а лишь попятился, как ребенок, который отступает в самый дальний угол очень длинной комнаты. Он находился внутри небесного вагона; он находился также внутри другого человека — не себя самого. Внутри Невольника. В этот первый момент, когда он был уже почти на переднем плане (он мог описать это только так), Роланд был больше, чем внутри; он почти был этим человеком. Он чувствовал, что этот человек болен, хотя не понимал — чем, чувствовал, что его сейчас вырвет. Роланд знал, что, если ему понадобится, он сможет управлять телом этого человека. Он будет ощущать страдания этого тела, его будет одолевать обезьяноподобный демон, владеющий этим человеком, но если ему понадобится управлять им, он *сможет*.

Или он сможет остаться здесь, никем незамеченный.

Когда у невольника прошел приступ рвоты, стрелок прыгнул вперед — на этот раз на самый *передний план*. Он очень мало понимал в этой странной ситуации, а действовать в ситуации, которую не понимаешь, значит, нарываться на самые ужасные последствия, но ему было необходимо узнать две вещи — и нужда эта была так отчаянно велика, что перевешивала все возможные последствия.

На месте ли еще та дверь, через которую он вошел сюда из своего мира?

И если да, то там ли еще его физическое «я», бесчувственное, необитаемое, быть может, умирающее или уже умершее без своей внутренней сущности, которая бездумно управляла его легкими, и сердцем, и нервами? Даже если его тело еще живо, быть может, оно проживет лишь до наступления ночи. А тогда вылезут кошмарные омары и начнут задавать свои вопросы и искать на берегу, чем бы пообедать.

Он резко повернул голову, которая на миг стала *его* головой, и быстро оглянулся назад.

Дверь все еще была на месте, позади него. Она стояла в его собственном мире, открытая, ее петли уходили в сталь этого чудного нужника. И — да — вот он лежит, Роланд, последний стрелок, лежит на боку и держит на животе перевязанную правую руку.

«Я дышу, — подумал Роланд. — Придется мне вернуться назад и передвинуть мое тело. Но сначала надо сделать другие дела. Дела...»

Он покинул сознание невольника и отступил назад, наблюдая, ожидая, стараясь понять, знает ли невольник, что он здесь, или нет.

После того, как рвота прекратилась, Эдди продолжал стоять, согнувшись над раковиной и зажмурившись.

Вырубился на секунду. Что это было — не знаю. Оборачивался я или нет?

Он ощупью нашел кран и пустил прохладную воду. Не открывая глаз, он плескал ее на лоб, на щеки.

Когда больше тянуть стало невозможно, он снова поднял взгляд на зеркало.

Оттуда на него взглянули его собственные глаза.

И чужих голосов у него в голове не было.

И никакого чувства, что за ним наблюдают.

«У тебя был мгновенный глюк, Эдди, — объяснил ему великий мудрец и выдающийся торчок. — Довольно обычное явление при подхodyняке».

Эдди посмотрел на часы. До Нью-Йорка оставалось полтора часа. По расписанию посадка в 4:05 дня по Восточному времени, но на самом деле будет точно полдень. Тут-то все и решится.

Он вернулся на свое место. Его джин стоял на подлокотнике. Едва он сделал два глотка, как снова подошла стюардесса и спросила, не нужно ли ему еще чего-нибудь. Он открыл рот, чтобы сказать «нет»... и тут опять наступила эта странная отключка.

5

— Будьте добры, я бы хотел что-нибудь поесть, — сказал стрелок ртом Эдди Дийна.

— Скоро мы подадим горячие закуски.

— Но я прямо умираю от голода, — сказал стрелок, и это была чистая правда. — Что угодно, хотя бы бопкин...

— Бопкин? — военная женщина смотрела на него, сдвинув брови, и стрелок вдруг заглянул в сознание невольника. *Сэндвич...* это слово было далеким-далеким, как «шум моря» в раковине.

— Хотя бы сэндвич, — сказал стрелок.

Военная женщина с сомнением сказала:

— Ну что же... у меня есть с рыбой, с тунцом...

— Вот и отлично, — ответил стрелок, хотя ни про какую рыбуддца в жизни не слыхивал. Да ведь нищим выбирать не приходится.

— Вид у вас действительно бледноватый, — сказала военная женщина. — Я думала, что вас укачало.

— Это от голода.

Она одарила его профессиональной улыбкой.

— Сейчас я вам что-нибудь подкину.

«Подкину?» — растерянно подумал стрелок. В его мире *подкинуть* было жаргонное слово, означавшее «взять женщину силой». Неважно.

Ему принесут еду. Он понятия не имел, сможет ли пронести ее через дверь обратно, к телу, которое в ней так нуждалось, но не все сразу, не все сразу.

«Подкину», — подумал он, и голова Эдди Дийна несколько раз качнулась из стороны в сторону, словно он не мог поверить, что услышал такое.

Потом стрелок опять отступил назад.

6

«Нервы, — уверял его великий оракул и выдающийся торчок. — Просто нервы. Это все — часть подходняка, братишка».

Но если дело в нервах, то почему его охватывает эта странная сонливость — странная, потому, что он должен был бы ощущать зуд, не мог бы ни на чем сосредоточиться, ему бы дико хотелось извиваться и чесаться, как всегда бывает перед настоящей ломкой; даже если бы у него раньше не бывало «подходняка», о котором говорил Генри, оставался тот факт, что он собирается пронести через таможенную США два фунта марафета, то есть совершить преступление, которое карается не менее чем десятью годами заключения в федеральной тюрьме, а теперь у него, кажется, еще и провалы сознания начались.

И все же — эта сонливость.

Он снова отхлебнул джина с тоником, потом дал своим глазам медленно закрыться.

Почему ты отключился?

Я не отключался, а то она бы тут же помчалась за чемоданчиком первой помощи.

Ну, тогда вырубился. Все равно нехорошо. Ты раньше никогда в жизни так не вырубался. ОТРУБАЛСЯ — да, но не ВЫРУБАЛСЯ.

И с правой рукой у него что-то странное. Какая-то неопределенная пульсирующая боль в кисти, как будто по ней недавно били молотком.

Не открывая глаз, Эдди согнул и разогнул ее. Не болит. Не дергает. Голубых бомбардирских глаз тоже нет. А отключки — это просто сочетание подходняка с основательным приступом того, что великий оракул и выдающийся и т.д. и т.п., несомненно, назвал бы «мандраж контрабандиста».

«Но я все равно сейчас засну, — подумал он, — И что будет?»

Мимо него, как оторвавшийся воздушный шар, проплыло лицо Генри. «Не беспокойся, — говорил Ген. л. — Ты будешь в порядке, братик. Ты прилетишь в Нассау, поселишься в отель «Акинас», в пятницу, поздно вечером, зайдет мужик. Из стоящих гарней. Он тебя отоварит так, чтобы тебе хватило на весь уик-энд. В воскресенье, опять же поздно вечером, он принесет марафет, а ты ему дашь ключ от абонированного сейфа. В понедельник утром ты все сделаешь, как обычно, как велел Балазар. Этот малый не подведет; он знает, как надо. В понедельник же, в полдень, ты

улетишь, и при таком честном лице, как у тебя, ты пройдешь досмотр только так, с ветерком, и еще солнце не сядет, а мы уже будем рубать бифштексы в «Искорках». Все пройдет с ветерком, братик, с прохладным, приятным ветерком».

Но ветерок оказался довольно-таки жарким.

Беда Эдди и Генри заключалась в том, что они были как Чарли Браун и Люси. Они отличались от них только тем, что Генри иногда придерживал футбольный мяч, чтобы Эдди мог по нему ударить — не часто, но иногда. Эдди даже как-то раз, во время очередного героинового кайфа, подумал, что надо бы написать Чарльзу Шульцу письмо. «Дорогой м-р Шульц, — написал бы он, — напрасно у вас Люси ВСЕГДА в последний момент поднимает мяч вверх. Ей бы надо время от времени придерживать его на земле. Не так, чтобы Чарли Браун мог заранее догадаться, когда она это сделает, понимаете? Иногда она могла бы оставлять мяч на земле, чтобы он мог по нему ударить три, даже четыре раза подряд, а потом целый месяц — ни разу, потом один раз, потом три-четыре дня ни разу, ну, вы, наверное, поняли мою идею. Вот от этого пацан ПО-НАСТОЯЩЕМУ охерел бы, правда?»

Эдди точно знал, что пацан от этого охерел бы по-настоящему.

Он знал это по опыту.

«Из стоящих парней», сказал Генри, но тип, который заявился, оказался смугловатым гаденышем с британским выговором, усиками в ниточку, точно в фильме «черной серии» сороковых годов, и желтыми зубами, которые все загибались внутрь, как зубья очень старого капкана.

— Ключ у вас, сеньор? — спросил он, только из-за его произношения, какое выработывают в британских аристократических школах-интернатах, это слово прозвучало, как «синий ор».

— С ключом порядок, если вы об этом, — сказал Эдди.

— Тогда дайте его мне.

— Так не пойдет. Предполагается, что у вас кое-что есть, столько, чтобы мне хватило на уик-энд. Предполагается, что в воскресенье вечером вы мне принесете еще кое-что, и тогда я отдам вам ключ. В понедельник вы отправитесь в город и при помощи этого ключа получите что-то другое. Что именно, я не знаю, потому как это не мое дело.

Вдруг в руке гаденыша оказался маленький плоский вороненый автоматический пистолет.

— Почему бы вам не отдать его прямо сейчас, сеньор? Я сэкономлю время и силы, а вы спасете себе жизнь.

Глубоко внутри у Эдди Дийна — хоть он и был торчком — скрывался стальной стержень... Генри знал это; что более важно, знал это и Балазар. Поэтому Эдди и послали. Большинство из них считало, что он поехал, потому что прочно сидит на крючке. Он знал это, и Генри знал, и Балазар тоже. Но только он и Генри знали, что он бы

все равно поехал, даже если бы на дух не переносил наркоту. Ради Генри. Балазар в своих расчетах до этого не допер, но к е**ной матери Балазара.

— Почему бы тебе прямо сейчас не убрать эту штуку, гаденыш? — спросил Эдди. — Или, может, ты хочешь, чтобы Балазар прислал сюда кого-нибудь выковырять у тебя глаза ржавым ножом?

Гаденыш улыбнулся. Пистолет исчез, как по волшебству; на его месте оказался маленький конвертик. Гаденыш вручил его Эдди.

— Я, знаете ли, просто пошутил.

— Ну, допустим.

— Увидимся в воскресенье вечером.

Он направился к двери.

— Я думаю, тебе лучше подождать.

Гаденыш обернулся и поднял брови:

— Вы думаете, я не уйду, если захочу?

— Я думаю, если ты уйдешь, а товар окажется говном, меня завтра здесь не будет. И тогда ты окажешься в глубокой жопе.

Гаденыш помрачнел. Он сел в единственное в номере кресло и стал ждать, а Эдди вскрыл конвертик и высыпал из него немного коричневого порошка. Вид у порошка был зловещий. Эдди взглянул на гаденыша.

— Я знаю, как он выглядит, он с виду похож на говно, но это только с виду, — сказал гаденыш. — А качество отличное.

Эдди оторвал листок от лежавшего на письменном столе блокнота и отделил от кучки коричневого порошка щепотку. Он потерял ее в пальцах, потом втер в небо. Через секунду он сплюнул в мусорную корзину.

— Ты что, подохнуть хочешь? Жизнь надоела?

— Это все, что есть. — У гаденыша сделался еще более мрачный вид.

— У меня на завтра заказан билет, — сказал Эдди. Это было вранье, но он не думал, что у гаденыша хватит ума проверить. — На Транс-мировые Авиалинии. Я это сделал по собственной инициативе, на случай, если связной вдруг окажется такой разе**й, как ты. Я ничего не имею против. Мне так даже легче, я не создан для такой работы.

Гаденыш сидел и размышлял. Эдди сидел, собрав все силы, чтобы не двигаться. Ему *хотелось* двигаться; хотелось извиваться, дергать плечами и вилять бедрами, танцевать би-боп и плясать джайв, трещать суставами и чесать, где чешется. Он даже чувствовал, что его глазам все время хочется скользнуть к кучке коричневого порошка, хотя знал, что это — отравка. Он вмазался нынче утром, в десять; с тех пор прошло десять часов. Но если он сделает хоть что-нибудь из того, чего ему хочется, ситуация изменится: ведь смугловатый гаденыш не просто размышляет, он наблюдает за Эдди, пытается вычислить, насколько он силен.

— Может, я сумею найти что-нибудь, — сказал он наконец.

— Да уж постарайся, — сказал Эдди. — Но ровно в одиннадцать я выключу свет и вывешу на двери табличку «ПРОШУ НЕ БЕСПОКОИТЬ», и если после этого кто-нибудь постучится, я тут же позвоню дежурному и скажу: ко мне кто-то ломится, пришлите охранника.

— Сука ты е**ная, — с безукоризненным британским выговором сказал гаденыш.

— Нет, — сказал Эдди, — просто ты *надеялся* меня е**нуть. А я приехал, скрестив ноги. Так что придется тебе заявиться до одиннадцати с чем-нибудь, что мне подойдет, или будешь ты не простой гаденыш, а дохлый.

7

Гаденыш вернулся задолго до одиннадцати: он вернулся к девяти тридцати. Эдди догадался, что другой товар все это время лежал у него в машине.

На этот раз порошка было чуть побольше. Он был, правда, не белый, но все же цвета потускневшей слоновой кости, что обнадеживало, хотя и слабо.

Эдди попробовал на вкус. Как будто ничего. По правде говоря, даже больше, чем ничего. Вполне прилично. Он свернул бумажную трубочку и втянул порошок ноздрями.

— Ну, значит, до воскресенья, — бодро сказал гаденыш, поспешно вставая.

— Обожди, — сказал Эдди, словно это у *него* в кармане лежал пистолет. В некотором роде так оно и было. Его пистолет назывался Балазар. В удивительном нью-йоркском мире наркотиков Эмилио Балазар был важной шишкой, орудием крупного калибра.

— *Обождать?* — Гаденыш обернулся и уставился на Эдди так, будто думал, что тот сошел с ума. — *Чего* ждать-то?

— Да я, собственно, о тебе беспокоюсь, — ответил Эдди. — Если мне от того, что я сейчас задвинул, станет по-настоящему плохо, то бизнес наш отменяется. Если я загнусь, то он, *конечно*, отменяется. Но если мне только *малость* похужеет, то я тебе, может, и дам еще один шанс. Знаешь, как в сказке про того огольца, что потерял лампу и вышли ему три желания.

— От этого тебе не похужеет. Это — «китайский белый».

— Если это «китайский белый», — сказал Эдди, — то я — Дуайт Гуден.

— Кто?

— Неважно.

Гаденыш сел. Эдди сидел у письменного стола, на котором рядом с ним лежала кучка белого порошка (коричневое говно он уже давно спустил в сортир). В телевизоре, благодаря любезности компании NTBS и здоровенной тарелке антенны спутниковой связи на крыше отеля «Акинас», «Металлисты» давали жару «Молодцам». Эдди испытывал слабое ощущение покоя, исходившее, казалось, из глубины его

сознания... вот только на самом-то деле, как он узнал из медицинских журналов, оно исходило из пучка нервов у основания позвоночника — места, где локализуется героиноomania, вызывающая патологическое утолщение нервного отдела.

«Хочешь по-быстрому вылечиться? — спросил он однажды Генри. — Сломай себе позвоночник. Ноги у тебя работать перестанут, палка — тоже, но зато с иглы тут же слезешь».

Генри это не показалось смешным.

По правде говоря, Эдди это тоже не казалось таким уж смешным. Если единственный способ избавиться от сидящей на тебе верхом обезьяны состоит в том, чтобы перервать себе спинной мозг над этим самым пучком нервов, стало быть, ты имеешь дело с очень тяжелой обезьяной. Не с какой-нибудь там макакой, не с симпатичной мартишкой шарманщика, а со здоровенным, злобным старым павианом.

Эдди начал шмыгать носом.

— Порядок, — сказал он наконец. — Сойдет. Можешь мотать отсюда, срань.

Гаденыш встал.

— У меня есть друзья, — сказал он. — Они могут прийти сюда и начать делать с тобой всякое разное. Ты еще их умолять будешь, чтобы тебе позволили сказать мне, где ключ.

— Не-а, кореш, я-то не буду, — сказал Эдди. — Кто-то, но не я. — И улыбнулся. Он не знал, как выглядела эта улыбка, но, должно быть, не ах как жизнерадостно, потому что гаденыш смотался, смотался в темпе, смотался без оглядки.

Когда Эдди Дийн убедился, что гаденыш смотался, он приготовил себе дозряк.

Вмазался.

Уснул.

8

Так же, как спал сейчас.

Стрелок, каким-то образом пребывавший внутри сознания этого человека (человека, чьего имени он так и не узнал; холоп, которого невольник мысленно называл гаденышем, его не знал и потому ни разу не произнес), смотрел его сон, как когда-то, ребенком, до того, как мир сдвинулся с места, смотрел спектакли... или так он думал, потому что ему никогда в жизни не довелось видеть ничего, кроме спектаклей. Если бы он когда-нибудь видел кинофильм, он бы прежде всего подумал об этом. То, чего он не видел, он сумел выхватить из сознания невольника, потому что ассоциации были близкими. Но вот с именем было странно. Он узнал имя брата невольника, но не самого невольника. Но, конечно, имена — вещи тайные, полные могущества.

И имя этого человека не входило в число двух вещей, имевших значение. Одна из них была его слабость, его пристрастие к наркоти-

кам. Другая — стальной стержень, скрытый в глубине этой слабости, как хороший револьвер, погружающийся в зыбучие пески.

Этот человек до боли напоминал ему Катберта.

Кто-то приближался. Невольник спал и не слышал. Стрелок не спал и поэтому услышал и опять выдвинулся вперед.

9

«Замечательно, — подумала Джейн. — Наговорил мне, до чего он голоден, я ему приготовила поесть, потому что он довольно симпатичный, а он взял и заснул».

В этот момент пассажир — парень лет двадцати, высокий, в чистых, слегка выгоревших синих джинсах и в рубашке в узорчатую полоску — слегка приоткрыл глаза и улыбнулся ей.

«Благодарствую, сэр», — сказал он; во всяком случае, его слова прозвучали именно так. Почти, как на древнеанглийском... или на иностранном языке. «Бормочет во сне, вот и все», — подумала Джейн.

— Пожалуйста, — она улыбнулась своей лучшей улыбкой стюардессы, уверенная, что он опять заснет, и сэндвич так и будет лежать несъеденным до тех пор, пока по расписанию не придет время подавать еду.

Ну, да ведь им же на курсах говорили, что так бывает всегда, правда?

Она вернулась на кухню, чтобы быстренько покурить. Чиркнула спичкой и, не донеся ее до сигареты, забыла о ней и замерла, потому что на курсах им не говорили, что бывает и *так*.

«Я подумала, что он довольно симпатичный. В основном из-за его глаз. Из-за его зеленовато-карих глаз».

Но когда человек в кресле N 3-A несколько секунд назад открыл глаза, они были *не* зеленовато-карие; они были голубые. И не сладко-узывно-голубые, как у Пола Ньюмена, а цвета айсберга. Они...

Ой!

Спичка догорела до самых ее пальцев. Джейн погасила ее.

— Джейн? — спросила Пола. — Ты в норме?

— В полной. Замечталась.

Она зажгла вторую спичку и на этот раз сделала все, как надо. Она успела затянуться только один раз — и тут ей пришло в голову совершенно разумное объяснение. Он носит контактные линзы. Ну, конечно. Такие, которые изменяют цвет глаз. Он ходил в туалет. Он пробыл там так долго, что она забеспокоилась, не укачало ли его — он был какой-то мутно-бледный, так выглядят люди, когда им нехорошо. А он просто снимал контактные линзы, чтобы они не мешали ему спать. Вполне разумно.

«Может быть, вы что-то почувствуете, — послышался ей вдруг голос из ее собственного, не столь далекого прошлого. — Словно

что-то чуть-чуть кольнет. Может быть, вам покажется, что что-то самую чуточку не так».

Цветные контактные линзы.

Джейн Дорнинг лично знала не менее двадцати пяти человек, носивших контактные линзы. Большинство из них работало на этой же авиалинии. Никто никогда ничего такого не говорил, но, как она полагала, одной из причин могло быть чувство (которое испытывали они все), что пассажирам неприятно видеть кого-то из экипажа самолета в очках — это их слегка пугало.

Из всех этих людей она знала, пожалуй, четырех, носивших цветные линзы. Обычные контактные линзы стоят дорого; цветные — баснословно дорого. Все знакомые Джейн, кто не пожалел потратить такие деньги, были женщины; и все они уделяли своей внешности необычайно много внимания.

«Ну и что? Мужики тоже могут заботиться о своей внешности. А почему бы и нет? Он интересный».

Нет. Нисколько. Симпатичный — пожалуй, но не более того, да и до симпатичного-то он с этой своей бледностью еле дотягивает. Так почему цветные линзы?

Пассажиры самолетов часто боятся летать.

В мире, где угоны самолетов и контрабанда наркотиков стали обыденным явлением, персонал авиалиний часто боится пассажиров.

Голос, вызвавший к жизни эти мысли, принадлежал инструкторше авиашколы, бывалой старухе, выглядевшей так, словно она летала еще на почтовых рейсах Уайли. Голос говорил: «Не отмахивайтесь от своих подозрений. Даже если вы забудете все остальное, чему вас здесь научили, о том, как управляться с потенциальными или действительными террористами, помните вот что: *не отмахивайтесь от своих подозрений*. Иногда вам может достаться экипаж, который на отчете будет говорить, что у них ничего такого и в мыслях не было, пока этот малый не выхватил гранату и не сказал, мол, бери левой, на Кубу, а то ща все, сколько вас здесь есть, через сопло повылетаете. Но в большинстве случаев в нем окажутся два-три человека — большей частью из obsługi (а меньше чем через месяц это станет и вашей профессией), — которые скажут, что они что-то почувствовали. Вроде как что-то чуть-чуть кольнуло. Ощущение, что с парнем в кресле 91-С или с молодой женщиной в 5-А что-то немножко не так. Они что-то почувствовали, но ничего не сделали. Что же, их за это уволили? Да Боже упаси, нет! Нельзя надеть на человека наручники только за то, что вам не нравится, как он расчесывает свои прыщи. Суть проблемы в том, что они что-то почувствовали... а потом забыли».

Бывалая старуха подняла толстый палец. Джейн Дорнинг вместе со всей группой слушала, как зачарованная. Инструкторша продолжала: «Если вы ощутите этот слабенький укол, не делайте ничего... в том числе и не забывайте о нем. Потому что всегда есть шанс — пусть один, пусть ничтожный, — что вы сумеете остановить что-то

еще до того, как оно начнется... что-то вроде незапланированной посадки на двенадцать дней на аэродром какой-нибудь задрипанной арабской страны».

Просто цветные линзы, но...

Благодарствую, саи.

Бормотал во сне? Или спросонья заговорил на каком-то другом языке?

Джейн решила, что будет следить.

И не забудет.

10

«Сейчас, — подумал стрелок. — Сейчас увидим, да?»

Он сумел через дверь на пляже перейти из своего мира в этот, перейти в это тело. Теперь ему было нужно выяснить, сможет ли он пронести что-нибудь отсюда туда. Не себя, нет; он был совершенно уверен, что сможет в любую минуту, как только захочет, пройти через дверь назад и вновь войти в свое собственное, отравленное, больное тело. Ну а другие вещи? *Материальные* предметы? Здесь, например, перед ним стоит еда: то, что женщина в форме назвала сэндвичем с рыбой-дудцом. Стрелок не имел ни малейшего понятия, что такое рыба-дудец, но когда он видел бопкин, он его прекрасно узнавал, хотя *этот* выглядел странно сырым, необжаренным.

Его телу нужно было поесть, а потом его телу будет нужно напиться, но больше, чем в еде, больше, чем в питье, его тело нуждается в каком-нибудь лекарстве. Без лекарства оно умрет от укуса омароподобного чудовища. Быть может, в этом мире есть такое лекарство; в мире, где вагоны летают по воздуху, гораздо выше, чем мог бы взлететь самый сильный орел, казалось возможным все, что угодно. Но если он не сможет пронести через дверь ничего материального, не все ли равно, сколько здесь есть самых сильных лекарств?

«Ты мог бы жить в этом теле, стрелок, — шептал в глубине его мозга голос человека в черном. — Оставь этот кусок дышащего мяса на съедение омароподобным тварям. Все равно это всего лишь оболочка».

Нет, он этого не сделает. Во-первых, это было бы самым убийственным, наиподлейшим воровством, потому что он ведь не сможет долго довольствоваться только ролью пассажира, выглядывать из глаз этого человека, как путешественник смотрит из окна дилижанса на проносящийся мимо пейзаж.

Во-вторых, он — Роланд. Если от него требуется, чтобы он умер, он намерен умереть Роландом. Если нужно, он умрет, *ползком* добираясь до Башни.

Потом в нем взяла верх та странная, жесткая практичность, что жила в его нутре бок о бок с романтизмом, подобно тигру рядом с ланью. Пока эксперимент не проведен, нечего думать о смерти.

Он взял бопкин. Бопкин был разрезан пополам. Роланд взял по половинке в каждую руку. Он открыл глаза невольника и выглянул

из них. Никто на него не смотрел (хотя в кухне Джейн Дорнинг неотступно *думала* о нем).

Роланд повернулся к двери и прошел в свой мир, держа в руках половинки бопкина.

11

Сперва он слышал скрежещущий рев набегающей волны; затем — галдеж множества морских птиц, взлетевших с ближайших камней, когда он с трудом приподнялся и сел («сволочи трусливые, уже подобрались поближе, — подумал он, — они бы скоро стали из меня куски выклеивать, все равно, дышал бы я еще или уже нет, они ж просто-напросто стервятники, только красиво раскрашенные»); потом он заметил, что одна половинка бопкина — та, что он держал в правой руке, — упала на жесткий серый песок, потому что, проходя через дверь, он держал ее в здоровой руке, а теперь держит — или *держал* — в руке, которой убыло на сорок процентов.

Он неуклюже подобрал ее, ухватив большим и безымянным пальцами, смахнул, как сумел, песок и осторожно откусил кусочек. В следующий миг он уже жадно пожирал ее, не обращая внимания на скрипевшие на зубах песчинки. Через несколько секунд он принялся за вторую половинку и управился с ней в три укуса.

Стрелок не имел ни малейшего понятия, что такое рыба-дудец. Он понял только, что она невероятно вкусна. Этого ему было довольно.

12

В самолете никто не заметил, как исчез сэндвич с тунцом. Никто не заметил, как Эдди Дийн вцепился в него так крепко, что на белом хлебе остались глубокие ямки от пальцев.

Никто не заметил, как сэндвич становился все более прозрачным, а потом исчез, и от него осталось лишь несколько крошек.

Секунд через тридцать после того, как это случилось, Джейн Дорнинг погасила сигарету и пошла в салон. Она достала из своей сумки блокнот, но на самом деле ей хотелось еще раз взглянуть на 3-А.

Он, казалось, спал глубоким сном... но сэндвич исчез.

«Мама дорогая, — подумала Джейн. — Он же его не съел; он его целиком проглотил. А теперь *опять* заснул? Так не бывает...»

То, что покалывало ее касательно пассажира 3-А, мистера То-Карий-Глаз-То-Голубой, что бы это ни было, продолжало покалывать. Что-то с ним было не так. Что-то.

Глава третья

КОНТАКТ И ПОСАДКА

1

Эдди разбудил второй пилот, объявлявший, что минут так через сорок пять они совершат посадку в международном аэропорту Кеннеди, где видимость неограниченная, ветер — западной четверти, десять миль в час, а температура просто прекрасная — семьдесят градусов¹. Он сказал пассажирам, что, если у него потом не будет такой возможности, он хотел бы сейчас поблагодарить их — всех вместе и каждого в отдельности — за то, что они выбрали «Дельту».

Эдди осмотрелся и увидел, что пассажиры проверяют свои таможенные декларации и документы, подтверждающие гражданство — считалось, что, когда летишь из Нассау, достаточно иметь при себе водительские права и кредитную карточку, на которой фигурирует один из банков США, но большинство пассажиров до сих пор брали с собой паспорта, — и ощутил, что внутри у него начинает туго закручиваться стальная проволочка. Он все еще никак не мог поверить, что заснул, да так крепко.

Он встал и пошел в туалет. Судя по ощущению, пакеты с марафетом у него под мышками лежали удобно и держались крепко, повторяя контуры его боков, так же хорошо, как и в номере отеля, где их укрепил на Эдди американец с тихим и вежливым голосом, по имени Уильям Уилсон. По окончании процедуры прикрепления человек, чье имя прославил Эдгар По (когда Эдди что-то сказал на эту тему, Уилсон только непонимающе взглянул на него), подал ему рубашку. Самую обыкновенную рубашку в узорчатую полоску, чуть выгоревшую, какую может надеть в самолет любой студентик, возвращающийся с коротких предэкзаменационных каникул... только *эта* была специально скроена и сшита так, чтобы скрывать некрасивые выпуклости.

— Перед посадкой на всякий случай проверь все еще раз, — сказал Уилсон. — Но все у тебя будет в ажуре.

¹ По Фаренгейту, соответствует 21 градусу по Цельсию.

Эдди не знал, будет ли у него все в ажуре, или нет, но у него была и другая причина воспользоваться туалетом, прежде чем вспыхнет надпись «ПРИСТЕГНИТЕ РЕМНИ». Несмотря на искушение — а большую часть прошлой ночи это было даже не искушение, а отчаянная, бешеная потребность, — он сумел сохранить последнюю щепотку того, что у смугловатого гаденыша хватило нахальства назвать «китайским белым».

Таможенный досмотр рейсов из Нассау был не тот, что на рейсах с Гаити, или из Кинкона, или из Боготы, но все же следить было кому. И люди эти были специально обучены. Поэтому Эдди было необходимо использовать любое преимущество, которое было в его возможностях. Если он сумеет выйти из самолета, хоть немного успокоившись, хотя бы капелюшку, может, это-то как раз и поможет ему взять этот барьер.

Он втянул ноздрями порошок, спустил в унитаз клочок бумаги, в который он был завернут, потом вымыл руки.

«Конечно, если все пройдет хорошо, ты никогда и не узнаешь, так ведь?» — подумал он. Да. Не узнает. Да ему и ни к чему будет.

Возвращаясь на свое место, он увидел ту стюардессу, что раньше принесла ему джин с тоником, который он так и не допил. Она улыбнулась ему. Он ответил ей улыбкой, сел, пристегнул ремень, взял иллюстрированный журнал и стал переворачивать страницы, глядя на картинки и слова. Ни то, ни другое не производило на него никакого впечатления. Стальная проволочка все туже закручивалась вокруг его внутренностей, и когда надпись «ПРИСТЕГНИТЕ РЕМНИ» наконец вспыхнула, она сделала еще два оборота и затянулась намертво.

Героин подействовал — это доказывали сопли, которые у него потекли, — но он никак не мог *почувствовать* этого.

Единственное, что он почувствовал незадолго до посадки, был очередной странный провал сознания... недолгий, но несомненный.

Боинг-727 заложил вираж над проливом Лонг-Айленд и пошел на посадку.

2

Когда парень, похожий на студента колледжа, прошел в туалет первого класса, Джейн Дорнинг в кухне второго класса помогала Питеру и Энн убирать последние стаканы от напитков, которые подавали после закуски.

Парень шел обратно как раз в тот момент, когда она, проходя, придержала портьеру, отделявшую второй класс от первого, и она бессознательно ускорила шаг, зацепив его своей улыбкой, заставив его поднять глаза и улыбнуться в ответ.

Глаза у него опять были зеленовато-карие.

Ну ладно, пускай. Перед сном он пошел в сортир и снял их; потом опять пошел в сортир и надел их. Да ради Бога, Джейни! Ты просто нагоняешь на себя панику, как дурочка!

Вовсе нет. Она не нагоняла на себя панику, как дурочка, хотя и не могла сформулировать ничего конкретного.

Он слишком бледный.

Ну и что? Тысячи людей слишком бледны, включая твою собственную маму — с тех пор, как у нее забарахлил желчный пузырь.

У него необыкновенно притягательные голубые глаза — может, не такие симпатичные, как эти зеленовато-карие линзы, но безусловно очень интересные. Так зачем ему вся эта канитель и такие расходы?

Потому что ему нравятся глаза от дизайнера. Разве этого недостаточно?

Нет.

Незадолго до сигнала «ПРИСТЕГНИТЕ РЕМНИ» и последней проверки она сделала одну вещь, которой раньше никогда не делала, потому что вспомнила бывалую старуху-инструкторшу. Она наполнила красный термос горячим кофе и надела на горлышко пластмассовую крышку, не закрыв его пробкой, и завинтила крышку только на первую нитку резьбы.

Сьюзи Дуглас делала последнее объявление перед посадкой, велев этим дурачкам погасить сигареты и убрать все свои вещи, которые они вынули во время полета, объясняла, что рейс встретят представители компании «Дельта», напоминала, чтобы они проверили свои таможенные декларации и документы, удостоверяющие гражданство, говорила, что сейчас придется забрать все чашки, блюдца и наушники.

«Удивляюсь я, что нас не заставляют проверять, сухие ли у них штаны», — рассеянно подумала Джейн. Она чувствовала, как вокруг ее внутренностей, туго их захлестнув, все крепче обвивается ее собственная стальная проволочка.

— Займись моей стороной, — сказала Джейн, когда Сьюзи повесила микрофон.

Сьюзи взглянула на термос, потом в лицо Джейн.

— Джейн? Тебе плохо? Ты вся белая, как...

— Мне не плохо. Займись моей стороной. Объясню, когда вернешься. — Джейн бросила короткий взгляд на откидные сиденья рядом с левым выходом. — Я не хочу выпускать из рук оружия.

— Джейн...

— Обслужи мою сторону.

— Ладно, — сказала Сьюзи. — Ладно, Джейн. Не проблема.

Джейн Дорнинг села на ближайшее к проходу откидное сиденье. Она держала термос в руках и не притрагивалась к ремням безопасности. Она хотела держать термос наготове, а для этого были нужны обе руки.

«Сьюзи думает, я чокнулась».

Джейн надеялась, что и вправду чокнулась.

«Если капитан Макдоналд совершит жесткую посадку, у меня все руки будут в пузырях».

Она пойдет на этот риск.

Самолет снижался. Человек в кресле 3-А, человек с двухцветными глазами и белым лицом, вдруг нагнулся и вытащил из-под сиденья свою дорожную сумку.

«Вот оно, — подумала Джейн. — Вот тут-то он и достанет гранату или автомат, или какая там у него еще пакость».

И как только она это увидит, в ту же самую секундошку она сорвет с термоса, который держит чуть дрожащими руками, красную пластмассовую крышку, и в проходе борта 901 авиакомпании «Дельта» начнет кататься по полу один очень даже изумленный друг Аллаха, а с ошпаренного лица у него будет облезать кожа.

3-А расстегнул на сумке молнию.

Джейн приготовилась.

3

Стрелок подумал, что этот человек — невольник он или не невольник — по части изящного искусства выживания, пожалуй, обскакал всех остальных мужчин, которых он видел в этом воздушном вагоне. Остальные были большей частью жирными, но даже и те, кто, казалось, был более или менее в форме, тоже выглядели открытыми, ненастороженными, у них были лица избалованных и заласканных детей, лица людей, которые в конце концов будут драться, но перед этим почти до бесконечности будут ныть; им можно выпустить кишки так, что они на башмаки вывалятся, и на лицах у них перед смертью отразится не ярость, не мука, а тупое удивление.

Невольник — лучше... но все же недостаточно хорош. Совсем недостаточно.

«Военная женщина. Она что-то заметила, что — не знаю, но заметила, что что-то неладно. Она обратила на него внимание, не так, как на других».

Невольник сел. Посмотрел на книгу в мягкой обложке, которую мысленно называл «Шур-гнал», хотя, что это за Шур и куда он кого гнал, Роланду было предельно безразлично. Стрелок не хотел смотреть на книгу, хотя вещь это была, конечно, удивительная; он хотел смотреть на женщину в военной форме. Желание выдвинуться на передний план и начать управлять невольником было очень сильно. Но он сопротивлялся ему... по крайней мере, пока.

Невольник куда-то ездил и получил там снадобье. Не то снадобье, какое нужно ему самому, и не то, которое могло бы помочь исцелить больное тело стрелка, но то, за которое люди платят уйму денег, потому что оно запрещено законом. Он собирается отдать это снадобье своему брату, а тот, в свою очередь, отдаст его человеку по имени Балазар. Сделка будет завершена, когда Балазар в обмен на это снадобье даст им то, которым пользуются *они*, — то есть, если невольник сумеет правильно выполнить неизвестный стрелку обряд (в столь странном мире, как этот, неминуемо должно быть много странных обрядов); он называется Пройти Таможенный Досмотр.

«Но эта женщина его видит».

Может она помешать ему Пройти Таможенный Досмотр? По мнению Роланда, вероятно, сможет. И что тогда? Темница. А если невольника заточат в темницу, стрелку негде будет достать то лекарство, в котором так нуждается его зараженное, умирающее тело.

«Он должен Пройти Таможенный Досмотр, — подумал Роланд. — ДОЛЖЕН. И должен отправиться со своим братом к этому Балазару. Это не входит в план, брату это не понравится, но он должен это сделать».

Потому что тот, кто торгует снадобьями, должен либо знать человека, который исцеляет больных, либо *сам* быть таким человеком. Человеком, который выслушает рассказ о том, что болит, и тогда... быть может...

Стрелок подумал, что *Пройти Таможенный Досмотр* должен он *сам*.

Ответ был так огромен, прост и лежал так близко, что он едва не проглядел его. Конечно же, невольнику будет так трудно Пройти Таможенный Досмотр именно из-за снадобья, которое он хочет пронести с собой; быть может, у них есть какой-нибудь Оракул, с которым советуются, когда кто-то вызывает подозрения. Иначе, насколько сумел понять Роланд, церемония прохождения была бы проще простого, все равно, что в *его* мире пересечь границу дружественного королевства. Присягнешь на верность монарху этого королевства — жест чисто символический, — и тебя пропускают.

Ведь он *может* переносить предметы из мира невольника в свой мир. Это доказал бопкин с рыбой-дудцом. Он заберет пакеты со снадобьем, как забрал бопкин. Невольник Пройдет Таможенный Досмотр. И тогда Роланд принесет пакеты со снадобьем назад.

А сможешь?

Ох, вот это — вопрос достаточно тревожный, чтобы отвлечь его от вида воды внизу... они пролетели, похоже, над бескрайним океаном и теперь как раз поворачивали назад, к берегу. Вода при этом становилась все ближе. Воздушный вагон снижался (Эдди взглянул шоротно, безразлично; стрелок смотрел зачарованно, как ребенок, впервые увидевший снегопад). Он *может выносить* предметы из этого мира, это он знает. А переносить их обратно? Вот об этом ему пока ничего не известно. Придется выяснить.

Стрелок сунул руку в карман невольника и сомкнул его пальцы на монете.

И прошел через дверь обратно в свой мир.

4

Когда он приподнялся и сел, птицы улетели. На этот раз они не посмели подобраться так близко. У него все болело, его лихорадило, он плохо соображал... но поразительно, сколько сил ему придала эта малая толика еды.

Он взглянул на монету, которую взял с собой на этот раз. Она казалась серебряной, но по красноватому оттенку на ребре можно было подумать, что в действительности она сделана из какого-то менее благородного металла. На одной стороне был профиль мужчины, в чьем лице угадывались благородство, мужество, упрямство. Его волосы, завивавшиеся на затылке и собранные в косичку ниже, там, где начиналась шея, позволяли думать и о некотором тщеславии. Стрелок повернул монету и увидел нечто столь изумившее его, что он вскрикнул хриплым каркающим голосом.

На обратной стороне монеты был орел, изображение, украшавшее некогда его собственное знамя — в те полузабытые дни, когда существовали еще королевства и символизировавшие их знамена.

«Времени мало. Возвращайся. Поспеш!».

Но он помедлил еще секунду, задумавшись. Думать, находясь внутри *этой* головы, было трудно. У невольника голова тоже была далеко не ясной, но все же, по крайней мере временно, она была более чистым сосудом, чем его собственная.

Пронести монету туда и обратно — это ведь только половина эксперимента, не так ли?

Роланд достал из своей патронной ленты еще один патрон и стиснул его в руке, прижав к монете.

И шагнул через дверь обратно.

5

Монета невольника была на месте, крепко сжатая в засунутой в карман руке. Чтобы проверить патрон, Роланду не надо было *выдвигаться вперед*; он знал, что патрон сюда не прошел.

Но он все равно вышел вперед, на минутку, потому что ему было необходимо узнать одну вещь. Было необходимо *увидеть*.

Поэтому он повернулся, словно для того, чтобы поправить маленькую бумажную штучку на спинке своего кресла (в этом мире бумага *повсюду* — свидетели тому все боги, какие только были и есть), и посмотрел за дверь. Он увидел свое тело, лежащее бессильно, как и раньше, только теперь на щеке появилась свежая ссадина, и из нее текла струйка крови — должно быть, его тело расшиблось о камень, когда он покинул его и перешел сюда.

Патрон, который он нес вместе с монетой, лежал у низа двери, на песке.

Все же ответ был достаточно полным. Невольник сможет Пройти Таможенный Досмотр. Пусть их стража обыскивает его с ног до головы, от дырки, в которую еда входит, до дырки, из которой она потом выходит, а потом наоборот.

Они ничего не найдут.

Стрелок отступил назад, довольный, не подозревая — по крайней мере, в тот момент, — что он еще не осознал всю проблему в целом.

Боинг низко и плавно прошел над затопленной морской водой низиной Лонг-Айленда, оставляя за собой черный шлейф отработанного горючего. Грохот, глухой удар — это шасси коснулось земли.

3-А, человек с двухцветными глазами, выпрямился, и Джейн увидела — по самому настоящему увидела — у него в руках короткоствольный «узи» и тут же поняла, что это всего-навсего его таможенная декларация и маленькая сумочка на молнии, в каких мужчины иногда держат паспорта.

Самолет сел, плавно, как в пух.

С долгим, прерывистым вздохом, вздрагивая, она завинтила на термосе красную крышку.

— Можешь обозвать меня жопой с ручкой, — тихо сказала она Сьюзи, пристегивая ремни, хотя это было уже ни к чему. Когда заходили на посадку, она сказала Сьюзи, в чем дело, чтобы та была готова. — Имеешь полное право.

— Нет, — возразила Сьюзи. — Ты сделала совершенно правильно.

— Я слишком остро прореагировала. И обед — за мой счет.

— Фигушки. И не смотри на него. Смотри на меня. Улыбайся, Джейн.

Джейн улыбнулась. Кивнула. Подумала: «Сейчас-то что происходит, Господи?»

— Ты все время смотрела ему на руки, — сказала Сьюзи и засмеялась. Джейн тоже засмеялась. — А я смотрела, что делается с его рубашкой, когда он нагнулся за сумкой. У него там столько всего, что можно у Вулворта целый отдел мелкой галантереи укомплектовать. Только не думаю я, что он везет то, что можно купить у Вулворта.

Джейн запрокинула голову и опять расхохоталась, чувствуя себя марионеткой.

— И что нам теперь делать?

Сьюзи работала на пять лет дольше, чем Джейн, и Джейн, которой минуту назад казалось, что она, хоть из последних сил, но контролирует ситуацию, теперь была только рада, что Сьюзи — рядом.

— Нам — ничего. Пока будем катиться по посадочной полосе, скажи капитану. Капитан свяжется с таможенниками. Этот твой друг встанет в очередь, как все пассажиры, только потом его выдернут из очереди и отведут в одну такую маленькую комнатку. Я думаю, для него это будет первая из очень длинного ряда маленьких комнаток.

— Мамочки, — Джейн улыбнулась, но ее бросало то в жар, то в холод.

Когда реверсы отключились, она нажала на своих ремнях безопасности кнопку автоматического расстегивания, отдала термос Съюзи, встала и постучала в дверь кабины пилотов.

Не террорист, а контрабандист, перевозчик наркотиков. Что ж, и на том спасибо. Но ей было как-то неприятно. Он все-таки *был* симпатичный.

Не очень, но немножко.

8

«Он все еще не видит, — подумал стрелок со злостью и зарождающимся отчаянием. — О боги!»

Невольник нагнулся, чтобы достать бумаги, нужные ему для обряда, а когда выпрямился, военная женщина уставилась на него, выпучив глаза, щеки у нее стали белые, как бумажные штучки на спинках кресел. Серебряная трубка с красной крышкой, которую он сперва принял за флягу или что-то в этом роде, по-видимому, была оружием. Сейчас женщина держала ее, прижав к груди. Роланд подумал, что через пару секунд она либо швырнет эту штуку в невольника, либо сорвет красную крышку и пристрелит его из нее.

Вдруг она расслабилась и застегнула ремни, хотя по толчку и стрелок, и невольник поняли, что воздушный вагон уже приземлился. Она повернулась к военной женщине, рядом с которой сидела, и что-то сказала. Та засмеялась и кивнула, но стрелок подумал, что если это — искренний смех, то он — речная жаба.

Стрелка удивляло, как тот человек, чье сознание стало для него временным пристанищем, может быть таким глупым. Конечно, отчасти это вызвано снадобьем, которое он вводит в свое тело... одним из здешних вариантов бес-травы. Отчасти, но не только. Он не такой мягкотелый и ненаблюдательный, как остальные, но со временем, возможно, станет таким.

«Они такие, какие есть, потому что живут при свете, — подумал вдруг стрелок. — При свете цивилизации, перед которым тебя научили преклоняться больше, чем перед всем остальным. Они живут в мире, что не сдвинулся с места».

Роланд подумал, что если в таком мире люди становятся такими, как эти, то он, возможно, предпочел бы тьму. «Это было до того, как мир сдвинулся с места», — говорили люди в его собственном мире, причем всегда — скорбным тоном утраты... но, быть может, эта печаль была бездумной, необдуманной.

«Когда я\он нагнулся за бумагами, она подумала, что я\он хочу достать оружие. Когда она увидела бумаги, она расслабилась и сделала то, что все остальные сделали до того, как вагон опустился на землю».

А теперь она и ее подруга болтают и смеются, но их лица — особенно *ее* лицо, лицо женщины с металлической трубкой — не такие, как должны быть. Они действительно разговаривают, но только *притворяются*, что смеются... и это потому, что разговаривают они о нем».

Теперь воздушный вагон ехал по длинной дороге, по-видимому, бетонной, одной из многих. Стрелок в основном следил за военными женщинами, но краем глаза видел, как по некоторым другим дорогам движутся другие воздушные вагоны. Одни ехали медленно, неуклюже, другие мчались с неимоверной скоростью, не как вагоны, а как выстреленные пули или снаряды — готовились прыгнуть в воздух. Каким бы отчаянным ни стало сейчас его положение, часть его сознания испытывала сильнейшее желание *выдвинуться вперед* и повернуть голову, чтобы увидеть, как эти экипажи уходят в небо. Они были сделаны руками человека, но казались такими же легендарными, как истории о Великом Пернатце, жившем некогда, как рассказывали, в далеком (и, надо полагать, мифическом) королевстве Гарлан, — может быть, даже *более* легендарными, просто потому, что *эти* были созданы человеком.

Женщина, которая принесла ему бопкин, расстегнула ремни (а ведь не прошло и минуты, как она их застегнула) и подошла к какой-то маленькой двери. «Здесь сидит возница», — подумал стрелок, но когда дверь открылась и она вошла, Роланд увидел, что для управления воздушным вагоном нужны, по-видимому, три возницы, и даже короткого взгляда ему хватило, чтобы понять, почему: насколько он успел заметить, там был чуть ли не миллион всяких ручек, циферблатов и огоньков.

Невольник смотрел на все, но ничего не видел — Корт сначала высмеял бы его, а потом прошиб бы им ближайшую стену. Сознание невольника было полностью поглощено мыслями о том, чтобы выхватить сумку из-под сиденья и легкую куртку из ячейки над головой... и пройти предстоящее ему мучительное испытание — обряд Прохождения Таможенного Досмотра.

Невольник не видел ничего; стрелок видел все.

«Женщина думала, что он — вор или безумец. Он — а может быть, не он, а я, да, это очень возможно — сделал что-то такое, что заставило ее так подумать. Потом она перестала так думать, а потом опять начала, из-за второй женщины... только теперь, по-моему, они *точно* знают, в чем дело. Они знают, что он хочет попытаться профанировать обряд».

И тут он мгновенно, как в свете молнии, увидел всю остальную часть своей проблемы. Во-первых, она не сводилась лишь к тому, чтобы забрать пакеты в его мир, как он забрал монету; монета не была приклеена к телу невольника клеей веревкой, которую невольник много раз обмотал вокруг верхней части своего туловища, чтобы мешочки плотно прилегали к коже и крепко держались. Невольник не обратил внимания на исчезновение одной из многих

монет, но когда он заметит внезапное исчезновение того — что бы это ни было, — ради чего он рисковал жизнью, с ним непременно сделается родимчик... и что тогда?

Скорее всего, тогда невольник начнет вести себя так странно, что его запрут в темницу так же быстро, как если бы его поймали на профанации обряда. Лишиться пакетов было бы достаточно скверно; но если бы эти пакеты у него под мышками просто-напросто рассосались, обратились в ничто, он бы, наверно, подумал, что и *вправду* сошел с ума.

Воздушный вагон, ставший на земле медлительным, как вол, тяжело поворачивал влево. Стрелок понял, что не может позволить себе роскошь раздумывать дальше. Теперь ему мало просто *выдвигаться вперед*; теперь он должен установить контакт с Эдди Дийном.

Прямо сейчас.

9

Эдди засунул свою декларацию и паспорт в нагрудный карман. Стальная проволочка все туже и туже закручивалась вокруг его внутренностей, врезалась все глубже и глубже, так что нервы у него искрили и потрескивали. И вдруг у него в голове раздался голос.

Не мысль: *голос*.

Слушай меня, ты. Слушай внимательно. И если хочешь, чтобы все обошлось, не допускай, чтобы на твоём лице было заметно хоть что-нибудь, что могло бы усилить подозрения этих военных женщин. Видит Бог, они уже и так подозревают достаточно.

Сначала Эдди подумал, что забыл снять принадлежащие авиакомпания наушники и слышит какой-то дурацкий разговор из пилотской кабины. Но наушники собрали у пассажиров пять минут назад.

Вторая мысль была, что кто-то стоит рядом и разговаривает. Он хотел было резко повернуть голову влево, но это было нелепо. Как ни неприятно, а неприкрытая правда состояла в том, что голос исходил у него из головы, *изнутри*.

Может, он принимает какую-то радиопередачу — СВ, КВ, УКВ — пломбами в зубах? Он слышал о таких шту...

Выпрямись, червь! Они и так тебя подозревают, а если у тебя еще будет такой вид, будто ты рехнулся!..

Эдди выпрямился, резко, словно от пощечины. Это был не голос Генри, но он так походил на давний голос Генри, когда они были еще пацанами, подрастали в микрорайоне «Проекты»; Генри был на восемь лет старше, а сестру, которая была между ними, Эдди почти не помнил — Селину насмерть сбило машиной, когда ему было два года, а Генри — десять. Этот резкий, командирский тон слышался всякий раз, когда Генри видел, что Эдди делает такое, что может уложить его в длинный сосновый ящик задолго до старости... как это случилось с Селиной.

Да что же это такое, едрена вошь?

Ты не слышишь голосов, которых нет, — ответил голос. Нет, это не голос Генри — старше, суше... более властный. Но он *похож* на голос Генри... и не верить невозможно. — *Это во-первых. Ты не сходишь с ума. Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО другой человек.*

Это телепатия?

Эдди смутно сознавал, что его лицо абсолютно ничего не выражает. Он подумал, что в данных обстоятельствах его следовало бы за это объявить победителем академического Конкурса на звание Лучшего актера года. Он посмотрел в окно и увидел, что самолет подруливает к сектору авиакомпания «Дельта» терминала международного аэропорта Кеннеди.

Я не знаю этого слова. Но вот что я знаю точно: эти две военные женщины знают, что ты везешь...

Пауза. Чувство — невыразимо странное — будто призрачные пальцы роются у него в мозгу, словно он — живая картотека.

...героин или кокаин. Я не могу сказать, который из них, но... не думаю, кокаин, потому что ты везешь то, чем не пользуешься, чтобы купить то, что употребляешь.

— Какие военные женщины? — тихим голосом пробормотал Эдди. Он совершенно не сознавал, что говорит вслух. — Ты о чем, черт возьми, гово...

Опять это ощущение, что ему дали пощечину... такое реальное, что он почувствовал, как у него зазвенело в голове.

Заткнись, осел проклятый!

Да ладно, ладно! Ой, мама!

Теперь опять ощущение роющихся пальцев.

Военные стюардессы, ответил чужой голос. Ты меня понимаешь? У меня нет времени копаться в каждой твоей мысли, невольник.

— Как ты... — начал было Эдди, потом закрыл рот. *Как ты меня назвал?*

Неважно. Ты давай слушай. Времени очень-очень мало. Они знают. Военные стюардессы знают, что у тебя есть этот кокаин.

Откуда они могут знать? Это чушь!

Я не знаю, каким образом они узнали, и это неважно. Одна из них сказала возницам. Возницы скажут тем жрецам, которые совершают эту церемонию, это Прохождение Таможенного Досмотра...

Голос у него в голове говорил каким-то странным, таинственным языком, выражения были такими нелепыми, что это было почти мило... но смысл сказанного Эдди понял очень и очень отчетливо. Хотя лицо Эдди по-прежнему ничего не выражало, зубы его, больно стукнув, сжались, и он тихонько, зло присвистнул сквозь них.

Голос говорил, что игра окончена. Он еще даже из самолета не вышел, а игра уже закончилась.

Но это же не вразравду. Это никак не может быть вразравду. Это просто его мозг в последний момент решил сплясать ему эдакую

маленькую параноидную джигу, вот и все. Он не будет обращать на это внимания. Просто будет игнорировать, и оно прекра...

«Ты НЕ будешь это игнорировать, иначе ты отправишься в темницу, а я умру!» — проревел голос.

«Да кто ты, черт возьми, такой?» — неохотно, со страхом спросил Эдди — и услышал, как у него в голове кто-то (или что-то?) испустил глубокий, шумный вздох облегчения.

10

«Поверил, — подумал стрелок. — Благодарение всем богам, какие только есть или когда-нибудь были, поверил!»

11

Самолет остановился. Надпись «ПРИСТЕГНИТЕ РЕМНИ» погасла. Трап подкатился к самолету и глухо стукнулся о левую переднюю дверь.

Прибыли.

12

«Есть одно место, где ты сможешь все оставить, пока будешь совершать обряд Прохождения Таможенного Досмотра, — сказал голос. — Надежное место. А потом, когда уйдешь отсюда, сможешь снова взять и отнести этому Балазару».

Пассажиры начали вставать с мест, доставать вещи из ячеек наверху, пытались пристроить куда-то куртки, надевать которые, как объявили из пилотской кабины, не стоило из-за жары.

Возьми куртку. Возьми сумку. А потом опять пойдй в нужник.

Нуж...

Ах, да. В туалет. В переднем отсеке.

Если они считают, что я везу марафет, они подумают, что я хочу его скинуть.

Но Эдди понимал, что это-то как раз не имеет значения. Они не станут прямо так ломать дверь, потому что это может напугать пассажиров. И они понимают, что невозможно спустить два фунта кокаина в самолетный унитаз и не оставить какого-то следа. Если, конечно, голос говорит правду... что есть какое-то безопасное место. *Но как же это может быть?*

Не твое дело, будь ты проклят! ПОШЕВЕЛИВАЙСЯ!

И Эдди зашевелился. Потому что до него, наконец, дошло, каково положение вещей. Он не видел всего того, что было видно Роланду при его возрасте и школе, которую он прошел — смеси пыток и точности; но ему видны были лица стюардесс — их настоящие лица, скрытые за улыбками и услужливостью, с которой они подавали пассажирам чеклы с одеждой и картонки, сложенные в стенном шкафу

переднего отсека. Он видел, как они то и дело украдкой бросают на него быстрые, словно удары бича, взгляды.

Он достал свою сумку. Достал куртку. Дверь к трапу была открыта, и пассажиры уже шли по проходу. Дверь пилотской кабины была распахнута, и там стоял капитан... и тоже улыбался, но тоже смотрел на пассажиров в салоне первого класса, которые еще собирали вещи, взглядом нашел его — нет, *прицелился* в него взглядом — а потом снова отвел глаза, кивнул кому-то, взъерошил какому-то мальчугану волосы.

Эдди стало холодно. Не из-за ломки. Просто холодно. И этот голос у него в голове был тут ни при чем. Холодно — иногда это бывает даже кстати. Вот только надо следить, чтобы от этого холода не превратиться в ледышку.

Эдди пошел вперед, дошел до места, где, чтобы попасть к трапу, надо было свернуть налево — и вдруг зажал рот рукой.

— Мне нехорошо, — пробормотал он. — Извините. — Он прикрыл дверь кабины, которая слегка загораживала дверь в передний отсек первого класса, и открыл дверь туалета справа.

— Боюсь, что вам придется выйти из самолета, — резко сказал пилот, когда Эдди открывал дверь туалета. — Уже...

— По-моему, меня сейчас вырвет, и я не хочу, чтобы все попало вам на ботинки, — сказал Эдди. — Да и на мои.

Через секунду он уже был в туалете, за закрытой дверью. Капитан что-то говорил. Эдди не мог разобрать, что именно, он *не хотел* разбирать. Главное, что тот говорил спокойно, а не орал. Эдди был прав, никто не станет орать, когда около двухсот пятидесяти пассажиров еще ждут своей очереди, чтобы выйти из самолета через единственную переднюю дверь. Он в туалете, временно — в безопасности, но какой ему от этого толк?

«Если ты здесь, — подумал он, — так давай делай что-нибудь, да побыстрее, кто бы ты ни был».

В течение одной страшной секунды ничего не происходило. Это была короткая секунда, но в сознании Эдди Дийна она растянулась, казалось, почти до вечности, как турецкие тянучки «Бономо», которые Генри иногда покупал ему в детстве; если он вел себя плохо, Генри лупил его, как сидорову козу, а если хорошо, то Генри покупал ему турецкие тянучки. Таким образом Генри во время летних каникул справлялся со своей возросшей ответственностью.

«О, Господи Иисусе, я это все себе вообразил, о, Боже, как я мог быть таким сумас...»

Приготовься, — сказал угрюмый голос. — *Мне одному не справиться. Я могу ВЫДВИНУТЬСЯ ВПЕРЕД, но не могу заставить тебя ПРОЙТИ НА ТУ СТОРОНУ. Ты должен сделать это вместе со мной. Повернись.*

Вдруг Эдди стал видеть двумя парами глаз, ощущать двумя комплектами нервов (но не все нервы этого другого были на месте; у

другого не хватало каких-то частей тела, он потерял их недавно, ему было больно до крика), чувствовать десятью чувствами, думать двумя мозгами, гнать кровь двумя сердцами.

Он повернулся. В боковой стенке туалета была дыра, дыра, похожая на дверной проем. Через нее Эдди увидел морской берег с крупным серым песком и разбивающиеся на нем волны цвета старых физкультурных носков.

Ему был слышен шум этих волн.

Его нос чуял запах соли, запах горький, как слезы.

Проходи.

Кто-то колотил в дверь туалета, говорил, чтобы он вышел, чтобы он немедленно покинул самолет.

Проходи же, чтоб тебя!

Эдди со стоном шагнул в дверной проем... споткнулся... и упал в другой мир.

13

Он медленно поднялся на ноги и заметил, что порезал ладонь краем ракушки. Он тупо смотрел на кровь, заливающую линию жизни, потом увидел, что справа от него медленно встает с песка какой-то человек.

Эдди попытался; чувство потери ориентировки и сонной растерянности внезапно вытеснил острый ужас: этот человек был мертв, но не знал этого. Лицо у него было изможденное, кожа лица обтягивала кости, как полоски материи, обернутые вокруг острых металлических углов так туго, что, казалось, еще чуть-чуть — и они разорвутся. Он был иссиня-бледен, за исключением пятен лихорадочного румянца высоко на скулах, красных пятен на шее, под углами челюсти с обеих сторон, и одного круглого пятна между глазами, словно нарисованного ребенком, пытавшимся изобразить индусский знак касты.

Но глаза у него были живые — голубые, с твердым взглядом, не безумные, полные грозной и упрямой жизненной силы. На человеке была темная одежда из какой-то домотканой материи — черная, выгоревшая почти до серого цвета рубашка с закатанными рукавами, синие штаны, похожие на джинсы. Он был накрест опоясан патронными лентами, но почти все гнезда были пусты. В кобурах лежали револьверы, вроде бы сорок пятого калибра — но невероятно старинные. Гладкое дерево их рукояток, казалось, светилось собственным внутренним светом.

Эдди не знал, что собирается заговорить — что у него есть, что сказать, — но, тем не менее, услышал свой голос: «Ты кто — привидение?»

— Пока нет, — прохрипел человек с револьверами. — Бес-трава. Кокаин. Или как ты его называешь. Снимай рубаху.

— У тебя руки... — Эдди их увидел. Руки человека, выглядевшего, как какой-то нелепый стрелок, какого можно увидеть только в самом паршивом вестерне, были испещрены яркими, зловещими багровыми полосами. Эдди отлично знал, что это за полосы. Они означали заражение крови. Они означали, что дьявол не просто дышит тебе в задницу, а уже ползет по канализационным трубам, которые ведут к твоему насосу.

— Отъ**ись от моих рук, понял? — сказала ему бледное видение. — *Снимай рубаху и отцепляй эти штуки!*

Эдди слышал шум волн; слышал тоскливый вой ветра, не ведающего преград; видел этого умирающего безумца, а кроме него — только запустение; но позади себя он слышал негромкие голоса пассажиров, выходящих из самолета, и непрерывный глухой стук.

— Мистер Дийн! — «Этот голос — в другом мире», — подумал он. Не то, чтобы он в этом сомневался; он просто старался вбить это себе в голову, как вбивают гвоздь в толстый кусок красного дерева. — Вам все-таки придется...

— Можешь оставить это здесь, заберешь потом, — прохрипел стрелок. — О боги, неужели ты не понимаешь, что здесь я должен *разговаривать*? А это больно! И времени же нет, болван!

Были люди, которых Эдди убил бы за такое слово... но он подумал, что убить этого человека ему будет не так-то просто, хотя вид у него такой, словно убийство, возможно, пошло бы ему на пользу.

Однако в этих голубых глазах он ощущал истину; их лихорадочный блеск делал ненужными все вопросы.

Эдди начал расстегивать рубашку. Первым его порывом было просто сорвать ее, как сделал Кларк Кент, когда Лоис Лэйн привязали к рельсам или к чему-то такому, но в реальной жизни это никуда не годилось: рано или поздно пришлось бы объяснять, почему столько пуговиц оторвано. Так что он стал расстегивать их, а стук позади него продолжался.

Он рывком вытащил рубашку из джинсов, стащил ее и бросил на песок, открыв обмотавшую грудь клейкую ленту. Он был похож на человека на окончательном этапе выздоровления после тяжелого перелома ребер.

Он бросил быстрый взгляд назад и увидел открытую дверь... ее нижний край прочертил на сером песке веерообразный след, когда кто-то — надо полагать, этот умирающий — ее открыл. Сквозь проем двери Эдди был виден туалет первого класса, раковина, зеркало... а в нем — его собственное лицо, полное отчаяния, черные волосы, упавшие на лоб, на зеленовато-карие глаза. На заднем плане он увидел стрелка, берег и парящих над ним морских птиц, которые гадтели и дрались неизвестно над чем.

Эдди теребил ленту, не зная, как начать, как найти свободный конец, и его охватили растерянность и безнадежность. Так, наверное, чувствует себя олень или кролик, когда до половины перейдет шоссе

и повернет голову — и оцепенеет в безжалостном ослепительном свете приближающихся фар.

Уильяму Уилсону, человеку, чье имя прославил По, понадобилось двадцать минут, чтобы обмотать его липучкой. Чтобы открыть дверь в туалет первого класса, им понадобится пять минут, самое большое — семь.

— Мне не снять это говно, — сказал он человеку, который, шатаясь, стоял перед ним. — Я не знаю, кто ты и где я, но я тебе говорю — ленты слишком много, а времени слишком мало.

14

Когда капитан Макдоналд, раздосадованный тем, что 3-А не реагирует на его слова, начал колотить в дверь, Дийр, второй пилот, посоветовал ему бросить это дело.

— Да куда он денется? — спросил Дийр. — Что он может сделать? В унитаз сам себя спустить? Крупноват он для этого.

— Но если он везет... — начал Макдоналд.

Дийр, который сам не раз и не два нюхал кокаин, сказал:

— Если везет, то везет много. Ему от него не избавиться.

— Отключить воду, — вдруг резко приказал Макдоналд.

— Уже, — ответил штурман (который тоже любил при случае понюхать — только не табак). — Но не думаю, чтобы это имело значение. Можно растворить в бачке столько, сколько войдет, но сделать, чтобы его там не оказалось, невозможно.

Они столпились у двери туалета, на которой издевательски светилась надпись ЗАНЯТО; все говорили вполголоса. «Ребята из УБН¹ сольют из бачков воду, возьмут пробу — и малый спекся».

— Он всегда сможет сказать, что кто-то заходил до него и скинул эту штуку, — возразил Макдоналд. Голос у него становился все более раздраженным. Ему хотелось не разговаривать об этом, а что-то с этим делать, принимать какие-то меры, хотя он отчетливо сознавал, что пассажиры все еще выходят гуськом, и многие с особенным любопытством поглядывают на пилотов и стюардесс, собравшихся у двери туалета. Экипаж, со своей стороны, отчетливо сознавал, что какие-либо слишком откровенные, открытые действия могут разбудить страшный призрак террориста, который в наше время таится в глубине сознания каждого авиапассажира. Макдоналд знал, что его штурман и бортинженер правы, знал, что наркотик скорее всего упакован в пластиковые пакеты, на которых остались отпечатки пальцев этого говнюка, и все равно он слышал, как у него в мозгу звучит сигнал тревоги. Что-то у него внутри кричало: «Жулик! Жулик!», словно этот малый из кресла 3-А был пароходным шулером и держал наготове полный рукав тузов.

¹ УБН — Управление по борьбе с наркобизнесом.

— Он не пытается спустить воду, — сказала Сюзи Дуглас. — Он даже не пытается открыть краны умывальника, а то мы бы услышали, как в них хлопает воздух. Я слышу что-то, но...

— Уходите, — коротко приказал Макдоналд. Его взгляд скользнул по Джейн Дорнинг. — Вы тоже. Мы здесь сами справимся.

Джейн повернулась, чтобы уйти; щеки ее горели.

Сюзи спокойно сказала:

— Джейн его вычислила, а я заметила выпуклости у него под рубашкой. Мы, пожалуй, останемся, капитан Макдоналд. Если хотите подать на нас рапорт о неподчинении командиру — подавайте. Но я хочу, чтобы вы не забывали, что можете сорвать УБН, возможно, очень крупную операцию.

Их взгляды столкнулись, точно сталь с кремнем, высекая искры.

Сюзи сказала:

— Мак, я летала с вами раз семьдесят-восемьдесят. Я вам добра желаю.

Макдоналд еще секунду смотрел на нее, потом кивнул.

— Можете остаться. Но я хочу, чтобы вы отошли на шаг назад, к кабине.

Он приподнялся на цыпочки, оглянулся назад и увидел конец очереди, который как раз переходил из третьего класса во второй. Еще две минуты, ну три.

Капитан повернулся к встречающему пассажиров агенту компании, который стоял у люка и внимательно смотрел на них. Как видно, он понял, что возникли какие-то сложности, потому что достал из футляра свою переносную рацию и держал ее в руке.

— Скажи ему, чтобы он прислал мне сюда таможенников, — тихо сказал Макдоналд штурману. — Трех или четверых. Сейчас же.

Штурман, бесечно усмехаясь и извиняясь, протолкался через очередь и тихонько поговорил с агентом, который поднес рацию к рту и что-то тихо сказал в нее.

Макдоналд, который ни разу в жизни не принимал ничего более сильнодействующего, чем аспирин, да и то очень редко, повернулся к Дийру. Губы его были сжаты в тонкую, белую, как шрам, черту.

— Как только выйдет последний пассажир, мы взломаем дверь этой сральни, — сказал он. — И мне плевать, будут здесь таможенники или нет. Ясно?

— Вас понял, — ответил Дийр и стал смотреть, как хвост очереди проходит в первый класс.

15

— Достань мой нож, — сказал стрелок. — Он у меня в кошельке.

Он показал рукой на потрескавшийся кожаный мешок, лежавший на песке. Мешок был похож не столько на кошелек, сколько на большой

рюкзак; такие, должно быть, несли хиппи, когда шли по аппалачскому маршруту, тащась от красоты природы (а время от времени, может, и от косячка), только этот выглядел, как настоящий, а не как бутафория, помогающая какому-нибудь торчку поддерживать свое собственное представление о себе; как вещь, которая много-много лет сопровождала хозяину в трудных — быть может, невыносимо трудных — странствиях.

Показал рукой, а не пальцем. Он *не мог* показать пальцем. Эдди понял, почему правая рука у этого человека была обмотана грязным обрывком рубахи: у него были оторваны несколько пальцев.

— Возьми нож, — сказал незнакомец. — Перережь ленту. Постарайся не порезаться. Это нетрудно. Тебе надо быть осторожным, но все равно придется управляться быстрее. Времени мало.

— Знаю, — сказал Эдди и стал на колени на песок. Все это происходило не на самом деле. Вот в чем штука, вот чем все объясняется. Как сформулировал бы Генри Дийн, великий мудрец и выдающийся торчок, *прыг да скок, туда-сюда, крыша едет — не беда; жизнь — лишь сон, а мир — фуфло. Это, братец, западло, только ты не унывай, а лучше вмажемся давай.*

Все это не вразравду, это все — необычайно живой глюк, так что самое лучшее — не дергаться, а плыть по течению.

Но глюк был до невозможности живой. Эдди потянулся к «молнии» — или, может, кошель застегивался на липучки — и увидел, что он крест-накрест зашнурован сыромятными ремешками; некоторые порвались и были тщательно связаны, и узелки были такими маленькими, чтобы не застревать в окруженных металлическими колечками отверстиях.

Эдди расшнуровал мешок, растянул горловину и нашел нож под сыроватым свертком — обрывком рубахи, в который были увязаны патроны. От одного только вида рукоятки у него захватило дух... она была из настоящего серебра, глубокого, мягкого серо-белого цвета, и на ней был выгравирован замысловатый узор, привлекавший взгляд, приковывавший его...

В ухе у Эдди взорвалась боль, с ревом пронизала голову насквозь, на миг застлала глаза красным туманом. Он неуклюже споткнулся о раскрытый кошель, упал на песок и снизу вверх взглянул на бледного человека в сапогах с отрезанными голенищами. Это был совсем даже не глюк. Голубые глаза, пылавшие на этом умирающем лице, были глазами самой истины.

— Любоваться будешь после, невольник, — сказал стрелок. — Сейчас воспользуюсь им — и только.

Эдди чувствовал, как ухо у него пульсирует, распухает.

— Почему ты меня все время так называешь?

— Разрежь ленту, — мрачно сказал стрелок. — Если они вломятся в оный нужник, пока ты еще здесь, то ты — такое у меня чувство — останешься здесь очень надолго. И вскоре — в обществе трупа.

Эдди вытащил нож из ножен. Не старинный; больше, чем старинный; больше, чем древний. Лезвие, отточенное почти до невидимости, казалось, впитало в металл все века.

— Да, видать, острый, — сказал он, и голос у него дрогнул.

16

Последние пассажиры гуськом выходили на трап. Одна из них, дама весен эдак семидесяти, остановилась возле Джейн Дорнинг с тем мучительно-растерянным выражением лица, какое, кажется, свойственно только людям, которые впервые летят на самолете в очень немолодом возрасте или очень плохо зная английский язык, и стала показывать ей свои билеты. «Как же я найду свой самолет на Монреаль? — спрашивала она. — И что будет с моим багажом? Когда мне проходить досмотр — здесь или там?»

— На верхней площадке трапа будет стоять агент нашей авиакомпании, который сообщит вам все необходимые сведения, мэм, — сказала Джейн.

— Ну, уж не знаю, почему *вы* не можете дать мне все необходимые сведения, — возразила старушка. — На этом вашем трапе все еще полно народу.

— Проходите, пожалуйста, сударыня, не задерживайтесь, — сказал капитан Макдоналд. — У нас тут возникла проблема.

— Что ж, прошу прощения, что я вообще еще не умерла, — обиженно сказала старушка. — Я, как видно, просто свалилась с катафалка.

И прошествовала мимо них, задрав нос, как собака, учуявшая еще довольно далекий костер, зажав в одной руке дорожную сумку, а в другой — папку с билетами (из нее торчало такое множество корешков посадочных талонов, что впору было подумать, что эта леди облетела почти весь земной шар, меняя самолеты в каждом аэропорту).

— А эта дамочка, пожалуй, больше не станет летать на реактивных лайнерах компании «Дельта», — пробормотала Сьюзи.

— А мне насрать, пусть хоть у супермена в портках летает, — ответил Макдоналд. — Она последняя.

Джейн метнулась мимо них, оглядела места во втором классе, потом заглянула в главный салон. Там никого не было.

Она вернулась и доложила, что самолет пуст.

Макдоналд обернулся к трапу и увидел, что сквозь толпу проталкиваются два таможенника в форме, извиняясь, но не давая себе труда оглядываться на людей, которых они оттолкнули. Последней из этих людей была та самая старушка; она уронила свою папку с билетами, бумажки рассыпались и летали вокруг, а она с пронзительными криками гонялась за ними, как рассерженная ворона.

— Ладно, — сказал Макдоналд, — вы, ребята, здесь и оставайтесь.

— Сэр, мы — служащие Федеральной таможни...

— Правильно, и я вас вызвал, и я рад, что вы прибыли так быстро. А теперь вы стойте, где стоите, потому что это — мой самолет, и тип, который там засел, — один из моих пассажиров. Как только он выйдет из самолета и ступит на трап, он станет вашим, и можете делать с ним, что хотите. — Он кивнул Дийру. — Я дам этому сукину сыну еще один шанс, а потом будем ломать дверь.

— Я не против, — ответил Дийр.

Макдоналд заколотил ладонью по двери туалета и заорал:

— А ну, друг, выходи! Я больше просить не буду!

Ответа не было.

— Ладно, — сказал Макдоналд. — Поехали.

17

Эдди смутно слышал, как старуха говорила: «Что ж, прошу прощения, что я вообще еще не умерла! Я, как видно, просто свалилась с катафалка!»

Он разрезал уже половину клейкой ленты. Когда старуха заговорила, у него дрогнула рука, и он увидел, что по животу у него течет тоненькая струйка крови.

— Зараза! — выругался он.

— Теперь ничего не поделаешь, — сказал стрелок своим хриплым голосом. — Заканчивай скорей. Или при виде крови тебе становится душно?

— Только при виде своей, — ответил Эдди. Лента начиналась у него над самым животом. Чем выше он резал, тем хуже ему было видно. Он разрезал еще около трех дюймов и чуть не порезался еще раз, когда услышал, как Макдоналд говорит таможенникам: «Ладно, вы, ребята, здесь и оставайтесь».

— Я могу закончить и, может, разрезать себе все до кости, — сказал Эдди, — или, может, попробуешь ты. Мне не видно, что я делаю. Подбородок, б**дь, мешает.

Стрелок взял нож в левую руку. Рука тряслась. При виде того, как дрожит этот клинок, отточенный до самоубийственной остроты, Эдди стало очень не по себе.

— Может, я лучше сам попро...

— Подожди.

Стрелок устремил на свою левую руку напряженный, неподвижный взгляд. Эдди не то, чтобы не верил в телепатию, но не очень-то и верил в нее. Тем не менее сейчас он уловил нечто... нечто столь же реальное и осязаемое, как жар, пышущий от духовки. Через несколько секунд он понял, что это такое; концентрация воли этого странного человека.

«Какой же он, к черту, умирающий, если я так мощно чувствую его силу?»

Дрожь в руке стала ослабевать. Вскоре рука только еле-еле вздрагивала. Через десять секунд, не больше, она была неподвижна, как скала.

— Ну, так, — сказал стрелок. Он шагнул вперед, поднял нож, и Эдди почувствовал другой жар, исходивший от него, — зловещий жар лихорадки.

— Ты левша? — спросил Эдди.

— Нет, — ответил стрелок.

— О, Господи, — сказал Эдди и решил, что, может, почувствует себя получше, если на минуточку закроет глаза. Он слышал жесткий шорох расходящейся под ножом ленты.

— Ну, вот, — сказал стрелок и отступил на шаг. — Теперь отлеплай, сколько сможешь. А я займусь спиной.

В дверь туалета перестали вежливо стучать и заколотили кулаками. «Пассажиры вышли, — подумал Эдди. — Китайским церемониям конец. Ох, мать твою...»

— А ну, друг, выходи! Я больше просить не буду!

— *Дерни* как следует, — негромко прорычал стрелок.

Эдди ухватил каждой рукой толстый слой пластыря и рванул, что было сил. Больно было до чертиков. «Кончай ныть, — подумал он. — Могло быть хуже. Вдруг бы у тебя грудь была волосатая, как у Генри».

Он опустил глаза и увидел, что у него на коже поперек грудины тянется красная полоса раздражения, шириной дюймов примерно семь. Над самым солнечным сплетением, там, где он укололся ножом, кровь взбухла в проколе и красной струйкой сбегала к пупку. Пакеты с наркотиками теперь болтались у него под мышками, как плохо притороченные переметные сумы.

— Ладно, — сказал кому-то приглушенный голос за дверью туалета. — Поеха...

Остального Эдди не расслышал из-за неожиданно рванувшей боли в спине — это стрелок бесцеремонно сорвал с него остаток ленты.

Он стиснул зубы, чтобы не вскрикнуть.

— Надевай рубашу, — сказал стрелок. Его лицо (раньше Эдди думал, что живой человек не может быть бледнее этого) теперь приобрело цвет старого пепла. Несколько секунд он держал в руке опояску из клейкой ленты (теперь она слипалась в бессмысленную паутину, и большие пакеты с белым порошком казались странными коконами), потом отбросил ее в сторону. Эдди увидел, что через тряпку, которой была замотана правая рука стрелка, просачивается свежая кровь. — Да пошевеливайся.

Послышался глухой удар. Это был не просто сильный стук в дверь. Эдди поднял глаза как раз вовремя, чтобы увидеть, как задрожала дверь туалета, как замигали в нем лампы. Он понял, что они ломают дверь.

Он взял рубашку пальцами, ставшими, как ему показалось, слишком большими, слишком неуклюжими. Левый рукав был вывер-

нут наизнанку. Он попытался пропихнуть его через пройму, рука у него застряла, и он выдернул ее так резко, что опять вывернул рукав наизнанку.

Бух, — и дверь туалета опять затряслась.

— О, боги, как же ты неуклюж! — простонал стрелок и сам засунул кулак в левый рукав рубашки Эдди. Когда стрелок стал вытаскивать кулак, Эдди ухватил манжету. После этого стрелок подал ему рубашку, как дворецкий подает хозяину фрак. Эдди надел ее и потянулся к нижней пуговице.

— Погоди! — рывкнул стрелок и оторвал еще кусок от своей рубашки, которой оставалось все меньше и меньше. — Вытри брюхо!

Эдди вытер, как сумел. Из дырочки в коже, проколотой ножом, все еще сочилась кровь. Да, клинок оказался острым. И даже очень.

Он бросил на песок окровавленный лоскут рубахи стрелка и застегнул свою рубашку.

Бух! На этот раз дверь не только затряслась; она прогнулась. Взглянув сквозь проем двери на берегу, Эдди увидел, как стоявший возле раковины флакон с жидким мылом упал прямо на его сумку.

Он хотел заправить рубашку, которая была уже застегнута (и, как ни странно, застегнута правильно), в штаны, но вдруг его осенило. Вместо этого он расстегнул пояс.

— На это нет времени! — Стрелок понял, что хочет заорать, но не может. — Эта дверь выдержит еще один удар, не больше!

— Я знаю, что делаю, — ответил Эдди, надеясь, что это действительно так, и шагнул назад, через дверь между двумя мирами, на ходу расстегивая на джинсах кнопки и молнию.

Спустя секунду, полную отчаяния и безнадежности, стрелок последовал за ним, миг назад — тело, страдающее и переполненное жгучей физической болью, миг спустя — лишь холодно-спокойное *ка* в голове Эдди.

18

— Еще разок, — мрачно сказал Макдоналд, и Дийр кивнул. Теперь, когда все пассажиры сошли не только с самолета, но и с трапа, таможенники достали оружие.

Ну!

Оба летчика с размаха ударили в дверь. Она распахнулась, обломок ее на мгновение повис в замке, потом упал на пол.

Перед ними на унитазах восседал мистер 3-А. Штаны у него были спущены до колен, полы выгоревшей рубашки в узорчатую полоску едва прикрывали срам. «Да, застукать-то мы его застукали, — устало подумал капитан Макдоналд. — Вот только беда-то в том, что дело, за которым мы его застукали, насколько мне известно, не противозаконное». Внезапно он ощутил, как ноет у него плечо, которым он бил в дверь — сколько раз? Три? Четыре?

Вслух он рявкнул:

— Какого дьявола вы здесь делаете, мистер?

— Ну, вообще-то я облегчался, — сказал Эдди, — но, если вам *всем сразу* приспичило, то я могу подтереться и в здании аэровокзала...

— А нас ты, умник, конечно, не слышал?

— А мне до двери было не дотянуться. — 3-А вытянул руку, чтобы продемонстрировать и, хотя дверь сейчас висела на одной петле у стены слева от него, капитан Макдоналд видел, что он прав. — Наверно, я мог бы встать, но я, понимаете, оказался лицом к лицу с кошмарной ситуацией, правда, не то, чтоб лицом, если вы понимаете, о чем я. И не то, чтобы мне хотелось попасть в *это* лицом, опять же, если вы понимаете, о чем я. — 3-А улыбнулся обаятельной, чуть глуповатой улыбкой, которая показалась капитану Макдоналду такой же фальшивой, как девятидолларовая бумажка. Послушать его, так подумаешь, что ему никто никогда в жизни не объяснил и не показал, как нужно наклоняться вперед.

— Вставайте, — сказал Макдоналд.

— С удовольствием. Вы только попросите дам малость отойти, а? — 3-А очаровательно улыбнулся. — Я знаю, что в наше время это уже отжило свой век, но ничего не могу поделать. Я застенчив. И, по правде сказать, мне есть чего стесняться, ох, есть. — Он приподнял левую руку, раздвинув большой и указательный пальцы примерно на полдюйма, и подмигнул Джейн Дорнинг, которая залилась ярким румянцем и мгновенно вылетела на трап, а за ней по пятам умчалась Сьюзи.

«Вид-то у тебя не застенчивый, — подумал капитан Макдоналд. — Вид-то у тебя, как у кошки, которая только что добралась до сливок, вот какой у тебя вид».

Когда стюардессы скрылись из вида, 3-А встал и подтянул трусы и джинсы. Потом он потянулся в кнопку спуска воды, а капитан Макдоналд сразу же оттолкнул его руку, схватил его за плечи и резко повернул к проходу. Дийр сзади запустил руку за пояс штанов молодого человека.

— Не надо переходить на личности, — сказал Эдди. Тон у него был легкий и точно соответствовал ситуации — во всяком случае, он так думал, — но внутри у него все было словно в свободном падении. Он ощущал того, другого, отчетливо чувствовал его. Другой был внутри его сознания, внимательно следил за ним, был наготове, чтобы вмешаться, если Эдди фразернется. Боже милостивый, это все *должно* ему сниться, ведь правда? *Ведь правда?*

— Стоять тихо, — сказал Дийр.

Капитан Макдоналд заглянул в унитаз.

— Говна не видать, — сказал он и, когда штурман непроизвольно заржал, бросил на него свирепый взгляд.

— Ну, знаете, как бывает, — сказал Эдди. — Иногда примчишься, сядешь, а окажется ложная тревога. Но я дал парочку таких залпов —

куда там болотному газу. Если бы вы здесь три минуты назад зажгли спичку, тут можно было бы рождественскую индейку зажарить. Должно быть, я что-то съел перед посадкой, так я ду...

— Уберите его, — сказал Макдоналд, и Дийр, все еще держа Эдди сзади за штаны, вытолкал его из самолета на трап, где таможенники взяли его под руки, один — с одной стороны, другой — с другой.

— Але! — воскликнул Эдди. — А где моя сумка? И куртка?

— О, мы как раз хотим, чтобы *все* ваши вещи были при вас, — сказал один из таможенников. Его дыхание било Эдди в лицо. Из рта у него пахло маалоксом и повышенной кислотностью. — Ваши вещи нас очень интересуют. Пошли, дружок, пошли.

Эдди все время говорил им, чтобы они не волновались, успокоились, что он прекрасно может идти сам, но, как он подумал позже, носки его ботинок коснулись трапа всего раза два-три на всем расстоянии от люка до входа в аэровокзал, где стояли еще три таможенника и с полдюжины ментов из аэропортовой охраны; таможенники ждали Эдди, а менты сдерживали небольшую толпу, которая, пока его уводили, пялила на него глаза с испугом и жадным любопытством.

Глава четвертая

БАШНЯ

1

Эдди Дийн сидел на стуле. Стул стоял в маленькой белой комнатке. Это был единственный стул в маленькой белой комнатке. В маленькой белой комнатке было полно народу. В маленькой белой комнатке было накурено. Эдди был в одних трусах. Эдди хотелось курить. Остальные шесть — нет, семь человек в маленькой белой комнатке были одеты. Эти люди стояли вокруг него, окружая его плотным кольцом. Трое — нет, четверо из них курили сигареты.

Эдди хотелось дергаться и извиваться. Эдди хотелось поводить плечами и притопывать ногами.

Эдди сидел спокойно, расслабившись, и смотрел на окружающих его людей с веселым интересом, будто его не сводило с ума желание вмазаться, будто он не сходил с ума от клаустрофобии.

Причиной этому был *другой* в его сознании. Сперва он панически боялся этого *другого*. Теперь он благодарил Бога, что *другой* — здесь, с ним.

Может, *другой* и болен, и даже умирает, но стали в нем еще хватит, чтобы одолжить немного этому перепуганному двадцатилетнему торчку.

— До чего же интересная красная полоса у тебя на груди, Эдди, — сказал один из таможенников. В углу рта у него торчала сигарета. В кармане его рубашки лежала пачка сигарет. У Эдди было такое чувство, что, если бы он взял из этой пачки штук пять сигарет, набил бы ими рот от угла до угла, зажег бы их все и глубоко затянулся, может, на душе у него стало бы легче. — Она похожа на след от пластыря. Сдается, у тебя тут что-то было приклеено пластырем, а потом ты вдруг решил, что хорошо бы эту штуку отодрать и избавиться от нее.

— У меня на Багамах сделалась аллергия, — сказал Эдди. — Я ж вам говорил. В смысле, мы уже несколько раз все это проговаривали. Я пытаюсь не терять чувства юмора, но мне это дается все труднее.

— За**ись ты со своим чувством юмора, — яростно сказал другой таможенник; этот тон был знаком Эдди. Такой тон делался у него самого, когда ему случалось полночи на холоде прождать сбытчика, а тот так и не появлялся. Потому что эти мужики тоже были наркашами. Единственная разница заключалась в том, что для них наркотой были такие, как он и Генри.

— А как насчет дырки у тебя в пузе? Она-то у тебя откуда, Эдди? А? — третий таможенник показывал на то место, куда Эдди ткнул себя ножом. Кровь, наконец, унялась, но там еще был темно-красный застывший пузырек, который, казалось, лопнет сразу же — только тронь.

Эдди показал на красный след от клейкой ленты.

— Чешется, — сказал он. Это была правда. — Я в самолете заснул — если не верите мне, спросите стюардессу...

— Чего бы это мы тебе не верили, Эдди?

— Не знаю, — сказал Эдди. — Много вы видели контрабандистов, которые дрыхнут, когда везут товар? — Он секунду помолчал, чтобы они могли задуматься об этом, потом вытянул вперед руки. Некоторые ногти были обгрызаны, другие — обломаны. Он когда-то сделал открытие: в подходняке любимым лакомством вдруг становятся собственные ногти. — Я все время старался сдерживаться, не чесаться, но, как видно, пока спал, здорово разодрался.

— Или пока торчал. Это может быть след укола. — Эдди было ясно, что ни один из них так не думает. Если ширнуться так близко к солнечному сплетению (а оно для нервной системы — что панель управления), то больше тебе уже никогда не придется ширяться.

— Дайте передохнуть, — сказал Эдди. — Вы ко мне так близко придвинулись, что я уж думал — взапас целовать меня собрались. Не торчал я, и вы это знаете.

На лице третьего таможенника выразилось отвращение.

— Для невинного ягненочка, Эдди, ты что-то уж очень много знаешь про наркоту.

— Чего я не набрался из «Майами Вайс», то прочел в «Ридерз Дайджест». А теперь скажите мне правду — сколько раз мы еще будем в этом копать?

Четвертый таможенник показал ему маленький пластиковый пакетик. В нем было несколько волоконцев.

— Это — волокна. Мы их отправим в лабораторию, они нам подтвердят, но мы и так знаем, от чего они. Это волокна лейкопластыря.

— Я перед уходом из отеля не успел принять душ, — в четвертый раз сказал Эдди. — Я лежал у бассейна, загорал. Пытался избавиться от этой сыпи. От *аллергической сыпи*. И заснул. Мне еще чертовски повезло, что я вообще успел на самолет. Пришлось бежать, как угорелому. А был ветер. И откуда я знаю, что у меня прилипло к коже, а что — нет.

Еще один таможенник протянул к Эдди руку и провел пальцем по коже левой руки, на три дюйма вверх от локтевого сгиба.

— И это — не следы укулов.

Эдди оттолкнул его руку.

— Москиты покусали, говорил же я вам. Почти что зажили. Да что вы, елки-палки, сами не видите, что ли?

Они видели. Это дело было задумано далеко не вдруг. Эдди уже месяц как перестал ширяться в руку. Генри был на это не способен, и в этом заключалась одна из причин, почему послали Эдди, почему *пришлось* послать Эдди. Когда он уже *никак не мог* терпеть, он задвигался высоко-высоко в левое бедро, где к коже ноги прилегало левое яичко... так, как он сделал в ту ночь, когда смугловатый гаденыш наконец принес ему приличную наркоту. Больше же частью Эдди только нюхал, а Генри этого теперь было мало. Это вызывало чувства, которым Эдди не мог дать точного определения... смесь гордости и стыда. Если они посмотрят там, если они отодвинут яички, у него могут возникнуть серьезные проблемы. Анализ крови мог бы стать причиной еще более серьезных проблем, но этого они не могут потребовать, не имея хоть каких-нибудь доказательств — а доказательств-то у них как раз и нет. Никаких. Они все знают, но ничего не могут доказать. Хотеть не вредно, как сказала бы его любимая старушка мать.

— Москиты покусали.

— Да.

— А красная полоса — аллергия.

— Да. Она у меня уже была, когда я летал на Багамы, только не такая сильная.

— Она у него уже была, когда он летал туда, — сказал один из таможенников другому.

— Ага, — ответил тот. — Ты в это веришь?

— А как же!

— Ты и в Санта-Клауса веришь?

— А как же! Я, когда еще пацаном был, с ним один раз даже сфотографировался. — Он посмотрел на Эдди. — Эдди, а у тебя есть фотка этой знаменитой красной полосочки до того, как ты съездил на Багамы?

Эдди ничего не ответил.

— Если ты в порядке, почему бы тебе не согласиться на анализ крови? — Это сказал первый таможенник, с сигаретой в углу рта. Она скурилась уже почти до самого фильтра.

Эдди вдруг разозлился — до белого каления. Он прислушался к тому, что было внутри.

«Валяй», — сразу же ответил голос, и Эдди почувствовал нечто большее, чем согласие, он ощутил что-то вроде окончательного одобрения. От этого он почувствовал себя так же, как в детстве, когда Генри обнимал его, взъерошивал ему волосы, хлопал его по плечу и

говорил: «Ты молоток, парень, ты только не задавайся, но ты молоток».

— Вы же знаете, что я в порядке. — Он резко встал — так резко, что они попятились. Он взглянул на курильщика, стоявшего к нему ближе всех. — И вот что я тебе скажу, детка, если не уберешь от моего лица этот гвоздь от гроба, я его щас у тебя *вышибу*.

Таможенник отшатнулся.

— Вы уже вычерпали до дна бак под унитазом в самолетном сортире. Едрена вошь, вы за это время могли в нем три раза все перебрать. Вы перерыли все мои вещи. Я нагнулся и позволил одному из вас засунуть мне в задницу самый длинный в мире палец. Да если проверка простаты — это медосмотр, так *это* было е**ное сафари. Я вниз глянуть боялся, думал, увижу, как ноготь этого мужика у меня из *хера* торчит.

Он обвел их злым взглядом.

— В жопе у меня вы побывали, в вещах моих покопались, я тут сижу в одних трусах, а вы себе покуриваете да дым мне в морду пускаете. Анализа крови вам захотелось? Ладушки. Давайте сюда кого-нибудь, кто будет брать анализ.

Они зашушукались. Начали переглядываться. Удивились. Забеспокоились.

— Но если вы хотите взять у меня анализы без постановления суда, — продолжал Эдди, — то пускай тот, кто будет брать, захватит побольше шприцов и флакончиков, потому что, будь я проклят, если стану отдуваться один. Я требую, чтобы сюда пришел представитель федеральной полиции, и я требую, чтобы каждый из вас сдал те же гадские анализы, что и я, и чтобы на каждом флакончике были написаны ваши фамилии и номера удостоверений личности, и я требую, чтобы они были переданы этому представителю на хранение. И на что бы вы ни делали анализ мне — на кокаин, героин, беньки¹, да на что хотите — я требую, чтобы те же самые анализы делали и с вашими образцами. А потом чтобы результаты передали моему адвокату.

— Это ж надо, твоему адвокату, — воскликнул один из них. — Со всеми вами, засранцами, всегда этим кончается, правда, Эдди? Вы будете иметь дело с моим адвокатом. Я на вас моего адвоката напушу. Мне от этой хреновни *блевать* хочется.

— Собственно говоря, в данный момент адвоката у меня нет, — сказал Эдди, и это была правда. — Я не думал, что мне понадобится адвокат. Но вы меня заставили передумать. Вы ничего не нашли, потому что у меня и *нет* ничего, но ведь рок-н-ролл никогда не кончается, так? Хотите, значит, чтобы я плясал под вашу дудку? Отлично. Буду плясать. Только не один. Вам, мужики, тоже придется плясать.

¹ Беньки — бензедрин.

Наступило тяжелое, напряженное молчание.

— Мистер Дийн, я хочу вас попросить, снимите, пожалуйста, трусы еще раз, — сказал один из них. Этот был старше остальных. Этот, судя по виду, был их начальником. Эдди подумал, что, может быть — не точно, но может быть, — этот, наконец, догадался, где могут быть свежие следы. До сих пор они там не смотрели. Руки, плечи, ноги... но не там. Слишком они были уверены, что дело в шляпе.

— Мне надоело снимать трусы, спускать трусы, жрать дерьмо, — сказал Эдди. — Хватит. Позовите сюда, кого следует, и будем делать всем анализ крови — или я уйду. Ну? Что вы предпочитаете?

Опять такое же молчание. И, когда они начали переглядываться, Эдди понял, что победил.

Мы победили, — поправился он. — Как тебя зовут, парень?

Роланд. А тебя — Эдди. Эдди Дийн.

Ты хорошо умеешь слушать.

Слушать и наблюдать.

— Отдайте ему его одежду, — очень недовольным тоном сказал старший. Он взглянул на Эдди. — Я не знаю, что у вас было и куда вы его дели, но я вас предупреждаю: мы это выясним.

Старый хрен оглядел его с ног до головы.

— Вот вы здесь сидите. Сидите и чуть ли не ухмыляетесь. От того, что вы говорите, меня не тошнит. А тошнит меня от того, *что вы такое.*

— Так это *вас* тошнит от *меня*?

— Именно так.

— Вот это да, — сказал Эдди. — Вот это мне нравится. Я здесь сижу, в этой комнатенке, в одном исподнем, а вокруг меня — семеро мужиков при пушках, и *вас* от *меня* тошнит? Ну, мил-человек, проблема у вас серьезная.

Эдди шагнул к нему. Секунду таможенник держался, но потом что-то в глазах Эдди — какой-то сумасшедший цвет, казалось, наполовину карий, наполовину голубой — заставил его против воли отступить.

— ДА ПУСТОЙ Я! ПУСТОЙ, ЯСНО?! — заорал Эдди. — И ОТВАЛИТЕ ОТ МЕНЯ, НУ! ОТВАЛИТЕ НА ХРЕН! ОТВЯЖИТЕСЬ!

Опять — молчание. Потом старший повернулся к Эдди спиной и закричал на кого-то: «Вы что, не слышали, что я сказал? *Принесите его одежду!*»

Тем дело и кончилось.

2

— Вы думаете, что за нами хвост? — спросил таксист. Похоже, ему было смешно.

Эдди повернулся вперед.

— Почему вы так решили?

— Вы все смотрите в заднее окно.

— Я не думаю, что за нами хвост, — ответил Эдди. Это была чистая правда. Он этого не *думал*, он увидел хвосты в первый же раз, как обернулся. *Хвосты*, а не хвост. Ему незачем было оборачиваться, чтобы вновь и вновь убеждаться в их присутствии. В этот поздний послеполуденный час майского дня потерять такси, в котором ехал Эдди, было бы затруднительно даже амбулаторным пациентам лечебницы для умственно отсталых: машин на Лонг-Айлендской эстакаде почти не было. — Я просто изучаю дорожное движение, только и всего.

— Ах, вон что, — сказал таксист. В некоторых кругах столь странное заявление вызвало бы расспросы, но нью-йоркские таксисты редко задают вопросы; вместо этого они высказываются сами — категорически и, как правило, величественным тоном. Большая часть этих высказываний начинается фразой: «Уж этот город!», точно эти слова — религиозная формула, произносимая перед началом проповеди... И обычно так и оказывается. Этот таксист тоже ни о чем не просил, а сказал:

— Потому что если вы и *подумали*, что за нами — хвост, то ничего подобного. Я бы заметил. Уж этот город! Господи! Я в свое время много за кем следил. Вы себе не представляете, сколько людей впрыгивают в мое такси и говорят: поезжайте вон за той машиной. Я знаю, это звучит, как в кино, правильно? Правильно. Но, как говорится, искусство имитирует жизнь, а жизнь имитирует искусство. Так бывает на самом деле! А что касается того, как оторваться от хвоста, так нет ничего проще, если знать, как это делается. Надо...

Эдди отключился от тирады таксиста, так что она стала лишь фоном, и прислушивался лишь настолько, чтобы в нужных местах кивать. Если вдуматься, то трепотня таксиста была очень забавна. Одним из хвостов был темно-синий лимузин. Эдди догадался, что он — с таможни. Вторым был фургон с надписью на боках «Пицца Джинелли». Там была нарисована пицца в виде улыбающейся мальчишеской мордашки, и улыбающийся мальчик облизывался, а под картинкой была подпись: «МММММ! Какая ВКУУУСНАЯ пицца!» Но какой-то юный дизайнер-любитель, обладатель баллончика-спрея с краской и рудиментарного чувства юмора, зачеркнул в слове «пицца» обе буквы «ц» и написал сверху «з» и «д».

Джинелли. Эдди знал одного Джинелли; он держал ресторан под названием «Четыре предка». Но торговля пиццей была чисто побочным делом, так, для отвода глаз, на радость ревизорам. Джинелли и Балазар. Они были неразлучны, как сосиски и горчица.

Согласно первоначальному плану, перед аэровокзалом должен был ждать лимузин с водителем, готовый умять его в один салун в центре города — там была штаб-квартира Балазара. Но, разумеется, в первоначальный план не входили два часа в маленькой белой ком-

натке, два часа непрерывного допроса, который вела одна группа таможенников, а вторая группа сначала слила содержимое сантехнических баков рейса 901, а потом перерыла его, ища большую партию наркотиков, существование которой они тоже подозревали, такую большую, что ее невозможно было ни смыть, спустив воду, ни растворить.

Когда он вышел, никакого лимузина, естественно, не было. Водителю, конечно, были даны инструкции: если челнок не выйдет из аэровокзала минут так через пятнадцать после всех пассажиров, сваливай по-быстрому. У водителя, конечно, хватило ума не звонить из машины по телефону, потому что в ней стоит радиотелефон, и перехватить разговор по нему можно запросто. Балазар, надо думать, связался кое с кем, узнал, что у Эдди неприятности, и сам подготовился к неприятностям. Балазар, может, и не сомневается, что в Эдди есть стальной стержень, но при всем том Эдди как был наркашом, так и остался. А надеяться, что наркаш будет держаться до бесконечности, не приходится.

Значит, не исключена возможность, что фургон с пищей вдруг притормозит в соседнем с такси ряду, кто-нибудь высунет из окна кабины автомат, и задняя стенка такси вдруг станет похожа на залитую кровью терку для сыра. Эдди беспокоился бы сильнее, если бы его продержали не два часа, а четыре, а если бы его продержали не четыре, а шесть часов, он был бы очень встревожен. Но всего два... Эдди подумал, что Балазар не усомнится, что уж два-то часа он молчал. И захочет узнать насчет товара.

А настоящей причиной того, что Эдди оглядывался назад, была дверь. Она его завораживала.

Когда таможенники наполовину снесли, наполовину сволокли его вниз по трапу в административный сектор аэропорта Кеннеди, он оглянулся через плечо и увидел, что дверь — там, несомненно, неоспоримо реальная, хоть это и было невероятно; она плыла за ним на расстоянии примерно трех футов. Он видел, как волна за волной накатывается и разбивается на песке; видел, что там, за дверью, начинается смеркаться.

Эта дверь напоминала «загадочную картинку», в которой замаскировано какое-то изображение; сначала ты никак, хоть умри, не можешь его увидеть, но потом, когда ты его уже углядел, то никак не можешь перестать его видеть, как ни старайся.

Дверь исчезала дважды — оба раза, когда стрелок возвращался в свой мир без него, и это было страшновато: Эдди чувствовал себя, как ребенок, у которого перегорел ночник. Первый раз это случилось во время допроса на таможе.

Мне придется уйти. — Голос Роланда отчетливо прорезался сквозь очередной вопрос, который ему задавали. — *Всего на несколько минут. Не бойся.*

Почему? — спросил Эдди. — Почему тебе придется уйти?

— Что случилось? — спросил его один из таможенников. — У тебя вдруг сделался испуганный вид.

Эдди и вправду вдруг *почувствовал*, что испугался, но чего именно — этому придурку все равно было бы не понять.

Он оглянулся назад, через плечо, и таможенники тоже обернулись. Они видели только голую белую стену, обшитую белыми панелями с высверленными для приглушения звука дырочками; а Эдди видел дверь, как обычно — на расстоянии трех футов (теперь она была вмонтирована в стену этой комнаты — запасный выход, который не мог видеть никто из допрашивающих). Но он видел не только дверь. Он видел, как из волн выходят *чудища, чудища*, словно сбежавшие из фильма ужасов, где эффекты немного более натуральны, чем хотелось бы зрителю, настолько натуральны, что реальным кажется все. Они были похожи на омерзительную и страшную помесь креветки, омара и паука. Они издавали какие-то странные, жуткие звуки.

— Что, Эдди, ломать начало? — спросил один из таможенников. — Мерещится, что по стене букашки-таракашки ползают?

Это было так близко к истине, что Эдди чуть не рассмеялся. Зато теперь он понял, почему этому Роланду пришлось уйти: сознание Роланда было, по крайней мере, в данный момент — в безопасности, но эти твари приближались к его телу, и Эдди подозревал, что если Роланд в ближайшее время не уберет его с того места, где оно находится сейчас, то очень может быть, что вскорости ему будет некуда вернуться — никакого тела не останется.

Внезапно он словно услышал, как Дэвид Ли Рот распевает во все горло: «О, у меняаа... нет никогооо...», и тут он действительно рассмеялся. Он не мог удержаться от смеха.

— Что это тебя так рассмешило? — спросил тот таможенник, что интересовался, не видит ли он букашек-таракашек.

— Вся эта ситуация, — ответил Эдди. — Хотя она не столько смешная, сколько странная. Я хочу сказать, если бы это был фильм, то не Вуди Аллена, а Феллини, если вы меня понимаете.

Ты тут справишься? — спросил Роланд.

Будь спок. Иди, парень, ЗСД.

Не понимаю.

Занимайся своими делами.

Ага. Ладно. Я ненадолго.

И вдруг этот *другой* исчез. Как струйка дыма, такая жиденькая, что легчайший ветерок мог бы унести ее прочь. Эдди снова оглянулся, не увидел ничего, кроме белых панелей с дырочками — ни двери, ни океана, ни жутких чудовищ — и почувствовал, как у него внутри все начинает сжиматься. Теперь уже не осталось никаких подозрений, что это все-таки, может быть, галлюцинация. Наркотик исчез, и этого доказательства Эдди вполне хватило. Но Роланд как-то... помогал. С ним было легче.

— Хочешь, чтобы я там картину повесил? — спросил кто-то из таможенников.

— Нет, — с тяжелым вздохом ответил Эдди. — Я хочу, чтобы вы меня отсюда выпустили.

— Как только скажешь нам, что ты сделал с героином, — ответил другой, — или это был «снежок»? — И все началось сначала: опять двадцать пять, снова-здорово, сказка про белого бычка.

Спустя десять минут — десять очень *длинных* минут — Роланд вдруг вновь оказался в сознании Эдди. Только что его не было — и вот он опять здесь. Эдди ощутил, что стрелок обессилен.

Управился? — спросил он.

Да. Извини, что так долго. — Пауза. — Мне пришлось ползти.

Эдди снова оглянулся. Дверь вернулась на место, но теперь вид на тот мир в ее проеме был немного другой, и он понял, что, как *здесь* дверь перемещается с ним, так *там* она перемещается с Роландом. От этой мысли его слегка передернуло. Получалось, будто он связан с этим *другим* некоей странной, жутковатой пуповиной. Тело стрелка, как и прежде, беспомощно валялось перед дверью, но теперь перед глазами Эдди простиралась длинная полоса песка до прибрежной полосы, где, урча и жужжа, бродили чудовища. Всякий раз, как о берег разбивалась волна, они все, как одно, вздымали вверх клешни. Было похоже на толпу в старых документальных фильмах, когда Гитлер говорит речь, а все дружно вскидывают руки и орут «зиг-хайль!», точно это для них вопрос жизни и смерти. Да, если задуматься, скорее всего, так и было. Эдди увидел на песке следы мучительного продвижения стрелка.

Пока Эдди смотрел, одна из кошмарных тварей с быстротой молнии вскинула клешню вверх и цапнула морскую птицу, которая спикировала слишком близко к берегу. На песок упали два брызжущих кровью куска — то, во что превратилась птица. Оба куска еще не перестали дергаться, а на них уже набросились покрытые панцирем чудовища. Вверх взлетело одно-единственное белое перо. Его тут же стащила вниз клешня.

«Мать честная, — тупо подумал Эдди. — Ты только глянь на эти клещи».

— Почему вы все время оглядываетесь на стену? — спросил главный.

— Мне время от времени требуется противоядие, — сказал Эдди.

— Против чего?

— Против вашей физиономии.

3

Таксист высадил Эдди у одного из зданий в «Кооперативном городке», поблагодарил за полученный на чай доллар и уехал. Эдди несколько секунд постоял, держа в руке сумку на молнии; куртку он

подцепил одним пальцем другой руки и перекинул через плечо. В этом доме, в квартире с двумя спальнями, он жил вместе с братом. Он постоял, глядя снизу вверх на дом — монолит, изящный и красивый, как кирпичная банка от сардинок. Множеством окон дом напоминал Эдди тюремный корпус, и эта картина угнетала его так же сильно, как Роланда — *другого* — изумляла.

Никогда, даже в детстве, не видывал я столь высоких строений, — сказал Роланд. — *А здесь их так много!*

Ага, — согласился Эдди. — *Мы живем, как муравьи в муравейнике. Тебе этот дом, может, и нравится, но я тебе говорю, Роланд, он стареет. Стареет в страшном темпе.*

Синий лимузин медленно проехал мимо них; фургон с рекламой пиццы повернул и стал приближаться к ним. Эдди замер и почувствовал, как внутри него замер Роланд. Может, они все-таки собираются его убрать?

Дверь? — спросил Роланд. — *Хочешь, мы уйдем через нее?* — Эдди чувствовал, что Роланд готов ко всему, но его голос был спокоен.

Пока нет, — ответил Эдди. — *Возможно, они только хотят поговорить. Но приготовься.*

Он чувствовал, что говорить это не было необходимости; ощущал, что Роланд, даже когда спит самым глубоким сном, больше готов двигаться и действовать, чем когда-либо, даже в минуту самого напряженного бодрствования, это удастся Эдди.

Фургон с улыбающимся мальчиком на боковой стенке подъехал почти что вплотную. Окошко кабины со стороны пассажирского сиденья опустилось, а Эдди стоял перед входом в свой дом, и перед ним, от носков его кроссовок, тянулась его длинная тень; Эдди ждал, что высунется из окошка: лицо или ствол.

4

Во второй раз Роланд покинул Эдди не более чем через пять минут после того, как таможенники, наконец, сдались и отпустили его.

Стрелок поел, но слишком мало; ему было необходимо утолить жажду; а больше всего ему было нужно лекарство. Эдди пока еще не мог помочь ему, дать ему то лекарство, которое действительно требовалось Роланду (хотя и подозревал, что стрелок прав, и Балазар мог бы сделать это... если бы захотел), но обыкновенный аспирин мог хотя бы сбить жар, который Эдди ощутил, когда стрелок подошел к нему вплотную, чтобы разрезать верхнюю часть пластыря. Он остановился перед газетным киоском в главном зале аэровокзала.

У вас, там, есть аспирин?

Никогда о нем не слышал. Что это — колдовство или лекарство?

Пожалуй, и то, и другое.

Эдди зашел в киоск и купил жестянку анацина усиленного действия. Потом подошел к стойке с закусками и купил пару «горячих собак»

длинной в фут и двойную порцию пепси-колы. Он уже начал мазать сосиски горчицей и кетчупом (Генри называл такие длинные «горячие собаки» «горячими Годзиллами») и вдруг вспомнил, что эта еда — не для него. А Роланд, может, вообще вегетарианец, кто его знает. Как знать, может, Роланд от этой штуки вообще отправится на тот свет.

Что ж, теперь уже поздно, — подумал Эдди. Когда Роланд говорил, когда Роланд действовал, Эдди знал, что все это происходит на самом деле. Когда Роланд не давал о себе знать, у Эдди, опять упорно появлялось дурацкое чувство, что это — сон, необычайно живой и похожий на явь, который ему снится в самолете (рейс 901 компании «Дельта», пункт назначения — аэропорт Кеннеди).

Роланд говорил ему, что может унести еду в свой мир. Что один раз он уже сделал это, пока Эдди спал. Эдди никак не мог в это поверить, но Роланд уверял, что это — правда.

Но нам все равно надо быть до фига осторожными, — сказал Эдди. — *Они ко мне приставили двоих с таможи. Или к нам. Вот черт, я уж теперь и сам не знаю, кто я и что я.*

Я знаю, что мы должны быть осторожны, — ответил Роланд. — *И их не двое, а пятеро.*

Внезапно Эдди испытал одно из самых странных в своей жизни ощущений: он почувствовал, что *кто-то водит* его глазами. Ими водил Роланд.

Мужчина в туристской майке разговаривал по телефону.

Женщина сидела на скамье и рылась в сумочке.

Молодой негр (он был бы потрясаяще красив, если бы не заячья губа, которую операция исправила лишь частично) разглядывал футболки, выставленные в киоске, из которого недавно вышел Эдди.

С виду все они были в порядке, но Эдди, тем не менее, распознал, что они собой представляют, и это было как с детскими загадочными картинками — когда найдешь скрытое в такой картинке изображение, больше уже ни за что не сможешь от него отделаться. Он почувствовал, что краснеет, потому что *другому* пришлось показать ему то, что он должен был сразу же увидеть сам. Он засек только двоих. Эти трое были чуть лучше, но уж не настолько; взгляд говорившего по телефону был не пустым, как бывает, когда представляешь себе собеседника, а живым; этот тип явно *смотрел*, его глаза, будто случайно, все время возвращались к месту, где стоял Эдди. Женщина с сумкой не находила в ней то, что искала, но и не бросала поисков, а без конца все рылась и рылась в ней. А покупатель мог бы за это время не меньше десяти раз пересмотреть все до единой футболки, висевшие на вращающейся стойке.

Эдди вдруг почувствовал себя так, словно ему снова пять лет и он боится переходить улицу, если Генри не держит его за руку.

Ничего, — сказал Роланд. — *И насчет еды тоже не беспокойся. Мне доводилось есть жуков, притом живых, так что они мне по горлу вниз сами бежали.*

Так-то оно так, — ответил Эдди, — *да только это — Нью-Йорк.*

Он отнес булочки и газировку на дальний конец прилавка и сел спиной к главному вестибюлю аэровокзала. Потом поднял взгляд на левый угол. Там, подобно выпученному глазу, торчало выпуклое зеркало. В нем Эдди были видны все, кто следил за ним, но ни один из них не стоял настолько близко, чтобы разглядеть еду и стакан с пепси, и это было очень кстати, потому что Эдди не имел ни малейшего понятия, что со всем этим будет.

Положи астин на эти мясные штуки. Потом возьми в руки все вместе

Аспирин.

Ладно, нев... Эдди, зови его хоть флютергорком, если хочешь. Только делай, что я говорю.

Эдди достал анацин из пакета, который раньше сунул в карман, и уже положил было его на булочки, но вдруг сообразил, что Роланд не сумеет не только открыть жестянку, но даже снять с нее защитную оболочку.

Он сделал все это сам, вытряхнул три таблетки на бумажную салфетку, подумал и добавил еще три.

Три сейчас, три потом, — сказал он. — *Если будет какое-нибудь «потом».*

Хорошо. Спасибо.

А теперь что?

Держи все вместе.

Эдди снова взглянул в выпуклое зеркало. Двое из агентов не спеша, словно бы бесцельно, шли по направлению к буфету; возможно, им не понравилось, как Эдди повернулся спиной, может быть, они учуяли, что готовится какой-то фокус-покус, и им захотелось посмотреть поближе. Если что-то должно было произойти, то надо, чтобы оно произошло поскорее.

Он обхватил все руками, чувствуя тепло, исходящее от сосисок в мягких белых булочках, холод пепси-колы. В этот момент он был похож на отца семейства, который собирается отнести еду своим ребятишкам... и тут все это начало *таять*.

Он опустил взгляд, и глаза у него раскрывались все шире и шире, пока ему не показалось, что они сейчас вывалятся из глазниц и будут болтаться на ниточках.

Сквозь булочки ему стали видны сосиски, через картонный стакан — пепси; жидкость с кубиками льда повторяла форму предмета, которого уже не было видно.

Потом сквозь булочки с сосисками он увидел красный пластиковый прилавок, а сквозь пепси — белую стену. Его руки стали сближаться, сопротивление между ними все уменьшалось... а потом они сомкнулись, ладонь к ладони. Еда... салфетки... пепси-кола... шесть таблеток анацина... все, что он только что держал, обхватив обеими руками, исчезло.

Эдди тупо подумал: «Ах, едрить твою налево...» Он вскинул взгляд к выпуклому зеркалу.

Та дверь исчезла... точно так же, как Роланд исчез из его сознания.

«Приятного аппетита, друг мой», — подумал Эдди... но *действительно* ли это странное, чужое существо, называющее себя Роландом, друг ему? Это еще далеко не доказано, так? Он, правда, спас Эдди шкуру, ничего не скажешь, но это еще не значит, что он — бойскаут.

И тем не менее *ему-то* Роланд нравится. Он его, правда, боится, но все равно, Роланд ему нравится.

Эдди подозревал, что со временем он, возможно, полюбит Роланда, как любит Генри.

«Ешь на здоровье, незнакомец, — подумал он. — Ешь на здоровье, не помирай... и возвращайся».

Рядом валялось несколько испачканных горчицей салфеток, оставленных кем-то из покупателей. Эдди скомкал их и, выходя, бросил в мусорную корзину у двери, и задвигал челюстями, притворяясь, будто дожевывает последний кусок. Подойдя к молодому негру по дороге к указателям «БАГАЖ» и «К ГОРОДСКОМУ ТРАНСПОРТУ», он даже сумел изобразить отрыжку.

— Так и не нашли подходящей футболки? — спросил Эдди.

— Простите? — негр отвернулся от расписания вылета самолетов компании «Американ Эйрлайнз», которое он внимательно изучал, вернее, делал вид, что изучает.

— Я думал, может, вы ищете футболку с надписью «Подайте на пропитание государственному служащему США», — сказал Эдди и зашагал дальше.

Спускаясь с лестницы, он увидел, как сумковладелица поспешно закрыла сумочку и вскочила на ноги.

«Ух ты, это будет почище рекламного парада, что устраивает универмаг «Мэйси» в День Благодарения».

Денек выдался б**дски интересный, и, по мнению Эдди, был еще далеко не вечер.

5

Когда Роланд увидел, что из моря опять вылезают омароподобные монстры (значит, прилив здесь ни при чем; они появляются, как стемнеет), он покинул Эдди Дийна, чтобы перетащить свое тело, пока чудовища не успели отыскать и сожрать его.

Боль он предвидел, к боли он был готов. Он прожил бок о бок с болью уже столько времени, что она стала для него почти старым другом. А вот то, как быстро у него усиливался жар и убывали силы, ужаснуло его. Раньше, может, смерть и не была так близка, но теперь-то он точно умирает. Есть ли в мире невольника средство, достаточно сильное, чтобы до этого не дошло? Быть может. Но если он не найдет его в ближайшие шесть-восемь часов, то, надо полагать,

оно уже не понадобится. Если болезнь будет развиваться, то ни в этом мире, ни в каком-либо другом не найдется ни лекарства, ни колдовства, которое смогло бы его исцелить.

Идти он не в состоянии. Придется ползти.

Он уже собрался двинуться в путь, как вдруг его взгляд остановился на перекрученной полосе той липкой штуки и на пакетах с бесовым порошком. Если он оставит все это здесь, чудища почти наверняка разорвут пакеты. Бриз развевает порошок на все четыре стороны. «И туда ему и дорога», — утрюмо подумал стрелок, но допустить этого было нельзя. Если Эдди Дийн, когда придет время, не сможет предъявить этот порошок, он окажется в глубокой луже. Блефовать с такими людьми, каким, насколько он мог догадаться, является Балазар, удается редко. Он захочет видеть то, за что заплатил, и пока не увидит, на Эдди будет направлено столько револьверов, что хватило бы на небольшую армию.

Стрелок подтянул перекрученную клейкую веревку и повесил ее себе на шею. Потом начал карабкаться вверх по берегу.

Он прополз ярдов двадцать — почти достаточно, чтобы считать себя в безопасности, — когда его осенила страшная (и в то же время в космических масштабах — смешная) мысль: что он уползает все дальше от двери. Во имя Бога, зачем тогда все эти муки?

Он обернулся и увидел дверь — не внизу, на краю берега, а в трех футах позади себя. Секунду Роланд лишь тупо смотрел на нее, воспринимая как бред то, что понял бы уже давно, если бы не жар и не звук голосов инквизиторов, беспрестанно твердивших Эдди: *Как ты, почему ты, где ты, когда ты* (эти вопросы, казалось, странно сливаются с вопросами чудовищ, выползающих из волн, отвратительно изгибаясь: *Дад-э-чок? Дад-э-чам? Дид-э-чик?*). Нет, это был не бред.

«Теперь я тяну ее за собой всюду, куда ни пойду, — подумал он. — Теперь она всюду следует за нами, словно проклятие, от которого вовеки не избавиться».

Он ощущал, что все это — непреложная истина... как и еще одна вещь.

Если дверь между ними закроется, она закроется навсегда.

«Когда это случится, — с мрачной решимостью подумал стрелок, — он должен быть по эту сторону. Со мной».

«*Какой ты образец добродетели, стрелок!* — захохотал человек в черном. Казалось, он навеки поселился в голове у Роланда. — *Ты убил мальчишку; это была жертва, благодаря которой ты сумел поймать меня и, как я полагаю, создать дверь между мирами. Теперь ты намереваешься перетащить сюда этих троих и обречь их на такое, чего сам для себя не хотел бы: остаться на всю жизнь в чужом мире, где погибнуть им так же легко, как зверям из зоосада, выпущенным на волю в диком лесу.*»

«Башня, — мелькнула у Роланда безумная мысль. — Когда я доберусь до Башни и сделаю то, что должен сделать (если б знать,

что!), совершу какой-то основополагающий акт восстановления или искупления, в котором мое предназначение, тогда они, быть может...»

Но визгливый хохот человека в черном, человека, который умер, но продолжал жить, став запятнанной совестью стрелка, не дал ему додумать до конца.

Но и заставить его свернуть с пути мысль о задуманном им предательстве тоже не могла.

Он сумел преодолеть еще десять ярдов, обернулся и увидел, что даже самое крупное из ползучих чудовищ не рискует заходить за линию прилива выше, чем на двадцать футов. А он уже прошел в три раза больше.

Вот и хорошо.

«И ничего хорошего, — весело возразил человек в черном, — и ты это знаешь».

«Заткнись», — подумал стрелок, и — о, чудо! — голос умолк.

Роланд затолкал пакеты с бесовым порошком в расщелину между двумя камнями и прикрыл их несколькими горстями скудной травы-зубчатки. Покончив с этим, он чуть-чуть отдохнул; голова у него горела, в ней стучало, его бросало то в жар, то в холод; потом он, перекатываясь с боку на бок, вернулся через дверной проем в тот, другой мир, в то, другое тело, ненадолго оставив позади все усиливающуюся смертоносную инфекцию.

6

Когда Роланд вернулся в свое тело во второй раз, оно было охвачено таким глубоким сном, что на миг он подумал, что у него началась кома — состояние, в котором все функции организма снижены до такой степени, что минутами он ощущал, как его собственное сознание начинает соскальзывать в глубокую тьму.

Но он заставил свое тело проснуться, тычками и тумаками выгнал его из темной норы, в которую оно забилося. Он заставил свое сердце биться чаще, заставил свои нервы вновь воспринимать боль, которая, как пламенем, обжигала его кожу и вернула его плоть в мучительную действительность.

Уже наступила ночь. Высыпали звезды. Те штуки, похожие на бопкины, что ему принес Эдди, были как маленькие комочки тепла в окружавшем его знобком холоде.

Ему не хотелось, но он решил, что обязательно их съест. Но сначала...

Он взглянул на белые таблетки, которые держал в руке. *Астин*, как назвал их Эдди. Нет, не совсем так, но Роланд не мог произнести это слово так, как его выговорил невольник. Главное, что это — лекарство. Лекарство из того, другого мира.

«Если что-нибудь из твоего мира, невольник, меня прикончит, — невесело подумал Роланд, — то, я думаю, скорее твои снадобья, чем твои бопкины».

Но попробовать все равно придется. Это не то лекарство, которое ему действительно нужно — во всяком случае, по мнению Эдди, — но оно должно сбить ему жар.

«Три сейчас, три потом. Если будет какое-нибудь «потом».

Роланд положил в рот три таблетки, потом сдвинул с картонного стакана с питьем крышку, сделанную из какого-то странного белого материала — не из стекла и не из бумаги, а из чего-то, немного похожего и на то, и на другое, — и запил их.

Первый глоток совершенно ошеломил его, ошеломил до такой степени, что он некоторое время полулежал, прислонившись к камню, и глаза его были так широко раскрыты, так неподвижны и так полны отраженного света, что любой прохожий, несомненно, принял бы его за мертвеца. Потом он стал жадно пить, держа стакан обеими руками, почти не замечая гнилой, пульсирующей боли в искалеченных пальцах, — так он был потрясен вкусом напитка.

«Сладко! Боги, такая сладость! Такая сладость! Такая...»

В горле у него застрял один из маленьких кубиков льда, лежавших в питье. Он закашлялся, постучал себя кулаком по груди, и кубик выскочил. Теперь голова болела по-другому: это была та серебристая боль, что появляется, когда слишком быстро пьешь что-нибудь чересчур холодное.

Он лежал неподвижно, ощущая, как сердце у него колотится, гоняет кровь, словно разогнавшийся мотор, чувствуя, как новая энергия вливается в его тело так быстро, что ему показалось, будто он вот-вот взорвется. Он машинально оторвал от рубашки еще один лоскут — скоро от нее останется только висящая у него на шее тряпица — и расстелил его у себя на ноге. Когда питье кончится, он вытряхнет на нее лед и приложит к раненой руке. Но мысли его блуждали далеко.

«Сладко! — снова и снова твердил он про себя, пытаясь понять смысл происходящего или хотя бы убедить себя, что в нем *есть* смысл, почти так, как Эдди пытался убедить себя, что *другой* реально существует, что это не какая-то психическая судорога, не какая-то другая часть его сознания, которая силится его обмануть. — Сладко! Сладко! Сладко!»

В темный напиток был щедро добавлен сахар, даже больше сахара, чем Мартен — а за его суровой внешностью аскета скрывался изрядный чревоугодник — сыпал себе в кофе.

Сахар... белый... порошок...

Взгляд стрелка упал на пакеты, едва видные под травой, которую он на них накидал, и у него промелькнула мысль: быть может, то, что добавлено в питье, и то, что лежит в пакетах, — одно и то же? Он знал, что здесь, где они находились в двух разных телах, Эдди прекрасно понимал его; он предполагал, что, если бы он перешел в мир Эдди в своем собственном теле (а Роланд инстинктивно понимал, что это *выполнимо...* хотя, если дверь закроется, пока он будет там,

он останется там навсегда, как Эдди навсегда остался бы здесь, если бы они оба в этот момент находились здесь), он так же хорошо понимал бы язык его мира. Побывав в сознании Эдди, он узнал, что языки обоих миров прежде всего сходны. Сходны, но не идентичны. Здесь сэндвич зовется «бопкин». Там «подкинуть» означает найти какую-нибудь еду. Так что... разве не может быть, что вещество, которое Эдди называет «кокаин», здесь, в мире стрелка, называется *сахар*?

Подумав, он отверг это предположение. Эдди купил питье открыто, зная, что за ним следят слуги жрецов таможенного досмотра. Кроме того, у Роланда было впечатление, что он заплатил за него сравнительно мало. Даже меньше, чем за бопкины с мясом. Нет, сахар — не кокаин, но Роланд не мог понять, зачем людям может быть нужен кокаин — да, коли на то пошло, любое другое запрещенное законом снадобье — в мире, где такое сильнодействующее средство, как сахар, стоит так дешево и его так много.

Он еще раз взглянул на мясные бопкины, почувствовал, что ему начинать хотеться есть... и с изумлением и растерянной благодарностью понял, что *чувствует себя лучше*.

Питье? Это оно помогло? Сахар в питье?

Возможно, отчасти — но часть эта невелика. Когда человек теряет силы, сахар может восстановить их; это ему известно еще с детства. Но сахар не может притупить боль или угасить огонь лихорадки в твоём теле, когда какая-нибудь инфекция превратила его в пылающую печь. А ведь с ним-то произошло именно это... и все еще происходит.

Судорожная дрожь прекратилась. На лбу у него выступил пот. Впившиеся ему в горло рыболовные крючки, похоже, стали исчезать. Это было невероятно, и в то же время это был неоспоримый факт, а не просто игра воображения и не самовнушение (по правде говоря, стрелок не был способен на такую легкомысленную вещь, как самовнушение, уже десятки неисчислимых и непознаваемых лет). Отсутствующие пальцы руки и ноги еще дергало, но, по его мнению, даже и эта боль стала не такой острой.

Роланд запрокинул голову, закрыл глаза и возблагодарил Бога.

Бога и Эдди Дийна.

«Смотри, Роланд, не клади свое сердце возле его руки, это было бы ошибкой, — проговорил голос из более дальних глубин его сознания (это был не нервный, хихикающий, стервозный голос человека в черном, и не грубый, хриплый голос Корта; Роланду показалось, что это — голос его отца). — Ты ведь знаешь: то, что он сделал для тебя, он сделал потому, что это нужно для него самого, так же, как ты знаешь, что эти люди — пусть они и Инквизиторы — отчасти или даже полностью правы насчет него. Он слабый сосуд, и причина, по которой они его забрали, не была ни лживой, ни низкой. Не спорю, в нем есть сталь. Но в нем есть и слабость. Он как Хэкс, повар. Хэкс

подсыпал яд неохотно... но от этого вопли умирающих, когда у них лопались кишки, не становились тише. И есть еще одна причина остерегаться...»

Но Роланд и без всяких голосов знал, что это за вторая причина. Он видел ее раньше, в глазах Джейка, когда мальчик, наконец, начал понимать, какая у стрелка цель.

«Не клади свое сердце возле его руки; это было бы ошибкой».

Добрый совет. Хорошо относясь к тем, кому придется со временем причинить зло, ты причиняешь зло себе.

«Помни свой долг, Роланд».

— Я никогда его не забывал, — прохрипел он; а звезды лили на землю свой безжалостный свет, а волны со скрежетом накатывались на берег, а чудовища, похожие на омаров, выкрикивали свои идиотские вопросы. — Мой долг — мое проклятие. А проклятым незачем сворачивать с пути!

Он принялся есть мясные бопкины, которые Эдди называл «собаками».

Мысль о том, чтобы есть собачатину, не слишком прельщала Роланда, да и вкус у этих штук по сравнению с рыбой-дудцом был как у помоев, но разве он имеет право жаловаться после этого дивного напитка? Он решил, что нет. И потом, игра зашла слишком далеко, чтобы вникать в такие тонкости.

Он съел все, а потом вернулся туда, где сейчас находился Эдди, в какой-то волшебный экипаж, мчавшийся по сделанной из металла дороге, полной других таких же экипажей... их там были десятки, быть может, сотни, и ни один из них не был запряжен ни единой лошадью.

7

Когда фургон с рекламой пиццы затормозил возле них, Эдди был наготове; Роланд у него внутри был еще сильнее наготове.

«Это просто очередной вариант Сна Дианы, — подумал Роланд. — Что там, в шкатулке? Золотая чаша или кусачая змея? И как раз в тот миг, когда она поворачивает ключик и кладет руки на крышку, она слышит голос матери: «Просыпайся, Диана! Доить пора!»

«Ну, так, — подумал Эдди. — Кто высунется? Красотка или тигр?»

Из пассажирского окошка фургона выглянул человек с бледным прыщавым лицом и большими, торчащими вперед, как у зайца, зубами. Это лицо было знакомо Эдди.

— Привет, Коль, — без особого энтузиазма сказал Эдди. Рядом с Колем Винсентом, за рулем, сидел Джек Андолини, он же, как его называл Генри, Старое Чучело.

«Но в лицо Генри его никогда так не называет», — подумал Эдди. Еще бы, конечно, нет. Обозвать Джека в лицо чем-нибудь подобным было бы прекрасным способом самоубийства. Джек был здоровенный

мужик с выпуклым лбом троглодита и такой же выпирающей вперед челюстью. Он был женат на родственнице Энрико Балазара... племяннице, двоюродной сестре, хрен ее знает. Его огромные ручки вцепились в руль фургона, как лапы мартышки, уцепившейся за ветку. Из ушей у него торчали пучки толстых волос. Сейчас Эдди было видно только одно ухо Джека Андолини, потому что он сидел в профиль и не поворачивался.

Старое Чучело. Но даже Генри (который, как был вынужден признать Эдди, далеко не всегда оказывался самым проникательным человеком на свете) ни разу не пришло в голову назвать его Старым Дураком. Это было бы ошибкой. Колин Винсент был по существу всего лишь шестеркой, хотя и главной шестеркой. А вот у Джека в его неандертальском черепе хватало мозгов на то, чтобы быть правой рукой Балазара. Эдди не понравилось, что Балазар прислал такую важную персону. Совсем не понравилось.

— Привет, Эдди! — сказал Коль. — Слышно, у тебя неприятности были.

— Ничего такого, с чем я не сумел бы справиться, — ответил Эдди. Он заметил, что чешет то одну руку, то другую — одно из типичных для торчков движений, от которых он изо всех сил старался воздерживаться, пока его держали на таможне. Но Коль улыбался, и Эдди захотелось двинуть по этой улыбке кулаком, да так, чтобы он из затылка вылез. Может быть, он бы так и сделал, если бы не Джек. Джек все еще смотрел, не мигая, прямо перед собой; казалось, что в голове у него ворочаются свойственные только ему рудиментарные мысли; что он видит мир окрашенным в простые цвета спектра и воспринимает лишь элементарные побуждения, и что ничего другого человек с таким интеллектом и не способен воспринять (во всяком случае, так можно было подумать, глядя на него). Но Эдди считал, что за один день Джек видит больше, чем Коль Винсент сможет увидеть за всю свою жизнь.

— Вот и хорошо, — сказал Коль. — Это хорошо.

Молчание. Коль смотрел на Эдди, улыбался и ждал, когда Эдди опять начнет исполнять танец Торчка — чесаться, переминаться с ноги на ногу, как ребенок, которому надо в туалет; ждал, главным образом, когда же Эдди спросит, что случилось и, кстати, нет ли у них случайно с собой дознячка.

А Эдди только смотрел на него и больше не чесался, вообще не делал ни единого движения.

Слабый ветерок тащил по паркингу кусок яркой фольги. Только ее шорох да задыхающийся звук разболтанных клапанов в моторе фургона нарушали тишину.

Понимающая ухмылка Коля стала менее уверенной.

— Садись давай, Эдди, — не оборачиваясь, сказал Джек. — Прокатимся.

— Это куда же? — спросил Эдди, зная ответ заранее.

— К Балазару. — Джек не обернулся, только один раз разжал и снова сжал пальцы на баранке. При этом на среднем пальце блеснул большой перстень литого золота с выпирающим, как глаз гигантского насекомого, ониксом. — Он хочет узнать насчет товара.

— Его товар у меня. Он в надежном месте.

— Отлично. Значит, можно ни о чем не беспокоиться, — сказал Джек Андолини и не обернулся.

— Я хочу сперва подняться к себе, — сказал Эдди. — Переодеться, поговорить с Генри...

— И вмазаться, не забудь про это, — сказал Коль и ухмыльнулся своей широкой желтозубой ухмылкой. — Вот только вмазаться-то тебе нечем, ясно тебе, голуб... ты... мой... чик?

«Дид-э-чик?» — подумал стрелок в мозгу Эдди, и их обоих слегка передернуло.

Коль заметил это, и его ухмылка стала шире. Зубы, которые открылись при этом, оказались не краше тех, что были видны раньше. «Ага, все-таки начинается, — говорила эта ухмылка. — Добрый старый танец торчка. А я, Эдди, уж было забеспокоился».

— Это еще почему?

— Мистер Балазар подумал, что будет лучше, если у вас в квартире, ребята, все будет чистенько, — сказал Джек, не оборачиваясь. Он продолжал наблюдать мир, который, по мнению стороннего наблюдателя, такой человек наблюдать не способен. — На случай, если бы кто-нибудь вдруг появился.

— Например, с федеральным ордером на обыск, — сказал Коль. Его лицо торчало из окна кабины и мерзко ухмылялось. Теперь Эдди чувствовал, что Роланду тоже хочется выбить кулаком гнилые зубы, делавшие эту ухмылку такой возмутительной, такой в некотором роде непростительной. Это единодушие его слегка подбодрило. — Он прислал бригаду из фирмы по уборке квартир, и они вымыли все стены и пропылесосили все ковры, и он с вас за это не возьмет ни копы, Эдди!

«Вот *теперь* ты спросишь, что у меня есть, — говорила ухмылка Коля. — Да, Эдди, мальчик мой, вот теперь-то ты спросишь. Потому как кондитера-то ты, может, и не любишь, да конфеты любишь, правда? А теперь, когда ты знаешь, что Балазар позаботился, чтобы твоей личной заначки не осталось...»

Внезапная мысль, страшная, отвратительная, вспыхнула в мозгу Эдди. Если заначки больше нет...

— Где Генри? — спросил он вдруг, так резко, что Коль удивленно втянул голову в окно.

Джек Андолини наконец обернулся. Медленно, точно ему пришлось делать это редко и с величайшим трудом. Казалось, вот-вот станет слышно, как на шее у него скрипят старые немазанные шарниры.

— В надежном месте, — сказал он и повернул голову обратно, в прежнее положение, опять так же медленно.

Эдди стоял рядом с фургоном, борясь с паникой, которая норовила подняться в его сознании и, нахлынув, подавить способность связно мыслить. Внезапно потребность задвинуться, которую он до сих пор довольно успешно сдерживал, стала непреодолимой. Ему было необходимо вмазаться. После дозняка он сможет думать, взять себя в руки...

Прекрати! — прорычал Роланд у него в голове, так громко, что Эдди поморщился (и Коль, приняв эту гримасу боли и удивления за очередное па танца торчка, снова начал ухмыляться). — *Прекрати! Я сам, черт возьми, буду держать тебя в руках, так, как потребуется!*

Ты не понимаешь! Он мой брат! Брат он мне, понял, мать твою?!
Мой брат у Балазара!

Ты говоришь так, словно я никогда не слышал этого слова. Ты за него боишься?

Да! До хрена боюсь!

Тогда делай то, чего они от тебя ждут. Плачь. Хнычь. Умоляй. Проси у них этот твой дозняк. Я уверен, что они этого ждут, и уверен, что он у них есть. Сделай все это, веди себя так, чтобы они в тебе не усомнились, и можешь быть уверен, что все твои опасения оправдаются.

Я не понимаю, что ты имеешь в виду.

Я имею в виду, что если ты покажешь им, что струсил, это будет очень способствовать тому, что твоего драгоценного брата убьют. Ты хочешь этого?

Ладно. Я буду спокоен. Выглядеть это, может, будет не так, но я буду спокоен.

Ты это так называешь? Ну, тогда ладно. Будь спокоен.

— Договаривались по-другому, — сказал Эдди прямо в волосатое ухо Джека Андолини, мимо Коля. — Я не для этого берег товар Балазара и не раскололся, когда другой на моем месте уже давно выложил бы по пять имен за каждый год, сбавленный со срока.

— Балазар считает, что у него твоему брату будет безопаснее, — ответил Джек, не оборачиваясь. — Он взял его под охрану.

— Прекрасно, — сказал Эдди. — Вот вы его от меня и поблагодарите и скажите, что я вернулся, что товар его в порядочке и что я могу позаботиться о Генри точно так же, как Генри всегда заботился обо мне. Вы ему скажите, что у меня во льду стоит упаковка — шесть банок пива, — и как только Генри войдет в квартиру, мы ее уговорим, а потом сядем в свою машину и приедем, и закончим сделку так, как предполагалось. Как договаривались.

— Эдди, Балазар хочет тебя видеть, — сказал Джек. Тон его был непримирим, непреклонен. Он не повернул головы. — Полезай в фургон.

— Х** тебе! И можешь его засунуть себе в ту дырку, где солнышко не светит, — сказал Эдди и направился к своему подъезду.

Расстояние было невелико, но Эдди не прошел и половины, как пальцы Андолини с парализующей силой, как тиски, сжали его руку повыше локтя. Он жарко, как бык, дышал Эдди в затылок. Все это Джек успел сделать за то время, которое — как можно было бы предположить по его виду — понадобилось бы его мозгу, чтобы дать руке сигнал повернуть вверх ручку дверцы фургона.

Эдди обернулся.

Спокойно, Эдди, — прошептал Роланд.

Я — спокойно, — ответил Эдди.

— Я ж тебя убью за это, — сказал Андолини. — Я никому не позволю говорить мне, чтобы я совал себе в жопу, а тем более — такому маленькому сраному торчку, как ты.

— *Х** убьешь!* — пронзительно завизжал на него Эдди, но это был рассчитанный визг. *Хладнокровный визг*, если вам это понятно. Они стояли возле дома — темные фигуры в золотых лучах позднего весеннего заката в Кооперативном Городке Бронкса¹, на пустыре среди новостроек, и люди слышали этот визг, и слышали слово *убьешь*, и если радио у них было включено, они делали звук погромче, а если радио было выключено, то они его включали и уж тогда делали звук погромче, потому что так было лучше, безопаснее.

— *Рико Балазар не сдержал слово! Я за него стеной стоял, а он за меня — нет! Вот я тебе и говорю — сунь себе х** в жопу! И ему говорю, чтобы он засунул его себе в жопу! И ему говорю, и вообще кому хочу, тому говорю!*

Андолини смотрел на него. Глаза у Джека были карие, такие темные, что, казалось, окрасили и роговицу в желтоватый цвет старого пергамента.

— *Да если мне и президент Рейган даст слово и нарушит его, я и ему скажу, чтобы он засунул себе х** в жопу и за**ся в доску, ясно тебе, козел?!*

Эхо его слов, отражаясь от кирпича и бетона, постепенно замерло. Один-единственный ребенок, кожа которого казалась особенно черной на фоне белых баскетбольных трусов и высоких кроссовок, стоял на детской площадке по другую сторону улицы и смотрел на них, локтем плотно прижимая к боку баскетбольный мяч.

— Все? — спросил Андолини, когда замерли последние отголоски.

— Да, — совершенно нормальным тоном ответил Эдди.

— Отлично, — сказал Андолини. Он растопырил свои обезьяньи пальцы и улыбнулся... а когда он улыбался, одновременно происходили две вещи: во-первых, становилось видно его обаяние, такое удивительное и неожиданное, что человек нередко становился безза-

¹ Бронкс — непрестижный район Нью-Йорка.

шитным перед ним; и во-вторых, становилось видно, до чего он на самом деле умен. — Теперь можно начать сначала?

Эдди обеими руками взерошил себе волосы и пригладил их, на несколько секунд скрестил руки, чтобы можно было почесать оба плеча сразу, и сказал:

— Я думаю, да, потому что так мы ни до чего не договоримся.

— Отлично, — сказал Андолини. — Никто никому ничего такого не сказал, и никто никого не материл. — И, не поворачивая головы, в том же ритме добавил: — А ты, придурок, полезай обратно в фургон.

Коль Винсент, осторожно вылезший из кабины через дверь, которую Андолини оставил открытой, ретировался так поспешно, что стукнулся головой. Он подвинулся на сиденье и, ссутулившись, уселся на прежнем месте, потирая ушибленную голову и надувшись.

— Ты должен понять, что условия сделки изменились, когда на тебя наложила лапу таможня, — рассудительно сказал Андолини. — Балазар — большой человек. У него свои интересы, и он должен о них заботиться. И у него есть *люди*, о которых он должен заботиться. И так уж вышло, что один из этих людей — твой брат Генри. Ты считаешь, что это — херня? Если так, подумай о том, в каком состоянии Генри сейчас.

— Генри в полном порядке, — возразил Эдди, но в глубине души он знал, что это не так, и, несмотря на все усилия, в его тоне слышался отзвук этого знания. Он слышал этот отзвук и понимал, что Джек Андолини тоже слышит его. В последнее время Генри то и дело вроде как вырубался. Рубашки у него были до дыр прожжены сигаретами. Один раз, открывая жестянку с кошачьим кормом для их кота Поца, он до кости разрезал себе руку электрической открывалкой. Эдди не понимал, как можно порезаться электрической открывалкой, но Генри сумел. Иногда кухонный стол после Генри бывал весь засыпан крошками и объедками, или Эдди находил в ванной, в раковине, почерневшие обгорелые завитки.

«Генри, — говорил он, — Генри, ты давай поосторожнее, ты уже не справляешься, ты ж на ходу разваливаешься».

«Ага, братишка, ладно, — отвечал Генри, — не дрейфь, у меня все под контролем»; но иногда, глядя на серое, как пепел, лицо и потухшие глаза Генри, Эдди понимал, что у Генри уже больше никогда ничего не будет под контролем.

Но то, что он *хотел* и не мог сказать Генри, не имело никакого отношения к тому, что Генри может засыпаться или засыпать их обоих. Вот что он *хотел* сказать: «Генри, по тебе видно, что ты ищешь место, где бы лечь и умереть. Такое у меня впечатление, и я хочу, чтобы ты, едрена вошь, это дело бросил. Потому как, если ты умрешь, то для чего ж я тогда жил?»

— Генри в полном *непорядке*, — ответил Джек Андолини. — Ему нужен... как это в песне-то поется? Мост над бурными водами. Вот что нужно Генри. И этот мост — *Il Roche*.

Il Roche — мост к аду, — подумал Эдди. Вслух он сказал:

— Так Генри там? У Балазара?

— Да.

— Я отдам ему товар — он отдаст мне Генри?

— И *твоей* товар, — сказал Андолини, — не забудь об этом.

— Иначе говоря, сделка вернется к норме.

— Правильно.

— Ну а теперь скажи мне, что ты веришь, что так оно и будет вправду. Давай, Джек. Скажи. Я хочу посмотреть, сможешь ли ты это сделать, не усмехнувшись. И если *сможешь*, то я хочу посмотреть, на сколько у тебя вырастет нос.

— Эдди, я тебя не понимаю.

— Очень даже понимаешь. Балазар думает, что его товар *при мне*? Если он так думает, значит, он дурак, а я знаю, что он совсем не дурак.

— Что он думает, я не знаю, — безмятежно ответил Андолини. — Знать, что он думает, в мои обязанности не входит. Он знает, что, когда ты вылетел с Багамских островов, его товар *был* при тебе, он знает, что таможенники тебя свинтили, а потом отпустили, он знает, что ты здесь, а не на пути в Райкерс, он знает, что его товар должен где-то быть.

— И он знает, что таможенники до сих пор от меня не отлипли, как банный лист от задницы, потому что это знаешь *ты*, и ты ему это передал каким-то кодом по радио из фургона. Что-нибудь вроде «Сыра двойную порцию, а анчоусов не надо», так, Джек?

Джек Андолини молчал с безмятежным видом.

— Только ты сообщил ему то, что он уже и так знал. Как когда соединяешь точки на картинке, на которой уже разглядел, что там такое.

Андолини стоял в золотом закатном свете, который медленно становился оранжевым, как пламя в топке, и по-прежнему не говорил ни словечка, и вид у него по-прежнему был безмятежный.

— Он думает, они меня вербанули? Он думает, я у них на веревочке? Он думает, я настолько глуп, что меня можно держать на веревочке? Я его особо-то и не осуждаю. Я хочу сказать: а почему бы и нет? Наркаш на все способен. Хочешь проверить, посмотреть, есть ли на мне датчик?

— Знаю, что нету, — сказал Андолини. — У меня в фургоне есть такая штучка. Вроде ментовской рации, только она ловит передачи на коротких волнах. И уж так ли, нет ли, а только не думаю я, что ты работаешь на ФБРовцев.

— Ну да?

— Ну да. Так что — садимся в машину и едем в город или как?

— А у меня что, есть выбор?

Нет, — сказал Роланд у него в голове.

— Нет, — сказал Андолини.

Эдди вернулся к фургону. Мальчишка с баскетбольным мячом все еще стоял на той стороне улицы, и его тень теперь была длинной, как стрела портового крана.

— Мотай отсюда, пацан, — сказал Эдди. — Тебя здесь сроду не было, ты никого и ничего в глаза не видел. Давай, у**ывай.

Мальчишка бегом кинулся прочь.

Коль ухмылялся Эдди в лицо.

— Ну, ты, подвинься, — сказал Эдди.

— Я думаю, Эдди, тебе лучше сесть посередке.

— Подвинься, — повторил Эдди. Коль взглянул на него, потом на Андолини, который не посмотрел на него, а только захлопнул дверцу со стороны водителя и продолжал безмятежно смотреть прямо перед собой, точно Будда в свой выходной, предоставляя им самим разбираться, кто где сядет. Коль снова перевел взгляд на лицо Эдди и решил подвинуться.

Они направлялись в Нью-Йорк — и хотя стрелок (который мог только изумленно разглядывать шпили, еще более прекрасные и изящные, чем мосты, подобно стальной паутине переброшенные через широкую реку, и воздушные вагоны с винтами наверху, зависавшие в воздухе, словно странные рукотворные насекомые) не знал этого, местом, куда они направлялись, была Башня.

9

Как и Андолини, Энрико Балазар не думал, что Эдди Дийн работает на ФБРовцев; как и Андолини, Балазар это знал.

Бар был пуст. На двери висела табличка: «ЗАКРЫТО ТОЛЬКО СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ». Балазар сидел в своем кабинете и ждал, когда придут Андолини и Коль Винсент с младшеньким Дийном. Оба его личные телохранителя, Клаудио Андолини (брат Джека) и Чими Дретто, находились при нем. Они сидели на диване слева от огромного письменного стола Балазара и зачарованно смотрели, как растет здание, которое строил Балазар. Дверь была открыта. За дверью был короткий коридор. Справа он кончался в задней части бара, за которой лежала маленькая кухонька, где готовили простые блюда из макарон. Слева была бухгалтерия и кладовая. В бухгалтерии еще трое балазаровских «джентльменов» — так их было принято называть — играли с Генри Дийном в «Счастливый случай».

— Чудно, — говорил в эту минуту Джордж Бьонди, — вот легкий вопросик, Генри. Генри? Генри, ты меня слышишь? Земля вызывает Генри. Генри, ты нужен на Земле. Генри, перехожу на прием, ответь. Повторяю: ответь, Ге...

— Да слышу я, слышу, — сказал Генри. Говорил он нечетко, с трудом ворочая языком, как человек, который все еще спит, но говорит жене, что проснулся, чтобы она еще хоть пять минут его не трогала.

— Ладно. Раздел «Искусство и развлечения». Вопрос такой... Генри? Ты мне тут, жопа, давай не отключайся, к едрене матери!

— Да не отключаюсь я! — жалобно воскликнул в ответ Генри.

— О'кэй. Вопрос такой: в каком необычайно популярном романе Вильяма Питера Блэтти, действие которого происходит в Джорджтауне — шикарном пригороде Вашингтона, округ Колумбия, рассказывалось, как в маленькую девочку вселился бес?

— Джонни Кэш, — ответил Генри.

— Твою душу! — заорал Трюкач Постино. — У тебя на все один ответ! Джонни Кэш да Джонни Кэш, ты ж это на *все* отвечаешь, мать твою растудить!

— Джонни Кэш *и есть* все, — серьезно ответил Генри, и на момент наступила тишина, почти осязаемая — так она была полна задумчивого удивления... а потом — хриплый взрыв смеха; смеялись не только те, кто сидел в комнате с Генри, но и два других «джентльмена», сидевших в кладовой.

— Закрыть дверь, мистер Балазар? — негромко спросил Чими.

— Нет, и так хорошо, — ответил Балазар. Он был сицилиец второго поколения, но говорил без малейшего акцента и не так, как разговаривают люди, получившие образование только на улицах. В отличие от многих своих соплеменников и коллег по бизнесу он окончил среднюю школу. Более того, он два года занимался в школе бизнеса Нью-Йоркского университета. Голос у него, как и его манера вести дела, был тихим, культурным и чисто американским, и из-за этого его наружность была такой же обманчивой, как наружность Джека Андолини. У тех, кто впервые слышал его ясный, без акцента, чисто американский голос, всегда был растерянный вид, словно они слушали необычайно искусного чревовещателя. Балазар был похож на фермера, или на владельца небольшой гостиницы, или на мелкого мафиозо, достигшего успеха благодаря не столько своим умственным способностям, сколько тому, что в нужный момент оказался в нужном месте. У него была внешность того типа, который остряки предыдущего поколения окрестили «Усатым Питом». Он был толстый и одевался, как крестьянин. В этот вечер на нем была белая хлопчатобумажная рубашка с открытым воротом (под мышками расползались пятна пота) и простые серые твидовые брюки. На жирных ступнях красовались коричневые мокасины на босу ногу, такие старые, что напоминали больше домашние туфли, чем ботинки. По щиколоткам извивались синие и лиловые варикозные вены.

Чими и Клаудио, как зачарованные, не отрывали от него глаз.

В прежние времена его прозвали Il Roche — Скала. Некоторые из ветеранов все еще называли его так. В правом верхнем ящике письменного стола, где другие бизнесмены обычно держат блокноты, ручки, скрепки и тому подобные вещи, Энрико Балазар всегда держал три колоды карт. Но не для того, чтобы играть в карты.

Он из них строил.

Он брал две карты и прислонял их одну к другой, так что получалось А без перекладки. Рядом с ним он делал такую же штуковину. На эти две фигуры он клал сверху одну карту, чтобы получилась крыша. И так он строил одно А за другим и накрывал их крышами, пока на письменном столе не оказывался карточный домик.

Если нагнуться и заглянуть в него, можно было увидеть нечто вроде сот, построенных из треугольников. Чими сотни раз видел, как эти домики обрушивались (Клаудио тоже время от времени видел это, но не так часто, потому что был на тридцать лет моложе Чими, который собирался вскорости уйти на покой и уехать со своей стервозой-женой на собственную ферму в северной части штата Нью-Джерси и там посвящать все свое время саду... и надеялся пережить эту стерву, на которой он женат; не тещу, нет, он уже давно оставил всякую надежду — если и питал ее когда-нибудь — поесть фетуччини на поминках по *La Monstra*¹. *La Monstra* была бессмертна, но на то, что удастся пережить ту, другую стерву, хоть какая-то надежда была; его отец любил присловье, в переводе звучавшее примерно так: «Бог пишет тебе за шиворот каждый день, но утопит тебя только один раз»; и Чими полагал, хотя и не был вполне уверен, что это означает, что Бог — в общем неплохой малый и он, Чими, может надеяться, что уж одну-то из этих двух он все ж таки переживет), но всего лишь раз видел, чтобы это вывело Балазара из себя. Чаще всего домики обрушивались по чистой случайности — от того, что кто-нибудь хлопнул дверь в соседней комнате или пьяный налетел на стену; бывали случаи, когда на глазах у Чими здание, которое мистер Балазар (Чими до сих пор называл его «Иль Боссо», как в комиксе Честера Гоулда) воздвигал часами, разваливалось только из-за слишком громкого рева баса в музыкальном автомате. А бывало и так, что эти воздушные конструкции рушились без всяких видимых причин. Однажды — Чими рассказывал эту историю не менее пяти тысяч раз, и она успела надоесть всем (за исключением самого Чими) — *Иль Боссо* поднял на него взгляд от развалин и сказал: «Видишь, Чими, это — ответ каждой матери, что проклинает Бога за то, что ее дитя лежит мертвое на дороге, каждому мужчине, что проклинает ребенка, который уволил его с завода и оставил без работы, каждому ребенку, что родился на муки и спрашивает, зачем. Наша жизнь — как эти карточные домики, что я строю. Иногда она ломается по какой-то причине, а иногда — без всяких причин».

Карлочими Дретто считал, что это — самое глубокое из всех слышанных им суждений о человеческой жизни.

В тот единственный раз Балазар вышел из себя из-за того, что одно из его строений рухнуло, лет двенадцать, может быть, четырнадцать, назад. К нему пришел один мужик насчет спиртного. Невоспитанный мужик, как есть хам. Пахло от него так, будто он

¹ *La Monstra* (итал., исп.) — чудовище (женского пола).

моется в ванне раз в год, надо — не надо. Короче, мик¹, один из этих, с кудрявыми рыжими волосами и с таким белым лицом, будто у них чахотка или еще чего, из этих, у которых фамилия начинается на О, а между О и настоящей фамилией стоит такая закорючка. Ну и, конечно, насчет спиртного. Им, микам, всегда выпивку подавай, наркота им на дух не нужна. И вот, этот мик вообразил, что постройка на столе у *Иль Боссо* — так себе, шуточки. После того, как *Иль Боссо* ему объяснил, вежливо, как джентльмен джентльмену, почему никакая сделка между ними невозможна, этот мик вдруг как заорал: «Загадывай желание!» Да как *подул* на письменный стол *Иль Боссо*, точно *ниньо*², задувающий свечи на именинном пироге, и карты так и разлетелись вокруг головы Балазара, и Балазар открыл *левый* верхний ящик письменного стола, ящик, где другие бизнесмены обычно держат писчую бумагу со своим личным штампом, или свои личные записные книжки, или еще что-нибудь в этом роде, и достал пистолет калибра .45, и выстрелил этому мiku прямо в голову, и выражение лица у Балазара ни капельки не изменилось, и после того, как Чими и еще один малый по имени Трумэн Элигзандер, который четыре года назад помер от сердечного припадка, закопали этого мика под курятником где-то на окраине Сидонвилля (штат Коннектикут), Балазар сказал Чими: «Строить всякие вещи — дело людей, *paisan*³. А разрушать их — дело Бога. Ты согласен с этим?»

«Да, мистер Балазар», — ответил тогда Чими. Он действительно был с этим согласен.

Балазар удовлетворенно кивнул. «Вы сделали, как я велел? Положили его где-нибудь, где на него смогут срать куры, или утки, или еще что-нибудь такое?»

«Да».

«Это очень хорошо», — спокойно сказал Балазар и вынул из правого верхнего ящика письменного стола новую колоду карт.

Для Балазара, «Скалы», одного этажа было мало. На крыше первого этажа он строил второй, только не такой широкий; на втором — третий; на третьем — четвертый. Он строил и дальше, но после четвертого этажа ему приходилось для этого встать. Чтобы заглянуть в домик, уже не надо было так сильно нагибаться, а нагнувшись, человек видел уже не ряды треугольников, а хрупкий, ошеломляющий и неимоверно прекрасный зал из ромбов. Если смотреть туда слишком долго, начинала кружиться голова. Однажды Чими на Кони-Айленд зашел в «Зеркальный лабиринт», и у него вот так же закружилась голова. Больше он туда никогда не заходил.

¹ Мик — оскорбительное прозвище ирландцев.

² Ниньо (исп.) — ребенок.

³ Paisan (искаж. исп.) — земляк.

Чими рассказывал (он думал, что никто ему не верит, а на самом деле всем было глубоко безразлично), что он однажды видел, как Балазар построил такое... уже не карточный домик, а карточную *башню*, которая рухнула только после девятого этажа. Что всем на это было положить с прибором, Чими не знал, потому что все, кому он об этом рассказывал, изображали глубокое изумление, поскольку Чими был близок к *Иль Боссо*. Но слушатели изумлялись бы по-настоящему, если бы у него нашлись слова, чтобы описать эту башню — какая она была изящная и хрупкая, как высотой она была почти в три четверти расстояния от крышки письменного стола до потолка, кружевное строение из тузов, и королей, и двоек, и валетов, и десятков, и красно-черная конструкция из бумажных ромбов, бросающая вызов всему миру, который, кружась, несется сквозь вселенную, состоящую из бессвязных движений и сил; башня, представлявшаяся изумленному взору Чими громогласным отрицанием всех несправедливых парадоксов жизни.

Если бы он умел, он сказал бы: «Я смотрел на то, что он построил, и оно объяснило мне звезды».

10

Балазар понимал, как должны обстоять дела. ФБРовцы засекли Эдди — быть может, он вообще сделал глупость, послав Эдди, может быть, его инстинкт начал его подводить, но Эдди почему-то казался таким подходящим, таким абсолютно подходящим. Дядя Балазара, первый, на кого он работал в этом бизнесе, сказал однажды, что нет правил без исключений, кроме одного: никогда не доверяй наркашам. Балазар тогда промолчал — негоже пятнадцатилетнему мальчишке открывать рот, даже для того, чтобы согласиться — но про себя подумал, что единственное правило без исключений — что бывают отдельные правила, к которым это правило не относится.

«Но если бы Тио¹ Вероне был сегодня жив, — подумал Балазар, — он бы засмеялся над собой и сказал бы: гляди, Рико, ты всегда был слишком уж умен, ты знал правила, ты помалкивал, когда этого требовало уважение к старшим, но глаза у тебя всегда были наглые. Ты всегда слишком хорошо знал, какой ты умный, и поэтому ты в конце концов свалился в яму собственной гордыни, и я всегда знал, что так оно и выйдет».

Он сложил «А» и накрыл его третьей картой.

Они взяли Эдди, поддержали его, а потом выпустили.

Балазар забрал брата Эдди и их общую заначку. Этого достаточно, чтобы привести Эдди сюда... а Эдди ему нужен.

¹ Тио (исп.) — дядя.

Эдди нужен ему, потому что они держали его только два часа, а это ни в какие ворота не лезет.

И допрашивали его не на Сорок третьей улице, а в Кеннеди, а это тоже ни в какие ворота не лезет. Это значит, что Эдди сумел скинуть весь или почти весь марафет.

Или не сумел?

Балазар думал. Старался разобраться.

Эдди вышел из аэровокзала через два часа после того, как его сняли с самолета. Этого слишком мало для того, чтобы они успели его расколоть, но слишком много для того, чтобы они пришли к выводу, что он в порядке, что какая-то стюардесса что-то напутала.

Он думал. Старался разобраться.

Брат Эдди уже стал зомби, но Эдди еще в полном уме, Эдди еще крепкий парень. Он бы не раскололся всего за два часа... разве что из-за брата. Из-за чего-то, связанного с его братом.

И все же — почему не на Сорок третьей улице? Почему не было таможенного фургона (они выглядели совсем, как почтовые, только задние окошки затянуты провололочной сеткой)? Потому что Эдди действительно что-то сделал с товаром? Скинул? Спрятал?

В самолете спрятать товар невозможно.

И скинуть невозможно.

Конечно, невозможно и бежать из некоторых тюрем, ограбить некоторые банки, не получить срок по некоторым делам. Но некоторым людям это удастся. Вон, Гарри Гудини сбрасывал смиренные рубашки, выбирался из запертых сундуков, из банковских сейфов, мать его... Но Эдди Дийн — не Гудини.

Так ли?

Он мог приказать убить Генри у них дома, мог велеть замочить Эдди на Лонг-Айлендской эстакаде или — еще лучше — тоже у них дома, чтобы менты подумали, что два торчка доторчались до того, что забыли, что они братья, и ухлопали друг друга. Но тогда без ответов осталось бы слишком много вопросов.

Ответы он получит здесь, подготовится к будущим неприятностям или просто утолит свое любопытство, в зависимости от того, какими окажутся эти ответы, а потом убьет их обоих.

Несколькими ответами больше, двумя торчками меньше. Хоть какая-то выгода, а потеря невелика.

В другой комнате снова пришла очередь Генри отвечать на вопросы викторины.

— Ладно, Генри, — сказал Джордж Бьонди. — Будь внимателен, вопрос трудный. Раздел «География». Вопрос такой: как называется единственный материк, на котором водятся кенгуру?

Пауза. Все замерли.

— Джонни Кэш, — сказал Генри, и все заржали, как жеребцы, во все горло.

Стены задрожали.

Чими напрягся, ожидая, что карточный домик Балазара (который стал бы башней, если бы такова была воля Бога или слепых сил, что от Его имени правят вселенной) сейчас рухнет.

Карты слегка задрожали. Если хоть одна упадет, упадут и остальные.

Ни одна не упала.

Балазар поднял глаза и улыбнулся Чими.

— Piasan, — сказал он. — Il Dio est bono; il Dio est malo; tempo est poco-poco; tu est un grande peeparollo¹.

Чими улыбнулся.

— Si, signore, — сказал он. — Io grande peeparollo; Io va fanculo por tu².

— None va fanculo, catzarro, — ответил Балазар. — Эдди Дийн va fanculo³. — Он ласково улыбнулся и начал строить второй этаж своей карточной башни.

11

В тот момент, когда фургон остановился возле заведения Балазара, Коль Винсент смотрел на Эдди. Он увидел такое, чего не могло быть. Он попытался заговорить, но не смог. Язык у него прилип к небу, и он смог только сдавленно заурчать.

Он увидел, как глаза Эдди из карих стали голубыми.

12

На этот раз Роланд не принимал сознательного решения *выдвинуться вперед*. Он просто метнулся, не задумываясь, так же непроизвольно, как вскочил бы со стула и выхватил бы револьверы, если бы в комнату, где он сидел, кто-то ворвался.

«Башня! — яростно думал он. — Это Башня, боже мой, Башня, она в небе! Я вижу в небе Башню, начертанную красными огненными линиями! Катберт! Алан! Десмонд! Баш...»

Но в этот раз он почувствовал, что Эдди борется — не с ним, а старается заговорить с ним, отчаянно пытается объяснить ему что-то.

Стрелок отступил назад и стал слушать — слушать так же отчаянно, как над морским берегом, на неизвестном расстоянии отсюда по пространству и времени, его лишенное сознания тело подергива-

¹ Земляк... Бог добр; Бог зол; времени мало-мало; а ты — дурачина (искаж. итал.).

² Да, синьор... Я дурачина, я умру за тебя (искаж. итал.).

³ Тебе не надо умирать, балда... Умрет Эдди Дийн (искаж. итал.).

лось и вздрагивало подобно телу человека, во сне вознесшегося на высочайшую вершину экстаза или погрузившегося в глубочайшую бездну ужаса.

13

Вывеска! — вопил Эдди в глубину своего собственного сознания... и сознания того, другого.

Это вывеска, просто неоновая вывеска. Я не знаю, про какую башню думаешь ты, но это обыкновенный бар, заведение Балазара. Он назвал его «Падающая башня» в честь той, что в Пизе! Это просто вывеска, и предполагается, что на ней изображена сраная Пизанская башня! Уймись! Успокойся! Хочешь, чтобы нас убили еще до того, как у нас будет шанс врезаться им?

Пийса? — с сомнением переспросил стрелок и посмотрел еще раз.

Вывеска. Да, правильно, теперь он видит. Это не Башня, но дорожный знак. Он наклонен вбок, и на нем множество закругленных зубцов, и он дивен, но и только. Теперь стрелок разглядел, что знак сделан из трубок, каким-то образом заполненных ярко горящим красным болотным огнем. В некоторых местах его было как будто меньше, чем в других, и в этих местах линии пульсировали и трещали.

Теперь под башней Роланд увидел буквы, сделанные из гнутых трубок; в большинстве своем это были Великие Буквы. Он сумел прочесть «БАШНЯ» и... да, «ПАДАЮЩАЯ». Первое слово состояло из трех букв, первая была Б, вторая А, а третью он видел впервые.

Бал? — спросил он Эдди.

БАР. Неважно. Ты видишь, что это просто вывеска? Вот это — важно!

Вижу, — ответил стрелок; ему хотелось бы знать, действительно ли невольник верит в то, что говорит, или говорит это лишь для того, чтобы ситуация не вышла из-под контроля, как, казалось, вот-вот случится с башней, изображенной этими огненными линиями; хотелось бы знать, верит ли Эдди, что *хоть какой-нибудь* знак может не иметь значения.

Ну, так уймись! Слышишь? Уймись!

Спокойно? — спросил Роланд, и оба почувствовали, как Роланд в сознании у Эдди чуть улыбнулся.

Вот именно, спокойно. Теперь я буду действовать сам.

Да. Ладно. — Он позволит Эдди действовать самому.

Пока. До поры до времени.

14

Колю Винсенту наконец удалось отлепить язык от неба.

— Джек. — Голос у него был совершенно сдавленный.

Андолини выключил мотор и раздраженно посмотрел на Коля.

— У него глаза...

— Что у него с глазами?

— Да, что у меня с глазами? — спросил Эдди.

Коль посмотрел на него.

Солнце зашло, не оставив в воздухе ничего, кроме золы дня, но было еще достаточно светло, чтобы Коль мог увидеть: глаза у Эдди опять были карие.

Если они вообще когда-нибудь были другими.

Ты же видел, — настаивала часть его сознания, но действительно ли он видел? Колью было двадцать четыре года, и за последние двадцать из них никто по-настоящему не считал, что ему можно доверять. Иногда он бывал полезен. Почти всегда — послушен... если его держать на коротком поводке. Но доверять ему? Нет. Постепенно Коль и сам поверил в это.

— Ничего, — пробормотал он.

— Тогда пошли, — сказал Андолини.

Они вышли из фургона с рекламой пиццы. Между Андолини (справа от них) и Винсентом (слева от них) Эдди и стрелок вошли в «Падающую башню».

Глава пятая

РАЗБОРКА С ПЕРЕСТРЕЛКОЙ

1

В одном блюзе двадцатых годов Билли Холлидэй, которой впоследствии суждено было самой открыть для себя эту истину, пела: *«Пригрозил мне доктор: детка, если сразу не завяжешь и еще хоть раз ширнешься, тут же ты в могилу ляжешь»*. Так случилось и с Генри Дийном — ровно за пять минут до того, как фургон затормозил возле «Падающей башни» и его брата завели в нее.

Вопросы Генри задавал Джордж Бьонди (которому его друзья дали прозвище «Большой Джордж», а враги — «Большой нос»), потому что сидел справа от Генри. Сейчас Генри сидел над игровой доской, клевал носом и сонно моргал. Трюкач Постино вложил ему в руку кубик; рука у Генри уже была того пыльного оттенка, какой приобретают конечности наркоманов после длительного употребления героина, того пыльного оттенка, какой предшествует гангрене.

— Твоя очередь, Генри, — сказал Трюкач. Генри разжал пальцы и выпустил кубик, но продолжал смотреть в пространство и, как видно, не собирался передвинуть свою фишку. Это сделал за него Джимми Аспио.

— Гляди-ка, Генри, — сказал он. — Имеешь шанс отхватить кусок пирога.

— Кусочек с коровий носочек, — сонно сказал Генри и огляделся вокруг, словно просыпаясь. — Где Эдди?

— Скоро должен приехать, — успокоил его Трюкач. — Ты давай играй.

— А как насчет дознячка?

— Играй давай.

— Ладно, ладно, не дави на меня.

— Не дави на него, — сказал Джимми Кевин Блейк.

— Ладно, не буду, — ответил Джимми.

— Ну, ты готов? — спросил Джордж Бьонди и выразительно подмигнул остальным, когда подбородок Генри плавно опустился на грудь, а потом снова медленно поднялся: это напоминало мокрое бревно, которое еще не настолько намокло, чтобы утонуть окончательно.

— Ага, — сказал Генри. — Давай его сюда.

— Давай его сюда! — радостно заорал Джимми Аспио.

— Точно, *давай* его, суку, сюда! — согласился Трюкач, и все «джентльмены» заржали (в соседней комнате постройка Балазара, в которой было уже три этажа, опять задрожала, но не упала).

— Ладно, слушай внимательно, — сказал Джордж и снова подмигнул. Хотя Генри достался раздел «Спорт», Джордж объявил, что ему выпало «Искусство и развлечения». — У какого популярного певца в стиле «кантри» и «вестерн» были хиты «Мальчик по имени Сью», «Блюз Фолсомской тюрьмы» и другие офигенные песни?

Кевин Блейк, который — можете себе представить? — действительно умел сосчитать, сколько будет семь плюс девять (если дать ему для этого покерные фишки), взвыл от смеха, хлопая себя по коленям, и чуть не сшиб игровую доску.

Джордж, продолжая притворяться, что читает по карточке, которую держал в руке, продолжал:

— Этот популярный певец известен также, как Человек в Черном. Его имя звучит так же, как место, куда ходят пописать¹, а фамилия — как название того, что лежит у человека в бумажнике², если, конечно, он не какой-нибудь долбаный торчок.

Последовала долгая пауза. Все ждали молча, затаив дыхание.

Наконец Генри сказал: «Уолтер Бреннан».

Взрыв хохота. Джимми Аспио повис на Кевине Блейке. Кевин несколько раз толкнул Джимми кулаком в плечо. В кабинете Балазара карточный домик, уже начавший превращаться в карточную башню, вновь задрожал.

— Тихо, вы! — заорал Чими. — *Иль Боссо* строит!

Они сразу утикли.

— Правильно, — сказал Джордж. — На этот раз ты отгадал, Генри. Вопросик был еще тот, но ты справился.

— А я всегда справляюсь, — сказал Генри. — В конце концов я всегда беру верх, маманю вашу туда и обратно. Так как насчет дознячка?

— Отличная мысль! — сказал Джордж, достал у себя из-за спины коробку от сигар и вынул из нее шприц. Он воткнул иглу в руку Генри повыше локтя, в покрытую рубцами от уколов вену, и этот дозняк стал для Генри последним.

¹ Джон (john) — «сортир» (амер. слэнг).

² Кэш (cash) — наличные (амер. или англ. разгов.).

Снаружи вид у фургона с рекламой пиццы был задрипанный, но под дорожной грязью и краской из баллончика скрывались чудеса техники, каким позавидовали бы и ребята из УБН. Как не раз говорил Балазар, этих сволочей не переплунешь, если оснащение у тебя хуже ихнего. Оснащение это стоило очень дорого, но у Балазара и его людей было одно преимущество: то, что УБН покупало по невероятно завышенным ценам, они просто-напросто крали. По всему Восточному побережью можно было найти служащих компаний, выпускающих электронику, готовых по дешевке продать сверхсекретную продукцию. Эти *каццарони* (Джек Андолини называл их «Марафетчиками Силиконовой Долины») буквально *навязывали* свой товар.

Под щитком управления имелись: полицейская рация; СВЧ-глушитель полицейских радаров; широкодиапазонный высокочастотный радиоприемник; широкодиапазонный глушитель радиопередач; импульсный антипеленгатор, благодаря которому у всякого, кто попытался бы запеленговать фургон общепринятыми триангуляционными методами, получилось бы, что он (фургон) находится одновременно в штате Коннектикут, в Гарлеме и в Монокском заливе; радиотелефон... и маленькая красная кнопка, которую Андолини нажал сразу же, как только Эдди Дийн вышел из машины.

В комнате Балазара раздался один короткий звонок внутреннего телефона.

— Это они, — сказал он. — Клаудио,пусти их. Чими, скажи всем, чтобы заткнулись. Насколько известно Эдди Дийну, со мной нет никого, кроме тебя и Клаудио. Чими, ступай в кладовую с остальными джентльменами.

Они пошли, Чими повернул налево, Клаудио — направо.

Балазар спокойно начал строить очередной этаж своего здания.

3

Теперь я сам, ты только не встревай, — повторил Эдди, когда Клаудио открыл дверь.

Хорошо, — ответил стрелок, но остался настороже, готовый мгновенно *выдвинуться вперед*, как только сочтет это необходимым.

Загребели ключи. Стрелку ударили в нос запахи — справа от него несло застарелым потом от Коля Винсента, слева от него от Джека Андолини шел резкий, почти противный запах лосьона после бритья, а когда они вошли в полумрак бара, он ощутил кислый запах пива.

Роланду был знаком только запах пива. Это был не какой-нибудь занюханный салун с посыпанным опилками полом и положенными на козлы досками вместо стойки; по мнению стрелка, этот бар был настолько далек от заведения Шеба в Талле, насколько это вообще возможно. Всюду мягко поблескивало стекло, в одной этой комнате

было больше стекла, чем он видел за все годы, еще с детства, когда начали отказывать линии доставки, отчасти из-за налетов мятежного войска Фарсонского Доброго Человека, но главным образом, как он думал, просто потому, что мир сдвинулся с места и продолжал двигаться. Фарсон был симптомом, а не причиной этого гигантского сдвига.

Он видел их отражения повсюду — на стенах, в облицованной стеклом стойке и в длинном зеркале позади нее; он даже мог различить их искривленные миниатюрные отражения в изящных винных бокалах, имевших форму колокола, перевернутых и повешенных над стойкой... бокалах, роскошных и хрупких, как праздничные украшения.

В одном углу была структура, изваянная из огней, что вспыхивали и менялись, вспыхивали и менялись. Золотые переходили в зеленые; зеленые — в желтые; желтые — в красные; красные — опять в золотые. Через всю скульптуру Великими Буквами было написано слово, которое он мог прочесть, но которое ему ничего не говорило: РОКОЛА.

Ну, неважно. Здесь у него есть дело. Он не турист; он не должен позволять себе роскошь вести себя как турист, какими бы дивными и странными ни были все эти вещи.

Впустивший их человек явно приходился братом тому человеку, который правил тем, что Эдди назвал фургоном («что-то вроде фуры», — подумал Роланд), хотя был гораздо выше ростом и лет на пять моложе. В кобуре под мышкой у него был револьвер.

— Где Генри? — спросил Эдди. — Я хочу видеть Генри. — Он громко позвал: — Генри! *Эй, Генри!*

Ответа не было; лишь тишина, в которой висевшие над стойкой бокалы, казалось, вздрагивали, издавая звон, такой тихий и нежный, что человеческому уху было его не уловить.

— Сначала с тобой хотел бы поговорить мистер Балазар.

Эдди спросил:

— Он у вас где-то валяется связанный и с кляпом во рту, да? — но, не успел Клаудио и рта раскрыть для ответа, Эдди рассмеялся: — Да нет, что я — вы его просто накачали до полной отключки, и все. Чего вам возиться с веревками да кляпами, если для того, чтобы Генри не вякнул, его достаточно просто ширнуть? Ладушки. Ведите меня к Балазару, надо ж от этого отделаться.

4

Стрелок посмотрел на карточную башню на столе у Балазара и подумал: «Еще один знак».

Балазару не пришлось поднимать взгляд — карточная башня стала уже слишком высока для этого; он посмотрел поверх нее. Выражение лица у него было довольное и ласковое.

— Эдди, — сказал он. — Рад тебя видеть, сынок. Я слышал, у тебя в аэропорту были какие-то неприятности.

— Я вам не сын, — отрезал Эдди.

Балазар сделал рукой слабый жест — одновременно комичный, грустный и не вызывавший доверия. «Ты делаешь мне больно, Эдди, — говорил этот жест, — ты делаешь мне больно, когда говоришь такое».

— Давайте короче, — сказал Эдди. — Вы сами понимаете, что все сводится к одному из двух: либо я у ФБРовцев на веревочке, либо им пришлось меня отпустить. Вы сами понимаете, что всего за два часа им не удалось меня вымотать и расколоть. А если бы удалось, то я был бы на Сорок третьей улице и отвечал бы на вопросы, иногда прерываясь, чтобы блевануть в умывальник, и это вы тоже понимаете.

— Так все-таки, Эдди, на веревочке ты у них или нет?

— Нет. Им пришлось меня отпустить. Они идут за мной, но я их не веду.

— Значит, ты скинул товар, — сказал Балазар. — Это захватывающе. Ты должен поделиться со мной — как это человек может скинуть два фунта марафета, находясь в реактивном самолете. Это были бы очень полезные сведения. Это — как детектив про запертую комнату.

— Я его не скинул, — сказал Эдди, — но при мне его больше нет.

— А у кого же он есть? — спросил Клаудио и покраснел, встретившись глазами с угрюмо-яростным взглядом брата.

— А у него, — с улыбкой ответил Эдди и показал на Энрико Балазара за карточной башней. — Товар уже доставлен.

В первый раз с того момента, как Эдди ввели в кабинет, лицо Балазара выразило непритворное чувство: удивление. Потом это выражение исчезло. Он вежливо улыбнулся.

— Да, — сказал он. — В какое-то место, которое будет названо позже, после того, как ты получишь своего брата и свой товар и отбудешь. Может быть, в Исландию. Такой предполагается расклад?

— Нет, — возразил Эдди. — Вы не понимаете. Он *здесь*. Доставка прямо на дом. Точно, как мы договаривались. Потому что даже в наши дни, даже в наш век, есть еще отдельные люди, которые по-прежнему считают, что как с самого начала договаривались; так сделку и надо выполнять. Невероятно — я, конечно, понимаю — но факт.

Все изумленно уставились на него.

Как у меня получается, Роланд? — спросил Эдди.

По-моему, очень хорошо. Но не давай этому Балазару прийти в себя, Эдди. Я думаю, он опасен.

Ах, ты так думаешь? Ну, тут я тебя обскакал, друг. Я знаю, *что он опасен. Очень. До х** опасен.*

Он опять посмотрел на Балазара и чуть заметно подмигнул ему.

— Вот поэтому сейчас о ФБРовцах надо беспокоиться *вам*, а не мне. Если они сюда заявятся с ордером на обыск, мистер Балазар, то может оказаться, что вы еще и ноги не раздвинули, а вас уже ***ут*.

Балазар взял из колоды две карты. Вдруг руки у него затряслись, и он положил их. Это длилось не более мгновения, но Роланд это

увидел, и Эдди тоже увидел это. На лице Балазара мелькнуло выражение неуверенности — может быть, даже секундного страха.

— Следи за своим языком, Эдди, когда говоришь со мной. Выбирай выражения и не забывай, пожалуйста, что у меня не хватает ни времени, ни терпения, чтобы слушать вздор.

У Джека Андолини сделался встревоженный вид.

— Он с ними сговорился, мистер Балазар! Этот маленький засра-нец отдал им марафет, а они сделали вид, что допрашивают его там, а сами в это время подбросили товар сюда!

— Сюда никто не приходил, — сказал Балазар. — Никто не мог и близко подойти, Джек, и ты это знаешь. Сигнализация срабатывает, если голубь на крыше пернет.

— Но...

— Даже если бы они и сумели как-нибудь нас подставить, у нас в их конторе столько людей, что мы бы за три дня от их доказательств камня на камне не оставили. Мы бы знали, кто, когда и как.

Балазар снова перевел взгляд на Эдди.

— Эдди, — сказал он, — даю тебе пятнадцать секунд на то, чтобы ты перестал городить херню. А потом я позову сюда Чими Дретто, чтобы он начал делать тебе больно. А после того, как он некоторое время позанимается тобой, он уйдет, и ты услышишь, как в одной из соседних комнат он делает больно твоему брату.

Эдди замер.

Спокойно, — пробормотал стрелок и подумал: «Чтобы причинить ему боль, достаточно просто назвать имя его брата — и все. Все равно, что ткнуть палкой в открытую язву».

— Сейчас я войду в ваш туалет, — сказал Эдди. Он показал на дверь в дальнем левом углу комнаты, такую незаметную, что ее почти невозможно было отличить от панелей, которыми были обшиты стены. — Войду один. А потом я выйду оттуда к вам сюда с фунтом вашего кокаина. С половиной партии. Вы его проверите. Потом вы приведете Генри сюда, чтобы я мог на него посмотреть. Когда я увижу его, увижу, что с ним все в порядке, вы отдадите ему наш товар, и он поедет домой с одним из ваших джентльменов. Пока он будет ехать, я и .. — он чуть не сказал *Роланд* — ...я и остальные ребята, которых, как мы с вами оба знаем, вы сюда нагнали, можем смотреть, как вы строите эту штуку. Когда Генри будет дома и в безопасности — а это значит, что никто не будет над ним стоять, тыча ему в ухо пистолет, — он позвонит сюда и скажет одно слово. Так мы с ним сговорились перед моим отъездом. На всякий случай.

Стрелок проверил сознание Эдди, чтобы выяснить, правда это или блеф. Это была правда, по крайней мере, Эдди считал именно так.. Роланд видел: Эдди действительно верит, что Генри раньше умрет, чем скажет это слово лживо. Стрелок не был в этом так уверен.

— Ты, видно, думаешь, что я до сих пор верю в Санта-Клауса, — сказал Балазар.

— Нет, я знаю, что не верите.

— Клаудио. Обыщи его. Джек, а ты пойди и обыщи туалет. Весь.

— Там есть какое-нибудь место, про которое я не знаю? — спросил Андолини.

Балазар довольно долго молчал, внимательно разглядывая Андолини темно-кариими глазами.

— На задней стенке шкафчика с лекарствами есть маленькая панель, — сказал он. — Я там держу кое-какие личные вещи. Там слишком мало места, чтобы спрятать фунт наркоты, но ты там, пожалуй, все же проверь.

Джек вышел, и, когда он входил в маленький нужник, стрелок увидел вспышку того же ледяного белого света, какой освещал нужник в воздушном вагоне. Потом дверь закрылась.

Взгляд Балазара снова метнулся к Эдди.

— Зачем тебе так нелепо врать? — почти скорбно спросил он. — Я думал, ты сообразительный парень.

— Посмотрите мне в лицо, — спокойно сказал Эдди, — и скажите мне, что я вру.

Балазар сделал, как просил Эдди. Он смотрел долго. Потом отвернулся, засунув руки в карманы так глубоко, что стало чуть-чуть заметно раздвоение на его крестьянской заднице. Поза его выражала скорбь — скорбь о блудном сыне; но прежде чем он отвернулся, Роланд успел заметить на его лице выражение, не имевшее со скорбью ничего общего. То, что Балазар прочел в лице Эдди, вызывало у него не скорбь, а глубокую тревогу.

— Раздевайся, — сказал Клаудио и наставил на Эдди пистолет.

Эдди начал раздеваться.

5

«Не нравится мне это», — думал Балазар, ожидая возвращения Джека Андолини из туалета. Ему было страшно, он вдруг вспотел не только под мышками или в промежности — в этих местах он потел всегда, даже зимой, даже в самый собачий холод, — а весь. Когда Эдди уехал, он выглядел, как торчок — *сообразительный* торчок, но все равно торчок, которого можно подцепить за яйца рыболовным крючком наркоты и вести, куда захочешь — а когда вернулся, стал выглядеть, как... вот именно, *как*? Как будто он каким-то образом *вырос*, как-то *изменился*.

Точно кто-то влил в него две кварты свеженькой смелости.

Да. В этом все дело. И в наркоте. В этой б**дской наркоте. Джек переворачивал вверх дном весь туалет, а Клаудио обыскивал Эдди со злобной дотошностью вертухая-садиста; Эдди стоял совершенно равнодушно (Балазар никогда раньше не поверил бы, что он или любой другой наркаш способен на такое равнодушие), даже, когда Клаудио четыре раза харкнул себе на левую ладонь, растер смешанные с

соплями слюни по всей правой кисти и засунул ее Эдди в зад до самого запястья и даже на дюйм-другой подальше.

Наркоты не оказалось ни в туалете Балазара, ни на Эдди, ни в Эдди. Наркоты не было ни в одежде Эдди, ни в его куртке, ни в дорожной сумке. Значит, все это был всего лишь блеф.

Посмотрите мне в лицо и скажите мне, что я вру.

И он посмотрел. То, что он увидел, его встревожило. Он увидел, что Эдди Дийн абсолютно уверен в себе: он действительно намеревался войти в туалет и выйти из него с половиной товара Балазара.

Балазар и сам почти поверил в это.

Клаудио Андолини вытащил руку из задницы Эдди Дийна. При этом раздался хлюпающий звук. Рот Клаудио искривился, как леска, на которой завязаны узлы.

— Давай быстрее, Джек, у меня вся рука в говне этого торчка! — сердито крикнул Клаудио.

— Если б я знал, Клаудио, что ты там будешь раскопками заниматься, я б, когда в последний раз посрал, подтерся бы ножкой от стула, — незлобиво сказал Эдди. — И у тебя бы рука была чище, и мне бы не казалось, будто меня только что изнасиловал бык Фердинанд.

— *Джек!*

— Пойди спустись в кухню и приведи себя в порядок, — спокойно сказал Балазар. — Нам с Эдди незачем делать друг другу неприятности. Ведь так, Эдди?

— Так, — ответил Эдди.

— Да он все ж таки чистый, — сказал Клаудио. — Ну, то есть не чистый, а нету у него там ничего. Уж будьте уверочки. — Он вышел, выткнув правую руку перед собой, будто нес дохлую рыбу.

Эдди спокойно смотрел на Балазара, а Балазар опять вспоминал Гарри Гудини, и Блэкстона, и Дуга Хеннинга, и Дэвида Копперфилда. Вот, говорят, что представления фокусников так же отжили свой век, как водевиль, но Хеннинг-то — суперзвезда, а этот пацан Копперфилд в тот единственный раз, когда Балазару удалось попасть на его представление в Атлантик-Сити, буквально свел публику с ума. Балазар любил фокусников с тех самых пор, как в первый раз увидел такое представление; прямо на улице какой-то человек показывал карточные фокусы, и платили ему мелочью из кармана. А что всегда делают фокусники в первую очередь, прежде чем достать что-нибудь неизвестно откуда — что-нибудь такое, от чего вся публика сперва ахнет, а потом заплодирует? Вот что они делают: они приглашают кого-нибудь из публики подойти и убедиться, что место, откуда должен появиться кролик, или голубь, или гологрудая красотка, или еще что-нибудь, совершенно пустое. Больше того — убедиться, что положить туда что бы то ни было невозможно.

«Я думаю, может, он так и сделал. Не знаю, как, и мне это без разницы. Единственное, что я знаю точно — это то, что все это мне совершенно не нравится, черт возьми, вот нисколько не нравится».

Джорджу Бьонди тоже кое-что не нравилось. И он очень сильно подозревал, что и Эдди Дийн не будет от этого в восторге.

Джордж был почти уверен, что в какой-то момент после того, как Чими вошел в бухгалтерию и погасил свет, Генри умер. Умер тихо, без шума, без суеты, без шухера. Просто отлетел, как семечко одуванчика, унесенное легким ветерком. Джордж подумал, что, может, это случилось как раз, когда Клаудио ушел в кухню отмывать испачканную дерьмом руку.

— Генри? — прошептал Джордж, придвинув губы так близко к уху Генри, что получилось, как когда сидишь с девочкой в кино и целуешь ее в ухо, и это выходило совсем, на фиг, неприлично, особенно, как подумаешь, что чувак-то, наверно, помер — вроде бы от наркофобии или как там ее, эту х**вину, — но он же должен выяснить, а стенка между этой комнатой и кабинетом Балазара тонкая.

— Что случилось, Джордж? — спросил Трюкач Постино.

— Заткнитесь, — сказал Чими тихим и басовитым, как звук мотора грузовика, голосом.

Они заткнулись.

Джордж сунул руку под рубашку Генри. Ох, ему становилось все хуже и хуже. Ему не переставало представляться, что он сидит с девочкой в кино. Вот теперь он ее шупает, только это не *она*, а *он*, это уж не просто наркофобия, а *голубая* наркофобия, ети ее мать, и тощая торчковая грудь Генри не поднималась и не опускалась, в ней ничего не делало «тук-тук-тук». Для Генри Дийна все было кончено, для Генри Дийна бейсбольный матч завершился на седьмой подаче. Ни хрена не тикало, кроме его часов.

Джордж придвинулся к Чими Дретто, ощутив окружавший его густой запах исторической родины — запах оливкового масла и чеснока, — и прошептал:

— По-моему, у нас тут проблема.

Джек вышел из туалета.

— Нету там никакой наркоты, — сказал он, разглядывая Эдди своими невыразительными глазами. — А если ты подумывал насчет окна, так про это забудь. Там стальная сетка, проволока десятый номер.

— Насчет окна я не думал, а товар *там*, — спокойно ответил Эдди. — Ты просто не знаешь, где искать.

— Я извиняюсь, мистер Балазар, — сказал Андолини, — но с меня его нахальства уж вроде бы хватит.

Балазар внимательно смотрел на Эдди; Андолини он словно и не слышал. Он очень глубоко задумался.

Задумался о фокусниках, которые вытаскивают из шляп кроликов.

Вот ты вызываешь кого-нибудь из публики проверить и подтвердить, что шляпа пустая. А что еще никогда не меняется? Конечно же — то, что никто, кроме фокусника, в шляпу не заглядывает. А что сказал этот мальчишка? *«Сейчас я войду в ваш туалет. Войду один».*

Обычно ему совершенно не хотелось знать, как делается-тот или иной фокус; когда знаешь, все удовольствие пропадает.

Обычно.

Но сейчас он дожидаться не мог, когда, наконец, сможет узнать, как делается *этот* фокус.

— Прекрасно, — сказал он Эдди. — Если он там, иди сходи за ним. Вот так, как есть. С голой жопой.

— Ладно, — сказал Эдди и направился к двери туалета.

— Но не один, — добавил Балазар. Эдди сразу же остановился, тело его напряглось, точно Балазар всадил в него невидимый гарпун, и при виде этого на сердце у Балазара потеплело. В первый раз что-то вышло не по мальчишкиному плану. — С тобой пойдет Джек.

— Нет, — сразу же ответил Эдди. — Я так не...

— Эдди, — мягко проговорил Балазар. — Мне не говорят «нет». Это единственное, чего мне не говорили никогда.

8

Ничего, — сказал стрелок. — Пусть идет.

Но... но...

Эдди едва сдерживался, чтобы не сорваться, не начать требовать, просить, скандалить. Дело было не только в этом неожиданном кручком мяче, который подал ему Балазар; дело было в тревоге за Генри, которая непрерывно грызла его, и в потребности вмазаться, постепенно бравшей верх над всем остальным.

Пусть идет. Все будет в порядке. Слушай:

И Эдди стал слушать.

9

Балазар смотрел, как стоит Эдди — стройный голый парень, еще почти без свойственной наркоманам сутулости, голова чуть наклонена набок, — и уверенности в себе у него поубавилось. Казалось, мальчишка слушает какой-то голос, слышный только ему одному.

О том же подумал и Андолини, только по-другому: «Что это? Он похож на собачонку со старых патефонных пластинок!¹»

Коль тогда хотел сказать ему что-то насчет глаз Эдди. Вдруг Андолини пожалел, что не стал слушать.

«Поздно теперь жалеть», — подумал он.

Если Эдди и слушал голоса у себя в голове, то сейчас либо они перестали говорить, либо он перестал обращать внимание.

¹ Эмблема фирмы грамзаписи, на которой изображен пес, сидящий у граммофона.

— Лады, — сказал он. — Пошли со мной, Джек. Я тебе покажу Восьмое чудо света. — Он коротко, ослепительно улыбнулся, и эта улыбка нисколько не понравилась ни Джеку Андолини, ни Энрико Балазару.

— Ну да? — Андолини вытащил пистолет из двустворчатой кобуры, висевшей у него на поясе сзади. — Удивить меня, стал-быть, стараешься?

Улыбка Эдди стала еще шире.

— Ага. Я так полагаю, что ты, в натуре, офигеешь.

10

Андолини вслед за Эдди вошел в туалет. Он держал пистолет наготове, потому что трусил.

— Закрой дверь, — сказал Эдди.

— Х** тебе, — ответил Андолини.

— Либо закрой дверь, либо не получишь товара, — сказал Эдди.

— Х** тебе, — повторил Андолини. Сейчас, когда ему было страшно, когда он чувствовал, что происходит нечто ему непонятное, вид у него был более сообразительный, чем в грузовике.

— Он не хочет закрывать дверь, — крикнул Эдди Балазару. — Я, пожалуй, плюну на это дело, мистер Балазар. У вас же здесь, небось, поддюжины чуваков напихано, да у каждого не меньше как по четыре пушки, а вы оба обсераетесь из-за пацана в сортире. Да еще торчка.

— Закрой эту б**дскую дверь, Джек! — крикнул Балазар.

— Вот так-то, — сказал Эдди, когда Джек Андолини пинком захлопнул за собой дверь. — Мужик ты или м...

— Ох, надоело мне этот говнюк, — сказал Андолини в пространство. Он поднял пистолет рукояткой вперед, чтобы ударить Эдди по зубам.

И замер с занесенным пистолетом; злобный оскал исчез, губы обмякли, челюсть отвисла; он увидел то, что в фургоне видел Коль Винесент.

Глаза Эдди из карих стали голубыми.

— *Хватай его!* — сказал тихий, повелительный голос, и, хотя этот голос исходил из рта Эдди, он не принадлежал Эдди.

«Шизанулся, — подумал Джек Андолини. — Шизанулся к едрене бабушке, шиза...»

Но эта мысль оборвалась, когда Эдди схватил его за плечи, потому что когда он это сделал, Джек увидел, что примерно в трех футах позади Эдди в реальности вдруг появилась дыра.

Нет, не дыра. Для дыры у нее были слишком правильные пропорции. Это была *дверь*.

«Радуйся, Мария, благодати полная», — тихо не то выдохнул, не то простонал Джек. Через этот дверной проем, повисший в пространстве позади персонального душа Балазара, примерно в футе над полом, ему был виден темный песчаный берег, косо ухотивший вниз,

к разбивавшимся с грохотом волнам. На этом берегу копошились какие-то твари. *Твари.*

Он все-таки ударил Эдди рукояткой пистолета, но удар, который должен был обломать Эдди все передние зубы на уровне десен, лишь расплющил и чуть-чуть раскровянил ему губы. Из Джэка вытекла вся сила. Джэк чувствовал, как она вытекает.

— Я же тебе говорил, что ты, в натуре, офигеешь, — сказал Эдди и дернул его. В последний момент Джэк понял, что Эдди собирается сделать, и начал отбиваться, как дикая кошка, но было поздно — они уже падали сквозь эту дверь назад, и гул ночного Нью-Йорка, такой знакомый и непрерывный, что человек замечал его только тогда, когда он прекращался, сменился скрежетом волн и скрипучими, вопросительными голосами чудовищ, ползавших по берегу взад-вперед.

11

«Нам придется двигаться очень быстро, а то окажется, что нас поливают подливкой в горячей духовке», — предупредил Роланд, и Эдди не сомневался: стрелок имел в виду, что, если они не будут все делать со скоростью света или около того, то спекутся. И он ему верил. Если говорить о крутых мужиках, то Джэк Андолини — как Дуайт Гуден: его можно заставить пошатнуться; может быть, его можно и вогнать в шок; но если дать ему увернуться в первых раундах, то позже он тебя растопчет.

— *Левая рука!* — завопил на себя Роланд, когда они прошли на ту сторону, и он отделился от Эдди. — *Помни! Левая рука! Левая рука!*

Он увидел, как Эдди и Джэк пятятся, спотыкаются, падают, а потом катятся вниз по каменистой осыпи, окаймляющей берег, и Эдди силится отобрать у Андолини пистолет, который тот держит в руке.

Роланд едва успел подумать, какая будет колоссальная шуточка, если он вернется в свой мир только для того, чтобы обнаружить, что, пока его не было, его тело умерло... а потом стало слишком поздно. Поздно гадать, поздно возвращаться.

12

Андолини не понял, что произошло. Часть его была уверена, что он сошел с ума, часть была уверена, что Эдди подсунул ему какой-то наркотик или пшикнул в него газом или сделал еще что-то такое, часть полагала, что мстительному Богу его детства наконец надоели его грехи, и Он выдернул его из знакомого мира и посадил сюда, в это унылое чистилище.

Потом он увидел дверь, она была открыта, из нее на каменистую землю падал веер белого света — света из Балазарова сортира — и понял, что есть возможность вернуться назад. Андолини был прежде всего практичным человеком. Ломать себе голову над тем, что все это

означает, он был намерен потом. А вот сейчас он собирался прикончить этого гада и вернуться через эту дверь назад.

Силы, ушедшие из него от этого испуганного изумления, теперь прихлынули обратно. Он понял, что Эдди старается вырвать у него из руки его маленький, но очень эффективный кольт-«Кобру», и ему это уже почти удалось. Джек, выругавшись, рванул пистолет обратно, попытался прицелиться, и Эдди тут же снова схватил его за руку.

Андолини уперся коленом в самую большую мышцу на правом бедре Эдди (дорогой габардин брюк Андолини теперь был заляпан грязным серым приморским песком), и Эдди пронзительно вскрикнул.

— *Роланд!* — закричал он. — *Помоги мне! Ради Бога, помоги же!*

Андолини обернулся, и от того, что он увидел, опять потерял душевное равновесие. Там стоял мужик... только он был больше похож на привидение, чем на мужика. И не то, чтобы на Каспера, Дружелюбное привидение. Его шатало, его бледное, осунувшееся лицо заросло щетиной. Рубаха у него была изодрана, и ветер отдувал лохмотья назад, обнажая торчащие, как у умирающего от голода, ребра. Правая кисть у него была обмотана грязной тряпкой. Он казался больным, даже умирающим, но все же достаточно крутым, чтобы Андолини почувствовал себя яйцом всмятку.

И на поясе у этого мужика была пара револьверов.

Они выглядели старыми, как мир, такими старыми, будто их сперли в одном из музеев Дикого Запада... но тем не менее, это были револьверы, и, может, они даже и работали, и Андолини вдруг понял, что ему придется сейчас же разделаться с этим бледным... если только он и вправду не привидение, а если привидение, тогда тут уж вообще ни хера не поделаешь, так что нечего и беспокоиться.

Андолини вынул Эдди и резким движением откатился направо, почти не почувствовав, что острый камень разорвал его пятисотдолларовый пиджак спортивного покроя. В тот же миг стрелок левой рукой выхватил револьвер, и сделал это, как всегда — здоровый или больной, проснувшись или в полусне, — с быстротой голубой летней зарницы.

«Хана мне, — подумал Андолини с ужасом и изумлением. — Господи, да я ж таких проворных в жизни не видал! Мне амбец, Святая Мария, Матерь Божия, он же меня щас расстреляет, он ме...»

Человек в драной рубахе нажал спуск револьвера в левой руке, и Джек Андолини подумал — взаправду подумал, — что уже умер, а потом понял, что вместо выстрела раздался только глухой щелчок.

Осечка.

Андолини с улыбкой поднялся на колени и поднял свой пистолет.

— Не знаю, кто ты такой, привидение ты е**ное, но с белым светом можешь проститься, — сказал он.

Эдди сел, дрожа от холода, весь в гусиной коже. Он увидел, как Роланд выхватил револьвер, услышал сухой щелчок вместо грохота,

увидел, как Андолини поднимается с песка, услышал, как он что-то говорит; и, прежде чем Эдди сообразил, что он делает, его рука сама нащупала зазубренный обломок камня. Он вырвал его из шершавой земли и изо всех сил швырнул.

Камень ударил Андолини по голове сзади, чуть пониже макушки, и отскочил. Из рваной раны с болтающимся куском кожи брызнула кровь. Андолини выстрелил, но пуля, которая иначе непременно убила бы стрелка, прошла мимо.

14

«Не совсем мимо, — мог бы сказать Эдди стрелок. — Когда чувствуешь ветерок от пули, нельзя сказать, что так уж мимо».

Отшатнувшись от выстрела Андолини, Роланд большим пальцем отвел назад курок револьвера и снова нажал спуск. На этот раз патрон сработал — сухой, повелительный треск эхом разнесся по всему берегу. Чайки, спавшие на камнях высоко над чудовищами, проснулись и взлетели испуганными, пронзительно кричащими стайками.

Несмотря на то, что стрелок невольно отшатнулся, его пуля остановила бы Андолини раз и навсегда, но к этому времени Андолини тоже начал двигаться — оглушенный ударом по голове, он начал валиться на бок. Звук револьверного выстрела показался ему далеким, но жгучая боль в левом локте, раздробленном пулей стрелка, была вполне реальной. Она привела его в себя, и он поднялся на ноги; одна рука у него повисла плетью, сломанная, бесполезная, в другой он держал пистолет и бестолково водил им из стороны в сторону, ища цель.

Первым он увидел Эдди, Эдди-торчка, Эдди, который как-то ухитрился затащить его в это сумасшедшее место, Эдди, который стоял здесь в чем мать родила и дрожал на холодном, пронизывающем ветру, обхватив себя обеими руками. «Ладно, может, он здесь и умрет, но хоть доставит себе удовольствие — прихватит с собой Эдди Е**ного Дийна».

Андолини поднял пистолет. Теперь маленькая «Кобра» весила, казалось, фунтов эдак двадцать, но он справился.

15

«Ну, если опять осечка», — угрюмо подумал Роланд и снова отвел курок назад. Сквозь галдеж чашек он услышал, как плавно повернулся и щелкнул барабан.

16

Осечки не произошло.

17

Стрелок целился Андолини не в голову, а в пистолет в его руке. Он не знал, понадобится ли им еще этот человек, но не исключал этого; он был нужен Балазару, а так как все предположения Роланда

о том, насколько Балазар опасен, полностью оправдались, то самое лучшее было — подстраховаться.

Что выстрел попал в цель, его не удивило; удивительно было то, что случилось с пистолетом Андолини, а из-за этого и с самим Андолини. За все те годы, что Роланд наблюдал, как люди стреляют друг в друга, ему довелось увидеть и такое, но лишь дважды.

«Не повезло тебе, парень», — подумал стрелок, когда Андолини с воплем, не соображая, куда идет, побежал к морю. По рубашке и брюкам у него струей текла кровь. На той руке, в которой только что был кольт-«Кобра», не было пальцев и нижней половины ладони. Пистолет, превратившийся в бесполезный, искореженный кусок металла, валялся на песке.

Эдди ошарашенно уставился на Джека. Теперь уже никто никогда не мог бы сказать, что у Андолини лицо троглодита, потому что у него больше не было лица; на его месте осталась лишь кровавая каша и черная вопящая дыра рта.

— Бог ты мой, что случилось?

— Должно быть, пуля попала в патронник его револьвера в тот момент, когда он нажимал спуск, — ответил стрелок. Он говорил сухо, как профессор, читающий лекцию по баллистике в полицейской академии. — В результате произошел взрыв, которым оторвало заднюю часть его револьвера. Я думаю, могла взорваться и еще парочка патронов.

— Пристрели его, — попросил Эдди. Его трясло все сильнее, и теперь — не только от сочетания ночного воздуха, ветра с моря и голого тела. — Убей его. Прекрати его мучения, ради Бо...

— Поздно, — сказал стрелок с холодным безразличием, от которого Эдди до костей пробрал мороз.

И Эдди отвернулся, но недостаточно быстро; он успел увидеть, как омароподобные чудовища ползают по ногам Андолини, срывают с него мокасины от Гуччи... разумеется, вместе со ступнями. Визжа, судорожно размахивая перед собой руками, Андолини упал ничком. Чудовища жадно набросились на него и, ползая по нему, пожирая его, все время тревожно спрашивали у него: «Дад-э-чак? Дид-э-чик? Дам-э-чам? Дод-э-чок?»

— Господи Иисусе! — простонал Эдди. — А теперь что?

— А теперь ты возьмешь ровно столько (стрелок сказал *бесова порошка*; Эдди услышал *кокаина*), сколько ты обещал этому Балазару, — сказал Роланд. — Ни больше, ни меньше. И мы вернемся. — Он прямо, в упор, посмотрел на Эдди. — Только на этот раз мне придется вернуться туда с тобой. В своем теле.

— Елки-палки, — сказал Эдди. — А ты сумеешь? — И сразу же сам себе ответил: — Да конечно, сумеешь. А зачем?

— Потому что одному тебе не справиться, — ответил Роланд. — Иди сюда.

Эдди оглянулся на шевелящуюся кучу клешнястых тварей на песке. Джек Андолини ему никогда не нравился, но его все равно затошнило.

— Иди сюда, — нетерпеливо повторил Роланд. — Времени у нас мало, и то, что я сейчас должен сделать, мне не по душе. Я еще ни разу не делал такого. И никогда не думал, что буду. — Губы его горько искривились. — Я уже начинаю привыкать к таким вещам.

Эдди медленно, все сильнее ощущая, что ноги у него ватные, двинулся к этой тощей фигуре.

В чуждой тьме его кожа казалась очень белой и словно мерцала. «Кто же ты такой, Роланд? — подумал он. — Что ты такое? И этот обжигающий жар, которым от тебя пышет, — только лихорадка? Или какое-то безумие? По-моему, наверно, и то, и другое».

Господи, как же ему нужно вмазаться! Больше того; он заслужил дозняк

— Чего ты ни разу не делал? — спросил он. — О чем ты?

— Вот, возьми, — сказал Роланд и жестом показал на старинный револьвер, висевший у него низко на правом бедре. Показал, но не пальцем; пальца не было, было только что-то большое, замотанное тряпкой. — Мне он сейчас не годится. И, быть может, больше никогда не пригодится.

— Я... — Эдди судорожно глотнул. — Я не хочу до него дотрагиваться.

— Да я и не хочу, чтобы ты к нему прикоснулся, — странно мягким тоном ответил стрелок, — но боюсь, что выбора ни у тебя, ни у меня нет. Будет стрельба.

— Да?

— Да. — Стрелок безмятежно взглянул на Эдди. — И я думаю, что очень изрядная.

18

Балазару становилось все сильнее и сильнее не по себе. Слишком долго. Они слишком долго там возятся, и там слишком тихо. Он слышал, как где-то далеко, может быть, в соседнем квартале, какие-то люди орут друг на друга, а потом до него донеслось несколько громких хлопков, скорее всего — фейерверк... только, когда занимаешься таким бизнесом, как Балазар, то в первую очередь думаешь не о фейерверке.

Пронзительный вопль. Или нет?

«Неважно. Что бы ни происходило в соседнем квартале, тебя это не касается. Совсем уж в старую бабу превращаешься».

И все же это были скверные признаки. Очень скверные.

— Джек? — громко крикнул он через закрытую дверь туалета.

Ответа не было.

Балазар открыл левый верхний ящик письменного стола и достал пистолет. Это был не кольт-«Кобра», который удобно носить в двусторчатой кобуре; это был «Магнум» .357.

— Чими! — крикнул он. — Ты мне нужен!

Он захолопнул ящик. Карточная башня рухнула с тихим, как вздох, звуком. Балазар даже не заметил этого.

Чими Дретто встал в дверях, заполнив весь проем — он весил двести пятьдесят фунтов. Он увидел, что *Иль Боссо* достал из ящика пистолет, и немедленно выхватил свой из-под пиджака в клетку — в такую яркую клетку, что, если по неосторожности смотреть на этот пиджак слишком долго, можно было получить световой ожог глаз.

— Мне нужны Клаудио и Трюкач, — сказал Балазар. — Давай их быстрее сюда. Этот шкет что-то затеял.

— У нас проблема, — сказал Чими.

Балазар на мгновение перевел взгляд с двери туалета на Чими.

— О, у меня их и так выше головы, — сказал он. — Так что за новая проблема, Чими?

Чими облизал губы. Он и при самых благоприятных обстоятельствах не любил приносить *Иль Боссо* дурные вести, а уж когда у него такой вид, как сейчас...

— Ну, — сказал он и опять облизал губы. — Понимаете...

— *Да не тяни ты, е* твою мать!* — заорал Балазар.

19

Сандаловая рукоятка револьвера была такой гладкой, что Эдди, взяв его, первым делом уронил себе на ногу и зашиб пальцы. Эта штука была такой огромной, что казалась доисторической, и такой тяжелой, что он понял: ему придется держать ее обеими руками. «Отдачей меня так швырнет о ближайшую стену, что я ее насквозь проломлю, — подумал он. — То есть, если он вообще выстрелит». — И все же что-то в Эдди *хотело* держать этот револьвер, соответствовало назначению этого револьвера, выраженному с таким совершенством, чуяло его туманную и кровавую историю и хотело быть ее частью.

«Эту прелесть еще никогда не брал в руки никто, кроме лучших из лучших, — подумал Эдди. — По крайней мере, до сих пор».

— Ты готов? — спросил Роланд.

— Нет, но все равно поехали, — ответил Эдди.

Он крепко взялся левой рукой за левое запястье Роланда, а Роланд обхватил голые плечи Эдди своей горячей правой рукой.

Вместе они шагнули через открытую дверь назад, из продутой ветром тьмы морского берега в умирающем мире Роланда в холодное ослепительное сияние люминесцентной лампы в личном туалете Балазара в «Падающей башне».

Эдди заморгал, привыкая к свету, и услышал в соседней комнате голос Чими Дретто: «У нас проблема», — говорил Чими. — «А у кого их нет», — подумал Эдди, и тут его взгляд задержался на аптечке Балазара. Ее дверца была открыта. Он отчетливо вспомнил, как Балазар велел Джеку обыскать туалет, и Джек спросил, есть ли там какое-нибудь место, про которое он не знает. Балазар тогда помедлил, а потом ответил: «На задней стенке аптечки есть маленькая панель. Я там держу кое-какие личные вещи».

Андолини отодвинул металлическую панель, а задвинуть обратно забыл.

— Роланд! — прошипел Эдди.

Роланд поднял свой револьвер и прижал ствол к губам, жестом показывая: «Тише!». Эдди молча подошел к аптечке.

«Кое-какие личные вещи»... в тайнике лежали: флакон суппозитория, экземпляр нечетко напечатанного журнала под названием «Детские игры» (на обложке врасос целовались две голенькие девочки лет по восемь) и восемь или десять пробных упаковок кефлекс. Эдди знал, что такое кефлекс. Наркоманы, при своей подверженности инфекциям, как генерализованным, так и местным, обычно знают такие вещи.

Кефлекс — это антибиотик.

— О, у меня их и так выше головы, — говорил Балазар. Голос у него был затравленный. — Так что за новая проблема, Чими?

«Уж если *эта* штука не справится с его болезнью, то ему вообще ничего не может помочь», — подумал Эдди. Он начал хватать упаковки и хотел было рассовать их по карманам, но сообразил, что карманов-то у него нет, и издал короткий лай, даже отдаленно не напоминавший смех. Он начал выкладывать кефлекс в раковину. Придется забрать его потом... если *будет* какое-то «потом».

— Ну, — говорил Чими, — понимаете...

— *Да не тяни ты, е* твою мать!* — заорал Балазар.

— Это насчет старшего брата того мальчишки, — сказал Чими, и Эдди замер, сжимая в руке две последних упаковки кефлекс, наклонив голову набок. Сейчас он еще больше был похож на собачку с этикетки старой патефонной пластинки.

— Ну, что там с ним? — нетерпеливо спросил Балазар.

— Помер он, — ответил Чими.

Эдди уронил кефлекс в раковину и повернулся к Роланду.

— Они убили моего брата, — сказал он.

20

Балазар как раз открыл рот, чтобы велеть Чими не приставать к нему со всякой хреновой, когда у него есть серьезные заботы — ну, вот хоть это чувство, от которого невозможно избавиться, что мальчишка собирается его объ**ать, и никакой Андолини ему в этом не помешает, — когда услышал мальчишкин голос так же четко, как мальчишка, несомненно, слышал голоса его и Чими. «Они убили моего брата», — сказал мальчишка.

Балазару вдруг стали безразличны и его товар, и вопросы, на которые он не нашел ответа, и вообще все, кроме желания немедленно, сию же секунду, тормознуть эту ситуацию, пока она не стала еще более странной и жуткой.

— *Джек, кончай его!* — крикнул он.

Ответа не было. Потом он услышал, как мальчишка повторил: «Они убили моего брата. Они убили Генри».

Балазар вдруг понял — *понял*, — что мальчишка разговаривает не с Джеком.

— Зови сюда джентльменов, — приказал он Чими. — *Всех до одного*. Мы ему будем жопу палить, а когда он сдохнет, мы оттащим его в кухню, и я сам лично отрублю ему голову.

21

«Они убили моего брата», — сказал невольник. Стрелок ничего не ответил. Он только смотрел и думал: «Бутылочки. В раковине. Это то, что мне нужно, или то, что, по его мнению, мне нужно. Пакетики. Не забудь. Не забудь».

Из соседней комнаты: «Джек, кончай его!»

Ни Эдди, ни стрелок не обратили на это никакого внимания.

«Они убили моего брата. Они убили Генри».

Теперь Балазар в соседней комнате говорил, что голова Эдди будет его трофеем. Это как-то странно утешило стрелка: видимо, не во всем этот мир отличается от его мира.

Тот, которого звали Чими, стал громко, хрипло звать остальных. Послышался отнюдь не джентльменский топот бегущих ног.

— Ты хочешь что-нибудь предпринять по этому случаю или так и собираешься здесь стоять? — спросил Роланд.

— А как же, хочу предпринять, — сказал Эдди и поднял револьвер стрелка. И, хотя всего несколько минут назад он считал, что не сумеет сделать этого одной рукой, сейчас оказалось, что это очень легко.

— И что же ты хочешь предпринять? — спросил Роланд, и ему показалось, что собственный голос доносится до него издалека. Он был болен, его сжигала лихорадка, но то, что происходило с ним сейчас, было началом совсем другой лихорадки, очень хорошо знакомой ему. Это была лихорадка, охватившая его в Талле. Это был жар битвы, туманящий все мысли, оставляющий лишь потребность перестать думать и начать стрелять.

— Я хочу воевать, — спокойно сказал Эдди.

— Ты не знаешь, о чем говоришь, — сказал Роланд, — но скоро узнаешь. Когда будем проходить через дверь, ты иди справа. Я должен идти слева. Из-за руки.

Эдди кивнул. И они отправились воевать.

22

Балазар ожидал, что увидит Эдди, или Андолини, или обоих вместе. Он не ожидал, что увидит Эдди и совершенно незнакомого человека, высокого, с посережевшими от грязи черными волосами и

лицом, словно высеченным из неподдающегося камня неким свирепым богом. Секунду он не мог решить, в кого выстрелить.

А вот у Чими такой проблемы не было. *Иль Боссо* был зол на Эдди. Ну, значит, он сперва шлепнет Эдди, а уж потом начнет беспокоиться о другом *каццарро*. Чими грузно повернулся к Эдди и трижды нажал спуск своего автоматического пистолета. В воздух, сверкнув, полетели осколки панелей. Эдди увидел, как этот амбал поворачивается, и отчаянно заскользил по полу, метнулся, словно какой-нибудь сопляк на дискотеке, сопляк, обкуренный до того, что не соображает, что оставил где-то свой прикид под Джона Травольту, включая нижнее белье; при этом все его мужские прелести болтались, а коленки от трения сперва нагрелись, а потом их обожгло. Над самой его головой в пластик, имитировавшем сучковатые сосновые доски, появились дыры. Куски пластика посыпались ему на плечи и на волосы.

«Боже, не дай мне умереть голым и без дозняка, — молился он, понимая, что такая молитва — более чем богохульство, что она — абсурд. Но все равно не мог перестать. — Я умру, но пожалуйста, позволь мне еще один разочек...»

Прогремел револьвер в левой руке стрелка. На открытом месте, у моря, его звук был просто громким; здесь он оглушал.

— *Ой, мама!* — сдавленно, с придыханием вскрикнул Чими Дретто. Удивительно было, что ему удалось вскрикнуть. Его грудь внезапно ввалилась, точно кто-то стукнул по бочке кувалдой. На его белой рубашке начали появляться красные пятна, словно на ней расцвели маки. — *Ой, мама! Ой, мама! Ой, ма...*

Клаудио Андолини оттолкнул его в сторону. Чими упал с глухим стуком. Со стены с грохотом свалились две фотографии в рамках. Та, на которой *Иль Боссо* вручал приз «Спортсмен года» улыбающемуся юнцу на банкете Полицейской атлетической лиги, угодила на голову Чими. На плечи ему посыпались осколки стекла.

— *Ой, мама,* — прошептал он тихим, обморочным голосом, и на губах у него запенилась кровь.

За Клаудио вбежали Трюкач и один из ждавших в кладовой. Клаудио держал в каждой руке по автоматическому пистолету; у парня из кладовой был обрез дробовика «Ремингтон», такой короткий, что выглядел, как больной свинкой короткоствольный пистолет «Дерринджер»; Трюкач Постино был вооружен предметом, который он называл «Чудесная машина Рэмбо» — это был автомат М-16.

— Где мой брат, б**дь ты обколота? — кричал Клаудио. — Что ты сделал с Джеком? — Ответ его, по-видимому, не очень-то интересовал, поскольку он начал стрелять, еще не кончив кричать. «Ну, все», — подумал Эдди, и тут Роланд опять выстрелил. Клаудио Андолини, окутанного облаком собственной крови, отбросило назад. Пистолеты вылетели у него из рук и, скользнув по крышке письменного стола Балазара, с глухим стуком упали на ковер, а на них, как осенние листья, посыпались карты. Большая часть внут-

ренности Клаудио ударились о стену секундой раньше, чем их догнал Клаудио.

— *Кончайте его!* — визжал Балазар. — *Призрака этого кончайте! Пацан не опасен! Он всего только торчок голозадый! Призрака кончайте! Расстреливайте его!*

Он дважды нажал спуск своего «Магнума». Звук у него был почти такой же громкий, как у револьвера Роланда. Отверстия, пробитые пулями в стене, у которой, скорчившись, присел Роланд, были неаккуратными; пули оставили в имитации дерева по обеим сторонам головы Роланда зияющие раны. Сквозь эти дыры из туалета зазубренными белыми лучами пробивался свет.

Роланд нажал спуск.

Только сухой щелчок.

Осечка.

— *Эдди!* — крикнул стрелок, и Эдди поднял свой револьвер и нажал спуск.

Грохот выстрела был таким громким, что в первый момент Эдди показалось, что револьвер взорвался у него в руке, как у Джека. Отдача не пробила им стенку, но подбросила его руку свирепой дугой, рванувшей под мышкой все сухожилия.

Он увидел, как часть плеча Балазара распалась на алые брызги, услышал, как Балазар завизжал, точно раненая кошка, и прокричал:

— *Торчок, говоришь, не опасен, да? Так ты сказал, х** ты тупой? Хочешь лезть к нам с братом? Я тебе покажу, кто опасен! Я тебе пока...*

Что-то грохнуло, будто разорвалась граната; это парень из кладовой пальнул из обрезка. Эдди покатился по полу; в стенах и двери туалета появилась сотня мелких дырочек. Дробь обожгла в нескольких местах голую кожу Эдди, и он понял, что если бы он был к этому с обрезом поближе, где кучность дробы большая, его бы разнесло в клочья.

«Черт, мне все равно конец, — подумал он, глядя, как парень из кладовой перезаряжает «Ремингтон» и кладет его себе на предплечье. Парень усмехался. Зубы у него были очень желтые. Эдди подумал, что они уже давно не знали зубной щетки. — Господи, сейчас меня убьет какой-то хрен моржовый с желтыми зубами, а я даже не знаю, как его зовут, — мелькнула у Эдди смутная мысль. — По крайней мере, Балазару я влил. Хоть это я сделал». — Он не мог вспомнить, остались ли у Роланда патроны. А ему хотелось бы знать это.

— *Ща я его!* — радостно заорал Трюкач Постино. — Отойди, Дарио, не засти! — И прежде чем человек по имени Дарио успел отойти или вообще пошевелиться, Трюкач открыл огонь из «Чудесной машины Рэмбо». Кабинет Балазара наполнился тяжелым громом автоматного огня. Первым результатом этого шквала огня стало то, что он спас жизнь Эдди Дийну. Дарио уже поймал его на мушку обрезка, но прежде чем он успел нажать оба его курка, Трюкач очередь перерезал его пополам.

— Прекрати, болван! — завопил Балазар.

Но Трюкач то ли не слышал, то ли не мог прекратить, то ли не хотел прекратить. Оскалив в широкой акульей ухмылке блестящие от слюны зубы, он поливал комнату огнем от стены до стены. Пули превратили две панели в пыль, застекленные фотографии — в облака разлетающихся осколков стекла, сорвали с петель дверь туалета. Разлетелось вдребезги матовое стекло душевой кабинки Балазара. Пуля пробила кубок — приз Марша десятицентовиков, который Балазар получил год назад, и он зазвенел, как колокол.

В кино люди действительно убивают друг друга из ручного скорострельного оружия. В реальной жизни это случается редко. А если и случается, то это делают первые четыре-пять пуль (как мог бы подтвердить несчастный Дарио, будь он теперь вообще в состоянии что-нибудь подтвердить). После первых четырех-пяти выстрелов с человеком — даже физически сильным, — который пытается управлять таким оружием, происходят две вещи: ствол начинает подниматься, а сам стрелок начинает поворачиваться вправо или влево, в зависимости от того, какое несчастное плечо он решился разmozжить отдачей. Короче говоря, избрать такое оружие мог бы только клинический кретин или кинозвезда; это все равно, что пытаться застрелить человека из отбойного молотка.

В течение секунды Эдди был неспособен ни на какие конструктивные действия, а мог только таращиться на это совершенное чудо идиотизма. Потом он увидел, что за Трюкачом в дверь протискиваются другие, и поднял револьвер Роланда.

— Готов! — орал Трюкач радостно и истерично, как человек, который смотрел так много фильмов, что уже не может отличить то, что должно происходить по сложившемуся у него в сознании сценарию, от происходящего на самом деле. — Он готов! Я его уделал! Я его у...

Эдди нажал спуск и превратил Трюкача от бровей и выше в мелкие брызги. Судя по его поведению, выше бровей у него было не так уж много.

«Елки-палки, когда эти штуки стреляют, так дырки получаются те еще», — подумал он.

Слева от Эдди раздалось громкое БУ-БУХ. Что-то прорыло в его недоразвитом левом бицепсе горячую канавку. Он увидел, что Балазар, припав за углом уснувшего картами письменного стола, целится в него из «Магнума». Вместо плеча у Балазара была алая каша, с которой капало красное. Эдди пригнулся; в ту же секунду «Магнум» грохнул вновь.

Роланд сумел присесть на корточки, прицелился в первого из новой группы людей, входивших в дверь, и нажал спуск. Он перекрутил барабан, выбросил стреляные гильзы и давшие осечку патроны на

ковер и зарядил револьвер этим одним новым патроном. Он сделал это зубами. Балазар держал Эдди на прицеле. «Если этот патрон не сработает, я думаю, нам обоим конец».

Этот патрон сработал. Револьвер рывкнул, дернулся в его руке назад, и Джимми Аспино отлетел в сторону, выпустив из разжавшихся, обессиленных смертью пальцев свой пистолет калибра .45.

Роланд увидел, как он дернулся назад, и пополз по усеявшим пол осколкам стекла и щепкам. Он опустил револьвер в кобуру. Нечего было и думать о том, чтобы еще раз перезарядить его, когда на правой руке не хватает двух пальцев.

Эдди управлялся очень хорошо. Насколько хорошо, стрелок мог судить по тому, что он сражался голым. Это — трудное дело. Иногда — невозможно.

Стрелок схватил один из автоматических пистолетов, которые выронил Клаудио Андолини.

— *Ребята, чего вы ждете?* — пронзительно кричал Балазар. — *Мать вашу! СОЖРИТЕ ИХ!*

В дверь ворвались Большой Джордж Бьонди и второй «джентльмен» из кладовой. «Джентльмен» из кладовой орал что-то по-итальянски.

Роланд по-пластунски полз к углу письменного стола. Эдди встал, целясь в дверь и во вбежавших. «Он знает, что Балазар притаился там и ждет, но он думает, что теперь из нас двоих вооружен только он, — подумал Роланд. — Вот и еще один готов умереть за тебя, Роланд. Какой же великий грех совершил ты, что вызываешь у столь многих такую страшную преданность?»

Балазар встал, не замечая, что стрелок зашел ему во фланг. Балазар думал только об одном: прикончить, наконец, проклятого наркаша, обрушившего на его голову всю эту беду.

— Нет, — сказал стрелок, и Балазар обернулся к нему; лицо у него было удивленное.

— Ах, мать... — начал Балазар, поворачивая ствол «Магнума». Стрелок всадил в него четыре пули из пистолета Клаудио. Это была дешевая штучка, почти игрушка, и стрелку казалось, что от прикосновения к ней его рука испачкалась, но, быть может, презренного противника и подобало убить презренным оружием.

Энрико Балазар умер с выражением предельного изумления на том, что осталось от его лица.

— Привет, Джордж! — сказал Эдди и нажал спуск револьвера стрелка. Опять раздался этот симпатичный грохот. «В этой крошке испорченных нет, — ошалело подумал Эдди. — Должно быть, мне достался хороший».

Прежде чем пуля Эдди отбросила Джорджа назад, на кричавшего, он успел один раз выстрелить, но промахнулся. Эдди овладело иррациональное, но абсолютно убедительное чувство: ощущение, что револьвер Роланда обладает некой колдовской защитной силой, силой талисмана. Пока Эдди держит его, с ним ничего плохого не случится.

Потом наступила тишина; тишина, в которой Эдди были слышны только стоны человека, лежавшего под Большим Джорджем (рухнув на Руди Веккью — так звали этого несчастного, — Джордж сломал ему три ребра) да звон в собственных ушах. Он подумал: интересно, будет ли он когда-нибудь опять хорошо слышать. По сравнению с этой перестрелкой, которая сейчас уже как будто кончилась, самый громкий рок-концерт из всех, на каких довелось побывать Эдди, казался не громче радио, играющего за два квартала.

Кабинет Балазара теперь вообще не был похож на комнату. Его прежняя функция уже больше не имела значения. Эдди огляделся вокруг широко раскрытыми, изумленными глазами очень молодого человека, который видит нечто подобное впервые в жизни, но Роланду этот взгляд был знаком, и этот взгляд всегда был один и тот же. Было ли это открытое поле боя, где от пушек, винтовок, мечей и алебард погибли тысячи, или маленькая комната, где перестреляли друг друга пятеро или шестеро — все равно, в конце концов это оказывалось одно и то же место: еще одна мертвецкая, провонявшая порохом и сырым мясом.

От стены между туалетом и кабинетом остались лишь несколько стоек. Всюду поблескивало битое стекло. Потолочные панели, взорванные ярким, но бесполезным фейерверком из М-16 Трюкача Постино, свисали вниз подобно лоскутам содранной кожи.

Эдди сухо кашлянул. Теперь ему стали слышны и другие звуки: гомон возбужденного разговора, выкрики, доносившиеся снаружи, откуда-то с улицы, а вдали — переливчатый вой сирен.

— Сколько? — спросил у Эдди стрелок. — Может быть так, что мы их всех перестреляли?

— Да, я думаю...

— Эдди, а что у меня для тебя есть-то, — сказал из коридора Кевин Блейк. — Я подумал, она тебе может пригодиться, вроде как на память, понимаешь? — Кевин сделал со старшим из братьев Дийн то, что Балазар не сумел сделать с младшим. Он швырнул отрезанную голову Генри Дийна через дверь снизу вверх.

Эдди увидел, что это, и закричал. Он бегом кинулся к двери, не замечая вонзавшихся в его босые ноги осколков стекла и дерева, крича и стреляя на бегу, израсходовав последний годный патрон в своем боевом револьвере.

— Нет, Эдди! — заорал Роланд, но Эдди не слышал. Он был не способен что-либо слышать.

В шестом гнезде оказался негодный патрон, но к этому моменту Эдди уже не сознавал ничего, кроме того факта, что Генри умер, *Генри*, они отрезали ему голову, какой-то паршивый сукин сын отрезал Генри *голову*, и этот сукин сын за это *заплатит*, да-да, можете быть уверены.

Поэтому он бежал к двери и все нажимал и нажимал спуск, не замечая, что ничего не происходит, не замечая, что его ступни красны

от крови, и Кевин Блейк шагнул в дверной проем ему навстречу, низко пригнувшись, с автоматическим пистолетом «Лама» .38 в руке. Рыжие волосы Кевина пружинками и колечками торчали вокруг головы, и Кевин улыбался.

24

«Занизит», — подумал стрелок, понимая, что только при большом везении ему удастся попасть в цель из этой ненадежной маленькой игрушки, даже если он угадал верно.

Когда Роланд увидел, что уловка солдата Балазара выманит Эдди, он поднялся и, стоя на коленях, для опоры подложил под левую кисть правый кулак, угрюмо не обращая внимания на боль, пронизавшую его, когда он сжал правую руку в кулак. У него оставался только один шанс. Боль не имела значения.

Потом рыжеволосый, улыбаясь, шагнул в дверь, и мозг Роланда, как всегда, отключился; его глаза видели, рука стреляла, и внезапно оказалось, что рыжий лежит в коридоре у стенки с открытыми глазами и с маленькой синей дырочкой во лбу. Эдди стоял над ним, визжа и рыдая, снова и снова нажимая спуск большого револьвера с сандаловой рукояткой и пустым барабаном, точно, как бы мертв ни был рыжеволосый, ему все было мало.

Стрелок дождался смертоносного перекрестного огня, который должен был перерезать Эдди пополам, и когда этого не случилось, понял, что все действительно кончилось. Если и были другие солдаты, то они убежали.

Он устало поднялся на ноги, пошатнулся и медленно пошел туда, где стоял Эдди.

— Хватит, — сказал он.

Эдди не обратил на него ни малейшего внимания и продолжал нажимать спуск, направив большой пустой револьвер Роланда на убитого.

— Хватит, Эдди, он мертв. Все они мертвы. У тебя из ног идет кровь.

Эдди по-прежнему, не обращая на него внимания, все нажимал и нажимал спуск. Гомон возбужденных голосов на улице приближался. Звук сирен — тоже.

Стрелок взялся за револьвер и потянул его к себе. Эдди обернулся к нему и, прежде, чем Роланд успел до конца осознать, что происходит, Эдди ударил его по голове сбоку его же собственным револьвером. Роланд почувствовал, как теплой струей хлынула кровь, и бессильно прислонился к стене. Он старался удержаться на ногах — им надо было как можно скорее выбираться отсюда. Но он чувствовал, как, несмотря на все усилия, соскальзывает вниз, а потом мир ненадолго заволокло серой пеленой.

Он вырубился не больше чем на две минуты, а потом сумел заставить себя снова видеть все четко и встать на ноги. Эдди в коридоре уже не было. Револьвер Роланда лежал на груди у убитого парня с рыжими волосами. Стрелок нагнулся, преодолел приступ головокружения, поднял его и, неловко изогнувшись, опустил в кобуру.

«До чего же мне не хватает этих окаянных пальцев», — устало подумал он и вздохнул.

Он с трудом, шатаясь и спотыкаясь, вернулся в развалины комнаты; остановился, нагнулся и собрал всю одежду Эдди, какую сумел удержать, согнув левую руку. Сирены приблизились почти вплотную. По мнению Роланда, те, кто крутил их ручки, были, вероятно, милицией, может быть, отрядом добровольцев при начальнике полиции, чем-нибудь в этом роде... но все-таки он не исключал, что это могли быть и люди Балазара.

— Эдди, — прохрипел он. Горло у него опять разболелось, в нем опять дергалось, даже еще хуже, чем в шишке, набухшей у него на голове, там, где Эдди стукнул его револьвером.

Эдди ничего не слышал. Эдди сидел на полу, прижимая к животу голову брата. Он весь трясся и плакал. Стрелок поискал глазами дверь, не нашел и почувствовал нехорошее удивление, почти ужас. Потом он вспомнил. Раз они оба были по эту сторону, единственный способ вновь создать дверь состоял в физическом контакте между ним и Эдди.

Роланд протянул к Эдди руку, но тот, не переставая плакать, отшатнулся. «Не дотрагивайся до меня», — сказал он.

— Эдди, все кончилось. Они все мертвы, и твой брат тоже мертв.

— *Оставь моего брата в покое!* — по-детски взвизгнул Эдди, и его сотряс новый приступ дрожи. Он прижал отрезанную голову к своей груди, как младенца, и стал ее укачивать. Он поднял на стрелка глаза, из которых лились слезы.

— Он обо мне всегда заботился, все время, понял? — проговорил он сквозь такие отчаянные рыдания, что стрелок с трудом разбирал его слова. — Всегда. Почему же я-то не смог о нем позаботиться хоть один разочек, хоть в этот раз, ведь он обо мне каждый раз заботился!

«Да уж, здорово он о тебе заботился, — мрачно подумал Роланд. — Ты погляди на себя, как ты здесь сидишь и весь трясешься, будто съел яблоко с лихорадочного дерева. Уж он о тебе просто замечательно заботился».

— Нам надо идти.

— Идти? — В первый раз на лице Эдди появилась слабая тень понимания, тут же сменившаяся испугом. — Никуда я не пойду. А особенно — туда, в то место, где эти здоровенные крабы, или как их там, съели Джека.

Кто-то колотил в дверь, кричал, требовал, чтобы открыли.

— Ты хочешь остаться здесь и объяснять, откуда взялись все эти трупы? — спросил стрелок.

— Мне все равно, — ответил Эдди. — Без Генри это неважно. И ничего не важно.

— Для тебя, невольник, может быть, и неважно, — сказал Роланд, — но это дело касается других.

— *Не смей меня так называть!* — вскрикнул Эдди.

— *Я буду тебя так называть до тех пор, пока ты не покажешь мне, что можешь выйти из камеры, в которой сидишь!* — прокричал в ответ Роланд. Кричать ему было больно, но он все равно орал. — *Выкинь этот гнилой кусок мяса и кончай нюнить!*

Эдди смотрел на него широко раскрытыми, испуганными глазами. Щеки у него были мокры от слез.

— **ЭТО ВАШ ПОСЛЕДНИЙ ШАНС**, — сказал снаружи голос, усиленный мегафоном. Эдди звук этого голоса показался призрачным, как голос ярмарочного зазывалы. — **ПРИБЫЛА СПЕЦИАЛЬНАЯ ГРУППА ПО БОРЬБЕ С ТЕРРОРИСТАМИ — ПОВТОРЯЮ: ПРИБЫЛА СПЕЦИАЛЬНАЯ ГРУППА ПО БОРЬБЕ С ТЕРРОРИСТАМИ!**

— Что там есть для меня, за этой дверью? — спокойно спросил стрелок Эдди. — Давай, говори. Если ты сумеешь мне сказать, может, я и пойду. Но если ты соврешь, я замечу.

— Вероятно, смерть, — ответил стрелок. — Но прежде чем это случится, скучно тебе, я думаю, не будет. Я хочу, чтобы ты присоединился к моему поиску. Конечно, все это, скорее всего, закончится смертью — смертью для нас четверых в незнакомом месте. Но если бы мы все-таки пробились... — У него заблестели глаза. — Если мы пробьемся, Эдди, ты увидишь нечто такое, что превзойдет все, что мерещилось тебе во всех твоих грезах.

— Какое нечто?

— Темную Башню.

— Где эта Башня?

— Далеко от того берега, где ты меня нашел. Насколько далеко, я не знаю.

— Что это за Башня?

— Этого я тоже не знаю; знаю только, что она может быть чем-то вроде... вроде болта. Центральная чека, которая не дает развалиться всему существующему. Всему существующему, всему времени и всем мерам.

— Ты сказал — четверо. А кто такие остальные двое?

— Они неведомы мне, ибо их еще предстоит вытащить.

— Как ты вытащил меня. Или как ты хотел бы меня вытащить.

— Да.

Снаружи послышался кашляющий взрыв, похожий на выстрел из миномета. Стекло витрины «Падающей Башни» взрывом вдавило внутрь бара. Бар начал наполняться удушливыми облаками слезоточивого газа.

— Ну? — спросил Роланд. Он мог бы схватить Эдди, этим их соприкосновением заставив дверь появиться, толкнуть в нее Эдди и протолкнуться сам. Но он только что видел, как Эдди ради него рисковал жизнью; видел, как этот истерзанный наркотиками человек вел себя с достоинством прирожденного стрелка, невзирая на свою пагубную привычку и на то, что ему пришлось драться нагишом, в чем мать родила, и поэтому Роланд хотел, чтобы Эдди решил сам.

— Поиски, приключения, башни, миры, которые надо завоевать, — сказал Эдди, с трудом улыбнувшись. Новые снаряды со слезоточивым газом влетели в окна и с шипением разорвались на полу, но ни тот, ни другой не обернулись. Первые едкие струйки газа уже начали просачиваться в кабинет Балазара. — Звучит даже лучше, чем в тех книжках Эдгара Райса Берроуза про Марс, что Генри мне иногда читал, когда мы были маленькими. Ты только одно пропустил.

— Что я пропустил?

— Прекрасных дев с обнаженной грудью.

Стрелок улыбнулся.

— По дороге к Темной Башне, — сказал он, — может встретиться все, что угодно.

Тело Эдди сотряс новый приступ дрожи. Он поднял голову Генри, поцеловал одну холодную, пепельно-серую щеку и бережно отложил окровавленную реликвию в сторону. Он встал с пола.

— Ладно, — сказал он. — Все равно у меня на сегодняшний вечер ничего не намечалось.

— Вот, возьми, — сказал Роланд и сунул ему в руки одежду. — Надень хотя бы башмаки. Ты себе ноги порезал.

Снаружи, на тротуаре, два мента в плексигласовых масках и бронежилетах ломали парадную дверь «Падающей башни», в туалете Эдди — в подштанниках, в кроссовках «Адидас», а больше ни в чем, — по одной передавал Роланду пробные упаковки кеффлекса, а Роланд рассовывал их по карманам джинсов Эдди. Когда все они были надежно размещены, Роланд опять правой рукой обнял Эдди за шею, а Эдди опять крепко взял Роланда за кисть левой руки. И дверь — прямоугольник тьмы — внезапно оказалась на месте. Эдди чувствовал, как ветер из того, другого мира отбрасывает у него со лба пропотевшие волосы. Он слышал, как о каменистый берег плещут волны. Он ощущал резкий запах кислой морской соли. И несмотря ни на что, несмотря на всю его боль, все его горе, ему вдруг захотелось увидеть эту Башню, о которой говорил Роланд. Ему очень сильно захотелось ее увидеть. А раз Генри умер, что у него осталось здесь, в этом мире? Родители у них умерли, а постоянной девушки у Эдди не было уже три года, с тех пор, как он заторчал на всю катушку — была только непрерывная череда давалок, ширялок, нюхалок. Ни одной порядочной. К е**ной матери такие дела.

Они шагнули в дверь, и Эдди даже шел чуть-чуть впереди.

На той стороне его вдруг опять начало трясти, ломать, мышцы мучительно сводило. Это были первые симптомы тяжелой героиновой абстиненции. И с ними у него появились первые испуганные мысли о том, во что он влип.

— Постой! — закричал он. — Мне нужно на минуточку вернуться! У него в столе! У него в столе в соседней комнате! Наркота! Если они держали Генри под кайфом, значит, должно быть ширево! Героин! Он мне нужен! Я без него не могу!

Он умоляюще смотрел на Роланда, но у стрелка было каменное лицо.

— Эта часть твоей жизни кончилась, Эдди, — сказал он и протянул вперед левую руку.

— *Нет!* — завопил Эдди, вцепляясь в него. — *Нет, ты не понял, чувак, я без него не могу! НЕ МОГУ!*

С тем же успехом он мог бы вцепиться в камень.

Стрелок захлопнул дверь.

Она глухо стукнула — этот звук означал абсолютную безвозвратность — и упала назад, на песок. От ее краев поднялось немного пыли. Позади двери ничего не было, и теперь на ней не было никакой надписи. Данный проход между двумя мирами закрылся навсегда.

— *Нет!* — взвизгнул Эдди, и чайки в ответ ему загадали, словно с издевкой и презрением; чудовища стали задавать ему вопросы, быть может, намекая, что он сможет расслышать их получше, если подойдет поближе, а Эдди, плача и трясясь, повалился на бок и забился в судорогах.

— Твоя нужда пройдет, — сказал стрелок и ухитрился достать из кармана джинсов Эдди, которые были так похожи на его собственные, одну из пробных упаковок. Опять он сумел прочесть некоторые буквы, но не все. Было написано что-то вроде «Чийфлет».

Чийфлет.

Лекарство из другого мира.

— Либо убьет, либо исцелит, — пробормотал Роланд и всухую проглотил две капсулы. Потом он принял три оставшиеся таблетки *астина*, лег рядом с Эдди и, как сумел, обхватил его руками, и через некоторое время — трудное время — они оба заснули.

карты тасуются

карты тасуются

После этой ночи время для Роланда то и дело прерывалось, вообще не было реальным временем. Он помнил только ряд отдельных картин, моментов, разговоров вне контекста; картины мелькали и пролетали мимо, подобно одноглазым тузам, и тройкам, и девяткам, и проклятой Черной суке — даме Пауков, когда колоду быстро-быстро тасует шулер.

После он спросил у Эдди, сколько это длилось, но Эдди тоже не знал. Время разрушилось для них обоих. В аду не бывает времени, а каждый из них находился тогда в своем личном аду: Роланд — в аду лихорадки и инфекции, Эдди — в аду ломки.

— Меньше недели, — сказал Эдди. — Это — единственное, что я знаю точно.

— Откуда ты это знаешь?

— Лекарства для тебя у меня было как раз на неделю. После этого тебе пришлось бы самому сделать одно из двух.

— Выздороветь или умереть?

— Верно.

карты тасуются

Сумерки сгущаются, и в это время раздается выстрел, сухой треск, слышный сквозь неизбежный и неотвратимый шум бурунов, умирающих на пустынном берегу: «БА-БАХ!». Стрелок ощущает запах пороха. «Что-то случилось, — беспомощно думает стрелок и хватается за револьверы, которых нет на месте. — Ох, нет, это — конец, это...»

Но больше выстрелов не слышно, и что-то начинает

карты тасуются

вкусно пахнуть в темноте. Спустия столько времени, долгого, темного, иссушающего, что-то *варится*. Дело не только в запахе. Он слышит потрескивание веток, видит слабое оранжевое мерцание костра. Время от времени ветерок с моря доносит до него ароматный дым и другой запах, тот, от которого у него слюнки текут. «Еда, — думает он. — Боже мой, неужели я хочу есть? Если я хочу есть, то, может, я выздоровею».

Он пытается позвать: «Эдди», — но голос у него совсем пропал. У него болит горло, так сильно болит. «Надо было и *астин* захватить», — думает он — и пытается засмеяться: все снадобья для него, и ничего для Эдди.

Появляется Эдди. Он держит жестяную тарелку, одну из тех, что стрелок узнал бы где угодно, в конце концов она же — из его собственного кошель. На ней лежат мокрые, дымящиеся куски беловато-розового мяса.

«Что?» — силится спросить Роланд, но ему удается выдать лишь слабый, мерзкий писк.

Эдди читает у него по губам.

— Не знаю, — сердито отвечает он. — Знаю только, что я от этого не помер. Ешь, черт тебя дери.

Он видит, что Эдди очень бледен, Эдди весь трясется; он чувствует, что от Эдди чем-то пахнет — либо дерьмом, либо смертью, и понимает, что Эдди очень плохо. Желая утешить его, он протягивает к Эдди руку. Эдди отшвыривает ее.

— Я тебя покормлю, — сердито говорит он. — Хрен меня знает, зачем. Мне бы следовало тебя убить. Я бы так и сделал, кабы не думал, что уж если ты один раз смог пролезть в мой мир, так, может, и опять сумеешь.

Эдди оглядывается вокруг.

— И если б не то, что я бы тогда остался один. Если не считать их.

Он снова поворачивается к Роланду, и его сотрясает приступ дрожи — такой сильный, что куски мяса чуть не слетают с жестяной тарелки. Наконец, дрожь унимается.

— Ешь, чтоб тебя.

Стрелок ест. Мясо более чем неплохое: наоборот, невероятно вкусное. Ему удается съесть три куска, а потом все расплывается и сливается в новую

карты тасуются

попытку заговорить, но все, на что он способен, — это шептать. Ухо Эдди прижато к его губам, только иногда (когда у Эдди очередной приступ спазмов) его отбрасывает в сторону. Стрелок повторяет: «На север. Выше... выше по берегу».

— Почем ты знаешь?

— Просто знаю, и все, — шепчет он.

Эдди смотрит на него. «Ты сумасшедший», — говорит он.

Стрелок улыбается и пытается отключиться, но Эдди дает ему пощечину, сильную пощечину. Голубые глаза Роланда широко открываются и на миг становятся такими живыми и начинают метать такие молнии, что у Эдди делается смущенный вид. Потом его губы растягиваются в улыбке, вернее — в оскале.

— Ага, можешь вырубаться, — говорит он, — но сперва придется тебе принять лекарство. Уже пора. Во всяком случае, судя по солнцу. Так я полагаю. Бойскаутом я, правда, сроду не бывал, так что точно-то не знаю. Но, по-моему, самое время. Открой ротик пошире для доктора Эдди, Роланд. Открой рот пошире, похититель е**ный.

Стрелок раскрывает рот широко, как младенец, ищущий грудь. Эдди вкладывает ему в рот две таблетки, а потом небрежно заливает туда пресную воду. Как догадывается Роланд, вода, должно быть, из горного ручья, откуда-нибудь к востоку отсюда. Может быть, она ядовитая; Эдди не сумеет отличить хорошую воду от плохой. С другой стороны, с самим Эдди, как видно, все в порядке, да и выбора-то, в сущности, нет — или есть? Нет.

Он глотает, начинает кашлять и чуть не задыхается, а Эдди безразлично смотрит на него.

Роланд тянется к нему.

Эдди пытается отстраниться.

Снайперский взгляд стрелка заставляет его подчиниться.

Роланд притягивает Эдди к себе так близко, что ощущает вонь его болезни, а Эдди ощущает вонь болезни стрелка; от этого сочетания им обоим тошно, но оно вынуждает их обоих терпеть.

— Здесь есть только две возможности, — шепчет Роланд. — Не знаю, как в твоём мире, но здесь — только две. Либо стоять и, быть может, остаться жить, либо умереть, опустившись на колени, склонив голову и нюхая вонь своих подмышек. Мне выбирать... — Он заходится кашлем. — Мне выбирать нечего.

— *Кто ты такой?* — кричит на него Эдди.

— Твоя судьба, Эдди, — шепчет стрелок в ответ.

— Хоть бы ты уже нажрался дерьма и подох, — говорит Эдди. Стрелок пытается заговорить, но не успевает — засыпает, а в это время карты

тасуются

БА-БАХ!

Роланд открывает глаза, видит, как сквозь тьму несутся миллиарды звезд, и снова смыкает веки.

Он не знает, что происходит, но думает, что все в полном порядке. Колода все еще движется, карты все еще

тасуются

Опять ароматные, сочные куски мяса. Он чувствует себя лучше. Эдди тоже выглядит получше. Но у него встревоженный вид.

— Они подбираются все ближе, — говорит он. — Может, они и некрасивые, но кой-чего они все ж таки соображают. Они понимают, что я делаю. Уж не знаю, каким образом, но понимают и не одобряют. Каждую ночь они подбираются маленько поближе. Если ты в состоянии, так было бы совсем неглупо с рассветом перебраться подальше. А то этот рассвет может оказаться для нас последним.

— Что? — Это не то, чтобы шепот, а хрип, где-то на полпути между шепотом и обычной речью.

— Они, — говорит Эдди и жестом показывает на прибрежный песок. — *Дэд-э-чек, дам-э-чам* и прочая херовина. Я думаю, Роланд, они — как мы: сами есть любят, а чтобы их ели — не очень.

Внезапно, в порыве крайнего ужаса и омерзения, Роланд понимает, что это за беловато-розовые куски мяса, которыми Эдди его кормил. Он не в состоянии говорить: отвращение лишает его даже того жалкого подобия голоса, какое ему удалось вернуть себе. Но все, что он хочет сказать, Эдди читает на его лице.

— А что же я, по-твоему, делал? — злобно шипит он. — Вызывал Красного Омара на дуэль?

— Они ядовитые, — шепчет Роланд. — Поэтому...

— Ну да, поэтому ты и доходишь. Но я, друг мой Роланд, стараюсь не дать им дойти до тебя. А что ядовитые, так гремучие змеи вон тоже ядовитые, а люди-то их едят. Они знаешь какие вкусные. Как цыплята. Я про это где-то читал. А эти, по-моему, с виду, как омары, вот я и решил рискнуть. Что нам еще-то жрать оставалось? Землю? Я пристрелил одного из этих гадов и уж варил его, варил — до умопомрачения. Больше ничего не было. А по правде-то они очень даже вкусные. Я каждый вечер по одному пристреливаю, как только солнце начинает садиться. Пока совсем не стемнеет, они двигаются довольно медленно. И я что-то не замечал, чтобы ты отказывался.

Эдди улыбается.

— Мне нравится думать, что, может, мне попался один из тех, что слопали Джека. Мне нравится думать, что я ем этого стервеца. Мне от этого вроде бы легче на душе, понимаешь?

— Один из них отъел кусок и от меня, — хрипит стрелок. — Два пальца на руке, один на ноге.

— Тоже неплохо, — не перестает улыбаться Эдди. Лицо у него бледное, какое-то акулье... но вид у него уже не такой больной, и запах дерьма и смерти, раньше окутывавший его, как саван, теперь, кажется, исчезает.

— Иди ты на х**, — хрипит стрелок.

— В Роланде проснулся боевой дух! — восклицает Эдди. — Может, ты еще и не околеешь! Духа моя! Это просто чудненько!

— Выживу, — говорит Роланд. Хрип вновь превратился в шепот. В горло ему опять начинают впиваться рыболовные крючки.

— Да ну? — Эдди вглядывается в него, потом кивает и сам отвечает на свой вопрос. — Ну да. По-моему, ты настроился выжить. Один раз я думал, что ты помираешь, а один раз — что ты уже помер. А теперь похоже, что ты выздоровеешь. Какого хрена ты так стараешься выжить на этом занюханном берегу?

— Башня, — одними губами шепчет Роланд, потому что сейчас он уже и хрипеть не может.

— Да зашибись ты со своей хлебной Башней, — говорит Эдди и поворачивается, чтобы отойти, но изумленно оборачивается, когда рука Роланда, как тисками, сжимает его локоть.

Они смотрят друг другу в глаза, и Эдди говорит: «Да ладно уж. Ладно!»

— На север, — шевелятся губы стрелка. — На север, я же тебе говорил. — Говорил ли он ему об этом? Ему так кажется, но точно он не помнит. Все затерялось, когда перетасовывались карты.

— Откуда ты знаешь-то? — орет на него Эдди в приступе бессильной злости. Он вскидывает кулаки, словно хочет ударить Роланда, и сразу же опускает их.

«Просто знаю — так зачем ты отнимаешь у меня время и силы своими дурацкими вопросами?» — хочет ответить Роланд, но не успевает, потому что карты

тасуются

и его тащат, его подбрасывает и бьет о камни, голова у него беспомощно мотается из стороны в сторону, он привязан своими собственными португезами к какой-то нелепой волокуше, и ему слышно, как Эдди Дийн поет песню, такую странно знакомую, что в первый момент ему кажется, что это бред:

Эй, Джуд... не дуриши... грустной песне подарши... все свое уменье...

Он хочет спросить: «Где ты слышал это, Эдди? Ты слышал, как я это пел? И где мы?»

Но прежде чем он успевает спросить,

карты тасуются

«Если бы Корт увидел эту конструкцию, он бы этому мальчишке башку прошиб», — думает Роланд, глядя на волокушу, на которой он провел день, и смеется. Смех получается не ахти какой. Звук у него, как у волны, когда она выбрасывает на берег камни. Он не знает, насколько далеко они ушли, но во всяком случае достаточно далеко, чтобы Эдди полностью выдохся. Он сидит на большом камне в свете угасающего дня, на коленях у него лежит один из револьверов стрелка, а сбоку стоит бурдюк, до половины заполненный водой. Карман его рубашки слегка оттопыривается. Там лежат патроны из задних концов патронных лент — все уменьшающийся запас «хороших» патронов. Эдди завязал их в кусок собственной рубашки. Основная причина того, что запас «хороших» патронов уменьшается так быстро, состоит в том, что один из каждых четырех-пяти тоже оказывается негодным.

Задремавший было Эдди поднимает голову.

— Чего смеешься? — спрашивает он:

Стрелок отмахивается и отрицательно качает головой: он понимает, что ошибся. Корт не прошиб бы Эдди башку за эту волокушу, хоть вид у нее странный и убогий. Роланд думает, что Корт, быть может, проворчал бы какую-нибудь похвалу — это случалось так редко, что мальчик, с которым это случалось, обычно не знал, как реагировать, и стоял, разинув рот, точно рыба, только что вытащенная из бочки повара.

Основными опорами служили две топовые ветки примерно одинаковой длины и толщины. Ветром обломило, решил стрелок. Для поперечных опор Эдди взял ветки поменьше и привязал их к основным опорам всем, чем сумел: револьверными ремнями, клейкой веревкой, которой был прикреплен к его груди бесов порошок, даже сыромятным ремешком от шляпы стрелка и шнурками от своих собственных кроссовок. На опоры он положил постельную скатку стрелка.

Корт не ударил бы Эдди, потому что Эдди, как бы плохо он себя ни чувствовал, не стал сидеть на корточках и оплакивать свою несчастную судьбу, а *хоть что-то* сделал. Во всяком случае, *постарался*.

И Корт, может быть, похвалил бы его — как всегда, коротко, отрывисто, почти неохотно — потому что, как бы нелепо ни выглядела эта штука, она *действовала*. Это доказывали длинные следы, тянувшиеся назад, вниз по берегу, и в перспективе сливавшиеся в один.

— Видишь хоть одного? — спрашивает Эдди. Солнце садится, бросает на воду оранжевую дорожку, так что, по расчетам стрелка, в этот раз он отключался больше чем на шесть часов. Он чувствует, что у него прибавилось сил. Он приподнимается, садится и смотрит вниз, на воду. Ни прибрежный песок, ни земля, переходящая в западный склон горы, особенно не изменились; ему видны мелкие

изменения пейзажа и того, что валяется на берегу (например, дохлая чайка, лежащая комком раздуваемых ветром перьев на песке ярдах в двадцати левее и ярдов на тридцать ближе к воде), но, не считая этого, все — такое же, как там, откуда они начали путь.

— Нет, — говорит стрелок. Потом: — Нет, вижу. Один есть.

Он показывает рукой. Эдди прищуривается, потом кивает. Солнце опускается еще ниже, оранжевая дорожка становится все больше и больше похожей на кровавую полосу, и первые чудовища, спотыкаясь, выходят из волн и начинают ползти по песку вверх.

Два из них неуклюже устремляются наперегонки к дохлой чайке. Победитель набрасывается на нее, разрывает и начинает запихивать гниющие останки в свою клювовидную пасть. «Дид-э-чик?» — спрашивает он.

«Дам-э-чам? — отвечает проигравший. — Дод-э-...»

БА-БАХ!

Револьвер Роланда обрывает вопросы второй твари. Эдди спускается к ней и хватает ее за спину, не сводя глаз с первой. Впрочем, она слишком занята чайкой. Эдди приносит свою добычу наверх. Тварь все еще подергивается, поднимает и опускает клешни, но вскоре перестает шевелиться. Хвост в последний раз изгибается дугой, а потом ровно падает, а не подгибается вниз, как раньше. Боксерские клешни обвисают.

— Скоро подам обед, хозяин, — говорит Эдди с акцентом и интонацией слуги-негра. — Извольте выбирать: филе из ползучки-кусачки или филе из ползучки-кусачки. Что будете кушать?

— Я тебя не понимаю, — говорит стрелок.

— Еще как понимаешь, — отвечает Эдди. — Просто у тебя нет чувства юмора. Что с ним случилось?

— Надо думать, отстрелили в одной из войн.

Эдди улыбается этим словам.

— Сегодня ты и на вид, и на слух малость пободрее, Роланд.

— Я думаю, я и вправду стал малость пободрее.

— Что ж, может, ты завтра сможешь немножко пройти. Скажу тебе, друг мой, прямо и откровенно: тащить тебя — надорвешься и обосрешься.

— Я постараюсь.

— Да уж постарайся.

— Ты тоже выглядишь чуть лучше, — решается сказать Роланд.

На последних двух словах голос у него срывается на дискант, как у мальчишки-подростка. «Если я сейчас не перестану разговаривать, — думает он, — я вообще никогда не смогу говорить».

— Я полагаю — не помру. — Он смотрит на Роланда ничего не выражающим взглядом. — Впрочем, ты никогда не узнаешь, до чего я был пару раз к этому близок. Один раз я вынул один из твоих пистолетов и приставил себе к виску. Взял курок, подержал и убрал.

Осторожненько поставил курок на место и засунул твою пушку обратно в кобуру. В другой раз, ночью, у меня начались судороги. По-моему, это было на вторую ночь, но точно не знаю. — Эдди качает головой и произносит несколько слов, которые стрелок и понимает, и не понимает. — Теперь Мичиган кажется мне сном.

Хотя стрелок не может говорить громче хриплого шепота, хотя он знает, что ему вообще не следует разговаривать, одну вещь ему необходимо узнать.

— Что помешало тебе нажать спуск?

— Так ведь других-то штанов у меня нет, — говорит Эдди. — В последний момент я подумал, что если я нажму на спуск, а патрон-то окажется негодным, то сделать это еще раз я уж ни в жизнь не решусь... а когда навалишь в штаны, их нужно тут же отстирать, а то так и будет от тебя вонять всю жизнь. Это мне Генри сказал. Он говорил, что научился этому во Вьетнаме. А поскольку дело было ночью и по берегу шлялся Омар Лестер, не говоря уж о его друзьях...

Но стрелок хохочет, заливаясь смехом, правда, почти беззвучным: с его губ лишь иногда срывается надтреснутый звук. Эдди и сам слабо улыбается. Он говорит:

— Мне думается, тебе в той войне чувство юмора отстрелили только до локтя. — Он встает и направляется вверх по склону, где, как полагает Роланд, должно быть топливо для костра.

— Подожди, — шепчет стрелок, и Эдди смотрит на него. — А по правде — почему?

— Я так полагаю — потому что я был тебе нужен. Если бы я покончил с собой, ты бы умер. Позже, когда ты встанешь на ноги, я, может быть, вроде как вернусь к этой проблеме. — Он оглядывается вокруг и глубоко вздыхает: — Где-то в твоём мире, Роланд, может, и есть Диснейленд или Кони-Айленд, но то, что я видел до сих пор, меня, по правде говоря, не очень-то заинтересовало.

Он отходит от Роланда на несколько шагов, останавливается и смотрит на него. Лицо у Эдди мрачное, хотя болезненной бледности немного поубавилось. Его уже больше так не трясет, приступы дрожи прошли, он лишь изредка слабо вздрагивает.

— Ты меня иногда просто не понимаешь, правда?

— Да, — шепчет стрелок. — Иногда не понимаю.

— Тогда поясню. Есть люди, которым необходимо быть нужными другим. Ты этого не понимаешь, потому что ты не из таких. Если бы потребовалось, ты бы меня использовал и выкинул, как бумажный пакет. Бог тебя е**нул, друг мой. Ты сообразителен как раз настолько, что тебе от этого больно, но и жесток как раз настолько, чтобы все равно поступить так. Ты бы просто не смог иначе. Если бы я валялся там на песке и истошно орал — звал бы на помощь, ты бы перешагнул через меня и пошел дальше, если бы я загромождал тебе путь к твоей треклятой Башне. Ну, что, разве я не угадал?

Роланд ничего не говорит, только смотрит на Эдди.

— Но не все люди такие. Есть люди, которым нужно, чтобы они были кому-нибудь нужны. Как в песне Барбары Стрейзанд. Банально, но тем не менее это так. Это просто еще один способ оказаться на крючке.

Эдди задумчиво смотрит на Роланда.

— Но ты-то в этом смысле чистенький, так ведь?

Роланд не сводит с него глаз.

— Если не считать твоей Башни, — с коротким смешком говорит Эдди. — Ты тоже торчок, Роланд, и твоя наркота — Башня.

— На какой войне? — шепчет Роланд.

— Что?

— На какой войне тебе отстрелили чувство благородства и целеустремленность?

Эдди отшатывается, как от пощечины.

— Пойду схожу за водой, — коротко говорит он. — А ты поглядывай за ползучками-кусачками. Мы сегодня ушли далеко, но я так и не разобрался, разговаривают они между собой или нет.

И он отворачивается, но Роланд успевает заметить в последних багряных лучах солнца, что щеки у него мокрые.

Роланд поворачивается обратно к кромке берега и наблюдает. Омароподобные чудища ползают и вопрошают, вопрошают и ползают, но и то, и другое кажется Роланду лишенным определенной цели; какой-то интеллект у них есть, но его не хватает, чтобы передавать информацию друг другу.

«Бог не всегда лупит человека мордой об стол, — думает Роланд. — В большинстве случаев, но не всегда».

Эдди возвращается с дровами.

— Ну? — спрашивает он. — Как ты считаешь?

— Мы в порядке, — хрипит стрелок, и Эдди начинает что-то говорить, но стрелок уже устал, он ложится на спину и смотрит, как сквозь фиолетовый балдахин неба проглядывают первые звезды, а

карты тасуются

В последующие три дня здоровье стрелка непрерывно улучшалось. Багровые полосы, которые раньше ползли по его рукам вверх, теперь поползли обратно, потом побледнели, потом исчезли. На следующий день он иногда шел сам, а иногда его тащил на волокуше Эдди. На завтра после этого его уже совсем не приходилось тащить; через каждые час-два они просто садились и какое-то время отдыхали, пока он не переставал ощущать, что ноги у него ватные. Именно во время этих привалов, да еще после обеда, когда все уже бывало съедено, но до того, как костер догорал и они засыпали,

стрелок слушал рассказы Эдди о его жизни с Генри. Стрелок помнил, что сначала не мог понять, из-за чего отношения между братьями были такими трудными, но после того, как Эдди начал рассказывать, запинаясь, и с той обидой и злостью, причина которой — в тяжелой боли, стрелку не раз хотелось остановить его. сказать: *«Не надо, Эдди, хватит. Я все понимаю»*.

Только это ничем не помогло бы Эдди. Эдди говорил не для того, чтобы помочь Генри, потому что Генри был мертв. Он говорил, чтобы похоронить Генри раз и навсегда. И чтобы напомнить себе, что, хотя Генри мертв, он-то, Эдди, не умер.

Так что стрелок слушал и ничего не говорил.

Суть была проста: Эдди считал, что он загубил брату жизнь. Генри тоже так считал. Может быть, Генри додумался до этого сам, а может быть, он так считал потому, что часто слышал, как их мама твердит Эдди, скольким и она, и Генри пожертвовали ради него, чтобы Эдди мог быть в безопасности в этом городе, в этих окаянных джунглях, чтобы он мог быть *счастлив* настолько, насколько вообще возможно быть счастливым в этом городе, в этих окаянных джунглях, чтобы он не кончил так, как его бедная сестренка, которую он толком и помнить-то не может, но она была такая красавица, Царство ей небесное. Она сейчас в раю, у ангелов, и это, безусловно, прекрасное место, но она, мама, пока еще не хочет отпускать Эдди к ангелам, не хочет, чтобы его переехал на мостовой какой-нибудь пьяный псих-водила, или чтобы какой-нибудь обкуренный мальчишка-торчок зарезал бы его, выпустил кишки на тротуар из-за двадцати пяти центов, что лежат у него в кармане, да она и сама не думает, чтобы Эдди хотелось прямо сейчас отправиться к ангелам, а значит, пускай он всегда слушает, что ему говорит старший братик, и всегда делает, что ему велит старший братик, и всегда помнит, что Генри приносит жертву любви.

Как Эдди сказал стрелку, он сомневался, чтобы их мать знала о некоторых их «подвигах» — например, что они воровали книжки с комиксами из кондитерской на Ринкон-авеню или курили сигареты за гальванизационной мастерской на Кохоуз-стрит.

Однажды они увидели «Шевроле», в котором торчали ключи, и, хотя Генри еле-еле умел водить машину — ему тогда было шестнадцать лет, а Эдди восемь, — он затолкал братишку в автомобиль и сказал, что они едут в центр Нью-Йорка. Эдди перепугался, расплакался, и Генри тоже был испуган и зол на Эдди, приказал ему заткнуться и не вести себя, как грудной младенец, едрена вошь, у него есть десять баксов, да у Эдди три или четыре, можно весь день, мать его, ходить в кино, а потом они сядут в пелхэмский поезд и вернутся домой раньше, чем маманя успеет накрыть ужин и спохватиться, где их носит. Но Эдди все ревел, а возле моста Куинсборо они увидели в переулке

полицейскую машину, и Эдди, хотя был вполне уверен, что легавый в ней даже не взглянул в их сторону, ответил «Ага», когда Генри охрипшим, дрожащим голосом спросил его, как он думает — видел ли их этот мент? Генри побелел и подъехал к краю тротуара так быстро, что чуть не снес пожарный кран. Он уже бежал по улице прочь, а Эдди все еще возился с незнакомой ручкой дверцы. Тогда Генри остановился, вернулся и выволок Эдди из машины. Он ему еще и напоял как следует два раза. Потом они пешком дошли до Бруклина, а по правде сказать — *прокрались* туда. На это у них ушел почти весь день, и когда мать спросила их, чего это они такие потные, и разгоряченные, и измученные, Генри сказал: потому что он почти весь день учил Эдди играть в баскетбол на детской площадке на том конце квартала. А потом пришли какие-то большие ребята, и им пришлось удирать бегом. Мать поцеловала Генри и лучезарно улыбнулась Эдди. Она спросила его: ведь правда же, у него самый-пресамый лучший на свете старший братик? Эдди согласился с ней. И согласился честно. Он и сам так думал.

— В тот день ему было так же страшно, как мне, — говорил Эдди Роланду, когда они сидели и смотрели, как последний луч заката медленно угасает на воде, в которой скоро будет отражаться только свет звезд. — Даже страшнее, потому что он думал, что мент нас заметил, а я-то знал, что нет. Поэтому он и побежал. Но он вернулся. И это — главное. Он *вернулся*.

Роланд промолчал.

— Ты это понимаешь, да? — Эдди смотрел на Роланда с жестким вопросом в глазах.

— Понимаю.

— Он всегда боялся и всегда возвращался.

Роланд подумал, что если бы в тот день... или в любой другой... Генри бы не остановился, а продолжал бы сверкать пятками, это было бы лучше для Эдди, а может быть, в конечном счете и для них обоих. Но такие люди, как Генри, никогда так не поступают. Такие люди, как Генри, всегда возвращаются, потому что такие люди, как Генри, *отлично* знают, как использовать других. Сначала они превращают доверие в потребность, потом превращают доверие в наркотик, а добившись этого, начинают (как это называет Эдди? — *нажимать*). Они начинают нажимать.

— Я, пожалуй, пойду на боковую, — сказал стрелок.

На следующий день Эдди продолжал свой рассказ, но стрелок уже и так все знал. В старших классах Генри не занимался спортом потому, что не мог оставаться на тренировки. Тот факт, что Генри был тощий, что у него была плохая координация движений, и прежде всего — что он вообще не очень-то любил спорт, к этому,

разумеется, не имело ни малейшего отношения. Мать без конца уверяла их обоих, что из Генри вышел бы *изумительный* бейсбольный подающий или один из этих прыгучих баскетболистов. Отметки у Генри были плохие, и ряд предметов ему пришлось проходить повторно — но это было вовсе не потому, что Генри туповат; оба они — и Эдди, и миссис Дийн — отлично знали, что Генри способный до ужаса. Но то время, которое Генри следовало бы тратить на занятия или на приготовление уроков, у него уходило на присмотр за Эдди (тот факт, что это обычно происходило в гостиной Дийнов, где оба братца валялись на диване и смотрели телевизор или возились и боролись на полу, почему-то казался несущественным). Плохие отметки означали то, что Генри не принимали никуда, кроме Нью-Йоркского университета, а это им было не по карману, потому что при плохих отметках никакие стипендии не полагаются, а потом Генри мобилизовали, и он попал во Вьетнам, и там ему снесло осколком почти все колено, и у него были очень сильные боли, и в лекарстве, которое ему давали, было очень много морфина, и когда ему стало лучше, врачи его отучили от этого лекарства, только не больно-то хорошо это у них получилось, потому что, когда Генри вернулся в Нью-Йорк, на спине у него все еще сидела обезьяна, голодная обезьяна, и ждала, чтобы ее накормили, и месяц-два спустя он сходил к одному человечку, и примерно еще через четыре месяца (еще и месяца не прошло с тех пор, как у них умерла мать) Эдди в первый раз увидел, как его брат втягивает носом с зеркальца какой-то белый порошок. Эдди подумал, что это кокаин. А оказалось — героин. И если проследить всю цепь событий от конца к началу, то кто виноват?

Роланд ничего не сказал, но мысленно услышал голос Корта: *«Вина, деточки мои прелестные, всегда ложится на одного и того же: на того, кто достаточно слаб, чтобы на него можно было бы взвалить вину».*

Когда Эдди узнал правду, он сначала впал в шок, потом разошелся. В ответ Генри не стал обещать, что бросит нюхать, а сказал Эдди: он не осуждает его за то, что тот злится, он знает, что Вьетнам превратил его в никчемный мешок дерьма, он слабый, лучше ему уйти, Эдди прав, здесь меньше всего нужен поганый торчок, загаживающий квартиру. Он только надеется, что Эдди не будет слишком уж осуждать его. Да, он признает, он стал слабаком; это там, во Вьетнаме, что-то превратило его в слабака, сгноило все у него внутри, как от сырости гниют шнурки кроссовок и резинки в трусах. А во Вьетнаме, как видно, было что-то такое, от чего у человека сгнивает мужество, слезливо говорил ему Генри. Он только надеется, что Эдди припомнит все годы, когда Генри старался быть сильным.

Ради Эдди.

Ради мамани.

Так что Генри попытался уйти. А Эдди, конечно, не мог отпустить его. Эдди терзало всепоглощающее чувство вины. Эдди видел кошмарную массу рубцов, которая когда-то было здоровой, красивой ногой, видел колено, в котором теперь тефлона было больше, чем кости. В холле они устроили соревнование «кто кого переорет». Генри стоял у двери в старой армейской форме, с собранным вещмешком в одной руке и с фиолетовыми кругами под глазами, а на Эдди была только пара пожелтевших трусов и больше ничего. Генри говорил: «Теперь я тебе здесь ни к чему, Эдди, я знаю, ты меня на дух не выносишь», — а Эдди в ответ орал: «Никуда ты не пойдешь, жопа с ручкой, а ну давай обратно в квартиру!» — и вот так оно и продолжалось, пока миссис Мак-Герски не вышла из *своей* квартиры и не закричала: «Хошь — уходи, а хошь — оставайся, мне без разницы, а только решайте чего-нибудь по-быстрому и кончайте орать, а то мигом полицию вызову!» Похоже, миссис Мак-Герски собиралась добавить еще пару-тройку увещаний, но тут она заметила, что Эдди стоит в одних трусах, и добавила: «А ты, Эдди Дийн, еще и в неприличном виде!» — и, как ошпаренная, метнулась обратно к себе в квартиру. Как все равно чертик из табакерки, только в обратном направлении. Эдди посмотрел на Генри. Генри посмотрел на Эдди. «Ангелочек-то наш никак пару фунтиков прибавил, а?» — тихо сказал Генри, и тут они прямо-таки взвыли от смеха, повиснув друг на друге и колотя друг друга по спине, и Генри вернулся обратно в квартиру, а недели так через две Эдди уже тоже нюхал марафет и не мог понять, какого лешего он так разорвался, они же ведь только *нюхают*, едрена мать, это просто томогает расслабиться, и, как говорил Генри (которого Эдди впоследствии станет мысленно именовать «великий мудрец и выдающийся торчок»), если мир явно катится вверх тормашками к чертям собачьим, так что плохого в том, что ты поймал кайф и тебе хорошо?

Время шло. Сколько его прошло, Эдди не сказал, а стрелок не спросил. Как он догадывался, Эдди понимал, что для того, чтобы ловить кайф, есть тысяча предлогов, но ни одной настоящей причины, и довольно хорошо держал свою наркоманию под контролем. И Генри, видимо, тоже был в состоянии держать под контролем *свою*. Не так хорошо, как Эдди, но достаточно для того, чтобы не распуститься окончательно. Потому что — понимал ли Эдди, как обстоит дело в действительности, или нет (по мнению Роланда, в глубине души понимал) — Генри, должно быть, понимал: они поменялись местами. Теперь, переходя улицу, Эдди вел за руку старшего брата.

И однажды Эдди застукал Генри на том, что тот не нюхает, а ширяется подкожно. Последовал очередной истерический скандал, почти точная копия первого, с той только разницей, что происходил он у Генри в спальне. И кончился он почти точно так же: Генри

плакал, и то, что он говорил в свое оправдание по существу было полным признанием своей вины, полной капитуляцией: Эдди прав, он не достоин даже жрать помой из сточной канавы. Он уйдет. Эдди его больше никогда не увидит. Он только надеется, что Эдди будет помнить все...

Рассказ Эдди превратился в тихий, монотонный гул, не многим отличавшийся от шуршания гальки в убегающих по песку и разбивающихся волнах. Роланд знал эту историю и ничего не сказал. Ее не знал Эдди, Эдди, у которого в голове прояснилось впервые, быть может, за десять (а то и больше) лет. Эдди рассказывал эту историю Роланду; Эдди наконец рассказывал ее себе.

Это ничему не мешало. Насколько стрелок понимал, чего-чего, а времени у них было навалом. Чтобы его провести, годились и разговоры.

Эдди сказал, что ему не давала покоя мысль о колене Генри, об извилистых рубцах по всей ноге, и выше колена, и ниже (конечно, сейчас все это уже зажило, Генри почти что и не хромал, только когда они с Эдди ссорились; в этих случаях хромота почему-то всегда усиливалась); ему не давала покоя мысль обо всем, от чего Генри отказался ради него, и не давало покоя куда более прагматическое соображение: на улицах Генри бы не выжил. Там он был бы как кролик, которого выпустили в джунгли, где полно тигров. Предоставленный самому себе, Генри в первую же неделю угодил бы в тюрьму или в больницу Бельвю.

Поэтому Эдди стал умолять, и в конце концов Генри смиловался над ним — согласился остаться, и через шесть месяцев после этого Эдди уже сидел на игле.

С этого момента все неуклонно пошло вниз по неизбежной спирали, которая закончилась поездкой Эдди на Багамы и внезапным вмешательством Роланда в его жизнь.

Кто-нибудь другой, менее прагматичный и более склонный к анализу, чем Роланд, мог бы спросить (если не прямо вслух, то про себя): «Почему началось с этого человека? Почему именно этот? Почему человек, который, кажется, сулит слабость или странность или даже злой рок?»

Мало того, что стрелок не задал этот вопрос; он даже мысленно не сформулировал его. Катберт подвергал сомнению все, спрашивал обо всем, он был отравлен вопросами, умер с вопросом на устах. Теперь их не осталось, никого не осталось. Все последние стрелки Корта, все тринадцать из их класса, что сумели выжить (а в начале учебы их было в классе пятьдесят шесть), были мертвы. Все, кроме Роланда. Он был последним стрелком и неуклонно шел вперед в мире, ставшем бессильным и бесплодным, и пустым.

Он вспомнил, как Корт накануне церемонии представления сказал: «Тринадцать. Это — нехорошее число». А на следующий

день, впервые за тридцать лет, Корт не присутствовал на Церемонии. Ученики — последний их выпуск — пошли к нему, в его домик, чтобы сперва опуститься у его ног на колени, подставив беззащитные шеи, потом встать и принять его поздравительный поцелуй, а потом позволить ему в первый раз зарядить их револьверы. Через девять недель Корт умер. Некоторые утверждали, что его отравили.

Через два года после его смерти началась последняя кровопролитная гражданская война, Кровавая бойня добралась до последнего оплота цивилизации, света и здравого рассудка с небрежностью волны, разрушающей крепость, построенную ребенком из песка, отняла все, что они считали таким прочным.

Так что он был последним, и, быть может, он выжил потому, что в его натуре над темным романтизмом преобладали практичность и простота. Он понимал, что существенны только три вещи: то, что он смертен, *ка* и Башня.

Этих трех вещей хватало, чтобы занять все его мысли.

Эдди закончил свой рассказ около четырех часов дня — третьего дня их пути на север, вверх по безликому берегу. Сам берег, казалось, абсолютно не изменялся. Узнать, сколько они прошли, можно было, только взглянув налево, на восток. Там очертания зазубренных горных вершин начали чуть-чуть смягчаться и оседать. Возможно, если бы они сумели уйти на север достаточно далеко, горы превратились бы в пологие холмы.

Поведав свою историю, Эдди замолчал, и полчаса или дольше они шли молча. Эдди все время украдкой поглядывал на Роланда. Стрелок знал: Эдди не замечает, что он перехватывает эти короткие взгляды; он все еще слишком погружен в себя. Роланд знал также, чего ждет Эдди: реакции. Хоть какой-нибудь реакции. *Любой*. Дважды Эдди открывал рот и, ничего не сказав, снова закрывал его. Наконец он спросил (стрелок знал, что он спросит именно это):

— Ну? Что ты об этом думаешь?

— Я думаю, что ты здесь.

Эдди остановился и сжал кулаки.

— И это *все*? И *только-то*?

— А больше я ничего не знаю, — ответил стрелок. Отсутствующие пальцы на руке и на ноге болели и чесались. Ему так хотелось хоть немножко *астина* из мира Эдди.

— У тебя нет своего мнения о том, что все это, черт возьми, *значит*?

Стрелок мог бы поднять свою ополовиненную правую руку и сказать: «А ты подумай о том, что значит *вот это*, идиот несчастный», — но ему это даже в голову не пришло, как не пришло ему в голову спросить, почему из всех людей во всех вселенных, какие, возможно, существуют, ему достался Эдди.

— Это *ка*, — терпеливо объяснил он, глядя Эдди в лицо.

— Что такое *ка*? — Тон у Эдди был воинственный. — Я о нем никогда не слышал. Разве что, если его сказать два раза подряд, то получится слово, которым малыши называют говно.

— Это мне неизвестно, — сказал стрелок. — Здесь оно означает долг, или судьбу, или, в просторечии, место, куда ты должен пойти.

Эдди ухитрился одновременно выразить на лице смутение, отвращение и насмешливое веселье: «Тогда скажи это дважды, Роланд, потому что такие слова лично для меня — что говно».

Стрелок пожал плечами.

— Я не веду философских дискуссий. Я не изучаю историю. Я думаю только одно: что прошло, то прошло, а что впереди, то впереди. Второе и есть *ка*, и оно само о себе позаботится.

— Ну да? — Эдди взглянул на север. — Ну а я вижу впереди только примерно девять миллиардов миль этого хлебного берега. Если впереди у нас *это*, так что *ка*, что *кака* — одно и то же. Может, у нас хватит хороших патронов, чтобы ухлопать еще штук пять-шесть этих липовых омаров, но потом нам останется только кидать в них камнями. Так что — *куда* мы все-таки идем?

У Роланда, правда, мелькнула мысль: приходило ли Эдди в голову задать такой вопрос брату — но спросить об этом Эдди означало бы напроситься на долгий и бессмысленный спор. Поэтому он только показал большим пальцем на север и сказал: «Туда. Для начала».

Эдди взглянул и не увидел ничего нового — только все ту же бесконечную полосу серой гальки, утыканную ракушками и камнями. Он перевел взгляд на Роланда, собравшись съехидничать, увидел на его лице безмятежную уверенность и опять посмотрел на север. Он прищурился. Загородил правой рукой правую половину лица от заходящего солнца. Ему отчаянно хотелось увидеть что-нибудь, *хоть что-то*, елки-моталки, мираж — и тот бы сгодился, но там не было ничего.

— Можешь меня поливать, сколько хочешь, — медленно проговорил Эдди, — но я считаю, что это — та еще подлянка. Я за тебя у Балазара жизнью рисковал.

— Я знаю, — стрелок улыбнулся — редкое явление, осветившее его лицо, как мгновенный проблеск солнца в унылый пасмурный день. — Поэтому я с тобой играю только честно, Эдди. Она там. Я ее увидел час назад. Сначала я подумал, что это мираж или просто мне мерещится, потому что очень хочется ее увидеть, но она там, по самому настоящему.

Эдди снова стал смотреть; и смотрел, пока у него не заслезилась глаза. Наконец он сказал: «Я не вижу там, впереди, ничего, кроме берега. А у меня зрение двадцать на двадцать».

— Я не знаю, что это значит.

— Это значит, что если бы там можно было что-нибудь увидеть, я бы его и увидел! — Но Эдди призадумался. Он задумался о том, насколько дальше, чем его глаза, видят голубые снайперские глаза стрелка. Может быть, чуть дальше.

А может, и *гораздо* дальше.

— Ты ее увидишь, — сказал стрелок.

— *Что* я увижу?

— Сегодня нам туда не дойти, но если ты действительно видишь так хорошо, как сейчас сказал, то ты увидишь ее еще до того, как солнце коснется воды. Если, конечно, ты не собираешься так стоять здесь и болтать языком.

— *Ка*, — задумчиво сказал Эдди.

Роланд кивнул.

— *Ка*.

— *Кака*, — сказал Эдди и рассмеялся. — Пошли, Роланд. Провырнемся. А если я *ничего* не увижу до того, как солнце коснется воды, — с тебя жареная курочка. Или «Биг-Мак». Или *что угодно*, лишь бы оно не имело отношения к омарам.

— Пошли.

Они снова двинулись в путь, и до того момента, когда нижний край солнца должен был коснуться горизонта, оставалось еще не менее часа, когда Эдди Дийн начал различать вдали какие-то очертания — смутные, мерцающие, неопределенные — но явно *что-то*. Что-то *новое*.

— О'кей, — сказал он. — Вижу. У тебя, должно быть, глаза, как у супермена.

— У кого?

— Неважно. По части культуры ты просто невероятно отстал, тебе это известно?

— Чего?

Эдди засмеялся.

— Ладно, неважно. Так что там такое?

— Увидишь. — И прежде чем Эдди успел спросить еще что-нибудь, стрелок снова зашагал.

Через двадцать минут Эдди показалось, что он *действительно* видит. Спустя еще пятнадцать минут он уже был уверен в этом. До предмета на берегу оставалось еще мили две, может быть, три, но он разглядел, что это. Разумеется, дверь. Еще одна дверь.

В эту ночь им обоим плохо спалось. Еще за час до того, как солнце высветило размытые очертания гор, они встали и отправились в путь. Они подошли к двери как раз в ту минуту, когда первые лучи утреннего солнца, такие величественные и спокойные, коснулись их. Эти лучи, подобно фонарям, осветили их заросшие щетиной щеки. И стрелок опять стал выглядеть на свои сорок лет, а Эдди казался не старше, чем был Роланд, когда отправлялся на бой с Кортон, избрав оружием своего сокола Давида.

Эта дверь была точно такая же, как первая, только начертано на ней было другое:

ВЛАДЫЧИЦА ТЕНЕЙ

— Так, — тихонько сказал Эдди, глядя на дверь, которая просто стояла, и петли ее были прикреплены к какому-то неведомому косяку между одним и другим миром, между одной и другой вселенной.

— Так, — согласился стрелок.

— Ка.

— Ка.

— Здесь ты будешь вытаскивать вторую из твоих трех?

— Видно, так.

Стрелок раньше, чем Эдди, понял, что у Эдди на уме. Он увидел движение, которое сделал Эдди, еще до того, как Эдди сообразил, что двигается. Он мог бы повернуться и сломать Эдди руку в двух местах, прежде чем тот сообразил бы, что происходит; но он не шевельнулся. Он дал Эдди вытащить револьвер из его правой кобуры. Впервые в жизни он позволил взять у себя оружие, не применив сперва это оружие. Но он не сделал ничего, чтобы остановить Эдди. Он обернулся и спокойно, даже кротно, посмотрел на Эдди.

Лицо у Эдди было смертельно бледное, напряженное. Вокруг радужек широко раскрытых глаз виднелись полоски белка. Он держал тяжелый револьвер обеими руками, но ствол все равно плясал из стороны в сторону, то нацеливаясь на Роланда, то уходя вбок, опять на Роланда, опять вбок.

— Открой, — сказал он.

— Ты ведешь себя глупо, — тем же кротким тоном сказал стрелок. — Ни ты, ни я не имеем представления, куда ведет эта дверь. Она может открываться не в твою вселенную, не то что в твой мир. Почем мы знаем, может, у этой Владычицы теней восемь глаз и девять рук, как у Суви. А если она даже и открывается в твой мир, то, быть может, задолго до твоего рождения или спустя много лет либо веков после твоей смерти.

Эдди напряженно улыбнулся: «Вот что я тебе скажу, Монти: я с огромным удовольствием поменяю резинового цыпленка или сраный отпуск на приморском курорте на то, что находится за дверью N 2».

— Я не понимаю тво...

— Знаю, что не понимаешь. Не имеет значения. Ты только открой это гадство.

Стрелок отрицательно покачал головой.

Они стояли в лучах зари, а дверь отбрасывала косую тень в сторону отступающего моря.

— *Открывай!* — закричал Эдди. — Я иду с тобой! Ты что, не понимаешь? Я иду *с тобой!* Это не значит, что я не вернусь. Может, и вернусь. То есть *скорей всего* вернусь. Настолько-то, я думаю, я перед тобой в долгу. Ты со мной всю дорогу играл по-честному, не думай, что я этого не понимаю. Но пока ты будешь раздобывать эту теневую крошку или как ее там, я найду ближайшее кафе-гриль «Объединение», и пусть они мне упакуют на вынос. Я думаю, для начала мне хватит семейной упаковки на тридцать порций.

— Ты останешься здесь.

— Ты что думаешь, я шучу? — Голос Эдди стал пронзительным, вот-вот сорвется. Стрелку показалось, что он видит, как Эдди заглядывает в бездонный омут своего проклятия. Эдди большим пальцем взвел старинный курок револьвера. Как только рассвело и начался отлив, ветер улегся, и щелчок взведенного курка прозвучал очень отчетливо. — Так ты проверь.

— Пожалуй, проверю, — сказал стрелок.

— *Я тебя пристрелю!* — взвизгнул Эдди.

— *Ка,* — невозмутимо ответил стрелок и повернулся к двери. Он потянулся к дверной ручке, а сердце его напряженно ждало, хотело узнать, останется ли он жив или умрет.

Ка.

ВЛАДЫЧИЦА ТЕНЕЙ

Глава первая

ДЕТТА И ОДЕТТА

Если убрать из высказывания Адлера научную терминологию, оно сведется к следующему: идеальный шизофреник — если таковой вообще существует — это человек, который не только не подозревает о своей второй личности (о своих других личностях), но и вообще не подозревает, что у него в жизни что-то неладно.

Адлеру следовало бы познакомиться с Деттой Уокер и Одеттой Холмс.

1

— ...последний стрелок, — говорил Эндрю.

Он говорил уже довольно давно, но Эндрю всегда что-нибудь говорил, и Одетта обычно просто позволяла его болтовне стекать по ее сознанию, как под душем позволяешь теплой воде стекать по твоим волосам и лицу. Но эти слова не просто привлекли ее внимание, они зацепили его, как колбаска.

— Как вы сказали?

— Да просто была такая заметка в газете, -- ответил Эндрю. — Кто ее написал — не знаю. Не обратил внимания. Кто-то из политиков. Вы-то, наверное, эту фамилию узнали бы, мисс Холмс. Я его любил, и в тот вечер, когда его выбрали, я плакал...

Она улыбнулась: эти слова невольно растрогали ее. Эндрю говорил, что он не виноват, что непрерывно болтает, он не может остановиться, это из него лезет его ирландское происхождение; и большей частью это были пустые разговоры — кудахтанье и чириканье о родственниках и друзьях Эндрю, с которыми ей никогда не придется сталкиваться, незрелые политические взгляды, нелепые научные рассуждения, почерпнутые из множества нелепых источников (кроме прочего, Эндрю твердо верил в летающие тарелки, которые называл НЛО) — но *это* ее растрогало, потому что она тоже плакала в тот вечер, когда он был избран.

— Но я не плакал, когда этот сукин сын — извиняюсь за выражение, мисс Холмс, — когда этот сукин сын Освальд его застрелил, и до сих пор не плакал ни разу, а уж прошло... сколько ж это, два месяца?

«Три месяца и два дня», — подумала она.

— Да, наверное, что-то около того.

Эндрю кивнул.

— А вчера я прочитал эту самую заметку — вроде бы в «Дейли Ньюз», что ли — про то, как Джонсон, наверное, очень неплохо справится, но только это уже будет не то. Там было написано, что Америка увидела уход последнего в мире стрелка.

— Я вовсе не считаю, что Джон Кеннеди был последним стрелком, — сказала Одетта Холмс, и если тон у нее был резче, чем тот, который Эндрю привык слышать (а так, наверное, и было, потому что она увидела в зеркальце заднего вида, как он изумленно — а вернее, испуганно — моргнул), то лишь потому, что ее это тоже растрогало. Нелепо, но факт. Эта фраза — «Америка увидела уход последнего в мире стрелка» — глубоко затронула ее сознание. Это была некрасивая фраза, это была неправда — Джон Кеннеди был миротворцем, а не субъектом типа Малыша Билли, который чуть что хватается за кобуру, такое было скорее в стиле Голдуотера — но все равно, у нее от этой фразы почему-то перехватывало горло.

— Ну, вот, и этот мужик там пишет, что в мире всегда будет вдоволь любителей пострелять, — продолжал Эндрю, нервно поглядывая на нее в зеркало заднего вида. — Во-первых, он назвал Джека Руби, и Кастро, и этого типа с Гаити...

— Дювалье, — сказала она. — Папа Док.

— Ага, его и братьев Дьем...

— Братьев Дьем уже нет в живых.

— Ну, он пишет, что Джек Кеннеди — совсем другое дело, вот и все. Он пишет, что он брался за оружие, но только тогда, когда это было нужно ради кого-то слабого, и только, если больше ничего сделать было нельзя. Он пишет, что у Кеннеди хватало мозгов, чтобы понимать, что иногда разговорами делу не поможешь. Он пишет — Кеннеди знал, что ежели у пса с пасти пена идет, так его приходится пристрелить.

Он продолжал опасливо смотреть на нее.

— И потом, я ж это только в газете прочитал.

А лимузин уже бесшумно скользил по Пятой авеню, направляясь к Западному входу в Центральный парк, и эмблема «Кадиллака» на капоте рассекала ледяной февральский воздух.

— Да, — мягко сказала Одетта, и взгляд Эндрю стал чуть спокойнее. — Я понимаю. Не согласна, но понимаю.

«Врунья ты, — сказал возникший у нее в мозгу голос. Этот голос она слышала часто. Она даже дала ему имя. Это был Глас подзуживающий. — Ты прекрасно понимаешь и полностью согласна. Ври

Эндрю, если считаешь нужным, но себе-то не ври, дорогуша; ради Бога».

Тем не менее одна часть ее сознания в ужасе запротестовала. В мире, превратившемся в бочку с ядерным порохом, на которой сейчас сидело около миллиарда человек, считать, что между хорошими любителями пострелять и гадкими любителями пострелять есть разница, было бы ошибкой — быть может, ошибкой самоубийственных масштабов. Слишком много было фитилей, возле которых держало зажигалки слишком много дрожащих рук. Этот мир — не для стрелков. Если и было когда-то их время, то оно давно прошло.

Не так ли?

Она на секунду прикрыла глаза и потерла себе виски. Она чувствовала приближение очередной мигрени. Иногда боли предупреждали о себе, как жарким летним днем предупреждают о грозе тучи, собирающиеся на горизонте... а потом уходили, как иногда просто уходит неизвестно куда летняя гроза, чтобы грохотать и бить в землю молниями где-то в другом месте.

Но на сей раз, по ее мнению, грозы было не миновать. И будет она по всей форме, с громом, молнией и градом величиной с мячик для гольфа.

Свет уличных фонарей, выстроившихся вдоль Пятой авеню, казался чересчур ярким.

— Ну, и как оно было в Оксфорде? — осторожно спросил Эндрю.

— Сыро. Очень сыро, хотя сейчас февраль. — Она замолчала, твердя себе, что не произнесет вслух слова, подступившие у нее к горлу подобно желчи, что она проглотит их, загонит их обратно внутрь. Сказать их было бы ненужной жестокостью. Рассуждения Эндрю о последних в мире стрелках были просто частью его обычной бесконечной болтовни. Но вместе со всем остальным это оказалось последней каплей, переполнившей чашу, и у нее все-таки вырвалось то, что было совершенно незачем говорить. Она полагала, что ее голос звучит так же спокойно и решительно, как всегда, но это ее не обмануло: она отлично распознавала на слух, когда кто-нибудь что-нибудь ляпнет. — Поручитель с залогом, конечно, прибыл очень быстро; его предупредили заранее. Но тем не менее они нас продержали столько, сколько смогли, и я продержалась столько, сколько смогла, но этот раунд они, я считаю, выиграли, потому что кончилось тем, что я обмочилась. — Она увидела, как Эндрю опять резко отвел глаза, и хотела замолчать, но не смогла. — Понимаете, так они хотят дать нам урок. Отчасти, я думаю, потому что это пугает, а испуганный человек больше, может быть, не сунется на их драгоценный Юг и больше их не побеспокоит. Но я думаю, что большинство из них — даже дураки, а они далеко не все дураки — понимают, что в конце концов перемены все равно наступят, что бы они ни делали, и поэтому используют каждый шанс, чтобы нас унижить, пока еще могут. Показать нам, что нас можно унижить. Ты можешь клясться перед

Богом, Христом и всем сонмом святых, что ни за что, ни за что, *ни за что* не обмарашься, но если они тебя продержат достаточно долго, то это, разумеется, все-таки случится. Урок состоит в том, что ты — просто животное в клетке, не более того, не лучше. Просто животное в клетке. Вот я и обмочилась. Я до сих пор чувствую запах высохшей мочи и этой проклятой КПЗ. Знаете, они считают, что мы произошли от мартышек. И именно так от меня сейчас и пахнет, я же чувствую. Мартышкой.

Она увидела в зеркале заднего вида глаза Эндрю и пожалела, что у него такое выражение глаз. Иногда не удается удержать в себе не только мочу.

— Мне очень жаль, мисс Холмс.

— Нет, — сказала она, опять потирая виски. — Это *мне* жаль, что я вас расстроила. Это были трудные три дня, Эндрю.

— Еще бы, — сказал он тоном шокированной старой девы, который заставил ее невольно рассмеяться. Но большая часть ее не смеялась. Она думала, что знает, во что ввязывается, что полностью представляет себе, насколько может быть скверно. Но она ошиблась.

Трудные три дня. Что ж, можно сказать и так. А можно и по-другому: что три дня, проведенные ею в Оксфорде (штат Миссисипи), были краткосрочным пребыванием в аду. Но есть вещи, которые невозможно сказать. Ты раньше умрешь, чем скажешь... если тебя не призвут свидетельствовать о них перед Престолом Бога, Отца Всемогущего, где, как она полагает, следует признавать даже такие истины, которые вызывают адские грозы в этом странном сером студне у тебя в черепе (ученые утверждают, что в этом сером студне нет нервов, а уж если *это* не чепуха на постном масле, так она просто не знает, что же тогда считать чепухой).

— Я хочу только добраться до дома и мыться, мыться, мыться, и спать, спать, спать. И тогда, я думаю, я опять буду в полной норме.

— Да конечно же! Так оно и будет, обязательно! — Эндрю хотел за что-то извиниться, и эти слова были самым большим, на что он был способен в смысле извинения. И он не хотел рисковать — заходить в разговор дальше этого. Поэтому они подъехали к серому многоквартирному дому в викторианском стиле на углу Пятой авеню и Южной улицы Центрального парка в непривычном молчании. Это был очень престижный дом, и она полагала, что поэтому, живя в нем, она сбивает цену на него, и *знала*, что в этих шикарных квартирах есть люди, которые без самой крайней необходимости не станут с ней разговаривать, но это было ей довольно безразлично. Кроме того, она была по общественному положению выше их, и они *знали*, что она выше их. Ей не раз приходило в голову, что некоторых из них должно здорово злить, что какая-то черномазая живет в пентхаусе этого прекрасного, солидного дома, в который когда-то чернокожие допускались только в качестве прислуги — лакеев, горничных, может быть, шоферов. Она надеялась, что это их *действительно* здорово

злит, и бранила себя за то, что она такая вредная и что это *не по-христиански*, но она *все равно* хотела этого, она не сумела остановить струю мочи, лившейся в ее тонкие шелковые импортные трусики, и поток *этой* мочи она, кажется, тоже не могла остановить. Это было подлю, это было не по-христиански, и почти так же нехорошо — нет, хуже, по крайней мере, что касается Движения, это вело к обратным результатам. Они добьются тех прав, которых им необходимо добиться, и, по всей вероятности, в этом году: Джонсон, помня о наследии, оставленном ему убитым президентом (и, быть может, желая забить еще один гвоздь в крышку гроба Барри Голдуотера), будет не просто следить, чтобы Закон о гражданских правах был принят; если потребуется, он *вколочит* его в свод законов. Поэтому необходимо свести к минимуму злобу и боль. У них еще много работы. Ненависть не поможет выполнить эту работу. Ненависть по существу будет просто мешать ей.

Но иногда человек все равно продолжает ненавидеть.

Оксфорд-Таун объяснил ей и это.

2

Детта Уокер абсолютно не интересовалась Движением, да и квартира у нее была куда скромнее. Она жила в мансарде облезлого многоквартирного дома в Гринич-Вилледж. Одетта не знала про мансарду, а Детта не знала про пентхаус, и единственный, кто подозревал, что дело не совсем ладно, был Эндрю Фийни, шофер. Он поступил на службу к отцу Детты, когда Одетте было четырнадцать лет, а Детта еще почти не существовала.

Время от времени Одетта исчезала. Эти исчезновения могли длиться несколько часов, а иногда и несколько дней. Прошлым летом она исчезла на три недели, и Эндрю уже совсем было собрался звонить в полицию, как вдруг однажды вечером Одетта позвонила ему и попросила подать машину завтра к десяти утра, сказав, что собирается за покупками.

У него на языке вертелись слова: «Мисс Холмс! Да где ж вы были-то?» — Но он уже раньше спрашивал об этом и получал в ответ только изумленные взгляды — *по-настоящему* изумленные, он был в этом уверен. — «Здесь, конечно, — говорила она каждый раз. — Здесь, Эндрю, где же еще, ведь вы меня каждый день возили в два-три места, разве нет? Уж не маразм ли у вас начинается, а?» — И она начинала смеяться, а если настроение у нее было уж очень хорошее (а после ее исчезновения так бывало очень часто), она трепала его по щеке.

— Слушаюсь, мисс Холмс, — ответил он. — Есть подать машину к десяти.

В те страшные дни, когда она пропадала три недели, Эндрю положил трубку, закрыл глаза и прочел короткую благодарственную

молитву Пресвятой Деве за благополучное возвращение мисс Холмс. А потом позвонил Говарду, швейцару в ее доме.

— В котором часу она приехала?

— Минут двадцать назад, — ответил Говард.

— Кто ее привез?

— Не знаю. Ты же знаешь, как оно бывает. Каждый раз другая машина. Иногда они паркуются за домом, я их даже не вижу, даже и не знаю, что она вернулась, пока не зазвонит звонок, а тогда выгляну и увижу, что это она. — Помолчав, Говард добавил: — У нее на левой щеке здоровенный фингал.

Говард был прав. Фингал в свое время действительно был здоровеннейший, а теперь уже начал проходить. Как он выглядел, когда был свежий, Эндрю даже думать было неприятно. На следующее утро мисс Холмс появилась ровно в десять, в шелковом сарафанчике с тоненькими, как спагетти, бретельками (дело было в конце июля), и к этому времени синяк уже начал желтеть. Она попыталась замазать его макияжем, но особых усилий не прилагала, словно знала, что, если перестарается, это будет только привлекать к нему внимание.

— Где это вы так приложились, мисс Холмс? — спросил он.

Она весело рассмеялась: «Вы же меня знаете, Эндрю — я всегда была неуклюжа. Я вчера вылезала из ванны, торопилась, хотела не пропустить последние известия, и у меня рука сорвалась с поручня. Я упала и ударилась щекой. — Она испытующе посмотрела ему в лицо. — Вы уж готовы начать клекотать насчет докторов и обследований, правда? Не трудитесь отвечать; я вас за все эти годы так изучила, что насквозь вижу. Ни к кому я не пойду, так что и просить не трудитесь. Я себя прекрасно чувствую. Вперед, Эндрю! Я намерена купить половину магазина Сакса, весь магазин Джимбела, а в промежутке съесть все, что есть в «Четырех временах года».

— Хорошо, мисс Холмс, — сказал он и улыбнулся. Улыбка получилась вымученная и далась ему не без усилий. Этому синяку был не один день, ему было не меньше недели... Да и вообще он знал, что все не так. Всю последнюю неделю он звонил ей каждый вечер, в семь часов, потому что если мисс Холмс когда-нибудь можно застать дома, то именно в семь часов, когда передают «Репортаж Хантли-Бринкли». Мисс Холмс — прямо наркоманка на эти теленовости. То есть он звонил ей каждый вечер, кроме вчерашнего. А вчера он поехал туда и выкланчил у Говарда ее ключ. В нем неуклонно росла уверенность, что с ней случилось то самое, о чем она сейчас рассказала... Только она не набила себе синяк и не сломала руку или ногу, а умерла, умерла совсем одна и сейчас так и лежит там мертвая. Он вошел в квартиру с колотящимся сердцем, чувствуя себя, как кошка в темной комнате, в которой во всех направлениях натянуты рояльные струны. Но оказалось, что волноваться нечего. На кухонном столе стояла масленка, и, как видно, простояла достаточно долго, чтобы масло густо заросло плесенью, хотя и было закрыто крышкой. Он вошел в

квартиру в без десяти семь, а вышел в пять минут восьмого. За это время он быстро осмотрел всю квартиру, заглянул и в ванную. Ванна была сухая, полотенца развешаны аккуратно — даже, можно сказать, в строгом порядке, все поручни — а их здесь было множество — протерты до яркого стального блеска, и ни пятнышка от воды на них не было.

Он знал, что случая, о котором она рассказала, не было.

Но, по мнению Эндрю, она и не лгала. Она *верила* в то, о чем ему рассказала.

Он опять взглянул в зеркало заднего вида и увидел, что она легонько потирает виски кончиками пальцев. Это ему не понравилось. Слишком много раз он видел, что она так делала перед своим очередным исчезновением.

3

Эндрю не стал выключать мотор, чтобы отопление работало и ей было бы тепло, потом подошел к багажнику. Посмотрел на ее два чемодана, и его опять передернуло. Вид у них был такой, будто их безжалостно гоняли пинками взад-вперед раздраженные люди с плохо развитыми мозгами и хорошо развитыми мышцами, обращавшиеся с чемоданами так, как хотели бы, да не решались, обращаться с самой мисс Холмс — как они, возможно, стали бы обращаться, например, с *ним*, если бы он был там. Дело было не только в том, что она — женщина; она ведь черномазая, нахалка-черномазая с Севера, которая лезет, куда ей лезть нечего, и они, наверное, считали, что такая женщина именно того и заслуживает, что получила. Штука была в том, что она — еще и *богатая* черномазая. Штука была в том, что она известна американской публике почти так же хорошо, как Медгар Эверс или Мартин Лютер Кинг. Штука была в том, что она проперла свою богатую черную рожу на обложку журнала «Тайм», а такой бабе не так-то легко без последствий сунуть перо в бок, а потом сказать: «Чегой-то? Нет, сэр босс, мы у нас тут никого такого и в глаза не видали, верно, ребята?» Штука была в том, что не так-то легко накрутить себя до такой степени, чтобы сделать что-нибудь плохое с единственной наследницей Стоматологических предприятий Холмса, когда на ихнем солнечном Юге есть двенадцать заводов Холмса, а один из них — и вовсе в соседнем с Оксфорд-Тауном округе.

Вот они и сделали с ее чемоданами то, чего не смели сделать с ней самой.

Он посмотрел на эти немые свидетельства ее пребывания в Оксфорд-Тауне со стыдом, и яростью, и любовью — эмоциями столь же бессловесными, как царапины на багаже, который, уезжая, имел щегольской вид, а когда вернулся, выглядел побитым и отупевшим. Он смотрел, на время утратив способность двигаться, и выдыхал в морозный воздух облачка пара.

Говард уже шел к ним, чтобы помочь, но Эндрю, прежде чем взяться за ручки чемоданов, помедлил еще секунду. *Кто вы, мисс Холмс? Кто вы на самом деле? Куда вы иногда исчезаете, и что вы такое плохое делаете, что вам приходится даже для себя самой сочинять небылицы об исчезнувших куда-то часах или днях?* И в эту секунду, пока Говард еще не подошел, у Эндрю мелькнула еще одна мысль, странно подходящая к ситуации: «Где остальная часть вас?»

«А ну, кончай думать такое. Если здесь кому и можно думать такие вещи, так это миссис Холмс, но она-то их не думает, стало быть, и тебе нечего».

Эндрю вынул чемоданы из багажника и передал Говарду, который тихонько спросил: «Как она, в порядке?»

— По-моему, да, — ответил Эндрю, тоже понизив голос. — Просто она устала, вот и все. Вся насквозь устала, до самых своих корешков.

Говард кивнул, взял побитые чемоданы и пошел к дому. Он задержался лишь на минуту, чтобы тихонько и почтительно козырнуть Одегге Холмс, которую было почти не видно за притененными стеклами автомобиля.

Когда он ушел, Эндрю достал со дна багажника сложенную раму из нержавеющей стали и начал раскладывать ее. Это было инвалидное кресло на колесах.

С 19 августа 1959 года, уже примерно пять с половиной лет, у Одегги Холмс не было ног от колен и ниже. Не было так же, как этих отсутствующих часов и дней.

4

До случая в метро сознание Детты Уокер включалось всего несколько раз — эти случаи были, как коралловые острова, которые кажутся изолированными тем, кто находится над ними, тогда как на самом деле они — лишь бугорки на позвоночнике длинного архипелага, расположенного главным образом под водой. Одегга совершенно не подозревала о существовании Детты, а Детта не имела ни малейшего представления о том, что существует такой человек, как Одегга... но Детта, по крайней мере, ясно понимала, что *что-то* не так, что кто-то выделяет с ее жизнью какие-то б**дские фокусы. Воображение Одегги превращало в роман все те разнообразные вещи, которые происходили, когда ее телом управляла Детта; Детта была не настолько умна. Ей *казалось*, что она *что-то* помнит, во всяком случае, какие-то отдельные моменты, но чаще всего она ничего не помнила.

Детта сознавала (хотя бы частично), что у нее в сознании есть какие-то *провалы*.

Она помнила фарфоровую тарелочку. Это-то она помнила. Помнила, как сунула ее в карман своего платица, все время озираясь через

плечо — не подглядывает ли Тетка Синька. Детта каким-то образом смутно понимала, что фарфоровая тарелочка — не просто тарелочка, а *напамять*. Потому-то Детта ее и взяла. Детта помнила, что отнесла ее в одно тайное место, которое она знала под названием Свалки (хотя и не знала, откуда она это знает), к дымящейся, засыпанной мусором ямке в земле, где она однажды видела горящего младенца с пластмассовой кожей. Она помнила, как аккуратно поставила тарелочку на засыпанную щебенкой землю и начала было топтать ее, но остановилась, помнила, как сняла свои простые хлопчатобумажные трусики и сунула их в карман, где перед этим лежала тарелочка, а потом осторожно приложила указательный палец левой руки к разрезу у себя между ногами, где Глупый Старый Бог плохо, неплотно соединил ее, как и всех других девочек-и-женщин, но *что-то* хорошее в этом месте, видимо, все-таки было, потому что она помнила пронзившее ее ощущение, помнила, как ей хотелось нажать, помнила, каким восхитительным было ее влагиалище, когда оно было обнажено, когда его не отделяли от всего мира хлопчатобумажные трусики, и она не нажимала, не нажимала до тех пор, пока не нажала ее туфелька, ее черная лакированная туфелька, пока ее туфелька не нажала на тарелочку, вот *тогда* она нажала пальцем на этот разрез так, как нажимала ногой на фарфоровую тарелочку, на эту *напамять* Тетки Синьки, она помнила, как черная лакированная туфелька накрыла нежный синий узор-паутинку, покрывавший край тарелочки, помнила *нажатие*, да, помнила, как она нажимала на Свалке, нажимала пальцем и ногой, помнила сладостное обещание пальца и разреза, помнила, что, когда тарелочка раскололась с горестным ломким хрустом, такое же хрупкое наслаждение пронзило ее от этого разреза вверх, вонзившись, как стрела, в ее внутренности, помнила сорвавшийся со своих губ крик, неприятный, каркающий, как крик вороны, которую спугнули с кукурузной делянки, помнила, как тупо смотрела на осколки тарелочки, а потом медленно достала из кармана платища свои простые белые хлопчатобумажные трусики и снова надела их, нижнее белье, когда-то она слышала, что кто-то их так назвал, но *когда* — в ее памяти не сохранилось, воспоминание плавало, как куски дерна во время прилива, нижнее белье, хорошее название, потому что ты сперва спускаешь их *вниз* и снимаешь, переступая сперва одной черной лакированной туфелькой, потом другой, чтобы сделать свое дело, и подтягиваешь их наверх, хорошее название, и трусики были хорошие, ей так отчетливо помнилось, как она натягивает их, и они скользят вверх по ногам, вот они уже выше колен, корочка на левой коленке вот-вот отвалится, и останется новая, тоненькая, чистенькая розовая кожа, да, она помнила это так отчетливо, словно это было не неделю или день назад, а всего одно-единственное мгновение назад, она помнила, как резинка трусиков оказалась вровень с подолом ее выходного платья, помнила, какой белой была хлопчатобумажная ткань на фоне ее коричневой

кожи, как сливки, да, как струя сливок из кувшинчика, наклоненного над кофе, помнила, какая была материя на ощупь, помнила, как трусики медленно исчезали под подолом платья, вот только платье было оранжевое, она не натягивала трусики, а стягивала их, но они и в этот раз были белые, только не хлопчатобумажные, а нейлоновые, дешевые прозрачные нейлоновые трусики, дешевые не только в прямом смысле, и она помнила, как стянула их вниз, как переступила через них и как они мерцали на коврике на полу «Доджа-де Сото» сорок шестого года, да, какие они были белые, какие они были дешевые, они не заслуживали, чтобы их с достоинством именовали бельем, это были просто дешевые трусики, и девчонка была дешевая, и хорошо было быть дешевой, быть всегда в продаже, выставлять себя на аукцион в качестве даже не шлюхи, а хорошей свиноматки; она помнила не круглую фарфоровую тарелочку, а круглое белое удивленное лицо юнца, какого-то пьяного удивленного мальчишки-студентика, он не был фарфоровой тарелочкой, но лицо у него было такое же *круглое*, как фарфоровая тарелочка Тетки Синьки, и на щеках у него были тоненькие прожилки, и они казались такими же синими, как прожилки узора на *напамяти*, на фарфоровой тарелочке Тетки Синьки, но это было только потому, что неоновый свет был красный, неоновый свет был слепящий, в темноте, при свете неоновой вывески кровь, выступившая у него на лице в тех местах, где она его расцарапала, *казалась* синей, и он говорил: *«Зачем ты зачем ты зачем ты это»*, а потом он опустил стекло и выставил лицо в окно, и его стало рвать, и она помнила, что слышала доносившийся из музыкального автомата голос Доди Стивенс, певшей про желтые ботинки с розовыми шнурками и большую панаму с пурпуровой лентой, помнила, что когда его рвало, звук был, как скрежет щебня в бетономешалке, а его пенис, который несколько мгновений назад торчал у него из спутанных лобковых волос лиловато-синим восклицательным знаком, теперь спался в бессильный белый знак вопроса; она вспомнила, что хриплые, как скрежет щебня, звуки прекратились, и она подумала: «Ну, кажется, слабо ему меня трахнуть» и засмеялась, и прижала палец (который теперь был вооружен длинным изящным ногтем) к влагилицу, которое было обнажено, но теперь уже не было голым, потому что покрылось жесткими, спутанными волосами, и в ней опять что-то хрупко сломалось, как тогда, наслаждение все еще было смешано пополам с болью (но лучше, гораздо лучше, чем совсем ничего), а потом он стал ощупью искать ее, обиженно твердя срывающимся голосом: «Ах ты, *п**да* черномазая проклятая», а она все равно продолжала смеяться и без труда уворачивалась от него, а потом схватила свои трусики и открыла дверцу машины со своей стороны, в последний раз почувствовала, как он неуклюже задел пальцами ее блузку сзади, и убежала в майскую ночь, полную благоухания ранней жимолости, и красно-розовый неоновый свет, мигая, отражался от щебенки какого-то послевоенного паркинга, и засунула трусики, свои

дешевые блестящие нейлоновые трусики, не в карман платья, а в сумочку, набитую, как у всех девочек-подростков, веселым скоплением всевозможной косметики, и вот она бежит, а свет мигает, и вот ей уже двадцать три года, и это уже не трусики, а нейлоновый шарф, и она, идя вдоль прилавка в галантерейном отделе универмага «Мэйси», небрежно сует его в свою сумочку — шарф, который в то время стоил 1 доллар 99 центов.

Дешевый.

Дешевый, как те белые нейлоновые трусики.

Дешевый.

Как она сама.

Тело, в котором она жила, принадлежало женщине, унаследовавшей миллионы, но это не было ей известно и не имело значения — шарф был белый, кайма была синяя, и она ощутила то же самое слабое, ломкое наслаждение, когда села на заднее сиденье такси и, не обращая внимания на водителя, сжала шарф в одной руке, не отрывая от него глаз, а вторую руку украдкой засунула себе под твидовую юбку, под ножку своих белых трусиков, и этот ее длинный темный палец одним безжалостным ударом сделал то дело, которое было необходимо сделать.

Так что иногда она рассеянно спрашивала себя, где она бывает, когда она *не здесь*, но большей частью ее потребности были слишком внезапными и настоящими и не давали ей возможности долго размышлять, и она просто выполняла то, что было необходимо выполнить, делала то, что должно было быть сделано.

Роланд бы понял.

5

Одетта могла бы сколько угодно разъезжать в лимузинах, даже в 1959 году, хотя тогда ее отец был еще жив и она была не так баснословно богата, как позже, когда он в 1962 году умер, деньги, распоряжаться которыми было поручено опекунам, перешли в ее полную собственность в день ее двадцатипятилетия, и она получила право и возможность делать все, что угодно. Но ей очень и очень не нравилось словцо, пущенное в оборот год-два назад одним фельетонистом-консерваторм: «лимузинные либералы» — и она была еще достаточно молода, чтобы не желать считаться лимузинной либералкой, даже если и *была* ею на самом деле. Не настолько молода (или не настолько глупа!), чтобы верить, что несколько пар выцветших джинсов и рубашках цвета хаки, которые она обычно носила, или то, что она ездит на автобусе или на метро, хотя могла бы воспользоваться машиной (но она была достаточно занята собой, чтобы не замечать обиходное и глубокое недоумение Эндрю; он хорошо относился к ней и считал, что с ее стороны это какая-то личная антипатия), хоть в какой-то степени реально меняют суть ее социального положения, но

достаточно молода, чтобы все еще верить, что жест иногда может победить (или хотя бы заслонить) истину.

Ночью 19 августа 1959 года она заплатила за этот жест половиной своих ног... и половиной своей психики.

6

Одетту сначала потащила, потом поволокла, потом накрыла с головой волна, которой впоследствии суждено было превратиться в девятый вал. В 1957 году, когда она включилась в это, явление, которое впоследствии стало называться Движением, еще не имело никакого названия. Она частично знала историю проблемы, знала, что борьба за равенство не прекращается даже не с «Манифеста об освобождении рабов», а чуть ли не с того момента, как первую партию рабов привезли на корабле в Америку (а конкретно — в Джорджию, колонию, которую британцы основали, чтобы избавляться от своих преступников и несостоятельных должников), но Одетте казалось, что для нее эта борьба всегда начинается в одном и том же месте, одними и теми же пятью словами: *«Никуда я отсюда не двинусь»*.

Местом, где все началось, был городской автобус в Монтгомери (штат Алабама), а эти слова сказала негритянка по имени Роза Ли Паркс, а двинуться Роза Ли Паркс не собиралась из передней части этого городского автобуса назад, где, разумеется, в этом городском автобусе были места для Джима Кроу¹. Много времени спустя Одетта вместе со всеми остальными будет петь «Нас не сдвинешь», и эта песня всегда будет напоминать ей о Розе Ли Паркс, и всякий раз, как она будет петь ее, ей будет стыдно. Так легко петь *мы*, когда твои руки сцеплены с руками целой толпы; это легко даже для безногой. Так легко петь «*мы*», так легко *быть* «*мы*». А в том автобусе не было никаких *мы*, в том автобусе, должно быть, воняло старой-старой кожей сидений и накапливающимся годами сигарным и сигаретным дымом, в нем были объявления, гласившие «КУРИТЕ «ЛАККИ СТРАЙК»; и: «РАДИ БОГА, ХОДИТЕ В ЦЕРКОВЬ ПО ВАШЕМУ ВЫБОРУ»; и: «ПЕЙТЕ ОВАЛЬТИН — И ВЫ ПОЙМЕТЕ, О ЧЕМ МЫ»; и: «ЧЕСТЕРФИЛД» — ДВАДЦАТЬ ВЕЛИКОЛЕПНЫХ СИГАРЕТ ИЗ ДВАДЦАТИ ОДНОГО СОРТА ВЕЛИКОЛЕПНОГО ТАБАКА»; никаких *мы* не было под изумленными взглядами не верящих своим ушам водителя, белых пассажиров, среди которых она сидела, и точно так же не верящих своим ушам чернокожих пассажиров на задних сиденьях.

Никаких *мы*.

Только Роза Ли Паркс, породившая девятый вал пятью словами: *«Никуда я отсюда не двинусь»*.

¹ «Джим Кроу» (Джим Ворона) — презрительное прозвище негров в слэнге США.

Одетта часто думала: «Если бы я сумела сделать что-нибудь в этом роде — если бы я сумела быть такой же мужественной — я думаю, я всю жизнь чувствовала бы себя счастливой. Но такого мужества мне не дано».

Она читала о происшествии с Паркс, но вначале без особого интереса. Интерес появился постепенно. Трудно сказать, когда именно или как именно это — вначале почти беззвучное расотрясение, которое начало сотрясать Юг, захватило и воспламенило ее воображение.

Примерно год спустя молодой человек, с которым она тогда встречалась более или менее регулярно, начал брать ее с собой в Гринич-Вилледж, где некоторые из выступавших там молодых (и большей частью белых) певцов в стиле «фолк» вдруг ввели в свой репертуар — в дополнение ко всему этому старому нытью про то, как Джон Генри взял свой молот, да и перегнал в работе новый паровой молот (в процессе чего и помер, ах ты, Господи), и как жестокая Барбара Аллен отвергла страдавшего по ней юного влюбленного (да в конце концов со стыда-то и померла, ах ты, Господи) — новые песни, песни о том, каково это, когда ты в городе никто и ничто и никто тебя знать не желает; каково это, когда тебе не дают работы, которую ты мог бы делать, потому что кожа у тебя не того цвета; каково это, когда мистер Чарли¹ бросает тебя в тюремную камеру и избивает, потому что у тебя темная кожа и ты осмелился (ах ты, Господи) усесться в предназначенном для белых отделении закусочной в универсаме Вулворта в городе Монтгомери (штат Алабама).

Как это ни нелепо, но она только тогда начала интересоваться своими родителями, и их родителями, и родителями их родителей. Ей не довелось прочесть «Корни» — задолго до того, как эта книга была написана, а может быть, даже задумана Алексом Хейли, она попала в другой мир и в другое время — но именно в этот, нелепо поздний период ее жизни, до нее впервые дошло, что не так уж много поколений назад ее предков заковывали в цепи белые. Разумеется, *сам этот факт* приходил ей в голову и раньше, но всегда — просто как информация, от которой ни жарко, ни холодно, как уравнение, и ни разу — как нечто, имеющее непосредственное отношение к ее собственной жизни.

Одетта подвела итог всему, что знала, и ужаснулась тому, каким он оказался малым. Она знала, что ее мать родилась в Одетте (штат Арканзас), в городке, в честь которого ее (единственного ребенка) и называли. Она знала, что ее отец был провинциальным зубным врачом и изобрел и запатентовал технологию изготовления и установки коронок, которая десять лет пролежала незамеченной, а потом вдруг сделала его довольно богатым человеком. Она знала, что за эти десять лет, до того, как он начал богатеть, и за следующие четыре года ее

¹ Так негры в США называют белых.

отец разработал еще целый ряд зубоврачебных методик, главным образом ортодонтального или косметического характера, и что вскоре после того, как он с женой и дочерью (родившейся через четыре года после получения им первого патента) переехал в Нью-Йорк, он основал компанию под названием «Стоматологические предприятия Холмса», которая теперь занимала в стоматологической промышленности такое же место, как компания «Скуибб» — в производстве антибиотиков.

Но когда она расспрашивала отца, как они жили до этого — в те годы, когда ее еще не было на свете, и в те годы, когда она уже появилась, — он ей не рассказывал. Он говорил самые разные вещи, но не рассказывал ей ничего. Он замкнул от нее эту часть себя.

Однажды ее ма, Алиса — он называл ее «ма», а иногда, когда бывал немного выпивши или в хорошем настроении, Элли, — сказала: «Дэн, расскажи ей про тот раз, когда ты вел «Форд» по крытому мосту, а те люди в тебя стреляли», а он посмотрел на Одеттину ма таким мрачным и грозным взглядом, что ма, всегда веселая, как воробышек, вся сжалась на своем стуле и замолчала.

После этого вечера Одетта несколько раз приставала к матери, когда они были одни, но безрезультатно. Если бы она попыталась сделать это раньше, может быть, она бы что-нибудь и узнала, но раз отец не хотел говорить, то и мать не хотела говорить... а для него, как поняла Одетта, прошлое — эти родственники, эта красная глина дорог, эти лавчонки, эти лачуги с земляными полами, с окнами без стекол, не украшенными ни единой, хотя бы самой простенькой, занавеской, эти мучительные, обидные инциденты, эти соседские дети, разгуливавшие в платьицах, сделанных из мешков от муки, — все это для него было глубоко похоронено, спрятано, как мертвые зубы под великолепными, ослепительно белыми коронками. Он не хотел рассказывать, быть может, *не мог*, быть может, добровольно вызвал у себя амнезию; их жизнь в многоквартирном доме «Греймарл апартментс» на Сентрал-Парк Саут-стрит была как зубы под коронками. Все остальное было скрыто под этим непроницаемым наружным покрытием. Его прошлое было так хорошо защищено, что не осталось ни единой щелочки, в которую можно было бы проскользнуть, не было никакой возможности проникнуть через этот совершенный, закрытый коронками барьер в горло откровения.

Детта знала многое, но Детта не знала Одетту, а Одетта не знала Детту, поэтому и там зубы были такие же гладкие и так же плотно закрыты, как ворота редана.

Одетта унаследовала не только спокойную жесткость своего отца, но отчасти и застенчивость своей матери, и она лишь один-единственный раз попыталась продолжить расспросы на эту тему, дать ему понять, что он отказывает ей в заслуженном доверии, которое, правда, не было ей обещано и которому, по-видимому, не суждено созреть. Это было однажды вечером в его библиотеке. Он тщательно расправил свою «Уолл-стрит Джорнэл», закрыл, сложил и отложил на дощатый

сосновый стол рядом с торшером. Он снял свои очки со стальными оглоблями без оправы и положил их на газету. Потом он взглянул на нее, худой негр, такой худой, что казался почти истощенным, с курчавыми седыми волосами, с быстро увеличивающимися залысинами на висках, которые становились все более впалыми, на которых равномерно бились нежные пружинки вен, и сказал только: «Об этом периоде своей жизни, Одегга, я не говорю и не думаю. Это было бы бессмысленно. Мир с тех пор сдвинулся с места и ушел далеко».

Роланд бы понял.

7

Когда Роланд открыл дверь, на которой были написаны слова «ВЛАДЫЧИЦА ТЕНЕЙ», он увидел вещи, совершенно ему непонятные — но он понимал, что они не имеют значения.

Это был мир Эдди Дийна, но в остальном это была только сумятица огней, людей и предметов — такого множества предметов, какого он никогда в жизни не видел. Судя по виду предметов, они предназначались для дам и были выставлены на продажу. Некоторые — под стеклом, некоторые были разложены соблазнительными стопками и рядами. Все это имело не больше значения, чем движение, когда этот мир тек перед ним мимо краев дверного проема. Дверным проемом были глаза Владычицы. Роланд смотрел ими точно так же, как раньше смотрел глазами Эдди, когда Эдди шел по проходу в небесном вагоне.

А вот Эдди был словно громом поражен. Револьвер в его руке задрожал и чуть опустился. Стрелок мог бы без труда отобрать его у Эдди, но не стал. Он просто стоял спокойно. Этому трюку он научился давным-давно.

Теперь картина, открывавшаяся за дверью, резко повернулась; у стрелка от таких поворотов кружилась голова, а Эдди этот стремительный поворот как-то странно успокоил. Роланд никогда не видел ни одного кинофильма. Эдди видел тысячи, и то, на что он сейчас смотрел, было похоже на один из проездов камеры, как в «Хэллоуине» или в «Сиянии». Он даже знал, как называется аппарат, которым делают такие съемки. «Стеди-Кэм», вот как.

— И в «Звездных войнах» тоже, — пробормотал он. — Звезда Смерти. Офигительная штука, помнишь?

Роланд посмотрел на него и ничего не сказал.

В том, что Роланд воспринимал, как дверной проем, а Эдди уже начал считать неким волшебным киноэкраном, в который при определенных условиях можно было войти — так, как в «Пурпурной розе Каира» тот малый просто взял да *сошел* с экрана в реальный мир — показались руки. Темно-коричневые руки. Паскудное кино.

До этой минуты Эдди не понимал, насколько паскудное.

Вот только по ту сторону двери, через которую он смотрел, этот фильм еще не сняли. Это был Нью-Йорк, правильно, — самый звук

клаксонов такси, даже такой слабый и глухой, каким-то образом доказывал это — и какой-то нью-йоркский универмаг, куда он однажды заходил, но все было... было...

— Старше, — пробормотал он.

— До твоего *когда?* — спросил стрелок.

Эдди взглянул на него и коротко хохотнул.

— Ага. Можно и так сказать, правильно.

— Хелло, мисс Уокер, — осторожно сказал женский голос. Картина в двери скользнула вверх так внезапно, что даже у Эдди слегка закружилась голова, и он увидел продавщицу, которая, очевидно, знала обладательницу черных рук — знала и то ли не любила, то ли боялась. Или и то, и другое. — Чем я могу помочь вам сегодня?

— Вот этот. — Обладательница черных рук подняла вверх белый шарф с ярко-синей каймой. — И не трудитесь заворачивать, детка, просто суньте в пакет.

— Наличными или ч...

— Наличными, я же всегда плачу наличными, ведь так?

— Да, мисс Уокер, вот и отлично.

— Я так рада, душечка, что вы одобряете.

На лице продавщицы появилась гримаска — Эдди успел ее заметить, когда та отворачивалась. Может быть, дело было в том, что с продавщицей разговаривала женщина, которую она считала «нахальной черномазой» (опять-таки, эта мысль была вызвана не столько знанием истории или его личным опытом жизни на улице, сколько его опытом кинозрителя, потому что сейчас ему казалось, будто он смотрит фильм, который не то снят в шестидесятых годах, не то действие в нем происходит в те времена, что-то вроде «Душной ночью» с Сидни Стайгером и Родом Пуатье), но все могло быть и гораздо проще: черная ли, белая ли, а эта самая Роландова Владычица теней была та еще хамка.

И ведь это по существу не имело значения, правда? Все это ни хрена не имело значения, ни малейшего. Ему было важно одно и только одно: *выбраться отсюда к е**не матери.*

Это был Нью-Йорк, он почти ощущал *запах* Нью-Йорка.

А раз Нью-Йорк — значит, и наркота.

Вот только тут была одна закавыка.

Здоровенная б**дская закавыка.

8

Роланд внимательно наблюдал за Эдди и, хотя мог бы его десять раз убить почти в любой момент, если бы захотел, он не стал этого делать, а стоял неподвижно, молча, и ждал, чтобы Эдди сам разобрался в ситуации. У Эдди была уйма всяких качеств, и очень многие из них нельзя было считать хорошими (будучи человеком, сознательно давшим ребенку сорваться в бездну, стрелок прекрасно знал разницу

между хорошим и плохим), но одного качества у Эдди точно не было — глупости.

Он — сообразительный парнишка.

Он разберется, что и как.

И он разобрался.

Он оглянулся на Роланда, улыбнулся, не разжимая губ, один раз перекрутил на пальце револьвер стрелка, неуклюже, пародируя шикарный заключительный жест балаганного стрелка в цель, и протянул его Роланду рукояткой вперед.

— Мне от этой штуки пользы, что от куска дерьма, правильно?

«Ведь можешь говорить, как умный человек, когда захочешь, — подумал Роланд. — Почему же ты так часто хочешь говорить — и говоришь — как дурак, Эдди? Потому что ты думаешь, что так говорили там, куда отправился твой брат со своими револьверами?»

— Правильно? — повторил Эдди.

Роланд кивнул.

— Если бы я все же всадил в тебя пулю, что стало бы с этой дверью?

— Не знаю. Я думаю, единственный способ узнать — это попробовать и посмотреть, что будет.

— Ну а как ты *думаешь*, что было бы?

— Я думаю, она бы исчезла.

Эдди кивнул. Он тоже так думал. Пуф! И исчезнет, как по волшебству! Вот мы ее видим, а вот и не видим. По существу произошло бы то же самое, что случилось бы в кинотеатре, если бы киномеханик вдруг вытащил шестизарядный пистолет и пальнул бы в проектор, не так ли?

Если расстрелять проектор, кино кончится.

Эдди не хотел, чтобы кино кончилось.

Эдди хотел получить за свои деньги все, что положено.

— Ты можешь пройти туда один, — медленно сказал Эдди.

— Да.

— В некотором роде.

— Да.

— Ты попадешь к ней в голову. Как попал в мою.

— Да.

— Значит, ты сможешь вроде как въехать в мой мир автостопом, и только.

Стрелок промолчал. Эдди порой употреблял слова, которые Роланд не совсем понимал, и одним из этих слов было *автостоп*... Но общий смысл он уловил.

— Но ты *мог бы* пройти в своем теле. Как у Балазара. — Эдди говорил вслух, но на самом деле он разговаривал сам с собой. — Только для этого тебе был бы нужен я, так?

— Да.

— Тогда возьми меня с собой.

Стрелок уже открыл было рот, но Эдди торопливо продолжал:

— Не сейчас, я не имею в виду сейчас, — сказал он. — Я понимаю: если бы мы просто... выскочили там, как чертик из табакерки, началась бы свалка или что-нибудь такое. — Он засмеялся, и в этом смехе был отзвук безумия. — Как будто фокусник вытащил кроликов из шляпы, вот только шляпы-то никакой и не было, уж это точно. Мы дождемся, чтобы она осталась одна, и...

— Нет.

— Я вернусь с тобой, — сказал Эдди. — Клянусь тебе, Роланд. В смысле — я понимаю, что ты обязан довести свое дело до конца, и понимаю, что я — часть его. Я знаю, что ты спас мне шкуру на таможене, но думаю, что я спас тебе шкуру у Балазара — а ты как думаешь?

— Я тоже так думаю, — ответил Роланд. Он вспомнил, как Эдди поднялся из-за письменного стола, не думая об опасности, и на мгновение заколебался.

Но всего лишь на мгновение.

— Ну? Ты — мне, я — тебе. Рука руку моет. Мне всего-то и надо вернуться туда на пару часиков. Курочку взять на вынос в кафе-гриль, может, еще коробку пончиков. — Эдди кивнул на дверь, где все опять задвигалось. — Ну, что скажешь?

— Нет, — сказал стрелок, но в это мгновение он почти не думал об Эдди. Это движение вдоль прохода — Владычица, кто бы она ни была, двигалась не так, как обыкновенные люди — не так, как, например, двигался Эдди, когда Роланд смотрел его глазами или (он понял это теперь, когда задумался об этом, а раньше он никогда об этом не думал, так же, как никогда раньше не замечал постоянного присутствия у нижнего края своего поля зрения собственного носа), как двигается он сам. Когда идешь, поле зрения тихонько раскачивается, как маятник: левой ногой, правой ногой, левой, правой, мир покачивается туда-сюда, но так тихо и мягко, что через некоторое время — как полагал Роланд, вскоре после того, как научишься ходить — просто перестаешь замечать. В походке Владычицы не было ничего похожего на движение маятника — она просто плавно плыла по проходу, словно ехала по рельсам. Забавно, что у Эдди было такое же впечатление... Только Эдди это напоминало проезд камеры. Это впечатление успокаивало его, потому что было знакомым.

Для Роланда оно было чуждым... Но тут в его сознании взорвался ставший пронзительным голос Эдди.

— Это почему же «нет»? Какого х** «нет»?

— Потому что тебе нужна не курочка, — сказал стрелок. — Я знаю, Эдди, как называется то, что тебе нужно. Тебе нужен «дозняк». Тебе нужно «заторчать».

— Ну и что? — закричал — почти завизжал — Эдди. — А хоть бы и так? Я же сказал, что вернусь с тобой! Я же тебе обещал! ОБЕЩАЛ, е* твою мать, понял, нет? Какого тебе еще нужно? Хочешь, чтобы я материным именем поклялся? Ладно! Клянусь именем мате-

ри! Хочешь, чтобы я поклялся именем моего брата Генри? Ладно, клянусь! Клянусь! КЛЯНУСЬ!

Энрико Балазар сообщил бы Роланду некий непреложный факт, но стрелок не нуждался в том, чтобы об этом ему говорили такие, как Балазар: никогда не доверяй торчку.

Роланд кивнул на дверь.

— С этой частью твоей жизни покончено, по крайней мере, пока не закончится дело с Башней. А после этого — мне безразлично. Потом — пожалуйста, можешь себя губить любым способом, каким захочешь. А до тех пор ты мне нужен.

— Ах ты, б**дь, врун поганый, — негромко сказал Эдди. В его голосе не было слышно никаких эмоций, но стрелок увидел, что на глазах у него блестят слезы. Роланд ничего не ответил. — Ты знаешь, что никакого «после» не будет, ни для меня, ни для нее, ни для — кто уж там окажется третьим. Скорее всего, и для тебя тоже не будет — у тебя вид такой же, на х**, дохлый, какой бывал у Генри в самые худшие минуты. Если мы не умрем по пути к твоей Башне, так значит, как штык, умрем, когда доберемся до нее, *так чего ж ты мне врешь-то?*

Стрелок ощутил некий глухой стыд, но повторил только:

— По крайней мере, пока что с этой частью твоей жизни покончено.

— Да ну? — сказал Эдди. — Ну а у меня, Роланд, есть для тебя кое-какие новости. Я же ведь знаю, что станет с твоим *настоящим* телом, когда ты пройдешь туда, в ее голову. Знаю, потому как уже видел. Мне твои револьверы ни к чему. Я тебя, друг ты мой, и так ухватил сам знаешь за что. Ты можешь даже повернуть ее голову, как поворачивал мою, и следить, что я буду делать с остальной частью тебя, пока ты будешь состоять только из своего треклятого *ка*. Мне бы хотелось подождать, пока начнет смеркаться, и оттащить тебя поближе к воде. Тогда ты бы смог полюбоваться, как омары хавают остальную часть тебя. Но, может, ты слишком спешишь, и это не получится.

Эдди помолчал. И скрежещущий звук разбивающихся волн, и ровный, гулкий вой ветра казались очень громкими.

— Так что я думаю просто перерезать тебе горло твоим же ножом.

— И навсегда закрыть эту дверь?

— Ты ж говоришь, что с этой частью моей жизни покончено. И ты не только про наркоту. Ты про Нью-Йорк, про Америку, про мое время, про *все*. А если так, то я хочу покончить и с этой частью тоже. Пейзажи здесь хреновые и компания говенная. Бывают моменты, Роланд, когда по сравнению с тобой даже Джимми Свагарт кажется почти нормальным.

— Впереди — великие чудеса, — сказал Роланд. — Необычайные приключения. Более того, впереди — великая цель и возможность восстановить твою честь. И еще одно. Ты мог бы стать стрелком. В конце концов не обязательно мне быть последним. В тебе есть задатки стрелка, Эдди. Я это вижу. Я это *чувствую*.

Эдди расхохотался, хотя слезы уже текли у него по щекам.

— Вот здорово! Ну прям *здорово*! Самое оно! Мой брат Генри — он был стрелком. Было это дело в стране под названием Вьетнам. Для него это было просто великолепно. Жаль, Роланд, не видал ты его, когда он торчал как следует. Он сам, без помощи, до б**дского сортира дойти не мог. А если его некому было отвести, он просто сидел у ящика и смотрел соревнования по борьбе и делал все в штаны, на х**. Быть стрелком — отличная штука. Мой брат был наркашом, а у тебя шарики за ролики на хрен зашли.

— Быть может, твой брат не имел четкого представления о чести.

— Может, и так. Мы, в «Проектах», не всегда четко представляли себе, что это такое. Это было просто слово, впереди которого надо было ставить слово «Ваша», если тебя заметут с косяком или когда ты тыришь с какой-нибудь тачки колеса и сволокут в суд.

Теперь Эдди плакал сильнее, но одновременно и смеялся.

— Вот и твои дружки тоже. Этот малый, про которого ты все говоришь во сне, этот фраер Катберт...

Стрелок невольно вздрогнул. Даже многолетняя закалка не помогла ему удержаться от этого движения.

— *Им-то* досталось хоть сколько-нибудь всего этого, о чем ты базаришь, как хренов сержант-вербовщик из морской пехоты? Приключений, поисков, чести?

— Да, они понимали, что такое честь, — медленно ответил Роланд, думая об остальных, об исчезнувших.

— Это дало им что-то большее, чем моему брату — то, что он был стрелком?

Стрелок ничего не ответил.

— Я тебя знаю, — сказал Эдди. — Я таких, как ты, видал вагон и маленькую тележку. Ты просто очередной псих, который распевает «Христово воинство, вперед», сжимая в одной руке знамя, а в другой револьвер. Не нужна мне никакая честь. А нужна мне только курочка-гриль и дознычок. В указанном порядке. Так что я тебе говорю: иди туда. Можешь. Но как только ты уйдешь, в ту же самую минуту, я убью остальную часть тебя.

Стрелок молчал.

Эдди криво улыбнулся и тыльной стороной рук смахнул слезы со щек.

— Хочешь знать, как у нас называют такие ситуации?

— Как?

— Мексиканская ничья.

Секунду они смотрели только друг на друга, а потом Роланд резко перевел взгляд на дверь. Они оба частично сознавали — Роланд в большей степени, чем Эдди, — что картина опять сдвинулась, на этот раз влево. Здесь были разложены сверкающие драгоценности. Некоторые лежали под стеклом, но большая часть — нет, и стрелок предположил, что это дешевые побрякушки... то, что Эдди назвал бы

бижутерией. Темно-коричневые руки перебрали — казалось, бегло и небрежно — несколько безделушек, и в это время подошла продавщица, уже другая. После короткого разговора, на который ни Роланд, ни Эдди не обратили особого внимания, Владычица (тоже мне Владычица, подумал Эдди) попросила показать что-то еще. Продавщица отошла, и в этот-то момент Роланд посмотрел туда снова.

Вновь показались коричневые руки, только теперь они держали сумочку. Она открылась. И вдруг руки начали сгребать в сумочку — по-видимому, даже намеренно, наугад — вещи с прилавка.

— Ну, Роланд, набрал ты себе команду, — с горьким весельем сказал Эдди. — Сперва тебе достался типичный торчок, а потом тебе досталась типичная чернокожая магазинная воров...

Но Роланд уже шел к двери между мирами, быстро, даже не взглянув на Эдди.

— Я серьезно! — завопил Эдди. — Только уйди — я тебе тут же горло перережу, перережу твоё гадское горло...

Он еще не договорил — а стрелок уже исчез. От него осталось лишь обмякшее, дышащее тело, лежащее на берегу.

Секунду Эдди просто стоял, не в силах поверить, что Роланд все-таки сделал это, в самом деле взял и сделал эту глупость, несмотря на то, что Эдди ему обещал — если на то пошло, гарантировал, искренне, мать его за ногу, *гарантировал* — какие будут последствия.

Секунду он стоял, и глаза у него закатывались, как у испуганной лошади, когда начинается гроза... только грозы, конечно, не было, если не считать той, что бушевала у него в голове.

Ну, ладно. Ладно, зараза.

Может, у него только и есть одна секунда. Может, больше времени стрелок ему не даст — Эдди прекрасно понимал это. Он взглянул в дверь и увидел, что черные руки замерли, наполовину опустив золотое ожерелье в сумочку, в которой все уже сверкало, как в сокровищнице пиратов. Эдди понял (хотя и не мог услышать), что Роланд заговорил с обладательницей черных рук.

Он вытащил из кошелька стрелка нож и повернул на спину обмякшее дышащее тело, лежавшее перед дверью. Глаза были открыты, но ничего не выражали, закатились так, что виднелись одни белки.

— Смотри, Роланд! — пронзительно крикнул Эдди. В его ушах был этот монотонный, идиотский, непрекращающийся ветер. Господи, от этого хошь кто шизанется. — Смотри повнимательнее! Я хочу завершить твоё странное образование! Я хочу показать тебе, что бывает с теми, кто нае**вает братьев Дийн!

Он поднес нож к горлу стрелка.

Глава вторая

СТРЕМИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЖЕНИЯ

1

Август, 1959

Когда полчаса спустя врач-стажер вышел из здания больницы, он наткнулся на Хулио, привалившегося спиной к машине скорой помощи, которая все еще стояла на отведенной для «скорых» площадке при Больнице Сестер Милосердия на Двадцать третьей улице. Каблук остроносого сапожка Хулио был зацеплен за переднее крыло машины. Хулио успел переодеться в форму своей спортивной лиги (он играл в кегли) — ослепительно розовые штаны и синюю рубаху, на левом кармашке которой золотыми стежками было написано его имя. Джордж сверился с часами и увидел, что команда Хулио, «Латиносы-авторитеты», уже должна бы катать.

— Я думал, ты ушел, — сказал Джордж Шэйверс. Он проходил в «Сестрах Милосердия» интернатуру. — Как твои ребята собираются выиграть без Чудо-Крюка¹?

— А Мигель Басале у них на что? Поставят на мое место. Играет он неровно, но, бывает, раззадорится — ух!.. Так что не пропадут. — Хулио помолчал. — Мне стало любопытно, как все обернется. — Он работал шофером, этот кубинец с таким чувством юмора, что Джорджа порой посещали сомнения — а знает ли Хулио, чем обладает? Джордж огляделся. Никого из фельдшеров, с которыми они ездили, в поле зрения не было.

— А эти где? — спросил Джордж.

— Кто? Б**дские близняшки Боббси? Шарят по Вилледж — миннесотских давалок ищут. Как думаешь, она вытянет?

— Не знаю. — Джордж постарался, чтобы его слова прозвучали глубокомысленно, так, будто ему было ведомо неведомое, но в действительности сначала дежурный врач, а затем пара хирургов

¹ Крюк — один из ударов, когда мяч (шар) идет не прямо.

забрали у него негритянку чуть ли не быстрее, чем можно проговорить «Упокой, Господи, душу...» (что, собственно, и вертелось уже у Джорджа на языке — судя по виду чернокожей дамы, жить ей оставалось недолго). — Она потеряла чертовски много крови.

— М-да, это вам не хвост собачий.

Джордж — один из шестнадцати интернов Больницы Сестер Милосердия — входил в восьмерку назначенных в программу «Дорога скорой помощи». Предполагалось, что интерн, выезжающий на вызовы с парой фельдшеров, порой в чрезвычайной ситуации способен отличить жизнь от смерти. Джордж знал: большинство фельдшеров считает, что салага-интерн с равным успехом может и спасти, и угробить. Впрочем, сам он думал, что идея, возможно, срабатывает.

Иногда.

Так или иначе, программа делала больнице колоссальную рекламу, и, хотя назначенные в нее интерны любили поворчать из-за лишнего восьми часов без оплаты, в которые это еженедельно выливалось, Джорджу Шэйверсу казалось, что, как и он сам, почти все эти ребята ощущают себя великолепными, крутыми и способными выдержать все, что бы ни подбросила им на пути судьба.

Потом настала ночь, когда в Айдлуайлде разбился «Трай-Стар» Трансмировых Авиалиний. На борту — шестьдесят пять человек, шестьдесят из них — в том состоянии, какое Хулио Эстевес называл «КНМ», «Кончился На Месте». Трое из пяти оставшихся по виду напоминали нечто, счищенное с пода угольной топки... вот только то, что выскребает с пода топки, не стонет, не заходится в крике и не умоляет дать морфия или убить, верно? «Сумеешь принять такое, — думал позднее Джордж, вспоминая чудовишно изуродованные конечности среди останков алюминиевых закрывков и мягких сидений, и зазубренный огромный обломок хвоста с цифрами 1 и 7, большущей красной буквой «Т» и частью «М», вспоминая глазное яблоко, которое увидел на крышке обугленного чемодана, и плюшевого мишку с бессмысленно вытаращенными глазами-пуговицами, лежавшего возле маленькой красной кроссовки, внутри которой осталась ступня ребенка, — сумеешь принять такое, малыш, — сумеешь принять что угодно». И он отлично принял это, просто великолепно. И просто великолепно выдержал до самого дома. И продолжал отлично чувствовать себя за поздним ужином, разогретой свонсоновской индейкой-полуфабрикатом. И уснул без малейших затруднений, что не оставляло и тени сомнения: Джордж просто великолепно переносит увиденное. А в глухой предутренний час он очнулся от отвратительного кошмара, в котором на крышке обугленного чемодана лежала голова, только не плюшевого мишки, а матери Джорджа; голова открыла глаза, и оказалось, что они превратились в угольки, в вытаращенные, ничего не выражающие пуговичные гляделки игрушечного медвежонка; рот раскрылся, показав пеньки сломанных зубов (до того, как на последнем подходе в «Трай-Стар» угодила молния,

на их месте красовались коронки), и мать прошептала: «Ты не смог спасти меня, Джордж, мы на всем сэкономили ради тебя, откладывали для тебя деньги, во всем себе отказывали, отец уладил передышку с той девицей, А ТЫ ВСЕ РАВНО НЕ СМОГ МЕНЯ СПАСТИ, БУДЬ ТЫ ПРОКЛЯТ»; Джордж проснулся, пронзительно крича, и смутно осознал, что кто-то колотит в стену, но к тому времени он уже спешно мчался в туалет и едва успел принять перед фаянсовым алтарем коленопреклоненную позу кающегося грешника, как обед скоростным лифтом прибыл наверх. Он приехал спецдоставкой — горячий, дымящийся, еще хранящий запах переработанной индейки. Джордж стоял на коленях, глядя в унитаз на куски полупереваренной индюшатины, на морковь, несколько не утратившую свою первоначальную флюоресцентную яркость, и в голове у него большими красными буквами полыхало:

ХВАТИТ.

Именно так:

ХВАТИТ.

Он намеревался выйти из костоправного дела, ведь

ХВАТИТ — ЗНАЧИТ, ХВАТИТ.

Джордж собирался бросить свое занятие, ибо девизом Лупоглаза¹ было: «Вот все, что мне под силу терпеть, но больше терпелу моего нету», а Лупоглаз — в полном порядочке, как в танке.

Джордж спустил воду, вернулся в постель и почти мгновенно уснул; а проснувшись, обнаружил, что по-прежнему хочет быть врачом; знать это наверняка было чертовски здорово и, может быть, стоило всей программы, как ее ни называй — «Дорога скорой помощи», «Ведро крови» или «Волшебная сила искусства».

Он по-прежнему хотел быть врачом.

У Джорджа была знакомая вышивальщица. Заплатив этой даме десятку (с огромным трудом выкроенную из бюджета), он вскоре получил небольшую вышивку в духе моды минувших лет. Аккуратные стежки складывались в надпись:

«КТО СПОСОБЕН ВЫНЕСТИ ТАКОЕ, СПОСОБЕН ВЫНЕСТИ ЧТО УГОДНО».

Да. Верно.

Четыре недели спустя случилась заварушка в метро.

2

— А знаешь, дамочка-то была офигенно странная, — сказал Хулио.

Джордж внутренне испустил вздох облегчения. Он подозревал, что лишился бы покоя и сна, не затронь Хулио этой темы. Джордж проходил интернатуру и в один прекрасный день собирался стать

¹ Лупоглаз — герой американского мультсериала, известен примитивной философией.

настоящим практикующим врачом — теперь-то он действительно в это поверил, — но Хулио был *стариком*, а кому хочется ляпнуть глупость в присутствии *старика*? Хулио бы только рассмеялся и сказал: «Черт возьми, пацан, такое говно я видел тыщу раз. Возьми-ка полотенце да вытри что там у тебя на губах, а то оно еще не обсохло, по физиономии течет».

Но, по-видимому, *такого* Хулио тыщу раз не видел — и хорошо, поскольку Джорджу *хотелось* поговорить об этом.

— Верно, странная. Будто в ней сидело сразу два человека.

К своему изумлению, Джордж заметил, что теперь полегчало уже Хулио, и внезапно устыдился. Хулио Эстевес, который собирался остаток своей жизни провести скромно, за баранкой лимузина с парой красных мигалок на крыше, только что проявил больше мужества, чем оказалось по силам Джорджу.

— В точку, док. Стопроцентное попадание. — Хулио вытащил пачку «Честерфильда» и сунул в уголок рта сигарету

— Эта дрянь тебя угробит, чувак, — сказал Джордж.

Хулио кивнул и протянул ему пачку

Некоторое время они молча курили. Не исключено, что фельдшеры гонялись за юбками, как сказал Хулио... а может, просто были сыты по горло. Да, верно, *Джордж* испугался не на шутку. Но он знал и кое-что еще — эту женщину спас *он*, не фельдшеры, — и понимал, что Хулио тоже это знает. Может быть, на самом деле Хулио остался ждать именно поэтому. Помогли двое: негритянка в годах да белый мальчишка, который позвонил фараонам, пока все прочие (за исключением черной старушенции), столпившись вокруг, только глазели на происходящее, точно это было какое-нибудь вонючее кино или телевизионка, — быть может, часть эпизода из «Питера Ганна», — но в итоге все свелось к бою Джорджу Шэйверсу, который как можно лучше исполнил свой долг.

Женщина ждала поезд, о котором был такого высокого мнения Дюк Эллингтон, тот самый легендарный поезд «А»¹. Хорошенькая молодая негритянка в джинсах и рубашке защитного цвета ждала идущий по маршруту «А» легендарный поезд, чтобы поехать на окраину, в жилую часть города, вот и все.

Ее кто-то толкнул.

Джордж Шэйверс не имел ни малейшего представления о том, поймала ли полиция эту мразь — его это не касалось. Его касалось другое: женщина, с пронзительным криком кувырнувшаяся в трубу тоннеля, прямо под колеса легендарному поезду «А», и чудом не угодившая на третий рельс; этот легендарный третий рельс сделал бы с ней то же, что штат Нью-Йорк делает в Синг-Синге с бандитами,

¹ «Take The A Train», «Поезд А» или «Маршрут А» — джазовая мелодия, написанная Билли Стрейхорном и исполнявшаяся «Дюком» Эллингтоном. Поезд «А» — поезд, идущий из центра Нью-Йорка в Гарлем

заработавшими дармовую поездку на том легендарном поезде «А», который заключенные прозвали «Старой жаровней»

Чудеса электричества, прости Господи.

Она попыталась уползти с дороги, но времени чуть-чуть не хватило, и легендарный поезд «А» подкатил к станции, пронзительно скрежеща и изрыгая искры — машинист заметил женщину; впрочем, слишком поздно; слишком поздно для них обоих. Стальные колеса легендарного поезда «А» по живому отхватили женщине ноги над самыми коленями. И покуда все (только какой-то белый мальчишка вызвал фараонов) просто-напросто стояли, почесывая м**е (или, по предположению Джорджа, ковыряя в п**де), одна пожилая черная квочка спрыгнула вниз, вывихнув при этом бедро (позднее мэр вручит ей медаль «За храбрость»), и шарфом, которым были подхвачены ее волосы, как жгутом перетянула ляжку молодой женщины, откуда струей била кровь. Белый парнишка в дальнем конце платформы надрывался, требуя «скорую»; надсаживалась и черная старушенция — помогите кто-нибудь, Христа ради, дайте галстук или еще что, да что угодно, — и наконец какой-то немолодой белый, по виду бизнесмен, нехотя уступил и расстался со своим ремнем. Темнокожая цыпа преклонных лет взглянула на него и сказала то, что назавтра стало заголовком передовицы нью-йоркской «Дэйли Ньюз», слова, сделавшие ее подлинной чисто американской героиней: «Спасибо, брат». И стянула ремнем левую ногу молодой женщины на полпути от паха к тому месту, где до появления легендарного поезда «А» было колено.

Джордж услышал, как кто-то сказал кому-то, будто последними словами молодой негритянки перед тем, как она потеряла сознание, было: «КАКОЙ КОЗЕЛ ЭТО СДЕЛАЛ? ОТСЛЕЖУ СУКУ И НА Х**ПРИБЬЮ!»

Пробить в ремне новые дырочки, чтобы пожилая негритянка сумела его застегнуть, не было никакой возможности, и старуха попросту не отступалась: она до последнего, до самого прибытия Хулио, Джорджа и фельдшеров, не отпускала ремень.

Джордж помнил желтую линию (и как мать наказывала ему: поджидая поезд, легендарный или нет, никогда, никогда, *никогда* не заступай за желтую линию), резкую вонь бензина и электричества, ударившую в нос, когда он спрыгнул вниз, на пути; помнил, как там было жарко. Словно и он, Джордж, и пожилая негритянка, и молодая темнокожая женщина, и поезд, и тоннель, и невидимое небо вверху, и преисподняя внизу источали обжигающий, палящий жар. Джордж помнил, что совершенно безотносительно к происходящему подумал: «Если бы мне сейчас надели манжетку тонометра, стрелку бы зашкалило», после чего успокоился, гаркнул, чтобы принесли саквояж, а когда фельдшер с саквояжем попытался соскочить вниз, велел ему отваливать к едрене-фене, и фельдшер, изумившийся так, будто видел Джорджа Шэйверса впервые, *отвалил*.

Джордж перевязал столько вен и артерий, сколько смог, а когда сердце негритянки пустилось выбивать би-боп, взял шприц и под завязку накачал ее дигиталином. Прибыла цельная кровь. Ее привезли полицейские. «Хотите поднять ее наверх, док?» — спросил один из них, и Джордж ответил, что еще нет, вытащил иглу капельницы и вонзил в тело своей пациентки, вливая живительную жидкость, точно молодая женщина была наркоманкой, которой до разреза требовалось «поправиться».

Потом он позволил им поднять ее наверх.

Потом они повезли ее в больницу.

По дороге она очнулась.

Тогда-то и начались странности.

3

Когда фельдшеры загрузили молодую негритянку в скорую, она начала шевелиться и слабо вскрикивать, и Джордж сделал ей укол демерола. Он дал довольно порядочную дозу, а потому самонадеянно решил, что всю дорогу до «Сестер Милосердия» женщина спокойно проспит. Джордж был на девяносто процентов уверен, что по приезду она все еще *будет* с ними — один-ноль в пользу ребят знающих и умелых.

Однако веки молодой женщины затрепетали, когда до больницы оставалось еще шесть кварталов. Она издала хриплый стон.

— Можно сделать еще укольчик, док, — сказал один из фельдшеров.

Джордж с трудом осознал, что фельдшер впервые соизволил назвать его не Джорджем или, хуже того, Джорджи.

— Рехнулся? Тебе, может, все равно, а я предпочту не путать «умер по прибытии» с «превышением дозы».

Фельдшер отпрянул.

Джордж опять посмотрел на молодую негритянку и увидел, что на его взгляд отвечают все понимающие и отнюдь не сонные глаза.

— Что со мной было? — спросила она.

Джордж вспомнил мужчину, повторившего кому-то слова, якобы сказанные этой женщиной (козел, отслежу, укокошу, и т.д. и т.п.). Тот мужчина был белым. Теперь Джордж решил, что это — чистый вымысел, питаемый то ли присущим человеку странным стремлением делать ситуации, полные естественного драматизма, еще более драматичными, то ли просто расовыми предрассудками. Перед ним была интеллигентная, образованная женщина.

— Произошел несчастный случай, — сказал он. — Вас...

Веки негритянки скользнули вниз, плотно сомкнулись, и Джордж подумал, что сейчас она снова уснет. Хорошо. Пусть кто-нибудь другой скажет ей, что она лишилась обеих ног. Кто-нибудь, кто зарабатывает больше семи тысяч шестисот долларов в год. Он подвиг-

нулся чуть влево, желая еще раз проверить ее кровяное давление, и тут она снова открыла глаза. Она открыла глаза, и взору Джорджа Шэйверса предстала совершенно другая женщина.

— Эта х**вина отхватила мне ноги. Я почуяла, как их оттяпало. Это чего, скорая?

— Д-д-да, — выговорил Джордж. Ему вдруг очень захотелось чего-нибудь глотнуть. Не обязательно спиртного. Просто чего-нибудь, промочить пересохшее горло. Это было все равно, что смотреть на Спенсера Трэйси в «Докторе Джекиле и мистере Хайде», только в жизни.

— А того кобеля беложопого повязали?

— Нет, — сказал Джордж, думая: «Тот чувак понял правильно, черт подери, тот чувак, как ни странно, действительно понял правильно».

Он смутно сознавал, что фельдшеры, дышавшие ему в затылок (возможно, в надежде, что он что-нибудь сделает не так), попятились.

— Хорошо. Белое легавье его все равно бы отпустило. Ништяк, сама достану. Достану и хер отрежу. Сука! Сказать, что я сотворю с этой гнидой? Щас я тебе скажу, морда белая! Я те скажу... скажу...

Веки женщины вновь затрепетали, и Джордж подумал: «Да, да, засыпай, пожалуйста, спи, за такое мне не платят, я этого не понимаю, нам объясняли про шок, но никто ни словом не обмолвился о шизофрении, как об одном из...»

Глаза открылись. В машине опять была первая женщина.

— Что это был за несчастный случай? — спросила она. — Я помню, как вышла из «Желудка»...

— Из желудка? — тупо повторил Джордж.

Она едва заметно улыбнулась. Улыбка вышла болезненной.

— Из «Пустого желудка». Это такая кофейня.

— А. Ага. Да, правда.

Вторая женщина — страдающая ли, нет ли — заставляла Джорджа чувствовать себя вываленным в грязи и не вполне здоровым. При этой он невольно ощущал себя рыцарем из артурианской легенды, рыцарем, успешно спасшим Прекрасную Даму из пасти дракона.

— Я помню, как спускалась по лестнице на платформу, а потом...

— Кто-то вас толкнул. — Фраза прозвучала по-идиотски, но что за беда? Это и был идиотизм.

— Толкнул... под поезд?

— Да.

— Я лишилась ног?

Джордж попытался сглотнуть и не смог. В горле словно бы не осталось ничего, чтобы смазать голосовой аппарат.

— Не полностью, — глупо ответил он, и женщина закрыла глаза.

«Пусть это будет обморок, — подумал тогда он, — пожалуйста, пусть это будет об...»

Глаза открылись — сверкающие, горячие. Вскинутая рука полоснула воздух в дюйме от лица Джорджа, оставив пять невидимых

прорех — пройди пальцы хоть сколько-нибудь ближе, и, вместо того чтобы курить с Хулио Эстевесом, он штопал бы щеку в травматологии.

— ДА ВЫ ПРОСТО ШАЙКА ГНИД БЕЛОЖОПЫХ, ВОТ ВЫ КТО! — визгливо завопила негритянка. Ее глаза были полны поистине адского пламени, лицо — чудовищно, оно лишь отдаленно напоминало человеческое. — ВСЕХ П****КОВ БЕЛОЖОПЫХ, КАКИЕ НА ГЛАЗА ПОПАДУТСЯ, УБЬЮ НА ХЕР! А СПЕРВА ВЫХОЛОЩУ! ЯЙЦА ПООТРЫВАЮ И В ИХНИЕ ЖЕ ХАРИ ПОПЛЮЮ! Я ИМ...

Это было безумие. Бред. Она говорила как негритянка из мультфильма, спятившая Бабочка Мак-Куин. К тому же она — оно — производило впечатление чего-то нечеловеческого; это визжащее, корчащееся существо просто не могло полчаса назад подвергнуться импровизированной ампутации в тоннеле метрополитена. Она кусалась. Она снова и снова силилась достать Джорджа скрюченными пальцами. Из носа летели сопли, с губ — слюна. Из рта лилась грязь.

— *Сделай ей укол, док!* — пронзительно крикнул один из фельдшеров. Он был очень бледен. — *Христа ради, сделай ей укол!* — Фельдшер потянулся к ящику с запасом медикаментов. Джордж оттолкнул его руку.

— Пошел на х**, говнюк.

Джордж опять посмотрел на пациентку и увидел, что на него глядят спокойные, интеллигентные глаза первой женщины.

— Я буду жить? — спросила она тоном светской беседы. Он подумал: «Она не знает о провалах в своем сознании. Абсолютно ничего не знает». И через секунду: «А значит, и другая тоже».

— Я... — Он слотнул, растер под халатом грудь в том месте, где бешено прыгало сердце, и приказал себе: возьми себя в руки. Ты спас этой женщине жизнь. Проблемы ее психики — не твоя забота.

— *С вами-то все в порядке?* — спросила она, и неподдельная тревога в ее голосе заставила Джорджа улыбнуться — она спрашивала его.

— Да, мэм.

— На какой вопрос вы отвечаете?

В первую секунду он не понял, потом до него дошло.

— На оба, — ответил он и взял ее за руку. Молодая женщина стиснула пальцы Джорджа, а он заглянул в сияющие яркие глаза и подумал: «*влюбиться можно*»... вот тогда-то ее пальцы и превратились в когтистую лапу, и Джордж услышал, что он — драный беложопый козел и она не просто *оторвет* ему яйца, она его е**льник *разжует* и выплюнет.

Джордж отшатнулся и посмотрел, не кровоточит ли рука, несвязно думая: если кровит, придется что-то предпринять, поскольку баба ядовитая, настоящая отравка, и ее укус — все равно что укус медянки или гремучей змеи. Крови не было. А когда Джордж опять поглядел на свою пациентку, то увидел другую женщину — ту, первую.

— Пожалуйста, — сказала она. — Я не хочу умирать. Пожа... — И окончательно лишилась чувств. К счастью для всех.

— Так что ты думаешь? — поинтересовался Хулио.

— Насчет того, кто попадет на чемпионат? — Джордж каблуком мокасына раздавил окурок. — «Уайт Сокс». Мы с ребятами поставили на них, я в доле.

— Что ты думаешь про эту дамочку?

— Я думаю, что она, может быть, шизофреничка, — медленно проговорил Джордж.

— Да знаю. Я про другое: что с ней будет?

— Не знаю.

— Ее надо выручать, старик. Кто поможет?

— Ну, я-то уже помог, — отозвался Джордж, однако лицо у него горело, словно к щекам прихлынула краска стыда.

Хулио поглядел на него.

— Раз ты больше ничем не можешь ей помочь, дай ей помереть, док.

Джордж посмотрел на Хулио, но мгновение спустя сделал открытие: он не в силах вынести то, что видит в глазах кубинца. Не обвинение, нет. Печаль.

И он ушел.

Ему было куда пойти.

Пора Извлечения:

Со времени несчастного случая ситуацией преимущественно владела по-прежнему Одетта Холмс, однако на первый план все чаще и чаще выступала Детта Уокер, а больше всего на свете Детте нравилось воровать. То, что трофеи всякий раз оказывались сущим хламом, значения не имело — так же, как и то, что погода Детта частенько выбрасывала свою добычу.

Важен был сам процесс.

Когда в суперсаре «Мэйси» в ее сознание вторгся стрелок, Детта издала пронзительный вопль ярости, ужаса и испуга, а ее руки примерзли к дешевым поддельным драгоценностям, которые она горстями пихала в сумочку.

Кричала Детта оттого, что когда Роланд проник в ее сознание, выступил вперед, она на миг почувствовала другую, точно у нее в голове распахнулась некая дверца.

И пронзительно закричала: непрошенный гость, чужак, насилующий ее своим присутствием, был белым.

Видеть его она не могла, и тем не менее чувствовала: пришелец — белый.

Люди оглядывались. Дежурный по этажу увидел вопящую женщину в инвалидном кресле; раскрытую сумочку; увидел руку, которая замерла, не закончив набивать ее дешевой бижутерией, хотя сумка

(даже с расстояния в тридцать футов) выглядела в три раза дороже похищаемой ерунды.

Дежурный по этажу гаркнул: «Эй Джимми!». Джимми Хэлворсен, один из штатных детективов универмага «Мэйси», огляделся, заметил, что происходит, и опрометью кинулся к негритянке в инвалидной коляске. Не бежать Джимми не мог — он восемнадцать лет отработал в городской полиции, и привычка бросаться к месту происшествия бегом давно была встроена в его систему, — но уже думал, что дело швах. Всякий раз выходило, что брать пацанье, калек, монашек — только попусту говнять. Все равно что спорить с пьяным. Всплакнув перед судьей, эта публика преспокойно удалялась. Убедить суд, что и калека может быть мразью, было тяжело.

И все-таки Джимми бежал.

6

Роланд на миг ужаснулся той змеиной яме ненависти и отвращения, в какой очутился... а затем услышал истошный крик женщины, увидел здоровяка (живот у него был, как мешок с картошкой), бежавшего к ней\к нему, увидел, что на них смотрят, и взял ситуацию в свои руки.

Внезапно он и эта женщина с очень смуглыми пальцами стали *одним*; Роланд ощутил странную душевную раздвоенность, но пока не имел возможности задуматься над этим.

Развернув кресло, он принялся толкать его вперед. Замелькали, убегая назад, полки. Люди отскакивали в стороны. Детта упустила сумочку; оттуда, оставляя на полу широкий след, хлынули украденные сокровища, посыпались документы. Заскользив на цепочках поддельного золота и футлярчиках с губной помадой, толстопузый с размаху сел на пол.

7

«Вот говно!» — в бешенстве подумал Хэлворсен, и его рука на миг зарылась под спортивную куртку, где в кобуре лежал пистолет тридцать восьмого калибра. Затем к Джимми вновь вернулась способность мыслить здраво. Он брал не торговца наркотиками, не вооруженного грабителя, а увечную черномазую дамочку в инвалидном кресле. Она катила так, точно в магазине шли какие-то хулиганские гонки, и все равно оставалась черномазой увечной бабой, не больше. Что тут будешь делать, стрелять? То-то был бы класс! И кстати, куда это она навестрилась? Проход заканчивался тупиком, двумя примерочными.

Джимми с трудом поднялся, потирая ноющий зад, и, слегка прихрамывая, продолжил погоню.

Инвалидное кресло пулей влетело в примерочную. Дверь захлопнулась, едва пропустив за порог рукоятки, приделанные сзади к спинке кресла.

«Тут ты и попалась, стерва, — подумал Джимми. — Ну нагоню же я на тебя страху, мало не покажется. Пусть у тебя дети-сироты, пусть жить тебе осталось всего год — насрать. Обижать — не обижу, но встрясочку, детуля, я тебе устрою».

Обогнав дежурного по этажу, Хэлворсен первым подскочил к примерочной, с грохотом вышиб дверь плечом — и оказалось, что там пусто.

Ни негритянки.

Ни инвалидной коляски.

Вообще ничего.

Джимми вылупил глаза на дежурного.

— В другой! — завопил тот. — В другой!

Не успел Джимми двинуться с места, как дежурный высадил дверь второй примерочной. Раздался пронзительный визг, и какая-то женщина в нижней юбке и лифчике прикрыла грудь скрещенными руками. Очень белая и совершенно определенно не увечная женщина.

— Извиняюсь, — выговорил дежурный, чувствуя, как лицо заливает жаркий багрянец.

— *Пошел вон, извращенец!* — крикнула женщина в лифчике и нижней юбке.

— Да, мэм, — сказал дежурный по этажу и закрыл дверь.

В «Мэйси» покупатель был всегда прав.

Дежурный по этажу посмотрел на Хэлворсена.

Хэлворсен посмотрел на него.

— Что за черт? — спросил Хэлворсен. — Она туда заехала или нет?

— Заехала.

— Ну, так где она?

Дежурный только головой помотал.

— Пошли обратно, ликвидируем бардак.

— Прибирайся *сам*, — ответил Джимми Хэлворсен. — А мне кажется, будто я только что разгрохал жопу на девять кусков. — Он умолк. — По правде говоря, мил-человек, я к тому же крайне сконфужен.

8

Едва стрелок услышал, как дверь примерочной громко захлопнулась за ним, он в тот же миг развернул инвалидное кресло в тесной кабине на пол-оборота, отыскивая дорогу. Если Эдди выполнил свою угрозу, выход должен исчезнуть.

Но дверь была открыта. Вращая колеса инвалидного кресла, Роланд провез в нее Владычицу Теней.

Глава третья

ОДЕТТА НА ДРУГОЙ СТОРОНЕ

1

Пройдет совсем немного времени, и Роланд будет думать: «Любая другая женщина, калека или нет, которую внезапно в толчки погонит по проходу торгового центра, где она занималась своим делом (бессмысленным, если угодно), чужак, окопавшийся у нее в голове; погонит и под раздающиеся за спиной чьи-то надсадные крики «Стой!» впахнет в тесную комнатуху, затем вдруг развернет и примется заталкивать туда, куда по законам реальности затолкать что бы то ни было совершенно невозможно — нет места, — после чего выяснится, что она неожиданно очутилась в целиком и полностью ином мире... по-моему, в подобных обстоятельствах любая другая женщина, безусловно, прежде всего спросит: «Где я?»

Вместо этого Одетта Холмс почти весело поинтересовалась:

— Что, собственно говоря, вы намерены делать с этим ножом, молодой человек?

2

Роланд поднял взгляд на Эдди: юноша сидел на корточках, держа клинок меньше чем в четверти дюйма от его шеи. Решив Эдди воспользоваться ножом, стрелок даже при своем сверхъестественном проворстве никак не сумел бы увернуться достаточно быстро.

— Да, — сказал Роланд. — *Что* ты собираешься делать?

— Не знаю, — ответил Эдди полным отвращения к себе голосом. — Наверно, отхватить кусманчик для наживки. Ясное дело, не похоже, чтобы я явился сюда рыбачить. Или нет?

Он швырнул нож в сторону коляски Владычицы, взяв, однако, много правее. Нож по рукоятку воткнулся в песок и задрожал.

Тогда Владычица повернула голову и начала:

— Хотелось бы знать, не соизволите ли вы объяснить, куда меня завез...

И умолкла. Она сказала *«хотелось бы знать, не соизволите ли вы»* до того, как повернула голову настолько, чтобы увидеть — позади никого нет. Стрелок с определенной долей неподдельного интереса отметил: Владычица Теней умолкла не сразу — факт ее болезненного состояния превращал определенные вещи в элементарные жизненные истины. Например, если она откуда-то куда-то переместилась, кто-то должен был это сделать. Но позади никого не было.

Ни живой души.

Она опять посмотрела на Эдди и на стрелка — тревожными, смущенными, смятенными темными глазами — и тогда уже спросила:

— Где я? Кто меня вез? Как вышло, что я здесь? И, уж если на то пошло, как вышло, что я одета, коль скоро я сидела дома в халате и смотрела ночные двенадцатичасовые новости? Кто я? Где? Кто вы такие?

«Она спрашивает «кто я?» — подумал стрелок. — Дамба прорвана, вопросы хлынули потоком; этого следовало ожидать. Но этот вот вопрос — «кто я?»... даже сейчас она, по-моему, не знает, что задала его.

И когда она его задала».

Ибо она задала свой вопрос *до*.

До того, как поинтересоваться, кто такие *они*, эта женщина спросила, кто *она*.

3

Эдди перевел взгляд с прелестного юного\старого лица негритянки, сидевшей в инвалидном кресле, на Роланда.

— Это как же так, она не знает?

— Не могу сказать. Должно быть, шок.

— И шок откинул ее обратно аж в гостиную, где она сидела до того, как отправиться в «Мэйси»? Ты уверяешь меня, будто последнее, что она помнит, — это как сидела в халате и слушала треп какого-то прилизанного хлыща про то, что во Флорида-Киз нашли того конченного типа, который взгромоздил на стену рядом с лично добытым ценным марлинем левую кисть Кристи Мак-Олифф?

Роланд не ответил.

Оторопев еще сильнее, Владычица сказала:

— Кто такая Криста Мак-Олифф? Одна из пропавших без вести участников «Рейдов свободы»¹?

Теперь настала очередь Эдди не отвечать. Участники «Рейдов свободы»? *Это-то*, черт возьми, кто такие?

Стрелок коротко взглянул на него, и Эдди без особого труда смог прочесть в его глазах: «Она в шоке, ты что, не видишь?»

¹ «Рейды свободы» осуществлялись в рамках движения за права человека; целью этих рейдов было выявление дискриминации по отношению к цветному населению в общественном транспорте.

«Роланд, старина, я понимаю, о чем ты, но шок отшибает мозги только до определенной степени. Когда ты вломился ко мне в башку, точно Уолтер Пэйтон под «крэком», я и сам испытал легкое потрясение, но мои банки памяти оно не стерло».

Кстати о шоке, еще одну изрядную встряску Эдди получил, когда Владычица Теней проезжала в дверь между мирами. Он стоял на коленях над безвольным телом Роланда, и нож уже почти касался уязвимой кожи горла... Впрочем, сказать по правде, воспользоваться им Эдди все равно бы не сумел, во всяком случае, в тот момент: загипнотизированный, он не сводил глаз с дверного проема — там, в универмаге «Мэйси», полки по обе стороны прохода стремительно помчались вперед. Это опять напомнило Эдди «Сияние», где зритель видел то же, что и маленький мальчик, который ехал на трехколесном велосипеде по коридорам населенного призраками отеля. Он вспомнил, как в одном из коридоров мальчуган увидел страшную парочку — мертвых двойняшек. Проход, на который Эдди смотрел сейчас, заканчивался куда более по-земному — белой дверью. На ней скромными печатными буквами было написано: «Просим брать для примерки не больше двух вещей одновременно». Да, это, несомненно, был универмаг «Мэйси». Точно, «Мэйси».

Метнувшаяся вперед черная рука распахнула дверь. Позади мужской голос (голос фараона, если Эдди хоть раз слышал, как орут менты... а в свое время он их переслушал немало) надрывался: «брось, там нет выхода, только хуже будет, напрочь все себе изгадишь»; слева, в зеркале, Эдди мельком увидел негритянку в инвалидном кресле и, как ему потом вспоминалось, подумал: «Господи Иисусе, он ее догнал, факт, вот только вид у нее по этому случаю не больно-то радостный».

Тут все завертелось, помчалось по кругу, и в следующую секунду оказалось, что Эдди смотрит на себя самого. Открывшаяся взору Эдди картина стремительно помчалась на него, и молодому человеку захотелось вскинуть руку с ножом, закрыться — ощущение, что он смотрит двумя парами глаз, внезапно сделалось непереносимым, бредовым, чересчур противоречащим здравому смыслу, и, не загордись Эдди, непременно свело бы его с ума — но все происходило слишком быстро, чтобы что-то успеть.

Инвалидное кресло проехало в дверь. Оно прошло впритык; Эдди услышал, как пронзительно скрипнули о косяки ступицы. В тот же миг он услышал еще один звук, густой, чмокающий, точно что-то рвалось; звук этот вызвал в памяти какое-то слово

(плацентарный),

которое Эдди не вполне мог припомнить, поскольку не знал, что знает его. Потом женщина покатила по плотно слежавшемуся песку в его сторону. Она уже не казалась злой, как черт, — честно говоря, она вообще мало походила на ту бабу, которую Эдди мельком увидел в зеркале, но он полагал, что *это* неудивительно: когда ни с того, ни

с сего выезжаешь из примерочной «Мэйси» на берег моря в каком-то Богом забытом захолустье, где попадают омары величиной с маленькую колли, то слегка захватывает дух. Это, сознавал Эдди Дийн, он может лично засвидетельствовать.

Проехав около четырех футов (впрочем, и это расстояние она одолела лишь благодаря уклону и плотному шершавому песку), женщина остановилась. Руки, должно быть, работавшие рычагами, приводившими в движение колеса, выпустили их («Когда завтра утром вы проснетесь с болью в плечах, можете возложить вину на сэра Роланда, мадам», — утрюмо подумал Эдди) и взамен крепко стиснули подлокотники: женщина внимательно разглядывала мужчин.

Дверной проем за ее спиной уже исчез. Исчез? Это было не вполне верно. Дверь словно бы *свернулась, сложилась гармошкой*, как на пущенной задом наперед пленке. Это началось в тот миг, когда магазинный шпик с грохотом вломился в другую, более земную дверь — ту, что отделяла примерочную от торгового зала. Полагая, что воровка запрется, детектив разогнался сильнее, чем следовало, и Эдди подумал, что, пролетев через кабинку, малый здорово звезданется о дальнюю стену, но увидеть, произойдет это или нет, юноше было не суждено. Перед тем как ужимающееся пространство на месте двери между мирами окончательно исчезло, Эдди увидел, что на той стороне все застыло без движения.

Фильм превратился в неподвижный фотоснимок.

Остался только двойной след инвалидной коляски. Он начинался из песчаного ниоткуда и через четыре фута обрывался там, где сейчас стояло кресло со своей пассажиркой.

— Может, кто-нибудь объяснит мне, где я и как сюда попала? Пожалуйста, — попросила (почти взмолилась) женщина в инвалидном кресле.

— Я тебе одно скажу, Элли, — отозвался Эдди. — Ты больше не в Канзасе.

Глаза женщины наполнились слезами. Эдди видел, что она старается сдержаться, но ее усилия не увенчались успехом, и она расплакалась.

Охваченный яростью (а также отвращением к себе), Эдди накинулся на стрелка, который уже успел, пошатываясь, подняться на ноги и теперь пошел, но не к всхлипывающей Владычице. Вместо этого Роланд отправился за ножом.

— Объясни ей! — заорал Эдди. — Ты притащил ее сюда, *ну так валяй, объясни ей, в чем дело!* — И через секунду, сбавив тон, добавил: — А потом объясни мне, как получается, что она не помнит себя.

4

Роланд не ответил. Не сразу. Он нагнулся, зажал рукоятку ножа между двумя уцелевшими пальцами правой руки, осторожно перенес в левую руку и сунул в ножны, висевшие сбоку на ремне. Он все еще

пытался разрешить загадку, с которой столкнулся в сознании Владычицы. В отличие от Эдди Владычица Теней отбивалась, дралась как кошка, начав отчаянное сопротивление в ту минуту, когда Роланд *выступил вперед*, и прекратив его уже за порогом магической двери. Схватка началась сразу, как женщина почувствовала присутствие стрелка, незамедлительно, ведь она ничуть не удивилась. Пережив это вместе с ней, испытав лично, Роланд ничего не понимал. Вторгшийся в сознание этой женщины чужак не застал ее врасплох — ни капли удивления, лишь мгновенно вспыхнувшая ярость, ужас и с ходу начатая битва: стряхнуть, вырваться, освободиться от чужака. Она даже не приблизилась к победе — не могла, как подозревал Роланд, — но это не удержало ее от неистовых попыток одержать верх. Стрелок почувствовал: от злобы, ненависти и страха эта женщина обезумела.

В ней он ощущал только тьму — сознание, погребенное под обвалом.

Вот только...

Вот только в ту минуту, когда они вихрем промчались в дверной проем и разделились, он пожалел — *отчаянно, безрассудно* пожалел, — что не может замешкаться еще на мгновение. Одно мгновение столько могло бы объяснить! Ведь женщина, сидевшая сейчас перед ним, не была той, в чьем сознании побывал Роланд. Находиться в сознании Эдди было все равно, что находиться в комнате с нервно трепещущими, потеющими стенами. Находиться в сознании Владычицы — все равно, что лежать нагишом в темноте, где по тебе ползают ядовитые змеи.

До последнего момента.

Под конец она переменилась.

Было что-то еще, по убеждению Роланда, жизненно важное — но он не мог не то понять, не то вспомнить, что именно. Что-то вроде *(беглый взгляд)*

дверного проема, только в ее сознании. Какое-то

(ты разбила «напамять» это была ты)

внезапное, короткое озарение. Как на занятиях, когда наконец поймешь...

— Иди ты на х**, — с отвращением проговорил Эдди. — Робот ты гадский, и больше никто.

Он решительно прошел мимо Роланда к женщине, опустился рядом с ней на колени и, когда она, точно утопающая, в панике крепко обхватила его обеими руками, не отстранился и сам обнял ее.

— Все путем, — сказал он. — То есть не то, чтоб высший класс, но ничего. Порядок.

— Где мы? — всхлипывала она. — Я сидела дома и смотрела телевизор, чтобы узнать, выбрались ли мои друзья из Оксфорда живыми, а теперь я здесь И ДАЖЕ НЕ ЗНАЮ, ГДЕ ЭТО — ЗДЕСЬ!

— Ну и я не знаю, — сказал Эдди, обнимая ее покрепче и начиная легонько баюкать, — но догадываюсь, что мы товарищи по несчастью.

Я тоже из ваших краев, из старичка Нью-Йорка, и пережил то же самое... ну чуть по-другому, но принцип тот же... с вами все будет отлично. — Словно поразмыслив, он прибавил: — До тех пор, пока омары будут вам по вкусу.

Она с плачем прильнула к Эдди. Тот держал ее в объятиях, укачивая, и Роланд подумал: «Теперь с Эдди все будет в порядке. Его брат погиб, но теперь у парня есть о ком заботиться, так что с ним все будет в порядке».

Тем не менее стрелок почувствовал угрызения совести, постыдную и недостойную боль в сердце: он был способен стрелять (пусть левой рукой), убивать, упорно идти вперед, в поисках Башни жестоко и беспощадно проламываясь сквозь годы и расстояния — даже, кажется, измещения. Он умел выжить, порой даже защитить — спас же он мальчика Джейка от медленной смерти на постоялом дворе и от домогательств прорицательницы, обитающей у подножия гор... Впрочем, в конце концов он позволил Джейку умереть. И не случайно, нет. Роланд совершил тогда сознательный акт отречения. Сейчас он смотрел на своих спутников. Обняв женщину, Эдди уверял ее, что все обойдется. Он сам так не смог бы, и к наполнявшему сердце стрелка раскаянию присоединился тайный страх.

«Если за Башню ты отдал свою душу, Роланд, ты уже проиграл. Бессердечное создание не знает любви, тварь же, коей любовь неведома, — зверь. Возможно, быть зверем — вещь терпимая (хотя человек, ставший зверем, в конце концов непременно платит, и очень дорого), но что, если ты достигнешь своей цели? Что, если ты, бессердечный, в самом деле пойдешь на штурм Башни и одержишь победу? И, коль в сердце твоём лишь тьма, что ждет тебя? Только одно: зверь выродится в чудовище. Какая злая насмешка — добиться своего, будучи зверем; все равно, что подарить увеличительное стекло элфанту. Но добиться цели, сделавшись чудовищем...

Заплатить цену ада — это одно. Но хочешь ли ты владеть им?»

Он подумал об Элли; о девушке, что когда-то ждала его у окна; о слезах, пролитых им над безжизненным трупом Катберта. О, тогда он любил. Да. Тогда.

— Я хочу любить, хочу! — умоляюще воскликнул он, но, хотя теперь вместе с женщиной в инвалидном кресле плакал и Эдди, глаза стрелка остались сухими, как пустыня, которую он пересек, стремясь достичь этого бессолнечного моря.

5

На вопрос Эдди Роланд собирался ответить позже. Это он собирался сделать исходя из тех соображений, что осторожность Эдди не помешает. Провалы в памяти Владычицы Теней объяснялись просто: в ней одновременно обитали две разные женщины.

И одна из них была опасна.

Эдди рассказал женщине, что сумел, умолчав о перестрелке, но честно изложив все прочее.

Когда он закончил, она некоторое время сидела совершенно тихо и неподвижно, сложив руки на коленях.

С гор, которые постепенно теряли крутизну и несколькими милями восточнее мало-помалу сходили на нет, бежали маленькие ручейки. Из них и брали воду Роланд с Эдди, пока шли на север. Поначалу Роланд был слишком слаб, и по воду ходил Эдди, но время шло, и вот уже в походы за водой мужчины стали отправляться по очереди. Чтобы найти ручей, всякий раз приходилось забредать все дальше и искать все дольше. Чем сильнее оседали горы, тем ленивее журчали эти крохотные потоки, но здоровью путников вода не вредила.

Пока что.

Накануне по воду ходил Роланд. Таким образом выходило, что сегодня очередь Эдди. Однако стрелок снова взвалил на плечи бурдюки и без единого слова удалился к ручью. Эдди счел это проявлением странной тактичности и, вопреки желанию остаться равнодушным к этому жесту (и, честно говоря, ко всему, что касалось Роланда), обнаружил, что все-таки слегка растроган.

Женщина слушала Эдди внимательно, не перебивая, неотрывно глядя ему в глаза. В какой-то момент Эдди сказал бы, что она на пять лет старше его, в другой — что ей не больше пятнадцати. Только в одном можно было не сомневаться: он влюблялся в нее.

Когда Эдди завершил свой рассказ, женщина на миг молча замерла в кресле, глядя уже не на молодого человека, а мимо, в волны, которые должны были с заходом солнца принести омаров с их непонятными крючкотворскими вопросами. *Омаров* Эдди описал особенно тщательно. Ей было лучше слегка испугаться сейчас, чем сильно — когда эти твари выберутся на берег порезвиться. Он думал, что, услышав, как обитатели моря обошлись с рукой и ногой Роланда, и хорошенько приглядевшись к ним, женщина не захочет их есть. Хотя в конце концов голод переборет *дид-э-чик* и *дам-э-чам*.

Глаза женщины были холодными и далекими.

— Одетта? — окликнул он минут пять спустя. Она уже представилась ему. Одетта Холмс. Эдди счел имя великолепным.

Выведенная из задумчивости молодая женщина снова посмотрела на него. Чуть улыбнулась. И произнесла одно-единственное слово:

— Нет.

Эдди не в состоянии придумать подходящий ответ лишь поглядел на нее, думая, что до этой минуты не понимал, каким беспредельным может быть простое отрицание.

— Не понял, — наконец произнес он. — На что это вы неткаете?

— На все на это. — Одетта повела рукой (Эдди заметил, какие сильные у нее руки — холеные, гладкие, но очень сильные), захватив

море, небо, прибрежный песок, грязные холмы предгорья, где стрелок в эту минуту, вероятно, искал воду (или, может быть, был съедан каким-нибудь неизвестным чудовищем — положила руку на сердце, Эдди не хотелось задумываться об этом). Короче, обозначив весь мир.

— Я понимаю, каково вам. Поначалу я и сам до бесконечности сомневался во вразумительности всего этого. — Но *так* ли это было? Если вспомнить, Эдди, кажется, просто смирился и принял все как неизбежное, — возможно, из-за слабости, дурноты и раздражавшей его острой потребности в марафете. — Это пройдет.

— Нет, — снова сказала она. — По-моему, произошло одно из двух, и неважно, что именно, но я по-прежнему в Оксфорде, штат Миссисипи. А это все не настоящее.

И она продолжала (будь ее голос громче, или, быть может, если бы Эдди не затягивало в любовный омут, получилась бы чуть ли не нотация. Но в сложившихся обстоятельствах слова Одетты больше напоминали не выговор, а лирические стихи, и Эдди был вынужден постоянно напоминать себе: «Только вот на самом деле все это — чушь собачья, и ты должен убедить ее в этом. Ради нее самой».)

— Возможно, я получила травму головы, — сказала она. — Жители Оксфорд-Тауна печально известны тем, что любят помахать дубинкой или колуном.

Оксфорд-Таун.

Это название вызвало в далеких глубинах сознания Эдди неясный всплеск узнавания. Одетта произнесла его чуть напевно, что по непонятной причине ассоциировалось у него с Генри... с Генри и мокрыми пеленками. Почему? Как? Сейчас это не имело значения.

— Вы пытаетесь объяснить, что, по-вашему, все это — сон, который снится вам, пока вы лежите в обмороке?

— Или в коме, — откликнулась она. — И не нужно смотреть на меня так, словно вы считаете это абсурдом, поскольку ничего абсурдного тут нет. Вот, взгляните.

Она аккуратно раздвинула волосы повыше левого виска, и Эдди увидел: Одетта зачесывает их набок не просто из любви к такому стилю. Под водопадом волос открылась старая рана, уродливая, покрытая рубцами — не бурыми, а серовато-белыми.

— Кажется, в вашем времени жизнь порядком вас побила, — сказал он.

Одетта нетерпеливо пожала плечами.

— Порядком побила, порядком и обласкала, — сказала она. — Может быть, все уравнивается. Я показала вам это только потому, что в возрасте пяти лет три недели провела в коме. Тогда я много грезил. О чем, вспомнить не могу, но мама, помнится, говорила, что было понятно: пока я продолжаю болтать, я не умру. А болтала я, похоже, непрерывно, хотя, рассказывала мама, из дюжины

слов и одного было не разобрать. Я *помню* другое: мои видения были очень яркими..

Одетта примолкла, оглядываясь.

— Такими же, каким кажется это место. И *вы*, Эдди.

Когда Одетта произнесла его имя, по рукам Эдди побежали колкие мурашки. Да, да, он подхватил любовный недуг. Притом в тяжелой форме.

— И *он*. — Она вздрогнула. — *Он* кажется мне здесь самым ярким.

— Так и должно быть. Я хочу сказать: неважно, что вы думаете — мы *правда* настоящие.

Она одарила Эдди вежливой улыбкой, в которой не было ни капли веры.

— Откуда у вас та штука на голове? — спросил он.

— Какая разница? Я просто хочу подчеркнуть, что случившееся однажды с тем же успехом может произойти снова.

— Нет, просто любопытно.

— В меня угодил кирпич. Это была наша первая поездка на север. Мы приехали в небольшой городок Элизабет — это в штате Нью-Джерси. Приехали в вагоне для «Джима Кроу».

— Это еще что такое?

Одетта наградила его недоверчивым, почти презрительным взглядом.

— Где вы жили до сих пор, Эдди? В бомбоубежище?

— Я из другого времени, — сказал он. — Можно спросить, сколько вам лет, Одетта?

— Достаточно, чтобы участвовать в выборах, и недостаточно, чтобы мной интересовалась служба социального обеспечения.

— Надо понимать, меня поставили на место.

— Впрочем, надеюсь, что мягко, — сказала она и улыбнулась той сияющей, лучезарной улыбкой, от которой руки Эдди покрывались гусиной кожей.

— Мне-то двадцать три, — сказал он, — но я родился в шестьдесят четвертом — в том году, из которого Роланд забрал вас.

— Взор.

— Нет. Когда он забрал *меня*, я жил в восемьдесят седьмом.

— Ну хорошо, — секундой позже сказала Одетта, — это, конечно, очень упрочивает ваши доводы в пользу реальности окружающего, Эдди.

— Вагон для «Джима Кроу»... там должны были ездить чернокожие?

— *Негры*, — поправила она. — Называть негра чернокожим довольно грубо, вам не кажется?

— Примерно к восьмидесятому году вы все станете себя так называть, — сказал Эдди. — Когда я был пацаном, назвать черного парня негром было все равно, что ввязаться в драку. Ну, как черножопым обозвать.

Одетта с минуту неуверенно смотрела на него, потом опять покачала головой.

— Тогда расскажите мне про кирпич.

— Выходила замуж мамина младшая сестра, София, — начала она. — Правда, ма всегда звала ее Сестрица Синька — очень уж та любила синее. Или, как выражалась мама, по крайней мере «воображала, будто любит». Поэтому я всегда, даже до того, как мы познакомились, звала ее Тетей Синькой. Венчание было просто прелесть, а после устроили вечеринку. Я помню все подарки! — Она рассмеялась. — В детстве подарки всегда кажутся такими чудесными, правда, Эдди?

Он улыбнулся.

— Ага, это вы верно подметили. Подарки всегда помнишь, что свои, что чужие.

— В то время мой отец уже начал хорошо зарабатывать, но я знала только, что мы *преуспеваем*. Так это всегда называла мама. Однажды я рассказала ей, что девочка, с которой я играла, спросила, богатый ли у меня папа. Мать объяснила: если кто-нибудь из моих приятелей когда-нибудь снова задаст мне этот вопрос следует отвечать именно так: мы *преуспеваем*. Поэтому родители смогли подарить Тете Синьке прекрасный фарфоровый сервиз. Помню...

Голос Одетты дрогнул. Рука поднялась к виску и рассеянно потерла его, словно там зарождалась головная боль.

— Что помните, Одетта?

— Помню, мама подарила ей *напамять*.

— Что?

— Простите, у меня разболелась голова. От этого язык заплетается. И вообще не пойму, зачем я все это вам рассказываю.

— Вам неприятно?

— Нет. Мне все равно. Я *хотела сказать*, что мама подарила ей особую тарелочку. Белую, с выющимся по краю нежным синим узором. — Одетта едва заметно улыбнулась. Эдди подумал, что улыбка не совсем спокойная. Воспоминание о тарелке *напамять* чем-то тревожило Одетту, и то, что близость, реальность — злободневность — этого воспоминания словно бы затмили ту крайне странную ситуацию, в которой очутилась Одетта, ситуацию, которая заслуживала если не полного, то преимущественного ее внимания, обеспокоило юношу. — Я вижу эту тарелочку так же ясно, как сейчас вижу вас, Эдди. Мать вручила ее Тете Синьке, а та расплакалась и никак не могла успокоиться. По-моему, похожую тарелочку тетя уже видела, правда, давно, когда они с мамой были маленькими, и, разумеется, их родители не могли позволить себе купить такую вещь. Ни ей, ни тете в детстве ничего *напамять* не дарили. После вечеринки Тетя Синька с мужем на медовый месяц отправились в Грейт-Смоукиз. Они поехали поездом.

— В вагоне «Джима Кроу», — сказал он.

— Правильно! В вагоне «Джима Кроу»! Вот где в те дни ездили и ели негры. Вот что мы пытаемся изменить в Оксфорд-Тауне.

Она глядела на Эдди, почти наверняка ожидая настойчивых уверений в том, что она *здесь*, но Эдди снова попался в паутину собственных воспоминаний: мокрые пеленки и эти два слова: Оксфорд-Таун. Но внезапно пришли другие слова, одна-единственная строчка, и все-таки он сумел вспомнить: ее, повторяя снова и снова, напевал Генри; напевал, пока мать не сказала: будь любезен, замолчи, дай послушать Уолтера Кронкайта.

...Ах, лучше б расследовать дело скорей... Вот какие это были слова. Их монотонно, в нос, напевал Генри. Эдди попытался вспомнить еще что-нибудь, но не сумел. Собственно, удивляться было нечему — тогда ему не могло быть больше трех лет. *Ах, лучше б расследовать дело скорей.* От этих слов Эдди пробрал озноб.

— Эдди, с вами все в порядке?

— Да. А что?

— Вы задрожали.

Он улыбнулся.

— Ну, значит, по моей могилке гуляет Дональд Дак¹.

Одетта засмеялась.

— Ну, как бы там ни было, свадьбу я, по крайней мере, не испортила. Неприятность произошла, когда мы пешком возвращались на станцию. Мы переночевали у подружки Тети Синьки, а утром отец вызвал такси. Такси приехало почти сразу, но когда шофер увидел, что мы — цветные, то укатил, да так быстро, точно у него полыхала голова и уже занималось мягкое место. Подруга Тети Синьки еще раньше ушла на вокзал с нашим багажом — багажа была уйма, ведь мы собирались провести неделю в Нью-Йорке. Помню, отец сказал, что ждет — не дожидется, чтобы увидеть, как засияет моя мордашка, когда в Центральном парке пробьют часы и зверюшки затанцуют. До станции, сказал он, спокойно можно дойти пешком. Мать мигом согласилась: отличная мысль, тут не больше мили; будет очень приятно размять ноги после того, как мы уже просидели три дня в одном поезде и еще полдня просидим в другом. Отец отозвался — да, к тому же погода великолепная... но, кажется, я и в пять лет понимала: отец в бешенстве, они с мамой боятся вызвать другое такси, поскольку опять может произойти то же самое.

И мы зашагали по улице. Я шла у внутреннего края тротуара (мама опасалась, как бы мне не оказаться слишком близко к потоку машин) и, помнится, гадала, что имел в виду папа — неужели, когда я увижу те часы в Центральном парке, лицо у меня вправду *засветится*, и не больно ли это будет. Вот тут-то мне на голову и

¹ Внезапно вздрогнув, англичане и американцы говорят: «по моей могиле прошел гусь». Дак (duck), англ. — утка.

свалился кирпич. На какое-то время все окуталось тьмой. Потом начались сны. Яркие, живые сны.

Одетта улынулась.

— Как *этот*, Эдди.

— Кирпич упал сам или кто-то его сбросил?

— Никого так и не нашли. Полиция (мама рассказала мне об этом намного позднее, мне уже было лет шестнадцать) отыскала место, откуда, по их мнению, взялся этот кирпич — но он оказался не единственным, которого там не хватало, а еще больше было сидящих неплотно, кое-как. Под самым окном пятого этажа в многоквартирном доме. Дом предназначался к сносу, но, конечно, служил пристанищем куче народа. Особенно по ночам.

— Ясное дело, — сказал Эдди.

— Никто не видел, чтобы кто-то выходил из здания, и дело пошло по разряду несчастных случаев. Мать говорила, что думает, будто это и *есть* несчастный случай, но, по-моему, она кривила душой. Она даже не потрудилась попробовать объяснить мне, что думал отец. Оба они еще очень переживали из-за того, как таксист укатил, едва поглядев на нас. Это больше, чем что-либо другое, убедило их, что наверху кто-то был. Он просто выглянул в окно, увидел, как мы подходим, и решил скинуть на черномазых кирпич. Скоро появятся ваши омарообразные?

— Нет, — сказал Эдди. — До темноты — нет. Выходит, первое ваше соображение — что все это коматозный сон типа тех, какие были, когда вас шарахнуло кирпичом. Только вместо кирпича на этот раз было что-то вроде полицейской дубинки.

— Да.

— А другое?

Лицо и голос Одетты были довольно спокойными, голова же полна отталкивающих, безобразных картин; они стаей диких гусей пронеслись перед ее мысленным взором и все представляли собой одно: Оксфорд-Таун, Оксфорд-Таун. Как там было в песенке? *Двоих под луной уколошил злодей; Ах, лучше б расследовать дело скорей*. Не совсем точно, но близко к тексту. Близко.

— Я могла сойти с ума, — сказала она.

7

Первым, что пришло Эдди в голову, было: *Одетта, если вы думаете, что сошли с ума, вы рехнулись*.

Однако по кратком размышлении молодому человеку показалось, что такая линия аргументации невыгодна.

Поэтому Эдди не стал ничего говорить и некоторое время молча сидел подле инвалидного кресла Одетты: колени подтянуты к груди, пальцы обхватили запястья.

— Вы действительно не могли жить без героина?

— И не могу, — отозвался Эдди. — Это все равно, что быть алкоголиком или баловаться крэком. Не та штука, с которой можно когда-нибудь завязать. Знаете, бывало, слышишь это, а в голове — «ну да-да-да, конечно». Но теперь я понял. Меня еще тянет к нему, — наверное, какая-то частица во мне будет *всегда* тянуться к героину, но физиологическая часть позади.

— Что такое «крэк»? — спросила Одетта.

— В вашем «когда» это еще не придумали. За основу берется кокаин. Правда, это все равно, что превращать тротил в атомную бомбу.

— Вы так делали?

— Господи Иисусе, нет. Мой профиль — героин. Я ведь уже рассказывал.

— Вы не похожи на наркомана, — заметила Одетта.

Эдди и в самом деле чувствовал себя великолепно — если оставить без внимания предательский запах, поднимавшийся от его тела и одежды (молодой человек получил возможность ополоснуться — и ополоснулся, простирнуть одежду — и простирнул, но без мыла ни одно, ни другое нельзя было сделать как следует). Волосы юноши (когда в его жизнь ступил Роланд, они были короткими — «так лучше проходить таможенно, голуба»... ну и классной же хохмой *это* обернулось!) пока еще сохраняли сносную длину. Каждое утро он брился острым лезвием ножа Роланда, поначалу робко, но все более смело. Когда Генри отправлялся во Вьетнам, Эдди был слишком юн, чтобы бритье составляло часть его жизни, — впрочем, тогда оно и Генри обременяло не Бог весть как; бороду брат так и не отрастил, но иногда проходило дня три-четыре, прежде чем ворчанье ма заставляло его «скосить жнивье». Однако вернувшись, Генри оказался просто помешанным на бритье (так же ревностно он относился к нескольким другим вещам: припудриванью ног присыпкой после душа, чистке зубов по три-четыре раза на дню с последующим полосканием рта, к непременному аккуратному складыванью одежды). Таким же фанатиком он сделал и Эдди. Щетина выкашивалась каждое утро и каждый вечер, и теперь эта привычка глубоко сидела в Дийне-младшем вместе со всем прочим, чему он научился у Генри. Включая, разумеется, и то, для чего требовалась игла.

— Чересчур чистенький? — усмехаясь, спросил молодой человек.

— Чересчур беленький, — коротко ответила она, после чего на мгновение умолкла, сурово глядя на море. Эдди тоже молчал. Если и можно было как-нибудь остроумно возразить, он не знал, как.

— Простите, — сказала Одетта. — Это было очень зло, очень несправедливо и очень на меня непохоже.

— Да ладно.

— Нет. Это все равно, как если бы белый сказал человеку с очень светлой кожей что-нибудь вроде «Матерь божья, никогда б не догадался, что ты черномазый».

— Вам нравится думать, что вы более справедливы, — сказал Эдди.

— Я бы сказала: то, что нам нравится думать о себе, и то, каковы мы на самом деле, редко совпадает. Впрочем, согласна — мне нравится думать о себе, как о более справедливом и беспристрастном человеке. Поэтому, пожалуйста, примите мои извинения, Эдди.

— С одним условием.

— С каким? — она опять едва заметно улыбалась. Хорошо. Эдди нравилось, когда удавалось заставить ее улыбнуться.

— Дайте *этому* побольше шансов. Такое вот условие.

— Дать побольше шансов *чему*? — В голосе Одетты звучало легкое изумление. Возможно, от подобной нотки в голосе у кого-нибудь другого Эдди почувствовал бы, что получил по макушке и ошетинился бы, но с Одеттой дело обстояло иначе. В ее устах это не звучало обидно. От нее, думал Эдди, не страшно услышать что угодно.

— Есть и третий вариант. Все это происходит на самом деле. То есть... — Эдди откашлялся. — Я не слишком силен во всякой философской дряни, или в этой... ну, знаете... метаморфозике, или как там эта чертовня называется...

— Вы имеете в виду метафизику?

— Может быть. Не знаю. Наверное. Зато я знаю: нельзя заикливаться на том, что не веришь собственным чувствам. Да что там, если ваше соображение, будто все это сон, верно...

— Я не говорила *сон*...

— Что бы вы ни говорили, сводится все к одному, правда? К ложной реальности.

Если секундой раньше в голосе Одетты и звучала еле различимая снисходительность, теперь она исчезла.

— Возможно, Эдди, философия с метафизикой — не ваша епархия, но в школе, должно быть, вы были страшным спорщиком.

— Отродясь не состоял в дискуссионном клубе. Это для голубых, страхолудин да ботанов. Вроде шахматного кружка. Как понять — епархия? С чем это едят?

— Ничего особенного. То, в чем хорошо разбираешься. Лучше вы мне объясните. Что такое *голубые*?

Эдди некоторое время смотрел на нее, потом пожал плечами.

— Гомики. Петухи. Неважно. Обмениваться словечками можно до вечера — толку-то что? Я другое пытаюсь сказать: если все это сон, он может быть моим, а не вашим. Может, вы — плод *моего* воображения.

Улыбка Одетты дрогнула.

— Вы... вас не били по голове.

— Вас тоже никто не бил.

Теперь улыбка Одетты окончательно исчезла. Она довольно резко поправила:

— Никто, кого бы я *запомнила*.

— То же самое со мной! — сказал он. — Вы сказали, в Оксфорде народ грубый. Что ж, ребята с таможни тоже не излучали радость, когда не нашли марафет, который искали. Может, один из них засветил мне по башке рукояткой своей дуры, и лежу я сейчас в камере, в Бельвю, и вижу во сне вас с Роландом, покамест они пишут рапорты — объясняют, как во время допроса я повел себя агрессивно и пришлось меня утихомирить.

— Это не одно и то же.

— Почему? Потому, что вы — вся из себя интеллигентная чернокожая дама-общественница, а я — просто ширяла с нью-йоркской окраины? — Все это Эдди высказал с усмешкой, намереваясь добродушно высмеять Одетту, но та всплыла:

— Мне бы хотелось, чтобы вы прекратили называть меня *черной*! Эдди вздохнул.

— Ладно, но к этому все равно привыкнут.

— Как ни крути, а вам следовало посещать дискуссионный клуб.

— Б**дь, — сказал Эдди, и Одетта так повела глазами, что он опять невольно осознал: разница между ними не только в цвете кожи, она гораздо значительнее — они обращались друг к другу каждый со своего отдельного острова, океаном между которыми было время. Ну да ладно. Слово привлекло ее внимание. — Я не хочу с вами спорить. Я хочу, чтобы вы очнулись и осознали, что *не спите*, вот и все.

— Я могла бы действовать согласно диктату вашего третьего варианта — по крайней мере временно, до тех пор, пока продолжает существовать такое... такое положение вещей... если бы не одно «но»: между тем, что произошло с вами, и тем, что случилось со мной, существует коренное отличие. Такое существенное, такое большое, что вы его не видите.

— Ну так покажите его мне.

— В вашем сознании нет разрывов. В моем — *есть*, и очень большой.

— Не понимаю.

— Я хочу сказать, что вы можете отчитаться за каждый прожитый миг, — сказала Одетта. — Ваш рассказ последовательно переходит от момента к моменту: самолет, внезапное вторжение этого... этого... *его*...

Она с явной неприязнью мотнула головой в сторону холмов.

— Припрятывание наркотика, полицейские, взявшие вас под стражу, все прочее. История фантастичная, но в ней нет недостающих звеньев. Что касается меня, я вернулась из Оксфорда. Эндрю, мой шофер, встретил меня и отвез домой. Я приняла ванну и хотела выспаться: начиналась страшная мигрень, а единственное средство от действительно сильных мигреней — это сон. Но до полуночи оставалось совсем немного, и я подумала, что сначала посмотрю новости. Некоторых из нас отпустили, но, когда мы уезжали, большинство оставалось в кутузке. Мне хотелось выяснить, не пересмотрены ли их

дела. Я вытерлась, надела халат и пошла в гостиную. Включила телевизор, программу новостей. Диктор принялся рассказывать о речи, которую только что произнес Хрущев по поводу американских советников во Вьетнаме. Он сказал: «Мы получили кинорепортаж из...» и исчез, и оказалось, что я качу по этому берегу. Вы говорите, будто видели меня сквозь этакую волшебную дверь, которая сейчас исчезла, — видели в «Мэйси», где я воровала грошовые побрякушки. Уже достаточно абсурдно, но, даже будь это так, я сумела бы найти для кражи что-нибудь получше фальшивых драгоценностей. Я не ношу бижутерию.

— Лучше посмотрите еще разок на свои руки, Одетта, — спокойно сказал Эдди.

Она очень долго переводила взгляд с украшавшего ее левый мизинец «бриллианта» (слишком большого и вульгарного для того, чтобы быть настоящим) на крупный (слишком крупный и вульгарный для того, чтобы быть не настоящим) опал, красовавшийся на среднем пальце правой руки.

— Все это мне мерещится, — твердо повторила она.

— У вас что, пластинку заело? — В голосе Эдди впервые прозвучала неподдельная злость. — Каждый раз, как кто-то проткнет в вашей аккуратной историйке дырку, вы просто возвращаетесь к своему говенному «все это мне мерещится». Нужно поумнеть, Детта.

— *Не называйте меня так! Терпеть этого не могу!* — выкрикнула она так визгливо, что Эдди отшатнулся.

— Простите. Боже правый, я не знал!

— Я переместилась из ночи в день, из гостиной — на безлюдное взморье, я не в неглиже, я одета. И настоящая причина этого в том, что какой-то толстопузый, безмозглый полисмен-южанин ударил меня дубинкой по голове, *вот и все!*

— Но ваши воспоминания не обрываются на Оксфорде, — негромко заметил Эдди.

— Ч-что? — Неуверенность вернулась. Или, быть может, Одетта все понимала, но не желала понимать. Как с кольцами.

— Если вас огрели по голове в Оксфорде, почему ваши воспоминания на этом не обрываются?

— Логика в таких вещах обычно бывает немного. — Она снова потирала виски. — А теперь, Эдди, если вы не возражаете, я охотно закончила бы разговор. У меня опять начинается мигрень. И довольно сильная.

— По-моему, есть здесь логика или нет, все зависит от того, чему вы хотите верить. Я *видел* вас в «Мэйси», Одетта. Я *видел*, что вы *крали*. Вы говорите, что не делаете таких вещей — но ведь вы сказали и другое: «Я не ношу бижутерию». Сказали, хотя за время нашего разговора несколько раз посмотрели себе на руки. Кольца были там — *но вы словно бы не могли их видеть, пока я не обратил на них ваше внимание, не заставил увидеть.*

— Я не хочу говорить об этом! — крикнула она. — У меня болит голова!

— Ладно. Но вы знаете, где упустили последовательность событий, и было это не в Оксфорде.

— Оставьте меня, — без выражения сказала Одетта.

Эдди увидел стрелка, который тяжело тащился обратно с двумя полными бурдюками — один был обвязан вокруг талии, другой взвален на плечи. Вид у Роланда был очень усталый.

— Хотел бы я вам помочь, — проговорил Эдди, — но для этого, наверное, я должен быть настоящим.

Он постоял возле нее, но Одетта сидела, опустив голову, и безостановочно массировала виски кончиками пальцев.

Эдди пошел навстречу Роланду.

8

— Сядь, — Эдди забрал бурдюки. — Видуха у тебя — краше в гроб кладут.

— Так и есть. Я опять занемог.

Эдди посмотрел на пылающие щеки стрелка, на его потрескавшиеся губы, и кивнул.

— Я надеялся, что обойдется, но я не так уж удивлен, старик. Вдарить по микробам ты вдарил, но на цикл не хватило. У Балазара было слишком мало кеффлекса.

— Я тебя не понимаю.

— Если не принимать пенициллиновый препарат достаточно долго, инфекция недохнет. Ты просто загоняешь ее в подполье. Проходит несколько дней, и она возвращается. Нам понадобится еще кефлекс; впрочем, здесь по крайней мере есть дверь, через которую можно за ним сходить. В нужный момент от тебя потребуется только одно: не психовать. — Но при этом Эдди печально размышлял о том, что у Одетты нет ног, а переходы, которые приходится совершать в поисках воды, становятся все более долгими. Интересно, задумался он, мог ли Роланд выбрать более неподходящий момент, чтобы заболеть снова? Такую возможность Эдди допускал; он просто не понимал, как.

— Мне нужно рассказать тебе кое-что про Одетту.

— Ее зовут Одеттой?

— Угу.

— Чудесное имя, — сказал стрелок.

— Ага. Я тоже так подумал. А вот то, как она воспринимает это место, не так уж чудесно. Ей кажется, будто она не здесь.

— Знаю. И я ей не слишком нравлюсь, верно?

«Нет, — подумал Эдди, — но это не мешает ей считать тебя *паскудной галлюцинацией*». — Вслух он этого не сказал, только кивнул.

— Причины тут почти одни и те же, — продолжал стрелок. — Видишь ли, это не та женщина, которую я перенес сюда. Вовсе не та.

Эдди уставился на него и вдруг кивнул, объятый сильным волнением. Смазанный промельк в зеркале... то оскаленное лицо... Роланд прав. Господи Иисусе, конечно, он прав! Это была вовсе не Одетта!

Потом Эдди вспомнил руки, небрежно трогавшие шрамы, а до этого так же небрежно взявшиеся набивать большую дамскую сумочку блестящим хламом... почти как если бы женщине *хотелось* попасться.

Руки в кольцах.

В этих самых кольцах.

«Но это необязательно означает, что и *руки* были эти самые», — подумал он в исступлении, однако эта мысль задержалась всего на миг. Во время спора с Одеттой Эдди успел внимательно рассмотреть ее руки. Это были *те самые* руки — нежные, с длинными пальцами.

— Нет, — продолжал стрелок. — Не та. — Голубые глаза внимательно изучали Эдди.

— Ее руки...

— Послушай, — сказал стрелок, — послушай внимательно. Быть может, от этого зависят наши жизни — моя, поскольку мной вновь овладевает недуг, и твоя, поскольку ты влюбился в эту женщину.

Эдди ничего не сказал.

— Она — это две женщины в *одном теле*. Она была одной из них, когда я вошел в нее, и другой, когда я вернулся сюда.

Теперь Эдди ничего *не мог* сказать.

— Было и что-то еще. Что-то странное. Но то ли я не понял, что это, то ли понял, но оно ускользнуло от меня. Мне это показалось важным.

Взгляд Роланда скользнул мимо Эдди к инвалидному креслу. Оно, точно выброшенное на мель суденышко, одиноко стояло на морском берегу, там, где обрывался его короткий след, тянувшийся из ниоткуда. Потом стрелок опять посмотрел на Эдди.

— Я очень мало понимаю, что это или как такое может быть, но *ты должен быть начеку*. Понимаешь?

— Да. — Эдди показалось, что ему почти нечем дышать. Он понимал (по крайней мере, в доступном заядлому кинозрителю объеме), о какого рода вещах говорит стрелок, но на объяснения ему не хватало воздуха. Пока не хватало. Словно Роланд пнул его так, что дух вон.

— Хорошо. Потому что женщина, в которую я вошел по другую сторону двери, была так же страшна, как омарообразные твари, что выползают по ночам.

Глава четвертая

ДЕТТА НА ДРУГОЙ СТОРОНЕ

1

«Ты должен быть начеку», — сказал стрелок, и Эдди согласился, но стрелок знал, что Эдди не понимает, о чем речь; дальняя, невреждаемая половина сознания Эдди, в которой бывает заложено или не заложено выживание, не получила сигнала.

Стрелок понимал это.

К счастью Эдди, он это понимал.

2

Среди ночи Детта Уокер резко открыла глаза. Они были полны звездного света и ясного ума.

Она вспомнила все: как дралась с ними, как они привязали ее к креслу, как дразнили и обзывали: *сука черномазая, сука черномазая.*

Она вспомнила, как из волн полезли чудища, и тот мужик, что постарше, убил одного из них. Парень помоложе развел костер и занялся готовкой, а потом с ухмылочкой протянул ей нанизанное на палочку дымящееся мясо морского уroda. Она вспомнила, что плюнула в белое рыло этого сопляка, и ухмылочка превратилась в злобную, сердитую гримасу. Белошопый саданул ее снизу в челюсть и сказал: «Ну, ничего, еще передумаешь, стерва ты черная. Погоди, вот увидишь». Потом они с Настоящим Гадом расхохотались. Настоящий Гад показал ей кусок говядины, насадил на вертел и принялся не спеша печь над костром, плавающим на чужом, враждебном берегу, куда ее завезли.

От медленно подрумянивающейся говядины шел чрезвычайно соблазнительный запах, но она не подавала виду. Даже когда молодой замахал у нее перед лицом ломтем мяса, выпевая *ну, кусни, сука черномазая, давай-давай, кусни*, Детта сдержалась и сидела как каменная.

Потом она забылась сном, и вот сейчас проснулась. Веревки, которыми ее связали, исчезли. Она больше не сидела в кресле — она лежала на одном одеяле, укрытая другим; лежала на много выше линии прилива, у которой все еще бродили, о чем-то вопрошая и порой выхватывая из воздуха невезучую чайку, омариобразные твари.

Она посмотрела влево и ничего не увидела.

Она посмотрела вправо и увидела двоих спящих, закутанных в массу одеял. Ближе лежал тот, что помоложе. А Настоящий Гад снял портупею и положил рядом с собой.

Револьверы еще были в кобурах.

«Ты крупно ошибся, козел», — подумала Детта и перекатилась на правый бок. Зернистый хруст и скрип песка под ее телом не были слышны в хоре ветра, волн, вопрошающих созданий. Блестя глазами, она медленно поползла по песку (сама — точно один из чудовищных омаров).

Добравшись до портупеи, Детта вытащила револьвер.

Он был очень тяжелым, рукоятка в ее ладони — гладкой, какой-то самостоятельно смертоносной. Тяжесть не вызвала беспокойства: руки у Детты Уокер были сильные.

Она поползла чуть дальше.

Молодой парень дрых — храпящий камень, ничего больше, — но Настоящий Гад тихонько зашевелился во сне, и Детта, с вытатуированным на лице злобным оскалом, замерла без движения. Он опять затах, и она расслабилась.

«Этот-то хитрожопый, гнида. Ой, гляди, Детта. Убедись, чтоб наверняка».

Она отыскала потертую защелку барабана, попыталась протолкнуть вперед, ничего не добилась и потянула ее на себя. Барабан открылся.

«Заряжен! Заряжен, паскуда! Сперва уделаешь молодого п**дюка. Тут Настоящий Гад проснется, а ты рот до ушей («улыбнись, ягодка, а то не видать, где ты есть») — да по рылу ему, по рылу, начистишь гниде рышку по первому классу!»

Она защелкнула барабан, положила палец на курок... и стала ждать.

Поднялся сильный ветер. Детта взвела курок до конца.

И нацелила револьвер Роланда Эдди в висок.

3

Стрелок наблюдал за всем этим одним полуоткрытым глазом. Лихорадка вернулась, но пока что несильная... не настолько сильная, чтобы Роланд не доверял себе. Поэтому он ждал. Приоткрытый глаз был своего рода пальцем на спусковом крючке его тела; тела, которое становилось его револьвером всякий раз, как револьвера не оказывалось под рукой.

Женщина нажала курок.

Щелк.

Щелк, что же еще.

Когда они с Эдди, нагруженные бурдюками, вернулись со своего совещания, Одетта Холмс спала в инвалидном кресле глубоким сном, завалясь вбок. Соорудив на песке лучшую по их возможностям постель, они осторожно перенесли молодую женщину из кресла на расстеленные одеяла. Эдди был уверен, что она проснется, но Роланд лучше разобрался, что и как.

Он подстрелил омара, Эдди развел огонь, и они поели, оставив порцию Одетте на утро.

Затем состоялся разговор, и Эдди сказал нечто такое, что вдруг возникло перед Роландом подобно внезапной вспышке молнии. Это озарение было чересчур ярким и чересчур кратким, чтобы постичь все в полной мере, но Роланд увидел немало — так порой счастливый удар молнии позволяет различить очертания местности.

Он мог бы поделиться с Эдди уже тогда, но не стал, понимая, что должен быть для юноши Кортон, у Корта же вид ученика, залившегося кровью после неожиданного и болезненного удара, вызывал всегда один и тот же отклик: *«Дитя не разумеет, что есть молоток, покамест, забивая гвоздь, не расплющит себе палец. Встань, червь, и прекрати скулить! Ты позабыл лик своего отца!»*

И Эдди уснул, хотя Роланд велел ему быть начеку, а сам Роланд, уверившись, что его спутники спят (он подождал подольше, полагая, что Владычица способна на коварство), перезарядил револьверы, вложив в барабаны стреляные гильзы, отстегнул револьверные ремни (это причинило ему мгновенную острую боль) и положил их рядом с Эдди.

Потом он стал ждать.

Час, два, три.

В середине четвертого часа, когда его усталое, сжигаемое жаром тело силилось уплыть в дремоту, он скорее почувствовал, чем увидел, что Владычица проснулась, и сам также полностью очнулся от сна.

Он видел, как она перевернулась. Не спускал с нее глаз, пока она, впиваясь скрюченными пальцами в песок и подтягиваясь, подбиралась к тому месту, где лежали портупей. Внимательно пронаблюдал, как она вытащила из кобуры револьвер, подползла поближе к Эдди и замерла, вскинув голову и раздувая ноздри — эта женщина не просто нюхала воздух, она *пробовала* его.

Да. Это ее он привез с той стороны.

Когда она глянула в его сторону, он не просто притворился спящим, потому что она почуяла бы надувательство; он уснул. Ощувив, что пристальный взгляд куда-то переместился, стрелок стряхнул сон и вновь приоткрыл один глаз. Он увидел, что женщина

медленно поднимает револьвер (продельвая это с меньшим напряжением, чем выказал Эдди, когда в первый раз взял оружие при Роланде), направляет в голову Эдди... и медлит с невыразимо хитрой миной.

В этот миг она напонила стрелку Мартена.

Она принялась возиться с барабаном и, хотя сперва взялась за него неправильно, чуть погода открыла. Посмотрела на головки патронов. Роланд напрялся. Он ждал. Сначала — чтобы увидеть, поймет ли она, что капсулы уже пробиты, потом — чтобы посмотреть, не повернет ли она револьвер дулом к себе, не заглянет ли внутрь, не увидит ли пустоту вместо свинца (он думал над тем, не зарядить ли револьверы патронами, уже давшими осечку, — но очень недолго; Корт учил: всяким револьвером в конечном итоге правит Старик Козлоногий, и единожды давший осечку патрон во второй раз может повести себя иначе). Сделай она это — и стрелок немедля бы прыгнул.

Но женщина защелкнула барабан, начала взводить курок... и опять остановилась. Остановилась, чтобы ветер скрыл единственный тихий щелчок.

Роланд подумал: «Вот она, другая. О Боже! Отвратительная, злобная, безногая — и все же стрелок; это так же верно, как то, что Эдди — стрелок».

Он ждал вместе с ней.

Налетел ветер.

Женщина оттянула спусковой крючок до полного взвода и поместила револьвер в полудюйме от виска Эдди. С ухмылкой, которая была гримасой упыря, она резко нажала на курок.

Щелк.

Роланд ждал.

Она снова нажала. Опять. И опять.

Щелк-щелк-щелк.

— Козлы ДРАНЬЕ! — завизжала она и плавным, грациозным движением повернула револьвер дулом к себе.

Роланд напружинил ноги, но не прыгнул. *Дитя не разумеет, что такое молоток, покамест, забивая гвоздь, не расплющит себе палец.*

«Если она убьет его, она убьет и тебя».

«Плевать», — непреклонно ответил голос Корта.

Эдди пошевелился. Нет, рефлексy у парня были неплохие; он метнулся в сторону достаточно быстро, чтобы не дать оглушить или убить себя. Вместо того, чтобы опуститься на уязвимый висок, тяжелая рукоятка револьвера разбила челюсть.

— Что... Господи!

— КОЗЛЫ ДРАНЬЕ! КОБЕЛИ БЕЛОЖОПЫЕ! — истошно вопила Детта, и Роланд увидел, что она заносит револьвер во второй раз. Пусть она была безногой, пусть Эдди уже откатывался прочь,

дальше рисковать он не смел. Коль скоро Эдди не усвоит урок сейчас, он не усвоит его уже никогда. В следующий раз, когда стрелок велит Эдди быть начеку, Эдди *последует* совету, и потом... эта стерва оказалась шустра. Было бы неумно и дальше полагаться на проворство Эдди или на неомощность Владычицы.

Распрямив напружиненные ноги, он перелетел через Эдди и, силой удара отбросив Детту назад, приземлился на нее сверху.

— *Приспичило, кобелина?* — закричала она в лицо Роланду, одновременно прижимаясь своим лбом к его паху и занося руку, все еще сжимающую револьвер, над его головой. — *Разобрало? Щас получишь, чего тебе надо, щас дам, в натуре!*

— Эдди! — снова крикнул стрелок — теперь он не просто орал, он приказывал. Эдди, с подбородка которого капала кровь (челюсть уже начинала распухать), еще секунду посидел на корточках, бессмысленно тараща широко раскрытые глаза. «Ну же, шевелись, не можешь, что ли? — подумал Роланд. — Или не хочешь?» Его силы таяли. Когда эта женщина в очередной раз обрушит вниз тяжелую рукоять револьвера, она сломает ему руку... то есть, если он успеет загородиться. Если нет, она проломит ему голову.

Потом Эдди стянул оцепенение. Он поймал стремительно опускавшийся револьвер, и Детта с пронзительным визгом повернулась к нему, щелкая зубами, точно вампир, и ругаясь на уличном *patois*¹, таком беспросветно южном, что его не понимал даже Эдди, а Роланду казалось, будто женщина вдруг заговорила на иностранном языке. Но Эдди сумел вырвать револьвер из ее руки и, когда нависшая над Роландом «дубинка» исчезла, смог пригвоздить Детту к песку.

Она и тогда не унялась и продолжала брыкаться, рваться вверх и сквернословить. На темном лице выступил пот.

Эдди глазел на все это, по-рыбьи открывая и закрывая рот. Он нерешительно дотронулся до своей челюсти, сморщился, отнял руку, внимательно осмотрел пальцы и оставшуюся на них кровь.

Детта продолжала верещать: прикончу обоих, рискните здоровьем, попробуйте меня насильничать, я вас п**дой укокошу, вот посмотрите, это ж не дырка, а х** знает что с зубами на входе, охота разведать, так сами убедитесь.

— Что, черт подери... — тупо проговорил Эдди.

— Ремень, — пропыхтел стрелок. — Тащи сюда. Я перекачу ее наверх, а ты схватишь ее за руки и стянешь кисти за спиной.

— *ХРЕНА С ДВА!* — взвизгнула Детта, и ее безногое тело забилося с такой силой, что Роланд чуть не слетел. Он чувствовал, как она опять и опять силится поднять обрубок правой ноги, чтобы заехать ему по причинному месту.

¹ Patois (франц) — уличный простонародный жаргон

— Я... я... она...

— *Живее, Господь прокляни лик твоего отца!* — взревел Роланд, и Эдди наконец сдвинулся с места.

4

Связывая Детту и затягивая ремень, они дважды едва не упустили ее. Наконец Эдди сумел накинуть завязанную затяжной петлей португую Роланда на запястья женщины, когда, приложив к этому все силы, стрелок все-таки завернул ей руки за спину (то и дело, как мангуста от змеи, отшатываясь перед стремительными выпадами, которые Детта делала головой, силясь укусить; укусов он избежал, но, покуда Эдди закончил, насквозь промок от слюны). Тут-то Эдди, удерживая короткий конец затяжной петли, и стянул путами эти сведенные вместе кисти. Он не хотел сделать больно этому отчаянно бьющемуся, пронзительно кричащему, сыплющему проклятиями существу. Оно было куда злее чудовищных омаров, поскольку обладало более развитым интеллектом, поставлявшим ему информацию, но Эдди знал за ним и другую способность — быть прекрасным. Он не хотел обижать ее другое «я», скрывавшееся где-то внутри этого сосуда, как живая голубка прячется в самой глубине одного из потайных отделений волшебного ящика фокусника.

Где-то внутри этого орущего, визжащего существа скрывалась Одетта Холмс.

5

Хотя мул — последнее животное, ходившее под седлом у стрелка, — издох слишком давно, чтобы помнить о нем, у Роланда сохранился кусок его веревочной привязи (которая, в свою очередь, некогда была отличным арканом). Привязав с помощью этой веревки Детту к инвалидному креслу, как еще раньше рисовало ей воображение (а может, ложная память — впрочем, итог был один, верно?), они отошли.

Если бы не ползучие омарообразные твари, Эдди спустился бы к воде и вымыл руки.

— Похоже, меня сейчас вывернет, — сообщил он голосом, срывающимся то на бас, то на дискант, как у мальчишки-подростка.

— *Чего стали-то? Валийте, схавайте друг дружке ЗАЛ**Ы!* — визгливо посоветовало трепыхавшееся в кресле существо. — *А? Коли вы перед п****нкой черной бабы труса празднуете! Ну, валийте! Чего тут сомневаться! Пососите друг дружке шершавого! Валийте, пока можно, потому как Детта Уокер щас вылезет из этого кресла — и амбей херам вашим тощим, беложопые! Оторву и вон тем ходячим бензопилам скормлю!*

— Вот женщина, в чьем сознании я побывал. Теперь ты мне веришь?

— Я и раньше тебе верил, — сказал Эдди. — Я же говорил.

— Ты думал, будто веришь. Ты верил только верхним слоем сознания. Веришь ты теперь до конца? До доньшка?

Эдди посмотрел на визжащее, судорожно извивающееся в инвалидном кресле существо, и отвел глаза. В лице не осталось ни кровинки, только из рваной раны на подбородке сочились редкие алые капли. С этого бока физиономия Эдди начинала приобретать некоторое сходство с воздушным шаром.

— Да, — выговорил он. — Боже мой, да.

— Эта женщина — чудовище.

Эдди заплакал.

Стрелку захотелось утешить его, но, не в силах совершить такое святотатство (слишком уж хорошо он помнил Джейка), он ушел в темноту, сжигаемый изнутри жаром и болью нового приступа лихорадки.

6

Той ночью, намного раньше — Одетта еще спала, — Эдди сказал: похоже, я, может быть, понимаю, что с ней неладно. *Может быть.* Стрелок спросил, что Эдди имеет в виду.

— Может быть, она шизофреничка.

Роланд только головой покрутил. Эдди объяснил свое понимание шизофрении, нахватанное по крупичкам из фильмов вроде «Трех лиц Евы» и всевозможных телепрограмм (главным образом, из мыльных опер, которые они с Генри смотрели, тащась от кайфа). Роланд кивнул. Да. Болезнь, описанная Эдди, вроде бы подходила. Женщина с двумя лицами, светлым и темным. Как на пятой карте Таро, открытой ему человеком в черном.

— И эти... шизофрены... не знают, что у них есть другой?

— Нет, — отозвался Эдди. — Но... — Его голос постепенно затих. Молодой человек угрюмо следил за исполинскими омарами — а те знай ползали по песку и допытывались о чем-то, ползали и допытывались.

— А как же?

— Я не мозгоправ, — сказал Эдди, — поэтому, в общем-то, не знаю...

— *Мозгоправ?* Что такое *мозгоправ*?

Эдди постукал себя по виску.

— Врач, который лечит голову. Соображаловку. По-настоящему называется «психиатр».

Роланд кивнул. *Мозгоправ* ему нравилось больше. Поскольку мозгов у Владычицы было слишком много. В два раза больше, чем нужно. Не мешало бы их вправить.

— Но, по-моему, шизики почти всегда знают, что с ними *что-то* не то, — сказал Эдди. — Из-за провалов в памяти. Может, я ошибаюсь, но я всегда понимал так: обычно в шизике сидят два человека, из-за пробелов в воспоминаниях считающие, что страдают частичной потерей памяти. Эти пробелы образуются тогда, когда ситуацией завладевает второе «я». А она... она говорит, что помнит все. Она действительно *думает*, будто помнит все.

— Я думал, ты сказал, что, по ее мнению, на самом деле ничего не происходит.

— Угу, — сказал Эдди, — но покамест забудь об этом. Я пытаюсь сказать вот что: неважно, в чем она убеждена. В ее воспоминаниях этот берег стоит сразу за гостиной, где она сидела в халате и смотрела двенадцатичасовые новости. Никакого провала. Никакого разрыва. Ей совершенно невдомек, что ее гостиную от универмага «Мэйси», где ты ее сцапал, отделяет некий промежуток времени, на который в ее теле воцарилась какая-то иная личность. Черт, могли пройти сутки, а то и несколько *недель*. Я знаю, что все еще была зима — почти все покупатели в том универмаге были в пальто...

Стрелок кивнул. Восприятие Эдди обострилось. Хорошо. Сапоги, шарфы и торчавшие из карманов пальто и курток перчатки ускользнули от его внимания — и все же процесс пошел.

— ...но сколько времени Одетта была той, другой женщиной, иначе никак не определишь — сама-то она этого не знает. Сдается, она оказалась в совершенно новой для себя ситуации, и историей о том, как ей прошибли голову, просто защищает обе стороны.

Роланд кивнул.

— И кольца. Увидеть их было для нее настоящим потрясением. Она старалась не подавать вида, но все равно это было заметно.

Роланд спросил:

— Если две эти женщины не знают, что существуют в одном теле, и даже не подозревают, что что-то может быть не в порядке, если у каждой из них своя, отдельная, цепочка воспоминаний, частью — подлинных, а частью — придуманных сообразно тем промежуткам времени, когда появляется другая, как нам быть? Как жить рядом с ней?

Эдди пожал плечами.

— Меня не спрашивай. Это твоя проблема. Ты же сказал, что она тебе нужна. Ты же, черт возьми, собственной шеей рисковал, чтобы притащить ее сюда. — Эдди на минуту задумался, припомнив, как с ножом Роланда в руке сидел на корточках над телом стрелка, почти касаясь лезвием его горла, и неожиданно невесело рассмеялся. «Ты БУКВАЛЬНО рисковал своей шеей, мужик», — подумал он.

Воцарилось молчание. К этому времени Одетта уже спокойно дышала. Стрелок совсем было собрался в очередной раз повторить Эдди свое предостережение быть начеку и (достаточно громко, чтобы

Владычица — если она лишь притворялась — услышала) объявил, что ложится спать, как вдруг Эдди сказал нечто, одной внезапной вспышкой озарившее сознание Роланда и заставившее понять хотя бы часть того, что так нужно было знать.

Под конец, когда эта женщина оказалась здесь.

Под конец она изменилась.

Он что-то заметил, что-то...

— Сказать тебе кое-что? — спросил Эдди, мрачно вороша золу раздвоенной клешней убитого накануне вечером омара. — Когда ты поволок ее сквозь дверь, мне показалось, что шизик — я.

— Почему?

Эдди подумал, затем пожал плечами. Объяснить было слишком трудно, а может, он просто слишком устал.

— Это неважно.

— Почему?

Эдди посмотрел на Роланда, увидел, что тот задает серьезный вопрос по серьезной причине (по крайней мере, он так подумал), и на минуту углубился в воспоминания.

— Честное слово, мужик, это трудно описать. Я поглядел в эту дверь. Тут у меня крыша и поехала. Когда видишь, как в этой двери кто-то движется, то мерещится, будто движешься вместе с ними. Ну, знаешь, о чем я толкую.

Роланд кивнул.

— Так вот, я до последнего смотрел все это, как фильм... ну, неважно, не суть. А потом ты развернул ее лицом сюда, и я в первый раз увидел себя. Словно... — Эдди перебирал слова и ничего не находил. — Не знаю. Наверное, должно было бы казаться, что смотришься в зеркало, но мне так не показалось, потому... потому что я смотрел как бы на другого человека. Словно меня вывернули наизнанку. Словно я был одновременно в двух местах. Черт, ну, не знаю.

Но стрелка точно громом поразило. Так *вот что* он ощутил, когда они проникли в этот мир; *вот что* с ней произошло... нет, не только с *ней*, с *ними*: мгновение Детта и Одетта смотрели друг на друга, но не так, как смотришь на свое отражение в зеркале, нет — как *два разных человека*; зеркало стало оконным стеклом, и на миг Одетта увидела Детту, Детта — Одетту, и обе одинаково ужаснулись.

«Теперь знают обе, — мрачно подумал стрелок. — Быть может, не знали прежде, но знают теперь. Они могут пытаться скрыть это от себя самих, но миг прозрения *был*, знание пришло и, должно быть, осело в сознании, никуда не делось».

— Роланд?

— Что?

— Просто хотел убедиться, что ты не спишь с открытыми глазами. Потому как, знаешь ли, на минуту у тебя сделался такой вид, точно

ты за тыщу лет и за тридевять земель отсюда. За горами, за лесами, за широкими морями.

— Коли так, теперь я вернулся, — сказал стрелок. — И иду спать. Помни, что я сказал, Эдди: будь начеку.

— Буду смотреть в оба, — отозвался Эдди. Впрочем, Роланд знал: дозор нынче ночью нести ему самому, болен он или нет.

Из чего и последовало дальнейшее.

7

После всех треволнений Эдди с Деттой Уокер в конце концов уснули, на сей раз окончательно (обессилевшая Детта не столько уснула, сколько впала в забытие, свесившись вбок, и в кресле ее удерживали веревки).

Но стрелок лежал без сна.

«Придется свести их обеих в бою, — думал он. Впрочем, чтобы объяснить ему, что подобный поединок может оказаться битвой не на жизнь, а на смерть, никакие «мозгоправы» не требовались. — Если победит светлая, Одетта, все еще может быть хорошо. Если верх возьмет темная, несомненно, все пропало».

И все же стрелок чувствовал, что в действительности следует не убивать, а *объединять*. Он уже осознал (и не без одобрения): в уличной грубости, в непримиримости и упрямстве Детты Уокер есть много такого, что в будущем окажется ценным для него — *для всех*; он нуждался в Детте — но хотел, чтобы она находилась под контролем. Путь предстоял неблизкий. Детта считала их с Эдди чудовищами, принадлежавшими к некоему виду, который она называла *Кобели Беложопые*. Это было всего лишь опасное заблуждение, но на пути им предстояло встретиться с настоящими чудовищами — исполинские омары были не первыми и не последними. Та отчаянная, «дерись-до-последнего», баба, в которую он вошел и которая этой ночью вновь явилась из укрытия, могла бы очень пригодиться в схватке с подобными монстрами, если бы смягчить ее спокойной человечностью Одетты Холмс, особенно теперь, когда стрелок остался без двух пальцев и почти без пуль, а лихорадка нарастала.

«Впрочем, это шаг вперед. Думаю, если бы мне удалось заставить их признать друг друга, это вызвало бы столкновение. Как это можно устроить?»

Всю ту долгую ночь Роланд пролежал без сна, размышляя, и, хотя чувствовал, как усиливается жар, сжигающий его изнутри, ответа на свой вопрос так и не нашел.

Незадолго до рассвета Эдди проснулся. Он увидел, что стрелок, завернувшись в одеяло на манер индейца, сидит у прогоревшего в пепел вчерашнего костра, и присоединился к нему.

— Как самочувствие? — понизив голос, спросил Эдди. Владычица, крест-накрест оплетенная веревками, еще спала, порой вздрагивая, что-то бормоча и постанывая.

— Нормально.

Эдди оценивающе взглянул на него.

— По тебе не скажешь.

— Спасибо, Эдди, — сухо сказал стрелок.

— Тебя трясет.

— Пройдет.

Владычица опять дернулась и что-то промывчала. На сей раз слово было почти понятным — возможно, *Оксфорд*.

— Боже ты мой, не могу я этого видеть, — пробормотал Эдди. — Связанная, как какая-нибудь паршивая телка в хлеву.

— Она скоро проснется. Может статься, тогда ее можно будет развязать.

Ни тот, ни другой не сумели яснее выразить вслух надежду, что, когда Владычица откроет глаза, их приветствует спокойный — ну, может, слегка озадаченный — взгляд Одетты Холмс.

Пятнадцатью минутами позже, когда над холмами пробились первые лучи солнца, эти глаза и в самом деле открылись... но вместо спокойного, внимательного взгляда Одетты Холмс мужчины увидели бешеные, злобно сверкающие глаза Детты Уокер.

— Сколько раз вы меня насильничали, покамест я была в отруб-бе? — спросила Детта. — У меня в п**де так склизко да сально, словно кто поработал там парой тех махоньких белых огарков, что вы, кобели беломясые, величаете херами.

Роланд вздохнул.

— Ну, двинулись, — сказал он, с гримасой поднимаясь на ноги.

— Никуда я с *тобой* не пойду, козел вонючий, — фыркнула Детта.

— Пойдешь, еще как пойдешь, — заверил Эдди. — Прости, родная.

— Куда ж, по-вашему, я отправлюсь?

— Ну, — сказал Эдди, — то, что было за Дверью Номер Раз, оказалось не так уж опасно для жизни. То, что было за Дверью Номер Два, уже хуже. Теперь, значит, вместо того, чтобы, как нормальные люди, бросить это дело, мы двинем дальше, проверять Дверь Номер Три. Исходя из развития событий, там, по-моему, запросто может оказаться Годзилла, или трехглавое чудовище Гидра. Впрочем, я оптимист. Я все еще надеюсь найти за ней кастрюльки из нержавеющей стали.

— Не пойду.

— Пойдешь, пойдешь, — сказал Эдди и зашел за кресло. Детта опять забила, но узлы завязывал стрелок, и от отчаянной возни они только ту же затянулись. Довольно скоро Детта это поняла и утихла. Она была полна яда, но далеко не глупа. На Эдди она оглянулась с такой усмешкой, что он слегка отпрянул. Ему почудилось, что более злобного выражения на человеческом лице он еще не видел.

— Ну, может, чуток и прокачусь, — сказала Детта, — только, может, не так далеко, как ты думаешь, лебедь ты мой белый. И, видит Бог, не так быстро, как ты думаешь.

— То есть?

Снова хитрая, полная предвкушения ухмылка через плечо.

— Узнаешь, лебедь белый. — Взгляд женщины, безумный, но убедительный, ненадолго переместился на стрелка. — *Это* вы оба-два узнаете.

Эдди обхватил ладонями ручки, похожие на ручки велосипедного руля (ими заканчивались расположенные на спинке инвалидного кресла рычаги), и путники вновь двинулись на север, оставляя на казавшейся бесконечной полосе прибрежного песка не только следы ног, но и двойной след кресла Владычицы.

9

День выдался кошмарный.

Перемещаясь по такой однообразной местности, подсчитывать пройденное расстояние трудно, но Эдди понимал: их продвижение вперед замедлилось настолько, что они буквально ползут.

Кто в этом виноват, он тоже понимал.

О да.

«*Это* вы оба-два узнаете», — заявила Детта, трогаясь в путь. Не прошло и получаса, как это узнавание началось.

Кресло.

Прежде всего это. Катить инвалидное кресло по мелкому песку было так же невозможно, как ехать на машине по глубокому неубранному снегу. Песчаная мергельная поверхность прибрежной полосы, по которой они шли, позволяла везти его, но далеко не без труда. То оно некоторое время плавно катило вперед, хрустя шинами из твердой резины по ракушкам и стреляя в обе стороны мелкой галькой... А то вдруг попадало в занесенное более мелким песком углубление. Тогда, чтобы выкатить из впадины этот «экипаж» с его увесистой и не расположенной помогать пассажиркой, Эдди приходилось с крихтением пихать его плечом. Песок жадно засасывал колеса. Приходилось толкать инвалидную коляску вперед и одновременно с маху, всей тяжестью, налегать на рычаги, отжимая их книзу, не то привязанная к коляске женщина исполнила бы вместе с ней кувырок через голову с приземлением лицом в песок.

Попытки Эдди везти ее не опрокидывая вызывали у Детты омерзительные смешки.

— Как ты там, сладенький, хорошо времечко проводишь? — спрашивала она всякий раз, как кресло въезжало в одно из таких сухих болот.

Стрелок подошел помочь, но Эдди отмахнулся.

— Еще успеешь, — сказал он. — Мы будем меняться. «Впрочем, я думаю, что мои заходы будут куда длиннее, — зазвучал голос у него в голове. — При том, как он выглядит, ему очень скоро придется из кожи вон лезть, чтобы только держаться на ногах. Какое уж там толкать кресло с бабой. Нет-с, Эдди, боюсь, вся эта бочка меда — твоя. Бог наказал, ясно? Все эти годы ты был наркашом, и знаешь, что? Наконец стал толкачом!»

Он коротко, задышливо рассмеялся.

— Над чем смеемся, белый мальчик? — спросила Детта, и, хотя Эдди подумал, что по замыслу фраза должна была прозвучать саркастически, вышло лишь капельку сердито.

Вероятно, тут мне смешочки разводить нечего, подумал он. *Категорически. Во всяком случае, касательно ее.*

Тебе не понять, дуся. Успокойся.

— Я тебя успокою, — сказала она. — Не успеет эта мутотень кончиться, я тебя с твоим дружком-мудилой так успокою — по всему берегу кусочки лягут. Даже не сомневайся. А покамест лучше побереги дышалку — как толкать-то будешь? Ты и так уж, кажись, подзапыхался?

— Ну, тогда чеши языком одна, — тяжело пропыхтел Эдди. — У тебя-то, похоже, чтоб вони напустить, дышалки *всегда* хватает.

— Да уж, вони я *напущу*, сука белая! Вот сдохнешь, прямо в твое мертвое рыло нафуню!

— Обещанья, обещанья. — Эдди вытолкнул кресло из песка и покатил вперед. По крайней мере, некоторое время оно шло сравнительно легко. Солнце еще толком не поднялось из-за горизонта, а молодой человек уже вспотел.

«День будет занимательный и поучительный, — подумал он, — уже понятно».

Остановки.

Второе — остановки.

Они наткнулись на полоску твердого песка, и Эдди покатил кресло быстрее, смутно размышляя, что если бы суметь сохранить это крохотное ускорение, то следующую песчаную западню, может быть, удалось бы проскочить на чистой инерции.

Ни с того, ни с сего кресло остановилось. Стало как вкопанное, с глухим стуком ударив Эдди в грудь поперечиной. Эдди охнул. Роланд оглянулся, но даже кошачья быстрота его реакции не смогла помешать креслу Владычицы опрокинуться — в точности так, как оно угрожало сделать, попадая в каждую следующую песчаную западню. Кресло

перевернулось, а с ним перевернулась и Детта, связанная и беспомощная, но дико хохочущая. Когда Роланду с Эдди удалось, наконец, снова выправить кресло, Детта еще гоготала. Кое-где веревки затянулись так туго, что, должно быть, немилосердно врезались в тело, прекратив доступ крови к конечностям. Лоб был рассечен; тонкая алая струйка, сочась из раны, затекала в бровь. Но Детта все равно продолжала кудахтать от смеха.

К тому времени, как кресло вновь встало на колеса, запыхавшиеся мужчины судорожно хватали ртами воздух. Вес кресла вместе с сидевшей в нем женщиной в целом составлял добрых двести пятьдесят фунтов, причем большая часть приходилась на кресло. Эдди пришлось в голову, что, вырви стрелок Детту из *его* времени, из восьмидесят седьмого года, кресло могло бы весить фунтов на шестьдесят меньше.

Детта хихикнула, фыркнула, поморгала, избавляясь от попавшей в глаза крови.

— Ишь ты! Вы, молодые-холостые, меня кувырнули, — сказала она.

— Позвони адвокату, — пробурчал Эдди. — Поддай на нас в суд.

— А обратно ставили вверх головой, так совсем умаялись. Да и потратили минут десять, не меньше.

Стрелок оторвал кусок от своей рубашки (к этому времени от нее осталось так мало, что жалеть, в общем, было уже нечего) и левой рукой потянулся стереть кровь с пореза на лбу Детты. Детта щелкнула зубами, да так свирепо, что Эдди подумал: замешкайся отпрянувший Роланд хоть на секунду, и Детта Уокер снова уравнила бы счет пальцев на его руках.

Она хихикала, уставясь на стрелка глазами, полными недоброго, подлого веселья, но Роланд разглядел притаившийся на самом их дне страх. Детта боялась его. Боялась — ведь он был Настоящим Гадом.

Почему он был Настоящим Гадом? Быть может, на некоем более глубоком уровне Детта понимала, *что* он знает о ней?

— Почти достала тебя, сволочь белая, — сказала она. — В этот раз почти достала. — И захихикала как ведьма.

— Подержи ей голову, — ровно произнес стрелок. — Кусается, как хорек.

Эдди держал Детте голову, а стрелок тем временем осторожно очищал рану тряпочкой. Рана была неширокой и с виду неглубокой, но стрелок не собирался рисковать. Он медленно спустился к воде, намочил обрывок рубахи в соленой воде и вернулся.

Когда он приблизился к Детте, та завопила благим матом.

— Не тронь, не смей, убери эту фигню! Не смей в меня тыкать всякой дрянью, из этой воды ядовитые твари вылазят! Не тронь! Убери-и!

— Держи ей голову, — сказал Роланд прежним ровным тоном. Детта испугленно мотала головой из стороны в сторону. — Я не хочу рисковать.

Эдди придержал голову Детты... и зажал, как в тисках, когда женщина попыталась стряхнуть его руки и освободиться. Увидев, что все идет по делу, она немедленно затихла и перестала демонстрировать страх перед сырой тряпкой. В конце концов она ведь притворялась.

Пока Роланд обмывал рану, тщательно удаляя последние прилипшие песчинки, Детта улыбалась.

— По совести говоря, поглядеть на тебя, так ты *не просто* без задних ног, — заметила она. — Поглядеть на тебя, так ты *хворый*, слышь, беломясый? Не сказала б я, что ты готов ко всяким там долгим походам. По-моему, ты *еще* ни к чему такому не готов.

Эдди обследовал несложные рычаги управления инвалидного кресла и нашел аварийный ручной тормоз, намертво стопоривший оба колеса. Детта тайком просунула туда руку, терпеливо дождалась, чтобы Эдди развил достаточно большую; по ее мнению, скорость, и, дернув тормоз, намеренно опрокинулась. Зачем? Только для того, чтобы задержать их продвижение вперед. Никаких резонов для такого поступка не было, но женщине вроде Детты, подумал Эдди, резоны и не нужны. У такой особы желание учинить нечто подобное диктуется чистой подлостью.

Роланд чуть-чуть ослабил ее путы, чтобы кровь могла свободнее течь по сосудам, а потом крепко привязал руку женщины подальше от тормоза.

— Ништяк, начальник, — сказала Детта, одаряя его светлой и радостной, но чересчур зубастой улыбкой. — Это ничего. Найдутся другие способы попрiderжать вас, ребята. *На любой вкус* найдутся.

— Пошли, — без выражения сказал стрелок.

— Старик, ты в порядке? — спросил Эдди. Стрелок казался очень бледным.

— Да. Пошли.

Они снова зашагали по прибрежному песку.

10

Стрелок настаивал на том, чтобы на час сменить Эдди у кресла, и юноша неохотно уступил. Через первую песчаную западню Роланд провез Детту сам, но, чтобы вытолкнуть кресло из следующей, потребовалась энергичная помощь Эдди. Стрелок судорожно ловил ртом воздух, на лбу крупными каплями выступил пот.

Эдди дал ему пройти еще немного. Роланд довольно искусно лавировал, объезжая те участки, где песок был достаточно рыхлым, чтобы засосать колеса, но в конце концов кресло снова увязло. Тяжело дыша, Роланд бился изо всех сил, пытаясь вытолкнуть его из ловушки, а ведьма (поскольку теперь Эдди думал о ней именно так) выла от смеха и, не таясь, откидывалась назад, чтобы намного усложнить задачу... Но Эдди сумел вытерпеть в роли наблюдателя лишь несколь-

ко секунд, а потом плечом отодвинул стрелка в сторону и, одним злым, стремительным рывком накренив кресло, вытянул его из песка. Кресло затряслось, зашаталось, и Эдди понял, что Детта, с диковинной прозорливостью выбрав единственно верный момент, чтобы подвинуться *вперед*, насколько позволяют веревки, пытается опрокинуть его.

Очутившись рядом с Эдди, Роланд всей тяжестью навалился на спинку кресла, и оно прочно стало на песок.

Детта оглянулась и заговорщически подмигнула им, да так непристойно, что Эдди почувствовал, как его руки покрываются гусиной кожей.

— *Опять* вы, молодые-холостые, чуть меня не кувырнули, — сказала она. — А вам надо бы за мной приглядывать. Я-то просто увечная старуха, вот вам бы обо мне и заботиться в охотку.

Она захохотала. Она чуть не лопалась со смеху.

Несмотря на то, что Эдди был равнодушен к обитавшей в сознании Детты другой женщине (даже короткого времени, в течение которого молодой человек видел Одетту и говорил с ней, оказалось довольно, чтобы он почувствовал себя почти влюбленным), руки у него так и зачесались от желания сомкнуться у нее на горле и задушить этот смех — задушить раз и навсегда.

Она снова быстро глянула назад, поняла, о чем думает Эдди (словно это было написано на нем красными чернилами), и зашлась еще сильнее. Ее глаза подзадоривали: «Ну, валяй, белый. Валяй, коли охота. Ну, давай, давай!»

«Иными словами, опрокинь не только кресло, опрокинь и бабу, — подумал Эдди. — Опрокинь с концами. Ей же только того и надо. Может, у нее в жизни одна-единственная настоящая цель — погибнуть от руки белого».

— Ну, хватит, — сказал он, опять принимаясь толкать кресло. — Нравится тебе или нет, сладенькая, мы едем кататься по морскому берегу.

— Пошел на х**, — фыркнула она.

— Заткни им себе глотку, детуля, — учтиво ответил Эдди.

Стрелок шагал рядом, не поднимая головы.

11

Часам к одиннадцати, если верить солнцу, они оказались у большого скопления вышедших на поверхность почвы камней. Там путники сделали почти часовой привал, укрывшись в тени от солнца, карабкавшегося в зенит. Эдди со стрелком доели остатки убитого накануне вечером омара; Детта же от предложенной ей порции отказалась, зная (так она объяснила Эдди), *что* они хотят сделать. Коли-ежели они *хотят* это сделать, сказала она, пусть не пытаются

ее отравить, а прикончат голыми руками. Отраву в еду, сказала она, подсыпают только трусы.

«Эдди прав, — думал стрелок. — Эта женщина создала собственную цепочку воспоминаний. Она знает все, что происходило с ней прошлой ночью, хотя спала по-настоящему крепко».

Детта была убеждена, что они, глумясь, приносили ей куски мяса, от которого несло смертью и разлагающимся трупом, а сами ели солонину, запивая пивом из фляжек. Она свято верила, что они то и дело подсовывают ей хорошие куски с собственного стола, а в последний момент, когда она уже готова вцепиться в еду зубами, — убирают их, разумеется, от души смеясь. В мире (или, по крайней мере, в голове) Детты Уокер, *Кобели Беложопые* общались с темнокожими женщинами только двумя способами: насиловали их или насмехались над ними. Или и то, и другое сразу.

Это было просто смешно. Эдди Дийн в последний раз видел говядину во время своей поездки в небесном вагоне. Сам Роланд не видел ни кусочка мяса с тех самых пор, как доел вяленое, а давно ли это было, знали только боги. Что же касается пива... Стрелок нырнул в глубины памяти.

Талл.

В Талле было пиво. Пиво и говядина.

Боже, как здорово было бы хлебнуть пива. Горло болело. Так хорошо было бы унять эту боль пивом. Даже лучше, чем *астином* из мира Эдди.

Они отошли подальше от Детты.

— Что, не гожусь в компашку таким белым парням? — прокаркала она им вслед. — Или, может, просто охота подрочить друг дружке? Огарки свои белые почесать?

Запрокинув голову, она завизжала от смеха, да так, что чайки, у которых четвертью мили дальше, на камнях, проходило что-то вроде слета, испуганно поднялись в воздух, оглашая его жалобными криками.

Стрелок сидел, свесив руки между колен, и думал. Наконец он поднял голову и сказал Эдди:

— Из десяти слов, которые она произносит, мне понятно примерно одно.

— Я тебя здорово обскакал, — откликнулся Эдди. — Из каждых трех слов я въезжаю самое малое в два. Да наплевать. Почти все это крутится возле *кобелей беложопых*.

Роланд кивнул.

— Там, откуда ты родом, многие темнокожие так говорят? *Другая* так не разговаривает.

Эдди помотал головой и засмеялся.

— Нет. Я тебе скажу кое-что довольно забавное... *Мне*, по крайней мере, оно кажется довольно забавным, но, может, просто потому, что здесь, в ваших краях, смеяться особо не над чем. Так вот, это лажа. Полная лажа. А она об этом — ни сном, ни духом.

Роланд посмотрел на него и ничего не сказал.

— Помнишь, как она прикидывалась, будто боится воды, когда ты обмывал ей лоб?

— Да.

— Ты понял, что она придушивается?

— Не сразу, но довольно скоро.

Эдди кивнул.

— Это был спектакль, и она *знала*, что это спектакль. Но она — прекрасная актриса и на несколько секунд одурачила нас обоих. Ее манера разговаривать — тоже игра на публику. Но похуже. Такой маразм, такая чертова *луна*!

— По-твоему, она хорошо притворяется только тогда, когда знает, что притворяется?

— Да. А говорит она, как гибрид черноты из книжки под названием «Мандинго», которую мне как-то довелось прочесть, с Бабочкой Мак-Куин из «Унесенных ветром». Ясное дело, для тебя эти имена — пустой звук, но я хочу сказать, что она говорит штампами. Знаешь такое слово?

— Оно означает то, что всегда говорят или думают люди, не умеющие мыслить самостоятельно или делающие это редко.

— Угу. Мне бы и вполтину так хорошо не сказать.

— Эй, молодые-холостые, вы что, еще не надрачились, а? — Голос Детты звучал все более хрипло и надтреснуто. — А может, вы свои огарки белые просто найти не можете? Так, что ли?

— Пошли. — Стрелок медленно поднялся. Он покачнулся, заметил взгляд Эдди и улыбнулся: — Обойдется, продержусь.

— Долго?

— Сколько понадобится, — ответил стрелок, и от безмятежности его тона сердце Эдди обьял холод.

12

В этот вечер, чтобы убить на ужин омара, стрелок потратил последний точно годный патрон. Он взялся бы вечером следующего дня за методическую проверку тех, что считал негодными, если бы не одно «но»: по убеждению Роланда, Эдди был весьма недалек от истины — дошло до того, что окаянных тварей придется забивать камнями.

Вечер шел своим чередом: костер, приготовление ужина, очистка мяса от скорлупы, трапеза — теперь они ели медленно, без энтузиазма. «Заправляемся, точно тачки — бензином, вот и все», — вертелось в голове у Эдди. Предложили поесть и Детте, но та пошла вопить, хохотать, сквернословить и спросила, долго ли ее будут держать за дурочку, а потом бешено заметалась из стороны в сторону, налегая на веревки всем телом, равнодушная к тому, что пути неуклонно затягиваются все туже, и подгоняемая единст-

венным стремлением: попытаться так или иначе опрокинуть кресло, чтобы ненавистные белые смогли усесться за еду не раньше, чем снова ее поднимут.

Долей секунды раньше, чем Детте удалось проделать свой трюк, Эдди крепко схватил ее, а Роланд с обеих сторон подпер колеса камнями.

— Будешь сидеть тихо — немного ослаблю веревки, — сказал Роланд.

— Отсоси мне говно из жопы, козел драный!

— Я не понял, что это значит: да или нет?

Детта глянула на стрелка сошуренными глазами, заподозрив, что под невозмутимым спокойствием тона прячется острый шип сатиры (Эдди и самому было интересно разобраться, но понять, так это или нет, он не мог), и чуть погодя угрюмо проговорила:

— Не буду я рыпаться. Слишком, еж твою вошь, жрать охота, чтоб большой шухер подымать. А вы, молодые-холостые, отпишете мне нормальной шамовки или хотите голодом заморить? Такая, значитца, задумка? Удавить меня кишка тонка, отраву я *ни в жисть* жрать не стану, и план у вас, значитца, должен быть такой. Чтоб я с голодухи подохла. Ладно-ладно, поглядим. Поглядим. Факт.

И опять одарила их ледяной ухмылкой, от которой холод пробирал до костей.

Вскоре она уснула.

Эдди потрогал щеку Роланда. Роланд коротко взглянул на него, но не отстранился.

— Все нормально.

— Ага. Ты же у нас герой кверху дырой. Вот что я тебе скажу, герой: сегодня мы ушли не больно-то далеко.

— Я знаю. — К тому же был истрачен последний годный патрон. Впрочем, без этой информации Эдди мог обойтись — по крайней мере, до утра. Эдди не был болен, но совершенно выбился из сил. Слишком вымотался для того, чтобы услышать очередную плохую новость.

«Не болен, нет. Пока нет. Но чересчур долгий путь без отдыха — и усталость обернется хворью».

В известном смысле Эдди уже занемог — больны были они оба. В углах рта у юноши появилась лихорадка, на коже — шелушащиеся пятна. У стрелка ощутимо шатались в лунках зубы, а между пальцами ног и уцелевшими — рук давно уже образовались глубокие кровотокающие трещины. Пища была, но изо дня в день — одна и та же; протянуть на таком однообразном меню какое-то время было можно, однако в финале путников ждала смерть, такая же несомненная, как если бы они голодали.

«Все очень просто, — думал Роланд. — Мы подхватили на суше Болезнь Мореходов. Забавно. Нам нужны фрукты. Нужна зелень».

Эдди мотнул головой в сторону Владычицы.

— Она собирается и дальше ставить нам палки в колеса.
— Если только не вернется та, другая, что живет у нее внутри.
— Хорошо бы, но рассчитывать на это нельзя, — сказал Эдди. Он взял обломок обугленной клешни и принялся чертить на земле бессмысленные узоры. — Есть идеи насчет того, далеко ли может быть следующая дверь?

Роланд покачал головой.

— Я спрашиваю только потому, что если расстояние между Номерами Два и Три такое же, как между Номерами Один и Два, можно оказаться в глубоком дерьме.

— Мы и сейчас уже в глубоком дерьме.

— По шейку, — мрачно согласился Эдди. — Просто я все думаю, сколько смогу толочь воду в ступе.

Роланд хлопнул юношу по плечу (Эдди аж заморгал, до того редко стрелок обнаруживал свои чувства) и сказал:

— Одного наша Владычица не знает.

— Да ну? Чего же?

— Мы, *Кобели Беложопые*, можем толочь воду в ступе очень долго.

Тут Эдди расхохотался — он хохотал во все горло, глуша смех рукавом, чтобы не разбудить Детту. На сегодня он наобиделся с ней досыта, большое спасибо.

Стрелок, улыбаясь, посмотрел на него.

— Я пошел спать, — сказал он. — Будь...

— ...начеку. Угу. Буду.

13

Следующим номером программы оказались крики.

Эдди уснул в ту же секунду, как его голова коснулась свернутой в узел рубашки, и, кажется, каких-нибудь пять минут спустя Детта начала вопить.

Он вмиг проснулся, готовый ко всему, будь то даже Король-Омар, поднявшийся из морской пучины отомстить за своих убиенных чад, или ужас, спустившийся с холмов. Во всяком случае, Эдди *казалось*, будто он мгновенно очнулся от сна, однако стрелок был уже на ногах и в левой руке сжимал револьвер.

Стоило Детте увидеть, что оба ее спутника проснулись, как она немедленно прекратила крик.

— Просто я подумала: дай погляжу, легки ли вы, ребятушки, на подъем, — сказала она. — Тут могут быть эти... трепливые твари. Место, кажись, подходящее. Вот мне и захотелось убедиться: ежели я увижу, как такой трепач подползает, смогу вас вовремя на ноги поднять, или нет. — Но в ее глазах не было страха; там сверкало недоброе, пакостное веселье.

— Матерь Божья, — обалдело выговорил Эдди. Луна уже взошла, но едва поднялась над горизонтом — они не спали и двух часов.

Стрелок убрал револьвер в кобуру.

— Не вздумай повторить, — предостерег он восседавшую в инвалидном кресле Владычицу.

— А коли повторю, *ты-то* что сделаешь? Снасильничаешь меня?

— Если б мы хотели надругаться над тобой, сейчас ты уже была бы обесчещена очень основательно, — ровным тоном произнес стрелок. — Больше так не делай.

Он снова улегся, натянув на себя одеяло.

«Господи Иисусе, Боже милостивый, — подумал Эдди, — что за напасть, что за гадство такое...» — больше он ничего не успел подумать, поскольку опять уплыл в измученный сон, и тут воздух расколол новый пронзительный крик Детты. Она орала, как пожарная сирена. Весь пылая от адреналина, сжав кулаки, Эдди снова вскочил — и тогда Детта хрипло, резко расхохоталась.

Эдди поглядел на небо и увидел, что с тех пор, как Детта разбудила их в первый раз, луна сместилась меньше чем на десять градусов.

«Она собирается и дальше вытворять то же самое, — устало подумал он. — Спать она не будет. Она будет следить за нами, и когда убедится, что мы погружаемся в глубокий сон, туда, где заряжаешься новой энергией, разинет пасть и снова начнет вопить. И так — снова и снова, пока реветь станет нечем».

Смех Детты вдруг смолк. К ней приближался Роланд — темный силуэт в лунном свете.

— Ты, белый, не подходи, — проговорила Детта, но в ее голосе слышалась нервная дрожь. — Ничего ты мне не сделаешь.

Роланд остановился перед ней, и Эдди на миг уверился — полностью уверился, — что терпение стрелка истощилось и он просто прихлопнет эту бабу, как муху. К его величайшему изумлению, вместо этого Роланд опустился перед ней на одно колено, точно поклонник, решившийся просить руки и сердца.

— Послушай, — сказал он, и Эдди с трудом поверил своим ушам, так нежно прозвучал голос стрелка. Не менее глубокое удивление юноша заметил и на лице Детты, только там к нему примешивался страх. — Послушай меня, Одетта.

— Чегой-то ты величаешь меня О-Деттой? Меня звать по-другому.

— Заткнись, курва, — прорычал стрелок и прежним мягким, нежным голосом продолжил: — Если ты слышишь меня и если ты вообще можешь с ней совладать...

— Чегой-то ты так со мной говоришь? Чегой-то ты так говоришь, будто с кем другим толкуешь? Кончай свои беложопские фигли-мигли! Сей же момент, слышишь?

— ...не давай ей разевать пасть. Я могу заткнуть ей рот кляпом, но не хочу этого делать. Твердый кляп — дело опасное. Бывает, люди и насмерть задыхаются.

— А НУ, ХВАТИТ, КОЛДУН СРАНЫЙ! КОБЕЛЬ БЕЛОЖОПЫЙ!

— Одетта! — Голос стрелка шелестел, как едва начавший накрапывать дождик.

Женщина замолкла, уставясь на него огромными глазами. За всю свою жизнь Эдди не видел в человеческом взгляде такой ненависти и такого страха.

— По-моему, эта стерва не переживала бы, даже если б *и впрямь* удавилась кляпом. Она хочет отправиться к праотцам, но, может быть, пуще того хочет, чтобы умерла *ты*. Но ты пока еще *жива*, и не думаю, что Детта — нечто совершенно новое в твоей жизни, слишком уж она чувствует себя в тебе как дома. Так, может быть, ты услышишь меня и сумеешь хотя бы отчасти контролировать ее, пусть даже выйти к нам ты еще не можешь.

Не дай ей разбудить нас в третий раз, Одетта.

Я не хочу затыкать ей рот кляпом.

Но, если придется, я это сделаю.

Он поднялся и, не оглядываясь, отошел, чтобы опять завернуться в одеяло и сразу же уснуть.

Детта, раздувая ноздри, продолжала смотреть на него широко раскрытыми глазами.

— Врешь, колдун белый, — прошептала она.

Прилег и Эдди. Однако, несмотря на его сильнейшую усталость, на сей раз сон пришел заявить свои права на юношу очень нескоро. Молодой человек приближался к краю обрыва, за которым лежало царство ночных грез, — и всякий раз отшатывался из опасений перед криками Детты.

Примерно часа через три, когда луна уже спускалась с небосклона, он наконец отключился.

Детта в ту ночь больше не кричала — то ли потому, что Роланд напугал ее, то ли потому, что хотела сберечь голос для будущих сигналов тревоги, а может быть — *может быть*, не более того — потому, что Одетта услышала стрелка и осуществила контроль, о котором он ее просил.

В конце концов заснув, Эдди пробудился вялым и неотдохнувшим. Уповав на чудо, он поглядел в сторону кресла: пусть там будет Одетта, Боже, прошу Тебя, пусть сегодня утром это будет Одетта...

— С добрым утречком, лебедь белый, — сказала Детта, по-акульи ухмыльнувшись. — Я уж думала, до обеда продрыхнешь. А это *нельзя*, верно? Против факту не попрешь: нам еще не одну милю отмахать надо, ага? Ага! И сдается, рвать пупок *тебе* придется, да, можно сказать, единолично — тот-то, другой чувак, у которого зенки как у ведьмака, все хиреет, как ни поглядишь, вот что я тебе скажу — хиреет! Думаю, жратву переводить ему недолго осталось — хоть то чудное копченое мясо, что вы, белые, сундучите на случай побаловаться друг с дружкой, с огарками своими недомерочными, хоть что!

Ну, погнали, беложопый! Детта не хочет, чтоб остановка была за ней. — Веки и голос женщины едва заметно дрогнули; Детта хитро скосила глаза на Эдди: — По крайности, с самого начала.

«Ты нонешний денек запомнишь, белый, — обещал этот хитрый взгляд. — Надолго запомнишь, ой надолго. Факт».

14

В тот день они прошли три мили — может быть, чуть-чуть меньше. Кресло Детты опрокидывалось дважды: один раз — с ее легкой руки, которая опять медленно и неприметно подобралась к ручному тормозу и рванула его; во второй раз Эдди обошелся без посторонней помощи, чересчур сильно толкнув кресло, увязшее в одной из проклятых песчаных ловушек. Случилось это под вечер, и Эдди попросту запаниковал, подумав, что на этот раз *не сможет* вытащить его оттуда, *не сможет* — и все. Поэтому он поднатужился, дрожащими руками мощно толкнул кресло вверх и, естественно, перестарался. Детта кувырнулась, точно Шалтай-Болтай с пресловутой стены, и Эдди с Роландом немало потрудились, прежде чем вернули кресло в исходное положение. Работу они закончили как раз вовремя. Пропущенная у Детты под грудью веревка теперь туго затянулась на горле. Скользящий узел, умело завязанный стрелком, душил женщину. Лицо Детты приобрело странный синеватый оттенок, она была на грани обморока, и все равно продолжала с хрипом выдавливать из себя мерзкий смешок.

«Оставь ее, что же ты? — чуть не сказал Эдди, когда Роланд быстро наклонился, чтобы ослабить узел. — Пусть удавится! Не знаю, хочется ли ей ухандокать себя, как ты говорил, зато ухандокать *нас* ей хочется наверняка... ну так брось ее, пусть!»

Потом он вспомнил Одетту (хотя их свидание было таким кратким и казалось таким далеким, что воспоминание о нем уже начинало тускнеть) и подался вперед, помочь.

Стрелок нетерпеливо оттолкнул его одной рукой.

— Двоим места нет.

Когда веревку распустили и Владычица принялась жадно хватать ртом воздух (выталкивая его обратно взрывами злого смеха), Роланд обернулся и критически посмотрел на Эдди.

— Думаю, пора делать привал на ночь.

— Чуть попозже. — Эдди почти молил. — Я могу пройти еще немного.

— Факт! Он вона какой крепкий парняга! Такой и мокрощелку стервозную оттараканит, и еще сил хватит, чтоб вечером тебе по первому классу отсосать, огарок белый!

Она по-прежнему наотрез отказывалась есть; лицо постепенно превращалось в сплошные углы и обводы. Глаза сверкали из все больше углублявшихся глазниц.

Роланд не обращал на нее абсолютно никакого внимания, пристально изучая Эдди. Наконец он кивнул.

— Немного — да. Но только немного. Далеко не пойдем.

Двадцать минут спустя Эдди и сам объявил: шабаш. Ему казалось, что руки у него превратились в желе.

Они уселись в тени камней. Кричали чайки, возвращался прилив, а они ждали, чтобы солнце село и гигантские омары, появившись на берегу, начали свой тягостный перекрестный допрос.

Понизив голос так, что Детте было не слышать, Роланд объяснил Эдди, что у них, кажется, кончились боевые патроны. Эдди чуть крепче сжал губы, и только. Роланд остался доволен.

— Придется тебе самому разmozжить голову одному из них, — сказал Роланд. — Я слишком слаб, чтобы управиться с достаточно большим для такого дела камнем... и не промазать.

Теперь настала очередь Эдди внимательно приглядеться к собеседнику.

То, что он увидел, ему совершенно не понравилось.

Роланд отмахнулся от его испытующего взгляда.

— Не беда, — сказал он. — Не беда, Эдди. Что есть, то *есть*.

— *Ка*, — сказал Эдди.

Стрелок кивнул и бледно улыбнулся.

— *Ка*.

— Кака, — сказал Эдди. Они переглянулись и рассмеялись. Казалось, хриплые звуки, срывающиеся с губ стрелка, удивили и даже слегка напугали его. Смеялся он недолго. Когда смех смолк, у Роланда сделался отчужденный и унылый вид.

— Чего ржете? Надо понимать, сумели наконец наиграться друг с дружкой? — хриплым, срывающимся голосом крикнула им Детта. — А трахаться когда начнете? Вот чего мне охота поглядеть! Ваш потрах!

15

Эдди убил омара.

Детта, как и раньше, есть отказалась. Демонстративно съев полкуса у нее на глазах, вторую половину Эдди протянул ей.

— Не-е! — сказала она. Глаза у нее зажглись, в них заплескали искры. — *ХРЕН-ТО!* Ты натолкал отравы в другой конец. Который силяшься впарить мне.

Без лишних слов Эдди взял остаток мяса, положил в рот, прожевал и проглотил.

— Ничего не значит, — угрюмо сказала Детта. — Отцепись, сволочь белопузая.

Эдди отцепляться не собирался.

Он принес ей другой кусок.

— Разорви пополам *сама*. Отдашь мне любую половину. Я ее съем, потом ты съешь остальное.

— Меня на ваши штучки не подловишь, мистер Беложопый. Раз я сказала — отзынь, стало быть, я *это* и имела в виду. Отзынь.

16

Ночью Детта молчала... но наутро все еще была тут как тут.

17

За день они прошли всего две мили, хотя Детта не старалась опрокинуть кресло. Быть может, подумал Эдди, она становится слишком слаба для попыток саботажа. Или же поняла, что в них, собственно, нет необходимости. Сходились воедино три роковых фактора: усталость Эдди, ухудшающееся состояние Роланда и наконец начавшееся после бесконечных дней однообразия изменение пейзажа.

Песчаные западенки теперь попадались реже, но это было слабое утешение. Земля пошла комковатая, все больше напоминавшая убогое неудобье и все меньше — песок (местами росли пучки бурьяна; при взгляде на них возникало такое чувство, будто им стыдно, что они здесь). Из этого странного сочетания песка с землей выступало великое множество крупных камней, и Эдди обнаружил, что лавирует, объезжая их, так же, как раньше лавировал с креслом Владычицы среди песчаных ловушек. Он понимал: довольно скоро прибрежного песка не останется вовсе. Медленно, но верно приближались холмы, бурые и унылые. Между холмами вились лощины. Эдди чудилось, будто это зарубки, оставленные тупым топором некоего неуклюжего великана. Вечером, уже засыпая, он услышал наверху, в одном из таких ущелий, нечто, схожее с пронзительным визгом очень крупной кошки.

Полоса прибрежного песка казалась бесконечной, но юноша постепенно начинал сознавать: предел у нее все-таки есть. Эти разрушенные дождями и ветрами холмы намеревались где-то впереди попросту вытеснить ее, свести на нет, строем прошагать к морю и войти в него — быть может, чтобы стать сперва своего рода мысом или полуостровом, а затем цепочкой островов архипелага.

Это тревожило его, но состояние Роланда тревожило его больше.

Теперь стрелок не столько сгорал в лихорадке, сколько словно бы *таял*, исчезал, становился прозрачным.

Опять появились багровые полосы, безжалостно поднимавшиеся по внутренней стороне правого предплечья к локтю.

Последние два дня Эдди непрерывно смотрел вперед, щурясь в надежде разглядеть вдали дверь — ту самую волшебную дверь. Последние два дня он ждал возвращения Одетты.

Ни дверь, ни Одетта не появлялись.

Вечером — Эдди уже засыпал — его посетили две страшные мысли (так иногда за явным смыслом анекдота кроется второй, тайный):

Что, если никакой двери нет?

Что, если Одетта Холмс мертва?

18

— Проснись и пой, козел драный! — Надтреснутый, визгливый голос Детты вырвал Эдди из небытия. — Кажись, теперь остались только ты да я да мы с тобой, ягодка. Сдается мне, дружок твой, наконец, приказал долго жить. Небось, уж черта в пекле в жопу дерет.

Эдди посмотрел на Роланда, калачиком свернувшегося под одеялом, и на один ужасный миг подумал, что стерва права. Потом стрелок пошевелился, издал сиплый стон и, шаря по земле руками, принял сидячее положение.

— Е-мое, вы гляньте! — Детта так много визжала и вопила, что теперь голос у нее временами почти полностью пропадал, превращаясь в неясный шепот сродни посвисту зимнего ветра под дверями. — А я думала, начальник, ты дал дуба!

Роланд медленно поднимался с земли. Эдди опять показалось, будто стрелок цепляется за перекладины невидимой лесенки, и он ощутил злую жалость — знакомое, рождавшее странную ностальгию чувство. Секундой позже он понял: так бывало, когда они с Генри смотрели по телевизору бокс, и один боксер ранил другого — ранил страшно, жестоко, еще и еще. Толпа вопила, требуя крови, вопил, требуя крови, *Генри*, но Эдди, сидя перед телевизором, только посылал мысленные волны судьбе: «Прекрати это, мужик, что ты, ослеп на х**, что ли? Он там у тебя *кончается*! КОНЧАЕТСЯ! Прекращай бой, мать твою ети!»

Прекратить этот бой не было никакой возможности.

Роланд поглядел на нее загнанными, лихорадочно блестящими глазами.

— Так думали многие, Детта. — Он посмотрел на Эдди. — Ты готов?

— Похоже, так. А ты?

— Да.

— Ты в силах?

— Да.

Они двинулись дальше.

Около десяти часов Детта принялась тереть виски.

— Стойте, — сказала она. — Меня мутит. Кажись, шас вывернет.

— Наверное, виноват вчерашний плотный ужин, — отозвался Эдди, не останавливаясь. — Не надо было тебе есть десерт. Я же говорил, пирог с шоколадной глазурью — пища тяжелая.

— Меня щас вывернет! Я...

— Эдди, стой! — велел стрелок.

Эдди остановился.

Женщина в кресле вдруг судорожно задергалась, словно сквозь нее пропустили ток. Широко раскрывшиеся глаза свирепо засверкали неведомо на что. Она закричала:

— Я РАСКОКАЛА ТВОЮ ТАРЕЛКУ, СИНЬКА, СТАРУШЕН-
ЦИЯ ТЫ ВОНЮЧАЯ! РАСКОКАЛА, Б**ДЬ, И РАДА, ЧТО...

Внезапно она перегнулась вперед и, если бы не веревки, выпала бы из кресла.

«Господи Иисусе, умерла! С ней случился удар, она умерла», — подумал Эдди. Он двинулся в обход кресла, памятуя о том, какой коварной и гораздой на всякие штуки может быть эта женщина, и остановился — так же внезапно, как пошел. Он посмотрел на Роланда. В ту же секунду посмотрел на него и Роланд. Его взгляд был совершенно непроницаем и ничего не выдавал.

Потом женщина застонала. Открыла глаза.

Ее глаза.

Глаза Одетты.

— Боже милостивый, я опять упала в обморок, да? — сказала она. — Ради Бога извините, что вам пришлось меня привязать. Дурацкие ноги! Наверное, я могла бы сесть чуть повыше, если бы вы...

Тут уж подкосились ноги у Роланда, и он без чувств медленно опустился на землю примерно тридцатью милями южнее того места, где оканчивалось Западное Взморье.

перетасовка

(перетасовка)

1

Эдди Дийну уже не казалось, что они с Владычицей плетутся по последним ярдам прибрежной полосы. В его представлении они даже не шли. Они словно бы *летели*.

Одетта Холмс по-прежнему явно не питала к Роланду ни доверия, ни симпатии. Однако отчаянное положение стрелка нашло в ней и понимание, и отклик. Теперь Эдди казалось, что вместо мертвой глыбы резины и металла, к которой по чистой случайности приторочено человеческое тело, он толкает едва ли не планер.

«Идите. Раньше я присматривал за тобой, и это было важно. Теперь я буду только задерживать тебя».

Юноша почти сразу же убедился, до чего прав стрелок. Эдди толкал кресло, Одетта работала рычагами.

За пояс штанов Эдди был засунут один из револьверов стрелка.

«Помнишь, как я велел тебе быть начеку, а ты не послушался?»

«Да».

«Скажу еще раз: *будь настороже*. Всякую минуту. Если вернется *другая*, не жди ни секунды. Дай ей по башке».

«Что, если я убью ее?»

«Тогда все будет кончено. Но если *она* убьет *тебя*, нам тоже крышка. А она попытается, если вернется. Попытается».

Эдди не хотел бросать Роланда. Не только из-за кошачьего вопля в ночи, хоть он и не шел у юноши из головы. Просто Роланд стал его единственным пробным камнем в этом мире, чужом и для Эдди, и для Одетты.

И все-таки он понимал, что стрелок прав.

— Не хотите отдохнуть? — спросил молодой человек Одетту. — Еще осталось чем подкрепиться.

— Пока нет, — ответила женщина, хотя ее голос звучал устало. — Но скоро захочу.

— Ладно. Но хотя бы бросьте рычаги. У вас нет сил. Вас... понимаете, ваш желудок...

— Ну, хорошо. — Одетта обернулась (ее лицо блестело от пота) и благосклонно улыбнулась Эдди, отчего тот почувствовал сразу и слабость, и прилив сил. За такую улыбку он мог бы отдать жизнь... и, как ему думалось, отдал бы, потребуй того обстоятельства.

Он от души надеялся, что обойдется без этого, но, разумеется, вовсе исключить такую возможность было нельзя. Время переросло в вопрос жизни и смерти, в нечто важное до крика.

Одетта опустила руки на колени, и Эдди покатиł кресло дальше. Тянувшийся за ними след терял четкость, поскольку прибрежный песок становился все тверже, зато повсюду в беспорядке были разбросаны камни. Они могли стать причиной катастрофы, попасть в которую при той скорости, с какой двигались путники, ничего не стоило. Случись что-то действительно серьезное, Одетта могла пострадать — это было бы скверно. Вдобавок в такой аварии могло погибнуть кресло, что было бы плохо для них и, вероятно, еще хуже для стрелка — в одиночестве он бы почти наверняка погиб. А если бы Роланд погиб, Эдди с Одеттой навсегда застряли бы в чужом мире.

Роланд был слишком болен и слаб, чтобы идти, и Эдди против воли пришлось взглянуть в лицо одному нехитрому факту: их было трое, двое — калеки.

На что же было уповать, на что надеяться?

Кресло.

Кресло — надежда, единственная надежда, ничего, *кроме надежды*.

Бог в помощь.

2

Стрелок пришел в сознание вскоре после того, как Эдди отташил его в тень выдававшихся из земли камней. Лицо Роланда там, где не было смертельно бледным, горело чахоточным румянцем. Грудь быстро поднималась и опускалась. Правую руку оплетала сеть тонких багровых полос.

— Накорми ее, — хрипло велел он Эдди.

— Ты...

— Обо мне не беспокойся. Не пропаду. Накорми ее. Думаю, теперь она поест. А ее сила тебе еще понадобится.

— Роланд, что, если она только *прикидывается*, будто...

Стрелок нетерпеливо отмахнулся.

— Никем она не прикидывается — просто она в своем теле одна. Мы оба это знаем — стоит только взглянуть ей в лицо. Ради своего

отца, накорми ее, пусть поест, а сам тем временем возвращайся ко мне. Теперь каждая минута на счету. Каждая *секунда*.

Эдди поднялся, но стрелок левой рукой притянул его обратно. Больной ли, нет ли, но свою силу он не утратил.

— И ничего не говори про *другую*. В чем бы ни убеждала тебя *эта*, как бы ни объясняла, *не возражай*.

— Почему?

— Не знаю. Знаю только, что это было бы ошибкой. А теперь делай, что сказано. Хватит терять время!

Одетта сидела в своем кресле, глядя на море с выражением легкого недоуменного изумления. Когда Эдди предложил ей омара — несколько щедрых кусков, оставшихся от вечерней трапезы, — она печально улыбнулась.

— Я поела бы, если бы могла, — сказала она, — но вы же знаете, что будет.

Эдди, который понятия не имел, о чем она толкует, смог только пожать плечами и сказать:

— Попытка не пытка, Одетта. Понимаете, вам *надо* есть. Мы должны идти как можно быстрее.

Одетта с коротким смешком коснулась его руки. Эдди почудилось, будто ему вдруг передалось что-то вроде электрического заряда. Да, это была она, Одетта. Юноша понял это не хуже Роланда.

— Вы мне очень нравитесь, Эдди. Вы так старались. Были так терпеливы. *Он* тоже... — Одетта кивком показала туда, где, привалясь спиной к камню и наблюдая за ними, лежал стрелок. — ...Но такого человека любить трудно.

— Да. Я-то знаю.

— Попробую еще разок. Ради вас.

Одетта улыбнулась. Эдди вдруг понял, что мир вращается из-за нее и ради нее, и подумал: «Боже, прошу Тебя, у меня в жизни было так мало... пожалуйста, не отнимай ее у меня больше. Пожалуйста».

Она взяла мясо, сморщила в потешном унынии нос и подняла глаза на Эдди.

— Это обязательно?

— Только самую капельку, — сказал он.

— С тех пор я больше никогда не ела моллюсков, — сказала Одетта.

— Пardon?

— Я думала, я вам рассказывала.

— Может быть, — сказал Эдди и нервно хохотнул. Именно тогда приказ стрелка не давать Одетте узнать о существовании *другой* принял в его памяти угрожающие размеры.

— Однажды, когда мне было лет десять или одиннадцать, мы ели их на ужин. Мне страшно не понравилось, что на вкус они как

маленькие резиновые шарики, а позже меня ими вырвало. С тех пор я их больше не ела. Но... — Она вздохнула. — «Капельку», как вы выражаетесь, я попробую.

Точно ребенок, принимающий полную ложку заведомо противного лекарства, Одетта положила в рот маленький кусочек омара. Сперва она жевала медленно, потом быстрее. Проглотила. Взяла еще кусочек. Прожевала, проглотила. Еще один. Теперь она буквально *пожирала* мясо.

— Э, э, притормозите! — сказал Эдди.

— Должно быть, это какой-то другой *сорт*! Да, ну *конечно* же! — Сияя, она посмотрела на Эдди. — Мы проехали по берегу моря дальше, и фауна изменилась! Кажется, моя аллергия прошла! И вкус не такой *гадкий*, как раньше... а я *действительно* старалась удержать это в желудке, правда же? — Она, не таясь, взглянула на Эдди. — Я *очень* старалась.

— Угу. — Собственный голос показался Эдди несущимся из приемника очень далеким радиосигналом. «Она думает, что каждый день ела, а потом все до крошки из нее вылетало, оттого она так ослабела. Всесильный Боже». — Угу. Вы старались изо всех сил.

— Так... — с трудом, поскольку рот у нее был полон, выговорила Одетта. — Так *вкусно*! — Она рассмеялась — нежно, очаровательно. — И обратно не запросится! Усвоится! Я знаю! Я *чувствую*!

— Только не перестарайтесь, — предостерег Эдди и подал ей бурдюк с водой. — С непривычки. Вас же... — Он сглотнул, и в горле у него явственно (по крайней мере, для него самого) пискнуло. — Вас же все время рвало.

— Да. Да.

— Я на несколько минут отлучусь — мне нужно переговорить с Роландом.

— Хорошо.

Но прежде чем Эдди смог уйти, Одетта крепко схватила его за руку.

— Спасибо вам, Эдди. Спасибо, что были так терпеливы. И поблагодарите *его*. — Она мрачно примолкла. — Поблагодарите, только не говорите, что я его боюсь.

— Не скажу, — ответил Эдди и пошел к стрелку.

3

Одетта помогала даже тогда, когда не работала рычагами. Она прокладывала курс с проникательностью женщины, долгие годы пробиравшейся в инвалидном кресле по миру, который еще и не помышлял о признании подобных ей ущербных людей.

— Налево, — окликала она, и Эдди спешил взять влево, проskalзывая мимо валуна, который торчал из вязкого песка, точно

сердито ощеренный гнилой клык. Сам Эдди мог и не заметить камень.

— Направо, — окликала Одетта, и Эдди, едва не угодив в одну из песчаных ловушек, которые попадались все реже, как послушная лошадка, забирал вправо.

Наконец они остановились, и Эдди лег на землю, тяжело дыша.

— Пospите часок, — сказала Одетта. — Я вас разбужу.

Эдди посмотрел на нее.

— Я не лгу. Я заметила состояние вашего друга, Эдди...

— Знаете, друг — не вполне точное сло...

— ...понимаю, насколько важно время, и не позволю вам из чувства ложной жалости проспять больше часа. Определять время по солнцу я умею очень хорошо. А выбившись из сил, вы сослужите этому человеку плохую службу, не так ли?

— Да, — сказал Эдди, думая: «Ты же не понимаешь. Если я засну, а Детта Уокер вернется...»

— Спице, Эдди, — сказала Одетта, и Эдди, будучи слишком утомлен (и слишком влюблен), чтобы усомниться, доверился ей. Он заснул. Она разбудила его, как и обещала, через час, и по-прежнему была Одеттой, и они двинулись дальше, и теперь она снова помогала юноше, орудуя рычагами. Они полным ходом катили по сужающейся песчаной полосе к двери, которую Эдди все время лихорадочно высматривал и неизменно не находил.

4

Оставив Одетту поглощать свою первую за много дней трапезу, Эдди вернулся к стрелку. Роланд выглядел как будто бы чуть получше.

— Присядь, — сказал он Эдди.

Эдди присел на корточки.

— Оставь мне полупустой бурдюк. Это все, что мне нужно. Ее отвези к двери.

— Что, если я не...

— Не найдешь? Найдешь. Здесь были первые две, здесь будет и эта. Если вы доберетесь туда сегодня до заката, дожидись темноты и убей двух омаров. Нужно будет устроить ее в надежном укрытии и оставить ей поесть. Если сегодня вечером ты не доберешься до двери, убей трех омаров. На.

Он протянул Эдди один из револьверов.

Эдди с уважением взял его, снова удивившись, какой же он тяжелый.

— Я думал, все патроны ни к черту.

— Вероятно. Но я заряжал теми, что, по-моему, намокли меньше прочих — три штуки были у пражки патронной ленты слева,

три — у пряжки справа. Может, хоть один да выстрелит. А повезет — так два. На ползучих гадов их не трать. — Роланд коротко смерил Эдди оценивающим взглядом. — Там могут оказаться другие твари.

— Так ты тоже слышал?

— Если ты про тварь, мяукавшую в холмах, — да. Если про Нечистого Духа, как говорят твои глаза, — нет. Я слышал дикую кошку в зарослях, вот и все. Быть может, голос у нее вчетверо больше ее самой. Быть может, ее ничего не стоит отогнать палкой. Думать же следует о нашей спутнице. Если вернется *другая*, как бы тебе не пришлось...

— Если у тебя на уме мокруха, я пас!

— Быть может, придется ранить ее в руку. Понятно?

Эдди нехотя кивнул. Может, чертовы патроны все равно не захотят стрелять, так какой смысл лезть из-за этого в бутылку?

— Когда доберешься до двери, женщину оставишь. Найдешь укрытие, спрячешь ее как можно лучше и с креслом вернешься ко мне.

— А револьвер?

Глаза стрелка полыхнули так ярко, что Эдди непроизвольно дернул головой, словно Роланд ткнул ему под нос пылающий факел.

— О боги! Оставить ей заряженный револьвер, когда в любую минуту может вернуться *другая*? Ты лишился рассудка?

— Но патроны...

— *На х** патроны!* — крикнул стрелок. Ветер внезапно стих, и слова Роланда отчетливо разнеслись над пляжем. Одетта повернула голову. Долгую минуту она смотрела на мужчин, потом вновь обратила взгляд в сторону моря. — Револьвер ей не оставлять!

Эдди говорил негромко, на случай очередного затишья.

— Что, если, пока я буду возвращаться к тебе, из зарослей спустится какая-нибудь тварь? Какая-нибудь кошка, которая вчетверо больше своего голоса, а не наоборот? Что-то, что нельзя прогнать палкой?

— Оставишь ей горку камней, — сказал стрелок.

— *Камней!* И прослезился тут Иисус! Ну и дерьмо же ты, приятель, мать твою в гроб!

— *Я думаю,* — сказал стрелок. — Ты, похоже, на это не способен. Я дал тебе револьвер, дабы половину того пути, что тебе нужно проделать, ты мог бы защищать эту женщину от опасностей вроде той, о которой толкуешь. Ты хотел бы, чтобы я забрал револьвер? Тогда, возможно, ты мог бы умереть за нее. Это доставило бы тебе радость? Весьма романтично... если не считать того, что тогда ко дну пойдет не только она одна, а все. Все трое.

— Очень логично. Однако ты все равно паскудное дерьмо.

— Уходи или оставайся. Довольно оскорблений.

— Ты кое-что забыл, — с яростью сказал Эдди.
— Это что же?
— Ты забыл посоветовать мне повзрослеть. Генри вечно говорил: «Ох, да повзрослей же ты, пацан...»
Стрелок улыбнулся усталой, странной красоты улыбкой.
— Думаю, ты уже повзрослел. Пойдешь или останешься?
— Пойду, — ответил Эдди. — Что ты собираешься есть? Она умяла все остатки.
— Паскудное дерьмо что-нибудь придумает. Паскудное дерьмо занималось этим не один год.
Эдди отвел глаза.
— Я... это... извини, что обозвал тебя, Роланд. Очень... — Он вдруг резко, пронзительно рассмеялся. — ...Очень уж трудный был день.
Роланд опять улыбнулся.
— Да, — согласился он. — Верно.

5

В тот день по времени они показали лучший за все путешествие результат, но вот уже и солнце золотой дорожкой расплескалось по глади океана, а никакой двери в поле зрения все еще не было. Хотя Одетта твердила, что прекрасным образом способна выдержать еще полчаса пути, Эдди объявил привал и помог женщине выбраться из кресла. Он перенес ее на пяточок ровной, с виду довольно гладкой земли, снял со спинки и сиденья кресла подушки и осторожно устроил на них Одетту.

— Господи, какое счастье вытянуться, — вздохнула она. — Но... — Ее чело затуманилось. — Я все время думаю про этого человека, Роланда. Мы оставили его там совсем одного, и, честное слово, мне это вовсе не нравится. Эдди, кто он? *Что* он такое? — Словно высказывая запоздалое соображение, Одетта прибавила: — И почему он так много *кричит*?

— Наверное, просто натура такая, — сказал Эдди, резко развернулся и отправился собирать камни. Роланд почти никогда не кричал. Молодой человек догадывался, что отчасти на эту мысль Одетту натолкнули события нынешнего утра — *НА Х** патроны!*, но остальное было ложными воспоминаниями о том времени, когда она была Одеттой только в своем *представлении*.

Как и наказывал Роланд, Эдди убил трех омаров и так сосредоточился на том, чтобы подстрелить последнего, что от четвертого, наступавшего на него справа, отпрыгнул в самый последний момент. Увидев, *как* чудовище щелкнуло клешнями, цапнув пустоту там, где минутой раньше находилась его нога, он подумал о пальцах, которых лишился стрелок.

Он варил омара на костре из сухого дерева — мало-помалу вторгающиеся в прибрежную полосу холмы и все более обильная растительность облегчили и ускорили поиск хорошего топлива, — а на западном небосклоне таял последний свет дня.

— Смотрите, Эдди! — вскрикнула Одетта, указывая вверх.

Он посмотрел и увидел сверкавшую на груди ночи одинокую звезду.

— Какая красота, правда?

— Да, — отозвался Эдди и вдруг, безо всякой на то причины, его глаза наполнились слезами. Где же он был всю свою океанную жизнь? Где он был, с кем, что делал и почему вдруг почувствовал себя таким грязным, таким донельзя обгаженным?

Запрокинутое лицо Одетты было прекрасно в своей неопровержимой при слабом свете звезд красоте, неведомой, впрочем, самой ее обладательнице, которая лишь смотрела широко раскрытыми, удивленными глазами на звезду и тихонько смеялась.

— Звездочка светлая, звездочка ясная, — проговорила она, умолкла и посмотрела на юношу. — Знаете это, Эдди?

— Угу. — Эдди смотрел в землю. Его голос звучал достаточно вятно, но, подними молодой человек глаза, Одетта увидела бы, что он плачет.

— Тогда помогайте. Но вы должны смотреть на нее.

— Ладно.

Он утер слезы ладонью и вместе с Одеттой стал глядеть на звезду.

— Звездочка светлая... — Одетта посмотрела на него, и он подхватил:

— Звездочка ясная...

Она протянула руку, отыскивая руку Эдди, и он ответил на пожатие — смуглые пальцы восхитительного светло-шоколадного оттенка переплелись с восхитительно белыми, точно грудка голубки.

— В небе сверкает, такая прекрасная, — серьезно выговаривали они хором; в этот миг они были мальчиком и девочкой; мужчиной и женщиной они станут позже, когда полностью стемнеет и Одетта окликнет Эдди — «вы спите?», а он скажет — «нет», и она попросит обнять ее, потому что ей холодно. — Первую звездочку, что разгляжу, исполнить желание мое попрошу...

Они переглянулись, и Эдди заметил, что по щекам Одетты текут слезы. Соленая влага вновь застлала юноше глаза, пролилась — пусть, он не таился от своей спутницы. Он не стыдился своих слез, чувствуя лишь невыразимое облегчение.

Они улыбнулись друг другу.

— Звездочка, звездочка, ярко гори, чудо, волшебница, мне сотвори, — сказал Эдди и подумал: «Пожалуйста, пусть это всегда будешь ты».

— Чудо, волшебница, мне сотвори, — эхом откликнулась Одетта, думая: «Если мне суждено умереть в этом незнакомом и странном месте, пусть моя смерть будет не слишком тяжелой и пусть со мной будет этот милый молодой человек».

— Простите, что расплакалась, — извинилась она, вытирая глаза. — Обычно я себе такого не позволяю, но день...

— Был такой тяжелый, — закончил за нее Эдди.

— Да. А вам нужно поесть, Эдди.

— И вам тоже.

— Надеюсь только, что плохо мне не станет.

Он улыбнулся.

— Думаю, не станет.

6

Позже под кружащимися в медленном гавоте чужими диковинными галактиками оба думали, что никогда еще любовный акт не бывал таким полным и сладостным.

7

На рассвете они снялись с места и стремительно двинулись дальше. К девяти часам Эдди уже жалел, что не спросил Роланда, как следует поступить, если, очутившись там, где холмы обрубают полосу прибрежного песка, они так и не обнаружат в поле зрения никакой двери. Этот вопрос представлял определенный интерес, поскольку, вне всяких сомнений, песчаный берег вскоре *действительно* должен был закончиться.

По сути дела, песчаный берег больше уже не был песчаным; земля стала твердой и довольно ровной. Выступающих камней почти не осталось — по предположениям Эдди, почти все их унесло сбегавшими с холмов талыми водами, а может быть, наводнениями в дождливое время года (с тех пор, как Эдди попал в этот мир, не упало ни капли дождя; тучи несколько раз затягивали небо, но затем ветер вновь разгонял облака).

В девять тридцать Одетта крикнула:

— Стоп, Эдди! Стоп!

Он остановился так резко, что ей пришлось крепко схватиться за подлокотники кресла, не то она вылетела бы из него. В мгновение ока Эдди обогнул кресло и оказался перед ней.

— Прости, — сказал он. — Ты в порядке?

— Все отлично. — Он увидел, что спутал волнение с сигналом бедствия. Одетта показала:

— Вон там! Видишь?

Эдди загородился от солнца, но ничего не увидел. Он прищурился. Всего лишь на миг ему показалось... нет, конечно же, это был попросту трепет разогретого зноем воздуха, поднимавшегося от утоптанной земли.

— Вряд ли, — сказал он и улыбнулся. — Разве что очень захотеть.

— А по-моему, я вижу! — Она повернула к Эдди возбужденное улыбающееся лицо. — Стоит, сама, одна! Там, где кончается песок.

Эдди опять посмотрел в ту сторону, на сей раз щурясь так сильно, что на глаза навернулись слезы. И опять на долю секунды ему почудилось, будто он что-то увидел. «Увидел-увидел, — подумал он и улыбнулся. — Разглядел ее желание».

— Может быть, — сказал он, не потому, что верил. Потому, что верила Одетта.

— Поехали!

Эдди взялся за кресло и, улучив момент, помассировал себе местечко пониже спины, где поселилась ровная ноющая боль. Одетта оглянулась.

— Интересно, чего ты ждешь?

— Ты действительно думаешь, что засекла ее, да?

— Да!

— Ну ладно, тогда поехали!

Эдди снова принялся толкать кресло.

8

Получасом позже он тоже увидел дверь. «Господи Иисусе, — подумал он. — А она видит не хуже Роланда. Может, даже лучше».

Им обоим не хотелось останавливаться на обед, но поесть было необходимо. Наскоро перекусив, они покатали дальше. Возвращался прилив, и Эдди со все возрастающим беспокойством поглядывал вправо, на закат. Их путь по-прежнему пролегал значительно выше линии прилива, отмеченной спутанной морской травой и бурыми водорослями, но Эдди не оставляла мысль, что к тому времени, как они доберутся до двери, они окажутся в неудобно тесном углу, ограниченном с одной стороны морем, а с другой — склонами холмов, которые он теперь очень четко различал. Ничего приятного в этом пейзаже не было. Холмы оказались каменистыми, усеянными низкорослыми деревьями (их впившиеся в землю корявые корни походили на скрюченные артритом пальцы, навсегда сведенные в беспощадном захвате) и колючими на вид кустами. Не слишком-то крутые склоны были, однако, чересчур круты для инвалидного кресла. Возможно, Эдди хватило бы сил занести Одетту повыше — собственно, его вполне могли принудить к этому

обстоятельства, — но он и помыслить не мог о том, чтобы оставить ее там.

Его ушей впервые коснулось жужжание насекомых. Звук немного напоминал стрекот маленьких сверчков, но был выше, тоньше и полностью лишен ритма — просто монотонное *риииииииии*, вроде того, что издают высоковольтные провода. Он в первый раз увидел не чаек, а других птиц. Среди них попадались крупные, важные — они кружили над сушей, распластав неподвижные крылья. «Ястребы, — подумал Эдди. Время от времени птицы складывали крылья и камнем падали вниз. — Охотятся. Охотятся за кем? Ну... за мелкими зверюшками». Это не внушало опасений.

И все же кошачий вопль, услышанный ночью, не шел у Эдди из головы.

Ближе к вечеру они уже ясно различали третью дверь. Ее, как и первых двух, быть *не могло* — и тем не менее она стояла, как вкопанная.

— Потрясающе, — услышал Эдди негромкий голос Одетты. — Совершенно потрясающе.

Дверь была именно там, где он и подозревал, — внутри угла, знаменовавшего, что хоть сколько-нибудь легкому продвижению на север пришел конец. Она стояла чуть выше границы полной воды, меньше чем в девяти ярдах от того места, где из земли, точно исполинская рука, покрытая вместо волосков серо-зеленой щетиной, неожиданно-негаданно выбивались холмы.

Солнце обморочно клонилось к воде, прилив закончился; было, вероятно, четыре часа (так сказала Одетта, и Эдди поверил — ведь раньше она уже говорила, что хорошо определяет время по солнцу, а еще она была его возлюбленной), когда они достигли двери.

9

Они просто смотрели на нее: Одетта — из кресла, руки на коленях, Эдди — от края моря. Отношение к двери у них было двойственным: с одной стороны, они смотрели на нее так, как минувшей ночью смотрели на вечернюю звезду, то есть по-детски; с другой стороны — совершенно иначе. Желание на звезду загадывали дети радости. Теперь же и Эдди, и Одетта были мрачны и полны недоверчивого удивления — так малыши разглядывают действительное воплощение того, что бывает только в сказках.

На двери было что-то написано.

— Что это значит? — наконец спросила Одетта.

— Не знаю, — откликнулся Эдди, но слова принесли холодок безнадежности; юноша чувствовал: на сердце крадучись находит тень.

— Разве? — спросила она, глядя на него более внимательно.

— Да. Я... — Он сглотнул. — Не знаю.

Одетта еще секунду смотрела на него.

— Пожалуйста, отвези меня за нее. Мне бы хотелось взглянуть. Я знаю, что ты хочешь вернуться к нему, но, может быть, ты сделаешь это для меня?

Эдди был согласен.

Они поехали вокруг двери, к тому ее краю, который находился чуть повыше.

— Подожди! — вскрикнула Одетта. — Ты видел?

— Что?

— Поехали обратно! Смотри! Смотри внимательно!

На этот раз Эдди вместо того, чтобы следить за возможными препятствиями, внимательно наблюдал за дверью. Когда кресло проезжало по склону над ней, Эдди увидел, как дверь сужается в перспективе, увидел петли — петли, погруженные словно бы в ничто, увидел боковое ребро...

И тут оно исчезло.

Боковое ребро исчезло.

Воду от Эдди должны были бы заслонять три, возможно, даже четыре дюйма плотной древесины (дверь выглядела необычайно крепкой), но ничто не мешало ему видеть море.

Дверь исчезла.

Тень Эдди была, а вот дверь пропала.

Он откатил кресло на два фута назад, чтобы занять позицию чуть южнее того места, где стояла дверь, и оказалось, что боковое ребро никуда не делось.

— Ты видишь? — прерывающимся голосом спросил он.

— Да! Оно опять здесь!

Он провез кресло на фут вперед. Дверь не исчезала. Еще шесть дюймов. Здесь. Еще два. Здесь. Еще дюйм... и никакой двери. Точно и не бывало.

— Иисусе, — прошептал он, — Господи Иисусе.

— Она откроется перед тобой? — спросила Одетта. — А передо мной?

Эдди медленно шагнул вперед и крепко взялся за ручку двери, на которой было написано одно-единственное слово.

Он попробовал повернуть ручку по часовой стрелке; потом против.

Ручка не сдвинулась ни на йоту.

— Ладно. — Тон Одетты был спокойным, смиренным. — Дверь открывается ему. Думаю, это понятно и тебе, и мне. Иди за ним, Эдди. Сейчас же.

— Сперва я должен позаботиться о тебе.

— Со мной все будет отлично.

— Ничего подобного. Линия прилива слишком близко. Если я брошу тебя здесь, то, когда стемнеет, омары вылезут и пообедают тобою...

Речь Эдди внезапно пресек прозвучавший наверху, в холмах, kloкочущий кошачий рык — так нож обрубаёт тонкую бечевку. Ворчание зверя донеслось с приличного расстояния — но меньшего, чем в прошлый раз.

Взгляд Одетты на миг, не более, порхнул к револьверу стрелка, засунутому за пояс штанов Эдди, потом так же быстро вернулся к лицу молодого человека. Эдди почувствовал, что у него горят щеки.

— Он не велел отдавать мне револьвер, правда? — мягко сказала она. — Он не хочет, чтобы оружие попало ко мне в руки. По какой-то причине он не хочет, чтобы оно оказалось у меня.

— Патроны отсырели, — с трудом ответил он, — ими, наверное, все равно не выстрелишь.

— Я понимаю. Завези меня чуть повыше, на склон, ладно? Я знаю, как, должно быть, устала у тебя спина — Эндрю называет это «санитарской ломотой», — но, если ты завезешь меня чуть повыше, омары мне будут не страшны. А там, откуда рукой подать до этих страшилищ, вряд ли появится что-нибудь еще.

Эдди подумал: «Во время прилива, пожалуй, да... но если снова начнется отлив, тогда как?»

— Дашь мне какой-нибудь еды и камней, — сказала Одетта, не ведая, что эхом вторит стрелку, и Эдди снова залился румянцем. Его лоб и щеки пылали, как бока кирпичной печки.

Одетта посмотрела на него, едва заметно улыбнулась и покачала головой, будто Эдди говорил вслух.

— Не будем спорить. Я же видела, что с ним и как. Ему отпущено очень и очень мало времени. Препираться некогда. Отвези меня чуть повыше, оставь еды и камней, потом забирай кресло и отправляйся.

10

Как можно быстрее устроив Одетту, Эдди вытащил револьвер стрелка и рукояткой вперед протянул ей. Но Одетта покачала головой.

— Он рассердится на нас обоих. На тебя — за то, что отдал, а на меня еще сильнее — за то, что взяла.

— Чепуха! — выкрикнул Эдди. — Почему ты знаешь?

— *Знаю*, — ответила Одетта тоном, не терпящим возражений.

— Хорошо, предположим, это правда. Только предположим. Но если ты *не возьмешь* револьвер, рассержусь я.

— Убери. Не люблю я всякие пистолеты. Я не знаю, как с ними обращаться. Если из темноты на меня что-нибудь выскочит, я первым делом напущу в штаны. После чего наставлю револьвер не в ту сторону и всажу пулю в себя. — Она умолкла, мрачно глядя

на Эдди. — Есть и еще кое-что. Возможно, для тебя это тоже не секрет. Я не хочу прикасаться ни к чему, принадлежащему этому человеку. *Ни к чему.* Я думаю, что на меня его вещи способны «навесить порчу», как это всегда называла моя мама. Мне нравится думать о себе, как о современной женщине... но я не испытываю никакого желания остаться у подножия погруженных во тьму земель без тебя, зато с привязавшимся ко мне злосчастьем.

Эдди посмотрел на револьвер, потом на Одетту. В его глазах по-прежнему был вопрос.

— *Убери,* — велела она сурово, как школьная учительница. Эдди вдруг захохотал и подчинился.

— Что ты смеешься?

— Ты говоришь, как мисс Хатэвэй. Моя училка из третьего класса.

Чуть улыбаясь, не отрывая блестящих глаз от глаз Эдди, Одетта негромко, приятным голосом пропела: «Тени божественной ночи спускаются... сумерек время пришло...» — Ее голос замер, и оба посмотрели на запад, но, хотя тени уже удлиннились, звезда, на которую они загадывали желание прошлой ночью, еще не появлялась.

— Что-нибудь еще, Одетта? — Эдди испытывал острое нежелание уходить. Хотелось медлить и медлить. Он подумал, что стоит действительно тронуться в обратный путь, и это пройдет, но пока стремление ухватиться за любой предлог и остаться казалось очень сильным.

— Поцелуй. Если ты не против, я удовольствовалась бы этим

Он приник к ее губам долгим поцелуем. Уже когда он отстранился, Одетта, поймав его за запястье, пристально и напряженно всмотрелась в его лицо.

— До прошлой ночи я ни разу не занималась любовью с белым, — сказала она. — Не знаю, важно ли это для тебя. Я даже не знаю, важно ли это для *меня*. Но я подумала, что ты должен знать.

Эдди подумал.

— Для меня — нет, — сказал он. — Ночью все кошки серы. Я люблю тебя, Одетта.

Она накрыла его ладонь своей.

— Ты милый молодой человек и не исключено, что я отвечаю тебе взаимностью, хотя обоим нам слишком рано...

В этот миг, будто по сигналу, в «зарослях», как их именовал стрелок, заворчала дикая кошка. Судя по звуку, она по-прежнему находилась в четырех или пяти милях от них — и все же почти вдвое ближе, чем в прошлый раз. К тому же голос как будто бы принадлежал *крупному* зверю.

Путники повернули головы на звук. Эдди почувствовал, что волосы на шее сзади силятся встать дыбом. Им это удалось не вполне. «Пardon, волосики, — тупо подумал он. — Наверное, причесон у меня несколько длинней, чем надо».

Рычание перешло в пронзительный страдальческий вопль, точно там, откуда оно несло, погибало страшной смертью какое-то живое существо (возможно, на самом деле это означало всего-навсего удачную случку). На мгновение этот почти непереносимый вой завис в воздухе, а затем пошел на убыль, соскальзывая во все более низкие регистры, и в конце концов не то смолк, не то утонул в непрекращающемся плаче ветра. Они подождали, но крик не повторился. Для Эдди, однако, это было неважно. Вытащив револьвер из-за пояса, он протянул его Одетте.

— Бери и не выступай. Если тебе *позарез* приспичит им воспользоваться, ты ни хрена не добьешься — с этой дрянью всегда так, — но все равно бери.

— Хочешь поспорить?

— Да спорь, ради Бога. Спорь сколько хочешь.

Задумчиво поглядев в почти что светло-карие глаза Эдди, Одетта улыбнулась, но улыбка вышла несколько усталой.

— Кажется, спорить я не стану. — Она взяла револьвер. — Пожалуйста, поспеши.

— Есть! — Он опять поцеловал ее, на сей раз торопливо, и чуть было не сказал «береги себя»... Но серьезно, братва, как она могла «берег себя» при таком раскладе?

Пробираясь в сгущающихся сумерках вниз по склону (исполиньские омары еще не выползали, но их еженощное появление было не за горами), Эдди опять посмотрел на слово, написанное на двери, и каждую клеточку его тела пронизал знобящий холод. Слово было подходящее. Боже правый, такое подходящее! Он опять посмотрел туда, откуда спускался. Мгновение он не мог разглядеть Одетту, потом заметил какое-то движение. Более светлое пятнышко коричневой ладони. Одетта махала ему.

Помахав в ответ, Эдди развернул кресло, наклонил его так, что передние, более слабые и маленькие колеса оторвались от земли, и побежал. Он бежал на юг той же дорогой, которой они пришли. Примерно первые полчаса рядом быстро скользила его тень — пригвожденная к подметкам кроссовок невероятная тень тощего великана, вытянувшаяся на ярды и ярды к востоку. Потом солнце село, тень исчезла, а в волнах закувыркались уродливые клешнястые твари.

Минут через десять после того, как Эдди услышал первые звуки их бормотания, он поднял голову и увидел вечернюю звезду, равнодушно горевшую на густо-синем бархате небес.

Тени божественной ночи спускаются... сумерек время пришло... Спаси ее и сохрани. Ноги уже ныли, затрудненное дыхание было слишком жарким, в груди горело, в перспективе ждал третий переход, теперь уже со стрелком в качестве пассажира, но, хотя Эдди догадывался, что Роланд на добрых сто фунтов тяжелее Одетты и надо бы побереечь силы, он все равно продолжал бежать.

Спаси и сохрани, вот мое желание, спаси и сохрани мою любимую.

И, словно предвещая беду, где-то в страдальческих изгибах лошин взвизгнула дикая кошка... только эта кошка, судя по голосу, была большой, аки лев, рыкающий в африканских джунглях.

Эдди прибавил ходу, толкая перед собой порожнее кресло, и вскоре ветер принялся омерзительно-тонко поддывать в свободно вращающихся спицах приподнятых передних колес.

11

Ушей стрелка коснулся тонкий заунывный вой. Звук этот приближался, и Роланд напрягся, но, расслышав тяжелое дыхание, расслабился. Эдди. Он мог сказать это даже с закрытыми глазами.

Стонущий звук мало-помалу затих, стремительные шаги замедлились, и Роланд открыл глаза. Перед ним, пыхтя и отдуваясь, стоял Эдди. По щекам юноши струился пот. Рубашка прилипла к груди одним темным пятном. Последние остатки образа «мальчика из колледжа», на котором настаивал Джек Андолини, исчезли. Волосы свисали на лоб. Штаны разъехались в шагу. Картину дополняли синевато-лиловые круги под глазами. Эдди Дийн был воплощением неряшества.

— Справился, — выговорил он. — Я здесь. — Молодой человек огляделся, потом опять посмотрел на стрелка, словно никак не мог поверить. — Господи Иисусе, я в самом деле *здесь*.

— Ты отдал ей револьвер.

Эдди подумал, что стрелок выглядит плохо — не лучше, чем до первого, сокращенного, курса кефлекса, быть может, чуть хуже. Казалось, жар горячки так и пышет от него волнами. Эдди понимал, что должен бы жалеть Роланда, но, похоже, в эту минуту был способен испытывать только адскую злость.

— Я из кожи вон лезу, чтоб попасть сюда в рекордное время, и все, что ты можешь мне сказать, это «Ты отдал ей револьвер». Ну, спасибо, приятель. То есть особых изъяснений благодарности я и не ждал, но это уж ни в какие *ворота* не лезет, едрена мать.

— По-моему, я сказал единственно важную вещь.

— Ну, раз уж ты завел об этом речь — да, я отдал ей револьвер, — сказал Эдди, подбоченясь и язвительно глядя на стрелка сверху вниз. — А теперь выбирай: либо ты садишься в кресло, либо я его складываю и пробую запихнуть тебе в жопу. Чего изволите, барин?

— Ничего. — Роланд едва заметно улыбался, словно нехотя, но ничего не мог с собой поделать. — Сперва ты вздремнешь, Эдди. Когда придет время смотреть, мы посмотрим, что к чему, но сейчас тебе нужно выспаться. Ты вымотан.

— Я хочу вернуться к ней.

— Я тоже. Но если ты не отдохнешь, то свалишься по дороге. Просто свалишься. Скверно для тебя, еще хуже для меня и хуже всего для нее.

Эдди секунду постоял в нерешительности.

— Ты уложился в недурное время, — признал стрелок. Он прищурился на солнце. — Сейчас четыре, быть может, четверть пятого. Ты проспичь пять, возможно, семь часов, и будет уже совсем темно...

— Четыре. Четыре часа.

— Хорошо. Будешь спать, пока не стемнеет — я считаю, это не пустяки. Потом поешь. Потом мы тронемся в путь.

— Ты тоже поешь.

Снова — слабая улыбка.

— Попробую, — стрелок невозмутимо посмотрел на Эдди. — Теперь твоя жизнь в моих руках; полагаю, ты это понимаешь.

— Да.

— Я тебя похитил.

— Да.

— Хочешь убить меня? Если так, лучше сделай это сейчас и больше не ставь никого из нас... — Когда стрелок дышал, в груди у него негромко свистело. Эдди слышал эти хрипы, но они очень мало волновали его. — ...в затруднительное положение.

— Я не хочу убивать тебя.

— Тогда... — речь Роланда прервал внезапный резкий приступ кашля, — ...укладывайся, — закончил стрелок.

Эдди улегся. Бывало, сон медленно наплывал на него, но сейчас он схватил юношу грубыми руками неловкого в своем рвении любовника. Эдди услышал (или это ему только пригрезилось), как Роланд говорит: *«Но отдавать ей револьвер не следовало»*, и неведомо на сколько времени погрузился в тьму и неведение, а потом Роланд затряс его, чтобы разбудить. Когда Эдди наконец сел, ему показалось, что в его теле не осталось ничего, кроме боли: боли и тяжести. Мышцы словно бы превратились в заржавленные блоки, шкивы и лебедки заброшенного цеха. Из первой попытки встать ничего не вышло. Он тяжело плюхнулся обратно на песок. Со второй попытки Эдди удалось подняться, однако он чувствовал, что даже на такое простое действие, как поворот кругом, у него уйдет порядка двадцати минут. Причем поворачиваться будет больно.

Роланд вопросительно смотрел на него.

— Ты готов?

Эдди кивнул.

— Да. А ты?

— Да.

— Сможешь?

— Да.

И они принялись за еду... А после Эдди пустился в свой третий и последний поход по окаянному взморью.

12

За вечер они проехали приличное расстояние, и все же, когда стрелок объявил привал, Эдди испытал смутное разочарование. Он ничем не проявил своего несогласия, поскольку попросту чересчур устал, чтобы идти дальше без отдыха, однако, отправляясь в путь, надеялся пройти больше. Тяжесть. Вот что было нешуточной проблемой. По сравнению с Одеттой, везти Роланда было все равно, что везти железные бруссы. Перед рассветом Эдди проспал еще четыре часа. Он проснулся, когда над разрушающимися холмами, в которые выродились горы, вставало солнце, и прислушался к кашлю стрелка. Кашель был слабым, хриплым — перханье старика, возможно, большого воспалением легких.

Их глаза встретились. Приступ кашля превратился в смех.

— Неважно, каким я кажусь, Эдди. Я еще не уходился. А ты?

Эдди подумал о глазах Одетты и потряс головой.

— Уходил — не уходился, но куда девать чизбургер с «будончиком» — нашел бы.

— С бутончиком? — с сомнением повторил стрелок, представляя себе яблони и весенние цветы в Придворных Садах Его Величества.

— Неважно. Ну, запрыгивай, дружок. Четырех колес тебе не будет, с ветерком прокатить тоже не обещаю, но все равно на десяток-другой миль мы уедем.

Сказано — сделано; однако и второй день расставания с Одеттой склонился к закату, а они все еще медленно тащились к тому месту, где молодым людям явилась третья дверь. Эдди прилег было, думая покемарить еще часика четыре, но спустя каких-нибудь два часа пронзительный крик одной из диких кошек вырвал его из сна. Сердце у Эдди колотилось. Боже правый, судя по тому, как эта сволочь вопила, она была *огромной*.

Он увидел, что стрелок приподнялся на локте, блестя в темноте глазами.

— Готов? — спросил Эдди. Кривясь от боли, он медленно поднялся.

— А ты? — снова очень тихо поинтересовался Роланд.

Эдди размял спину. В ней захрустело и затрещало, точно там один за другим вспыхивали сниженные в гирлянду крохотные бенгальские огни.

— Угу. Но я и вправду плотно занялся бы чизбургером.

— Я думал, тебе хотелось курочки.

Эдди тяжело вздохнул.

— Дай отдохнуть, старик.

К тому времени, как солнце скрылось за холмы, третья дверь была видна как на ладони. Еще через два часа они наконец оказались возле нее.

«Опять все вместе», — подумал Эдди, готовый рухнуть на песок.

Но он, видимо, ошибался. Никаких признаков Одетты Холмс не было. Ее и след пропал.

13

— *Одетта!* — пронзительно крикнул Эдди, и теперь его голос был таким же сорванным и хриплым, как у второго номера Одетты.

Но к нему не вернулось даже эхо — ничего, что можно было бы хотя бы спутать с ее голосом. Невысокие, изъезженные холмы не желали отражать звук. Слышались только грохот волн, гораздо более громкий на этом темном клине суши, гулкий рокот прибоя, гудящего в конце тоннеля, прорытого им в рыхлом, крошащемся камне скал, да непрекращающиеся причитания ветра.

— *Одетта!*

На этот раз Эдди завопил так громко, что голос у него сорвался, а голосовые связки ударило что-то вроде острого зубца рыбьей кости. Глаза Эдди лихорадочно обшаривали холмы в поисках светло-коричневого пятнышка (которое оказалось бы ладонью Одетты), или движения (если бы Одетта приподнялась), или... (прости ему, Боже) ярких брызг крови на буром камне.

Он поймал себя на том, что гадает, как поступит, если все же увидит кровь или найдет револьвер, в гладкий сандал рукоятки которого будут глубоко впечатаны следы зубов. Подобное зрелище могло довести Эдди до истерики, даже свести с ума, однако он продолжал высматривать — это ли, что-то другое, все равно.

И ничего не видел, ничего не слышал — даже намек на ответный крик.

Стрелок тем временем внимательно изучал третью дверь. Он ожидал увидеть только одно слово; слово, которое употребил человек в черном, перевернув на пыльной Голгофе, где они держали совет, шестую карту из колоды Таро. «Смерть», — сказал тогда Уолтер, — *но не твоя, стрелок.*

Однако слово, написанное на двери, вовсе не было словом СМЕРТЬ. Беззвучно шевеля губами, стрелок снова прочитал:

ТОЛКАЧ

«И все же оно означает смерть», — подумал Роланд и понял, так и есть.

Звук удаляющегося голоса Эдди заставил его оглядеться. Эдди, не переставая выкрикивать имя Одетты, уже карабкался на первый склон.

Секунду Роланд раздумывал. Может быть, стоило просто отпустить его?

Возможно, Эдди нашел бы Одетту. Возможно даже, он нашел бы ее живую, не слишком сильно пострадавшую и по-прежнему, что называется, «в себе». Стрелок полагал, что эта парочка смогла бы даже устроить себе тут своего рода жизнь — взаимная любовь Одетты и Эдди могла бы как-нибудь задуть полную яда белену, именовавшую себя Деттой Уокер. Да, он полагал возможным, что вместе эти двое просто задавили бы Детту насмерть. Роланд был своего рода суровым романтиком... и все-таки достаточным реалистом, чтобы знать: порой любовь действительно побеждает все. Что же до него самого... даже будь Роланд в силах добыть из мира Эдди те снадобья, что однажды уже почти вылечили его, смогли бы они излечить его или хотя бы положить начало исцелению теперь? Теперь Роланд был очень болен и ловил себя на том, что гадает, не слишком ли далеко зашло дело. Руки и ноги терзала тупая ноющая боль, в голове глухо стучало, в забитой мокротой груди ощущалась тяжесть. Когда он кашлял, в левом боку что-то болезненно скрежетало, словно ребра там были сломаны. Левое ухо пылало. Возможно, думал он, пришло время покончить с этим, попросту объявить отбой.

Тут все в нем восстало против подобной мысли.

— Эдди! — крикнул он. Кашля на сей раз не было и в помине: голос стрелка прозвучал мощно, властно.

Эдди обернулся: одна нога — на сырой земле, другая прочно стоит на выдающемся из почвы каменном уступе.

— Давай, — сказал он, делая короткий странный жест, словно отметал что-то. Жест этот говорил о желании избавиться от стрелка и тем самым получить возможность заняться *настоящим* делом, *важным* делом — поисками и, при необходимости, спасением Одетты. — Все нормально. Давай, прошвырнись на ту сторону и добудь лекарство, которое тебе нужно. Когда вернешься, мы оба будем здесь.

— Сомневаюсь.

— Я должен ее найти. — Эдди посмотрел на Роланда — это был совершенно беззащитный взгляд очень молодого человека. — Я хочу сказать, мне *правда* нужно.

— Мне понятна и твоя любовь, и твое стремление. — сказал стрелок, — но я хочу, Эдди, чтобы на этот раз мы пошли вместе.

Эдди долгое время не сводил с Роланда неподвижного взгляда, словно силясь поверить в то, что услышал.

— Вместе, — наконец ошеломленно выговорил он. — *Вместе!* Боже правый, теперь я думаю, что и правда все расслышал. *Все,*

трам-тарарам! В прошлый раз, когда ты был так же решительно настроен оставить меня здесь из желания рискнуть собственной шеей — я ведь мог перерезать тебе горло. Сейчас ты хочешь рискнуть тем, что какая-нибудь тварь вырвет глотку *ей*.

— Быть может, это уже произошло, — ответил Роланд, хотя знал, что кривит душой: Владычица, возможно, и пострадала, однако не погибла.

К несчастью, понимал это и Эдди. Не то семь, не то десять дней без героина замечательно обострили его способность соображать. Молодой человек указал на дверь:

— Ты же знаешь, что она не погибла. Иначе эта проклятая штука пропала бы. Вот разве что ты врал, когда говорил, будто толку не будет, если не будет хоть одного из нас троих.

Эдди попытался опять повернуться лицом к склону, но взгляд Роланда как гвоздями удерживал его на месте.

— Хорошо, — сказал стрелок. Почти таким же мягким его голос был тогда, когда, не обращая внимания на истошные вопли и полное ненависти лицо Детты, он говорил с женщиной, запертой где-то за этим уродливым фасадом. — Она жива. Что ж она тогда не отзывается?

— Ну... возможно, ее унесла одна из этих тварей... кошек... — Но голос Эдди звучал нерешительно.

— Кошка убила бы ее, наелась и бросила бы остальное. Самое большее — оттащила бы труп в тень, чтобы ночью вернуться и доест мясо, которое, быть может, еще не успело бы испортиться на солнце. Но, будь это так, дверь бы исчезла. Кошки — не насекомые, которые, парализовав добычу, уносят ее, чтобы съесть позднее. И ты это знаешь.

— Это не обязательно верно, — возразил Эдди. На миг ему послышался голос Одетты — *«Вам следовало бы состоять в команде спорщиков, Эдди»* — однако он отогнал эту мысль. — Может быть, явилась кошка и Одетта попыталась ее застрелить, но первые два патрона в твоём револьвере дали осечку. Черт побери, может, не два, а четыре или даже пять. Кошка добирается до нее, калечит, вот-вот убьет, и вдруг... БАБАХ! — Эдди звонко стукнул кулаком по ладони — картина, стоявшая у него перед глазами, была такой живой и яркой, словно он видел все это воочию. — Пуля убивает кошку, или, может, только ранит, или просто пугает, и зверюга дает деру. Что скажешь?

Роланд негромко заметил:

— Мы бы услышали выстрел.

На секунду Эдди застыл, потеряв дар речи, не в силах придумать никаких встречных доводов. Конечно, они бы непременно услышали выстрел. Когда они в первый раз услышали мяуканье дикой кошки, та, должно быть, находилась в пятнадцати, если не в двадцати милях от них. Пистолетный же выстрел...

Он неожиданно хитро посмотрел на Роланда и сказал:

— А может быть, *ты* слышал. Может, пока я спал, *ты* слышал выстрел.

— Он бы разбудил тебя.

— Только не сейчас, старик. Я так выматываюсь, что засыпаю...

— Мертвецким сном, — прежним мягким тоном закончил стрелок. — Это чувство мне знакомо.

— Тогда ты понимаешь...

— Это не то же самое, что *быть* мертвым. Вчера ночью ты отключился именно так, но стоило завизжать одной из кошек — и ты в считанные секунды очнулся и оказался на ногах. Ведь ты тревожишься за эту женщину. Никакого выстрела не было, Эдди, и ты это знаешь. Ты бы непременно его услышал. Оттого, что она тебе безразлична.

— Ну так, может быть, Одетта размозжила голову этой твари камнем! — закричал Эдди. — Откуда, черт возьми, мне это знать, если вместо того, чтобы проверять возможные варианты, я стою тут и препираюсь с тобой? Может, она лежит где-то там, наверху, раненая! Вот что я хочу сказать, старик! Раненая или умирающая от потери крови! Понравилось бы тебе, если бы я *прошел* с тобой в дверь и, пока мы были бы на другой стороне, Одетта бы умерла? Понравилось бы тебе, если б ты оглянулся раз — дверь на месте, оглянулся другой — а ее как не бывало, потому что не стало *Одетты*? Тогда *ты* навсегда застрянешь в *моем* мире, а не наоборот! — Юноша стоял, сжав кулаки, тяжело дыша и сердито сверкая глазами.

Роланд ощутил усталое раздражение. Кто-то — быть может, Корт, но ему казалось, что, скорее, отец — любил говорить: «Что спорить с влюбленным, что пытаться выпить океан ложкой — все едино». Если этому присловью требовалось какое-нибудь подтверждение, оно стояло сейчас перед Роландом, все — дерзкий вызов и готовность защищаться. «Давай-давай, — говорила поза Эдди Дийна. — Валяй, стрелок, я могу ответить на любой вопрос, какой ты мне задашь».

— Могло случиться так, что ее нашла не кошка, — сказал теперь Эдди. — Пусть это твой мир, но, по-моему, в этой его части ты бывал не чаще, чем я — на Борнео. Ты ведь не знаешь, что может рыскать в холмах наверху, верно? Вдруг она попала в лапы, к примеру, какой-нибудь здоровенной обезьяне?

— Да уж. В чьи-то лапы она попала, — согласился стрелок.

— Ну, слава Богу, болезнь не окончательно лишила тебя здравого рассуд...

— И мы оба знаем, чьи это лапы. Детты Уокер! Вот кому она попалась. Детте Уокер.

Эдди открыл рот, но при виде беспощадного лица стрелка все доводы молодого человека ненадолго, всего на несколько секунд (которых, впрочем, обоим хватило на то, чтобы признать правду), вылились в молчание.

— Так быть *не должно*.

— Подойди-ка поближе. Толковать, так толковать. Всякий раз, как мне приходится перекрикивать волны, это выдирает из моей глотки очередной кусок. Во всяком случае, ощущение именно такое.

— Бабушка, бабушка, а почему у тебя такие большие глазки? — сказал Эдди, не двигаясь с места.

— Черт побери, что ты мелешь?

— Есть одна такая сказочка. — Эдди и в самом деле спустился чуть пониже, но прошел по склону совсем немного, ярда четыре, не больше. — Небылица. А небылицы — это то, что у *тебя в голове*, если ты веришь, будто сумеешь уговорить меня подойти к этому креслу достаточно близко.

— Достаточно близко? *Зачем?* Не понимаю, — сказал Роланд, хотя все прекрасно понимал.

С высоты почти в сто пятьдесят футов и, вероятно, доброй четвертью мили восточнее эту живую картину напряженно наблюдали темные глаза — глаза, столь же умные, сколь лишенные человеческого милосердия. Разобрать слова участников описываемой сцены было невозможно — ветер, волны и гулкий рокот прибоя, пробивавшего свой подземный тоннель, позаботились об этом, однако, чтобы понять, о чем *толкуют* эти люди, Детте не было необходимости слышать, что они *говорят*. Она и без подзорной трубы видела, что Настоящий Гад теперь вдобавок был Взаправду Хворым. Может, Настоящий Гад и горел желанием несколько дней, а то и недель, помучить безногую негрityанку (судя по окружающей обстановке, с развлечениями в этих местах было туго), но Взаправду Хворому, думала Детта, хотелось только одного, а именно — убрать отсюда свою белую задницу. Воспользоваться волшебной дверью и утянуть в нее свое сраное очко. Впрочем, раньше самому ему не приходилось уносить ноги. Ни ноги, ни то место, откуда они растут. Раньше Настоящий Гад сидел ни много ни мало, у нее, у *Детты, в голове*. Ей по-прежнему не хотелось думать ни о том, как это происходило и что она чувствовала, ни о том, как легко, играючи, он подавил все ее отчаянные попытки вытолкнуть его *вон* из своего сознания и опять обрести контроль над собой. Это было страшно. Жутко. Хуже того — Детта *не понимала*. Что, собственно, было настоящим источником ее ужаса? Само вторжение? Нет, и уже одно это изрядно пугало. Детта знала: обследуй она себя более тщательно, она могла бы понять... но она не хотела этого делать. Подобные изыскания могли увести в места вроде тех, что в древние времена внушали благоговейный страх мореходам; ни больше, ни меньше — на край света, туда, где картографами оставлена пометка «ЗДЕСЯ ЗМЕЮКИ». Вторжение

Настоящего Гада было отвратительно возникшим с ним ощущением *привычности*, словно такие поразительные вещи случались с Деттой и раньше — не однажды, но много раз. Впрочем, испуганная ли, нет ли, она не поддавалась панике и все примечала даже во время схватки с незванным гостем. Детта помнила, как заглянула в дверной проем, когда стрелок ее руками катил к нему инвалидное кресло. Она помнила, что увидела тело Настоящего Гада, простертое на песке, и Эдди, присевшего над ним с ножом в руке.

Кабы этот Эдди вонзил нож в горло Настоящему Гаду! То-то было бы здорово! Что там — свиней резать! И рядом не лежало!

Эдди устоял перед искушением, но тело Настоящего Гада Детта увидела. Оно дышало, и все равно, *тело* было самым подходящим словом — никчемная *вещь* вроде старого джутового мешка, который какой-то кретин доверху набил сорной травой или кукурузной шелухой.

Сознание Детты было уродливо и безобразно, точно грубое растление ребенка, но соображала она еще быстрее и бойче, чем Эдди. «Настоящий Гад тут все саниной с уксусом исходил. Ну, теперь все. Слезай, приехали. Он знает, что я тут, наверху, и единственно, чего хочет, так это унести ноги, покамест я не спустилась и не выдернула их ему из жопы. Правда, его сопливый дружок... у того силенки еще хоть отбавляй, тот еще не натешился вволю, не накуражился надо мной досыта. Этому поганцу неймется подняться сюда, выследить меня и поймать, а как там будет Настоящий Гад, ему по х**. Факт. Думает, дескать, такому жеребцу, как я, безногая черномазая сучка не ровня. Мне, мол, в бега ударяться неохота, мне охота сперва эту черную мандавошку отследить. Вот, дескать, вдулю ей раз-другой, а уж *потом* можно топать, куда пожелаешь. Вот что он, небось, думает, но это ништяк. Все будет в ажуре, сволочь белопузая. Коли ты воображаешь, будто можешь объегорить Детту Уокер, подымись сюда, в эти Овраги, и попробуй. Ты еще узнаешь, золотко, что со мной м***хаться — как против ветра ссать, тут я ас! Ты еще узнаешь...»

Однообразный ход мыслей Детты вдруг прервал некий звук, явственно донесшийся к ней сквозь прибой и ветер: тяжкий грохот револьверного выстрела.

15

— А по-моему, ты понимаешь это лучше, чем показываешь, — сказал Эдди. — *До фига* как хорошо понимаешь. По-моему, тебе хочется, чтобы я подошел туда, где меня можно будет схватить, вот что. — Не отрывая взгляда от лица Роланда, юноша дернул головой в сторону двери и, не ведая, что неподалеку кто-то думает то же самое, прибавил: — Знаю, знаю, ты болен. Но, может быть, ты делаешь вид, что намного слабее, чем на самом деле. Может, ты самую капельку филонишь.

— Может быть, — без улыбки проговорил Роланд и добавил: — Однако это не так.

Хотя... отчасти это было именно так.

— Впрочем, от нескольких лишних шагов вреда не будет, правда? Долго орать я не смогу. — Словно в подтверждение правоты стрелка, последний слог прозвучал хриплым лягушачьим кваком. — Но мне необходимо заставить тебя подумать, что ты делаешь... что ты надумал сделать. Раз уж нельзя убедить тебя пойти со мной, возможно, я сумею хотя бы... заставить тебя снова насторожиться.

— Ради твоей драгоценной Башни, — фыркнул Эдди, однако, осклабываясь и вздымая изорванными теннисными туфлями вялые облачка темной, красновато-бурой пыли, спустился до середины уже преодоленного им ранее участка склона.

— Ради моей драгоценной Башни и *твоего* драгоценного здоровья, — сказал стрелок. — Не говоря уж о твоей драгоценной жизни.

Из кобуры на левом бедре, повинаясь руке Роланда, выскользнул второй, и последний, револьвер. Стрелок посмотрел на него с выражением и печальным, и в то же время отстраненно-холодным.

— Если ты думаешь, что сумеешь меня испугать...

— Не думаю. Ты же знаешь, что я не могу застрелить тебя, Эдди. Но мне кажется, тебе действительно необходимо преподать наглядный урок того, как изменилось положение дел. Как сильно оно изменилось.

Роланд поднял револьвер, прицелился — не в юношу, в пустынный океан, где ходили большие волны — и большим пальцем спустил курок. В ожидании оглушительного грохота выстрела Эдди внутренне подобрался.

Ничего подобного. Только унылый щелчок.

Роланд опять оттянул боек. Барабан провернулся. Стрелок нажал на курок, и вновь они не услышали ничего, кроме слабого щелчка.

— Не переживай, — сказал Эдди. — Там, откуда я родом, министерство обороны наняло бы тебя после первой же осечки. С таким же успехом ты мог бы...

Но оглушительное «БА-БАХ!» револьвера обрубило окончание фразы так же аккуратно и чисто, как Роланд в бытность свою учеником, упражняясь в стрельбе по мишеням, обрубал с деревьев мелкие веточки. Эдди подскочил. Выстрел мигом оборвал доносившиеся с холмов непрерывное *риииииииии* насекомых, которые медленно и осторожно возобновили пение лишь после того, как Роланд положил револьвер себе на колени.

— И что, черт возьми, это доказывает?

— Полагаю, что все зависит от того, к чему ты прислушаешься, а что откажешься выслушать, — чуть резковато ответил Роланд. — Это должно доказывать, что среди этих патронов есть и хорошие. Кроме того, это наводит на подозрения — на *сильные* подозрения, — что в том револьвере, который ты отдал Одетте, часть патронов, возможно, даже *все* патроны — годные.

— Чушь собачья! — Эдди помолчал. — С чего бы?

— А вот с чего: револьвер, из которого я сейчас стрелял, я зарядил патронами с самого низа патронных лент — иными словами, теми, что намокли сильнее прочих, — и сделал это просто для того, чтобы убить время до твоего возвращения. Понятно, нельзя сказать, что заряжать револьвер — дело долгое, даже если на руке не хватает двух пальцев! — Роланд рассмеялся, но смех почти сразу перешел в кашель, и чтобы унять его, стрелок прижал ко рту обкорнанный кулак. Когда кашель стих, Роланд продолжил: — Однако после того, как пробуешь стрелять подмокшими патронами, револьвер следует разобрать, а механизм — вычистить. «Револьвер разобрать, механизм вычистить, личинки», — вот первое, что вдолбил нам Корт, наш учитель. Я не знал, сколько времени затрачу на разборку, чистку и сборку револьвера, если у меня всего полторы руки, но подумал, что коль скоро намерен жить и дальше — а я намерен, Эдди, твердо намерен — это лучше выяснить. Выяснить и со временем научиться управляться быстрее, как по-твоему? Подойди поближе, Эдди! Во имя своего отца, подойди поближе!

— Чтобы лучше видеть тебя, дитя мое, — сказал Эдди, делая, впрочем, пару шагов в сторону Роланда. Пару шагов, *не больше*.

— Когда в первый же раз, как я нажал на курок, грянул выстрел, я чуть в штаны не наложил, — сказал стрелок. Он опять рассмеялся. Потрясенный Эдди понял, что Роланд достиг той грани, за которой начинались горячка и бред. — Первый же «желудь» выстрелил! Но поверь — это было *последнее*, чего я ожидал.

Эдди попробовал определить, не лжет ли стрелок — и насчет револьвера, и насчет своего состояния. Да, парняга приболел. Но действительно ли так уж сильно? Эдди не знал. Если Роланд притворялся, притворялся он классно; что касается револьверов, Эдди никак не мог сказать, что — правда, что — ложь: опыта обращения с оружием у него не было. До того, как очутиться в перестрелке на хате у Балазара, он за всю свою жизнь стрелял из пистолета, наверное, раза три. *Генри*, быть может, и разобрался бы, но Генри был мертв... мысль, которая имела обыкновение неизменно заставлять Эдди врасплох, наново ввергая в пучину горя.

— Больше ни один не выстрелил, — продолжал стрелок, — я прочистил механизм, перезарядил револьвер и опять прощелкал весь барабан. На этот раз я взял те патроны, что занимали гнезда чуть поближе к пряжкам патронных лент. Те, что должны были отсыреть еще меньше — ведь самыми сухими были самые ближние к пряжкам патроны. Ими мы все время и заряжали револьверы, чтобы добыть еду.

Роланд замолчал, сухо покашлял в ладонь и продолжал.

— Я полностью прощелкал барабан во второй раз и наткнулся на два годных патрона. Я опять разобрал револьвер, снова вычистил его и зарядил в третий раз. Только что у тебя на глазах я трижды спустил

курок, проверяя первые три из заряженных мною гнезд. — Стрелок слабо улыбнулся. — А знаешь, после первых двух щелчков я подумал: вот оно, мое окаянное везенье — заполнил барабан одной сыростью. Не слишком убедительная демонстрация получилась бы, а, Эдди? Ты не подойдешь немного поближе?

— Совершенно неубедительная, — отозвался Эдди. — Нет, спасибо, я думаю, что подходить ближе, чем сейчас, не буду. Какой же урок я, по идее, должен извлечь из всего этого, Роланд?

Роланд посмотрел на Эдди так, как смотрят на слабоумных.

— Да будет тебе известно, я отправил тебя сюда не умирать. Я *обоих* вас отправил сюда не для того, чтобы вы погибли. Великие боги, Эдди, где твои мозги? У нее револьвер с *боевыми патронами*! — Стрелок пристально смотрел на молодого человека. — Она где-то наверху, в холмах. Возможно, ты воображаешь, будто сумеешь напасть на след этой женщины и выйти на нее, но, если земля действительно такая каменистая, какой кажется с этого места, удачи не жди. Эта женщина — Детта, а не Одетта! — залегла там, наверху, Эдди, залегла с заряженным боевыми патронами револьвером в руке. Стоит мне оставить тебя, как ты отправишься за ней, и тогда она вышибет тебе кишки через задницу.

Он снова судорожно закашлялся.

Эдди не сводил глаз с сотрясаемого кашлем человека в инвалидном кресле. Волны тяжело бились о берег, ветер выдувал свою нескончаемую идиотскую ноту. Наконец он услышал собственный голос:

— Один патрон из тех, о которых *знаешь*, что они в порядке, ты мог и припрятать. По-моему, ты вполне способен на такое. — И, сказав так, Эдди понял: да, верно — он считает Роланда способным и на это, и на любую другую подлость.

Его Башня.

Его проклятая Башня.

Но каково коварство — вложить уцелевший патрон в *третье* гнездо барабана! Придает происходящему нужный оттенок реальности, не так ли? Отчего становится трудно не верить.

— В моем мире, — сказал Эдди, — есть одно присловье. «Этот и эскимосу холодильник продаст». Вот такая поговорка.

— Как ее понимать?

— А так: да пошел ты...

Стрелок долгое время смотрел на молодого человека, потом кивнул.

— То есть ты остаешься. Хорошо. Если эта женщина — Детта, те дикие животные, что, возможно, водятся в округе, не так опасны для нее, как если бы она была Одеттой. Для тебя самого — по крайней мере, пока — было бы безопаснее держаться от нее подальше, однако ситуация мне понятна. Она мне не по душе, но времени спорить с дураком у меня нет.

— Значит ли это, — вежливо поинтересовался Эдди, — что никто никогда не пытался поспорить с тобой насчет этой Темной Башни, к которой ты так решительно настроен добратся?

Роланд устало улыбнулся.

— На самом деле — очень многие. Полагаю, потому-то я и понял, что тебя не уговоришь. Дурак дурака видит издалека. Как бы там ни было, я чересчур слаб, чтобы схватить тебя, ты — явно слишком осмотрителен, чтобы поддаться на мои уговоры и подойти туда, где я сумел бы тебя ухватить, а времени осталось так мало, что не до споров. Мне остается только идти, уповая на лучшее. Но перед уходом я в последний раз скажу тебе — послушай меня, Эдди! — *будь начеку*.

И Роланд сделал нечто такое, что заставило Эдди устыдиться всех своих сомнений (впрочем, нимало не поколебав его решимости): привычно тряхнув запястьем, он откинул барабан револьвера, высыпал все патроны и заменил их новыми — из ближайших к пряжкам патронных лент петель. Еще одно неуловимо быстрое движение, и барабан со щелчком вернулся на место.

— Разбирать и чистить уже нет времени, — сказал Роланд, — но, полагаю, это погоды не сделает. Ну, лови — да смотри, лови аккуратно, не добавляй в механизм грязи. В моем мире вообще осталось не так уж много исправных механизмов.

Он перебросил револьвер через разделявшее их пространство. Поглощенный своими заботами и тревогами Эдди *в самом деле* чуть было не упустил его, однако в конце концов благополучно засунул оружие за пояс штанов.

Стрелок выбрался из инвалидного кресла, чуть не упав, когда под его надавившими на поручни ладонями оно скользнуло назад. Шатаясь, он направился к двери, схватился за ручку, и та в *его* руке свободно повернулась. Разглядеть, куда же открывается дверь, Эдди не сумел, однако услышал приглушенный шум уличного движения.

Роланд оглянулся. На страшно бледном лице мерцали голубые глаза снайпера.

16

Все это Детта наблюдала из своего укрытия, хищно поблескивая глазами.

17

— Помни же, Эдди, — хрипло повторил Роланд и ступил вперед. У границы дверного проема его тело сплющилось, словно вместо пустого пространства наткнулось на каменную стену.

Эдди испытал жадное стремление подойти к двери, заглянуть в нее и увидеть, куда — и в какое *когда* — она ведет. Вместо этого он

развернулся и опять обшарил холмы внимательным взглядом, держа руку на рукоятке револьвера.

Я в последний раз скажу тебе.

Внезапно Эдди, внимательно осматривавший пустынные бурые холмы, испугался.

Будь начеку.

Там, наверху, ничто не двигалось.

По крайней мере, Эдди ничего не замечал.

И все равно чувствовал ее.

Не Одетту; в этом стрелок был прав.

Эдди чувствовал *Детту*.

Он сглотнул и услышал, как в горле у него пискнуло.

Начеку.

Да. Но молодой человек впервые в жизни испытывал такую страшную потребность выспаться. Довольно скоро беспощадная жажда сна полностью захватит его; если Эдди не сдастся добровольно, сон возьмет его силой.

И тогда, пока он будет спать, появится Детта.

Детта.

Борясь с усталостью, Эдди окинул взглядом неподвижно застывшие холмы (глаза казались опухшими, веки — тяжелыми) и стал гадать, сколько же времени пройдет прежде, чем Роланд вернется с третьим, с *Толкачом*, кем бы тот (или та) ни был.

— Одетта? — без особой надежды позвал он.

Ответом ему была лишь тишина. Для Эдди началось время ожидания.

ТОЛКАЧ

Глава первая

ГОРЬКОЕ ЛЕКАРСТВО

1

Когда стрелок вошел в сознание Эдди, тот испытал мгновенную тошноту и такое чувство, будто за ним *следят* (сам Роланд ничего подобного не ощутил; об этом он узнал позже, от Эдди). Иными словами, юноша смутно почуял присутствие стрелка. В случае Детты Роланд, хочешь не хочешь, был вынужден незамедлительно *выйти вперед*. Детта не просто учуяла его присутствие — создавалось странное впечатление, что она *ждала* стрелка — стрелка или более частого гостя. Как бы там ни было, с первой же секунды пребывания Роланда в ее сознании она полностью сознавала его присутствие.

Джек Морт¹ не почувствовал ничего.

Он был слишком сосредоточен на мальчике.

Джек следил за мальчишкой вот уже две недели.

Сегодня он собирался его толкнуть.

2

Глаза, которыми смотрел сейчас стрелок, видели мальчика со спины, но даже со спины Роланд узнал его. Это был мальчик, встреченный им на постоялом дворе в пустыне; мальчик, спасенный им от Проризательницы в горах; мальчик, чьей жизнью он пожертвовал, когда наконец настало время выбирать — спасти его или догнать человека в черном; мальчик, который перед тем, как сорваться в бездну, сказал: «*Раз так, идите. Есть и другие миры, не только этот*». Да, вне всяких сомнений, мальчик был прав.

Мальчик этот был Джейк.

В одной руке он держал невзрачный коричневый бумажный пакет, в другой, за продернутую в горловину веревку — синюю полотняную сумку. Сквозь матерчатые бока выпирали какие-то углы, и стрелок подумал, что в сумке, должно быть, книги.

¹ Морт — Морт (фр.) — смерть.

Мальчик ждал, чтобы перейти улицу, наводненную потоком машин — Роланд понял, что это одна из улиц того самого города, откуда он забрал Невольника и Владычицу. Впрочем, все это сейчас было неважно. Важно было только одно: то, что произойдет — или не произойдет — в следующие несколько секунд.

Джейк попал в мир стрелка отнюдь не через волшебную дверь; он прошел другим, более грубым и понятным порталом: мальчик родился в мире Роланда, расставшись с жизнью в своем мире.

Его убили.

Точнее, его толкнули.

Джейка, шагнувшего в школу с пакетом бутербродов в одной руке и книжками в другой, толкнули на мостовую, и его переехала машина.

Толкнул мальчика человек в черном.

«Сейчас он сделает это! Вот сейчас он его столкнет! Так какая кара назначена мне за то, что в своем мире я погубил его! Мальчика убьют у меня на глазах, а я не успею остановить убийцу!»

Однако всю жизнь стрелок только и делал, что противился тупому и жестокому року — если угодно, это было его *ка* — а посему, даже не задумавшись, *вышел вперед*, повинувшись столь глубинным и непостижимым рефлексам, что они превратились почти в инстинкты.

И в это мгновение в голове у него вдруг мелькнула жуткая и в то же время ироническая мысль: *что, если телесная оболочка, в которую он вошел, по своей природе тело человека в черном? Что, если стрелглав ринувшись спасти мальчика, стрелок увидит, как его, Роланда, руки протягиваются вперед и толкают? Если ощущение, что он владеет ситуацией, лишь иллюзия, и последняя веселая шутка Уолтера в том, что Роланд сам убьет мальчика?*

3

На один-единственный миг Джек Морт потерял тонкую крепкую стрелу своей сосредоточенности. Он, уже готовый прыгнуть вперед и столкнуть мальчишку в поток машин, испытал некое ощущение, которое его сознание истолковало неверно — так порой тело относит острую боль, источником которой служит одна его часть, на счет совсем другой.

Когда стрелок *выступил на первый план*, Морт подумал, что ему на шею села какая-то букашка. Не пчела, не оса — ничего, способного по-настоящему *ужалить*, — просто какое-то насекомое, укус которого вызывает зуд. Возможно, комар. В этом он и усмотрел причину того, что в решающий момент его сосредоточенность ослабла. Пришлепнув букашку, Джек Морт вернулся к мальчишке.

Все, как ему показалось, произошло в мгновение ока; в действительности прошло семь секунд. Морт не почувствовал ни быстрого

продвижения стрелка вперед, ни его столь же быстрого отступления; никто из прохожих (люди с еще припухшими от сна лицами и обращенными внутрь полусонными глазами шли на работу; главным образом — с расположенной в соседнем квартале станции метро) не заметил, как за очками в строгой золотой оправе всегда темно-голубые глаза Джека посветлели. Никто не заметил и того, как они вновь потемнели до своей обычной синевы. Однако это произошло и, вновь сосредоточив свое внимание на мальчике, Морт с острой, словно колючка терна, яростью разочарования понял, что случай упущен. Свет сменился.

Проводив глазами мальчишку, переходившего улицу вместе с прочими баранами, Джек и сам повернул назад той же дорогой, что пришел, проталкиваясь против течения сквозь подобный океанскому приливу поток пешеходов.

— Эй, мистер! Смотреть надо, куда...

Девчонка-подросток с кислой физиономией — Джек ее и не заметил. Он грубо, сильно отпихнул ее в сторону. Целая охапка книжек разлетелась, обозленная девчонка принялась скликать на голову Джека все беды и несчастья, но он не оглянулся. Он, не останавливаясь, шагал по Пятой авеню, уходя от Сорок третьей улицы, где сегодня назначил мальчишке умереть. Он шагал, нагнув голову и так крепко сжав губы, что казалось, будто у него вовсе нет рта и только повыше подбородка — шрам от давно зажившей раны. Пробравшись через затор на углу, Морт не пошел медленнее, а, напротив, прибавил ходу, широким шагом пересекая Сорок вторую, Сорок первую, Сороковую улицы. Где-то в середине следующего квартала он миновал дом мальчишки и едва взглянул на него, хотя в течение последних трех недель по учебным дням каждое утро шел отсюда следом за мальчишкой; от дома на Пятой авеню Морт вел его три с половиной квартала до того угла, который в мыслях называл просто «Местом события».

Девчонка, на которую он налетел, что-то визгливо кричала ему вслед, но Джек Морт этого не замечал. Это занимало его не больше, чем какая-нибудь заурядная бабочка занимает энтомолога-любителя.

В своем роде Джек очень напоминал энтомолога-любителя.

По профессии он был преуспевающим бухгалтером-ревизором.

Толкать было для него всего лишь хобби.

4

Стрелок вновь отступил в глубь сознания этого человека и там лишился чувств. Если он и испытал какое-то облегчение, то лишь потому, что этот человек не был человеком в черном. Это не был Уолтер.

Все прочее являлось источником предельного, беспросветного ужаса... и полного просветления.

Расставшийся со своей брэнной оболочкой дух Роланда, его *ка*, остался прежним — острым, пронизательным и чуждым каких бы то ни было недугов, однако внезапность, с какой развеялось неведение, подействовала на него, точно предательский удар в висок.

Знание пришло к Роланду не тогда, когда он *выступил вперед*, а в тот миг, когда, убедившись, что мальчик в безопасности, он прокрался обратно. Роланд познал связь между человеком, в чьем сознании находился, и Одеттой — слишком фантастичную и все же, к его ужасу, слишком подходящую, чтобы быть совпадением. Он понял, чем *в действительности* может оказаться извлечение троих и кем — сами трое.

Этот человек, Толкач, не был третьим; третьим Уолтер назвал Смерть.

Смерть... но не твоя. Вот что сказал Уолтер, который даже в последние минуты был умен, как Сатана. Ответ законника... он был столь близок к истине, что истина могла прятаться в его тени. Смерть поджидала его не для того, чтобы унести в мир теней, — для того, чтобы *воплотиться* в нем.

Невольник, Владычица.

Третьим была Смерть.

Роланд вдруг исполнился уверенности, что третий — он сам.

5

Роланд ринулся *вперед* — снаряд, безмозглая ракета, запрограммированная лишь на одно: засечь человека в черном и в тот же миг метнуть в него занятую ею телесную оболочку.

Мысли о том, что может случиться, если он воспрепятствует человеку в черном убить Джейка — о возможном парадоксе, о свихе во времени и измерениях, который способен зачеркнуть, вымарать из жизни все происшедшее после того, как он прибыл на постоянный двор, — пришли только потом... Ведь, несомненно, если бы Роланд спас Джейка в этом мире, никакого Джейка *там* он бы не встретил, а весь последующий ход событий претерпел бы изменения.

Какие? Невозможно даже строить догадки. В частности, странствию стрелка мог бы прийти конец, однако эта мысль никогда не приходила ему в голову. И уж, конечно, такие запоздалые рассуждения были спорны; заметь Роланд человека в черном — и никакие последствия, никакой парадокс, никакой предначертанный судьбой ход событий не смогли бы помешать ему, пригнув голову занятого им тела, попросту протаранить грудь Уолтера. Роланд был бы так же бессилен поступить иначе, как револьвер не властен отказать пальцу, который жмет на курок, отправляя пулю в полет.

Если при этом все шло к черту — черт с ним.

Роланд быстро прощупал взглядом скопление прохожих на углу, заглянув в лицо каждому (женщин он рассматривал не менее подроб-

но и внимательно, чем мужчин, убеждаясь, что среди них нету той, которая лишь *притворяется* женщиной).

Уолтера там не оказалось

Стрелок постепенно расслабился — так в последнюю секунду может расслабиться палец, лежащий на спусковом крючке. Нет; Уолтера нигде поблизости от мальчика не было, и стрелок ощутил неизвестно откуда взявшуюся уверенность, что это — не то *когда*. Не совсем то. То *когда* было близко (до него оставалось две недели, неделя, даже, может быть, всего один-единственный день), но еще не наступило.

Поэтому Роланд *повернул обратно*.

По дороге он *увидел...*

6

...и от потрясения свалился без чувств: когда-то — давно — этот человек, в чье сознание открывалась третья дверь, сидел у самого окна убогой, покинутой жильцами комнатенки в здании, полном пустующих нежилых комнат — то есть, если не считать частенько ночевавших там пьянчужек и помешанных. Алкашню выдавал бьющий в нос отвратительный запах пота и нездоровый — мочи. Сумасшедших — вонь безумных, спутанных, мутных мыслей. Всю обстановку комнаты составляли два стула. Джек Морт использовал оба: один, чтобы сидеть на нем, второй — в качестве подпорки, чтобы не открывалась дверь, выходящая в коридор. Он не думал, что ему вдруг помешают, но лучше было не рисковать. Морт сидел достаточно близко к окну, чтобы выглядывать на улицу, но достаточно далеко от косой границы тени, чтобы не опасаться случайных зрителей.

В руке у него был крошащийся красный кирпич.

Его Морт выковырял из наружной стены, из-под самого окна, где таких неплотно сидящих кирпичей было предостаточно. Кирпич был старый, выветрившийся по углам, но тяжелый. К нему, как ракушки к днищу корабля, пристали куски допотопной штукатурки.

Джек собирался сбросить этот кирпич кому-нибудь на голову.

Кому — не имело значения. Когда речь шла об убийстве, Джек Морт становился работодателем, предоставляющим равные шансы всем, независимо от пола, цвета кожи или вероисповедания.

Чуть погодя внизу на тротуаре появилась семья из трех человек: мужчина, женщина, маленькая девочка. Девочка шла с внутренней стороны, вдоль домов, вероятно, чтобы держаться в безопасном отдалении от потока машин — здесь, так близко от вокзала, движение было весьма оживленным. Впрочем, автомобили не волновали Джека Морта. Его беспокоило другое: прямо напротив, на другой стороне улицы, дома уже снесли, оставив пустырь, усеянный мешаниной из обломков досок, битого кирпича и сверкающего стекла.

Высунуться было делом всего нескольких секунд, к тому же глаза Джека Морта притались за солнечными очками, а рыжеватые волосы прикрывала не соответствующая времени года вязаная шапочка. Это было то же самое, что стул под ручкой двери. Даже когда учтенные опасности тебе не угрожают, не вредно уменьшить число тех, что остались неучтенными.

Еще Джек надел футболку, которая была ему сильно велика и доходила почти до середины бедер. Если бы его заметили, такое облачение-мешок помогло бы скрыть истинные размеры и очертания тела (Джек был очень худым). Оно служило и иной цели: всякий раз устраивая кому-нибудь «сброс глубинной бомбы» (ведь Джек всегда думал об этом именно так: «сброс глубинной бомбы»), он кончал в штаны. Мешковатая футболка заодно закрывала и пятно, неизменно образовывавшееся на джинсах.

Семья приближалась.

«Не пори горячку, еще рано, погоди, вот и все, погоди...»

Трепеща, Джек подобрался к краю окна, выставил кирпич наружу, отшел назад, к самому животу, опять выставил, опять убрал (на сей раз, однако, лишь на половину расстояния), а затем (теперь уже, как всегда в предпоследний момент, само спокойствие и хладнокровие) высунулся из окна.

Он обросил кирпич и стал смотреть, как тот падает.

Кувыряясь, кирпич полетел вниз. В солнечном свете Джеку отчетливо были видны приставшие к нему ракушки известкового раствора. В такие минуты все становилось четким и ясным, как никогда, обнаруживало свою точную, строгую, геометрически правильную суть — вот что выталкивал в реальность Джек Морт; так скульптор, взмахнув молотком, опускает его на стамеску, меняя камень, творя из исодушевленной грубой кальдеры¹ некую новую сущность; возникала самая замечательная вещь на свете — логика, которая одновременно была и экстазом, иступлением, безудержным восторгом.

Порой Джек промахивался или задевал жертву по касательной — ведь скульптор, случается, ваяет скверно или впустую, — но сегодняшний бросок был безупречным. Кирпич попал девочке в ярком полосатом льняном платышке прямехонько в голову. Морт увидел брызнувшую кровь (она была ярче, чем кирпич, но в конце концов должна была засохнуть до такого же темного бордо). Услышал, как пронзительно закричала мать девочки. В следующий момент он сорвался с места.

Он пересек комнату и отшвырнул в дальний угол стул, подпиравший дверь (второй стул — тот, на котором он сидел выжидая, — Джек пинком отбросил в сторону, пробегая по комнате). Рывком задрал

¹ Кальдера — котлообразная впадина с крутыми склонами, образовавшаяся вследствие провала вершины вулкана.

футболку, он вытащил из заднего кармана большой платок и воспользовался им, чтобы повернуть ручку.

Оставлять отпечатки пальцев воспрещается.

Только дураки, которым не хочется жить, оставляют отпечатки пальцев.

Дверь качнулась, открываясь, и Джек Морт немедленно затолкал платок обратно в задний карман. Напустив на себя вид человека, находящегося в легком подпитии, он двинулся по коридору шаткой походкой. Не озираясь.

Озирались тоже только дураки.

Умные люди знали, что попытки оглядеться и выяснить, не засек ли тебя кто-нибудь, — самый верный способ обратить на себя внимание. Озирающийся человек — это именно то, что *может* запомнить свидетель несчастного случая. Потом какой-нибудь умник-легавый *может* счесть происшествие *подозрительным*, и начнется расследование. И все — из-за одного нервного взгляда по сторонам. Джек не думал, чтобы кто-нибудь сумел связать его с преступлением, даже сочтя «несчастный случай» внушающим подозрения, и расследование *имело бы место*, но...

Идти следует лишь на допустимый риск, прочее же сводить к минимуму. Иными словами, всегда подпирать дверь стулом.

Итак, Джек шагал по пыльному коридору, где из-под штукатурки пятнами проступала обрешетка. Он шел, опустив голову и что-то бормоча себе под нос, точно бездомный бродяга, уличный босьяк. К нему все еще долетал истошный крик женщины (как полагал Джек, мамыши девчужки), но он несся со стороны фасада здания и был еле слышным, несущественным. *Все*, что происходило *после* — крики, суматоха, стоны раненого (если раненый еще мог стонать), значения для Джека не имело. Важно было другое, то, что вталкивало в обыденный ход вещей перемены и ваяло новые очертания течению жизни... а быть может, лепило по-новому судьбы не только жертв, но и того круга, что, ширясь, расходился от них, как расходится рябь по воде стоячего пруда, если зашвырнуть туда камень.

Кто мог с уверенностью утверждать, что Джек — не творец Вселенной, настоящий или будущий?

Боже, немудрено, что он кончил в джинсы.

Спустившись на два лестничных пролета, он никого не встретил, однако продолжал спектакль, чуть пошатываясь — но ни в коем случае не качаясь! — на ходу. Человека с нетвердой походкой не запомнят, но могут запомнить того, кто подчеркнуто не держится на ногах. Морт что-то бормотал, но в действительности никто не смог бы понять ни единого слова. Лучше вовсе не ломать комедию, чем перегнуть палку и все испортить.

Через разбитую дверь черного хода он выбрался в переулок, где было полно мусора, отбросов и битых бутылок, подмигивавших мириадами солнечных звездочек.

Отход Джек спланировал заранее, как планировал заранее все (идти только на приемлемый риск, свести к минимуму остальной, нигде не свалить дурака); именно привычка планировать была причиной того, что коллеги оценивали Джека как человека, который далеко пойдет (и Джек действительно намеревался далеко пойти, но вот куда он идти не собирался, так это, среди прочего, в тюрьму и на электрический стул).

По улице, куда выходил переулок, бежали несколько человек, но они спешили узнать причину криков, и на Джека Морта, уже снявшего — нет, не темные очки, казавшиеся вполне уместными в такое ясное утро, а теплую не по сезону вязаную шапочку, — никто не обратил внимания.

Он свернул в другой переулок.

Вышел на другую улицу.

Теперь он медленно, как бы прогуливаясь, шел по переулку, который был не таким грязным, как два предыдущих — собственно, это было что-то вроде узенькой улочки. Она вливалась в другую, пошире. Кварталом дальше находилась остановка. Меньше, чем через минуту после того, как Джек добрался туда, приехал автобус — расписание Морта учитывало и это. Дверь, сложившись гармошкой, открылась; Джек вошел и бросил в щель кассы свои пятнадцать центов. Водитель даже не взглянул на него. Неплохо, но и посмотрев на Джека, шофер увидел бы лишь неприметного человека в джинсах, возможно, безработного — его футболка выглядела так, точно появилась из мешка с тем старьем, что раздает Армия Спасения.

Собранность, деловитость и готовность всегда и ко всему.

Секрет успеха Джека Морта и на работе, и на отдыхе.

В девяти кварталах от остановки была автостоянка. Джек вышел из автобуса, зашел на стоянку, отпер свою машину (сделанный в середине пятидесятых, ничем не примечательный «Шевроле», который все еще был в отличной форме) и поехал обратно в Нью-Йорк-Сити.

Без помех.

7

Все это пронеслось перед глазами стрелка за какую-нибудь секунду. Прежде чем его потрясенный рассудок сумел отгородиться от других картин, просто-напросто захлопнувшись, стрелок увидел еще кое-что. Не все, но довольно. Довольно.

8

Он увидел, как Морт вырезает ножом кусок четвертой страницы «Нью-Йорк Дэйли Миррор», нервно стараясь добиться того, чтобы лезвие шло строго по рамке колонки. Заголовок гласил: «ПОСЛЕ

ТРАГИЧЕСКОГО ПРОИСШЕСТВИЯ ДЕВОЧКА-НЕГРИТЯНКА В КОМЕ». Роланд увидел, как Морт кисточкой, прикрепленной к пробке флакона с клеем, смазывает обратную сторону вырезки. Увидел, как Морт помещает ее в центр пустой страницы специального альбома, который, судя по тому, какими пухлыми и разбухшими выглядели предыдущие страницы, содержал множество других вырезок из газет. Он увидел первые строки статьи: «Пятилетняя Одетта Холмс, прибывшая в Элизабеттаун (штат Нью-Джерси) отпраздновать радостное событие, стала жертвой жестокого и странного происшествия. Через два дня после свадьбы своей тети девочка с родными шла к вокзалу, как вдруг обвалившийся кирпич...»

Но ведь Морта связывал с ней не только этот случай, не так ли? Нет. О боги, нет.

Между этим утром и тем вечером, когда Одетта лишилась ног, прошли годы. Джек Морт сбросил великое множество предметов и толкнул великое множество людей.

Потом — опять Одетта.

В первый раз он толкнул кирпич *на* нее.

Во второй — толкнул ее *под* поезд.

«Какого же человека я должен использовать? Что же это за человек...»

Тут стрелок подумал о Джейке; о толчке, отправившем Джейка в его мир, и ему показалось, будто он слышит смех человека в черном. Это его доконало.

Роланд лишился чувств.

9

Очнувшись, он обнаружил, что смотрит на аккуратные ряды цифр, стройными колонками спускавшихся по листу зеленой бумаги. Бумага была разлинована и по горизонтали, и по вертикали, отчего каждая отдельно взятая цифра походила на узника в камере.

Он подумал: «Что-то еще».

Не только смехок Уолтера. Что-то... план?

Нет, боги, нет — ничего столь сложного или обнадеживающего.

Но на худой конец, идея. Крупица информации.

«Сколько времени я был без сознания? — с внезапным беспокойством подумал стрелок. — Когда я прошел в дверь, было часов девять... быть может, чуть меньше. Сколько...?»

Он *вышел вперед*.

Джек Морт (теперь он стал всего-навсего живой куклой, которой управлял стрелок) ненадолго оторвал взгляд от бумаг и увидел, что стрелки дорогих кварцевых часов на письменном столе показывают четверть второго.

«Так поздно? Боги! Так поздно? Но Эдди... он так устал, ему ни за что не продержаться так дол...»

Стрелок повернул голову Джека. Дверь еще не исчезла, однако то, что он увидел за ней, было куда хуже, чем он себе это представлял.

Сбоку от двери протянулись две неподвижные тени: одна — тень инвалидного кресла, другая — тень человекообразного существа... увечного человекообразного, опиравшегося на руки, поскольку ноги у него были отхвачены так же проворно и жестоко, как пальцы Роланда.

Эта тень пошевелилась.

В тот же миг Роланд быстрым, как удар плети или бросок атакующей змеи движением резко отвернул голову Джека Морта от двери.

«Она не должна смотреть в дверь, пока я не буду готов. До тех пор ей не будет видно ничего, кроме затылка этого человека».

Детта Уокер в любом случае не увидела бы Джека Морта — тот, кто глядел в открытую дверь, видел лишь то, что видел «хозяин», принявший стрелка в свое сознание. Лицо Морта она могла бы увидеть только в том случае, если бы он посмотрелся в зеркало (хотя это, возможно, привело бы к новым страшным последствиям, породив новый парадокс и вызвав повторение событий), но и тогда оно ничего не сказало бы ни одному из двух воплощений Владычицы; если уж на то пошло, и лицо Владычицы ничего не сказало бы Джеку Морту. Дважды успев вступить в опасно близкие отношения, они так ни разу и не увидели друг друга.

Стрелок не хотел другого: чтобы Владычица видела *Владычицу*.

По крайней мере, пока что.

Искра интуиции разрослась в нечто, близкое к плану.

Однако было уже поздно — освещение позволяло предположить, что уже три, а то и четыре часа дня.

Сколько времени до заката, с которым придут гигантские омары, и жизнь Эдди оборвется?

Три часа?

Два?

Можно было вернуться и попытаться спасти Эдди... но именно этого и хотела Детта. Она расставила ловушку в точности, как селяне, опасаящиеся, что страшный волк выследит жертвенного ягненка и уволочет за тридцать земель. Роланд вернулся бы в свое больное тело... но ненадолго. Причина, по которой он видел только тень женщины, заключалась в том, что Детта лежала подле двери, зажав в кулаке его револьвер. Стоит Роланду-телу шелохнуться, и в тот же миг выстрел унесет его жизнь.

Она боялась стрелка, и оттого *его* ждала легкая смерть.

Смерть Эдди должна была стать беспросветным ужасом.

Роланду почудилось, что он слышит мерзкий, подсмеивающийся голос Детты Уокер:

«Хочешь наехать на меня, сволочь белопузая? Конечно, хочешь наехать! Ты черномазой старушонки-калеки не боишься, верно?»

— Только один способ, — бормотали губы Джека. — Только один. Дверь офиса открылась, в комнату заглянул лысый мужчина в очках.

— Как дела с финансовым отчетом Дорфмана? — спросил лысый. — Мне что-то нездоровится. Думаю, виноват ленч. Пожалуй, мне надо бы уйти.

Казалось, лысый встревожился.

— Вероятно, вирус. Я слышал, сейчас ходит какая-то гадость.

— Вероятно.

— Ну что ж... если завтра к пяти часам вы закончите с дорфмановой дрянью...

— Да.

— Вы ведь знаете, каким он умеет быть м***ком...

— Да.

Лысый (судя по его виду, теперь он чувствовал себя несколько неловко) кивнул:

— Да-да, идите домой. Вы совсем на себя не похожи.

— Да, я совершенно не в своей тарелке.

Лысый поспешно вышел.

«Он почувствовал меня, — подумал стрелок. — Отчасти дело в этом. Но не только в этом. Они боятся этого человека. Боятся, сами не зная, почему. И правильно делают, что боятся».

Телесная оболочка Джека Морта поднялась, отыскала чемоданчик, который был у Джека в руке, когда в его сознание вторгся стрелок, и смела туда все до единой бумаги с поверхности стола.

Роланд почувствовал сильнейшее желание украдкой оглянуться на дверь, но устоял. Он посмотрит на дверь только тогда, когда будет готов рискнуть всем и вернуться.

Между тем времени оставалось мало, а следовало еще кое-что сделать.

Глава вторая

ГОРШОЧЕК С МЕДОМ

1

Детта залегла в сильно затененной расщелине, образованной валунами, которые клонились один к другому, точно старики, обращенные в камень в тот момент, когда делились друг с другом некоей роковой тайной. Она следила за Эдди — тот рыскал вверх и вниз по усеянному камнями склонам холмов, крича до хрипоты. Утиный пух на его щеках наконец начал превращаться в бороду, и Эдди можно было принять за зрелого мужчину — исключение составляли те три или четыре раза, когда Эдди прошел совсем рядом с Деттой (один раз он подошел так близко, что она, проворно высунув руку, могла бы схватить его за лодыжку). Стоило Эдди приблизиться, и вы видели: это по-прежнему всего-навсего пацан, и притом уставший, как собака.

Одетта пожалела бы его. Детта чувствовала только спокойную, подобную сжатой пружине, готовность настоящего хищника — хищника по природе.

Когда она только заползла сюда, то почувствовала: под руками что-то тихонько потрескивает — так, как хрустят старые осенние листья в дупле лесного дерева. Глаза привыкли к темноте, и Детта увидела, что это не листья, а крошечные косточки мелких зверюшек. Когда-то здесь было логово хищника, ласки или хорька, давно сгинувшего, если древние пожелтевшие остовы не лгали. Быть может, по ночам он выходил и шел туда, куда вел его нос — вверх по холмам, к оврагам; туда, где деревья и подлесок были гуще... Шел, ведомый нюхом, к жертве. Он убивал свою добычу, насыщался, остатки же приносил сюда, чтобы было чем перекусить на следующий день, лежа в ожидании ночи, с которой придет время новой охоты.

Сейчас в расщелине находился более крупный хищник. Сначала Детта думала поступить вполне в духе предыдущего обитателя берлоги: дожидаться, пока Эдди уснет (что он должен был сделать почти наверняка), убить его, а труп затащить сюда. Затем, завладев

обоими револьверами, снова дотащиться до двери и подождать возвращения Настоящего Гада. Первой ее мыслью было, разделавшись с Эдди, сразу же прикончить тело Настоящего Гада — но это ничего не давало, не так ли? Если Настоящий Гад лишится тела, в которое он мог бы вернуться, Детте ни за что не выбраться отсюда в свой мир.

Можно ли заставить Настоящего Гада забрать ее обратно?

Возможно, нельзя.

Но, быть может, все-таки можно.

Быть может, если Настоящий Гад поймет, что Эдди еще жив...

И это навело Детту на гораздо лучшую мысль.

2

Детта была очень и очень хитра, однако (пусть она жестоко посмеялась бы над всяким, кто посмел бы высказать подобное предположение) не только очень хитра — она была к тому же очень неуверенна в себе и по причине последнего приписывала первое каждому встречному-поперечному, чей интеллект, как ей казалось, по уровню приближался к ее собственному. В том числе и стрелку. Услышав выстрел, она посмотрела и увидела дымок, поднимающийся от дула оставшегося у Роланда револьвера. Уже совсем собравшись пройти в дверь, стрелок перезарядил его и перебросил Эдди.

Детта понимала, что этот выстрел должен означать для Эдди: отсырели не все патроны, револьвер его защитит. Что выстрел должен означать для нее (ведь Настоящий Гад, разумеется, знал, что она следит за ними — даже проспи она начало ихнего с Эдди трепа, выстрел разбудил бы ее), она тоже понимала: *«Держись от парня подальше. При нем пушка»*.

Но бесы, бывает, способны действовать тонко.

Раз это маленькое представление устроили ради нее, не было ли у Настоящего Гада на уме и другой цели — цели, понять которую ни она, ни Эдди *не должны были*? Уж не думал ли он, что если она увидит, что *этот* револьвер стреляет хорошими патронами, то решит, будто так же дело обстоит и с другим, с тем, который ей отдал Эдди?

Но, предположим, он сообразил, что Эдди задремлет? Разве он не догадается, что того-то она и ждет; ждет, чтобы стянуть револьвер и медленно уползти вверх по склонам, в безопасность? Да, возможно, Настоящий Гад все это предвидел. Для беложопого он был смекалистым. Достаточно умным, чтобы понять: Детта намерена взять верх над белым мальчоночкой.

А значит, Настоящий Гад попросту мог нарочно зарядить револьвер плохими патронами. Однажды он уже одурачил Детту; почему бы снова не обвести ее вокруг пальца? На сей раз Детта не поленилась

проверить, чем заполнен барабан — пустыми стреляными гильзами или чем-нибудь посерьезнее, — и пули *показались* ей настоящими, да; однако это не означало, что так оно и есть. Ведь Настоящий Гад не мог рискнуть даже тем, что хоть *один* патрон окажется достаточно сухим, чтобы выстрелить. Быть может, он что-то с ними сделал (в конце концов, револьверы — его бизнес). Зачем? Ну как же — разумеется, чтобы обманом заставить ее обнаружить себя! Тогда Эдди возьмет ее на мушку того револьвера, который *действительно* стреляет, и, усталый или нет, не повторит свою прежнюю ошибку. Собственно, Эдди постарается избежать этого главным образом именно потому, что устал.

«Хорошая попытка, беложопый, — думала Детта в своем тенистом логове, в этом тесном, но по непонятной причине успокаивающем темном местечке, где землю ковром устилали размягчившиеся, гниющие косточки мелких зверюшек. — Классная попытка, но меня на такое дерьмо не купишь».

В конце концов стрелять в Эдди не требовалось. Требовалось только ждать.

3

Детта опасалась только одного: как бы стрелок не вернулся раньше, чем Эдди уснет. Однако стрелка все не было. Безвольное тело у подножия двери не шевелилось. Не исключено, что с добыванием нужного лекарства возникли сложности... насколько понимала Детта, сложности какого-то иного рода. Мужики вроде этого находят неприятности так же запросто, как сука в течку — похотливого кобеля.

Прошло два часа. Эдди бродил вверх и вниз по невысоким холмам в поисках женщины, которую называл «Одеттой» (о, как Детта ненавидела звук этого имени), надсаживаясь так, что в конце концов потерял голос и кричать стало нечем.

Наконец Эдди сделал то, чего она дожидалась: спустился на песчаный клинышек и, безутешно оглядываясь по сторонам, сел рядом с инвалидным креслом. Юноша тронул колесо — почти ласково, словно погладил. Потом рука Эдди соскользнула, и он испустил глубокий вздох.

При виде этого в горле у Детты заныло, появился металлический привкус; в голове полыхнула-метнулась летняя зарница острой боли; почудился некий зовущий голос... зовущий, а может быть, настойчивый и вопрошающий.

«А вот и нет, — подумала она, понятия не имея, кого имеет в виду или к кому обращается. — Нет, ничего у тебя не выйдет, не в этот раз, не сейчас. Не сейчас, а может быть, уже никогда». Голову опять вспорола стрела боли, и Детта сжала кулаки. Ее лицо тоже сжалось в своего рода кулак, его исказила глумливая гримаса сосредоточенно-

сти — выражение удивительное и приковывающее к себе внимание смесью злобы и почти блаженной решимости.

Пронизывающая боль не возвращалась. Как и голос — тот, что порой, мнилось Детте, говорил с ней во время таких приступов.

Она ждала.

Эдди подпер подбородок кулаками, и все равно голова его вскоре начала клониться на грудь, а кулаки поехали вверх по щекам. Детта ждала; черные глаза мерцали.

Голова Эдди дернулась кверху. С трудом поднявшись на ноги, молодой человек спустился к морю и плеснул себе в лицо водой.

«Правильно, молодой-холостой. До смерти досадно, что у них тут нету таблеток от сна, а то ты бы и *их* нажрался, верно?»

Эдди, усевшийся теперь уже в инвалидное кресло, очевидно, обнаружил, что устроился немного *слишком* удобно. Поэтому после долгого взгляда в открытую дверь (*что ж ты там видишь, сопляк белопузый? Расскажи — получишь двадцатку, Детта хочет знать, что там*) он опять плюхнулся задом на песок.

Снова подпер голову руками.

И вскоре опять начал клевать носом.

На сей раз беспрепятственно. Подбородок Эдди лег на грудь, а храп молодого человека Детта слышала даже сквозь шум прибоя. Очень скоро Эдди повалился на бок и свернулся калачиком.

Почувствовав внезапный укол жалости к лежавшему внизу белому парню, Детта была удивлена, раздражена и испугана. Эдди походил всего лишь на маленького нахала, который в новгородную ночь силится не заснуть до полуночи, но сошел с круга. Потом Детта вспомнила, как этот сопляк с Настоящим Гадом пытались заставить ее проглотить отравленную еду и дразнили своей, хорошей, всякий раз в последнюю секунду выхватывая кусок у нее из-под носа... по крайней мере до тех пор, пока не перепугались, что она может отдать концы.

Если они испугались, что ты можешь умереть, почему прежде все же они попытались отравить тебя?

Вопрос напугал Детту не меньше, чем мимолетное чувство жалости. Она не привыкла задавать себе вопросы, и более того, звучащий у нее в голове вопрошающий голос, кажется, вовсе не походил на ее собственный.

«Стало быть, ухандокать меня этой отравленной жратвой они не хотели. Хотели, чтоб мне поплохело, вот и все. Чтоб сидеть тут и ржать, покамест я буду блевать да стонать, вот чего».

Выждав минут двадцать, она двинулась вниз, к песку, цепляясь пальцами за землю, подтягиваясь на сильных руках, по-змеиному извиваясь и ни на секунду не спуская глаз с Эдди. Она предпочла бы подождать еще часок, даже полчаса: лучше бы сопливый гаденыш углубился в царство снов не на одну-две мили, а на десяток. Но Детта просто не могла себе позволить такую роскошь, как ожидание. Настоящий Гад мог вернуться в любой момент.

Приближаясь к тому месту, где лежал Эдди (он все храпел; звук напоминал жужжание циркулярной пилы, которая вот-вот сдохнет), она подобрала обломок камня, подходяще гладкий с одной стороны и подходяще зазубренный — с другой.

Ее ладонь обхватила гладкий бок камня, и Детта, с тусклым блеском убийства в глазах, ползком двинулась дальше, туда, где лежал Эдди.

4

План действий Детты был жесток и прост: изо всех сил бить Эдди зазубренной стороной камня до тех пор, пока и он не станет таким же мертвым, бесчувственным и неподвижным, как камень. Тогда она заберет револьвер и дождется возвращения Роланда.

Когда его тело примет сидячее положение, Детта предоставит Роланду выбирать: вернуть ее в родной мир или отказаться и быть убитым. «Тебе со мной все равно подышать, зайныка, — скажет она. — А хахаль твой приказал долго жить, стало быть, из того, про что ты тут языком махал — дескать, хочу то, хочу се, — ничего боле не выйдет».

Если бы револьвер, который Настоящий Гад дал Эдди, не сработал (такая возможность существовала — Детта никогда не встречала человека, которого бы боялась и ненавидела так, как Роланда; она считала его способным на любую низость, на любое коварство), она бы все равно разделалась со стрелком, прикончив его камнем или же голыми руками. Стрелок был болен, у него не доставало двух пальцев — Детта сумела бы справиться с ним.

Но когда она приблизилась к Эдди, ей в голову пришла тревожная мысль. Это был еще один вопрос, и его опять задал голос, показавшийся чужим.

А что если он узнает? Если в ту же секунду, как ты убьешь Эдди, он узнает, что ты сделала?

«Ни фига он не узнает. Больно уж занят тем, чтоб надыбать свое лекарство. И перепихнуться, насколько мне известно».

Чужой голос не ответил, однако семя сомнения было заронено. Детта слышала, как они толковали, думая, будто она спит. Настоящему Гаду непременно нужно было что-то сделать. Что именно — Детта не знала. Ей было известно одно: это имеет какое-то отношение к какой-то башне. Не исключено, что Настоящий Гад считал эту башню полной золота, или брильянтов, или чего-то в этом роде. Чтобы добраться до башни, сказал он, ему необходимы Детта, Эдди и кто-то еще. Детта догадывалась, что, наверное, так и есть. Иначе что здесь делать этим дверям?

Если это было колдовство, то, убей она Эдди, Настоящий Гад мог узнать об этом. Детте казалось, что, похерив дорогу к башне, она, возможно, похерила бы единственное, ради чего жил этот беложопый

кобелина. А ежели этот козел узнает, что жить больше незачем, он может сотворить что угодно — ведь на все прочее ему насрать с высокой горки.

При мысли о том, что может случиться, если Настоящий Гад вернется *так*, Детта невольно задрожала.

А если убить Эдди нельзя, что же делать? Револьвер-то можно забрать и пока Эдди спит, но вернется Настоящий Гад, и что тогда? Справится ли она с ними обоими?

Детта просто не знала.

Ее взгляд коснулся инвалидного кресла, заскользил прочь и вдруг быстро вернулся. На кожаной спинке был глубокий карман. Оттуда торчал моток веревки, которой Детту привязывали к креслу.

Глядя на этот моток, Детта поняла, как можно все устроить.

Изменив курс, она поползла к бессильному, неподвижному телу стрелка. Она собиралась взять все необходимое из рюкзака, который Роланд называл своим «кошелем», и побыстрее завладеть веревкой... но на миг застыла у двери, как вкопанная.

Детта, как и Эдди, переводила увиденное на язык кинолент... Впрочем, представшее ее взору зрелище больше напоминало детективную телепостановку. Декорация представляла собой большую аптеку. Перед Деттой был провизор, казавшийся перепуганным до одури, но Детта его не винила: прямо в лицо аптекаря смотрело дуло револьвера. Аптекарь что-то говорил, но его голос был далеким, искаженным, словно доносился к ней сквозь поглощающие звук перегородки. Слов Детта не разбирала. И не видела, кто держит револьвер. Впрочем, на самом деле видеть грабителя ей было необязательно, разве не так? Ясное дело, она знала, кто он.

Это был Настоящий Гад.

«Там он, может, *с виду* совсем не он, там он может даже на кургузый мешок с дерьмом смахивать, даже на одного из наших, из черных братьев, *внутри-то* это все одно он, факт. Недолго же он искал новый шпалер, а? Готова спорить, пушку надыбать за ним никогда не заржавеет. Надо пошевелиться, Детта Уокер».

Она открыла кошель Роланда. Потянуло слабым, вызывающим ностальгию ароматом давно припасенного, но теперь давно уже истраченного табака. В определенном отношении кошель очень напоминал дамскую сумку, заполненную великим множеством сваленных как попало и случайных на первый взгляд вещей... Однако, взглядевшись повнимательнее, вы видели дорожное снаряжение человека, готового практически к любой неожиданности.

Детте пришло в голову, что Настоящий Гад идет к своей Башне очень давно. Если так, стоило подивиться уже только тому, сколько шмотья (среди которого попадались и вовсе бросовые вещи) все еще остается в кошеле.

«Пошевеливайся, Детта Уокер».

Взяв то, что ей было нужно, она неслышно, по-змеиному пробралась к инвалидному креслу. Очутившись подле него, она оперлась на руку и, точно рыбака, сматывающая линек, вытянула веревку из пришитого к спинке кармана, то и дело оглядываясь на Эдди — просто, чтобы убедиться, что он спит.

Юноша так и не пошевелился, пока Детта не накинула ему на шею петлю и не затянула ее.

5

Его волокли спиной вперед. Поначалу Эдди подумал, что все еще спит и видит жуткий сон, в котором его не то хоронят заживо, не то душат.

Потом он ощутил острую боль от врезавшейся в шею петли и тепло слюны, побежавшей по подбородку, когда он стал давиться. Это был не сон. Вцепившись в веревку, Эдди попытался встать на ноги.

Сильные руки Детты крепко рванули веревку. Эдди шлепнулся на спину. Его лицо начинало багроветь.

— Ты это брось! — прошипела у него за спиной Детта. — Уймешься — будешь жить, а нет — удавлю.

Эдди опустил руки и попытался сохранять неподвижность. Скользящая петля, которую набросила ему на шею Детта, ослабла как раз настолько, чтобы он смог втянуть тоненькую, обжигающую струйку воздуха. Сказать на этот счет можно было только одно: лучше так, чем совсем не дышать.

Когда паническое биение сердца Эдди чуть замедлилось, он попытался оглядеться. В тот же миг петля снова туго затянулась.

— Спокойно. Валяй, осматривай океанский пейзаж, сволочь белопузая. А на что другое тебе щас и глядеть не захочется.

Эдди снова отвернулся к океану, и узел ослаб, позволив ему еще раз сделать несколько скупых, обжигающих глотков воздуха. Левая рука Эдди тайком поползла вниз, к поясу штанов (Детта, впрочем, заметила это движение и, хоть Эдди того не знал, усмехалась). За поясом ничего не было. Она забрала револьвер.

«Она подкралась к тебе, пока ты спал, Эдди». — Разумеется, голос принадлежал стрелку. — «Твердить сейчас, что я тебя предупреждал об этом, проку нет, но... я тебя предупреждал. Вот они, плоды романтики: на шее — петля, а где-то за спиной — сумасшедшая с двумя револьверами».

«Но если бы она собиралась меня убить, то уже сделала бы это. Она убила бы меня, пока я спал».

«А что, по-твоему, она собирается сделать, Эдди? Вручить тебе путевку в Дисней-Уорлд на два лица с оплатой всех расходов?»

— Послушай, — сказал молодой человек. — Одетта...

Едва это имя слетело с его губ, петля затянулась вновь, беспощадно туго.

— Не хрена меня так называть. Еще раз назови — больше никого никогда *никак* не назовешь. Меня звать *Детта Уокер*, и коли-ежели, говно отбеленное, тебе охота подышать еще немного, лучше запомни это!

Эдди захрипел, стал давиться и вцепился в петлю. Перед глазами большими черными пятнами, похожими на зловещие цветы, начало распускаться ничто.

Наконец обвивавшая его шею тесьма опять ослабла.

— Усвоил, сука белая?

— Да, — выговорил он, но это был лишь задушенный хрип.

— Тогда скажи. Скажи, как меня звать.

— Детта.

— Скажи *полное* имя! — В голосе Детты дрожала опасная истерия, и в этот миг Эдди порадовался, что не видит своей собеседницы.

— Детта Уокер.

— Хорошо. — Петля ослабла еще немного. — А теперь слушай меня, лебедь белый, да хорошенько, коли хочешь дожить до заката. Не пробуй умничать — я уж видела, как ты, змей подкольный, пытался тайком добраться до той пушки, что я у тебя забрала, покамест ты дрых. Брось, потому как Детта — она все видит. Только чего надумаешь, а она уж видит, что у тебя на уме. Будь спок. А что у меня ног нету — ничего не значит, ты все равно умничать-то не пробуй. Я, с тех пор, как обезножела, много чему выучилась. Обе пушки козла беложопого теперь при мне, а это чего-нибудь да стоит, как, по-твоему?

— Да, — прохрипел Эдди. — Умничать мне неохота.

— Ну хорошо. *Очень* хорошо. — Детта заклохтала от смеха. — Покамест ты дрых, я, стерва такая, была сильно занята. И все рассчитала. Вот что мне от тебя надо, лебедь белый: суй руки за спину и щупай, пока не найдешь петлю — такую же, как я тебе надела на шеяку. Петель будет три. Пока ты, лодырь, сны смотрел, я узлы вязала! — Она опять закудаhtала от смеха. — Нашупаешь петлю — сложишь руки вместе и просунешь туда. *Потом* ты почувствуешь, как моя рука натуго затягивает узел. Тут ты себе скажешь: «Вот он, шанец охомутать эту черномазую стерву. Вот шас, покамест она не ухватила за веревку как следует». Но... — Тут голос Детты, карикатурный голос негрityнки с Юга, зазвучал приглушенно. — ...поспешишь — людей насмешишь. Сперва лучше оглядись.

Эдди огляделся. Детта больше, чем когда-либо, походила на ведьму: замурзанное, всклокоченное существо, способное вселить страх в куда более отважные сердца. То платье, что было на ней в универмаге «Мэйси», откуда стрелок ее похитил, теперь превратилось в грязные лохмотья. Воспользовавшись взятым из кошелька стрелка ножом (которым Роланд разрезал удерживавшую пакеты с кокаином маскировочную липкую ленту), Детта прорезала платье еще в двух местах, и прямо над выпуклостью бедер получились импровизирован-

ные кобуры. Оттуда высывались потертые рукояти револьверов стрелка.

Голос звучал приглушенно оттого, что в зубах у Детты была зажата веревка. Из одного угла ухмыляющегося рта торчал ее короткий хвостик (видно было, что пенька перерезана недавно), с другой стороны высывалось остальное — часть, тянувшаяся к петле вокруг шеи Эдди. В этой картине, в схваченной ухмыляющимися губами веревке было что-то столь хищное и варварское, что Эдди оцепенел, уставясь на Детту с ужасом, от которого ее ухмылка стала только шире.

— Попробуй поумничать, покамест я буду заниматься твоими грабками, — невнятно проговорила она, — я тебе дышалку зубами пережму, сволочь белая. И *тогда* уж не отпущу. Понял?

Эдди не стал полагаться на свое красноречие и только кивнул.

— Ладненько. В конце концов, может, ты и проживешь чуток подольше.

— А если нет, — хрипло прокаркал Эдди, — тебе придется навсегда забыть про удовольствие воровать в «Мэйси», Детта. Потому что он узнает об этом, и тогда мы все остаемся у разбитого корыта.

— Придержи язык, — сказала (почти промурлыкала) Детта. — Придержи язык. Пусть думают те ребята, кто это умеет. А *твое* дело — нащупать вторую петлю, больше ничего.

6

Пока ты sny смотрел, я узлы вязала, сказала Детта. К своему неудовольствию и все возрастающей тревоге, Эдди обнаружил: она хотела сказать именно то, что сказала. Вережка превратилась в цепочку из трех скользящих узлов. Первую петлю Детта накинула ему на шею, пока он спал. Вторая надежно связала кисти рук Эдди за спиной. Грубо толкнув молодого человека в бок, Детта перевернула его на живот и велела поднять ноги — так, чтобы пятки коснулись ягодиц. Сообразив, к чему это ведет, Эдди заартачился. Детта вытащила из прорехи в платье револьвер Роланда. Она взвела курок и прижала дуло к виску юноши.

— Давай делай, что сказано, а то как бы я чего не сделала, сволочь белопузая, — сказала она все тем же мурлыкающим голосом. — Только если я чего-нибудь сделаю, ты очкуришься. Мозги, что с той стороны твоей башки вытекут, я просто присыплю песочком, а дырку прикрою волосами. Он и подумает, что ты бай-бай! — Она опять фыркнула от смеха.

Эдди задрал ноги, и Детта поспешно закрепила третью петлю вокруг его лодыжек.

— Вот так. Увязали, как теленочка на родэ-э-о.

Описание не хуже всякого другого, подумал Эдди. Попытайся он опустить ноги из положения, которое уже становилось неудобным,

удерживавший лодыжки узел затянулся бы еще туже. Тогда отрезок веревки между лодыжками и запястьями натянулся бы еще сильнее, затянув, в свою очередь, и *тот* скользящий узел, и веревку между запястьями и петлей, брошенной Деттой ему на шею, и...

Детта тащила его — непонятным образом волокла по песку к воде.
— Эй! Какого...

Эдди попробовал податься назад и почувствовал: петли затягиваются, а вместе с этим уменьшается и его способность дышать. Он расслабился, насколько это было возможно (ноги-то держи вверх, не забывай, болван: опустишь копыта достаточно низко — удавишься), не препятствуя Детте, которая волокла его по шероховатой земле. Острый камень ободрал ему щеку, потекла теплая кровь. Дыхание Детты было частым, тяжелым. Шум волн и гулкий грохот налетающего на камни прибоя звучали все громче.

Боже милостивый, что она собирается делать? Утопить меня?

Нет, конечно, нет. Он подумал, что понимает, чего хочет Детта, даже раньше, чем пропахал лицом спутанные бурные водоросли, которыми была отмечена граница прилива — мертвую, разящую солью дрянь, холодную, как пальцы утонувших моряков.

Он вспомнил Генри. Однажды тот рассказывал: «Бывало, подстрелят одного из наших — американца, я хочу сказать, они знали, что за поганим азиатом никто в кусты не полезет, разве что какой салага, только-только из Штатов — продырявят брюхо, оставят орать и срезают тех парней, что пытаются его выручить. И так, пока бедолага не отдаст концы. Знаешь, как они говорили про таких ребят, Эдди?»

Эдди потряс головой, похолодев от представившейся ему картины.

— *Горшочки с медом*, — сказал тогда Генри. — *Приманка. Сладкая, чтобы привлечь мух. А может, даже медведя.*

Этим сейчас и занималась Детта: использовала его в качестве горшочка с медом.

Она бросила Эдди примерно семью футами ниже границы полного прилива, бросила без единого слова, лицом к океану. Стоял час отлива. Заглянув в дверь, стрелок должен был увидеть не прилив, подступающий к берегу, чтобы утопить Эдди — нет, до возвращения волны оставалось еще шесть часов. И задолго до этого...

Эдди повел глазами вверх и увидел, что солнце дробится на поверхности океана длинной золотой дорожкой. Который час? Четыре? Около того. Закат — примерно в семь.

Беспокоиться насчет прилива не придется: стемнеет намного раньше.

А когда придет тьма, из воды, покачиваясь на волнах, появятся гигантские омары; о чем-то спрашивая, они поползут по песку туда, где, связанный и беспомощный, будет лежать Эдди — и разорвут его на части.

Для Эдди Дийна время тянулось нескончаемо долго. Само понятие времени превратилось в анекдот. Даже ужас перед тем, что должно было случиться с ним после наступления темноты, поблек, когда в ногах запульсировало от неловкой позы, и это ощущение дискомфорта медленно, но верно стало набирать силу, превращаясь сперва в острую и наконец в изуверски мучительную боль. Эдди расслаблял мышцы, туго затягивая все узлы — но, оказываясь на грани удушения, умудрялся вновь подтянуть лодыжки вверх, так, что давление уменьшалось, позволяя дыханию частично восстановиться. Он потерял уверенность в том, что дотянет до темноты. Мог наступить такой момент, когда он просто окажется неспособен в очередной раз поднять ноги.

Глава третья

РОЛАНД ДОБЫВАЕТ ЛЕКАРСТВО

1

Теперь Джек Морт знал, что стрелок здесь. Будь на его месте кто-нибудь другой — некий Эдди Дийн, например, или одна особа по имени Одетта Уокер — Роланд вступил бы с ним в переговоры, пусть даже только для того, чтобы смягчить панику и замешательство, естественные в ситуации, когда обнаруживаешь, что твое «я» грубо выпихивают на пассажирское сиденье тела, которым всю жизнь управлял твой интеллект.

Но поскольку Морт был чудовищем (каким никогда не была и никогда не сумела бы стать Детта Уокер), стрелок не сделал попытки объясниться или вообще заговорить. Он слышал возмущенные протесты этого человека — *«Кто ты? Что со мной происходит?»* — но игнорировал их. Без сожалений используя его сознание, стрелок сосредоточился на коротком перечне необходимых дел. Протесты перешли в пронзительные крики ужаса. Стрелок, ничтоже сумняшеся, по-прежнему оставил их без внимания.

Остаться в подобном червятнику сознании этого человека можно было лишь одним способом: рассматривая его, как комбинацию атласа с энциклопедией, не более. Морт обладал всей необходимой Роланду информацией. Составленному стрелком плану недоставало тонкости, однако черновик частенько оказывается лучше гладенького беловика. Когда речь шла о составлении планов, во всей Вселенной не найти было двух более разных существ, чем Роланд и Джек Морт.

Планируя грубо, вчерне, получаешь место для импровизации. А в импровизации Роланд всегда был силен.

2

Вместе с ними в лифт сел какой-то толстяк. Глаза у него, как и у лысого мужчины, пятью минутами раньше просунувшего голову в двери офиса Морта, были прикрыты линзами («Мортципедия» опре-

деляла их как «очки»; похоже, в мире Эдди «очки» носили очень многие). Он посмотрел на «дипломат» в руке человека, которого считал Джеком Мортон, потом на самого Морта.

— Идете к Дорфману, Джек?

Стрелок ничего не сказал.

— Если вы думаете, будто сумеете отговорить его от субаренды, то могу вас заверить, что это — напрасная трата времени, — сказал толстяк и заморгал: его коллега поспешно шагнул назад. Двери небольшой будки закрылись, и внезапно началось падение.

Не обращая внимания на истошные, пронзительные крики, Роланд вцепился в сознание Морта и обнаружил, что ничего страшного не происходит. Падение было управляемым.

— Прошу прощения, если я был бестактным, — сказал толстяк. Стрелок подумал: «Этот тоже боится». — Вы справились с этим идиотом лучше всех в фирме, вот что я думаю.

Стрелок молчал. Он ждал одного: оказаться вне этого падающего гроба.

— И говорю, — с жаром продолжал толстый. — Да что там, только вчера я обедал с...

Голова Джека Морта повернулась. Сквозь очки в золотой оправе на толстяка уставились глаза — голубые, но словно бы чуть иного оттенка, чем всегда.

— Заткнись, — без выражения сказал стрелок.

Краска сбегала с лица толстяка. Он сделал два быстрых шажка назад и уперся отвислыми дряблыми ягодицами в поддельные деревянные панели задней стенки небольшого движущегося гроба, который вдруг остановился. Двери открылись, и стрелок, одетый в тело Джека Морта как в тесно облегающий костюм, не оглядываясь, вышел. Держа палец на кнопке «ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ», толстяк подождал в лифте, чтобы Морт скрылся из вида. «У него всегда винтиков не хватало, — думал толстяк, — но это может быть серьезно. Это может быть нервный срыв, расстройство».

Мысль о Джеке Мorte, надежно упрятанном куда-нибудь в «санаторий», показалась ему весьма утешительной.

Стрелок не удивился бы.

3

Где-то между гулким помещением («Мортципедия» определяла его как *вестибюль*, то есть место для входа и выхода из контор, заполнявших эту упиравшуюся в небо башню) и залитой ярким солнечным светом улицей (улицу «Мортципедия» идентифицировала одновременно как Шестую и Всеамериканскую авеню) вопли хозяина занятого Роландом тела прекратились. Не потому, что Морт умер от испуга — некое глубинное чутье, ничем не отличающееся от точного знания, подсказывало стрелку, что если бы Морт

погиб, их *ка* оказались бы навечно изгнаны за пределы всех физических миров, туда, где нет никаких вариантов. Джек Морт не умер — он лишился чувств. Лишился чувств от непосильного бремени жутких и странных событий, как случилось с самим Роландом, когда, вторгшись в сознание этого человека, он раскрыл его тайны и обнаружил скрещение судеб, слишком потрясающее, чтобы быть случайным.

Стрелок был рад, что Морт лишился чувств. Покуда бессознательное состояние этого человека не влияло на возможность доступа к его знаниям и памяти, Роланд был только рад, что он ему не мешает.

Желтые машины оказались общественными наемными экипажами, именуемыми «*Тах-Си*», или «*Кэбами*», или «*Тачками*». Возницы, сообщила Роланду «Мортципедия», делились на два племени: *Испашек* и *Жидяр*. Чтобы остановить такой экипаж, следовало тянуть руку вверх, как ученику в классной комнате.

Роланд последовал инструкции. После того, как несколько явно пустых (если не считать шофера) *Тах-Си* проехало мимо, он заметил на них таблички «Посадки нет». Это были Великие Буквы, и помощь Морта не понадобилась. Он выждал и опять поднял руку. На этот раз *Тах-Си* подъехало. Стрелок забрался на заднее сиденье. Он почувствовал слабый запах табака, застарелого пота, выветрившихся духов. Так же пахли дилижансы в родном Роланду мире.

— Куда, дружище? — спросил водитель. Роланд понятия не имел, к какому племени, *Испашек* или *Жидяр*, принадлежит этот человек, и не собирался выяснять. Здесь это могло быть неучтиво.

— Точно не знаю, — сказал Роланд.

— Это не сеанс групповой психотерапии, дружище. Время — деньги.

«Вели ему опустить флажок», — подсказала «Мортципедия».

— Опустить флажок, — сказал Роланд.

— Только время зря теряем, — отозвался водитель.

«Скажи, что дашь на чай пятерку», — посоветовала «Мортципедия».

— Пятерку на чай, — сказал Роланд.

— Давай поглядим, — отозвался водитель. — За так и прыщ не вскочит. Музыку заказывает тот, кто платит.

«Спроси, чего он хочет: заработать или пойти на хер», — немедленно посоветовала «Мортципедия».

— Ты чего хочешь: заработать или на хер прогуляться? — холодным мертвым голосом поинтересовался Роланд.

Шофер на миг с опаской взглянул в зеркало заднего вида и больше ничего не сказал.

Теперь Роланд более полно сверился с запасом знаний, накопленным Джеком Мортом. Шофер бросал быстрые взгляды наверх: добрых пятнадцать секунд его пассажир просидел, чуть пригнув голову и

охватив лоб ладонью, точно маялся эксседриновой головной болью. Водила уже решил сказать парню, чтобы вылезал, не то он покричит фараона, но тут пассажир поднял глаза и мягко проговорил: «На угол Сорок девятой улицы и Седьмой авеню, пожалуйста. Неважно, какого вы племени — я заплачу вам за эту поездку десять долларов сверх счетчика».

«С приветом, — подумал шофер (белый англо-сакс, протестант из Вермонта, пытающийся пробиться в шоу-бизнес), — но, может, *богач* с приветом». Он тронул с места. «Приятель, мы уже на месте!» — объявил он и, вливаясь в поток машин, мысленно прибавил: «И чем скорей мы там будем, тем лучше».

4

Импровизировать. Вот нужное слово.

Выйдя из такси, стрелок увидел припаркованную кварталом дальше сине-белую машину и, не сверяясь с моровым хранилищем знаний, прочел «Полиция» как «*Россия*». В машине что-то пили из белых бумажных стаканов — уж не кофе ли? — два стрелка. Да, стрелки — однако они выглядели раскормленными и слабыми.

Он залез в бумажник Джека Морта (правда, бумажник этот был слишком мал, чтобы считаться *настоящим* бумажником; *настоящий* бумажник по размерам немногим уступал кошельку и мог вместить весь скарб того, кто путешествует не слишком тяжело нагруженным) и подал водителю банкноту с цифрами 2 и 0. Таксист быстро уехал. Бесспорно, чаевые были самыми крупными за день, зато клиент — таким странным, что водила почувствовал: он честно заработал каждый цент этой двадцатки.

Стрелок посмотрел на вывеску над дверями лавки.

«СТРЕЛКОВОЕ СНАРЯЖЕНИЕ И СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ КЛЕМЕНЦА», гласила она. «БОЕПРИПАСЫ, РЫБОЛОВНЫЕ СНАСТИ, ОФИЦИАЛЬНЫЕ ФАКСИМИЛЕ».

Роланд понял не все слова, но одного взгляда на витрину оказалось довольно, чтобы понять: Морт привел его в нужное место. В витрине красовались наручники, кокарды, значки разных рангов... и стрелковое оружие. Главным образом, винтовки и карабины, но и револьверы тоже. Они были прикреплены цепочками, но это не имело значения.

Когда — *если* — то, что нужно, попадется ему на глаза, он это узнает.

Минуту с лишним Роланд наводил справки в сознании Джека Морта — в сознании, хитром и изворотливом как раз настолько, чтобы отвечать его целям.

Один из фараонов в синей с белым машине ткнул локтем напарника.

— Теперь, — сказал он, — мы имеем сравнительно *серьезного* покупателя.

Напарник рассмеялся.

— О *Боже*, — проговорил он нарочито бабьим голосом, когда человек в деловом костюме и оправленных в золото очках закончил изучать выставленные в витрине товары и вошел внутрь. — Небось, только сто ресился купить *голубенькие* нарусьники.

Первый полицейский, набравший полный рот кофе, прыснул и подавился. Мелкие брызги тепловатой жидкости полетели в картонный стаканчик.

Почти сразу же появился продавец и спросил, чем может быть полезен.

— Мне хотелось бы знать, — ответил мужчина в консервативном синем костюме, — нет ли у вас бумаги... — Он умолк, видимо, глубоко задумавшись, потом поднял глаза. — То есть *таблицы*, где нарисованы револьверные патроны.

— Вы имеете в виду таблицу калибров? — спросил продавец.

Покупатель помолчал, потом сказал:

— Да. У моего брата есть револьвер. Я когда-то стрелял из него — правда, очень давно. Думаю, если я увижу пули, то узнаю их.

— Ну, может быть, вам так кажется, — ответил продавец, — но разобраться бывает трудно. Какой это был калибр? Двадцать второй? Тридцать восьмой? Или, может быть...

— Если у вас есть таблица, я разберусь, — перебил Роланд.

— Один момент. — Секунду продавец с сомнением смотрел на человека в синем костюме, потом пожал плечами. Клиент, б**, всегда прав, даже когда ошибается... были бы «бабки». Кто платит, тот и заказывает музыку. — Была у меня «Библия стрелка». Может, вам нужно заглянуть в нее?

— Да. — Роланд улыбнулся. *Библия стрелка*. Благородное название для книги.

Порывшись под прилавком, продавец извлек изрядно зачитанный том. Хотя книга толщиной могла поспорить с любой из тех, что повидал за свою жизнь Роланд, этот человек держал ее так, будто ценности в ней было не больше, чем в горстке камней.

Раскрыв книгу на прилавке, продавец развернул ее к Роланду.

— Вот, взгляните. Хотя, если прошло много лет, это — стрельба вслепую. — Вид у него стал удивленный, потом он улыбнулся. — Прошу прощения за каламбур.

Роланд не слышал. Он склонился над книгой, штудирова картинки, казавшиеся почти такими же реальными, как то, что они представляли, — чудесные, изумительные картинки, которые «Мортципедия» назвала *фоттаграфами*.

Стрелок медленно переворачивал страницы. Нет... нет... нет...

Почти потеряв надежду, он внезапно поднял на продавца глаза, полыхавшие таким волнением, что тот струхнул.

— Вот! — сказал Роланд — Вот! *Вот оно!*

На снимке, по которому он постукивал пальцем, был патрон от пистолета «винчестер» сорок пятого калибра. Он не был точно таким же, как патроны стрелка — их-то делали и заряжали вручную — но, даже не сверяясь с цифрами (которые все равно ничего бы ему не сказали), Роланд видел: в гнезда барабанов его револьверов патрон войдет. Можно будет стрелять.

— Ну, ладно, кажется, вы нашли, что искали, — сказал продавец. — Но зачем же кончать в штаны, приятель? Я хочу сказать, это же просто *пули*.

— Они у вас есть?

— Ясное дело. Сколько вам нужно коробок?

— А сколько в коробке?

— Пятьдесят. — Продавец начинал смотреть на стрелка с самым натуральным подозрением. Если парень собрался покупать патроны, то должен был знать, что нужно показать разрешение на ношение оружия — с фотографией и личными данными. Нет разрешения — нет патронов, во всяком случае, к ручному огнестрельному оружию; такой в округе Манхэттен закон. А если разрешение на ношение шпалера у этого субъекта есть, почему ж он не знает, сколько патронов идет в стандартной упаковке?

— Пятьдесят! — Теперь мужик в синем костюме уставился на него, разинув рот от удивления. Да, точно, у парня в голове червяки.

Продавец бочком подвинулся чуть левее, подобравшись чуть ближе к кассе... и — не так, чтобы совсем уж случайно — к собственному пистолету. Свой полностью заряженный «Магнум» .357 он держал на пружинном зажиме под прилавком.

— *Пятьдесят!* — повторил стрелок. Он рассчитывал на пять, десять, самое большее — на дюжину, но это... это... «Сколько у тебя денег?» — спросил он «Мортципедию». «Мортципедия» не знала — знала неточно, — но думала, что в бумажнике лежит как минимум шестьдесят зеленых.

— А сколько стоит коробка? — Роланд полагал, что больше шестидесяти долларов, однако продавца можно было убедить продать *часть* коробки или же...

— Семнадцать пятьдесят, — ответил продавец. — Но, мистер...

Джек Морт был бухгалтером, и на этот раз ждать не пришлось. Пересчет и ответ пришли разом.

— Три, — сказал стрелок. — Три коробки. — Он постучал пальцем по *фоттаграфам* патронов. Сто пятьдесят выстрелов! О боги! Что за безумная сокровищница — этот мир!

Продавец не шелохнулся.

— Так много у вас нет, — проговорил стрелок. Собственно, он не удивился. Все складывалось слишком хорошо, чтобы быть правдой. Сон.

— О, сорок пятый калибр к «винчестеру» у меня есть, есть у меня сорок пятый калибр, а как же, в попочке. — Продавец сделал еще один шаг влево, поближе к кассе и «Магнуму». Если парень чокнутый (продавец надеялся, что теперь это выяснится с минуты на минуту), скоро он будет чокнутым с исключительно большой дырищей в середине. — В попочке у меня сорок пятый калибр. Мне другое хочется узнать, мистер: у вас-то карточка имеется?

— Карточка?

— Разрешение на ношение ручного огнестрельного оружия. С фотографией. Я не могу продать вам патроны, пока вы не покажете мне разрешение. А если хочешь покупать это добро без документа, надо ехать в Вестчестер.

Стрелок тупо уставился на продавца. Все сказанное было для него бессвязной болтовней, из которой он ни черта не понял. В «Мортципедии» содержалась расплывчатая информация о том, что подразумевал этот человек, однако идеи Морта были слишком туманны, чтобы на них полагаться. У Морта никогда не было ни пистолета, ни револьвера. Свое гнусное дело он делал другими методами.

Не отрывая глаз от лица клиента, продавец бочком, незаметно сделал еще один шаг влево, и стрелок подумал: «У него есть револьвер. Он ждет от меня неприятностей... или, может быть, *хочет*, чтобы я устроил неприятности. Ему нужен предлог, чтобы пристрелить меня».

Импровизировать.

Роланд вспомнил о стрелках, сидевших в синем с белым экипаже в конце улицы. Да, стрелки, стражи покоя, люди, которым поручено не давать миру сдвинуться с места. Однако здешние стрелки — по крайней мере, на беглый взгляд — казались почти такими же мягкотелыми, изнеженными и ненаблюдательными, как и все прочие обитатели этого мира праздных мечтателей; всего-навсего два человека в форме и фуражках, которые пьют кофе, лениво развалившись на сиденьях своего экипажа. Но, быть может, он судит неверно? Ради самих этих людей стрелок надеялся, что не ошибается.

— О! Понимаю, — сказал стрелок, и лицо Джека Морта изобразило виноватую улыбку. — Простите. Наверное, я не в курсе, насколько сильно мир сдвинулся... изменился с тех пор, как у меня в последний раз был револьвер.

— Ничего страшного, — сказал продавец, самую малость расслабляясь. Может быть, парень все-таки в порядке. А может, просто шутки шутит.

— А нельзя ли посмотреть вон тот набор для чистки? — Роланд показал на полку позади продавца.

— Конечно — Продавец повернулся, чтобы достать коробку, и, когда оказался спиной к стрелку, тот молниеносно, точно револьвер из кобуры, выхватил из внутреннего кармана пиджака Морта бумажник. Продавец не простоял спиной к Роланду и четырех секунд, но когда вновь развернулся к клиенту, бумажник был уже на полу.

— Классная штука, — улыбаясь, сказал продавец, решивший, что в конце концов с парнем все в порядке. Черт возьми, он-то знал, как паршиво бывает на душе, когда выставишь себя ослом. Сам частенько ходил в дураках, когда служил в морской пехоте. — К тому же на покупку такого набора разрешения не нужно. Дивная штука — свобода, верно?

— Да, — серьезно подтвердил стрелок и притворился, будто внимательно рассматривает набор, хотя одного-единственного взгляда было довольно, чтобы понять: перед ним — дрянная вещь, дешевка в дрянной упаковке. Разглядывая ее, Роланд ногой осторожно затолкал бумажник Морта под прилавок.

Чуть погодя он отодвинул коробку, сносно изобразив сожаление.

— Боюсь, я пас.

— Ладно, — сказал продавец, резко теряя интерес к клиенту. Поскольку мужик не был сумасшедшим и явно пришел смотреть, а не покупать, их отношения вступили в завершающую стадию. Музыка заказывает тот, кто платит. — Что-нибудь еще? — спросил он, взглядом веля синему костюму выкатываться.

— Нет, спасибо. — Стрелок вышел, не оглянувшись. Бумажник Морта лежал глубоко под прилавком. Роланд расставил собственную ловушку с приманкой.

7

Полицейские Карл Диливэн и Джордж О'Мейра допили кофе и уже собирались ехать дальше, когда к их машине подошел появившийся из магазина Клеменца (по убеждению обоих фараонов — «пороховницы», что на полицейском жаргоне означает оружейную лавку, которая, торгуя на законных основаниях, время от времени продает оружие независимым налетчикам с доказанными полномочиями, а также делает бизнес, порой крупный, с мафией) мужчина в синем костюме.

Он нагнулся и сквозь окошко со стороны пассажирского сиденья посмотрел на О'Мейру. О'Мейра ожидал услышать явно педоватый голос — неизвестно, такой ли уж педоватый, как намекала его шаблонная шутка насчет голубеньких наручников, но все равно голос «петуха». Помимо оружия, магазин Клеменца бойко торговал наручниками. Закон в округе Манхэттен это разрешал. Те, кто

покупал стальные браслеты, в большинстве своем не были доморощенными Гудини (полицейским это не нравилось, но *когда* это бывало, чтобы соображения полицейских на какую угодно заданную тему что-то меняли?). Основной контингент покупателей составляли гомики с легкой склонностью к садизму и мазохизму. Но мужик в синем костюме по разговору вовсе не походил на педрилу. Голос у него был глуховатым и невыразительным, вежливым, но несколько неживым.

— Там торговец забрал мой бумажник, — сказал этот человек.

— *Кто?* — О'Мейра быстро выпрямился. Полтора года у них чесались руки повязать Джастина Клеменца. В случае удачи они с Диливэном, может быть, смогли бы наконец сменить синюю форму на значки детективов. Вероятно, это была всего лишь несбыточная мечта — так хорошо на самом деле не бывает — и все же...

— Торговец. Э... — Короткая пауза. — Продавец.

О'Мейра и Карл Диливэн переглянулись.

— Волосы черные? — спросил Диливэн. — Такой приземистый, коренастый?

Вновь последовала кратчайшая пауза.

— Да. Глаза карие. Под одним — маленький шрам.

Было в этом мужике что-то... что именно, О'Мейра тогда не сумел определить; он припомнил это позднее, когда уже не нужно было думать о другом и, главным образом, конечно, о том простом факте, что золотой значок детектива — пустое; выяснилось, что удержаться на своей работе — и то будет чудо из чудес.

Но много лет спустя, когда О'Мейра повел двух своих сыновей в бостонский Музей Науки, бывшему полицейскому выпал краткий миг прозренья. В музее была машина — компьютер, — которая играла в крестики-нолики. Если первым ходом ты не ставил свой крестик в центральную клетку, машина неизменно об***вала тебя, но всякий раз делала паузу, чтобы обратиться к памяти за возможными вариантами гамбитов. И О'Мейра, и мальчики были в восторге. Но в этом было что-то страшноватое... А потом О'Мейре вспомнился Синий Костюм. Вспомнился оттого, что у него, у Синего Костюма, была такая же манера говорить, едри ее в корень. Толковать с ним было все равно, что толковать с роботом.

Диливэну так не показалось, однако девять лет спустя он однажды вечером придет со *своим* (к тому времени уже восемнадцатилетним, без пяти минут студентом колледжа) сыном в кино и на тридцатой минуте художественного фильма неожиданно поднимется с места, пронзительно крича: *«Это он! ОН! Тот мужик в синем, едрена мать, костюме! Тот мужик, что был у Кле...»*

Кто-то гаркнет *«Эй, сядьте там!»*, но побеспокоится напрасно — Диливэна, заядлого курильщика, имеющего семьдесят фунтов лишнего веса, роковой сердечный приступ настигнет раньше, чем этот недовольный доберется хотя бы до второго слова. Мужчина в синем

костюме, который в тот день подошел к патрульной машине Диливэна и О'Мейры и сообщил о похищенном бумажнике, внешне не походил на главного героя фильма, но манера глухо, невыразительно ронять слова, была той же. Как и пластика — какая-то безжалостная и все-таки полная изящества.

Показывали, разумеется, «Терминатора».

8

Полицейские переглянулись. Тот, о ком говорил Синий Костюм, не был Клеменцем, однако вряд ли стоило огорчаться: речь шла о «Жирном Джонни» Холдене, муже сестры Клеменца. Но сделать такую вопиющую глупость, украсть у мужика бумажник...

...«было бы как раз в духе этого придурка», — мысленно закончил О'Мейра. Чтобы скрыть промелькнувшую на губах короткую усмешку, ему пришлось прикрыть рот рукой.

— Может, будет лучше, если вы объясните, что, собственно, случилось, — сказал Диливэн. — Можно начать со своей фамилии.

О'Мейре вновь померещилось, что мужчина в синем костюме отреагировал немного неправильно, чуть невпопад. В большом городе, где порой казалось, будто семьдесят процентов населения считают выражение *иди на х*** американским вариантом *всего хорошего*, он ожидал услышать от парня что-нибудь вроде «Эй, этот сукин сын прибрал мой бумажник! Вы собираетесь вернуть мне вещь или мы так и будем торчать здесь и играть в «Двадцать вопросов?»»

Но тут был хорошо сшитый костюм, маникюр. Может быть, мужик привык иметь дело со всякой бюрократической чепухней. По правде говоря, Джорджа О'Мейру это не слишком заботило. При мысли о том, что они свинтят Жирного Джонни Холдена и смогут вертеть Арнольдом Клеменцем, у О'Мейры слюнки текли. На один головокружительный миг он даже позволил себе вообразить, как использует Холдена, чтоб сцапать Клеменца, а Клеменца — чтоб взять действительно крупную шишку, макаронника Балазара, например, или, может быть, Джинелли. Это было бы не хило. Вовсе не хило.

— Меня зовут Джек Морт, — сказал мужчина.

Диливэн вытащил из заднего кармана блокнот.

— Адрес?

Пресловутая легкая заминка. «Точно робот», — опять подумал О'Мейра. Секунда молчания, потом почти слышный щелчок.

— Южный район, Парк-авеню, 409.

Диливэн записал.

— Номер социальной страховки?

После очередной едва заметной паузы Морт назвал номер.

— Хочу, чтоб вы поняли: эти вопросы я задаю вам в целях опознания. Коль скоро тот парень действительно взял ваш бумажник, будет удачно, если, прежде чем получить вещь в свое распоря-

жение, я смогу сказать, что вы сообщили мне определенные сведения. Ну, понимаете?

— Да. — Теперь в голосе мужчины слышался ничтожнейший намек на нетерпение. Это почему-то немного успокоило О'Мейру. — Только не тяните больше, чем нужно. Время идет и...

— Все время что-нибудь да происходит. Ага. Я врубился.

— Все время что-нибудь да происходит, — согласился мужчина в синем костюме. — Да.

— Есть у вас в бумажнике какое-нибудь фото, по которому можно было бы провести опознание?

Пауза. Потом:

— Карточка моей матери. Снимок сделан на фоне Эмпайр Стэйт Билдинг. На обороте надпись: «Прекрасный день, прекрасный пейзаж. С любовью, Ма».

Диливэн яростно черкал в блокноте, потом захлопнул его.

— Ладно. Годится. Еще одно, последнее: если мы отберем бумажник, вам придется расписаться, чтобы мы могли сравнить подпись с подписью на ваших водительских правах, кредитных карточках и прочем добре того же рода. Договорились?

Роланд кивнул, хотя, в общем, понимал: пусть он может пользоваться памятью Джека Морта и его знанием мира столько, сколько требуется, но если Морт будет без сознания, как сейчас, нет ни единого шанса точно воспроизвести его подпись.

— Расскажите, что произошло.

— Я зашел купить патроны для брата. У него револьвер, «винчестер» сорок пятого калибра. Тот человек спросил, есть ли у меня разрешение на ношение оружия. Я сказал, конечно. Он спросил, нельзя ли взглянуть.

Пауза.

— Я вынул бумажник. Показал разрешение. Только для этого пришлось бумажник развернуть; должно быть, тогда-то он и увидел, что там порядочно... — коротенькая пауза, — ...двадцаток. Я — фининспектор. У меня есть клиент по фамилии Дорфман, он совсем недавно выиграл затыжной... — пауза — ...судебный процесс и получил небольшое возмещение уплаченных налогов. И сумма-то была всего восемьсот долларов, но договариваться с такой редкостной б**дью, как этот Дорфман... — пауза, — нам еще не приходилось. — Пауза. — Прошу прощения за каламбур.

О'Мейра повторил про себя последние слова мужчины в синем костюме, и до него вдруг дошло. Договариваться с такой редкостной б**дью нам еще не приходилось. Недурно. Он рассмеялся. Мысли о роботах и машинах, играющих в крестики-нолики, вылетели у него из головы. В общем, парень как парень, просто он расстроен и пытается скрыть это за напускным спокойствием.

— Ну, все равно. Короче, Дорфман захотел наличных. Он *требовал* наличных.

— Вы думаете, что Жирный Джонни углядел бабки вашего клиента, — сказал Диливэн. Они с О'Мейрой выбрались из сине-белой машины.

— Вы так называете того человека из магазина?

— Бывает, мы называем его и похуже, — отозвался Диливэн. — Что случилось после того, как вы показали ему разрешение, мистер Морт?

— Он спросил, нельзя ли взглянуть поближе. Я отдал ему бумажник, но он даже не взглянул на фотографию и уронил бумажник на пол. Я спросил, зачем он это сделал. Он сказал — дурацкий вопрос. Тогда я велел ему вернуть бумажник. Я был вне себя.

— Надо думать. — Однако, глядя в безжизненное лицо мужчины, Диливэн сказал себе: никогда не подумаешь, что этот человек способен взбеситься.

— Он рассмеялся. Я начал обходить прилавок, чтобы взять бумажник. Тогда он выхватил револьвер.

Уже шагнувшие к магазину полицейские остановились. Вид у них был скорее возбужденный, чем испуганный.

— Револьвер? — переспросил О'Мейра, желая убедиться, что слышал правильно.

— Он был под прилавком, у кассы, — сказал мужчина в синем костюме. Роланд помнил момент, когда чуть было не пустил коту под хвост свой первоначальный план ради револьвера продавца, и теперь объяснял этим стрелкам, почему поступил иначе. Он хотел использовать их, а не угробить. — По-моему, он держался в стыковочной муфте.

— В чем? — спросил О'Мейра.

На сей раз последовала более долгая пауза. Мужчина наморщил лоб.

— Не знаю точно, как это сказать... такая штука, в которую вставляешь револьвер. И никто, кроме тебя, выхватить его уже не может, если только не знает, куда нажать...

— Пружинный зажим! — сказал Диливэн. — Срань господня! — Напарники в очередной раз обменялись взглядами. Никто не хотел первым говорить этому типу, что Жирный Джонни, скорей всего, уже собрал с его бумажника урожай наличных, оторвал жопу от стула, вытряхнулся из дверей черного хода и перебросил пустой кошелек через стену, оттораживающую задний двор от переулка... но пистолет и пружинный зажим... это меняло дело. Обвинение в грабеже не исключалось, но одновременно обвинить Жирного Джонни в сокрытии оружия — это, похоже, был верняк. Может, похуже варианта с грабежом, но все-таки первый шаг.

— Что потом? — спросил О'Мейра.

— Потом он сказал мне, что бумажника у меня не было. Он сказал... — пауза, — что мне залезли в карман на улице и, если я

хочу сохранить здоровье, мне лучше это запомнить. Я вспомнил, что видел в конце квартала полицейскую машину, и подумал, может, вы все еще там. И ушел.

— Ладненько, — сказал Диливэн. — Первыми — и быстро — заходим мы с напарником. Вы даете нам примерно минуту — *ровно* минуту, просто на случай каких-нибудь неприятностей — и заходите, но останавливаетесь у двери. Понятно?

— Да.

— Ладненько. Пошли брать этого козла.

Полицейские зашли внутрь. Выждав тридцать секунд, Роланд последовал за ними.

9

«Жирный Джонни» Холден не просто протестовал. Он ревел, как ирихонская труба.

— Это же псих! Впирается сюда, чего хочет — не знает, потом видит то, что ему надо, в «Библии стрелка» и не знает ни сколько штук в упаковке, ни сколько упаковка стоит, а когда мне хочется поближе взглянуть на его разрешение, несет такую парашу, какой я отродясь не слыхал, потому что нет у него никакого разрешения на... — Жирный Джонни осекся. — Вот он! Вот этот урод! Вон там! Я тебя вижу, приятель! Вижу твою харю! В следующий раз, как *ты* увидишь *мою*, ты, б**дь, крупно пожалеешь! За это я ручаюсь! Я, б**дь, тебе гарантирую...

— У тебя нет бумажника этого человека? — спросил О'Мейра.

— Вы *знаете*, что у меня нет его бумажника!

— Мы заглянем за витрину, не возражаешь? — нанес встречный удар Диливэн. — Просто, чтобы убедиться.

— Мать твою распротак и обратно! Витрина-то *стеклянная*! Видите вы там хоть один бумажник?

— Да нет, я имел в виду не *ту* витрину... а *эту*, — сказал Диливэн, продвигаясь в сторону кассы. Его голос походил на кошачье мурлыканье. Там, куда он показал, вдоль полок витрины шла вертикальная крепежная полоса из хромированной стали. Ширина полосы составляла почти два фута. Диливэн оглянулся на мужчину в синем костюме, и тот кивнул.

— Я хочу, чтоб вы, ребята, сию минуту убрались отсюда, — сказал Жирный Джонни. Он несколько полинял. — Вернетесь с ордером — другое дело. Но сейчас я хочу, чтоб вы убрались к е**не матери. Эта б**дская страна — все еще свободная страна, яс... эй! эй! ЭЙ, ХОРОШ!

О'Мейра заглядывал за прилавок.

— Это незаконно! — выл Жирный Джонни. — Незаконно, е* твою мать... Конституция... мой юрист, б**дь... катитесь отсюда сейчас же, не то...

— Я только хотел поближе взглянуть на товар, — мягко проговорил О'Мейра. — По той причине, что стекла в твоей витрине ох**нно грязные. Вот и посмотрел за прилавком. Верно ведь, Карл?

— Век воли не видать, корешок, — серьезно отозвался Диливэн.

— И смотри-ка, *что* я нашел.

Роланд услышал, как что-то щелкнуло, и в руке у стрелка в синей форме вдруг оказался чрезвычайно большой револьвер.

Осознав наконец, что он — единственный из присутствующих, чья история расходится с небылицей, только что рассказанной тем фараоном, который забрал «Магнум», Жирный Джонни помрачнел.

— У меня есть лицензия, — сказал он.

— На ношение? — спросил Диливэн.

— Да.

— На негласное ношение?

— Да.

— Ствол зарегистрирован? — поинтересовался О'Мейра. — Да? Зарегистрирован?

— Ну... я мог и запомнить.

— А может, он паленый, и об этом ты тоже запомнил.

— Да пошел ты. Я звоню своему адвокату.

Жирный Джонни начал поворачиваться к ним спиной. Диливэн схватил его.

— Тогда возникает такой вопрос: есть ли у тебя разрешение прятать с помощью пружинного зажима оружие, представляющее угрозу жизни, — сказал он прежним тихим, мурлычащим голосом. — Вопрос интересный — насколько мне известно, таких разрешений в Нью-Йорке *не выдают*.

Полицейские смотрели на Жирного Джонни; Жирный Джонни свирепо смотрел на них. Поэтому никто не заметил, как Роланд перевернул висевшую на двери табличку: надпись «ОТКРЫТО» сменилась надписью «ЗАКРЫТО».

— Не исключено, что можно было бы начать решать этот вопрос, если бы нам удалось найти бумажник этого джентльмена, — сказал О'Мейра. Сам Сатана не сумел бы солгать так гениально-убедительно. — Он мог просто обронить его, понимаешь?

— Я же сказал! Я *знать* ничего не знаю про бумажник этого типа! Парень не в своем уме!

Роланд нагнулся и заметил:

— Да вот же он. Я же вижу. Этот человек поставил на него ногу.

Роланд солгал, но Диливэн, еще не убравший руку с плеча Жирного Джонни, так быстро пихнул толстяка назад, что разобьется, *на самом ли деле* у того под ногой был бумажник, стало невозможно.

Сейчас или никогда. Роланд бесшумно скользнул к конторке продавца: оба стрелка нагнулись, заглядывая под нее, и их головы оказались совсем рядом — ведь стояли стрелки бок о бок. В правой

руке у О'Мейры все еще был пистолет, который продавец держал под прилавком.

— Черт подери, бумажник здесь! — возбужденно сказал Диливэн. — Я его *вижу*!

Желая удостовериться, что человек, которого они называли Жирным Джонни, не собирается разыгрывать никаких комбинаций, Роланд метнул на него быстрый взгляд. Но Джонни просто стоял, привалясь к стене (собственно, *вжимаясь* в нее, точно жалел, что нельзя втиснуться внутрь), уронив руки вдоль тела и оскорбленно округлив широко раскрытые серые глаза. У него был вид человека, недоумевающего, как вышло, что гороскоп не велел ему сегодня поостеречься.

С этим — никаких проблем.

— *Ага!* — ликующе откликнулся О'Мейра. Оба полицейских смотрели под прилавок, упираясь ладонями в обтянутые форменными брюками колени. Теперь О'Мейра снял руку с колена и потянулся подцепить бумажник. — И я ви...

Роланд сделал последний шаг вперед. Он приложил одну руку к правой щеке Диливэна, другую — к левой щеке О'Мейры, и внезапно день, который, по убеждению Жирного Джонни, уже был препаршивым, стал *еще* *намного* *гаже*. Зомби в синем костюме свел головы фараонов вместе, да так сильно, что послышался звук как от столкновения двух обернутых сукном камней.

Фараоны вповалку рухнули на пол. Мужчина в золотых очках выпрямился, наставив на Жирного Джонни «Магнум-357». Дуло казалось достаточно большим для запуска ракеты Земля—Луна.

— У нас хлопот не будет, верно? — мертвым голосом спросил зомби.

— Нет, сэр, — тут же сказал Жирный Джонни, — ни грамма.

— Стой, где стоишь. Если твоя жопа потеряет контакт со стенкой, ты потеряешь контакт с жизнью в своем всегдашнем понимании. Ясно?

— Да, сэр, — сказал Жирный Джонни. — Еще как.

— Хорошо.

Роланд растащил бесчувственные тела полицейских. Оба были еще живы. Хорошо. Пусть нерасторопные, ненаблюдательные — неважно; это были стрелки, люди, попытавшиеся помочь незнакомцу, попавшему в беду. А Роланд вовсе не горел желанием убивать своих.

Но ведь это уже бывало, правда? Да. Разве не погиб Алан, один из его названных братьев, связанных клятвой верности, под дымящимися дулами револьверов Роланда и Катберта?

Не сводя глаз с продавца, Роланд носком туфли Джека Морта нащупал под прилавком бумажник. Пнул его. Бумажник, крутясь, вылетел из-под прилавка под ноги продавцу. Жирный Джонни подскочил, взвизгнув, точно глупая девчонка, увидавшая мышь. На миг его зад *действительно* оторвался от стены, но стрелок оставил это без внимания — в его намерения не входило вгонять пулю в этого

человека. Скорее, он предпочел бы запустить в него револьвером и оглушить: на выстрел из такого нелепо большого револьвера, вероятно, сбежалось бы пол-района.

— Подними, — велел стрелок. — Медленно.

Жирный Джонни нагнулся, дотянулся до бумажника и, когда схватил его, громко пукнул и пронзительно вскрикнул. Стрелок со слабым изумлением понял: продавец принял собственное пуканье за выстрел и решил, будто пришел его смертный час.

Неудержимо краснея, Жирный Джонни выпрямился. У него на брюках спереди красовалось большое мокрое пятно.

— Кошель... то есть, бумажник — на стойку.

Жирный Джонни повиновался.

— Теперь патроны. К «Винчестеру» сорок пятого калибра. И чтоб я все время видел твои руки.

— Мне надо слезать в карман. За ключами.

Роланд кивнул.

Пока Жирный Джонни сперва отпирал, а потом открывал застекленную витрину, в которой были сложены картонные коробки с патронами, Роланд размышлял.

— Давай четыре коробки, — наконец сказал он. Представить себе, что потребуется так много патронов, Роланд не мог, но и искушение *обладать* ими было непреодолимым.

Жирный Джонни выставил коробки на прилавок. Роланд, которому все еще с трудом верилось, что это не розыгрыш и не обман, сдвинул крышку с одной из них. Но нет, там лежали самые настоящие патроны — чистенькие, сияющие, без отметин; ими никогда еще не стреляли, никогда не меняли в них порох. Он на секунду поднес одну из пуль к свету, потом вернул ее в коробку.

— Теперь достань пару тех наручной.

— Наручней?..

Стрелок справился в «Мортципедии».

— Наручников.

— Мистер, не понимаю, чего вам надо. Касса...

— Делай, что я говорю. Быстро.

«Господи, это *никогда* не кончится», — мысленно простонал Жирный Джонни. Открыв другую секцию прилавка, он вынул пару наручников.

— Ключ? — спросил Роланд.

Жирный Джонни положил ключ от наручников на прилавок. Ключ тихонько звякнул. Один из лежавших в беспамятстве полицейских вдруг всхрипнул, и Джонни едва слышно взвизгнул.

— Повернись ко мне спиной, — велел стрелок.

— Вы ведь не собираетесь застрелить меня, а? Скажите, что не собираетесь!

— Не собираюсь, — без выражения произнес Роланд. — При условии, что ты немедленно повернешься. Если нет, пристрелю.

Жирный Джонни повернулся спиной к Роланду, принимаясь шумно всхлипывать. Конечно, мужик сказал, что не собирается его мочить, но запах разборки между бандами становился слишком крепким, чтобы не обращать на него внимания. Джонни и наварить-то толком не успел! Плач перешел в сдавленные причитания с подвывом.

— Прошу вас, мистер, не стреляйте, пожалуйста мою мать. Она старенькая, совсем слепая. Она...

— Она обречена на страдание: ее сын — трусливая душонка, — сурово оборвал его стрелок. — Запястья вместе.

Жирный Джонни (мокрые брюки прилипали в шаг), хныча, подчинился. На руках у него в два счета зашелкнулись стальные браслеты. Как этот зомби исхитрился так быстро оказаться за прилавком, перелезть или обойти его, Джонни не имел ни малейшего представления. И знать *не хотел*.

— Стой здесь и смотри в стену, пока я не скажу, что можно повернуться. Если повернешься раньше, убью.

Рассудок Жирного Джонни озарила надежда. Может быть, в конце концов этот тип не собирается его шлепнуть. Может, он не полный псих, а только с легким приветом.

— Да нет же. Господом Богом клянусь. Клянусь всеми святыми. Всеми Его ангелами. Всеми *архан...*

— А я клянусь, что коли ты не заткнешься, я прострелю тебе глотку, — сказал зомби.

Жирный Джонни заткнулся. Ему казалось, что он простоял лицом к стене целую вечность. В действительности прошло около двадцати секунд.

Стрелок опустил на колени, положил револьвер продавца на пол, быстро взглянул на презренного червя, дабы убедиться, что тот ведет себя паинькой, и перевернул двух других на спину. Оба были в полной отключке, однако, рассудил Роланд, пострадали неопасно. Дышали они ровно, размеренно. У того, которого звали Диливэн, из уха тонкой струйкой сочилась кровь, но этим все ограничивалось.

Бросив на продавца еще один быстрый взгляд, Роланд расстегнул и снял со стрелков портупеи. Потом он скинул синий пиджак Морта и застегнул их на себе. Револьверы были не те, но опять иметь при себе пушку все равно оказалось приятно. *Чертовски* приятно. Он не поверил бы, до чего приятно.

Два револьвера. Один для Эдди, другой для Одетты... если Одетте когда-нибудь можно будет доверить револьвер. Роланд вновь облачился в пиджак Джека Морта и опустил в каждый карман по две коробки патронов. Некогда безупречный пиджак разбух, потерял форму. Взяв «Магнум» продавца, Роланд переложил патроны в задний карман, а револьвер зашвырнул на другую половину магазина. Когда тот ударился о пол, Жирный Джонни вздрогнул, снова тихонько взвизгнул и упустил в штаны еще несколько капель теплой влаги.

Стрелок встал и велел Жирному Джонни обернуться.

Когда Жирный Джонни еще раз посмотрел на пренеприятнейшего субъекта в синем костюме и золотых очках, челюсть у него отвалилась. На миг он свято и несокрушимо уверовал в то, что пока стоял к незваному гостю спиной, тот превратился в привидение. Жирному Джонни померещилось, будто за этим человеком брезжит куда более реальная фигура, один из тех легендарных джентльменов удачи, о ком в свое время (сам Джонни был тогда от горшка два вершка) сняли столько фильмов и телефестивалов; один из парней вроде Вайятта Эрпа, Дока Холлидея и Буча Кэссиди.

Потом перед глазами у Джонни прояснилось, и он понял, что сделал этот псих ненормальный: забрал у фараонов пушки и нацепил на себя. В результате из-за костюма с галстуком он должен был бы выглядеть смехотворно, однако смеяться почему-то не хотелось.

— Ключ к наручням на прилавке. Когда посмелы очнуты, они освободят тебя.

Псих ненормальный взял бумажник, раскрыл и — невероятно! — прежде чем запихать обратно в карман, выложил на стекло четыре двадцатидолларовые купюры.

— За патроны, — пояснил Роланд. — Пули из твоего револьвера я тоже забрал. Их я намерен выбросить, когда уйду из магазина. Думаю, что с незаряженным револьвером и без бумажника тебя трудно будет обвинить в совершении преступления.

Жирный Джонни громко сглотнул. Наступил один из редких моментов в его жизни: он онемел.

— Теперь вот что. Где тут ближайший... — Пауза. — Ближайшая аптека?

Жирный Джонни внезапно все понял — или ему так показалось. Конечно, парень торчок. Вот и ответ. Неудивительно, что он такой странный. Небось, накачался по самые уши.

— З-за углом. Полквартала по Сорок девятой в сторону центра.

— Если врешь, я вернусь и вгоню пулю тебе в мозги.

— Не вру я! — возопил Жирный Джонни. — Христом-Богом клянусь! Святыми угодниками! Родной матерью...

Но дверь уже захлопывалась. Жирный Джонни на миг застыл в абсолютном молчании, не в силах поверить, что чокнутый ушел.

Потом он так быстро, как только мог, обогнул прилавок и подошел к двери. Повернувшись к ней спиной, он принялся ощупью искать замок. Наконец Джонни удалось ухватиться за него и повернуть. Повозившись еще немного, он изловчился и задвинул засов.

Только тогда Жирный Джонни позволил себе медленно сползти по стене и занять сидячее положение. Судорожно разевая рот, точно вытащенная из воды рыба, он задышающим, плачущим голосом клятвенно заверял Господа со всеми Его святыми и ангелами, что сегодня же после обеда — собственно, как только кто-нибудь из

лежавых очухается и освободит его от наручников — отправится в церковь Святого Антония. Он собирался исповедаться, покаяться и принять причастие.

Жирный Джонни Холден хотел уладить дела с Богом.

Что до сих пор было, едрена мать, просто слишком нелегко.

11

Заходящее солнце над Западным морем превратилось в огненную дугу. Дуга сузилась в одинокую светлую и яркую полоску, опалившую Эдди глаза; если долго смотреть на подобный свет, можно получить хронический ожог сетчатки. Таков был лишь один из множества занятных фактов, которые узнаешь в школе, — фактов, помогающих устроиться на работу, где можно реализовать свои возможности (например, барменом на неполный рабочий день), и обзавестись интересным хобби (скажем, целыми днями искать, где и на какие шиши прикупить героинчика). Эдди все смотрел. Ему казалось, что получит он ожог глаз или нет, скоро станет уже несущественно.

Он не докучал мольбами ведьме, засевшей у него за спиной. Во-первых, это не помогло бы. Во-вторых, Эдди не хотел унижаться. Вся его жизнь до сих пор была сплошным унижением; сейчас он обнаружил, что не желает в последние несколько минут уронить себя еще больше. Несколько минут — вот все, что у него теперь осталось. Несколько минут, а потом ослепительная полоска исчезнет и пройдет час чудовищных омаров.

Эдди перестал уповать на то, что в последнюю секунду некое дивное превращение вернет ему Одетту — так же, как перестал надеяться, что Детта признает: в случае его смерти она почти наверняка навсегда застрянет в этом мире, как корабль на мели. Еще четверть часа тому назад Эдди был убежден: Детта берет его на пушку. Теперь он уже не обманывался.

«Ладно, все лучше, чем медленно, по дюйму за раз, затягивающаяся удавка», — подумал он, сомневаясь, впрочем, что это соответствует истине, поскольку ночь за ночью видел омерзительных омароподобных тварей. Эдди надеялся, что сумеет умереть без истошных, пронзительных криков. Ему казалось, что это вряд ли окажется возможно, но он намеревался рискнуть.

— Придут, придут по твою душу, беложопый! — захлебываясь, верещала Детта. — Теперь уж с минуты на минуту! Лучшего обеда у этих красавчиков *отродясь* не бывало!

Детта не просто пугала, Одетта не возвращалась... и стрелок — тоже. Последнее отчего-то ранило сильнее всего. Эдди был уверен, что за время путешествия по взморью они со стрелком стали... ну если не братьями, то напарниками, и Роланд по крайней мере *попробует* защитить его.

Но Роланд не шел.

Может быть, дело не в том, что он не хочет возвращаться. Может, он не может вернуться. Может, он погиб, убит охранником в аптеке... блин, то-то была бы хохма — последнего стрелка на свете убивает «Полицейский по найму»... а может, он попал под такси. Может, он погиб, а дверь исчезла. Может, потому-то она и не пугает. Может, пугать-то и нечем.

— Теперь уж с минуты на минуту! — взвизгнула Детта, и тут Эдди стало ни к чему тревожиться за свою сетчатку, поскольку последний блестящий ломтик света исчез, оставив после себя лишь бледный отсвет.

Эдди уставился на океан. Перед глазами медленно таяли яркие пятна, какие остаются, когда переводишь взгляд с ярко освещенного предмета в темноту. Эдди ждал, когда из волн, кувыряясь и перекачываясь, появится первый гигантский омар.

12

Отвернувшись, Эдди попытался уклониться от первого чудовища, но оказался чересчур нерасторопен. Клешня содрала с его лица лоскут живой плоти, разбрызгала студенистой слизью левый глаз, явила влажный блеск замерцавшей в сумерках кости. Омар задавал свои вопросы, а Настоящая Гадина хохотала...

«Прекрати, — скомандовал себе Роланд. — Подобные раздумья хуже беспомощности. Это смятение. Растерянность. Коих быть не должно. Возможно, время еще есть».

И оно еще было — в тот момент. Когда Роланд в теле Джека Морта, размахивая руками и устремив решительный взгляд налитых кровью глаз на вывеску с надписью «АПТЕКА», широко шагал по Сорок девятой улице, пребывая в полном неведении относительно пристальных взглядов, которыми его награждали прохожие, и того, как круто люди сворачивали в сторону, стремясь избежать столкновения с ним, солнце в его родном мире еще стояло над горизонтом. Черты, у которой море встречалось с небом, нижний край огненного диска должен был коснуться примерно через четверть часа. Коль скоро Эдди ожидало время страданий, оно по-прежнему было впереди.

Стрелок, впрочем, не знал этого наверняка; он знал только, что по ту сторону двери более поздний час, чем здесь. Пусть солнце там все еще должно было стоять над горизонтом — предположение, что время в обоих мирах течет с одинаковой скоростью, могло оказаться убийственным... особенно для Эдди — в этом случае юношу ждала невообразимо страшная смерть, которую стрелок, тем не менее, все время пытался вообразить.

Его неодолимо тянуло оглянуться, увидеть. И все же Роланд не смел. *Не должен был.*

Течение его мыслей сурово прервал голос Корта:

*Управляй тем, чем можешь, червь. Обуздывай, что можешь обуздать. Все прочее пусть катится на легком катере к е**не матери, и коль поражение будет неизбежно — погибни, паля из обоих револьверов.*

Да.

Но это нелегко.

Порой *очень* нелегко.

Будь Роланд чуть менее свирепо сосредоточен на том, чтобы как можно скорее завершить свои дела в этом мире и убраться ко всем чертям, он заметил и понял бы, отчего люди, вытаращив на него глаза, резко сворачивали с дороги. Впрочем, это ничего бы не изменило. Он шагал к синей вывеске (где, согласно «Мортципедии», можно было получить снадобье Ке-флекс, необходимое его телесной оболочке), да так быстро, что, невзирая на отягощавший все карманы груз свинца, полы пиджака Морта развевались за спиной, открывая застегнутые на бедрах портупей, надетые Роландом не аккуратно и прямо, как носили их бывшие владельцы, а низко, крест-накрест, как он носил свои.

Уличным лабухам, лоточникам и выбравшейся по магазинам публике с Сорок девятой Роланд казался, в общем, тем же, кем и Жирному Джонни: *головорезом*.

Роланд поправился с аптекой Каца и вошел внутрь.

13

В свое время стрелок знал и волшебников, и чародеев, и алхимиков. Среди них попадались и умные шарлатаны, и глупые мошенники, верить в которых могли только еще большие глупцы (впрочем, дураков на свете всегда хватает, а потому выживали даже тупые мошенники — честно говоря, подавляющее большинство, как ни странно, процветало), и малая толика таких, что и в самом деле умели то, о чем говорилось шепотом. Эти немногие способны были вызвать демонов или мертвецов, убить проклятием или излечить странными зельями. Одного из них стрелок считал подлинным демоном, созданием, лишь притворяющимся человеком. Оно называло себя «Флэгт». Роланд увидел его лишь мельком, да и то, когда развязка уже близилась и на его родной край надвигались хаос и полное разорение. По горячим следам Флэгта явились двое молодых мужчин, судя по виду — доведенные до отчаяния и все же непреклонно-суровые. Звали мужчин Деннис и Томас. Эта тройца промелькнула лишь на крохотном отрезке того, что составляло запутанный и запутывающий период жизни стрелка, однако Роланду навсегда врезалось в память, как Флэгт у него на глазах превратил прогневавшего его человека в воющего пса. Он помнил это достаточно хорошо. Помимо Флэгта, был еще человек в черном.

И Мартен.

Мартен, соблазнивший мать Роланда в отсутствие ее супруга; Мартен, попытавшийся спровоцировать гибель Роланда и ставший вместо этого виновником его раннего возмужания; Мартен, которого он, возможно, еще встретит на пути к Башне... или подле нее.

Все сказанное выше имеет единственную цель — пояснить, что Роланд, имевший опыт общения с чародеями и колдунами, ожидал увидеть в аптеке Каца нечто совершенно отличное от того, что обнаружил в действительности.

Он заранее рисовал себе полутемную, освещенную свечами комнатушку, полную горьких испарений и сосудов с неизвестными порошками и жидкостями, с приворотными зельями и колдовскими отварами — сосудов, многие из которых заросли толстым слоем пыли или вековой паутиной. Он ожидал увидеть человека в одеянии с капюшоном; возможно, опасного человека. Увидев за прозрачным стеклом витрин людей, двигавшихся так же небрежно, как в любой другой лавке, он с уверенностью посчитал их иллюзией.

Они не были иллюзией.

Поэтому секунду-другую стрелок просто стоял на пороге, испытывая поначалу изумление, затем — ироническое веселье. Здешний мир — мир летающих по воздуху вагонов и дешевой, точно песок, бумаги, — кажется, на каждом шагу подсовывал ему диковину за диковиной, заставляя терять дар речи. Самоновейшим же дивом явилось то, что местные жители просто разучились удивляться — здесь, в обители чудес, Роланд увидел только скучные лица и вялую походку.

Тысячи бутылочек, снадобья, приворотные зелья... но почти все это «Мортципедия» определила как шарлатанские средства. Тут — целебная мазь, что должна восстанавливать, но не восстанавливает выпавшие волосы, там — крем, лживо сулящий удалить с рук и ног отвратительные пятна, а здесь — средства для лечения того, что не требует лечения: чтобы заставлять кишечник работать или наоборот, чтобы делать зубы белыми, волосы черными, а дыхание — приятным, будто этого нельзя добиться, пожевав кору ольхи. Никакой магии, лишь пустяки... хотя астин и еще несколько снадобий, которые, судя по названиям, могли оказаться полезными, там *были*. Однако основным чувством, испытанным Роландом, было смятение. Мудрено ли, что там, где обещали волшебство, но занимались больше благовониями, нежели колдовскими отварами, люди разучились удивляться?

Впрочем, еще раз справившись в «Мортципедии», Роланд обнаружил: истинный смысл этого места — не только в том, на что он смотрит. Подлинно действенные снадобья держали надежно укрытыми от глаз. Получить их можно было, лишь имея указ чародея. В этом мире такие чародеи звались «ВРАТ-ШИ» и записывали свои магические формулы на листочках бумаги — согласно «Мортципедии», «РЕЙСЕПАХ». Это слово было незнакомо стрелку. Можно было бы проконсультироваться более подробно, но он не стал утруждаться. Он

знал, что ему нужно, и, быстро заглянув в «Мортципедию», выяснил, где именно в магазине это можно добыть.

Роланд широким шагом двинулся по проходу к высокому прилавку, над которым было написано «ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ОТПУСК ЛЕКАРСТВ ПО РЕЦЕПТАМ».

14

Тот Кац, что в 1927 году открыл на Сорок девятой улице «Аптеку и торговлю сельтерской Каца (галантерея и всякая всячина для барышень и кавалеров)», давно лежал на кладбище, а его единственный сын выглядел так, будто и сам одной ногой уже стоял в могиле. Кацу-младшему было всего сорок шесть, но выглядел он на двадцать лет старше — лысеющий, хрупкий, с желтоватой кожей. Он знал, что про него говорят, будто он — вылитая смерть с косой, но никто не понимал, *почему*.

Взять хотя бы эту озабоченную, которая сейчас звонит. Миссис Ратбан. Рвет и мечет. Дескать, если он не отпустит валиум по ее треклятому рецепту — *сейчас же, СИЮ ЖЕ МИНУТУ!* — она подает на него в суд.

Что вы себе думаете, мадам, я насыплю вам этих синеньких шариков по телефону? Тогда она по крайней мере сделала бы ему одолжение, заткнулась — разинула бы пасть пошире, подняв над ней телефонную трубку, и дело с концом.

Эта мысль вызвала у Каца-младшего жутковатую улыбку, открывшую желтоватые зубы.

— Миссис Ратбан, вы не понимаете, — через минуту (целую отмеренную секундной стрелкой его наручных часов минуту) перебил Кац бушующую клиентку. Как бы ему хотелось хоть раз суметь сказать: «Хватит на меня орать, дура-баба! Ори на своего ДОКТОРИШКУ! Он посадил тебя на это дерьмо!» Верно. Проклятые знахари прописывали валиум так, будто это жевательная резинка, а когда решали урезать снабжение, на кого выливалось все дерьмо? На этих коновалов? О, нет! На него!

— Не понимаю? Как это так — не понимаю? — Голос жужжал в ухе у Каца, словно злоющая оса в банке. — Я вот что понимаю: я с вашей дрянной аптекой немало дел делаю, все эти годы я была вашей верной клиенткой и...

— Вам, миссис Ратбан, придется поговорить с... — Кац опять взглянул сквозь очки на карточку паскудной бабы — ...с доктором Брамхоллом. Срок действия вашего рецепта истек. По федеральным законам отпуск валиума без рецепта — преступление. — «Хотя преступлением в первую голову должно считаться выписывание таких рецептов... разве что тем пациентам, которым прописываешь эту дрянь, даешь нигде не зарегистрированный номер телефона», — подумал он.

— Да нет же, это описка! — взвизгнула женщина. Теперь в ее голосе отчетливо слышались режущие нотки неподдельной паники. Эдди мигом распознал бы этот тон — то кричала дикая Птица-Торчок.

— Ну так позвоните ему и попросите исправить, — сказал Кац. — Мой номер телефона у него есть. — Да. У всех у них был его телефон. То-то и беда. Кац в свои сорок шесть лет был похож на умирающего именно из-за *ферилюгинер*¹ врачей.

«И все, что нужно, чтобы последний слабенький краешек при- были, на котором я здесь еще как-то удерживаюсь, растаял наверняка — это послать на х** пару-тройку сволочных наркашек. Всего-то».

— НЕ МОГУ Я ЕМУ ПОЗВОНИТЬ! — громко и визгливо говорила миссис Ратбан. Ее голос больно сверлил ему ухо. — ОН КУДА-ТО УКАТИЛ ОТДЫХАТЬ СО СВОИМ ЛЮБОВНИЧКОМ-ПЕДРИЛОЙ, И КУДА, МНЕ НИКТО НЕ СКАЖЕТ!

Кац почувствовал, как в желудок начала медленно выделяться кислота (у Каца было две язвы, одна залеченная, другая — кровоточащая, и все — из-за баб вроде этой сучки). Он закрыл глаза. Следовательно, не видел, что его помощник не сводит глаз с подходившего к рецептурному отделу мужчины в синем костюме и золотых очках. Не видел он и того, что Ральф, пожилой толстый охранник (Кац платил ему жалкие гроши и все-таки страшно негодовал по поводу такого расхода; у отца никогда не было надобности в охраннике, но отец, холера ему в бок, жил в то время, когда Нью-Йорк был городом, а не клоакой) вдруг очнулся от обычного тупого оцепенения и потянулся к висящему на бедре револьверу. Кац услышал пронзительный женский крик, но подумал, что просто она только что обнаружила, что весь «Ревлон» дали в продажу; Кац *вынужден* был пустить «Ревлон» в продажу, поскольку этот *потц*, Долленц, державший аптеку в конце улицы, сбивал ему цены.

Стрелок надвигался на него, точно гибель, предначертанная судьбой, а Кац думал только о Долленце и стерве, висящей на телефоне; он думал, как чудесно выглядела бы эта парочка, покрытая лишь тонкой пленкой меда и выставленная на муравейник под жгучее солнце пустыни. ОН — на свой муравейник, ОНА — на свой. Прелесть! Кац думал: хуже некуда, совершенно некуда. Старый Кац был так решительно настроен на то, что сын пойдет по его стопам, что соглашался платить только за диплом провизора; и вот сын пошел по стопам отца; и холера папаше в бок, поскольку сейчас этот сын, несомненно, переживает самый паскудный момент в своей жизни — жизни, которая изобиловала паскудными моментами и до срока превратила его в старика.

¹ *Ферилюгинер* — проклятых (идиш).

Сейчас Кац находился в абсолютном надире.

Или так он думал, сидя с закрытыми глазами.

— Если вы зайдете, миссис Ратбан, могу отпустить вам дюжину капсул по пять милли. Этого хватит?

— Этот человек внял голосу рассудка! Слава Богу, этот человек внял голосу рассудка! — И она повесила трубку. Вот так вот просто. Без единого слова благодарности. Зато когда она снова встретится с ходячей прямой кишкой, которая называет себя врачом, то готова будет в ногах у него валяться, башмаки ему собственным носом драть, минет ему делать; она...

— Мистер Кац, — сказал его помощник странно задышающимся голосом. — По-моему, у нас проб...

Раздался еще один пронзительный крик. За ним последовал грохот выстрела, напугавший Каца так сильно, что у него в голове промелькнула мысль: вот сейчас, в последний раз чудовищно трепыхнувшись в груди, сердце остановится навсегда.

Кац открыл глаза и встретился с пристальным взглядом стрелка. Поспешно опустив глаза, Кац заметил в кулаке этого человека пистолет. Слева от себя аптекарь увидел охранника. Ральф, баюкая кисть руки, не сводил с вора выпученных глаз, которые, казалось, вот-вот выскочат из орбит. Пистолет тридцать восьмого калибра (послушный долгу Ральф не расставался с ним все те восемнадцать лет, что прослужил в полиции... и стрелял из него только в подвальном тире 23-го участка; он *говорил*, будто дважды применял его, будучи при исполнении — но как знать?) теперь превратился в сломанную железку и лежал в углу.

— Мне нужен кефлекс, — без выражения сказал человек с глазами снайпера. — Много. Сейчас же. РЕЙСЕП пусть тебя не волнует.

Секунду Кац мог только смотреть на него, разинув рот. Сердце бунтовало в груди, желудок превратился в горшок с болезненно бурлящей кислотой.

Он думал, что гаже некуда?

Он действительно так думал?

15

— Чтоб вы понимали, — наконец сумел выдать Кац и не узнал звук собственного голоса. Ничего особенно странного в *этом* не было, поскольку аптекарю казалось, будто рот у него выслан фланелью, а вместо языка — кусок ватина. — Здесь *нет* кокаина. Это не то лекарство, чтоб отпускать его где по...

— Я не говорил «кокаин», — сказал мужчина в синем костюме и оправленных в золото очках. — Я сказал *кефлекс*.

«Я думал, что ты так сказал», — чуть не ляпнул Кац этому ненормальному *мамзери*, однако решил, что тот может взбелениться.

Он слышал об аптеках, очищенных из-за амфетамина, из-за бенечек, из-за полудюжины других препаратов (включая драгоценный валиум миссис Ратбан), но кефлекс? Кац подумал, что это будет первое пенициллиновое ограбление в истории.

Голос папашы (холера в бок старому паразиту) велел: хватит усираться со страху и бессмысленно таращить глаза. Делай что-нибудь.

Но Кац ничего не мог придумать.

Из тупика его вывел человек с револьвером.

— Пошевеливайся, — сказал человек с револьвером. — Я спешу.

— С-сколько вам нужно? — спросил Кац. Его взгляд на какую-то долю секунды порхнул за плечо грабителя, и аптекарь увидел такое, во что с трудом мог поверить. В *этом городе*? Нет. Тем не менее, похоже, это происходило на самом деле. Везение? Что, Кацу в самом деле привалило счастье, и *не* еврейское? Вот *это* можно было заносить в Книгу рекордов Гиннесса!

— Не знаю, — сказал человек с револьвером. — Сколько сможешь положить в суму. В *большую* суму. — Тут он безо всякого предупреждения круто повернулся на каблуках, и зажатый в кулаке револьвер снова рывкнул. Зычно взревел какой-то мужчина. Стекло витрины разлетелось, осыпавшись на тротуар и мостовую сверкающим водопадом осколков разной формы. Несколько прохожих порезало, но серьезно никто не пострадал. В аптеке Каца кричали женщины (да и мужчины не очень-то отставали). Хрипло заревела сигнализация. Покупатели в панике ринулись к дверям, за порог. Человек с револьвером опять повернулся к Кацу; выражение его лица совершенно не изменилось — это было выражение пугающего (но не безграничного) терпения, читавшееся в чертах незваного гостя с самого начала. — Делай, что сказано, да побыстрее. Мне некогда.

Кац сглотнул.

— Да, сэр, — сказал он.

16

Еще на полпути к прилавку, за которым хранились *могущественные* зелья, стрелок заметил в левом верхнем углу лавки изогнутое зеркало и восхитился. При нынешнем положении вещей в его родном мире создать такое выпуклое зеркало не сумел бы ни один ремесленник, хотя, возможно, в былые времена подобные вещи (да и многое другое из того, что Роланд повидал в мире Эдди и Одетты) делали. Он видел подобные останки и в тоннеле под горами, и в других местах... реликвии, такие же древние и таинственные, как камни *друидов*, порой попадавшие в места, куда являлись демоны.

Кроме того, стрелок понял назначение этого зеркала.

Движение стража он заметил с крохотным запозданием (поскольку все еще продолжал открывать для себя, как страшно сужают его периферическое зрение линзы, которыми Морт прикрывал глаза), но ему все-таки хватило времени повернуться и выстрелом выбить у него из руки пистолет. Этот выстрел сам Роланд считал обычным делом — разве что следовало быть чуточку расторопней, — однако у охранника сложилось иное мнение. Ральф Леннокс до конца своих дней будет клясться, что такого выстрела в принципе не может быть... если не считать старых детских вестернов вроде «Энни Оукли».

Благодаря зеркалу, помещенному в углу под потолком (очевидно, для выявления воришек), со вторым противником Роланд разобрался быстрее.

Заметив, что взгляд алхимика на секунду метнулся куда-то вверх, за его, Роланда, плечо, стрелок немедленно посмотрел на зеркало сам. В зеркале он увидел, что позади него по центральному проходу идет мужчина в кожаной куртке. В руке у мужчины был длинный нож, а в голове, без сомнения, мечты о славе.

Стрелок развернулся и, молниеносно опустив револьвер к бедру, выстрелил, сознавая, что из незнакомого оружия с первого раза может промазать. Однако, не желая, чтобы пострадал кто-нибудь из покупателей, застывших в оцепенении позади потенциального героя, Роланд предпочел дважды выстрелить от бедра, дабы пули сделали свое дело, двигаясь снизу вверх по косой под таким углом, который защитит случайных свидетелей. Он счел, что это лучше, нежели ненароком отправить в мир иной какую-нибудь даму, чье единственное преступление состояло в том, что для похода за духами она выбрала не тот день.

Револьвер оказался в хорошем состоянии, прицел — точным. Если вспомнить плохо тренированных, приземистых и разжиревших стрелков, у которых Роланд его забрал, создавалось впечатление, будто они лучше заботились о том оружии, какое носили при себе, чем о том, которым *были сами*. Такое поведение казалось странным, но, конечно, это был странный, чужой мир, и Роланд не мог судить; если уж на то пошло, у него не было *времени* судить.

Выстрелил он удачно, обрубив лезвие ножа у самого основания, так что в руке у мужчины осталась лишь рукоять.

При этом Роланд не сводил с кожного спокойных глаз, и что-то в его пристальном взгляде, должно быть, заставило этого кандидата в герои вспомнить о какой-то очень важной встрече где-то в другом месте, поскольку он круто развернулся, уронил то, что осталось от ножа, на пол и присоединился к общему бегству.

Роланд опять отвернулся и отдал распоряжения алхимику. Еще кто-нибудь начнет вы***ваться, и польется кровь. Алхимик повернулся, чтобы уйти, но Роланд постучал стволом пистолета по костлявой лопатке. Издав задущенное «Ииииик!», алхимик тут же обернулся.

— Не ты. Ты оставайся здесь. Пусть это сделает твой подмастерье.

— К-кто?

— Он, — стрелок нетерпеливым жестом указал на помощника.

— Что я должен сделать, мистер Кац? — На побелевшем лице помощника ярко проступили следы юношеских угрей.

— Делай, что он говорит, *потц!* Выполняй заказ! Кефлекс!

Помощник подошел к одной из полок за прилавком и взял какой-то флакон.

— Поверни так, чтобы я мог видеть начертанные там слова, — велел стрелок.

Помощник повиновался. Роланд *не мог* прочесть надпись; слишком много в ней было букв, отсутствующих в его алфавите. Он справился в «Мортципедии». «Кефлекс», подтвердила та, и Роланд понял: проверки — тоже дурацкая трата времени. В отличие от *него* эти люди *не знали*, что в чужом мире он может прочесть далеко не все.

— Сколько в этой бутылке пилюль?

— Ну, собственно говоря, это капсулы, — нервно сказал помощник. — Если вас интересуют препараты циллинового ряда в пилюлях...

— Оставим это. Сколько доз?

— О. Э... — Всполошившийся помощник взглянул на флакон и чуть не выронил его. — Двести.

Чувства Роланда сильно напоминали то, что он ощутил, узнав, сколько патронов можно купить в этом мире на пустячную сумму. В потайном отделении аптечки Энрико Балазара нашлось девять пробных флаконов кефлекса (всего тридцать шесть доз), но и от них Роланд вновь почувствовал себя хорошо. Если не удастся убить инфекцию *двамястами* дозами, ее вообще нельзя убить.

— Давай сюда, — сказал мужчина в синем костюме.

Помощник подал ему флакон.

Стрелок поддернул рукав пиджака. Стал виден «Ролекс» Джека Морта.

— Денег у меня нет, но это может послужить достаточным возмещением убытков. Во всяком случае, я на это надеюсь.

Он повернулся, кивнул на охранника, который все еще сидел на полу возле своей перевернутой табуретки, не сводя со стрелка широко раскрытых глаз, и вышел из аптеки.

Вот так вот просто.

На пять секунд в аптеке воцарилась тишина, нарушаемая лишь истошным, хриплым ревом сигнализации — таким громким, что он заглушал даже уличный гам.

— Господи Боже, мистер Кац, что нам теперь делать? — прошептал помощник.

Кац взял часы и взвесил их на ладони.

Золото. Чистое золото.

Он не мог в это поверить.

Ему *пришлось* в это поверить.

Какой-то сумасшедший забрел с улицы к нему в аптеку, выстрелом выбил пистолет у охранника и нож — еще у одного человека, и все это для того, чтобы получить лекарство, о котором Кац подумал бы в последнюю очередь.

Кефлекс.

От силы на шестьдесят долларов кефлекса.

И расплатился часами «Ролекс» за шесть с половиной тысяч.

— Что делать? — переспросил Кац. — Что *делать*? Первое, что ты сделаешь, — уберешь эти часы под прилавок. Ты их в глаза не видел. — Он посмотрел на Ральфа. — И ты тоже.

— Да, сэр, — немедленно согласился Ральф. — Если я получу свою долю, когда вы их загоните, то никаких часов я отродясь не видел.

— Пристрелят его на улице, как собаку, — с явным удовлетворением в голосе сказал Кац.

— *Кефлекс!* Да ведь этот тип и *носом-то* ни разу не шмыгнул, — недоуменно вымолвил помощник.

Глава четвертая

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

1

В мире Роланда нижний закругленный край солнца, коснувшись, наконец, глади Западного моря, зажег ее ясным и веселым золотым огнем, побежавшим по воде туда, где, связанный точно индюшка, лежал Эдди, а тем временем в том мире, откуда стрелок забрал молодого человека, с трудом приходили в сознание полицейские О'Мейра и Диливэн.

— Снимите с меня наручники, а? — робко попросил Жирный Джонни.

— Где он? — с трудом ворочая языком, прохрипел О'Мейра и зашарил в поисках кобуры. Кобура исчезла. Кобура, португеза, пули, револьвер. *Револьвер.*

О черт.

В голову полезли вопросы, которые могли задать говнюки из Отдела служебных расследований — парни, которые все, что им известно об уличной жизни, узнали из «Трала» Джека Уэбба, — и стоимость револьвера в ее денежном выражении вдруг стала волновать О'Мейру не больше, чем численность населения Ирландии или основные полезные ископаемые Перу. Он посмотрел на Карла и увидел, что Карл тоже лишился оружия.

«Боженька, миленький, пособи дуракам», — подумал несчастный О'Мейра, и когда Жирный Джонни опять спросил, не воспользуется ли О'Мейра лежащим на прилавке ключом, чтобы отпереть наручники, сказал: «Да надо бы...» и осекся. Он умолк, поскольку на языке вертелось *«Да надо бы другое сделать, надо бы продырявить тебе брюхо»*, но ведь застрелить Жирного Джонни было трудновато, верно? Все стволы в магазине крепились к витринам цепочками, и мерзавец в золотых очках, гнусный тип, казавшийся таким солидным гражданином, отобрал револьверы у них с Карлом так же легко и просто, как сам О'Мейра мог бы отобрать пугач у пацаненка.

Вместо того, чтобы закончить фразу, он взял ключ и отпер наручники. Углядев в углу «Магнум», который туда отшвырнул ногой

Роланд, О'Мейра подобрал его. В кобуру «Магнум» не влезал, и О'Мейра засунул его за ремень.

— Эй, это мое! — проблеял Жирный Джонни.

— Да? Ты хочешь получить его обратно? — Выговаривать слова приходилось медленно — голова у О'Мейры действительно трещала. В этот момент ему хотелось только одного: найти мистера Золоченые Очки и прибить гвоздями к первой попавшейся стене. Тупыми гвоздями. — Я слышал, в «Аттике» любят толстяков вроде тебя, Джонни. Знаешь, как там говорят? «Большой жопе хер радуется». Ты уверен, что хочешь получить свою дуру обратно?

Жирный Джонни без единого слова повернулся и пошел прочь, однако О'Мейра успел заметить подступившие к глазам толстяка слезы и мокрое пятно на штанах. Жалости он не почувствовал.

— Где он? — сирым, звенящим голосом спросил Карл Диливэн.

— Ушел, — вяло ответил Жирный Джонни. — Больше я ничего не знаю. Ушел. Я думал, он меня убьет.

Диливэн медленно поднимался на ноги. Почувствовав на щеке липкую сырость, он взглянул на свои пальцы. Кровь. Б**дь. Рука, сама потянувшаяся к кобуре, зашарила в поисках револьвера, и эти поиски затянулись надолго — пальцы давно уже заверили Карла Диливэна, что револьвер исчез вместе с кобурой, а он все продолжал с надеждой ощупывать себя. О'Мейра отделался просто головной болью; Диливэну казалось, что кто-то использовал его черепную коробку под ядерный полигон.

— Парень забрал мой револьвер, — сказал он О'Мейре. Язык у него так заплетался, что разобрать слова было почти невозможно.

— Милости прошу в клуб.

— Он еще здесь? — Сделав шаг к О'Мейре, Диливэн накренился влево, точно находился на палубе бороздящего бурное море корабля, однако искрился выпрямиться.

— Нет.

— Давно? — Диливэн посмотрел на Жирного Джонни, но ответа не получил — быть может, потому, что Жирный Джонни, стоявший к полицейским спиной, подумал, что Диливэн все еще говорит с напарником. Диливэн, и в самых благоприятных обстоятельствах не отличавшийся спокойным нравом и сдержанным поведением, рывкнул на него (отчего ему почудилось, что голова у него сейчас расколется на тысячу кусков): — *Тебя спрашивают, говнюк жирный! Давно этот козел смылся?*

— Ну, может, минут пять как, — тупо сказал Жирный Джонни. — Прихватил свои патроны и ваши пушки. — Он помолчал. — За патроны он заплатил. Поверить не могу.

«Пять минут, — подумал Диливэн. Мужик приехал на тачке. Сидя в патрульной машине и прихлебывая кофе, они видели, как он выходил из такси. Приближался час пик. В это время дня поймать тачку трудно. — А может...»

— Пошли, — сказал он Джорджу О'Мейре. — У нас все еще есть шанс его прищучить. А эта жирная потаскуха пусть даст ствол...

О'Мейра продемонстрировал «Магnum». Поначалу Диливэн увидел два револьвера, потом они медленно слились в один.

— Хорошо. — Диливэн приходил в себя — не сразу, а мало-помалу, как боксер-профессионал, получивший основательный удар в подбородок. — Пусть будет у тебя. Я возьму ружье из машины. — Он двинулся к двери и на этот раз не просто покачнулся; его шатнуло, и он был вынужден ухватиться за стену, чтобы удержаться на ногах.

— Ты как, оклемаешься? — спросил О'Мейра.

— Если мы его поймаем, — сказал Диливэн.

Они ушли. Жирный Джонни обрадовался их отбытию — не так сильно, как радовался уходу зомби в синем костюме, но почти. Почти так же.

2

Диливэну с О'Мейрой даже не нужно было обсуждать, куда, покинув оружейный магазин, мог направиться преступник. Достаточно было послушать доносившийся из рации голос диспетчера.

— Девятнадцатый, — снова и снова повторяла она. — *Ограбление с применением огнестрельного оружия*. Девятнадцатый, Девятнадцатый, координаты: Вест, Сорок девятая, 395, аптека Каца; преступник высокого роста, рыжеватый, синий костюм...

«С применением огнестрельного оружия, — подумал Диливэн, и голова у него заболела пуще прежнего. — Интересно, из чьего ствола он стрелял, О'Мейры или моего? Или из обоих? Если этот мешок с говном кого-нибудь угрохал, мы накрылись медным тазом. Вот разве что мы его повяжем».

— Рванули, — коротко велел он О'Мейре. Тому не нужно было повторять дважды. Он понимал ситуацию не хуже Диливэна. С маху нажав кнопки, включившие мигалки и сирены, он вклинился в поток машин — только взвизгнули шины. Уже образовывались заторы (начинался час пик), и О'Мейра повел патрульную машину двумя колесами по сточной канаве, а двумя — по тротуару, распугивая пешеходов, как перепелок. На Сорок девятую пытался втиснуться фургон «Продукты». О'Мейра подрезал ему заднее крыло. Впереди, на тротуаре, мерцало битое стекло. Оба полицейских слышали резкий надсадный рев сигнализации. Пешеходы укрывались в подъездах и за кучами мусора, зато жильцы верхних этажей охотно главели из окон, точно внизу показывали на редкость хорошее телевизионное шоу или бесплатное кино.

Во всем квартале не осталось ни единой машины; они разогнали и такси, и рейсовые автобусы.

— Надеюсь только, что он еще там, — сказал Диливэн и ключом отомкнул под приборным щитком короткие стальные скобы, охватывавшие приклад и ствол духового ружья. Он вытащил ружье из креплений. — Надеюсь только, что этот хер вонючий, этот сукин сын все еще там.

Оба они не понимали, что, имея дело со стрелком, лучше чересчур не зарываться.

3

Когда Роланд вышел из аптеки Каца, к лежавшим в карманах пиджака Джека Морта картонным коробкам с патронами присоединился большой флакон кеффлекса. В правой руке Роланд держал табельное оружие Карла Диливэна, револьвер тридцать восьмого калибра. Черт возьми, до чего же приятно было держать револьвер здоровой правой рукой.

Услышав вой сирены, стрелок увидел машину, с ревом мчавшуюся по улице. «Они», — подумал Роланд. Он начал поднимать револьвер, и тут вспомнил: это стрелки. Стрелки, выполняющие свой долг. Он повернулся и опять вошел в лавку алхимика.

— *Стой, козел!* — пронзительно завопил Диливэн. Взгляд Роланда метнулся к выпуклому зеркалу, и вовремя: он увидел, как один из стрелков (тот, у которого из уха шла кровь) высунулся из окна с дробовиком. Его напарник резко остановил экипаж, отчего одетые резиной колеса взвизгнули и из-под них пошел дым, и первый стрелок вогнал патрон в патронник.

Роланд грохнулся на пол.

4

Чтобы понять, что сейчас произойдет, Кацу не нужны были никакие зеркала. Сперва просто псих, теперь — психованные фараны. *Ой-вэй.*

— *Ложись!* — визгливо крикнул он своему ассистенту и охраннику Ральфу, после чего рухнул на колени за прилавком, не дожидаясь, чтобы посмотреть, сделают они то же самое или нет.

Потом, на ничтожную долю секунды опередив спустившего курок Диливэна, на Каца сверху обрушился ассистент, приложив хозяина головой о пол и в двух местах сломав ему челюсть. Так не в меру рыжий футболист, «пасущий» защитника, сбивает его с ног в своем стремлении отобрать мяч.

Сквозь ревушую волну боли, которая внезапно захлестнула голову, аптекарь услышал ружейный выстрел, услышал, как бьется уцелевшее стекло витрин — а вместе с ним флаконы с лосьонами

после бритья, одеколоном, духами, зубными эликсирами, полосканиями, сиропами от кашля и невесть с чем еще. Тысяча противоречивых запахов, поднявшись над осколками, произвела на свет адское зловоение, и, теряя сознание, Кац в очередной раз воззвал к Богу, упрашивая покарать его покойного папашу, в первую очередь за то, что тот, точно ядро — каторжнику, приковал ему к ноге это несчастье, эту проклятую аптеку.

5

Роланд увидел, как ураган выстрела смел бутылочки и коробочки. Стекланный ящик с хронометрами развалился. Такая же участь постигла большую часть его содержимого. Назад полетело сверкающее облако обломков.

«Они не могут знать, есть ли здесь еще невинные люди, или нет, — подумал он. — Не могут — и все равно применяют дробовик!»

Непростительно. Роланд почувствовал злость и подавил ее. Эти двое — стрелки. Лучше думать, что от удара головой о голову мозги у них стали набекрень, чем считать, что они поступают сознательно, не заботясь о тех, кто может пострадать или погибнуть.

Они надеялись, что он либо обратится в бегство, либо начнет стрелять.

Вместо этого Роланд, пригибая голову, по-пластунски пополз вперед, разодрав ладони и колени осколками стекла. От боли Джек Морт опять пришел в сознание, и Роланд обрадовался его возвращению: Морт мог ему понадобиться. Что касается коленей и рук Морта, стрелка это не заботило. Он с легкостью мог терпеть такую боль, и кроме того, раны наносились телу изувера, который ничего лучшего не заслуживал.

Добравшись до самой витрины (точнее, того, что осталось от огромного цельного стекла), Роланд оказался слева от двери и, весь напряжившись, изготовился к прыжку. Револьвер, который он держал в правой руке, Роланд убрал в кобуру.

Револьвер ему не понадобится.

6

— *Что ты делаешь, Карл?* — заорал О'Мейра. Перед его мысленным взором внезапно встал заголовок «Дэйли Ньюз»: «ЧЕТВЕРО В ВЕСТ-САЙДСКОЙ АПТЕКЕ ГИБНУТ ОТ РУК ПОЛИЦЕЙСКОГО. ПОЛОЖЕНИЕ НОРМАЛЬНОЕ, ХУЖЕ НЕКУДА».

Не обращая на него внимания, Диливэн вогнал в дробовик новый заряд.

— Ну, давай брать этого говнюка.

Все случилось именно так, как надеялся стрелок.

В ярости от того, что их без труда одурачил и разоружил человек, показавшийся им, пожалуй, не более опасным, чем любой другой молоденький педераст с улиц этого словно бы бесконечного города, все еще не вполне пришедшие в себя после удара по голове, они ринулись на Роланда. Кретин, стрелявший из дробовика, несясь впереди. Они бежали, слегка пригнувшись, как солдаты, атакующие вражеские позиции, но это была единственная уступка, какую они сделали мысли о том, что их противник все еще может быть внутри. В их представлении он уже выскочил через черный ход и удирал по переулку.

Итак, прохрустев башмаками по осколкам стекла на тротуаре, они подбежали к аптеке, и, когда стрелок с дробовиком, распахнув дверь, от которой осталась одна рама, бросился за порог, в атаку, Роланд, сцепивший руки в единый кулак, поднялся и обрушил этот кулак на закрик офицера полиции Карла Диливэна.

На допросе в комиссии по расследованию Диливэн заявит: последнее, что он помнит, — это как опустился на колени в магазине Клеменца и увидел под прилавком бумажник преступника. Члены комиссии решили, что, учитывая обстоятельства дела, подобная амнезия — штука на редкость удобная, поэтому Диливэну повезло, что он отделался только отстранением от работы на шесть дней с удержанием жалования. Роланд, впрочем, поверил бы и в иной ситуации (например, если бы этот болван не разрядил дробовик в магазин, где могло быть полно ни в чем не повинных людей) даже посочувствовал. Когда тебе за полчаса дважды проламывают череп, можно ожидать некоторого количества мозгов всмятку.

Внезапно сделавшись бескостным, точно мешок с овсом, Диливэн повалился на пол, и Роланд вынул дробовик из его слабеющих рук.

— *Стой!* — пронзительно крикнул О'Мейра, в чьем голосе смешались злость и испуг. Он принялся поднимать «Магнум» Жирного Джонни, и подозрения Роланда вновь оправдались: медлительность здешних стрелков была достойна сожаленья. Он мог бы уже трижды застрелить О'Мейру, но нужды в этом не было. Роланд размахнулся, и ружье, двигаясь снизу вверх, с силой очертило в воздухе крутую дугу. Раздался глухой шлепок: приклад состыковался с левой щекой О'Мейры. Звук был таким, какой слышишь, когда бейсбольная бита встречается с мячом, несущимся, без преувеличения, на всех парах. Вся нижняя часть лица О'Мейры вдруг сдвинулась на два дюйма вправо. Чтобы снова привести его в божеский вид, потребуются три операции и четыре стальных штырька. Колени полицейского подломились, и он рухнул на пол.

Роланд стоял в дверях, не обращая внимания на приближающиеся сирены. Переломив дробовик, он повозился с механизмом подачи

воздуха, и все пухлые красные патроны выбросило на тело Диливэна. Следом на Диливэна упало и ружье.

— Ты — опасный дурак, которого следовало бы отправить на тот свет, — сказал Роланд бесчувственному полисмену. — Ты позабыл лик своего отца.

Он перешагнул через тело и подошел к экипажу стрелков, мотор которого все еще работал вхолостую. Забравшись внутрь через дверцу со стороны пассажирского сиденья, Роланд скользнул за руль.

8

«Ты умеешь водить такой экипаж?» — спросил он у визжащего какую-то невнятицу существа, которым был Джек Морт.

Вразумительного ответа он не получил; Морт попросту продолжал вопить. Стрелок признал в этом истерику — впрочем, не вполне искреннюю. Морт закатил истерику нарочно, усмотрев в этом способ избежать всякого общения со странным похитителем.

«Послушай, — сказал ему стрелок. — У меня нет времени повторять что бы то ни было по два раза. У меня его осталось очень мало. Если ты не ответишь на мой вопрос, я всажу большой палец твоей правой руки в твой же правый глаз. Я впихну его так глубоко, как он войдет, а потом вырву глаз из глазницы и разотру по сиденью этого экипажа, точно комок соплей. Сам я прекрасно обойдусь одним глазом. В конце концов, глаз-то не мой».

Он не мог солгать Морту так же, как Морт — ему; для обеих сторон их отношения по своей природе были холодными и вынужденными, и все же более близкими, чем самый страстный акт сексуального общения. В конце концов эти отношения состояли не в слиянии тел, а в полном соединении сознаний.

Роланд имел в виду именно то, что сказал.

И Морт это знал.

Истерика вдруг прекратилась. «Умею», — сказал Морт. Это было первое разумное слово, услышанное Роландом от Морта с тех пор, как он прибыл в сознание этого человека.

«Тогда веди».

«Куда ехать?»

«Ты знаешь место под названием «Вилледж»?»

«Да».

«Поезжай туда».

«А в Вилледж куда?»

«Пока что просто поезжай».

«Если я включу сирену, мы сможем ехать быстрее».

«Отлично. Включай. И эти мигающие лампы тоже».

И Роланд (впервые с тех пор, как, силой захватив Джека Морта, подчинил его своей власти) слегка отступил на второй план, позволив сознанию Морта возобладать. Когда Морт отвернулся, чтобы обследо-

вать приборный щиток сине-белой машины Диливэна и О'Мейры, инициатором движения был он сам, Роланд же выступал в роли наблюдателя. Однако, будь стрелок не бестелесным *ка*, а существом из плоти, он бы касался земли лишь кончиками пальцев ног, готовый при малейших признаках мятежа прыгнуть вперед и вновь взять Морта под свой контроль.

Впрочем, никаких признаков бунта не было. Этот человек убил и искалечил Бог весть сколько невинных людей, но не собирался лишаться своего драгоценного глаза. Он торопливо пощелкал переключателями, потянул за какой-то рычаг, и машина вдруг поехала. Тонко, пронзительно взвыла сирена, и стрелок увидел, как по передней части экипажа заскользили красные, пульсирующие вспышки света.

«Скорее», — утрюмо приказал стрелок.

9

Несмотря на мигалки, на сирену и на то, что Джек Морт непрерывно давил на клаксон, дорога до Гринич-Вилледж в час пик заняла двадцать минут. В мире стрелка надежды Эдди Дийна распадались, точно дамба в ливень, чтобы совсем скоро рухнуть окончательно.

Море пожрало половину солнечного диска.

«Ну, — сказал Джек Морт, — *приехали*». Он не обманывал (он никак не мог солгать), хотя Роланду все здесь казалось таким же, как везде: плотно забитые домами, людьми и экипажами улицы. Экипажи не только загромождали улицы, но и засоряли воздух, наполняя его непрерывным грохотом и ядовитыми испарениями. Причиной тому, полагал Роланд, было сжигаемое экипажами топливо. Удивительно, что эти люди вообще могли жить и что женщины рожали детей, а не монстров вроде обитающих под горами мутантов-недоумков.

«Куда теперь?» — спросил Морт.

Бот оно, самое трудное. Стрелок приготовился — во всяком случае, по возможности.

«Выключи лампы и сирену. Остановись у тротуара».

Морт затормозил патрульную машину у пожарного крана.

«В этом городе есть подземные железные дороги, — сказал стрелок. — Я хочу, чтобы ты отвел меня на станцию, где эти поезда останавливаются, чтобы выпустить и впустить пассажиров».

«Куда именно?» — спросил Морт. Если пользоваться палитрой чувств, эта мысль была подцвечена паникой. Морт ничего не мог скрыть от Роланда, а Роланд — от Морта... По крайней мере, надолго.

«Несколько лет назад — не знаю, сколько — на одной из этих подземных станций ты толкнул под поезд молодую женщину. Я хочу, чтобы ты отвел меня туда».

Последовала короткая, ожесточенная борьба. Победу одержал стрелок, но она досталась ему на удивление трудно. Джек Морт по-своему страдал такой же раздвоенностью, как и Одетта. В отличие от нее он не был шизофреником и отлично знал, что время от времени проделывает. Но свое тайное «я» — ту часть своей личности, которая была Толкачом, — он держал под замком, проявляя при этом не меньшую осмотренность, чем растратчик, прячущий тайком снятые «пенки».

«Вези меня туда, сволочь», — повторил стрелок, и большой палец опять неторопливо двинулся к правому глазу Морта. Он был еще в пути и до цели оставалось меньше полудюйма, когда Морт сдался.

Правая рука Морта снова передвинула рычаг возле руля, и они покатили в сторону станции «Кристофер-стрит», где около трех лет назад легендарный поезд «А» отрезал ноги женщине по имени Одетта Холмс.

10

— Ну и ну, ты глянь-ка, — сказал патрульный Эндрю Стонтон своему напарнику, Норрису Уиверу, когда сине-белая машина Дили-вэна и О'Мейры остановилась в половине квартала от них. Места для парковки там не было, но водитель и не пытался его найти. Он просто поставил машину во второй ряд, загородив проезд и предоставив плотному потоку машин, которым была запружена улица, кропотливо, дюйм за дюймом, прокладывать себе путь через оставшуюся лазейку подобно тоненькой струйке крови, пытающейся снабдить кислородом сердце, безнадежно забитое холестерином.

Уивер проверил цифры на правом переднем крыле. 744. Да, точно, тот самый номер, который назвала диспетчер.

Мигалки работали, и все выглядело вполне кошерно... пока не открылась дверца и не вышел водитель. Костюм на нем, конечно, был синий, но не тот, к какому положены золотые пуговицы и серебряная бляха. Башмаки тоже были не полицейского образца — вот разве что Стонтон с Уивером проворонили меморандум, извещавший офицеров, что отныне форменная обувь будет поступать от Гуччи, но это казалось маловероятным. Вероятным казалось другое: это — тот самый гад, что угнал на окраине полицейскую машину. Он вылез, не обращая внимания на трубящие клаксоны и крики пытавшихся протиснуться мимо него водителей.

— Черт, — выдохнул Энди Стонтон.

«Приближаться в высшей степени осторожно, — сказала диспетчер. — Этот человек вооружен и крайне опасен». Обычно диспетчеров по голосу можно было принять за самых скучающих людей на земле (что, насколько знал Энди Стонтон, соответствовало истине), а потому тот почти благоговейный ужас, с которым девушка подчеркнула слово «крайне», занозой застрял у него в сознании.

Стонтон впервые за четыре года службы потащил из кобуры пистолет и покосился на Уивера. Уивер тоже вытащил свой пистолет. Они стояли у магазина деликатесов, примерно в тридцати футах от ступеней, ведущих к железнодорожным путям. Стонтон с Уивером знали друг друга достаточно давно и приспособились друг к другу так, как могут только полицейские да солдаты-профессионалы. Не обменявшись ни единым словом, они отступили в двери «Деликатесов». Дула револьверов смотрели вверх.

— Подземка? — спросил Уивер.

— Ага. — Энди бросил быстрый взгляд на вход. Час пик был уже в разгаре и лестницу, ведущую в подземку, заполнили люди, направлявшиеся к своим поездом. — Надо брать его прямо сейчас, пока он не успел близко подойти к толпе.

— Ну, давай.

Они один за другим выступили из дверей магазина — образцовый тандем. Роланд сразу же признал в этих стрелках противников гораздо более опасных, чем первые два. Одна из причин заключалась в том, что они были моложе; а еще (хотя Роланд об этом не знал) некий неизвестный диспетчер навесил ему ярлык «крайне опасен», что в глазах Энди Стонтона и Норриса Уивера приравнивало его к злобному и свирепому тигру. «Если он не остановится в ту же секунду, как я велю ему остановиться, он покойник», — думал Энди.

— *Стоять!* — пронзительно выкрикнул он, выбрасывая вперед обе руки с зажатым в них пистолетом и резко приседая. Уивер рядом с ним сделал то же самое. — *Полиция! Руки за го...*

Больше Стонтон ничего не успел сделать: субъект в синем костюме кинулся к лестнице, ведущей на перроны. Двигался он стремительно, со сверхъестественной скоростью. Тем не менее Энди Стонтон уже завелся. Стрелки на всех его циферблатах подскочили до максимальной отметки. Он крутанулся на каблуках, чувствуя, как на него спадает покров бесстрастной холодности — ощущение, которое Роланд тоже узнал бы. В сходных ситуациях он и сам неоднократно испытывал то же.

Немного поцелившись в бегущую фигуру, Энди нажал курок своего .38 и увидел, как человек в синем костюме волчком завертелся на месте, сиюсь удержаться на ногах. Потом он упал, а пассажиры, за считанные секунды до этого сосредоточенные лишь на одном — как бы пережить очередную дорогу домой на метро — с визгом бросились врассыпную, точно перепелки. Им вдруг открылось, что сегодня после обеда придется пережить не только поездку в пригородном поезде.

— В бога-мать, напарник, — выдохнул Норрис Уивер, — ты его замочил.

— Знаю, — сказал Энди. Его голос не дрогнул. Стрелок пришел бы в восхищение. — Пойдем, посмотрим, кто он был такой.

«Я умер! — визжал Джек Морт. — Я умер, меня из-за тебя убили, я мертвый, я...»

«Нет», — отвечал стрелок. В щелки между веками он увидел: к нему, по-прежнему с оружием в руках, приближаются полицейские. Эти были моложе и проворнее тех, что поставили свой экипаж у оружейной лавки. Проворнее. И по крайней мере один из них чертовски хорошо стрелял. Морт (а вместе с ним и Роланд) *должен был бы умереть, умирать или получить серьезное ранение*. Энди Стонтон стрелял, чтобы убить, и его пуля пробурала левый лацкан пиджака Морта. Более того, пуля пробила нагрудный карман рубашки — но дальше не прошла. Жизнь обоим мужчинам — и тому, что внутри, и тому, что снаружи — спасла зажигалка Морта.

Морт не курил, зато курил его начальник (Морт втайне рассчитывал на будущий год к этому времени занять его место). Соответственно Морт купил в магазине фирмы «Данхилл» серебряную зажигалку за двести долларов. Бывая в обществе мистера Фрэммингэма, Морт подносил ему огонька отнюдь не *всякий* раз, как тот совал в пасть сигарету — это бы слишком смахивало на подхалимаж. Только время от времени... и, как правило, в присутствии еще более высокого начальства — кого-нибудь, кто сумел бы оценить: а) спокойную учтивость Джека Морта и б) хороший вкус Джека Морта.

Умные люди предусматривают все возможные шаги.

На сей раз такая всеобъемлющая предусмотрительность спасла жизнь и ему, и Роланду. Вместо того, чтобы ударить Морта в сердце (самое обычное, такое же, как у всех людей; к счастью, страсть Морта к фирменным вещам — вещам *хороших* торговых марок — под кожу не углублялась).

Разумеется, его все равно ранило. Когда в вас угодит пуля крупного калибра, нечего и думать выйти сухим из воды. Зажигалку вдавило Морту в грудь так сильно, что образовалась вмятина. Серебряная вещица сплюснулась, а затем разлетелась на кусочки, оставляя на коже Морта неглубокие бороздки; один тонкий острый осколок разрезал левый сосок Морта почти пополам. Вдобавок горячая пуля подожгла пропитанную бензином фетровую прокладку зажигалки. Тем не менее, пока блюстители закона приближались, стрелок лежал неподвижно. Тот полицейский, который не стал в него стрелять, твердил окружающим: не подходить, не подходить, держаться подальше, черт подери.

«Горю! — пронзительно взвизгнул Морт. — Я горю, потушите огонь! Потушите! ПОТУШИИИИИТЕ!»

Стрелок лежал без движения, слушая, как поскрипывают по мостовой башмаки приближающихся стрелков, не обращая внимания на визгливые крики Морта и *стараясь* не обращать внимания ни на

внезапно запылавшие у груди уголья, ни на запах поджаривающейся плоти.

— Боже, — пробормотал кто-то, — ты что, стрелял трассирующей пулей, мужик?

Из дыры в лацкане пиджака Морта тонкой аккуратной струйкой поднимался дымок. По краям он просачивался более неряшливыми кляксами. Ноздрей полицейских коснулся запах горелого мяса — пропитанные жидкостью для зажигалок кусочки фетра, которыми был набит разорванный пулей корпус «Ронсона», и в самом деле загорелись.

И тут Энди Стонтон, который до сих пор действовал безукоризненно, совершил свою единственную ошибку — такую, за которую Корт, несмотря на прежние, достойные всяческого восхищения деяния Энди, отослал бы его домой со вспухшим ухом, растолковав, что одной ошибкой почти всегда оказывается довольно, чтобы проститься с жизнью. Пристрелить субъекта в синем костюме Стонтон смог (чего на самом деле ни один полицейский о себе не знает, пока обстоятельства не вынудят его выяснить это), но мысль о том, что его пуля непонятным образом *подожгла* парня, наполнила его безрассудным страхом. Поэтому он, не задумываясь, нагнулся, чтобы потушить огонь, и только успел заметить блеск сознания в мертвых (Энди присягнул бы, что в мертвых) глазах, как стрелок с размаху ударил его ногой в живот.

Замахав руками, Стонтон отлетел назад, на напарника. Пистолет вылетел у него из руки. Уивер своего оружия не выпустил, но к тому времени, как он освободился от Стонтона, прогремел выстрел, и пистолет Норриса Уивера волшебным образом исчез, а рука, в которой он был, онемела, словно по ней ударили очень большим молотком.

Тип в синем костюме поднялся, на секунду задержал на них взгляд и сказал:

— Вы молодцы. Лучше тех, других. Посему позвольте дать вам совет. Не ходите за мной. Все уже почти закончилось. Я не хочу, чтобы пришлось вас убить.

Потом он круто повернулся и побежал к лестнице в метро.

12

Лестница была забита теми, кто спускался в метро, но с началом криков и стрельбы, одержимые присущим жителям Нью-Йорка нездоровым и отчего-то нигде больше не встречающимся любопытством, они повернули обратно, чтобы посмотреть, насколько скверно обстоят дела, сколько действующих лиц и много ли крови пролито на грязный бетон. Несмотря на это, они все-таки исхитрились отпрянуть от одетого в синий костюм человека, который очертя голову ринулся вниз по ступеням. И немудрено. Один пистолет он сжимал в руке, второй висел на охватывающем талию ремне.

К тому же человек этот, кажется, горел.

Пиджак, рубашка и майка Морта горели все веселее, серебро зажигалки начало плавиться и обжигающими ручейками потекло вниз, на живот, однако Роланд не обращал ни малейшего внимания на Морта, все громче визжавшего от боли.

Роланд чуял запах нечистого движущегося воздуха, слышал рев приближающегося поезда.

Время почти пришло; еще немного — и настанет тот миг, тот момент, когда он либо вытащит из этого мира всех троих, либо все потеряет. Роланду во второй раз почудилось, будто он чувствует, как над головой дрожат и шатаются миры.

Он очутился внизу, на платформе, и отшвырнул .38 в сторону. Расстегнув штаны Джека Морта, он небрежным рывком спустил их, явив миру белое исподнее, смахивавшее на панталоны шлюхи. Времени размышлять над такой странностью у Роланда не было. Если он будет мешкать, то может перестать тревожиться о том, что сгорит заживо; когда купленные им патроны нагреются достаточно для того, чтобы сдетонировать, его тело просто разнесет взрывом.

Стрелок затолкал коробки с патронами в исподнее, вынул флакон кефлекса и проделал с ним то же самое. Теперь исподнее нелепо разбухло. Роланд содрал пылающий пиджак, но даже не попытался снять горящую рубашку.

Он слышал рев несущегося к платформе поезда, видел его огни. Он никак не мог знать, что этот поезд ходит по тому же маршруту, что и поезд, переехавший Одетту, и все равно *знал* это. Там, где дело касалось Башни, судьба становилась столь же милосердной, сколь спасаая ему жизнь зажигалка, и причиняла столько же боли, сколько чудом возжженное пламя. Подобно колесам надвигающегося поезда, она следовала курсом сразу и последовательным, и сокрушительно жестоким; и этому ходу могли противостоять лишь твердость да любовь.

Рывком подтянув штаны Морта, Роланд опять пустился бегом, едва ли понимая, что люди бросаются врассыпную, освобождая ему дорогу. Приток воздуха, питающего огонь, увеличился, и пламя обьяло сперва воротник рубашки, а потом и волосы. Засунутые в исподнее Морта тяжелые коробки снова и снова били по яичкам, раздавливая их; в животе возникла мучительная боль. Роланд — человек, превращающийся в метеор — перемахнул через турникет. *«Потуши меня! — вопил Морт. — Потуши, пока я не сгорел!»*

«Ты должен сгореть, — сурово подумал стрелок. — То, что с тобой сейчас произойдет, более милосердно, чем ты заслуживаешь».

«Что ты этим хочешь сказать? ЧТО ТЫ ИМЕЕШЬ В ВИДУ?»

Стрелок не ответил; по правде говоря, ринувшись к краю платформы, он полностью отключился. Он почувствовал, что одна из

коробок с патронами пытается выскользнуть из смешных штанишек Морта, и придержал ее одной рукой.

Всю до капли силу своего сознания Роланд направил на Владычицу. Он понятия не имел, можно ли услышать подобный телепатический приказ или заставить того, кто его слышит, подчиниться, и все-таки послал быструю, острую стрелу мысли:

«ДВЕРЬ! СМОТРИ В ДВЕРЬ! СЕЙЧАС! СЕЙЧАС ЖЕ!»

Мир наполнился грохотом поезда. Какая-то женщина пронзительно закричала: *«О Боже он хочет прыгнуть!»* Чья-то рука, с силой оттащить Роланда, шлепнула его по плечу. Потом Роланд вытолкнул тело Джека Морта за желтую предупредительную линию и нырнул через край платформы вниз, на рельсы. Прикрывая руками низ живота, придерживая кладь, с которой должен был вернуться (то есть, если бы проявил достаточное проворство и выбрался из тела Морта в единственно правильный миг), он упал на пути у приближающегося поезда и, падая, вновь воззвал к ней — к ним:

«ОДЕТТА ХОЛМС! ДЕТТА УОКЕР! СМОТРИТЕ ЖЕ!»

И в тот миг, когда он воззвал к ним, в миг, когда поезд, с беспощадной серебристой быстротой вращая колесами, налетел на него, стрелок наконец повернул голову и посмотрел в дверной проем.

Прямо ей в лицо.

В лица!

Их два, я вижу сразу оба ее лица...

«НЕЕ!...» — тонко взвизгнул Морт, и в последнюю ничтожную долю секунды перед тем, как поезд переехал его, разрезав надвое — не над коленями, а в талии — Роланд метнулся к двери... и сквозь нее.

Джек Морт умер один.

Возле материальной оболочки Роланда появились коробки с патронами и флакон с таблетками. Руки стрелка судорожно вцепились в них, потом расслабились. Он заставил себя подняться, сознавая, что вновь облачен в свое хворое, пульсирующее острой болью тело; сознавая, что Эдди Дийн пронзительно кричит; сознавая, что Одетта визжит на два голоса. Роланд поглядел — всего на секунду — и увидел именно то, что услышал: не одну, а двух женщин. Обе были безногие, обе темнокожие, обе — дивной красоты, и все-таки одна была ведьмой, сущей каргой. Внешняя красота не скрывала ее внутреннее уродство, а лишь усиливала его.

Эти двойняшки, которые в действительности были вовсе не близнецами, а положительным и отрицательным образами одной и той же женщины, приковали к себе взгляд Роланда. Он напряженно уставился на них, и в этом напряжении было что-то лихорадочное, гипнотическое.

Потом Эдди опять испустил пронзительный крик, и стрелок увидел омароподобных чудовищ: куврыкаясь, они выбирались из воды и важно шествовали к тому месту, где Детта оставила связанного и беспомощного юношу.

Солнце село. Пришла тьма.

14

Детта увидела себя в дверном проеме, увидела своими глазами, увидела глазами *стрелка*, и возникшее у нее чувство *перемещения* было таким же внезапным, как у Эдди, но куда более бурным.

Она была здесь.

Она была *там*, за глазами стрелка.

Она услышала приближающийся поезд.

«*Odettal!*» — взвизгнула она, вдруг поняв все: и что она такое, и когда это произошло.

«*Detttal!*» — взвизгнула она, вдруг поняв все: и что она такое, и кто сделал ее такой.

Мимолетное ощущение, что ее выворачивают наизнанку... а затем куда более мучительное ощущение.

Ее раздирали на части.

15

Роланд, волоча ноги, неуклюже спустился с короткого склона туда, где лежал Эдди. Он двигался, как человек, лишившийся скелета. Одна из омароподобных тварей щелкнула клешней у лица Эдди. Эдди закричал. Стрелок пинком отшвырнул чудовище. Он с грехом пополам нагнулся, крепко схватил Эдди за руки и потащил его от воды, но слишком поздно; слишком мало сил, сейчас эти твари доберутся до Эдди, черт, до них обоих...

Эдди снова закричал — один из чудовищных омаров, поинтересовавшись: «*дид-э-чик?*», вырвал клоч из его штанов, а заодно прихватил и кусок мяса. Эдди попробовал крикнуть еще раз, но с губ сорвался лишь задушенный клекот. Молодой человек задыхался в Деттиных узах.

Вокруг повсюду были хищные твари, они наступали, энергично и нетерпеливо щелкая клешнями. Стрелок вложил остатки сил в последний рывок... и повалился на спину. Он слышал их приближение — отвратительные вопросы, щелкающие клешни. Может быть, это не так уж плохо, подумал он. Он ставил на кон все, что у него было, — все и потерял.

Гром собственных револьверов наполнил Роланда тупым недоумением.

Две женщины лежали на песке лицом к лицу, приподнявшись, точно готовые напасть змеи, сомкнув пальцы с идентичными отпечатками на шеях, прорезанных одинаковыми морщинками.

Женщина пыталась убить ее, но не настоящая женщина, такая же не настоящая, какой была та девушка; она была сном, сотворенным падающим кирпичом... но теперь этот сон стал явью, этот сон скрюченными пальцами вцепился ей в горло и силился убить ее, пока стрелок пытался спасти своего друга. Ставший реальным сон хрипло визжал непристойности, орошая ее лицо дождем горячей слюны. «Я взяла синюю тарелочку потому что та тетка закатала меня в больницу а потом мне никогда не дарили никаких тарелочек на память и я кокнула ее потому как ее надо было кокнуть и когда я повстречала белого юнца которого могла треснуть по рылу я треснула а чего ж я обижала белых сопляков потому как сами напрашивались и воровала из магазинов которые продают только всякие штуки на память белым покамест черные братья и сестры в Гарлеме погибают с голодухи и крысы жрут их детишек, я настоящая, ты, сука, я настоящая, Я... Я... Я!»

«Убей ее», — подумала Одетта и поняла, что не может.

Она не могла убить эту ведьму и выжить — так же, как та не могла убить ее и удалиться. Покуда Эдди и
(Роланда) (Настоящего Гада)

того, кто воззвал к ним, съедали заживо у кромки воды, они здесь могли бы удавить друг друга. Это покончило бы со всеми. Или же она могла бы

(любовь)/(ненависть)

разжать руки.

Одетта отпустила шею Детты, не обращая внимания на сильные, свирепые и жестокие руки, душившие ее, сминавшие дыхательное горло. Вместо того, чтобы делать из своих рук удавку, она нашла им иное применение. Она обняла ту, другую.

— Нет, сволочь! — истошно завопила Детта, но крик этот был бесконечно сложным, полным и ненависти, и благодарности. — Нет, отвали от меня, отвали и все тут...

У Одетты не было голоса, чтобы ответить. В тот миг, когда Роланд пинком отшвырнул первого атаковавшего их чудовишного омара; в тот миг, когда второй омар выдвинулся вперед, чтобы пообедать щедрым ломтем руки Эдди, Одетта сумела только шепнуть на ухо этой бабе-яге: «Я люблю тебя».

На мгновение руки сжались, превратившись в орудие убийства, петлю... а затем ослабли.

Исчезли.

Ее опять выворачивало наизнанку... а потом вдруг — о, блаженство! — оказалось, что она — одно целое. Впервые с тех пор, как

человек по имени Джек Морт сбросил кирпич на голову девочки, подвернувшейся, чтобы принять на себя этот удар потому только, что белый таксист, раз взглянув, укатил (а ее отец в своей гордыне отказался от новой попытки из боязни во второй раз получить отказ), она была *одним целым*. Она была Одеттой Холмс, а та, другая?..

«Поторапливайся, сучка! — проорала Детта... но голос оставался ее собственным; они с Деттой слились воедино. Ей довелось быть одним человеком, была она и двумя людьми, теперь стрелок извлек из нее третьего. — *Торопись, не то ими пообедают!*»

Одетта посмотрела на патроны. На это не было времени; пока она перезарядит револьверы, все уже будет кончено. Оставалось только надеяться.

«*Но, может быть, есть что-то еще?*» — спросила она себя и спустила курки.

И вдруг ее коричневые руки наполнились громом.

17

Эдди увидел, что на него угрожающе надвинулся один из чудовищных омаров; сморщенные глаза были пустыми, мертвыми и все-таки отвратительно искрились отвратительной жизнью. Клепши чудовища опустили к лицу молодого человека.

— Дод-э... — начала тварь, а потом что-то разнесло ее в клочья и брызги, отшвырнув от Эдди.

Роланд увидел, что один из монстров, проворно перебирая ногами, бежит к его левой руке, которой он размахивал, сиюсь отогнать хищных тварей, и подумал: «*Сейчас и вторую руку...*» — а потом тварь разлетелась в темном воздухе облачком мелкораздробленной скорлупы и ошметков зеленых внутренностей.

Он обернулся и увидел женщину, чья красота заставляла сердце замирать, а бешеная ярость обращала его в кусок льда. «**ДАВАЙТЕ, ГАДЫ! — визжала она. — НУ, ДАВАЙТЕ, ДАВАЙТЕ! ДАВАЙТЕ, СУНЬТЕСЬ К НИМ! Я ВАМ ЗЕНКИ ЧЕРЕЗ ВАШИ Б**ДСКИЕ ЖОПЫ ВЫШИБУ!**»

Выстрел взорвал третьего омара, который быстро полз между широко расставленными ногами Эдди, намереваясь подкормиться, а заодно превратить юношу в бесполое существо. Тварь разлетелась, как при игре в «блшки».

Роланд и раньше подозревал, что эти существа обладают некими зачатками интеллекта. Теперь он получил тому доказательство. Омары отступали.

Боек револьвера ударил по непригодному патрону, а следующим выстрелом Одетта разнесла одного из отступающих монстров в куски.

Остальные побежали к воде еще быстрее. Похоже, аппетит у них пропал.

Между тем Эдди задышался.

Роланд принялся ощупывать веревку, глубоко впившуюся в шею Эдди, так, что осталась борозда. Он видел, что лицо юноши постепенно становится из лилового черным.

Потом его руки оттолкнули руки более сильные.

— Я сама этим займусь. — В ее руке был нож... *его* нож.

«Чем же ты *займешься*? — подумал Роланд. Его сознание медленно помрачалось. — *Чем же ты займешься теперь, когда мы оба в твоей власти?*»

— Кто ты? — прохрипел он, когда его потянула к земле тьма гуще ночной.

— Я — три женщины, — услышал стрелок голос Одетты, звучащий так, словно она обращалась к Роланду с верхнего края глубокого колодца, в который он падал. — Та я, что была; та я, что не имела никаких прав на существование, но существовала; и я — та женщина, которую вы спасли. Я благодарю тебя, стрелок.

Она поцеловала его, стрелок это знал, однако после Роланд долгое время знал только тьму.

Окончательная перетасовка

окончательная перетасовка

1

Впервые, как ему казалось, за тысячу лет, стрелок не думал о Темной Башне. Его мысли занимал только олень, спустившийся к озерцу на лесной поляне.

Держа револьвер в левой руке, он прицелился поверх поваленного бревна.

«Мясо», — подумал он. В рот брызнула теплая слюна; Роланд выстрелил.

«Промазал, — подумал он в следующую миллисекунду. — Утратил. Утратил всю свою сноровку...»

Олень у края воды упал замертво.

Вскоре Башне предстояло вновь заполнить стрелка, но сейчас он лишь возблагодарил неизвестных ему здешних богов за то, что его глаз по-прежнему был верным, и стал думать о мясе, о мясе и еще раз о мясе. Убрав револьвер (тот единственный, что теперь носил при себе) обратно в кобуру, Роланд перелез через бревно, за которым, покуда ранний вечер мало-помалу угасал, превращаясь в сумерки, терпеливо лежал и ждал, не придет ли к озерцу что-нибудь достаточно крупное для ужина.

«Я выздоравливаю, — с некоторым изумлением подумал он, доставая нож. — Я в самом деле выздоравливаю».

Он не видел женщины, стоявшей позади него и следившей за ним оценивающим взглядом карих глаз.

2

В течение шести дней после происшедшего у оконечности пляжа противоборства они ели только мясо омаров и пили только противную солоноватую воду из ручья. Роланд сохранил об этом времени весьма скудные воспоминания — он тогда метался и бредил в горячке, называя Эдди порой Аланом, порой Катбертом, а женщину — неизменно Сюзанной.

Мало-помалу лихорадка отступила, и они пустились в многотрудное путешествие в глубь холмов. Эдди толкал инвалидное кресло, в котором сидела женщина, но бывало и так, что в кресле катил Роланд, а женщина ехала на закорках у Эдди, некрепко обхватив его за шею. Дорога была такой, что чаще всего передвижение на колесах становилось невозможным, и продвижение вперед шло медленно. Роланд понимал, насколько Эдди выбился из сил. Понимала это и женщина; впрочем, Эдди ни разу не пожаловался.

Пища у них была; в те дни, когда, дымясь от жара, ворочаясь и горько сетуя на давно минувшие времена и давно умерших людей, Роланд лежал между жизнью и смертью, Эдди и женщина стреляли омаров — снова, и снова, и снова. Вскоре омароподобные чудовища перестали приближаться к их части пляжа, но к тому времени мяса у них уже было вдоволь, и когда они наконец попали туда, где рос бурьян с сучьей травой, то уже принуждали себя есть его. Все трое изголодались по зелени — какой уютно, лишь бы это была зелень. И разъедавшие кожу болячки понемногу начали исчезать. Некоторые травы горчили, попадались и сладкие, но, каков бы ни был вкус, путешественники съедали их... за исключением одного случая.

Усталый стрелок вздремнул, а когда проснулся, то увидел, что женщина дергает из земли пучок травы, которую он знал даже слишком хорошо.

— Нет! Только не эту! — прохрипел он. — Эту — никогда! Заметь ее и запомни! Никогда не ешь эту траву!

Она ответила долгим взглядом и, не требуя объяснений, отложила горсть стеблей в сторону.

Стрелок, похолодевший от того, что беда прошла так близко, опять откинулся на землю. Возможно, кое-какие из трав таили в себе смерть, но то, что сорвала женщина, обрекало ее на муки и медленную гибель. Это была бес-трава.

Кефлекс стал причиной бурной деятельности кишечника Роланда, и стрелок знал, что Эдди это тревожит, но благодаря травам работа желудка наладилась.

В конце концов они добрались до настоящих лесов, а шум Западного моря ослаб до приглушенного неясного гула, который был слышен только при подходящем ветре.

И вот теперь... *мясо*.

3

Подойдя к оленю, стрелок попытался выпотрошить его, зажав нож между средним и безымянным пальцами правой руки. Безрезультатно. Слишком уж слабыми были пальцы. Он переложил нож в левую, неумелую, руку и сумел грубо, топорно распороть брюхо оленя от паха до груди. Нож выпустил дымящуюся кровь, чтобы она не успела свернуться и испортить мясо... но все равно, разрез вышел скверным. Ребенок, которого рвет, — и тот сделал бы лучше.

«Глядишь, и научишься быть ловким», — сказал себе Роланд и приготовился полоснуть еще раз, глубже.

Накрыв его руку, две коричневые руки забрали у Роланда нож. Он огляделся по сторонам.

— Это сделаю я, — сказала Сюзанна.

— А тебе хоть раз приходилось это делать?

— Нет, но ты объяснишь мне, как.

— Ладно.

— Мясо, — сказала она и улыбнулась.

— Да, — сказал он, отвечая улыбкой на улыбку. — Мясо.

— Что происходит? — окликнул их Эдди. — Я слышал выстрел.

— Устраиваем День Благодарения! — откликнулась Сюзанна. — Иди помоги!

Позже они наелись, словно два короля и королева. Глядя на звездное небо, ощущая, какая чистая прохлада разлита здесь, в воздухе нагорья, стрелок, которого все сильнее клонило ко сну, подумал в полудреме: ни разу за много лет (так много, что и считать не стоило) он не был столь близок к довольству.

Он уснул. И видел сны.

4

Ему снилась Башня. Темная Башня.

Она стояла у горизонта на бескрайней равнине, окрашенной в кровавый багрянец яростным закатом умирающего солнца. Он не мог разглядеть винтовую лестницу, взбиравшуюся внутри своей кирпичной скорлупы все выше, и выше, и выше, но разглядел окошки, спиралью поднимавшиеся параллельно ее пролетам, а за ними — бесплотные, бледные тени всех тех, кого он когда-либо знал. Вверх, вверх двигалась эта колонна призраков, и суховей принес звуки голосов, выкликавших имя стрелка.

«Роланд... приди... Роланд... приди... приди... приди...»

— Я иду, — прошептал он и проснулся. Он сидел, вытянувшись в струнку, весь в поту и дрожал, словно лихорадка еще владела его бременной плотью.

— Роланд?

Эдди.

— Да?

— Плохой сон?

— Плохой. Хороший. *Темный.*

— Башня?

— Да.

Они посмотрели на Сюзанну, но та спокойно спала. Жила-была женщина по имени Одетта Сюзанна Холмс; время шло, и появилась другая, Детта Сюзанна Уокер. Сейчас с ними была третья: Сюзанна Дийн.

Роланд любил ее, потому что знал: она будет биться до последнего. И страшился за нее, потому что знал: без оглядки, без сомненья принесет ее — да и Эдди тоже — в жертву.

Ради Башни.

Богом проклятой Башни.

— Пора принять таблетку, — сказал Эдди.

— Не хочу я больше этих таблеток.

— Заткнись и ешь.

Роланд проглотил таблетку, запив холодной пресной водой из бурдюка, и рыгнул. Но он ничего не имел против. Отрыжка отдавала мясом.

Эдди спросил:

— Ты знаешь, куда мы идем?

— К Башне.

— Ну да, — сказал Эдди, — но это все равно, как если б я был какой-нибудь неуч из Техаса, который говорит, что едет в Большую Жопу, на Аляску, а у самого даже карты нету. Где она? В какой стороне?

— Принеси мой кошель.

Эдди сходил за кошелем. Сюзанна зашевелилась, и Эдди остановился. Угли догорающего костра превратили его лицо в сочетание красных граней и черных теней. Женщина опять успокоилась, и он вернулся к Роланду.

Роланд попылся в кошеле, который теперь стал тяжелым от патронов из того, другого, мира. Найти то, что было нужно стрелку, среди того, что осталось от его жизни, не составило большого труда.

Челюстная кость.

Челюсть человека в черном.

— Мы еще немного побудем здесь, — сказал он, — и я поправлюсь.

— А ты сумеешь это определить?

Роланд едва заметно улыбнулся. Дрожь утихала, прохладный ночной ветерок почти осушил пот. Но перед глазами по-прежнему стояли те образы, те рыцари и друзья, возлюбленные и враги, что, показавшись на краткий миг в окошках Башни, исчезали, круг за кругом поднимаясь все выше; стрелок видел длинную, черную тень, отброшенную Башней на равнину, на поле брани, где властвуют кровь и смерть, — тень, узниками которой они были.

— Я — нет, — сказал он и кивнул на Сюзанну. — Но она сумеет.

— А потом?

Роланд приподнял на ладони челюсть Уолтера.

— Вот это однажды уже говорило.

Он посмотрел на Эдди.

— И заговорит снова.

— Это опасно, — голос у Эдди был глухой, подавленный.

— Да.

— Не только для тебя.

— Да.

— Мужик, я люблю ее.
— Да.
— Если она из-за тебя пострадает...
— Я буду делать то, что потребуется, — сказал стрелок.
— А на нас наплевать? Так, что ли?
— Я люблю вас обоих. — Стрелок посмотрел на Эдди. От углей костра еще шло последнее слабое, меркнувшее свечение, и в этих алых отблесках Эдди увидел, что щеки Роланда блестят. Он плакал.

— Это не ответ на вопрос. Ты ведь пойдешь дальше, да?
— Да.
— До самого конца?
— Да. До самого конца.
— Что бы ни случилось. — Эдди смотрел на стрелка с любовью, и ненавистью, и всей тоскливой нежностью того, кто безнадежно, бессильно и беспомощно тянется к мыслям, воле и желаниям другого человека.

Деревья застонали под ветром.

— Ты говоришь, как Генри. — Эдди и сам заплакал. Он не хотел плакать. Он терпеть не мог плакать. — У него тоже была башня, только не темная. Помнишь, я рассказывал тебе про башню Генри? Мы были братьями и, наверное, стрелками. У нас была эта Белая Башня, и он попросил меня пойти к ней вместе с ним — попросил, как мог, больше он никак не мог попросить — ну, вот я и впрягся, он же был моим братом, сечешь? Надо сказать, мы-таки добрались туда. Нашли Белую Башню. Но это был яд. Она убила Генри. И убила бы меня. Ты же меня видел. Ты мне не только жизнь спас. Подымай выше. Ты спас мою б**дскую душу.

Эдди обнял Роланда и чмокнул в щеку. Почувствовал вкус его слез.

— Так что? Опять впрягаться? Вперед, к новой встрече с тем человеком?

Стрелок не проронил ни слова.

— Я хочу сказать, мы мало кого видели, но я знаю, что все еще впереди. Замешана тут Башня или нет, без человека тоже не обошлось. Ты ждешь человека, потому что должен встретить человека, и, в конце концов, кто платит, тот и заказывает музыку, а может, музыку заказывает не тот, у кого бабки, а тот, у кого пули. Ну, так как? Впрягаемся? Топаем встречаться с этим типом? Потому как ежели это будет новый отыгрыш все того же говнопада с громом и молнией, лучше бы вы оставили меня омарам. — Эдди посмотрел на Роланда обведенными темными кругами глазами. — Я грязно жил, мужик. Если я чего и понял, так это то, что не хочу грязно умереть.

— Это не одно и то же.

— Нет? Ты мне будешь рассказывать, будто сам не на крючке?

Роланд не ответил.

— А кто ввалится сквозь какую-нибудь волшебную дверь, чтоб спасти тебя, мужик? Знаешь? Я-то знаю. Никто. Ты вытащил сюда все, что мог. Единственное, что ты теперь сможешь вытаскивать —

это свою б**дскую пушку, больше-то у тебя ни хера не осталось. В точности как у Балазара.

Роланд молчал.

— Хочешь знать, чему только и пришлось учить меня брату? — Голос Эдди прерывался и был хриплым от слез.

— Да, — сказал стрелок. Он подался вперед, напряженно глядя Эдди в глаза.

— Он учил меня: если ты убиваешь то, что любишь, — ты обречен.

— Я уже обречен, — невозмутимо отозвался Роланд. — Но, возможно, даже обреченный может спастись.

— Ты хочешь угробить нас всех?

Роланд ничего не сказал.

Эдди схватил Роланда за лохмотья рубашки.

— *Ты хочешь угробить ее?*

— Со временем все мы умираем, — сказал стрелок. — Мир сдвинулся с места — но движется не только он. — Роланд посмотрел прямо на Эдди; выцветшие голубые глаза в слабом красноватом свете казались почти серо-синими. — *Но мы будем великолепны.* — Он помолчал. — Мы получим не только мир, Эдди. Я не стал бы рисковать ни тобой, ни ею, я не позволил бы погибнуть мальчику, если бы за этим не крылось нечто большее.

— Ты про что?

— Про все сущее, — спокойно сказал стрелок. — Мы пойдем туда, Эдди. Мы будем драться. Нам достанется. *Но в конечном итоге мы выстоим.*

Теперь уже промолчал Эдди. Он не мог придумать, что же сказать.

Роланд ласково, но крепко сжал руку Эдди.

— Даже перед любовью, будь она неладна, — сказал он.

5

В конце концов Эдди уснул рядом с Сюзанной — третьей, кого Роланд извлек из чужого мира, дабы создать новую тройку. Но Роланд не спал. Он сидел, прислушиваясь к голосам в ночи, а ветер осушал слезы на его щеках.

Вечные муки?

Спасение?

Башня.

Он придет к Темной Башне и возгласит их имена; там он возгласит их имена; все их имена возгласит он у Башни.

Солнце окрасило восток в розовый цвет зари, и Роланд — отныне не последний стрелок, но один из последней тройки — наконец уснул и видел бурные сны, через которые успокаивающей синей ниточкой проходило лишь одно:

'Там я возгласю все их имена!'

С о д е р ж а н и е

Стрелок 5

Двери между мирами 153

Литературно-художественное издание

Стивен Кинг

СТРЕЛОК

Выпуск 39

Сдано в набор 06.09.95. Подписано в печать 09.10.95 г.
Формат 60х88 1/16. Гарнитура Таймс. Бумага книжно-журнальная.
Объем 30 п. л. Печать офсетная. Тираж 10 000 экз.

Издательство Сигма, Львов, а/я 25

Отпечатано с готовых диапозитивов
на Львовской книжной фабрике "АТЛАС"
290005, г. Львов, ул. Зеленая, 20

СТИВЕН КИНГ



В следующем выпуске нашей серии
Вы познакомитесь с заключительной
частью романа Стивена Кинга
"Темная башня",

Под названием "Бесплодные земли".

Это третья часть длинной истории,
навеянной и в известной степени
основывающейся на эпической поэме
Роберта Браунинга "Чайльд Роланд
к башне темной пришел".